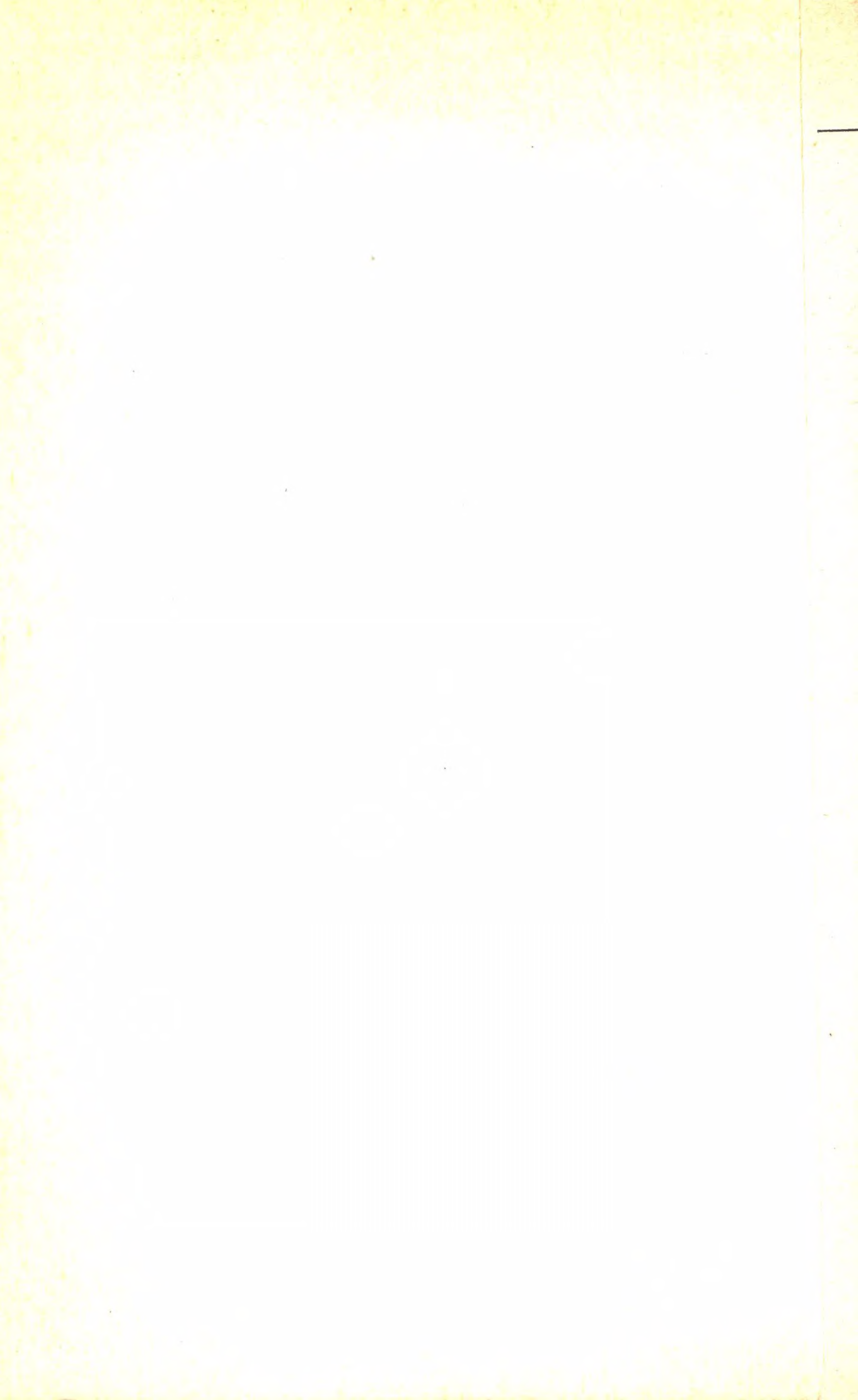


Октябрьские зори


ПЕТРОГРАД
НЕ ОТДАДИМ!
РАБОЧИХ И



ДРАВСТВУЕТ
ДИЯ СОЛДАТ
РЕСТЬЯН
ВСЯ ВЛАСТЬ
СОЛДАТЪ
ГРАЖДАНАМ
Сегодня открывается
СОВѢТАМ
ВСЯ ВЛ
СОВЕТ



БИБЛИОТЕКА "СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА"

Октябрьские зори

*Повести и рассказы
о Великой Октябрьской
социалистической революции
и гражданской войне*

ЛЕНИЗДАТ · 1987

84.3(2)7
O49

*Составитель,
автор послесловия и примечаний
Н. А. Грознова*

$О \frac{4702010200-013}{М171(03)-87} 203-87$

БОРИС ЛАВРЕНЕВ

ВЫСТРЕЛ С НЕВЫ

Рассказ

21 октября 1917 года шел мелкий дождь. «Аврора» стояла у стенки Франко-русского завода. Место это было знакомо старому крейсеру. Это было место его рождения. С этих стапелей в 1901 году новорожденная «Аврора» под гром оркестра и салют, «в присутствии их императорских величеств», скользя по намыленным бревнам, сошла в черную невскую воду, чтобы начать свою долгую боевую жизнь с трагического похода царской эскадры к цусимскому погрому.

По мостику, скучая, расхаживал вахтенный начальник. Направо медленно катилась ко взморью вспухшая поверхность реки, серо-чугунного цвета, покрытая лихорадочной рябью дождя. Налево — омерзительно грязный двор завода, закопченные здания цехов, черные переплеты стапельных перекрытий, размокшее от дождя унылое пространство, заваленное листами обшивки, плитами брони, бунтами заржавевшей рыжей проволоки, змеиными извивами тросов. Между этими хаотическими нагромождениями металла стояли гниющие красно-коричневые лужи, настоянные ржавчиной, как застарелой кровью.

Дождь поливал непромокаемый плащ вахтенного начальника, скатываясь по блестящей клеенке каплями тусклого серебра. Капли эти висели на измятых щеках мичмана, на его подстриженных усиках, на козырьке фуражки. Лицо мичмана было тоскливо-унылым и безнадежным, и со стороны могло показаться, что вся фигура вахтенного начальника истекает слезами безысходной тоски.

Так, собственно, и было. Вахтенный начальник смертельно скучал. С тех пор как стало ясно, что все рушится и адмиральские орлы никогда не осенят своими хищными крыльями мичманские плечи, мичман исполнял

обязанности, изложенные в статьях корабельного устава, с полным равнодушием, только потому, что эти статьи с детства въелись в него, как клещи в собачью шкуру. Он сам удивлялся порой, почему он выходит на вахту, когда вахта обратилась в ерунду. Неограниченная, почти самодержавная власть вахтенного начальника стала лишь раздражающим воспоминанием. От нее сохранилось только сомнительное удовольствие — записывать в вахтенный журнал скучные происшествия на корабле.

Такую вахту не стоило нести. И офицеры с наслаждением отказались бы, если бы не странное и необъяснимое поведение матросов. Нижние чины, внезапно превратившиеся в граждан и хозяев корабля, несли сейчас корабельную службу с небывалой доселе четкостью и вниманием. Матросы держались подчеркнуто подтянуто. Корабль убирался как будто в ожидании адмиральского смотра. Часовые у денежного ящика и у трапа стояли как вкопанные. Эта матросская ретивость к службе, в то время как ее не требовал и не смел требовать командный состав, казалась офицерам непонятной и даже пугала их.

Вот и сейчас. Вахтенный начальник нагнулся над стойками левого обвеса мостика и лениво наблюдал разыгрывающуюся сцену. Шлепая по лужам, к мосткам, перекинутым со стенки на борт крейсера, шел человек в длинной кавалерийской шинели. Полы, намокшие и отяжелевшие, бились о сапоги, как мокрый бабий подол. На голове шедшего была защитная фуражка английского офицерского образца. Он взошел на мостик. Вахтенный начальник равнодушно наблюдал. С утра до ночи на крейсер шляется всякая шушера. Представители всяких там партий, демократы и социалисты, черт их пересчитает. Еще совсем недавно нога штатского образца не смела вступить на неприкосновенную палубу военного корабля. А теперь...

Ну и пусть ходит кто хочет. И чего ради часовой у мостков пререкается с этим шпаком? Мичман равнодушно, но с тайным злорадством наблюдал, как часовой преградил дорогу посетителю, как тот, горячась, говорил что-то и как часовой, холодно осмотрев гостя с ног до головы, свистнул, вызывая дежурного. Такое соблюдение формальностей было ни к чему, но все же умаслило мятущееся сердце мичмана.

Подошедший дежурный взглянул в предъявленную посетителем бумагу и повел его за собой. Вахтенный на-

чальник разочарованно зевнул и зашагал по мостику, морщась от дождевых капель.

Только что назначенный комиссаром «Авроры» минный машинист Александр Белышев хмуро прочел поданную посетителем бумагу. Уже то, что посетитель представился личным адъютантом помощника министра Лебедева, разозлило комиссара. Он терпеть не мог ни эсеров, ни их адъютантов.

В бумаге был категорический приказ морского министра немедленно выходить в море на пробу машин и после этого следовать в Гельсингфорс в распоряжение начальника Второй бригады крейсеров.

— Министр приказал довести до вашего сведения, что невыполнение приказа будет расценено как срыв боевого задания и военная измена со всеми вытекающими последствиями,— сказал адъютант казенными словами, стараясь держаться начальственно и уверенно.

Ему было неуютно в этой суровой, блестящей от эмалевой краски каюте, за тонкими стеклами которой ходили страшные матросы, и он старался подавить свой страх показной самоуверенностью.

— Ясное дело,— сказал Белышев, поднимая на адъютанта тяжелый взгляд, и вдруг улыбнулся совсем детской конфузливой улыбкой.— Мы и так понимаем, что такое измена,— выговорил он значительно, подняв перед своим носом указательный палец, и по тону его нельзя было понять, к кому относится слово «измена».— Стрелять изменников надо, как сукиных сынов,— продолжал комиссар, повышая голос, и адъютанту морского министра показалось, что глаза комиссара, вспыхнувшие злостью, очень пристально уперлись в его лоб. Он поспешил проститься.

После его ухода Белышев прошел в каюту командира крейсера. Командир сидел за столом и писал письма. Слева от него выросла уже горка конвертов с надписанными адресами. Лицо командира было бледно и мрачно. Похоже было, что он решил покончить самоубийством и пишет прощальные записки родным и знакомым.

Не замечая унылости командира, Белышев положил перед ним приказ морского министра.

— Когда прикажете сниматься? — спросил командир, вскинув на комиссара усталые глаза.

— Между прочим, совсем наоборот,— ответил, слегка усмехаясь, Белышев.— Комитет имеет обратное при-

казание Центробалта: производить пробу машин не раньше конца октября. Так что придется гражданину верховноуговаривающему вытягивать якорный канат своими зубами, и он их на этом деле обломает. В Гельсингфорс не пойдем и вообще не пойдем без приказа Петроградского Совета,— закончил Белышев официальным тоном.

— Слушаю-с,— ответил командир и сам удивился, почему он отвечает своему бывшему подчиненному с той преувеличенной почтительностью, с какой разговаривал с ротным офицером в корпусе, еще будучи кадетом.

— Посторонних нет?

Вопрос был задан для проформы. Комиссар Белышев и сам видел, что в помещении шестнадцатого кубрика не было никого, кроме членов судового комитета, но ему нравилась строгая процедура секретного заседания.

— А какой черт сюда затешется? — ответили ему.— Матросы понимают, а офицера на веревочке не затащишь.

Белышев вынул из внутреннего кармана бушлата конверт. Медленно и торжественно вытащил из него сложенную четвертушку бумаги, разгладил ее на ладони и, прищурившись, обвел настороженным взглядом членов комитета. Это были свои, испытанные, боевые ребята, и все они жадно и загоревшимися глазами смотрели на бумагу в комиссарских руках.

— Так вот, ребятки,— сказал Белышев,— сообщаю данное распоряжение. *«Комиссару крейсера «Аврора». Военно-революционный комитет Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов постановил: поручить вам всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами восстановить движение на Николаевском мосту...»*

В кубрике было тихо и жарко. Где-то глубоко под палубой заглушенно гудела динамо, да иногда под подволоку прогрохотывали чьи-то быстрые шаги. Члены комитета молчали. И несмотря на то что глаза у всех были разные — серые, карие, ласковые, суровые,— во всех этих глазах был одинаковый острый блеск. И от этого блеска лица были похожи одно на другое. Их освещал одинаковый свет осуществляющейся, становившейся сегодня явью вековой мечты угнетенного человека о найденной Правде, которую сотни лет прятали угнетатели.

— По телефону передали из ревкома, что это распоряжение самого Владимира Ильича... Товарищ Ленин ожидает, что моряки не подведут,— добавил Белышев

тихо и проникновенно, и опять по лицам пробежал задумчивый и взволнованный свет.

— Ты скажи, Саша, пусть товарищ Ленин пребывает без сомнения,— обронил кто-то из моряков,— если он хочет, так скрозь что угодно пройдем.

— Значит, постановлено? Возражающих нет? — спросил комиссар. Он был еще молод, молод в жизни и молод в политике, и любил, чтобы дело делалось по всей форме.

Члены комитета ответили одним шумным вздохом, и это было вполне понятной формой одобрения.

— Тогда предлагаю обмозговать выполнение задачи.— Белышев бережно спрятал в бушлат боевой приказ Петроградского Совета.— Сколько людей понадобится и каким способом навести мост?

— Способ определенный,— сказал, усмешливо скаля мелкие зубы, Ваня Карякин,— верти механизм, пока не сойдется, вот тебе и вся механика.

Но шутка не вызвала улыбок. Настроение в кубрике было особенное, строгое и торжественное, и Ваню оборвали:

— Закрой поддувало!

— Ишь нашелся трепач... Ты время попусту не засти. Без тебя знаем, что механизм вертеть надо.

С рундука встал плотный бородатый боцман:

— Полагаю, товарищи, что дело серьезное. На мосту и с той стороны, на Сенатской и Английской набережной, юнкерье. Сколько их там и чего у них есть, нам неизвестно. Разведки не делали. Броневики я у них сам видал. А может, там, где-нибудь в Галерной, и артиллерия припрятана. От них, гадов, всего дождешься. И думаю, что на рожон переть нечего, а то оскандалимся, как мокрые куры, и дела не сделаем...

— Что ж ты предлагаешь? — спросил Белышев.

— А допрежде всего выслободить корабль из этой мышеловки. Черта мы тут у стенки сотворим. Первое дело — отсюда мы до Английской набережной не достанем через мост. Второе — на нас могут с берега навалиться. Да и где это слыхано, чтоб флотский корабль у стенки дрался! А потому предлагаю раньше остального вывести «Аврору» на свободную воду для маневра и поставить к самому мосту.

— Верно,— поддержал голос,— нужно к мосту выбираться.

Белышев задумчиво повертел в руках конец шкертика, забытого кем-то на столе.

— Перевести — это так,— сказал он,— да кто переводить будет? На офицерье надежды мало. Они сейчас — как черепаха, богом суродованная. Будто им головы прищемило.

— Пугнуть можно,— отозвался Ваня Карякин.

Белышев махнул рукой:

— Уж они и так пуганы, больше некуда. Начнешь дальше пугать — хуже будет. Теперь с ними одно средство — добром поговорить. Может, и отойдут. А то они даже самые обыкновенные слова не понимают. Я вчера на палубе ревизора встретил, говорю ему, что нужно с базой поругаться насчет гнилых галет, и вижу, что не понимает меня человек. Глаза растопырил, губу отвесил, а сам дрожит, что заячий хвост. Даже мне его жалко стало. Окончательно рассуждение потерял мичманок... Верно, думал, что я его за эти сухари сейчас за борт спущу. Ихнюю психику тоже сейчас взвесить надо. Земля из-под ног ушла...

— Потопить их всех!

— Рано! — твердо отрезал Белышев.— Если б надо было, так нам бы сперва приказали с ними разделаться, а потом мост наводить. Сейчас пойду с ними поговорю толком. Членам комитета предлагаю разойтись по отсекам, разъяснить команде положение. Да присмотреть за эсеровщиной. А то намутят. Еще сидят у нас по щелям эсеровские клопы...

Кубрик ожил. Члены комитета загрохали по палубе, торопясь к выходу.

Когда Белышев вошел в кают-компанию, был час вечернего чая, и офицеры собрались за столом. Но как не похоже было чаепитие на прежние оживленные сборища. Молчал накрытый чехлом, как конь траурной попоной, рояль. Не слышно было ни шуток, ни беззаботного мичманского смеха. Безмолвные фигуры, угрюмо помешивающие ложечками в стаканах, низко склонив головы над столом, избегая смотреть друг на друга, напоминали людей, собравшихся на поминки по только что схороненному родственнику и не решающихся заговорить, чтобы не оскорбить звуком голоса незримо присутствующий дух покойника.

При появлении комиссара все головы на мгновение повернулись в его сторону. В беззвучной перекличке метнувшихся глаз вспыхнула тревога, и головы еще ниже склонились над стаканами жидкого чая.

— Добрый вечер, товарищи командиры! — как можно приветливее сказал Белышев и, положив бескозырку на диванную полочку, весело и добродушно уселся на диван.

Но, садясь, он зорко следил за впечатлением от своего прихода, отразившимся на офицерских лицах. Некоторые просветлели — очевидно, приход комиссара не сулил ничего плохого, а сам комиссар был все же парень неплохой, отличный в прошлом матрос и незлой. Двое насупились еще угрюмей. Это были кондовые, негнущиеся, ярые ревнители дворянских вольностей и офицерских привилегий, и само появление комиссара в кают-компании и его независимое поведение резало, как ножом, их сердца.

Но этих было только двое. Остальные как будто оттаяли, и, следовательно, можно было говорить.

— Разрешите закурить, товарищ старший лейтенант? — вежливо обратился Белышев к командиру. Командир, не отрывая взгляда от стакана, словно искал в нем потерянное счастье, кивнул головой и глухо ответил:

— Прошу.

Белышев достал папироску и неторопливо закурил. Он видел, что офицеры искоса наблюдали за струйкой дыма, вьющейся от его папиросы, и это смешило его. Он глубоко затянулся и внезапно сказал, как оторвал:

— Через час снимаемся.

Офицерские головы вздернулись, как будто всеми ими управляла одна нитка, и повернулись к комиссару. Штурман нервно звякнул ложкой о стакан и, передернув плечами, спросил:

— Позволено знать, куда?

— А почему ж не позволено? — беззлобно ответил Белышев.— Петроградский Совет приказал перевести крейсер к Николаевскому мосту, навести мост и восстановить движение, нарушенное контрреволюционными силами Временного правительства.

Штурман вздохнул и зазвякал ложкой. Жирный артиллерист, бывший прежде заправским весельчаком и не раз смешивший матросов забавными рассказами, а теперь потускневший и слинявший, словно его выкупали в щелоке, не подымая головы, спросил напряженно и зло:

— А приказ комфлота есть?

Белышев пристально посмотрел на него.

— Проспали, товарищ артиллерист,— сказал он спокойно.— Командует флотом нынче революция, а в част-

ности Военно-революционный комитет, которому флот и подчиняется.

— Не слышал,— ответил артиллерист,— я такого адмирала не знаю.

Артиллерист явно задирался и вызывал на скандал. Белышев понял и, не отвечая, снова обратился к командиру:

— Товарищ старший лейтенант, прошу распорядиться.

Командир медленно поднялся. Руки его бессильно висели вдоль тела. Губы мелко дрожали. На него было жалко и смешно смотреть. Командир был выборный. Еще в февральский переворот команда единогласно выбрала его на пост командира после убийства прежнего командира, шкуры, дракона и истязателя. Новый командир был либерал, еще до революции читал матросам газеты и покрывал нелегальщину. Команда искренне любила его, как любила всякого, кто в жестокой каторге флота относился к номерному матросу как к живому человеку. Команда и сейчас не утратила доброго чувства к этому тихому и мягкому интеллигенту. Но командир был выбит из колеи. Он был во власти полной раздвоенности и растерянности.

— Вы хотите вести крейсер к Николаевскому мосту?

— А то куда ж? — удивился Белышев.— Как будто ясно сказано...

— Но... но...— командир тщетно искал убегающие от него слова,— но вы понимаете, товарищ Белышев, что это... это невозможно?

— Почему? — тоном искреннего и наивного изумления спросил комиссар.

— Но дело в том... С начала войны расчистка реки в пределах города не производилась,— быстро заговорил командир, обрадованный тем, что уважительная причина технического порядка, прыгнувшая в мозг, дает возможность правдоподобно и без ущерба для революционной репутации объяснить отказ.— Совершенно неизвестно, что происходит на дне. Фарватер представляет собой полную загадку. Я несу ответственность за крейсер как боевую единицу флота. Мы только что закончили ремонт и можем обратить корабль в инвалида, пропороть днище... оборвать винты... Я... я не могу взять на себя такой риск.

Артиллерист злорадно и весело кашлянул. Это было явное поощрение командиру. Но Белышев оставался спокоен, хотя мысль работала быстро и ожесточенно. Он

понимал, что командир сделал ловкий ход в политической игре. Это было похоже на любимую игру в домино, когда противник нежданно поставит косточку, к которой у другого игрока нет подходящего очка. Можно, конечно, обозлиться, смешать косточки и прекратить игру, вызвав на подмогу команду, пригрозить. Но хороший игрок так не поступает, а Белышев играл в «козла» отменно.

Он только искоса взглянул на артиллериста, и кашель завяз у того в горле.

Потом, обращаясь к командиру, Белышев произнес, напирая на слова:

— Соображение насчет фарватера считаю правильным.

Офицеры переглянулись: неужели комиссар сдаст?

Но радость оказалась преждевременной. Сделав паузу, Белышев продолжал:

— Крейсером рисковать нельзя, товарищ старлейт. Мы за него оба отвечаем. И я под расстрел тоже не охотник... Но приказ есть приказ. Мы должны передвинуться к мосту. Через полчаса фарватер будет промерен и обвехован...

Он с трудом удержался от победоносной усмешки. Удар был рассчитан точно. Командир проиграл. Ему некуда было поставить свою косточку. Он безнадежно оставался «козлом». В кают-компании стало невыносимо тихо...

Белышев взял бескозырку и пошел к выходу. На пороге остановился и, оглядев растерянные лица офицеров, строго и резко закончил:

— Предлагаю от имени комитета товарищам командирам до окончания промера не выходить на палубу.

— Это что же? Арест? — вскинулся артиллерист.

— Ишь какой скорый! — засмеялся Белышев.— Зачем? Нужно будет — успеем. Просто дело рискованное. Могут внезапно обстрелять, а я за вас, как за специалистов, вдвойне отвечаю. До скорого...

Дверь кают-компании захлопнулась за ним. Офицеры молчали. Это молчание нарушил штурман. Он покачал головой и, как бы разговаривая с самим собой, сказал вполголоса:

— А молодцы большевики, хоть и сукины дети!

Шлюпка покачивалась на черной воде у правого трапа. Расставив вооруженных матросов по левому борту,

обращенному к территории завода, осмотрев лично пулеметы и приказав внимательно следить за всяким движением на берегу, Белышев перешел на правый борт к трапу. Четверо гребцов спускались в шлюпку. На площадке трапа стоял секретарь судового комитета сигнальщик Захаров, застегивая на себе пояс с кобурой. На груди у него висел аккумуляторный фонарик, заклеенный черной бумагой с проколотым в ней иглой крошечным отверстием. Узкий, как вязальная спица, лучик света выходил из отверстия.

— Готов, Серега? — спросил Белышев, кладя руку на плечо Захарова.

— А раньше? — ответил Захаров любимой прибауткой.

— Гляди в оба. На подходе к мосту будь осторожней. Я буду на баке у носового. Если обстреляют, пускай ракету в направлении, откуда ведут огонь. Тогда мы ударим. Ну, будь здоров.

Они крепко сжали друг другу руки. Много соли было съедено вместе в это горячее время. И вот веселый, лихой парень, товарищ и друг, шел на тяжелое дело за всех, где его могла свалить в ледяную воду белая пуля.

У Белышева защекотало в носу. Он быстро отошел от трапа. Шлюпка отделилась от борта и беззвучно ушла в темноту. Комиссар прошел на полубак. Длинный ствол носовой шестидюймовки, задравшись, смотрел в чернильное небо. Чуть различимые в темноте силуэты орудийного расчета жались друг к другу. Ночь дышала тревогой. Белышев прошел к гюйсштоку. Неразличимая пустыня воды глухо шепталась перед ним. За ней лежал город, чудовищно огромный, плоский, чужой и враждебный. Город лощеных проспектов, дворцов, город гвардейских шинелей с бобровыми воротниками, город министерских карет и банкирских автомобилей. Город, вход в который был свободен для породистых собак и закрыт для нижних чинов. Белышев чувствовал, как этот город дышит ему в лицо всей своей гнилью и проказой. Этот город нужно было уничтожить, чтобы на месте его создать новый — здоровый, ясный, солнечный, широко открытый ветрам и людям.

Набережные были темны. Фонари не горели. Зыбкие и смутные тени передвигались за гранитными парапетами. Вдалеке, очевидно с петропавловских верков, полосовал иглу бледно-синий меч прожектора. Он то взлетал ввысь, то рушился на воду, и тогда впереди проступали

четкие разлеты мостовых арок и вода стекленела, светясь.

Шаги сзади оторвали Белышева от созерцания. Он оглянулся. Член судового комитета Белоусов торопливо подошел к нему.

— Сейчас захватил в машинном кубрике эсеровского гада Лещенко. Разводил агитацию.

— Где? — спросил Белышев, срываясь.

— Не беспокойся. Забрали и засунули в канатный ящик. Пусть там тросам проповедует.

— Смотрите вовсю. Чтоб не выкинули какой-нибудь пакости,— сурово сказал Белышев.

— Комиссар, шлюпка возвращается,— доложил сигнальщик, острые глаза которого увидели в ночной черноте слабые очертания маленькой скорлупки.

— Ну хорошо... А то уж я боялся за Серегу,— мягко и ласково сказал комиссар и направился к трапу.

Со взятой у Захарова картой промера фарватера, влажной от дождевой воды и речной сырости, Белышев вернулся в кают-компанию. Едва взглянув на офицеров, комиссар понял — за время его отсутствия в кают-компании произошли какие-то события и офицерское настроение сильно изменилось. Офицеры уже не были похожи на кур, долго мокших под осенним ливнем. Они выпрямились, подтянулись, и в них чувствовалась какая-то решимость. Казалось, они опять стали военными.

Это удивило и встревожило комиссара. Но, не давая понять, что он обеспокоился переменой, Белышев спокойно направился прямо к командиру и положил на стол перед ним карту.

На промокшей бумаге лиловели сложные зигзаги химического карандаша, которым Захаров прочертил линию благоприятных глубин.

— Вот,— сказал Белышев,— фарватер есть! Не ахти какой приятный, конечно. Можно сказать, не фарватер, а гадючий хвост. Ишь как крутится. Но между прочим, по всей провехованной линии имеем от двадцати до двадцати трех футов. В старое время штурмана друг другу полдюйма под килем желали, а у нас просто раздолье. С хорошим рулевым вывернемся. Начинайте съемку.

Командир встал, оперся обеими руками на стол и шумно вздохнул:

— Офицеры имели возможность обсудить положение и уполномочили меня сообщить...

Тут командир захлебнулся словом и замолчал. Белышев с усмешкой смотрел на его пляшущие по скатерти пальцы.

— Ну, что же господа офицеры надумали?

Командир вскинул голову, как будто его ударили кулаком под челюсть. Мгновенно покраснев до шеи и стараясь смело смотреть в глаза Белышеву, он сказал:

— Поскольку мы понимаем, что перевод крейсера к мосту является одним из актов намеченного политическими партиями плана захвата власти, офицеры крейсера, готовые в любое время выполнить свой боевой долг в отношении внешнего врага, считают себя не вправе вмешиваться в политическую борьбу внутри России. Поэтому... вследствие этого мы...— командир начал запинаться,— мы заявляем, что в этой борьбе мы соблюдаем нейтралитет...

— Так... так...— сказал Белышев беззлобно, кивая головой, и командир покраснел еще гуще.

— Мы ни за какую политическую партию... Мы за Россию... Мы против большевиков тоже выступать не будем.

Белышев сделал шаг вперед и положил свою тяжелую ладонь на плечо командира. От неожиданного этого прикосновения лейтенант вздрогнул и молниеносно сел, как будто он был гвоздем и сильный удар молотка с маху вогнал его в кресло. Было ясно, что он испугался.

— Еще бы вы против большевиков выступили! Я так думаю, что у вас и против своей тещи пороху не хватит,— презрительно, но так же беззлобно обронил комиссар и, помолчав немного, покачал головой: — Эх-ма... а я-то думал, что вы все-таки офицеры. А вы вроде как мелкая салака...

— Ну, ну... комиссар. Просил бы полегче,— ехидно вставил артиллерист.— Посмотрим, какая из тебя осетрина выйдет.

То, что артиллерист не трусил, понравилось комиссару. Озлобления у офицеров явно не было. Была полная и жалкая растерянность, которой сами офицеры стыдились. И то, что артиллерист обратился к комиссару на «ты», тоже было неплохим признаком. Пренебрежительное выканье было бы хуже. Ясно одно: офицеры помогать не станут, но и мешать не рискнут. Белышев усмехнулся артиллеристу.

— Навару с меня в ухе, конечно, поменьше, чем с тебя будет,— кивнул он, тоже обращаясь на «ты» и как бы испытывая этим настроение. Если артиллерист

обидится, значит, он, Белышев, ошибся насчет настроения. Но артиллерист не реагировал. Тогда комиссар отошел к дверям, захватив карту.

— Поскольку разговор зашел за нейтралитет, команда не считает нужным применять насилие. Вольному воля, а вам, господа офицеры, до выяснения обстоятельств придется посидеть под караулом. Прошу прощения... Что же касается корабля, авось сами справимся. Счастливо!..

Была полночь. На баке глухо зарокотал якорный шпиль, и канат правого якоря, заведенного в реку, натягиваясь, вздрагивая, роняя капли, медленно пополз в клюз.

Белышев стоял на мостике. Отсюда лежащий под ногами корабль казался громадным, враждебно настороженным, поджидающим промаха комиссара. Желтый круг от лампочки падал на штурманский столик, на карту промера. Темный профиль Захарова, склонившегося над картой, четко выделялся на бумаге. Карандаш в крепких пальцах Захарова медленно полз по фарватерной линии и, казалось, готов был сломаться.

— Нет! — сказал вдруг комиссар злобно и решительно.— Не выйдет эта чертовщина...

— Ты про что? — Захаров оторвался от карты и поглядел на Белышева.

— Пойми ты, чертова голова: если запорем корабль, что тогда делать станешь?

Захаров промолчал.

— А что будешь делать, если не выполним приказ Совета? Одно на одно... Так выходит — риск благородное дело... Да ты не дрейфь, Шурка! Рулевых я лучших поставил. Орлы, а не рулевые. А я как-нибудь управлюсь. Насмотрелся за четыре года на дело, невесть какая мудрятина по ровной воде корабль провести.

Белышев выругался. Действительно, другого выхода не было. Если Серега берется — может, и выйдет. Парень он толковый.

Мостик затрепетал под его ногами. Очевидно, в машинном отделении проворачивали машину. Знакомая эта дрожь, оживлявшая крейсер, делавшая его разумным существом, ободрила комиссара. Он подошел к машинному телеграфу, нажал педаль и вынул пробку из переговорной трубы.

— Василий, ты? Здорово... Сейчас тронемся. Слушать команду внимательно!..

Крейсер уже отделился носом от стенки. Вода медленно разворачивала его поперек реки. Пора было давать ход. Белышев перевел ручку машинного телеграфа на «малый вперед». Палуба снова вздрогнула. В это мгновение на мостик выскочил из люка вооруженный винтовкой матрос.

— Товарищ комиссар... Белышев! — закричал он.

— Чего орешь? — недовольно отозвался комиссар.— Тишину соблюдай.

— Товарищ комиссар! Арестованный командир просит немедленно прийти к нему.

— Черта ему, сукиному сыну, надо! — выругался Белышев.— Скажи — некогда мне к нему таскаться. Пусть ждет, пока операция кончится. Раньше надо было думать.

Матрос замялся.

— Как бы чего не вышло, Белышев,— сказал он, потянувшись к уху комиссара.— Вроде, понимаешь, как не в себе командир. Плачет...

— Тьфу, анафема! — сплюнул Белышев.— Волоки его, гада, сюда. Сам понимаешь, не могу уйти с мостика.

Матрос нырнул в люк. Крейсер забирал ход, выходя на середину реки. Кругом была непроглядная тьма. Голос Захарова сказал рулевым:

— Вон Исаакия макушка поблескивает. На нее правь пока... Одерживай!

— Есть одерживать! — в один голос отозвались рулевые.

Минуту спустя на мостике появился командир в сопровождении конвоира. Шинель командира была расстегнута, фуражка висела на затылке. Даже в темноте глаза командира болезненно блестели.

— Я не могу,— заговорил он еще на ходу,— я не могу допустить аварии корабля. Я люблю свой корабль, я... Я помогу вам привести его к мосту, но после этого прошу освободить меня от дальнейшего участия в военных действиях...

Белышев смотрел на искаженное лицо, слабо освещенное отблеском лампочки над штурманским столиком. Он хорошо понимал командира. Он мог бы много сказать ему сейчас. Но разговаривать некогда. В конце концов и это большая победа. И Белышев просто сказал:

— Ладно... Вступайте!..

Лейтенант шатнулся, всхлипнул, но через секунду

выпрямился, и голос его зазвучал командирски уверенно, когда он скомандовал рулевым, наклонившись над картой:

— Лево руля!.. Так держать!..

На середине реки внезапно налетел ветер и хлынул проливной дождь. Все закрылось серой сетью мечущихся нитей. С мостика не стало видно полубака.

Сигнальщики, подняв воротники бушлатов, поминутно протирали глаза. Крейсер, извиваясь по фарватеру, медленно полз вперед. Мост должен был быть совсем близко, но впереди лежала та же непроглядная серая муть. Того и гляди, «Аврора» врежется в пролет.

— Мо-ост! — диким голосом рявкнул первый, угадавший в темени смутные очертания быков.

— Тише! — шикнул Белышев.— Весь город всполошишь.

Под рукой командира зазвенел машинный телеграф. Сначала «самый малый», потом «полный назад». Судорога машин потрясла крейсер.

— Отдать якорь!

Тяжелый всплеск донесся спереди. Резко и пронзительно завизжал ринувшийся вниз якорный канат. «Аврора» вздрогнула и остановилась.

Командир отошел от тумбы телеграфа и, закрыв лицо руками, согнувшись, пошел к трапу. Белышев не останавливал его. Теперь командир был не нужен.

— Прожектор на мост! — приказал комиссар.

Над головой на площадке фор-марса зашипело, зафыркало, замигало синим блеском. Стремительный луч рванулся вперед, прорывая дождевую мглу. Выступили быки и фермы. Слева у берега крайний пролет был пуст.

— Разведен,— злобно вымолвил Белышев, стиснув зубы и сжимая в кармане наган. Он вспомнил фразу из приказа Совета: *«...восстановить движение всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами»*. Он шумно вздохнул и посмотрел вниз на поднявшиеся стволы носовых пушек. Они застыли, готовые к бою.

Белышев поднял к глазам тяжелый ночной бинокль. В окулярах мост выступил выпукло и совсем близко. Стоило вытянуть руку, и можно было коснуться мокрого железа перил. За ними жались ослепленные молнией прожектора маленькие фигурки в серых шинелях. Комиссар различал даже желтые вензеля на белых погонах гвардейских училищ.

Он выпустил бинокль и снял с распорки мегафон. Приставил его ко рту.

— Господа юнкерье,— рычало из раструба мегафона,— именем Военно-революционного комитета предлагается вам разойтись к чертовой матери, покуда целы. Через пять минут открываю по мосту орудийный огонь.

На мосту мигнул огонек и ударил едва слышный одинокий выстрел. Пряча усмешку, Белышев увидел, как юнкера кучкой бросились к стрелявшему и вырвали у него винтовку. Потом, спеша и спотыкаясь, они гурьбой побежали к левому берегу, к Английской набережной, и их фигуры потонули там, слизанные тьмой. Мост опустел.

— Вот так-то лучше, — засмеялся комиссар, поведя плечами.— Тоже вояки не нашего бога.

Он повернулся к Захарову и властно, как привыкший командовать на этом мостике, приказал:

— Вторую роту наверх с винтовками и гранатами. Катера на воду. Высадить роту и немедленно навести мост.

Запел горн. Засвистали дудки. По трапам загремели ноги. Заскрипели шлюпбалки. Вытянувшись по течению в пронизанном нитями ливня мраке, «Аврора» застыла у моста, неподвижная, черная, угрожающая.

День настал холодный и ветреный. Нева вздувалась. Навстречу тяжелому ходу ее вод курчавились желтые пенистые гребни. Летела срываемая порывами вихря водяная пыль.

Город притих, обезлюдевший, мокрый. На улицах не было обычного движения. С мостика линии Васильевского острова казались опустелыми каменными ущельями.

С левого берега катилась ружейная стрельба, то затихая, то снова разгораясь. Иногда ее прорезывали гулкие удары — рвались ручные гранаты. Однажды звонко и пронзительно забила мелкокалиберная пушка, очевидно с броневика. Но скоро смолкла.

Это было на Морской, где красногвардейские и матросские отряды атаковали здание главного телеграфа и телефонную станцию.

С утра Белышев беспрерывно обходил кубрики и отсеки, разговаривая с командой. Аврорцы рвались на берег. Им хотелось принять непосредственное участие в бою. Стоянка на мосту, посреди реки, раздражала и волновала матросов. Им казалось, что их обошли и забыли, и стоило немало труда доказать рвущимся в бой людям, что крейсер представляет собой ту решающую силу, которую пустят в дело, когда настанет последний час.

Среди дня по Неве мимо «Авроры» прошла вверх на буксире кронштадтского портового катера огромная железная баржа, как арбузами набитая военморами. Команда «Авроры» высыпала на палубу и облепила борты, приветствуя кронштадтцев, земляков и друзей. На носу баржи играла гармошка и шел веселый пляс, оттуда громадный, как памятник, красивый сероглазый военмор гвардейского экипажа закричал:

— Эй, аврорские! Что лаптем щи хлебаете? Отчаливайте на берег с Керенским танцевать!

Баржа прошла под мост с гамом, присвистом, с отчаянной матросской песней и пришвартовалась к спуску Английской набережной. Военморы густо посыпали из нее на берег. Аврорцы с завистью смотрели на разбегающихся по набережной дружков. Но покидать корабль было нельзя, и команда поняла это, поняла свою ответственность за исход боя.

С полудня Белышев неотлучно стоял на мостике. С ним был Захаров и другие члены судового комитета. Офицеры отлеживались по каютам, и у каждой двери стоял часовой.

В два часа дня запыхавшийся радист, влетевший на мостик, ткнул в руки Белышева бланк принятой радиограммы. Глаза радиста и его щеки пылали. Белышев положил бланк на столик в рубке и нагнулся над ним. Через его плечо смотрели товарищи. Глаза бежали по строчкам, и в груди теплело с каждой прочтенной буквой:

«Всем, всем, всем! Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов — Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона.

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства, это дело обеспечено.

Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!»

Белышев выпрямился и снял бескозырку. С обнаженной головой он подошел к обвесу мостика. Под ним на полубаке стояла у орудий не желавшая сменяться прислуга. По бортам лепились группы военморов, оживленно беседующих и вглядывающихся в начинающий покрываться сумерками город.

С точки зрения боевой дисциплины это был непорядок. Боевая тревога была сыграна еще утром, и на палубе не полагалось быть никому, кроме орудийных расчетов и аварийно-пожарных постов. Но Белышев понимал, что сейчас никакими силами не уберешь под стальную корку палуб, в низы, взволнованных, горящих людей, пока они не узнают главного, чего они так долго ждали, ради чего не покидают верков, не замечая времени, забыв о пище.

Он вскочил на край обвеса, держась за сигнальный фал:

— Товарищи!

Головы повернулись к мостику. Узнав комиссара, команда сдвинулась к середине корабля. Задранные головы замерли неподвижно.

— Товарищи,— повторил Белышев, и голос его сорвался на мгновение.— Временное правительство приказало кланяться... Большевики взяли власть! Советы — хозяева России! Да здравствует Ленин! Да здравствует большевистская партия и наша власть!

Сотней глоток с полубака рванулось «ура», и, как будто в ответ ему, от Сенатской площади часто и трескуче отозвались пулеметы. Было ясно, что там, на берегу, еще дерутся. Белышев сунул бланк радиограммы в карман.

— Расчеты к орудиям! Лишние вниз! Все по местам!

Команда хлынула к люкам. Скатываясь по трапам, аврорцы бросали последние жадные взгляды на город. Полубак опустел. Носовые пушки медленно повернулись в направлении доносящейся стрельбы, качнулись и стали.

Опять наступила чернота октябрьской ветреной ночи. От Дворцового моста доносилась все усиливающаяся перестрелка. Черной и мрачной громадой выступал за двумя мостами Зимний дворец. Только в одном окне его горел тусклый желтый огонь. Дворец императоров казался кораблем, погасившим все огни. кроме кильватерного, и приготовившимся тайком сняться с места и уйти в последнее плаванье.

Судовой комитет оставался на мостике. Офицеры попрежнему сидели под арестом, кроме командира и вахтенного мичмана. Командир, прочтя радиограмму, сказал, что, поскольку правительство пало, он считает возможным приступить к выполнению обязанностей. Мич-

ману просто стало скучно в запертой каюте, и он попросился наверх, к знакомому делу.

Стиснув пальцами ледяной металл стоек, Белышев не отрываясь смотрел в сторону петропавловских верков, откуда должна была взлететь условная ракета. По этой ракете «Авроре» надлежало дать первый холостой залп из носовой шестидюймовки.

Там было темно. Когда от дворца усиливался пулеметный и винтовочный треск, небо над зданиями розовело, помигивая, и силуэты зданий проступали четче. Потом они снова расплывались.

Сзади подошел Захаров.

— Не видно? — спросил он.

— Нет,— ответил Белышев.

— Скорей бы! Канителятся очень.

Белышев ответил не сразу. Он посмотрел в бинокль, опустил его и тихо сказал Захарову:

— Пройди, Серега, к носовому орудию, последи, чтоб на палубе не было ни одного боевого патрона. Потому что приказано, понимаешь, дать холостой, а ни в каком случае не боевой. А я боюсь, что ребята не выдержат и дунут по-настоящему.

Захаров понимающе кивнул и ушел с мостика. Белышев продолжал смотреть.

Вдруг за Дворцовым мостом словно золотая нитка прошила темную высь и лопнула ярким, бело-зеленым сполохом.

Белышев отступил на шаг от обвеса и взглянул на командира. Глаза лейтенанта были пустыми и одичалыми, и Белышев понял, что командир сейчас не способен ни отдать приказания, ни исполнить его. Мгновенная досада и злость вспыхнули в нем, но он сдержался. В конце концов, что требовать от офицера? Хорошо и то, что не сбежал, не предал и стоит вот тут, рядом.

И, ощутив в себе какое-то новое, не изведанное доселе сознание власти и ответственности, Белышев спокойно отстранил поникшую фигуру лейтенанта и, перегнувшись, крикнул на бак властно и громко:

— Носовое... Залп!

Соломенно-желтый блеск залил полубак, черные силуэты расчета, отпрянувшее в отдаче тело орудия. От гулкого удара качнулась палуба под ногами. Грохот выстрела покрыл все звуки боя своей огромной мощью.

Прислуга торопливо заряжала орудие, и Белышев приготовился вторично подать команду, когда его схватил за рукав Захаров:

— Отставить!

— Что? Почему? — спросил комиссар, не понимая, почему такая невиданная улыбка цветет на лице друга.

— Отставить! Зимний взят! Но наш выстрел не пропадет. Его никогда не забудут...

И Захаров крепко стиснул комиссара горячим братским объятием.

Внизу по палубе гремели шаги. Команда вылетала из всех люков, и неистовое «ура» катилось над Невой, над внезапно стихшим, понявшим свое поражение старым Петроградом.

1938

ЮРИЙ ИНГЕ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Рассказ

Трое суток Иван Авдеич не может попасть домой. Он вспоминает свою деревянную широкую постель под ситцевым пологом, опрятные старенькие половики, герань в облупленных эмалированных кастрюльках, ходики, деловито стрекочущие в тишине субботнего вечера, и сладкая дремота охватывает его тело. Он щурится, шумно зевает, прикрывая рот большой красной рукой с желтыми от махорки пальцами. Эх, поспать бы!

— В сто двадцатую как пройти, товарищ?

Иван Авдеич вздрагивает, широко раскрывает глаза и звякает прикладом об пол. Лицо сразу становится хмурым и пытливым.

— Только по пропускам, товарищ, — отвечает он матросу.

— Мне в ревком надо.

— Туда всем надо. Без пропуска не могу. Кто такой будешь?

— Второго флотского экипажа сверхсрочный старшина. Да ты, батька, пусти... Я с бумагой.

— Покажи, — говорит Иван Авдеич.

Он обнимает винтовку левой рукой, а правой вынимает из кармана очки в жестяной оправе. Одно стеклышко разбито, железная лапка перевязана суровой дратвой. Иван Авдеич неторопливо зацепляет лапки очков за уши и, водя пальцем по бумаге, читает письмо.

— Правильно. Тебе в ревком. Иди к коменданту за пропуском. Налево вторая дверь.

Трое суток Иван Авдеич стоит в карауле у подъезда Смольного. За оградой грохочут броневики. Комиссары выдают оружие красногвардейцам. Вестовые спешат по лестницам через две ступеньки, помахивая телеграфными бланками.

Иван Авдеич за несколько суток дежурства встретил здесь почти весь башенный цех Путилова завода.

Игнатий Семенович, ворчун, который вечерами не вылезал из-за столика в «Порт-Артуре», что на седьмой версте, Пашка Коротков, виртуоз на биллиарде, Ксенофонт Егорыч, обыгрывавший в «подкидного» всю Богомоловскую...

Даже ребятишки с Емельяновки все здесь. Ванька-Сыч отцу завтрак принес, точно на завод. Старуха щей наварила, благо кое-какие овощи дома нашлись, да прислала пару сушеной рыбы «Анютины глазки». Артелью старики эти щи усидели. У всех в животах урчало. Сын отдал отцу узелок, а сам успел встать в очередь и получить винтовку. Взобравшись на грузовик, он машет отцу:

— Мы на телефонную!

Отец отворачивается. На телефонной будет жаркое дело. Там юнкера.

— Поди-ка сюда, Алешка,— зовет Иван Авдеич соседского сына, ученика с Тентелевки.— Домой пойдешь?

— Не-а!

— Сходи! Ко мне забеги. Узнай, как старуха, а?

Алешка вспрыгивает на грузовик, направляющийся к Нарвским.

— Скоро вернусь!— кричит он из кузова.

В полночь Ивана Авдеича сменяют. Ему поручают внутренний пост в коридоре. Сквозь приоткрытую дверь из комнаты доносятся быстрые, отрывистые шаги, покашливанье и хриплый голос человека, что-то диктующего телеграфисту.

— Точка. Абзац. Пролетариат Питера...

Иван Авдеич стоит у двери навытяжку. Диктующий человек в кожаной куртке продолжает ходить по комнате. То и дело ему приносят пакеты и телеграммы. Человек говорит уже несколько часов подряд, и голос его иногда срывается.

Ивану Авдеичу очень хочется закурить. В кармане он нащупывает кисет, высыпает на ладонь несколько зерен и свертывает цигарку.

Подозрительный человек в военной шинели осторожно крадется к кабинету. На длинном тонком пальце с синеватыми жилками — толстое обручальное кольцо.

— Куда?— преграждает ему дорогу Иван Авдеич.

— А разве нельзя?— насмешливо щурится военный.

— Откуда?

— Я? Так... гражданин.

— Пропуск!

— Тебе пропуск? — Военный быстро сует руку в кар-

ман, но Иван Авдеич приставляет ему штык к груди, прокалывая шинель. — Подымай руки! Подымай вверх руки! Ну!

Подошедший комендант достает из кармана военного браунинг.

— Взять его!

Дверь кабинета растворяется настежь. Человек в кожанке поспешными шагами выходит в коридор. С ним еще несколько человек, вооруженных наганами.

— Вы что, товарищ? — спрашивает человек в кожанке.

— Стою на посту, товарищ комиссар, согласно приказа.

— Откуда вы? — ласково улыбается комиссар.

— С Путилова. Из башенной.

— Идемте! Сейчас здесь вам делать нечего. Все на площадь идут.

Иван Авдеич присоединяется к небольшому отряду, который направляется по Суворовскому проспекту. На каждом перекрестке начальники пикетов останавливают отряд. Дома не освещены и таинственны. Даже аптеки заперты. К отряду примыкают все новые и новые люди. В Смольном остались охрана, телеграфисты и штаб — сердце революции.

— Дядя Иван! А дядя Иван!

Иван Авдеич на ходу оборачивается. Какой-то невысокий человек с огромным ружьем пристраивается к шеренге. На его плохоньком пальтишке горит красный лоскут.

— Алешка! Ну как?

— Пока ничего. Тетя Глаша у вас, бабка Арина. Дежурят.

— Мучается?

— Ага!

— Ну, дай бог, — шепчет Иван Авдеич. До пятидесяти лет дожил он бездетным. Теперь жена его впервые рожает. В ее возрасте это нелегко.

— Рассыпайтесь, товарищи! — командует комиссар.— Пойдем со стороны Конюшенной.

Вдалеке слышится гулкая очередь пулемета.

Под аркой Генерального штаба цепью лежат красногвардейцы. Перед ними сверкают освещенные окна дворца. Там, за филигранными решетками ограды, забитыми поленьями, — враги. Их не видно, но время от времени темноту разрезают стремительные вспышки винтовочных выстрелов.

Иван Авдеич лежит на куче щербатых торцов. Он не был на фронте со времен Ляояна[1], но глаз у него меткий. Вот только стеклышко от очков лопнуло! Черт!

Пальба усиливается. У ворот дворца слышится шум и крики «ура», но «ура» какое-то жидкое, тоненькое. Словно женщины голосят.

— Бабий полк[2] в атаку пошел, — говорит кто-то.

Иван Авдеич требует патронов.

— Патронов мало. Береги!

Иван Авдеич понимает, мазать нельзя.

— Вперед! — кричит комиссар, и цепь подымается. Иван Авдеич бежит, видя спину матроса, недавно приходившего в ревком. Он в передней цепи. Сплошной ливень свинца. Пули бьют в гранитный фундамент Александровской колонны. Дым застилает светлый проспект Невы у Дворцового проезда. Справа от Ивана Авдеича падает токарь из башенной. Иван Авдеич бежит вперед и, обернувшись, видит, что ротам, идущим вслед за головными отрядами, нет конца.

Иван Авдеич врывается во дворец. В пролете лестницы под хрустальными подвесками люстр грохочут пулеметы юнкеров. Лавина красногвардейцев обрушивается на последних защитников дворца.

Где-то на Неве раздается оглушительный выстрел. Юнкера поднимают руки и бросают оружие.

Иван Авдеич с товарищами врывается во дворцовые апартаменты, где его уже встречают улыбающиеся друзья с Богомоловской, Емельяновки и Ушаковской.

И Иван Авдеич снова становится в караул у Комендантского подъезда. Еще чувствуя легкую дрожь в пальцах, он закуривает. Конец! Победа! Ивану Авдеичу кажется, что все это произошло совершенно внезапно. Он еще не может прийти в себя.

— Дядя Иван! Дядя Иван!

Опять Алешка!

— Откуда ты?

— Да я здесь был. В вашем же отряде. Петька явился из-за Нарвской. Тебя с сыном! Все в порядке.

Иван Авдеич вздрагивает, роняет цигарку.

---

[1] Времена Ляояна — Ляоян — город в Северном Китае; имеется в виду Ляоянское сражение во время русско-японской войны, в котором русская армия потерпела поражение.

[2] Бабий полк — имеется в виду женский батальон, которым командовала получившая унтер-офицерский чин в годы первой мировой войны Бочкарева; это подразделение, состоявшее преимущественно из городских мещанок, выступало на стороне Временного правительства.

— Сын! Наследник!

Какой сегодня день! Над дворцом вьется красное знамя, за него в пятом году засекали нагайками. И у него, у Ивана Авдеича, в такой день родился сын!

Человек в кожанке выходит из дворца.

— У меня сын родился, товарищ комиссар, — говорит Иван Авдеич, и глаза его сияют.

— Хороший день рождения, — приветливо отвечает комиссар. — Поздравляю! — И уходит с наганом в руке к Зимней канавке.

Выстрелы постепенно замолкают. Где-то вдали слышится стук копыт о булыжную мостовую. Отрывистый залп, и снова тишина. Скоро утро. На клумбах Александровского сада тонкий ледок сковывает свежую кровь.

Иван Авдеич стоит у Комендантского подъезда, и перед его глазами просторная площадь словно еще гудит отголоском штурма. По площади шагают вооруженные рабочие. На носилках и просто на руках проносят раненых. Около Певческого моста под брезентом убитые. Там лежит и токарь с башенной, который упал около Александровской колонны. Над площадью в дыму утреннего тумана проходят люди с примкнутыми штыками.

— Сын! Сын! — шепчет Иван Авдеич, и делается ему обидно, что этот человек, которому всего несколько часов от роду, не видал своего отца, врывающегося во дворец с винтовкой наперевес.

Иван Авдеич смотрит на арку Генерального штаба и видит возле нее сотни тысяч багровых знамен с золотыми кистями. Он видит себя бок о бок с сыном, они стоят во главе колонны мирных людей...

Иван Авдеич несет знамя, а в руках у сына — огромный букет цветов. Его грудь украшена знаками отличия, и он поет совершенно новую песню, совсем непохожую на песни Нарвской заставы.

Человек в кожанке стоит на трибуне и, улыбаясь, приветствует Ивана Авдеича.

— Здорово, Иван! — кричит он, заглушая звуки фанфар. — Хороший день нынче!

С музыкой идут войска. Сто пятьдесят броневиков, три дивизии пехоты в шинелях отличного сукна, флотский экипаж в лайковых перчатках и конный полк — шашки наголо...

— Авдеич! Авдеич!

Старик вздрагивает и сбрасывает с себя дремоту. Все-таки заснул, не выдержал.

— Отбой, старик! — устало говорит комиссар.—Можно идти домой и выспаться. Тебе на Богомоловскую?

— Ага!

— Ну, значит, попутчики. Пошли!

Они сдают дежурство и отправляются за Нарвскую. Комиссар что-то бормочет и шаркает отяжелевшими ногами по мостовой, закиданной расстрелянными гильзами.

— Идем поскорее! — говорит Иван Авдеич. — Сын у меня!

Пройдя Нарвские ворота, Иван Авдеич чувствует, что ноги его снова окрепли.

— Идем, идем, комиссар! — торопит он спутника.

У заставы еще слышатся одиночные выстрелы.

— Это последние, — смеется Иван Авдеич, — наша взяла.

Он берется за ручку двери и широко распахивает ее.

— Мать!— кричит он.— Показывай первенца!

— Тише, тише, сын спит, — говорит жена.

1938

АЛЕКСЕЙ МУСАТОВ

КАТЕРИНА

Рассказ

Долго ехала Катерина Вишнякова в Питер, к мужу.

Поезд, как казалось Катерине, днем шел осторожно, с опаской, ночью же мчался во весь опор, оглашая топкие поля угрожающим криком, потом, резко и неожиданно затормозив, подолгу стоял на каком-нибудь полустанке.

Пассажиры почти не спали. На остановках они выбегали из вагонов, потом возвращались с серыми газетными листами и, стоя в тамбуре у окон, взволнованно и бурно спорили.

Катерина с детства побаивалась железной дороги, и сейчас возбужденное поведение пассажиров остро тревожило ее, заставляло думать о крушениях, несчастьях, изувеченных людях.

На соседней с Катериной полке ехал светлоглазый старичок, очень подвижный и суетливый. На каждой остановке он выбегал из вагона и, возвратившись, почему-то заговорщически подмигивал Катерине:

— Ну, мать, радуйся...

Катерина сокрушенно вздыхала, но светлоглазый старичок ей чем-то нравился.

«Хорошая душа, простая», — думала она, а потом, достав из узелка хлеб и жареную рыбу, угостила старичка.

Тот сказал:

— Спасибочко, сыт, — но все же подсел ближе и взял кусочек рыбы. — А рыбка хороша... царская... — похвалил старичок, выбирая косточки.

— Архирейская, — поправила Катерина и, заметив удивление старичка, пояснила: — Озеро мы забрали у архирея. Было у нас такое — в нем даже купаться не дозволялось без аренды. Дело-то, правда, не с озера началось, с землицы... Ждали мы, ждали, какое же распоряжение насчет земли выйдет, да и поделили поме-

щикову землю... Вы кушайте рыбку-то, кушайте...— Катерина оглянулась, понизила голос: — А теперь и опасаемся — по округе-то каратели ходят, как в пятом годе... Меня братья потому и в Питер послали, к мужу за советом, — муж-то у меня кузнецом на Путиловском. И что теперь мужику с землей делать?..

Поезд, резко затормозив, вновь остановился. Старичок поспешил к выходу. Вернулся он минут через двадцать.

— Опять в поле стоим... Крушение, что ли, где? — встревоженно спросила Катерина.

— Крушение... Всему, мать, российскому гнету крушение... — Старичок сделал выразительный жест рукой и опять почему-то восторженно подмигнул Катерине.

Наконец к полудню поезд пришел в Петроград.

Катерина, крепко сжимая в руке фанерный чемодан с гостинцами мужу, вышла на площадь.

Моросило. Дул резкий, пронзительный ветер. По улицам шли отряды вооруженных людей. Обдавая прохожих грязью, мчались грузовики, наполненные людьми в кожанках, пиджаках, шинелях.

«И солдат с ружьем и не солдат с ружьем. И что война с народом делает!» — подумала Катерина. Она осторожно пересекла улицу и стала поджидать трамвая.

Катерина дважды была в Питере и знала, как доехать до квартиры мужа. Вот сейчас подойдет трамвай № 4, она сядет поближе к кондуктору, подаст ему бумажку с адресом, и кондуктор укажет, где ей сойти. А там уж совсем недалеко и квартира мужа.

«То-то Василий обрадуется. Только бы застать его дома, не ушел бы он в ночную смену».

...Кондуктор мельком поглядел на бумажку и вернул ее Катерине.

— До заставы не едем.

— Да нет, адресок верный, — не поняла Катерина.

— Говорю, до заставы не едем. Юнкера через мост не пускают.

Катерина растерянно замигала глазами, зачем-то крепче сжала чемодан коленями.

Какая-то женщина посоветовала Катерине пойти пешком:

— Пеших через мост, кажется, еще пропускают.

В переулке стоял извозчик. Лошаденка уныло опу-

стила голову, извозчик схоронился от измороси под поднятым верхом пролетки.

Катерина, вывернув карман юбки, сосчитала оставшиеся у нее деньги и просительно заглянула в пролетку:

— Почтенный, подвезли бы малость... — Она протянула бумажку с адресом.

Извозчик назвал цену.

Катерина укоризненно покачала головой:

— Бога побойтесь... Далеко ли тут ехать.

— Теперь, мать, не с версты берем... Смотри, на улицах заваруха какая.

Катерина медленно побрела к мосту.

Со звонким цоканьем промчался конный отряд вооруженных и хорошо одетых людей. Начищенные до лоска сильные ноги коней обдали пешеходов грязью. Пешеходы отпрянули к тротуару, притиснули Катерину к стене.

Пожилой, рабочего вида человек в тощей засаленной кепке стер со щеки ошметок грязи и зло отплюнулся.

— Катаются... — кивнул он Катерине на конников. — Пусть их напоследочках...

В ту же минуту со стороны моста раздались одиночные выстрелы. Пешеходы повернули от моста назад. Побежали, тесня и толкая друг друга.

Катерина, схватив чемодан, побежала вместе со всеми. Сосед в кепке ухватил ее за рукав:

— Сомнут же, мамаша... Давай-ка сюда. — Он почти силой втащил ее в открытые ворота какого-то дома.

— Похоже, матросы юнкеров с моста выбивают. Понятное дело... Я ж говорю, покатались и хватит...

Ветер сипло выл под аркой дома. Катерина зябко куталась в отсыревшую одежонку.

— На фронте война, в деревне у нас драка, и у вас в Питере из ружей палят — и когда конец этому будет?

Человек в кепке не слушал. Поднявшись на носках, он напряженно смотрел в сторону моста, ждал исхода перестрелки. Выстрелы у моста участились.

— Да... Крепко схватились... Пойдем, мамаша... Тебе куда? За мост?

— Туда... к мужу приехала. Муж у меня на Путиловском... кузнец...

— Ну так ищи по новому адресу. Сегодня у всех новая профессия — Зимний гвоздить будем.

Человек в кепке провел Катерину проходным двором и посоветовал пробраться к квартире мужа через дру-

гой мост, который еще с вечера заняли красногвардейцы.

Катерина шла и шла. Часто встречались патрули, заставляли возвращаться обратно, колесить по переулкам, Катерина устала, продрогла, чемодан казался непомерно тяжелым.

Переулок вывел Катерину на какую-то широкую улицу. На торцовой мостовой толпилось много матросов, солдат, рабочих с ружьями и без ружей. Вдруг Катерина услыхала песню.

Посредине улицы шел отряд Красной гвардии. Молодые рабочие обмотались крест-накрест пулеметными лентами, за поясом торчали наганы, пожилые легко несли за плечами винтовки; карманы были туго набиты патронами.

Песню вели сосредоточенно, негромко, но сильно, и боевые памятные слова ее звучали в эту минуту особенно проникновенно:

Свергнем могучей рукою
Гнет роковой навсегда
И водрузим над землею
Красное знамя труда!

Катерина выпустила из рук чемодан, забыла про холод, про моросящую водяную пыль и слушала, слушала. Ведь эту же песню мужики пели в деревне, после того как разделили землю помещика Репинского.

В толпе стало тихо.

— Хорошо путиловцы поют... С верой... — сказал кто-то рядом с Катериной.

Катерина вздрогнула, и вдруг ей показалось, что в середине отряда шагает муж.

Она кинулась вслед за отрядом. Ну да... это он, Василий. Широкие плечи, примятый порыжевший картуз, пушистые усы...

— Вася! Василь Митрич... — крикнула Катерина. Она бежала вдоль тротуара, толкала людей чемоданом, пока не прорвалась через толпу к отряду. Но муж был уже далеко.

Неожиданно кто-то ухватил ее за руку:

— Тетя Катя... — Это был подручный Василия по работе, живший с ним в одной комнате. — Что такое?.. Откуда?

— Миша... господи, что вы тут с Василием делаете?

— Гм... Зимний идем брать... революцию делаем...

— Ружья, ружья-то зачем?

— Говорю ж, Керенского вышибать будем... А вот ты зачем здесь?

— К Василию приехала... Дело есть... Миша, да какие же вы солдаты с Василием?..

— Теперь все солдаты...

— Мишенька... Убьют же вас... — Катерина цепко ухватила Мишу за рукав.

Тот, заметив недоуменные взгляды соседей, разжал вцепившиеся руки Катерины и легонько оттолкнул ее.

— Тетенька... идите домой... я ж через вас с ноги сбился... идите!

Сквозь слезы Катерина видела, как Миша, обернувшись, кивнул ей головой, потом поправил пулеметные ленты на груди и выровнял шаг.

— Тоже на Зимний, мамаша? — засмеялся какой-то матрос, ударившись коленкой о Катеринин чемодан.

— Она в распоряжение Смольного...—подхватил шутку другой матрос.

— Вы это оставьте... веселые, — подошел к матросам рослый бородатый солдат. — Видите, баба с колеи сбилась. Слушай, мать, куда тебе к дому-то?

— За мост надо... К мужу из деревни приехала, а он...

— Как там у вас? — Солдат придвинулся ближе. — Сиротно?

— Муторно. Правды нет, хлеба нет...

— А земля, земля у кого?

— У кого земля? — вытерла Катерина слезы. — У кого была, у того и осталась — у помещика Репинского. И он, этот помещик Репинский, над нами же издевку устраивает: луга не косит, коров удойных на мясо бьет, рожь скотом травит: «Мое добро... я ему бог, я ему царь...» А у мужика, сами знаете, сердце какое...

— Ну... — торопил солдат.

— Именье и подпалили... рожь по едокам роздали... Землицу тоже по едокам.

Солдат повеселел лицом, поправил шапку, победно посмотрел на подошедших товарищей:

— Гоже... толково поступили, толково... Да вам же теперь жить не тужить...

— Жить бы можно, — вздохнула Катерина, — да вот бумагу из волости прислали — вернуть все добро помещику...

— Обратно? — поразился солдат.

— А не вернешь, карателей пришлют. В Родниках, говорят, мужикам за самоуправство каратели такое прописали... чище пятого года.

— Родники... это какого будет уезда? — быстро и глухо спросил солдат.

Катерина назвала уезд.

— Тверской губернии?

— Тверской.

Солдат вдруг торопливо начал свертывать папироску — бумажка на закурку оторвалась неровным клином. Солдаты кругом переглянулись.

— Вот тебе и весточка с родины, — тихо сказал белобрысый солдат.

Зазвучали отдаленные выстрелы. Начало смеркаться. Передали команду строиться. Бородатый солдат взял Катерину за плечи:

— Мамаша, на мост вот этим переулочком выбирайся. А у нас тут последний разговор будет с временными... Про все разговор... и о земле, между прочим. — И солдат, зло вскинув на плечо винтовку, встал в строй.

Катерина долго провожала глазами уходящие к Зимнему отряды красногвардейцев и солдат, вытирала слезившиеся от холода глаза и шептала:

— Поговорите там, ребята, сурьезно поговорите.

Перестрелка вдали стала чаще, злее.

Катерина не помнила, сколько времени проблуждала она по переулкам, а к мосту так и не могла пробраться.

Усталая, она присела у подъезда высокого, из серого камня дома.

Вдоль панели молодой паренек вел под руку пожилого человека и уговаривал его:

— Пусти винтовку-то, Трофимыч...

— Обидно-то как, парень... — жаловался Трофимыч. — Два раза всего и пальнул по юнкерам, и подбили меня, свинячьи дети...

Трофимыч вдруг покачнулся и всем телом навалился на паренька. Тот оглянулся по сторонам, заметил прикорнувшую у подъезда женщину и позвал:

— Тетка, помогай...

Катерина подошла.

— Миша, опять ты,— перепугалась она, узнав в пареньке подручного своего мужа. — Кого это постреляли? Васю?..

— Жив Вася... Трофимыча юнкера подбили.

Вдвоем они донесли раненого до подъезда, положили на ступеньки. Катерина наклонилась.

Трофимыч глухо мычал от боли.

— В дом бы внести... — вслух подумала Катерина.

— Далеко дом, верст пять... кровью изойдет...

— Да вот дверь... стучи...

Миша смущенно оглядел высокий подъезд, тяжелую резную дверь, массивную литую ручку.

— Стучи, стучи... худо ж человеку. — Катерина заметила нерешительность Миши и осердилась: — Тоже «Революцию делаю...» И зачем тебе ружье дали? — Она поднялась и постучала в дверь кулаком.

Долго не открывали.

Тогда, осмелев, Миша грохнул в дверь подбитым подковками каблуком.

Дверь наконец приоткрыл дряхлый седой швейцар и заявил, что пускать никого не велено.

— Именем революции... — высоким срывающимся голосом крикнул Миша и потянул дверь к себе. — Открывай, открывай!

Вдвоем с Катериной они внесли Трофимыча в переднюю, положили на диван.

Катерина раздобыла воды, достала из чемодана холщовое полотенце, что везла Василию, скоро и ладно сделала перевязку.

Трофимыч слабым голосом бормотал:

— Вот жалость какая... подбили... — Потом забылся.

— А ты нишкни... всех не побьют... там еще Василий мой... — утешала Катерина и, заметив с беспокойством заглядывающего в окно Мишу, кивнула ему:

— А ты ступай... доделывай дело-то... Я покараулю тут.

— И то, тетя Катя, —обрадовался Миша, взял Трофимычеву винтовку и шагнул к выходу. От двери строго погрозил стоящему в углу швейцару: — Ты наших тут не обижай... Я еще вернусь.

Катерина сидела у изголовья Трофимыча, думая о Василии, Мише, бородатом солдате с улицы, о всем сегодняшем редком, незабываемом дне.

Незадолго до полуночи «Аврора» ударила по Зимнему. Загрохотали пушки с Петропавловской крепости.

— По дворцу бьют, — перекрестился швейцар и дрожащими руками принялся затягивать окна шторами.

— Погоди завешивать-то,— припала Катерина к окну.

...Далеко за полночь Миша привел Василия.

— Гляди и радуйся... Красная сестра милосердия. — Он показал на Катерину.

— Живой... Вася... целый?

Василий засмеялся, обнял жену:

— Ну, Катя, поцелуемся... с праздничком тебя... каюк Временному...

— С утра до тебя добираюсь, Вася, — пожаловалась Катерина. — С ног сбилась... Я к тебе от мужиков... с поручением. Да ты проголодался, поди?

Катерина выложила на стол рыбу, хлеб.

— Те-те... А рыбка-то знакомая, — испробовав рыбы, удивился Василий. — Да ведь это ж карп из архирейского озера. Каким это манером, Катя?

— Да уж таким. Позабрали мы озеро...

— И правильно сделали. Ну а землю?

— И землю... Мне, Вася, лошадь с барской конюшни выдали — сытую, холеную; Лукашке, брату, плуг достался... Вот опасаемся только, как бы каратели не понаехали... В Родниках мужикам за самоуправство они тоже прописали...

— Какие теперь каратели? — осердился Василий. — Мы что ж, в шутку Зимний-то брали? — Василий поднялся, поправил усы. — Вот что, Катя! Поедешь с Мишей домой. И Трофимыча отвезете. А я в Смольный... Там сейчас съезд начинается... рабочих и крестьян. Ленин говорить будет... о мире, о земле...

— Ленин! — всполошилась Катерина. — Мужики тоже и о Ленине просили узнать. Вася... — она льстиво заглянула мужу в глаза, —хоть бы одним глазком глянуть... какой он из себя.

— Ой хитра, — крякнул Василий. — Где же я тебе пропуск в Смольный достану? — Но, заметив умоляющие глаза жены, нахмурился и махнул рукой: — Давай, пошагали. Еще опоздаем...

1938

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ

РАССКАЗЫ ОБ ОКТЯБРЕ

В ОХОТНОМ РЯДУ

Пушечный выстрел, что прогремел на Скобелевской площади перед рассветом, был как сигнал. На выстрел испуганно ответили винтовки в Охотном ряду, на Воскресенской и Красной площадях, у Лубянки и дальше, где-то у Крымского моста. Зловещие молнии запрыгали по низким облакам. Из Замоскворечья протянулся длинный луч прожектора; точно белый меч, он пронзил облака, угрожающе закачался над городом и упал на гребни крыш. Возле Кремля отчаянно застрекотал пулемет. В ответ отозвались пулеметы на Лубянке, в Охотном ряду. Москва сердито загудела в громе выстрелов. Гром разбудил спящих. В предрассветной мути у всех ворот, во всей необъятной Москве зачернели фигуры, везде послышались тревожные голоса. От окраин как-то очень быстро к центру потянулись группы вооруженных рабочих и помчались грузовики, переполненные солдатами. Солдаты стояли на машинах плечом к плечу, винтовки вразнобой торчали над их головами и угрожающе смотрели во все стороны. Машины мотали солдат из стороны в сторону и были похожи на вазы с огромными темно-серыми цветами. С Пресни, с Тверской, от Сокольников, от Крестовской заставы, от Лефортова — со всех сторон шли, ехали, бежали солдаты, рабочие, еще не совсем проснувшиеся, но уже с буйством и решимостью в глазах. Резкие, вызывающие крики повисли над улицами:

— Ага-га-га!

— Не выдавай!

— Бей буржуев!

— Урра!

Так орали вслед автомобилям, мчавшим солдат к центру.

И с автомобилей отвечали грозным ревом. По главным улицам к центру, точно кровь по венам к сердцу,

катилась страшная сила. И в неудержимом стремлении она вываливалась, как в воронку, на Страстную площадь, а уже отсюда — через жерло воронки — в узкую Тверскую улицу к старинному генерал-губернаторскому дому, где находился Совет.

Еще с ночи на Страстной площади была поставлена цепь, не пропускавшая обывателей к Совету. Сперва попробовали опрашивать и рабочих, когда они добирались до Страстной площади, и даже солдат, какой они части. Могло случиться, что под видом рабочих или солдатского отряда к Совету прошли бы враги — «на войне как на войне». Но рабочих и солдат было так много, что цепь скоро стала пропускать без опроса. Останавливала только явных обывателей. По растерянным лицам, по крадущейся походке сразу было видно: вот идет человек, которого толкает сюда только любопытство, а делать этому человеку здесь совсем нечего.

И еще: цепь не пропускала ребят. Их сразу откуда-то набежала тьма-тьмущая. Они орали, свистали, прыгали — радовались неудержимо, как будто для них, бесшабашных мальчуганов, этот бой на улицах был самым занятнейшим зрелищем. Их не пропускали здесь — они тотчас пускались в обход:

— Айда, ребята! По Петровке пройдем к Охотному! Всё равно пройдем!

И, как вода, текли в каждую щель, через дворы, через крыши, только бы туда, где сражаются. А на Страстную площадь подходили всё новые и новые отряды — солдаты, солдаты, солдаты, рабочие, рабочие, — тысячи шли в неудержимом, сокрушительном стремлении. Рабочие, больше молодежь — где-то возле двадцати лет, а многие попадались и лет по шестнадцати, на вид совсем мальчуганы. С важным и важнейшим видом они тащили винтовки, сами только подпоясанные, как мешки, новыми солдатскими ремнями. И на ремнях холщовые подсумки с патронами. И среди молодежи лишь когда-когда попадали сорокалетние, отяжелевшие, с бородами. И было видать: на бой, как на простую черную работу, все одели одежду, что похуже, — должно, когда одевались, думали об окопах, о том, что придется лежать на земле, прятаться по крышам и чердакам; извозишься, измажешься — зачем же портить хорошее зря? А может быть, у многих и не было этого хорошего, — шла самая голь перекатная. Шла-катилась за лучшей долей.

Через цепь отряды и одиночки проходили на Твер-

скую к Скобелевской площади. А над площадью уже повизгивали пули, внизу, под горкой, в Охотном, ахали винтовки — по улице надо было идти уже с опаской. Все шли тротуарами, прижимаясь поближе к стенам. И тугой, упорной лентой вливались в парадную дверь старинного дома, столь таинственного еще совсем недавно, месяцев десять тому назад, где жили только очень важные генералы и князья. Теперь этот дом был открыт для них, он ждал их. По широкой парадной лестнице солдаты и рабочие входили в Белый зал, тут толкались сколько-то и отсюда уходили на посты — позиции. И уже скоро весь старинный дом, со многими десятками комнат и зал, переполнился восставшими. Везде — и у белых стен громадного, очень емкого Белого зала, и в уютных маленьких задних комнатках, обитых красным шелком, и в коридорах, на лестницах, на подоконниках —сидели, стояли, лежали солдаты в шинелях, с винтовками, с котелками, с сумками, как в походе. И рабочие рядом — в черном, в поношенном, в рваном, тоже с винтовками, с подсумками. Густо запахло мокрыми шинелями, махоркой, непереваренным хлебом и едким трудовым потом. Человечьи потоки вливались и выливались. На парадной широкой лестнице всходили вверх плечом к плечу, грудью подпирали спину и водопадом скатывались вниз. Что, кто, куда — казалось, не разобрать! И скоро уже тесно стало в огромном доме, солдаты вылились во двор; там расположились бивуаком у стен, в каретниках, в маленьких домиках-службах.

А к подъезду всё подходили новые — взводы, роты, отряды; над серыми шапками и черными картузами поднималась щетина штыков. Порой, раздвигая ряды, подкатывал к подъезду автомобиль с солдатами, и у всех светились в глазах буйство и решительность. Началась страшная игра, где ставкой была жизнь, а выигрышем — преображение мира.

Штаб едва справлялся с этим бесконечным потоком. И уже было у штаба много помощников-добровольцев. Асонов только заикался Волкову: надо туда-то и туда-то послать отряд. Волков бежал к двери, а там уже стояли жадные, ждущие:

— Куда? Куда надо?

— Товарищи! В Камергерском юнкера напирают! Туда надо!

И тотчас грудились серые и черные, шли с криками:

— В Камергерский, товарищи! В Камергерский!

Или говорил Асонов:

— Товарищ Волков, надо на Мясницкую, в Милютинский. Там стреляют отчаянно.

Волков опять к двери, в зал, там поднимался на золоченый стул, выкрикивал:

— В Милютинский надо, товарищи!

Тотчас грудились сотни, откуда-то являлись у них предводители — шли.

Разведка и связь действовали стихийно. Энергичный двинец Федотов распоряжался, кого-то посылал, кто-то к нему приходил — все братья, все товарищи — с простотой простых, бесхитростно, по-деловому. Знали точно, где напирают юнкера, туда посылали вовремя и много. Иногда и сами солдаты, помимо штаба, собирались отрядом, шли. Волков выскакивал и, увидев плотную толпу удаляющихся, удивленно спрашивал:

— Куда, товарищи?

И ответ был простой и ясный:

— Что-то на Петровке юнкера пошаливают. Товарищи подмоги просят.

И шли на подмогу. Были ли у них командиры, кто отвечал за их действия — никто не знал. Может быть, они и сами не знали, шли просто, будто им подсказывал инстинкт борьбы.

В человеке поднималось древнее, первобытное, не совсем осознанное, может быть,— когда человек не разумом, а всем существом своим, природой своей чувствует, где враг и какой стороной идти надо.

Уходили, приходили множества, тьма.

Уже утром как-то из комнаты Военно-революционного комитета озабоченно вышел в коридор Смелевич и за ним черноватый, нервный Соков. Седая кудлатая голова Смелевича поплыла среди серых шапок и черных картузов. Солдаты и рабочие с некоторым недоумением смотрели на этого высокого седоголового интеллигента, и позади зашуршал почтительный шепот: «Наш старик, Смелевич». И в шепоте было удовлетворение.

Смелевич остановился на площадке парадной лестницы. Лестница теперь была похожа на людную улицу,— человечьи потоки лились по ней вверх и вниз.

Смелевич долго смотрел на них, чуть улыбаясь, потом сказал раздумчиво Сокову:

— Глядите, сколько их. Библейский Моисей ударил жезлом по камню, и потекла вода и напоила всех. Мы позвали, и вот они текут.

Соков быстро взглянул на Смелевича: «Кто же этот

библейский Моисей? Кто позвал силу?» — и тотчас спохватился, сказал и смеясь и чуть раздраженно:

— Какой там библейский Моисей! Просто пролетариат наконец осознал себя как силу.

Смелевич посмотрел на него рассеянно:

— Да, конечно. Осознал...

Через толпу, продираясь, шел поспешно к парадной лестнице Асонов. Лицо у него было озабочено. Соков двинулся к нему:

— Что такое, товарищ Асонов? Куда вы?

— В Охотном что-то началось. Хочу посмотреть.

За Асоновым потоком шли солдаты и рабочие — спешили. Соков вмешался в их ряды, дошел до парадной. Осенний ветер чуть подувал. Выстрелы ахали лениво. Без шапки Соков постоял у дверей и уже повернулся, чтобы уходить, вдруг резкий пушечный выстрел грянул рядом. Все покачнулись, кто-то присел, у кого-то вырвался невольно вскрик вроде выдоха. По площади затопали торопливые шаги. Солдаты заметались у орудий. Снизу, с Тверской, бежали беспорядочной толпой солдаты и рабочие. Раздались резкие крики:

— Куда вы? Стой! Назад!

Асонов опрометью бросился навстречу бегущим. За ним побежали те, кто вышел из Совета и «Дрездена». Плотной фалангой, задерживая бегущих, бросились они вниз по Тверской. Асонов бежал впереди с револьвером в руке и орал:

— Назад! Не сметь убегать! Назад!

Позади него бежал матрос, он хлестнул одного убегавшего кулаком по лицу, исступленно ругаясь:

— А, убегать, та-та-та?!

Не останавливаясь, добежали потоком до угла Камергерского. Здесь уже никого не было. Улица казалась совсем пустой. И выстрелы смолкли. Только за домами еще стреляли. Возле винного магазина, что был на углу Тверской и Камергерского, за крыльцом, согнувшись и выставив винтовки, стояли трое рабочих и два солдата. Они приготовились стрелять в кого-то, кто должен пройти с Тверской до Охотного ряда. Асонов подбежал к ним:

— В чем дело, товарищи? Кто тут палил из пушки?

Рабочие выпрямились:

— Броневик проехал по Охотному. Из пушки бахнул, аж в ушах зазвенело.

— Сюда не заходил?

— Сюда нет. Да мы его, признаться, только мельком и видали. Чу, никак опять идет?

Все беспокойно начали оглядываться, бессознательно искали пути: если броневик пойдет сюда, то где прятаться? Против броневика с одной винтовкой ничего не поделаешь. Асонов, вдруг побледневший, стоял столбом на самом углу. Шипение все приближалось. На углу Долгоруковского переулка, что был виден за длинным высоким забором, беспокойно толпились солдаты и рабочие, тоже выглядывали к Охотному ряду, ждали, и по их порывистым позам было видно, что в случае чего они тоже готовы задать лататы. Кто-то упорно стрелял с чердака высокого дома с острыми шпилями, что как раз стоял на въезде Тверской от Камергерского. Стрелял через равные промежутки времени, будто равнодушная машина, и совсем неизвестно было, в кого он стреляет с таким упорным равнодушием.

На углу Долгоруковского переулка вдруг забегали и метнулись прочь солдаты, рабочие, только один остался у самого угла. Шипение броневика стало отчетливым, и на углу показалась серая ползущая коробка. Асонов замер, высматривая. Броневик медленно прополз и скрылся за углом — вниз на Моховую. Асонов почувствовал, как отлегло от сердца: не надо убегать и скрываться. К углу опять подошли все плотной массой. На Долгоруковском тоже ожили, вернулись назад, стали прицеливаться, кого-то высматривать. Паренек в рыжем пальто вышел на саму мостовую, поднял винтовку к плечу, выстрелил и нелепо качнулся от удара,— так отдала плохо принятая винтовка. Асонов хотел пойти туда, через дорогу, к Долгоруковскому, мимо длинного нелепого забора, из-за которого торчали огрызки красных кирпичных стен. Но едва он шагнул на мостовую, где-то вдали, у Воскресенских ворот, дружно грянули винтовки, пули ударили в мостовую, кусочки грязи подскочили у самых ног и совсем рядом посыпался горох в стену. Асонов отскочил назад, за угол. Солдаты и рабочие, налегая на плечи друг друга, высунулись из-за угла, и дружный залп ахнул вдоль Тверской. Потом опять торопливо прицеливались, опять дружным залпом стреляли, с веселой яростью, с грубыми прибаутками. С угла Долгоруковского тоже палили беспрестанно...

Но вот ответно загрохотали винтовки где-то совсем близко. На углу Охотного мелькнули серые и синие фигуры — студенты и юнкера,— и пули начали щелкать над головой в стену и у ног в мостовую. Перестрелка стала странно веселой — точно мальчики играли в забавную игру. Как-то сразу стрельба оттуда резко уси-

лилась, и из-за угла быстро вылетел грузовик, наполненный студентами и юнкерами. Пули с визгом пронеслись по улице, солдаты и рабочие отскочили от угла. Грузовик проскочил дальше, к Театральной площади.

— Эх, мишень-то какую пропустили! — с досадой сказал Асонов.

Солдаты заговорили, заругались.

— Он сразу выскочил, сразу-то не сообразили.

— Приготовиться не дал, а то бы мы ему показали!

— А ведь он, ребята, назад поедет. Вот тут его и ловить.

— Слушайте, слушайте. Стреляют на Театральной. Должно, там его поймали.

— Как бы он нас не поймал. Объедет по Дмитровке — да сюда.

Все беспокойно оглянулись назад по Камергерскому. В самом деле, объехать может. Оглянуться не успеешь, а он вот здесь. И Асонов забеспокоился:

— Ловить бы его там надо. Мишень превосходная.

— Да ловят, ловят. Нешто не слышите, какая пальба? Это по нему.

Пальба две-три минуты удалялась, потом стала приближаться опять. Можно было понять: грузовик быстро передвигается. Стрельба перекинулась с Театральной площади назад к Охотному ряду. Возле Асонова все стояли, вытянув шеи, слушали.

— А ведь назад едет! Сюда! — с нервной дикой радостью сказал низенький черный солдат почему-то вполголоса, словно боялся, что юнкера и студенты подслушают.

— Ей-богу, сюда!

И крадущимися шагами он подбежал к углу, привстал на колено, выставил винтовку. И другие тотчас сгрудились на углу, приготовились к выстрелу. Асонов оглянулся: нет ли свободной винтовки? Нервное возбуждение вдруг забрало его до корня. Вот на охоте однажды возле Мариинского посада, под Казанью, он вот так же ждал выхода медведя из берлоги... У стены безучастно сидел солдат с желтым лицом. Он равнодушно поставил винтовку между ступней, скучая смотрел на то, как его товарищи бешено готовятся. Асонов подскочил к нему, едва пробормотал: «Позвольте, товарищ, винтовку» — и почти вырвал ее из рук, бросился к углу. В этот момент на Долгоруковском грянул залп, солдаты выскочили прямо на мостовую, стреляли, стоя во весь рост. И, высунувшись из-за угла, Асонов увидел на углу Охот-

ного грузовик со студентами и юнкерами. На этот раз грузовик ехал медленно, будто победитель. Под выстрелами юнкера и студенты вдруг заметались. Из пробитой машины хлынула белая струя бензина, и грузовик остановился как раз на перекрестке.

— А-а-а! — заорал черный солдат и, забыв опасность, выскочил прямо на мостовую и, встав во весь рост, стрелял пачками. Асонов встал рядом с ним, бил яростно. Студенты и юнкера метались по грузовику, прыгали прямо под колеса, пытались прятаться за борта, как будто борта могли спасти... Ни один не ушел. Тяжелыми мешками все попадали или на мостовую у колес, или в грузовике внутрь на пол...

В одну минуту грузовик был мертв. Никто ни в нем, ни возле не шевелился. Выстрелы смолкли. Только с Долгоруковского продолжал стрелять мальчишка в рыжем пальто. Вдруг сильная молния засветилась в Охотном, как раз позади разбитого грузовика. Высокие струи белого пламени рвались вверх. То горел трамвайный провод, перебитый пулей и упавший на землю. Белое пламя, как похоронный факел, осветило разбитый автомобиль. Стрельба сразу прекратилась. Солдаты и рабочие нервно посмеивались, торжествуя:

— Вот здорово! Как мы их! А то разъезжают, будто и управы на них нет никакой.

Асонов, отойдя к углу, ждал. Вдруг из-за угла показался белый флаг с красным крестом, покачался несколько мгновений, просил прекратить стрельбу. Из-за угла вышла сестра милосердия в белой косынке, с белой краснокрестной повязкой на рукаве. Размахивая флагом, она подошла к разбитому автомобилю. Она забралась по колесу на автомобиль. Она перебрала там всех, возилась медленно. Вся улица и площади кругом были безмолвны. Все напряженно следили за ней. Нигде ни выстрела. И в тишине улицы был ясно слышен ее крик:

— Здесь один раненый! Возьмите!

И тотчас из-за того же угла вышли два санитара с носилками. Они открыли борта грузовика, выволокли кого-то в длинной серой шинели, положили на носилки, понесли. Сестра осталась у грузовика. Она опять перетрогала, пересмотрела всех, кто лежал у колес и на полу в грузовике, выпрямилась — и так остановилась. Больше не было никого, кому нужны заботы. Опять подошли санитары. Без носилок. Трое. Один подставил спину, двое положили ему на горб убитого студента — он попер. Так грузчики таскают кули.

— Ага, поволокли! — крикнул черный солдат.

Асонов мельком оглянулся на него, сунул винтовку тому же рыжему солдату со скучающими глазами, сказал:

— Ну, я пойду в штаб! Вы тут смотрите. Кто за начальника? Вы, товарищ Васютин? Смотрите тут. Главное, чтобы вас не обошли. Грузовик мог напасть сзади...

И он торопливо направился в штаб. Он шел, оглядываясь. Санитары все таскали убитых, как мешки, на спинах...

ВЗЯТИЕ ГРАДОНАЧАЛЬСТВА

Все первые дни восстания острым клином врезался в позиции красный дом градоначальства, что на Тверском бульваре. Или, скорее, не клином, а вроде был форт — форт, окруженный со всех сторон восставшими. Три сотни юнкеров, офицеров и студентов засели в этом старинном доме и стреляли из него во все стороны — на Тверской бульвар, в Гнездниковский переулок, на Тверскую улицу, к Никитским воротам, в Леонтьевский переулок. Главное, из двора этого дома через каменный забор велся обстрел Тверской улицы,— как раз в том месте, где больше всего было движения. Тверская была единственной ниточкой, соединявшей Совет со всем остальным городом. Ежеминутно можно было ждать, что юнкера и студенты, предводительствуемые опытными офицерами, выйдут из этого форта и ударят в тыл восставшим, отрежут Совет. Вместе с юнкерами там сидела сотня милиционеров, и среди них были такие, которые сочувствовали восставшим, но бежать из вражьего стана не могли. Только немногие из них, рискуя жизнью, прорвались — рассказывали в разведке и в штабе, как живут в осажденном доме:

— Винтовок много, но патронов не хватает. Продовольствие на исходе. Каждый час звонят в Александровское училище Рябцеву, требуют подмоги. Рябцев обещает, но подмоги нет и нет. Некоторые буйные предлагают кинуться напролом к Совету. Надо ждать, что прорвутся, попытаются захватить.

Однажды перебежали сразу двое, и с ними в штаб пришел сам начальник отряда, что стоял против дома градоначальства со стороны Страстной площади, прапорщик Садыков. Он послушал, что сказали милиционеры Асонову, задергал плечами, сказал раздраженно:

— И какого черта вы церемонитесь? Надо немедленно разбить вдребезги этот проклятый форт Шавроль. Позвольте мне наконец расправиться с ним.

Асонов и Мусатов колебались: лобовая атака потребовала бы слишком много жизней,— юнкера-александровцы будут защищаться в каждой комнате и в каждом закоулке.

— Подождем благополучного момента! — решил Мусатов. Садыков ушел озлобленный.

И опять: Тверская опасна, надо проходить перебежками, на углу Гнездниковского юнкера, глядящие через забор от дома градоначальства, ловят меткими пулями. И ожидание, что юнкера храбро прорвутся на улицу, отрежут Совет от всего города.

Красногвардейцы и солдаты теперь почти сплошным кольцом окружили дом. Прямо через бульвар со стороны Сытинского переулка они с веселой яростью стреляли в фасад дома ото всех углов, из-за каждого выступа, со всех крыш и из слуховых окон, били из пулемета со Страстной площади, били с Тверской улицы, с Леонтьевского переулка, и главное — с крыши двенадцатиэтажного дома Нирнзее, что в Гнездниковском переулке. Этот гигантский дом тучей висел над всем двором градоначальства, над садом, над заборами, над домом и флигелями. С него было видно все, что делалось во дворе.

Пулеметы и винтовки осыпали двор и все здания градоначальства градом пуль. Едва мелькнет где человеческая фигура — в окне ли, в черном ли четырехугольнике двери, в закоулке ли между сараями,— тотчас туча пуль грянет туда. Все окна были разбиты в первый же день осады. И все стены изъязвлены, будто покрылись свежими оспинами. Но форт держался упорно. На третью ночь в заревой полутьме из ворот градоначальства вдруг вырвался автомобиль и вихрем помчался по переулку к Арбатской площади. Люди на момент растерялись, и автомобиль успел скрыться. Садыков промчался по постам, ругаясь и проклиная. Солдаты смущенно отмалчивались. Но через два часа автомобиль теми же переулками и к тем же воротам промчался снова и успел скрыться во дворе под стенами, прежде чем его достали солдатские пули. И ясно было всем: автомобиль привез какие-то подкрепления. Пулеметы юнкеров тотчас заработали с новой силой. Форт укрепился. Садыков послал донесение об этом случае в штаб к Асонову — из штаба тотчас пришел Волков, и вдвоем Садыков и Волков обо-

шли переулки, Тверскую, прошли на Страстную площадь, выясняя, можно ли все-таки взять дом приступом. На Страстной площади, прячась за трамвайную станцию, стояла артиллерийская батарея. Четыре орудия, подняв хоботы, смотрели вверх через дома к Кремлю, к Александровскому училищу, стреляя иногда перекидным огнем.

— Вот бы их из орудий пугнуть! — сказал Волков.

— Придется, если они еще такую штуку проделают. Я бы просто атакой взял!

— Как же возьмешь его из-за стен? Много поляжет наших. Лучше из орудий обстрелять.

Они прошли по Мамоновскому переулку к Сытинскому, чтобы выбрать позиции, откуда лучше вести обстрел. Вдруг за домами позади началась отчаянная стрельба. Пулеметы на крыше Нирнзее истерично заработали, им ответили из градоначальства юнкерские пулеметы, в улицах послышались отчаянные крики, кто-то бежал, гулко топая тяжелыми сапогами. Садыков и Волков метнулись назад к Страстной площади. Что такое? На Тверской, на углу Гнездниковского, кто-то отчаянно орал:

— Юнкера идуууут!

Винтовки били наперегонки.

— Атака! — крикнул Садыков и пустился бегом прямо через Страстную площадь к Гнездниковскому. Волков кинулся за ним. Ему показалось, что вот случилось, чего боялись: юнкера вышли из форта, идут к Совету, сейчас захватят его. Группы солдат и рабочих густо обсели все углы Гнездниковского и Леонтьевского, пачками стреляли в кого-то. От Совета бежали толпы вооруженных солдат, на бегу заряжали винтовки. Волков выглянул из-за угла. В кого стреляют? В темном переулке не видно ни одной человеческой фигуры. И не вспыхивали огни выстрелов на гребне каменного забора.

— В кого стреляете?

— Юнкера прошли! Целый отряд! От Знаменки пробежали переулком. Вон видишь, убили троих наших.

На мостовой недвижно лежали три солдата. Волков помчался тотчас в Совет. Здесь стояли солдаты и рабочие с винтовками наготове, ждали нападения. Пулеметы глядели в окна и двери. На каждом шагу Волкова теребили.

— Что там? Что?

Асонов встретил его таким же вопросом и так же нетерпеливо:

— Что там?

— Отряд юнкеров прорвался в градоначальство. Вероятно, сейчас попытаются сделать вылазку против Совета.

Асонов оглянулся, призывая весь штаб прислушаться. Мусатов сказал ворчливо:

— Надо немедленно кончить с этим гнездом.

— Так позвольте начать действовать артиллерией! — стремительно попросил Волков.

— Валяйте как угодно, только скорей кончайте.

Волков повернулся на одной ноге, выбежал из штаба. Он нашел Садыкова в толпе солдат на углу Гнездниковского и залпом выпалил:

— Штаб разрешил действовать как угодно, только бы кончить скорее.

— А-а, наконец-то! Вот теперь мы им покажем,— ветром взметнулся Садыков.

Вдвоем они быстро обошли посты вокруг осажденного дома, всех предупредили: сейчас атака.

Солдаты и рабочие на постах радостно оживали, готовые сию же минуту рвануться в атаку.

Артиллеристы на Страстной площади торопливо переставили орудия. Высокий, как каланча, наводчик Лыкин долго прикладывался к панораме, измерил и, сам себе скомандовав «огонь», соединил запал. Выстрел ахнул оглушающе. Ближний трамвайный столб, составленный из чугунных труб, звонко загудел. Огромная дыра засияла в нем,— снаряд пробил его насквозь. Разрыв ахнул над бульваром, калеча липы. Хохот загремел залпом:

— Ха-ха-ха! Вот это попал! Ты всегда, Лыкин, так стреляешь?

Лыкин, смущенно ругаясь, припал к другому орудию. И опять сверкнула молния и ахнул гром. На этот раз снаряд улетел куда-то через крыши. От дома градоначальства посыпались выстрелы во все стороны. Пулеметы строчили как обезумевшие. В щитки орудий щелкали пули. Маленький солдат вдруг охнул и покорно свернулся калачиком возле колеса орудия. Другой, бросив винтовку, схватился обеими руками за бок и запрыгал на одной ноге, как шаловливый мальчик. Только глаза были безумные. Попрыгал полминуты и грохнулся с размаху на камни. Шутки и смех разом погасли. Все грудились позади трамвайной станции, кое-кто успел отбежать за угол. Весь воздух был переполнен визгом пуль. Точно жгучий ветер несся над площадью.

— Вот это качают! — закричал голос не то с возмущением, не то с восторгом.

— Пусть качают, скоро выдохнутся. Тогда мы им...

Безумная пальба продолжалась минут пятнадцать и затихла разом, точно оборвалась. Солдаты зашевелились. Осторожно они начали заглядывать на бульвар. Моросящий дождь сеткой мотался над деревьями и загородкой. Бронзовый Пушкин стоял, опустив голову, словно раздумывая над тем, что сейчас происходит вокруг него. Артиллеристы скачками опять пробрались за щиток, открыли затворы орудий, приготовились к новой стрельбе. Убитых отнесли за угол, на Тверскую, и положили на ступеньках магазина готового платья. И, положив, солдаты деловито вернулись к трамвайной станции. На лицах было упорство, озлобленная озабоченность и готовность бить, бить, бить.

— Ну, беритесь! Давай патрон! — кричал повелительно солдат с реденькой бороденкой.— Да ставь прицел как надо! Какого ты черта стреляешь по столбам и по крышам? Бей в стены и в окна! Стрелок тоже...

Высокий наводчик долго прикладывался к панораме, повертывал хобот орудия. Когда он выпрямился, приготовясь к выстрелу, все приникли к углу станции, чтобы видеть, куда полетит снаряд. Выстрел грянул, деревья на бульваре качнулись, стена градоначальства закурилась красной кирпичной пылью.

— Вот это так! Это по-нашему! Будто у немцев стрелять научился,— загалдели оживленно солдаты.

— А ну-ка еще!

На Волкова и Садыкова теперь никто не обращал внимания, будто их не было здесь. Каждый горел, кипел вот этой минутой, этой борьбой, забыв о всяком начальстве и о всяких командирах. У всех было одно общее: бить и разбить.

Второй и третий выстрелы легли там же. Пробоины закраснели резкими ранами. Волков крикнул:

— Теперь, пожалуй, можно и в атаку!

— Зачем в атаку? — возразил Садыков.— Они сейчас сами сдадутся. Ну-ка, товарищи, ставь другое орудие, и попеременке мы их...

Пулемет градоначальства опять заработал, на этот раз с крыши небольшого флигелька, что во дворе. Солдаты успевали пригнуться за щиток или скакнуть за угол станции. Только один упал на мостовую и с минуту корчился, полз под защиту; кровавая струйка лилась у него изо рта прямо на камни. Но доползти не успел,

ткнулся лицом в камни и так остался лежать. Все мельком смотрели на него, как он полз и умирал. И еще не успел смолкнуть пулемет, все озлобленно заметались, выставили винтовки из-за углов и принялись поливать выстрелами крышу флигелька. Человек двадцать побежали в обход по Бронной, чтобы тоже ловить пулеметчиков пулями. Пулемет задохнулся. Артиллеристы опять забегали возле орудий. Выстрелы загремели вперегонки. И после каждого выстрела липы на бульваре отчаянно вздрагивали ветвями, две или три уже белели расщепленной мочалой. У Никитских ворот началась отчаянная пулеметная стрельба, с Тверской прибежал солдат с винтовкой, закричал истерично:

— Товарищи! Юнкера наступают! На помощь!

Солдаты мешковато побежали за ним на Тверскую, чтобы переулками идти к Никитским воротам. Волкову захотелось бежать с ними, он беспомощно заметался: и туда надо, и здесь надо, потому что остается мало народа.

— Вы справитесь здесь? — наконец спросил он Садыкова.— Я бы туда побежал.

— Справлюсь! Бегите! — отрывисто бросил Садыков.

Он в самом деле был спокоен и уверен. Он только торопил: быстрей бы заряжали. Новые зарядные ящики были привезены с Тверской на руках, установлены за трамвайной станцией, артиллеристы не успевали заряжать, стреляли с торопливой веселой яростью — и уже возле орудий валялась высокая куча медных артиллерийских гильз, дождь падал на гильзы, и они дымились, нагретые при выстреле. Синий дымок тонко окутал улицу. Садыков все приговаривал:

— Скорей, скорей!

Дом градоначальства стоял уже весь изрешеченный, и из него не отвечали...

Высокий артиллерист Лыкин вдруг подошел к Садыкову:

— Теперь, я думаю, они сдадутся.

Садыков посмотрел на него удивленно:

— Почему вы думаете?

— А позавчера мы вот так же били в юнкерскую школу, так сдались сразу. А этим уже как надо накрутили. Вишь, уже и не стреляют больше. Я бы сходил к ним, предложил сдаться.

— А ну, сходи.

Солдат вытащил из ножен саблю, навязал на нее белый носовой платок и смело, широкими шагами на-

правился через бульвар к разбитому дому градоначальства, прямо к калиткам. Солдаты и рабочие, высунувшись из-за углов станции, смотрели ему вслед. Солдат смело перешел бульвар, подошел к калиткам, постучал. Его впустили. Дом градоначальства будто весь вымер. Садыков подошел к углу, к Пушкинской аптеке, нетерпеливо ждал. Ему хотелось самому пойти туда, но как оставить пост? Артиллеристы всё стояли у заряженных орудий. Наконец из ворот градоначальства показалось шествие: шли два юнкера с завязанными глазами. Их провожал высокий Лыкин с поднятой вверх саблей, на которой болтался белый платок.

Садыков встретил людей с завязанными глазами за углом аптеки. Они оказались юнкером и поручиком. Осажденные считают борьбу бесполезной, согласны сдаться, но просят, чтобы им была гарантирована личная безопасность.

— Мы бы еще боролись,— угрюмо проговорил поручик, как бы оправдываясь,— но в доме много семейных с женщинами и детьми. Мы не можем подвергать их напрасной опасности. Тем более что у нас нет артиллерии.

Садыков строго сказал:

— Личная безопасность вам будет гарантирована, если вы сдадитесь через пятнадцать минут. Так и передайте вашему штабу. В противном случае я не оставлю камня на камне от всего дома. Скажите там, чтобы немедленно сложили оружие на автомобиль и вывезли за ворота.

Ровно через пятнадцать минут над воротами градоначальства и на балконе появились белые флаги, ворота отворились, из них выехал грузовик, доверху наполненный винтовками. Солдаты гурьбой вошли во двор. Садыков сам направился туда же, его встретил сам командир отряда — черный высокий полковник с измученным, злым лицом. В прихожей дома, где ветер шевелил разорванные занавески, наскоро подписали договор о сдаче — юнкера и офицеры и между ними несколько десятков студентов вышли во двор. Когда Садыков увидел эту толпу в три сотни человек — все молодые и бравые,— он внутренне ахнул: «Какого же черта они сидели в этой ловушке? Почему не бросились в атаку, не отрезали Совет?» И у него похолодело под ложечкой от одной мысли, что эти триста прекрасно вооруженных, дисциплинированных молодых бойцов могли бы наделать неисчислимые беды восставшим. Он приказал им постро-

иться в ряды. Они покорно построились и колоннами пошли к Скобелевской площади — в плен.

На грузовых автомобилях к Совету из градоначальства везли винтовки, ручные гранаты, четыре пулемета, ящики с патронами.

Асонов, Мусатов смеялись, когда Садыков рассказывал им про сдачу:

— Нас двадцать пять человек, а их три сотни с половиной. И оружия — хоть целый полк вооружай.

— Хороший признак,— сказал Мусатов.— Они уже теряют надежду.

— Не в том дело. Нам помогает артиллерия. Надо пускать ее на всех пунктах. Увидите, как они посыплют. Завтра же запросят пощады.

1933

ДМИТРИЙ ФУРМАНОВ

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ

(Октябрьские дни в Иваново-Вознесенске)

Очерк

Мы знаем, что 25 октября совершится переворот — именно 25-го, ни раньше, ни позже. Центральный бой будет в Питере и Москве — там решается почти все.

Там будет нужна наша помощь: мы должны им сказать, что сами готовы, что можем дать своих лучших солдат, что здесь, у себя, мы — победители.

Когда один, другой, десятый, сотый город скажет, что и он победил, что и он готов к помощи,— только тогда победа. Деревня победит вослед... Мы это знаем и лихорадочно готовимся к роковым, решающим дням.

Рабочим за октябрь выдано по пяти фунтов дрянной муки. Больше не дадут ничего, надежд на близкую получку нет, достать неоткуда, а покупать им не на что и негде. Положение роковое.

Мы приходим на митинги, многотысячные митинги ткачей, которые собираются у себя по фабричным дворам.

Приходим, сами до тошноты голодные, говорить с ними о голоде.

— Рабочие! Дорогие товарищи!.. Видите сами — откуда мы добудем хлеба?.. Ближнюю неделю так и не ждите, не будет совсем... А там... там, может быть... твердо не заверяем, а надежда есть... Вы за октябрь получили только пять фунтов — это тяжело, но что же делать, коли хлеба нет и не видно: все картофельную шелуху жуем...

— И картофельной-то нет,— простонет из гущи со скорбью ткачиха, и ей глухо отзовется старая, строгая, мрачная соседка:

— Ах ты господи, что же делать-то будешь...

— А вот что,— взвизгнет откуда-то женский крик,— вот что делать: у меня два дня не жрамши дети сидят!.. Ишь словарь какой нашелся (это уже к нам), на что

мне слова твои, ты хлеба дай, хлеба, а то мне — тьфу на тебя... Вот что...

Это мать. Она не говорит, а, прыгая на месте, пронзительно и часто причитает, неистово машет руками. Грани терпения перейдены, ее уговаривать невозможно.

Молчаливо стоят угрюмые, суровые ткачи, они понимают голодную мать — не помешают ей в криках, в протестах, в угрозах отвести взволнованную душу. И мы замолчим.

Так, одна за другой, заражаясь скорбью, вспомнив плачущих голодных ребят, еще больней, еще острей почувствовав вдруг свою муку лишений, женщины-матери, измученные ткачихи, взывают о помощи, бранят и проклинают — кого?.. Сами не знают кого, голосят, словно у дорогого гроба...

Спокойны, строги, серьезны, стоят без движения ткачи...

Проходят минуты острого негодования, жалоб, безумных протестов и угроз... Море утихает, снова можно сказать; говоришь — и слушают тебя, и верят тебе, и знают, что помощь придет все равно откуда-то из Совета, от этих вот стоящих на бочках людей, которых выбрали они же, ткачи, которым вверили свою жизнь и которых можно крепко побранить, излить на них всю невыносимую боль страданий, голода, болезней и лишений на каждом шагу и каждый миг: свои, не обидятся.

Пробовали на эти митинги проникать мясники и в бурные минуты недовольства и угроз начинали сами кричать, только по-своему, по-мясницкому... Их узнавали, иной раз колотили, выбрасывали из рабочих дворов:

— Не лезь в чужое дело — здесь свои бранятся, сами и столкуются...

Над толпой проносятся слова:

— Мы опутаны изменой и предательством. Правительство бессильно: оно продолжает кровавую бойню, оно фабрики держит за фабрикантами, не дает крестьянам землю... Станем ли дальше терпеть? Сила в нас, мы все можем сделать!

— И сделаем... Но лишь тогда, когда власть возьмем в свои руки!

— Верно, верно! — вырывается из сотен и тысяч грудей.— Вся власть Советам! Долой министров-капиталистов! Долой социалистов-изменников!

Забыли про голод, забыли про тяжелую нужду,— вот они стоят, рабочие, готовые на борьбу, самоотверженные, сознательные, неумолимые в своем решении...

— Подходят дни,— мчатся новые обжигающие слова,— последние дни. Решается наша судьба. Пролетарская Россия готовится к бою... Готовы ли вы, ткачи?

— Мы всегда готовы...

— Так знайте же, что в близком будущем нам придется постоять на посту!

Окончено собрание — зашумела, заговорила, заволновалась толпа, рассыпалась, потекла в разные стороны...

Рабочие были готовы встретить врага.

На железной дороге — в депо, по мастерским, у водокачки — шныряли какие-то шептуны, задерживали рабочих, уверяли их, что надо скорее остановить движение, потому остановить, что в Питере и Москве захватчики хотят отнять народную власть... Им не надо, говорили, давать помощи, их надо оторвать от всех, оставить одних, там и добьют их молодцы юнкера...

Рабочие недоуменно смотрели на агитаторов, потом шли в железнодорожный комитет и докладывали об этом своим «вожакам». Хотели шептунов изловить, да пропали,— так и не узнали, откуда взялись, кто подослал...

Иваново-вознесенские железнодорожники по всему обширному узлу приносили немалую пользу в Октябрьские дни. Они всегда были с рабоче-солдатским Советом, имели в нем своих представителей, ничего не делали поперек его воли, обо всем договаривались вовремя.

Выбиваясь из сил, чинили паровозы и вагоны; справляли маршрутные поезда, гнали их за хлебом... В самую горячку восстания они перевозили в Москву наши рабочие отряды помогать москвичам... Железнодорожники на своих предоктябрьских собраниях говорили то же, что ткачи, они были также готовы к действию.

В городе стоял 199-й запасный полк. В нем 11-я, 12-я, 14-я роты, а обучена из них и готова одна лишь 11-я. Ну что ж: и одна рота при случае сделает немалое дело.

В казармах сыро, холодно, грязно...

— Солдаты! Товарищи! Вам, может быть, в близком будущем придется выступать... Подлое и гнилое правительство не хочет да и не может отдать трудовому народу все, что принадлежит ему по праву...

— Давно бы так! — крикнул кто-то из серой массы.

— Долой предателей...

От стены к стене по каменному холодному корпусу метались грозные лозунги, ухали проклятья, торжест-

венно и гордо вырывались и застывали над серошинельной массой святые клятвы идти на бой...

— Мы надеемся на ваше оружие, товарищи, оно, может быть, скоро понадобится — отстаивать Советскую власть...

— Да здравствуют Советы! — провозгласил кто-то в установившейся на миг тишине.

И масса неудержимо, в каком-то исступленье закричала:

— Ура!.. Ура!.. Ура!..

— Да здравствуют Советы! — еще раз крикнул тот же голос.

И новая буря криков, восторгов, пламенных клятв...

Солдаты были с нами...

Так рабочих-ткачей, железнодорожников и солдат мы готовили накануне великих дней... Им скоро пришлось сражаться, только не здесь — в Москве, куда их отправляли на помощь.

С этой ли силой не победим? Кто же совладает с нею? У нас и сомнений нет, что победа будет за нами...

Все ближе подходят сроки...

Мы нервно ждем сигнала, ждем окончательных вестей, и — они пришли.

Совет рабочих и солдатских депутатов помещался в Полушинском доме, на Советской улице,— лучшего места для тех времен не найти. Куда хотите — всюду близко: до станции рукой подать, на фабрики тоже недалеко, вот они: Бурылинская, Полушинская, Дербеневская, Гандурина, Ивана Гарелина, Компания, Зубковская — до любой по шесть минут ходу. А это важно: там черпал Совет постоянную энергию, видел поддержку, там получал указания, узнавал желания — фабрики были опорными пунктами советского могущества в городе.

На пленумах Совета, всегда многолюдных, шумных и оригинальных, в течение шести-восьмичасовых заседаний, тянувшихся часто за полночь, каких-каких только не разбирали мы вопросов: не хватает хлопка на фабрике, угля, железа, тесу, красок — разбираем; где-нибудь кто-нибудь «хапнул», кого-нибудь оскорбили, поколотили, выгнали, наказали самостийно — разбираем; объявился шпион, подмастерья загрубили с рабочими, где-то надумали организовать детский приют, анархисты захватили купеческий дом, крестьяне укокошили помещичью усадьбу — разбираем.

Не было вопроса, который прошел бы, минуя Совет: все стекалось сюда.

Двадцать пятого на шесть часов вечера назначено было заседание Совета. Что за вопросы разбирались — не помню, только настроение в тот вечер было исключительное: спорили как-то особенно горячо, неистово, безо всякого соответствия значению вопросов, возбуждались быстро, реагировали на все болезненно, то и дело подавались ядовитые реплики; протестовавшие вскакивали на лавки, словно пузыри на воде: попрыгают-попрыгают и пропадут. А там другие... И можно было видеть, что все эти разбираемые вопросы — не главные, что на них только вымещают что-то кипящее внутри, вот то самое главное, о чем так хочется говорить, чего ждут не дождутся собравшиеся делегаты... Ведь сегодня 25-е. Может быть, утром... может быть, в ночь придет... А может быть, и теперь, вот в эти самые минуты, гремят там орудия, дробят пулеметы, колоннами идут рабочие, и льется, льется, льется братская кровь... Эх, скорей бы узнать! Уж разом бы узнать — все станет легче...

Три раза пытался я связываться с Москвою телефоном — не выходило. Наконец дали редакцию «Известий», и оттуда сообщили незабываемой силы слова:

«Временное правительство свергнуто!»

Чуть помню себя: ворвался в зал, оборвал говоривших,— встала мертвая тишина,— и, четко скандируя слова, бросил в толпу делегатов:

— Товарищи, Временное правительство свергнуто!..

Через мгновение зал стонал... Жали руки, вскакивали на лавки, а иные зачем-то аплодировали, топали ногами, били палками о скамьи и стены, зычно ревели:

— Товарищи!.. Товарищи!.. Товарищи!..

Один горячий слесарь ухватил массивный стул и с размаху едва не метнул его в толпу. Уханье, выкрики, зачатки песен — все сгрудилось в густой бессвязный гул...

Кто-то выкрикнул:

— «Интернационал!»

И вдруг из хаоса родились, окрепли и помчались звуки священного гимна... Певали свой гимн мы до этого, певали и после этого многие сотни раз, но не помню другого дня, когда его пели бы, как теперь: с такою раскрывшейся внутренней силой, с таким горячим, захлебы-

вающимся порывом, с такою целомудренной глубокой верой в каждое слово:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов...

Мы не только пели — мы видели перед собой наяву, как поднялись, идут, колышутся рабочие рати на этот смертный последний бой; нам уже слышны грозные воинственные клики, нам слышится суровая команда — чеканная, короткая, строгая, мы слышим, как лязгает, звенит оружие... Да, это поднялись рабочие рати.

И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас все так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей...

Эти вести из Москвы — вот он и грянул великий гром! Рабочие победили. Рабочие взяли власть... Враг разбит — повержена «свора псов и палачей»...

А солнце сияет, сжигает огнем своих лучей... Да-да, всё как в песне: наш путеводный гимн, самая дорогая, заветная песня, которую пели в подполье рабы, за которую гнали, ссылали, расстреливали, вешали, истязали по тюрьмам,— может ли ошибаться эта песня, вспоенная кровью мучеников?.. Пришли наши дни — их мы ждали. Здравствуй, новая жизнь!..

Первые минуты бешеной радости прошли, но еще долго не могли улечься суетливость, нервность, торопливость. Вспоминалось, как два месяца назад, в «корниловские дни», вот так же, как теперь, сидели мы на этих самых лавках и торопились решить: что делать?

Да, так что же делать, с чего начать? Мы ведь пока узнали лишь о том, что «Александра IV» нет,— так Керенского в шутку звали у нас солдаты. Но дальше? Идет ли сражение, или окончилось, да и было ли оно вообще? Разговор по телефону оборвался в самом начале, его, быть может, оборвали сознательно, чтобы не дать нам знать про все, что совершилось. Мы еще не знали тогда о предательской, подлой роли, которую разыграли в великие дни некоторые ивановские почтово-телеграфщики, но предчувствие недоброго было уже у многих. Посыпались градом предложения — страстные, энергичные, но все больше какие-то фантастические, для дела совершенно негодные:

— Выслать немедленно в Москву на помощь наш полк, а во главу дать членов Советского исполкома...

— Идти по фабрикам теперь же, сию минуту, оставив рассуждения, фабричными свистками собрать рабочих, объяснить положение, организовать на месте батальоны и слать их в Москву.

— Прекратить временно всю гражданскую работу, всем влиться в полк; одним — организаторами и политработниками, другим — стрелками...

Как это бывает всегда в подобных случаях — пока горячие головы фантазировали, другие за них думали, соображали, взвешивали обстоятельства, прикидывали разные возможности.

Было постановлено коротко.

Так как с Москвой и Питером подробности не ясны — будем их добиваться, а пока, вслепую, ничего не предпринимать. Это во-первых. Во-вторых, заняться организацией обороны у себя и помнить, что Иваново-Вознесенск, хотя и неофициально, является признанным центром огромного промышленного района, который надо обслужить, организовать, спаять, приготовить ко всем неожиданностям серьезного момента. В-третьих, создать особый боевой орган, которому вверить на самый горячий период все дело борьбы.

Орган создали, назвали «Революционным штабом», выбрали нас пятерых, дали общую директиву: «Держитесь крепко, смотрите зорко».

Штаб ушел для выработки срочных мер.

Советское заседание продолжалось, но, видимо, путалось, не клеилось, да и не могло в такие минуты оно продолжаться,— попросту делегатам не хотелось уходить.

Через короткое время мы воротились и сообщили, что ставим сейчас же по всему городу караулы и специальную охрану в нужные места: на железнодорожную станцию, на телеграф, на телефонную станцию — всюду посылаем рабочий контроль; принимаем меры к оповещению города и окрестностей о событиях; связываемся тесно со всем районом; берем кого надо под надзор, намечаем заложников и так далее и так далее — словом, те самые меры, которые мы применяли постоянно в решающие минуты. Совет одобрил — работа закипела. Делегаты разошлись. Наутро весь город знал о происшедшем. На железной дороге создали свой специальный орган; в полку уже сам собой организовался из пяти человек Военно-революционный штаб.

Непрерывно работал телефон — это нас тревожили каждую минуту Родники, Тейково, Шуя, Вичуга, Кинешма — все крупные рабочие центры; они не давали нам покоя точно так же, как мы Москве; что мы узнавали, сейчас же передавали дальше — и в результате обширный район почти в одно время узнавал самые свежие новости... На телефонах буквально висели, устанавливались очереди, каждому отдельному рабочему центру назначали свои часы.

Наши рабочие восторженно встретили весть о перевороте: они собирались огромными массами по фабрикам, слушали советских депутатов, жадно ловили новости, присылали за ними своих посланцев, то и дело с песнями, флагами кружили около Совета.

Железнодорожники посылали свои делегации с клятвами дружно работать, с заявлением о готовности умереть за Советскую власть.

Полк в боевом вооружении, блестя щетиною штыков, уже не раз демонстрировал перед нашими окнами...

Первые ночи не спали сплошь. Из здания Совета почти не выходили, разве только на час-другой съездишь по вызову куда-нибудь на фабрику.

Многие среди бела дня, не выдержав усталости, бросались на голые просторные столы и так засыпали под общий гвалт, под визг и хлопанье дверей, телефонные звонки, хрипы автомобилей, трескотню мотоциклеток.

Здание Совета представляло собой настоящий вооруженный лагерь: кругом рабочие с винтовками, на окнах пулеметы, у нас у всех торчат за поясами револьверы, многие увешаны бомбами, иные хватили лишку: протянули через плечо пулеметные ленты.

Первая ночь прошла. В три часа дня назначено заседание Совета. К нам приходят сведения, что на почте-телеграфе неблагополучно: служащие собираются кучками, о чем-то сговариваются, контроль наш совершенно игнорируют, всячески его оттирают, при случае глумятся и все время провоцируют — вызывают на брань.

Уже несколько телеграмм послано в Москву помимо контроля. Ясное дело, что тут затевается что-то неладное. Но как, как дощупаться до всего? Откуда возьмем знатоков дела? Кто поможет? Провести любого из нас не составляло ни малейшего труда. Мы хорошо понимали, что контроль наш действительно лишь «постольку поскольку», что если и не будет обмана, то не по дозору, а единственно из страха «спецов» перед нашим крутым наказанием.

В двенадцать часов почтово-телеграфщики заявили Совету свой протест по поводу контроля, «потребовали» его убрать, угрожая в противном случае приостановить работу. Они ссылались на беззаконность и ненужность самого мероприятия, то есть постановки контроля, указывали на грубости, которые якобы позволяли рабочие, говорили о том, что контроль осложняет всю технику дела и дальнейшую работу делает окончательно невозможной; что, наконец, у них, почтово-телеграфщиков, есть свой Центральный Комитет в Москве, и они еще не знают его точки зрения на нашу меру, и если точка зрения ихнего ЦК будет отрицательная, тогда, дескать, «во имя профессиональной дисциплины они не могут нарушить» и так далее и так далее.

Мы эту дребедень выслушали. Понимали, что за пустыми словами кроется самое явное, самое недвусмысленное дело: им немила рабочая власть, они борются за Временное — увы! уже свергнутое — правительство... Но от репрессий мы пока решили воздержаться, предложили им выбрать представителя и прислать его на сегодняшнее заседание Совета в три часа.

Представитель явился: такой фертик в воротничках и манжетах, с высокомерным, надменным лицом... Впечатление производил отрицательное. Держался нагло, почти смело — будто за спиной у себя чувствовал непреоборимую силу. Надо сказать, что вокруг почтово-телеграфщиков уже стала группироваться беленькая, серенькая, даже совершенно черная интеллигентская обывательская масса.

Представителя фактами прижали к стене и заставили сознаться, что никаких оскорблений от рабочих контролеров в сущности не было, что технику дела контроль не убивает и так далее.

— В чем же дело? — задаем ему вопрос.

Минутку помялся, а потом заявил:

— Мы, организованные демократы почты и телеграфа, прежде всего являемся людьми совершенно беспартийными и к политике никакого отношения не имеем... Свою работу как вели, так и будем вести. Нам все равно, чьи отправлять телеграммы: ваши или фабрикантовы. Это мы и будем делать... Контроль требуем снять немедленно, а когда явится надобность в Совете — мы сами сюда пришлем извещение. Мы также думаем, между прочим, что власть должна быть выбрана всем народом, а захватов никаких поощрять не станем. Поэтому выбранное всем народом Временное правительство

признаем как единственное законное и станем помогать...

Молодцу не дали договорить — поднялся невообразимый шум. Рабочие вознегодовали, услышав в своей среде вызывающие речи этого господина. Когда волнение поулеглось, представителя отпустили восвояси, только наказали ему снестись со своим московским ЦК и назавтра, к заседанию Совета, представить результаты переговоров.

Но каково же было удивление, когда наутро — это было 27-го — почта и телеграф объявили забастовку и прекратили работу. Что было делать? Мы оказались изолированными. Железнодорожники обещали пару-другую телеграфистов и телефонистов, но что же с ними одними поделаешь!

Сейчас же созвали к Совету рабочих, набрали группу хоть кое-что понимающих, послали их на место забастовавших.

В эту ночь и весь следующий день с телеграфом и телефоном намаялись мы немало.

Помню до сих пор, как трудно достался мне один № 88 телефона, как отчаянно пошла кругом голова от всей этой работы. Сгоряча, видя, как трудно работать с «чужими», мы решили создать из ткачей свою армию телеграфистов, телефонистов, почтовиков и открыть для этого в ближайшие дни специальные курсы.

Но дело обернулось по-другому — никаких курсов создавать не понадобилось.

На следующий день, 28-го, всю эту забастовавшую ораву (их было человек двести) мы арестовали и проводили в столовую Куваевской фабрики: помещение холодное, неприветливое, угрюмое.

Сначала арестованные геройствовали, держались с большим гонором, на что-то надеялись, чего-то ждали. Но чем дальше, тем быстрее падало их настроение.

Было уже, помню, около десяти вечера. В Совете шло заседание.

Решено было избрать теперь же человек двадцать из присутствующих, разработать специальные вопросы арестованным и ночью же отправиться в столовую для допроса. Уже готов был вопросник, его перед самым отправлением передумали, и нам, четверым, поручено было отправиться на «политическую разведку».

Разведка удалась — она превратилась даже в настоящее сражение, и это сражение окончилось нашей победой...

— Кто такие почтово-телеграфщики? — спросили мы себя.— Представляют ли они единую массу с едиными интересами?

— Конечно, нет.

— Все ли они враги наши?

— Нет.

— Так нельзя ли их раздробить по сему случаю?

— Ясно, что можно.

И мы принялись дробить.

Обращаясь главным образом к почтальонам, прислуге, мелким чиновникам, мы указали, разъяснили им, где чьи интересы, и рекомендовали отколоться от «высоких» чиновников, высказав нам свободно и совершенно безбоязненно свое мнение.

Результаты были чудесные: после двухчасовой перепалки, споров, беседы, протестов, ультиматумов мы добились того, что заключенные «генералы» остались в жалком меньшинстве, а вся масса порешила бросить забастовку, завтра же утром встать на работу, оставляя наш контроль и присоединяя к нему свой для избежания технических осложнений. Отлично — мы согласились.

Политический вопросник остался неиспользованным. Арестованных выпустили. Перед тем как разойтись после примирения, спели даже «Интернационал», впрочем, слов они не знали и мычали за нами довольно сумбурно и нелепо.

Весь «инцидент» на этом и закончился.

Да диво ли! В рабочем центре, в таком котле пролетарском, как Иваново-Вознесенск, что тут могло быть за «движение», когда рабочие фактически держали власть и до и после Октября.

Дни были нервные, нервничали и мы: даже свой боевой орган, Штаб революционных организаций, не распускали целых две недели...

Как оглянешься назад, дух захватывает от величественного пути, который открыли незабываемые Октябрьские дни.

1922

АЛЕКСАНДР СЕРАФИМОВИЧ

МОРЕ

Рассказ

Я угрюмо ехал в гремевшем, шатавшемся вагоне и не вслушивался в спор солдат с барыней, у которой качались перья на шляпе. В Лефортове сошло много народу. Окна бывшего Алексеевского училища, изъеденного снарядами, ярко светились. В манеж пропускали, строго контролируя: большевики встречали Новый год и не хотели, чтобы путалась посторонняя публика, и все-таки ухитрились и пробрались не только посторонние, но и враждебные. Митинг-концерт организовал Московский комитет РСДРП(б).

Я глянул: направо, налево тонуло без конца в синеве море человеческих голов, без конца потому, что манеж тянулся вправо и влево, теряясь.

Сколько же тут народу? Тысяч восемь с лишним.

Не пролезешь. Стоит тяжко вздымающийся, медленно падающий говор людского волнующегося моря.

В середине, у самой стены,— эстрада, красная. На ней — красный стол, красные знамена. Львиная голова Маркса глядит из-за зеленой хвои со стены. И около красного стола — устроители с растерянными, беспокойно-тревожными, побледневшими лицами.

Ах, что же это! Уже семь, уже семь с половиной, уже без четверти восемь, а главные участники не приезжают. Начало назначено в семь часов. Медленно и тяжко волнуется говор теряющегося в синеве людского волнующегося моря.

Что-то оно скажет? Что-то скажут эти восемь тысяч? Неближний свет. Зачем же вы нас собирали?

Устроители волнуются. Над эстрадой мечется, как шорох, подавленный раздраженно-испуганный шепот:

— Автомобиль надо было...

— Но где же его взять?.. Сами знаете...

— Товарищ, начните вы, ради всего...

— Да не могу же я... У меня свое задание. Я на чет-

вертом месте, а тут надо вступительное слово,— надо же ввести публику. Что же это, какой-то взъерошенный вечер будет. Да наконец я скажу, а дальше... За мной опять никого, оборвем и будем ждать,— это еще хуже.

— Но ведь это же скандал...

— Да, скандал: восемь. Вечер сорван.

Людское море потемнело, придвинулось к самой эстраде, и издалека, оттуда, из синей глубины, вздымается грозное неудовольствие. Тысячи глаз смотрят: когда же?

Тогда в отчаянии предлагают перевернуть: начать вторым отделением — литературно-концертным.

Но ведь это же опять скандал. Куда же деваться?

Среди толпы показывается один из участников. С эстрады срывается вздох облегчения — хоть как-нибудь можно начать и кое-как провести митинг.

Открывается собрание.

Седой товарищ поднимает руки, водворяя тишину, взмахивает, и над восемью тысячами человек разливается «Интернационал».

К эстраде протискивается несколько молодых солдат с безусыми лицами: над ними колыхаются красные шелковые полковые знамена. Их вносят и ставят на эстраду по обеим сторонам Карла Маркса. Солдаты становятся почетным караулом.

— Слово принадлежит представителю восемьдесят пятого пехотного полка.

Гром аплодисментов.

К краю выходит бледный-бледный, точно только что поднялся от тифа, солдат. Говорит:

— Я пришел вас приветствовать... приветствовать, послан приветствовать...

И замолкает. Тягостное молчание. Восемь тысяч пар глаз смотрят на него — ни одной улыбки: понимают, растерялся или просто не привык говорить перед громадным собранием.

С усилием, с перехватываемым дыханием он говорит:

— ...пришел приветствовать... приветствовать... от восемьдесят пятого пехотного полка... который... положил много жертв... когда брал это училище, где вы теперь...

Взрывом дрогнуло все от рукоплесканий. Восемь тысяч нитей внимания, расположения, любви потянулись к эстраде. Этот слегка потерявшийся оратор сказал больше, чем десяток блестящих речей. И в гуле непрекращающихся рукоплесканий слышалось: «Мы тебя любим, восемьдесят пятый полк. Мы преклоняемся перед

павшими твоими товарищами, благодаря которым мы вошли сюда».

И разом слетели тревога, неуверенность и напряженность внимания, наэлектризировалось все огромное пространство, залитое людьми.

Вышел товарищ и стал говорить. Он говорил вовсе не речь, он просто рассказывал кучке слушателей — даром что эта кучка в восемь тысяч! — рассказывал о далекой Якутке, где всего год назад в это же время встречал Новый год с товарищами, а на дворе трещал якутский мороз. Он говорил своим товарищам по изгнанию: будущий Новый год мы будем встречать среди революционного народа. Товарищи смеялись.

— Смеялись, а я угадал, и пророчество сбылось,— говорит оратор, — и мы с вами сейчас встречаем Новый год в здании, которое имело совсем другое назначение.

Товарищ говорит о протекшей революции, о наших братьях за рубежом, которые тонут в крови. Он говорит о том, что говорилось, что слышали, о чем сам много раз говорил, но почему же в этом старом так много новизны? Потому, что оно обвеяно далеким якутским пророчеством, и пророчество сбылось. И оттого бесконечно синеет в напряженном внимании человеческое море, и все головы жадно повернуты в одну сторону, к красной эстраде, где в белой рубашке просто и ясно рассказывает человек.

И когда он кончил, из конца в конец заплескалось синеющее море, гулом наполнив колоссальное здание.

— Товарищ Иоанн,— заявляет председатель,— будет говорить сейчас.

Выходит небольшого роста, в гимнастерке защитного цвета военнопленный и говорит изломанным, таким странным для уха русским языком, и в глазах его печаль:

— Я плохо говорю по-рюсски, но я этому не виноват.

— Ничего... ничего... говорите, слушаем...— несется из зала.

— Вы, рюсские, весело встречаете ваш революционный Новый год, а мы... мы не имеем права... Мы печальны, мы ошень печальны... у наших братьев там темнота... у вас праздник. Вы сделали свое дело, мы — нет, и мы печальны...

Что это? Не вздох ли пронесся над тысячами людей?

Нет, это печаль стала, как темное опустившееся покрывало.

И сквозь эту печаль, сквозь этот вздох молчания раздался голос нашего солдатика:

— Ничего, не тужите, у вас то же будет.

И разом просветлело, а товарищ Иоанн улыбнулся:

— Да, борьба, только борьба несет счастье. Есть легенда, ошень красивая легенда, и я вам ее скажу. Когда Христа распяли и он умираль на кресте, лицо его было светло — он проповедоваль любовь, и всепрощение, и непротивление. И прилетел к нему сатана, черный и мрачный, и сказаль: «Я тебя искушаль два раза, и ты не поддался. А теперь я тебя не буду искушать, я скажу тебе правду. Слюшай же. Ты всю жизнь училь только любить, только прощать, только подчиняться, гнуть свою шею — это рабам. А я училь: жизнь — борьба, счастье — борьба, свобода — борьба. Хочешь рабом — прощай всех, хочешь свободы и счастья — борись». И отлетель сатана, и умер Христос, а на лице его быль отчаяние.

Он замолчал, и секунду стояло молчание, и взрыв аплодисментов покрыл его.

Интер-на-ци-о-нал.

Выступил венгр, секретарь Будапештского комитета социал-демократической партии, и на венгерском языке, резком, как орлиный клекот, обратился к синевшим в толпе венграм, а русские слушали, не проронив ни слова.

Выступил серб, и зазвучал мягкий красивый сербский язык — наполовину его понимали.

И холодно, бесповоротно, как судебный приговор, говорил по-немецки еще один товарищ военнопленный, решая революционные судьбы германского народа, а русские слушали, угадывая сердцем.

Это все интернационалисты. Весь земной шар заселен братьями рабочими. Уже слышен набат. Уже колеблются стены тысячелетней стройки эксплуатирующих, и восходит из-за них заря нового человеческого строительства, заря социализма,— вот смысл их речей.

От Московского комитета РСДРП (большевиков) им отвечал по-немецки товарищ:

— Русская революция 1905 года приоткрыла густое покрывало, лежавшее на лице русского народа. Революция нынешнего года сорвала долой это покрывало, открыла глаза русскому народу и вплотную придвинула его к социализму. Теперь очередь за вами, нашими братьями, за западноевропейским пролетариатом.

И опять русские внимательно слушали. И русские и немцы проводили его долгими аплодисментами.

Перерыв. На эстраду ставят рояль. Но второе отделение отдыха и развлечения никак не может начаться,— выступают с приветствиями делегаты от университета Шанявского, от украинской СДРП (большевиков), от союза молодежи и другие.

Наконец председатель поднимается и говорит:

— Деловая общественно-политическая часть нашего вечера окончена, теперь прослушаем наших товарищей артистов, музыкантов и литераторов. Сейчас будет исполнена «Легенда» Венявского.

К краю эстрады скромно подходит девушка в белом с черным, со скрипкой, с милым девичьим, спрашивающим у жизни лицом: «Что ты есть? И что ты таишь?»

Она прижимает скрипку и, медленно, легко и странно изгибая руку в сквозном рукаве, подымает смычок, а я опускаю глаза: «Эх, напрасно она «Легенду»... Надо считаться с публикой — не поймут: начнется сморкание, кашель... Напрасно...»

Я стоял хмуро, опустив глаза, и в ту же секунду от эстрады к человеческому морю медленно, звеняще потянулась певучая, необрывающаяся нить, похожая и непохожая на человеческий голос, то едва уловимая, готовая погаснуть, то густо свертывавшаяся грудной жалобой низкого контральто, потянулась и погасила все звуки, царствуя...

И я поднял глаза...

Видали ль вы остеклевшее море?

И в нем забытые повисли облака, и отразились горы, и берег, и дальний полет белой чайки.

Слыхали ль вы, как перестают дышать восемь тысяч человек?

Так вот о чем поет эта черноволосая девушка, вот о чем поет она из-под длинного нескончаемого смычка.

О чем?

И о том, что есть счастье и печаль, и есть прошлое, и подернуто волокнистой синевой неведомое будущее...

Все стало прозрачным: лишь оброненные неподвижно облака, да отраженный берег, да опрокинутые горы, да замерзший дальний полет чайки...

Потом смычок тянулся, истомно слабея и без конца, и никто не заметил, никто не знал, когда он погас. В зале стояла огромная пустота...

...Я не хочу больше печали, я не хочу больше печали, тонко впивающейся в душу...

Все помутилось, заколебалось, поломалось... Пропали облака, берег, горы, чайка, и проступило синеющее людское море. Все дрожало, и от края до края неумолчно мелькали руки, блистали глаза.

Девушка принесла свое чудесное искусство, свое творчество; его бережно приняли и теперь благодарили.

А я радостно смотрел на возбужденные лица.

Выходили певцы — пели. Выходили артисты — читали.

Поэты читали свои стихотворения.

Двенадцать часов...

Председатель поднялся:

— Товарищи, на рубеже Нового года даю слово представителю нашей революционной армии.

— Товарищи,— раздается крепкий голос военного,— Новый год начался не сегодня, не сейчас, не в эти двенадцать часов, Новый год начался с Октябрьской революции, когда наконец власть перешла к рабочим и крестьянам. Много еще работы впереди революционному народу, революционной армии, много борьбы. Но прежняя армия состарилась, устала. Ее нужно сменить. Нужно создать новую армию на иных, революционных началах. Мы с вами празднуем сейчас здесь Новый год, а наши братья умирают там, на Дону, в борьбе с Калединым. Ударит час — и мы пойдем этим борцам на смену.

И опять потрясающе гремит манеж из края в край.

— Товарищи,— подымается председатель,— вечер наш закончен, заседание закрывается. Наши товарищи, трамвайные рабочие, прислали наряд вагонов, чтобы доставить граждан по домам, больше они не могут ждать: уже начало первого. Надо расходиться.

Но никто не хочет уходить, даже равнодушные, даже враждебные. Хотелось еще и еще продолжать этот необычайный вечер, полный напряженности, точно все было наэлектризовано.

Молодежь сгрудилась на эстраде, уже несется оттуда песня о кузнецах, кующих счастье народа. В другом месте взмывает «Интернационал». Гремит прощальный привет оркестра.

И я ухожу с радостным сознанием моей ошибки. Если митинги и стареют и делаются шаблоном, то жизнь умеет до краев влить в них новое животворящее содержание и вдунуть живой созидающий дух, оставляя в сердцах неизгладимый след.

1918

ПОЛИТКОМ

Рассказ

Как из весенней земли густо и туго пробиваются молодые ростки, так из глубоко взрытого революционного чернозема дружно вырастают новые учреждения, люди, новые общественные строители и работники.

И не потому появляются, и живут, и крепнут, и развиваются, что новые учреждения вновь организуют сверху, новые должности вновь создают сверху, а потому, что в рабочей толще и в толще крестьянской бедноты произошел какой-то сдвиг, какие-то глубокие перемены, которые восприняли эти новые ростки и дали им почву.

Передо мной открытое юное лицо политического комиссара Н-ской бригады. Чистый открытый лоб, волнистые светлые, назад, волосы, и молодость, смеющаяся, безудержная молодость брызжет из голубых радостных глаз, из молодого рдеющего румянца, от всей крепкой фигуры, затянутой в шинель и перетянутой ремнями, от револьвера и сабли.

Коммунист, крепкий партийный работник из Петрограда. И, радостно смеясь, лицом, всей своей фигурой, глазами, говорит:

— Ведь, знаете, даже смешно. Один ведь в сущности среди массы красноармейцев. Все вооружены, часто усталые, раздражены, а слушаются одного. Часто заберутся на подводы и едут. Подходишь и сгоняешь. Это необходимо. Все соскакивают и идут. Есть что-то, что заставляет их слушаться, заставляет слушаться помимо боязни: признание моей правоты, что правда на моей стороне. В этом сила политического комиссара. А все-таки красноармейскую массу надо держать, и крепко надо держать в руках. Тут уж не ротозейничай, слюни не распускай. Политком должен на такой недосягаемой высоте стоять, и — твердость! Ни малейшей уступки! Уступил — все пропало! И это не во внешних отношениях. Тут с ними и шутишь и балуешься, а как только к делу, политком для них — бог, на высоте. И чтоб ни одного пятнышка! Другой может устать, политком — нет. Другой захочет выпить, ну, душу хоть немного отвести, это же естественно, политком — нет. Другой поухаживает за женщиной, политком — нет. Другой должен поспать шесть-семь часов в сутки, политком бодрствует двадцать четыре часа в сутки. И так и есть. И в этом сила. А в красноармейских массах — признание правоты всего это-

го. И от этого та глубокая почва, на которой вырастают побеги железной дисциплины.

Он на минутку примолк, все такой же юный, румяный, крепкий, и всё с такими же радостно смеющимися глазами от своей молодости, от переизбытка сил.

У меня больно заныло сердце: «Убьют. Политком, как бог, без пятнышка, стало быть, всегда в первых рядах, а пулеметы косят».

— А иногда жуткие бывают минуты,— сказал он, глядя на меня и ласково смеясь милыми глазами,— жуткие, не забудешь. Звонят мне по телефону: «Вторая рота отказывается выступать на позицию». Видите ли, командный состав прежде подделывался под старших, под свое начальство, ну а теперь под армейскую массу, боятся. Вот ротный, вероятно под шумок, и шепнул: «Товарищи, просите, чтоб соседнюю роту послали. А то все вы да вы. Небось заморились». Ну, рота обрадовалась и уперлась: «Не пойдем, замучились, посылайте соседнюю роту». Ну, тут, знаете, одной секунды упустить нельзя. Беру трубку и говорю спокойным и отчетливым голосом: «Я иду в роту. Если к моему приходу рота не уйдет на позицию, то ротный будет расстрелян, взводные будут расстреляны, отделенные будут расстреляны» — и положил трубку, не слушая никаких объяснений. Потом пошел в роту. Шаги делаю коротенькие, а кажется, будто бегу. С четверть версты идти, а мне кажется, будто я их пробежал. Вхожу — никого... Гляжу, из балки хвост роты подымается — на позицию пошли. Гора с плеч свалилась: если бы застал, расстрелял бы, как сказал, иначе нельзя. И вот это напряжение постоянно.

— Устали?

— Да нет, — заговорил он радостно, — чего уставать-то? Некогда уставать-то — день и ночь ведь.

Как молодой конь, выпущенный в раннее утро во весь повод, несся он, и ветер резал его, и травы и цветы ложились под ним, и пена клочьями неслась назад, а ему все мало, он все наддает, все прибавляет, и нет конца бегу. Таким в работе, в строительстве армии, в строительстве дисциплины армии был этот юноша с залитыми румянцем щеками.

Среди боевой тревоги, среди реющей смерти, бессонницы, напряжения, как непрерывно падающие капли, комиссар непрерывно внушает красноармейцам, за что они бьются, что было прежде и что теперь и что грядет огромное мировое счастье человечества.

Маленький городишко, заброшенный и скучный, — в

снегах по самые окна. Сверху низкое иссера-снежное небо. За крайними избами дымятся по пустынным степям метели.

А мы сидим в теплой низенькой мещанской комнатке. Печка столбиком посреди комнаты. На стенах деревянные фотографии с одинаковыми черными точечками в глазах. И, странно выделяясь, как музыкальный аккорд среди уличной шарманки, молча стоит пианино. Дочка-гимназистка играла. Вышла замуж, ну и пианино не нужно.

Мы сидим за столом. Керосин на сегодня есть, и в комнате светло. На столике у стены то и дело цыплячьим голосом поет телефон.

Комиссар поминутно встает, отдает приказания, запрашивает, проверяет, цела ли цепь, и опять говорим, говорим, говорим. Ведь я же свежий человек для него — оттуда, где он так давно-давно не был, и принес кусочек того мира, той жизни. Приносят пакеты. Он посылает. Иногда на полуслове подымается и уходит. А когда приходит, папаха, шинель, лицо — все занесено обмерзлым снегом.

— Я — литвин,— говорит он, глядя на меня серо-голубыми глазами,— мой отец крестьянин. Знаете, у нас народ такой неподатливый, упорный, идет своей дорогой, его не своротишь. Бедный народ, но твердый. Вот и у отца бедность тяжелая, но он молча и упорно пробивал жизнь железным трудом.

Я смотрю на него: белолицый, под ушами бачки. Молодой, а фигура железная, видно, крестьянский сын, но речь, но движения руки — интеллигента.

— Я ведь художник. А как это вышло? Вот как. Рисовал я хорошо в школе; учитель говорит: «Тебе учиться надо». Я к отцу. А он сурово: «Мы — мужики, жили в лесу да в поле, тут нам и назначено, тут и делай вовсю свое дело». Но ведь я — литвин, и в отца пошел, и вырос в лесу и в поле. Отец сшил мне сапоги. Это было целое событие. Сапоги! Сапоги — вечно босоногому лесному мальчику. Я готов был их на руках носить. Но я их потихоньку отнес и незаметно поставил у отца под кровать. У отца вынул три рубля, оставил отцовский дом и пошел, полуодетый, разутый, через леса и поля в неведомые города. Только я дал себе клятву, что это не будет воровство, а я из первого же заработка пришлю отцу. И еще дал клятву: как бы туго мне ни пришлось, хоть с голоду буду умирать, но отцу не буду писать, пока не стану на ноги. И клятву сдержал. Где и чем толь-

ко я не был: и у сапожника учеником, и у парикмахера, и у слесаря, и у живописца. И всюду пил кровавую горькую чашу ученичества. Наконец я сколотил пять рублей, первые пять рублей, и послал отцу. Получил отец, железный старик, долго смотрел на эти пять рублей, и гордостью засветилось лицо. Не оттого засветилось оно, что сын, которого все считали уже мертвым, нашелся, а что пробился своими руками, пробился сын и вырвал у матери-земли, такой суровой к детям полей и лесов, вырвал у нее первый заработок. «Живи, сын»,— сказал отец. Это было его благословение.

В конце концов я попал в художественную школу в Риге. И вот тут-то стал из меня выковываться социалист сознательный. Несознательно, как и в отце, как и во всех нас, крестьянах, среди наших полей и лесов, жило постоянное чувство борьбы, чувство всегда готового вырваться отпора. На моих глазах великолепно жили бароны, учившиеся в школе, я нищенствовал. Они были бездарны, меня профессора и художники выделяли как даровитого. Я едва мог сколотить на плохие краски, на плохие кисти, полотно — у баронов было всего вдоволь и все великолепное. Бароны презирали меня за нищету, я их — за бездарность. Вы понимаете, я не мог быть никем иным, как большевиком. И я — литвин.

Он достал несколько своих альбомов. Великолепный, смелый, подчас оригинальный рисунок. И в каждом — свое внутреннее содержание.

Я долго и внимательно рассматриваю альбом и говорю:

— Отчего вы сейчас не работаете? Ведь кругом море, бескрайное море типов, положений, событий, оттенков человеческих лиц. Ведь вы все это можете черпать безгранично рукой художника.

У него засветились возбужденные ласковостью голубые глаза.

— Это было бы для меня такое счастье, такое счастье! Но ведь я...— он опустил потемневшие глаза,— я... комиссар.

— Что ж такого? Ведь не пьянствовать же вы будете, не в карты играть, а заносить на полотно то, что кругом совершается. Да ведь эти рисунки, эскизы, этюды драгоценностью будут. За них вам бесконечно будут благодарны и современники и потомство. Ведь сейчас и революционная и гражданская борьба проходит мимо молча. Это не то что в буржуазную войну. Тогда на фронте тучи корреспондентов были, журналистов, бытописа-

телей, беллетристов. Ведь тогда всё, как в огромном зеркале, отражали и перо писателя и кисть художника. А теперь мертвое молчание. Разве это справедливо? Вам судьба дала талант и возможность закрепить на полотне все виденное, а вы упускаете время.

Он опять твердо сказал:

— Я — комиссар.

— Ну так что ж из того? Вам еще видней, больше народу перед вами проходит, больше всяких положений.

— Нет. У всех есть время, свободное от обязанностей, — у командного состава, у красноармейцев. Нет его только у политического комиссара, у политкома части. Все двадцать четыре часа он принадлежит не себе, а своей части. Конечно, я мог бы улучить минутку каждый день, чтобы сделать зарисовку, набросок, этюд без ущерба для дела, но, вы понимаете, сейчас же подымется кругом: политком только и знает, что рисует. Нет, я лишен этой возможности, этого счастья.

Мы заговорили о Репине.

Он так и вскинулся:

— Да ведь это же гениальный художник! Я учился у него.

Мы, забыв обо всем, заговорили о живописи, о судьбе художников, о будущем творчестве. Он весь горел, охваченный жаждою высказаться после долгого молчания в уфимских степях. Но поминутно подходил к телефону, который по-цыплячьи пищал; входили с пакетами; он, на полуслове отрываясь, отдавал приказания. И опять мы, как два заговорщика, в зимние сумерки в мещанском домике, занесенном по окна снегом, жадно говорили об искусстве и литературе, о человеческих судьбах, о судьбах России и Литвы.

Стояли и слушали молчаливое, на котором никогда не играют, пианино; печка, как белый столбик, посреди комнаты, мещанские портреты, одинаково напряженные, с одинаковыми черными точечками в глазах.

— Отчего вы не закончили вашего художественного образования?

— На войну взяли, война сожрала. Четыре года на войне да вот второй год в революционной борьбе. Пулеметным огнем ранен в обе ноги. Ноют, подлые. Сильно контужен был... И... и вам только, по секрету,—устал. Но никто этого не видит, никто этого не должен знать. Комиссар не знает усталости, ни болезни, ни последствий ран. Он не знает необходимости отдыха, сна. Двадцать

четыре часа на ногах, готовый каждую минуту отдать приказание, или впереди цепи идти в атаку, или расстрелять ослушника, и чтоб ни на одну секунду не мелькнул в глазах меркнущий огонек усталости.

А сколько у него жадности жить жизнью художника, жизнью творческого созидания! Все задавил в себе, все принес пролетариату, революционному крестьянству и сказал:

— Нате, берите меня всего, черпайте до конца, весь ваш!

Разумеется, несомненно есть и комиссары, не отвечающие своему назначению, но я таких не встречал. Политком день и ночь на виду у тысячи глаз, и малейший промах, малейшая ошибка, пятно — и он летит с места или идет под расстрел.

Жива Красная Армия, и лучшее, что есть у пролетариата, у революционного крестьянства, у революционной интеллигенции,— все это идет на служение ей.

1918

ФЕДОР ПАНФЕРОВ

ПЕРЕД РАССТРЕЛОМ

Рассказ

Нас здесь много.

Десятилетия мы собирались в одну семью, ибо были пропитаны одним духом, одной идеей.

Собирались — и сильною рукой пролетариата подняли знамя революции, свергли деспотию и смело пошли навстречу солнцу — социализму, но очнулись придавленные гады, закаркало воронье, слетелось со всех концов России и вырвало у нас знамя, затоптало его и выкинуло свой черный флаг.

Все мы ждали одного и дождались.

Как будто сквозь стены проползло слово *«расстрел»* и впилось в мозг каждого.

Нас в одной камере человек до шестидесяти — все мы лежим молча на грязном полу, бледные, исхудалые: нас не кормят.

Ко мне подходит с искаженным лицом молодой инженер-технолог Мальцев:

— Товарищ Нордов, мне кажется, этого не будет... я не могу понять, ведь они шли против всяких расстрелов...

— Да. Когда их расстреливали...

— Неужели они?..

Я молчу, он садится рядом со мной и в сотый раз начинает свою исповедь:

— Сколько лет, сколько лет я пробивал себе дорогу, лишь бы учиться... я, как бедняк, терпел все: голод и унижение... выучился, и вот...

Я молчу, смотрю на остальных товарищей.

— Знаете, товарищи, я боюсь, боюсь не своей смерти, а того, что своей смертью убью старика отца... «Вот и сынок у меня инженер», как говорил он, а теперь...— Он беспомощно развел руками.— Вырвался из рук белых из Омска и попал сюда... и как-то случайно. Ведь стоило только бы мне опоздать на поезд, и теперь я жил

бы в советском городе... а следующий поезд не пошел.

Смолк... сидел так долго, верно думая о своем старом отце, что теперь волочит там свое старое тело по «учредилке» и просит у власти пощады своему сыну.

— Нет, меня не расстреляют,— вдруг заговорил он,— ну какие у них доказательства, ну что они мне предъявят на суде?

— Вы думаете, будет суд? Нет... вот выведут и...

— Что? Расстреляют? Да? — Теребит меня за руку.

— Нет...

— Товарищ Нордов, скажите правду, меня расстреляют? Только правду, и я вам поверю и успокоюсь.

Я сказал неправду:

— Нет, не расстреляют.

— Ну, вот спасибо, спасибо...

— Вы отдохнули бы, а то нервы у вас расшатались.

— И то правда, правда... я больше сам нагоняю...

Засмеялся тихим, дрожащим голосом, лег и заснул больным, тяжелым сном... Лицо передергивается, по телу пробегает нервная дрожь.

Я встал на стол и смотрю в окно. День такой светлый, ясный, словно пятилетний карапуз, которому мама принесла с ярмарки оловянного солдатика, и он улыбается всем.

— Дети, смотрите — дети,— зашептал мне в ухо Мальцев.

Я встал.

По дороге бежали босые дети, казавшиеся нам с высоты комариками, поднимали пыль и смеялись этому.

Я знаю: они бегут вон в ту рощу; там есть такой глухой дол, где я, бывало, мечтал, и пески там... они играть будут.

Детишки скрылись за углом тюрьмы, мы долго смотрели на голубое небо, на рощу, вдаль и, видимо, думали об одном: чтобы жить, надо завоевать права на жизнь.

Вдруг внизу, на дворе, сквозь стиснутые крепко зубы прорвался стон. Мы вздрогнули.

Несколько белогвардейцев и прапорщик вывели совершенно раздетого человека; на его теле виднелись алые ленты, что ползли вниз и оставляли след.

— Неужели ремни, товарищ Нордов?

— Это председатель Совета.

Мальцев отшатнулся, закрыл лицо руками и закричал:

— Изверги! Звери!

В ответ ему раздался хохот со двора.

Все столпились.

Уже около двенадцати часов ночи. В камере тихо, но никто не спит.

Стою у окна и думаю: «Последние часы, последние минуты, и с этим надо мириться, ибо умереть за идею, умереть на баррикаде — это есть счастье. Умереть рабом — позорно».

Так говорит рассудок.

Но жизнь тянет, зовет, требует меня к себе.

Какой-то прилив силы. Я выпрямляюсь.

Нет, я гордо и стойко умру. Я прямо в глаза брошу им: «А все-таки мы победим». И умру так же, как умер мой брат.

Лег... И опять гнетущее чувство, тело стало требовать себе прав.

«Ведь все равно, все равно убьют, так лучше умереть, твердо веря, что вновь народившийся брат твердой рукой поднимет выбитое знамя социализма».

Лежу. И бью кулаком по стене. Хочется разбить ее.

— Товарищ Нордов, вы не спите?

— Нет.

Товарищ как сумасшедший срывается с места и бегает по узкой дорожке между босых грязных ног спящих в камере.

— А как Марьянка-то у меня...— шепчет кто-то в углу,— дочурка-то как? А? Такая смышленая она у меня... вот как иду с завода домой, а она уж стоит и ждет меня у окна... только увидит, застучит кулачонками, закричит: «Папенька обедать идеть... Кхии...»

Ему никто не отвечает. Каждый думает о том же.

Чуть маленький стук в коридоре, как все вздрагивают.

Мальцев, дрожа, подошел ко мне:

— Эх, товарищ!

Он плачет.

— Знаете что,— шепчет он сквозь слезы,— они очень легко пишут приговор другим... Да какое они имеют право на мою жизнь, ведь я не отнимал у них прав, я требовал своих... разве они знают мою душу, мои мысли?

— Борьба — это закон мира.

— Если бы все могли прочувствовать вот эту жажду жить, что бурлит у меня вот здесь, в груди, то не было бы этого зверства, убийства из-за потерянных лавок, потерянного господства и власти... Убить человека, если он злораден, но убить его за то, что он требует прав на

жизнь себе и другим,— это зверство, товарищ Нордов, это зверство...

— Да, человек создан,— шепчу я,— создан для того, чтобы жить, разрушать, созидать и вновь разрушать.

— Умереть как барану под пулей — вот что обидно.

— Да, товарищ, немало нас погибало и погибнет под пулей тех, кого следовало бы побить каменьями, но помни, что пройдут годы и новые люди будут жить под солнцем социализма, вспомнят о тех, кто умер, а за них и над их костями высоко поднимут светоч.

Он молча в темноте нашел мою руку и крепко сжал.

В коридоре послышался говор, звон шпор, шаги.

— Идут, товарищи...

Все вскочили и столпились в кучу.

Взошли три белогвардейца и тот прапорщик, что издевался над председателем Совета.

— А, любезнейшие товарищи коммунары, приготовьтесь...

Вынул бумагу и стал выкликать:

— Коровкин!

— Я!

Коровкин, рабочий с завода, рыжий, коренастый, вскочил.

— Угу... это ты, знаю, знаю.

— Ничего ты не знаешь. Одежу брать?

— Как хочешь, хочешь — бери, постелешь там. Хе-хе.

— Тоись... А-а-а. У, сволочь!

— Молчать!

Прапорщик толкнул Коровкина.

— Ты не больно. А то я толкну так толкну.

— Конвой, чего смотришь... мне грубят... прикладом.

Конвоир молча ударил прикладом Коровкина, и он вылетел в коридор.

— Вот так,— прапорщик прищелкнул пальцами,— дальше.

— За наши головы тебе звездочку пришьют,— проговорил кто-то.

— Молчать там... Дальше, дальше... с вами разговаривать нечего... Мальцев!

— Я...

Мальцев вскочил:

— Меня-то за что?

— Там поговорим.

— Не падайте духом, товарищ Мальцев, я иду с вами.

Подхожу к прапорщику:

— Берите меня.

Прищурил глаза:

— А-а. Вы комиссар-с?

— Да.

— Ну, мы вас особо, по-комиссарски. Хе-хе.

Минуты через три наша камера почти опустела, царила тишина, слышно было: в соседних камерах не спит кто-то.

Через стену заговорил:

— Товарищи! Нас много, нас не победят!

— Мы вечность, товарищи,— отвечаю я.

Прилив сил, и в то же время чувствуешь, как что-то ползет сквозь стены, чудовищное, злорадное, зверское.

«И меня, и меня,— мелькает у каждого в голове,— вот сейчас вернется и возьмет».

— Ну, марш! — командует прапорщик в коридоре.

Двинулись не сразу.

Вдруг, как будто один из них очнулся, сознал и крикнул:

— Товарищи! Прощайте!

Его крик подхватили другие — и сильная волна пролетарского «прости» загудела под темными сводами тюрьмы.

Забегали часовые, послышались выстрелы, крик:

— Прощайте!

— Прощайте! — отвечали мы.

В противоположной камере грянул гимн:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе...

Присоединилась другая, третья камера, и через несколько секунд новая волна, бьющаяся, рвущаяся на волю, забилась и вырвалась:

В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе.

Услышали товарищи и тоже подхватили.

Вдруг в углу нашей камеры раздался женский вопль.

И мигом песнь слилась с воплем души.

Залп — и все смолкло.

«Эх, разбить бы эти стены!!»

1918

ВАДИМ КОЖЕВНИКОВ

БОЛЬШОЕ НЕБО

Рассказ

Командир отряда, матрос Белокопытов, отрываясь от бинокля, прокричал в ухо красногвардейцу Григорьеву, чтобы тот пробирался в обсерваторию и принял меры для защиты здания от снарядов.

Григорьев, токарь Путиловского завода, курчавый, низкорослый, приложив растопыренные пальцы к грязной солдатской фуражке, сказал громко:

— Будет исполнено, товарищ командир.

Григорьев объяснял задание посланным с ним красногвардейцам:

— Небо сторожить, ребята,— это не коров пасти. Комета какая-нибудь сорвется — они сейчас в трубу посмотрят, а в трубе увеличительные алмазные стекла, через них как есть все видно. Опять насчет религии ими точно доказано: бога нет, а звезды — расплавленный металл. Понятно?

Шел блестящий и крупный дождь. Туман медленно сполз в низину. Отяжелевшие, облепленные грязью ноги разъезжались. Но когда один поскользнувшийся боец, чтобы не упасть, оперся о землю прикладом винтовки, Григорьев грозно крикнул:

— Зубами цепляйся, а оружия пакостить не смей!

Раздобыв лопаты, красногвардейцы копали в огороде землю. Набив ею мешки, они носили их с побагровевшими, склоненными лицами в обсерваторию через внутреннюю железную лестницу и складывали на крыше.

Глядя на грязный пол обсерватории, Григорьев заметил огорченно:

— Ишь наследили, разуться б надо, ребята.— Потом, указав на купол и на свои босые ноги, добавил: — Чисто в мечети мусульмане,— и громко рассмеялся.

Зябко потирая желтые руки, к Григорьеву подошел худощавый румяный старик в белом халате — профессор Стрижевский. Нервно моргая, он спросил:

— Что тут происходит, господа?

Григорьев, не обижаясь на «господа», бойко ответил:

— А вот вашу небесную канцелярию обороняем: если из тяжелых ударят, вашим трудам крышка.

— Но ведь это обсерватория,— сердито оборвал его профессор.

Григорьев отступил на шаг, оглядел профессора и, мотнув головой в сторону города, сказал злобно:

— А там, товарищ, женщины и дети, и ничего — долетают.

До ночи возились красногвардейцы на крыше обсерватории, устилая хрустальный ее купол мешками с землей. И когда они хотели уже спускаться, над люком появилась голова профессора. Задыхаясь, он тащил на крышу огромную пухлую перину. Пряди седых сухих волос спадали на его влажный лоб.

Григорьев, принимая из обессиленных рук профессора перину, сказал, просияв глазами:

— Вот за это спасибо!

Ночная тьма, казалось, тяжело вздыхала от орудийного гула.

Придавливая рукой окурок, Григорьев дружелюбно спросил профессора:

— Сказывают, звезда такая есть — Маркс. Это что, в честь нашего учителя называется?

— То Марс, товарищ,— поправил тихо астроном,— в честь бога войны.

— Бога? — переспросил Григорьев.— А Маркса нету?— И, взглянув серьезно в утомленные глаза профессора, сказал озабоченно: — А нужно было бы завести, товарищ профессор.

— Да, но это должна быть новая звезда, ее нужно сначала найти.

— Чего искать! — задорно воскликнул Григорьев.— Вот она! — И, протянув руку к небу, он указал на самую большую звезду.

Профессор вышел проводить красногвардейцев; спотыкаясь, он расстроенно бормотал:

— Как же так, а я вас чаем хотел угостить!

— Благодарствуем, нельзя нам,— за всех отвечал Григорьев,— нас и так совесть замучила — долго прохлаждались тут.

Пожав руку профессору, красногвардейцы скрылись во тьме.

Красногвардейский отряд имени Карла Маркса пятые сутки, зарывшись в землю, отбивался от противника. Взбесившийся враг забрасывал отряд снарядами. Пули роились в воздухе, и нельзя было оторваться от земли, но красногвардейцы подымались и бросались в атаку.

Григорьев, лежа у горячего, трясущегося пулемета, испуганно оглядывался, когда снаряд, описав высоко в небе дугу, тяжело плюхался далеко позади, там, где возвышалась на бугре хрупкая стеклянная голова обсерватории.

В минуту затишья, толкая локтем пулеметчика, Григорьев тревожно шептал:

— Досада меня мучает. Случай был взглянуть на звезды, какие они есть на самом деле, а я застыдился профессора попросить: все ж таки интеллигенция...— и, приподнявшись на локти, он оглядывался.

Внезапно что-то черное с грохотом пронеслось мимо, как поезд, и Григорьев удивился, что боль может быть такой сильной и нестерпимой. Погружаясь в темноту, он чувствовал, как по лицу у него что-то текло...

Красногвардейский отряд имени Карла Маркса, покинув ненужные теперь окопы, расположился на временный отдых.

Отряд сильно поредел, а все оставшиеся в живых носили на себе страшные следы тяжелых битв.

Двор обсерватории был устлан сеном, на нем вповалку спали измученные бойцы. У Григорьева на правом глазу чернела повязка, забинтованная рука висела на ремне. Мучимый лихорадкой, он баюкал ее, как младенца, сидя на крыльце в накинутой на плечо трофейной шинели.

В высоком, чистом небе вздрагивали звезды. Григорьев глядел на небо и искал сиротливым глазом среди трепетно пылающих планет звезду, которая еще не имеет названия.

На крыше обсерватории возились люди; они осторожно освобождали прозрачный купол от тяжелых мешков земли.

Из флигеля вышел профессор Стрижевский; зябко кутаясь и шаркая ногами, он осторожно шел по двору, обходя спящих людей.

— Товарищ профессор! — слабо окликнул его Григорьев. С трудом поднявшись навстречу, он спросил, протягивая руку: — Ну как, нашли звезду-то?

— Ах, это вы, голубчик? — наклонился к нему профессор и вдруг воскликнул: — Боже мой, что у вас с глазом?

— Уполовинили,— объяснил Григорьев и добавил: — Ну ничего, зато вы за меня теперь в оба посмотрите.

Потом, вытянув руки по швам и подняв подбородок, он попросил застенчиво:

— Товарищ профессор, разрешите поглядеть?

— Ах, прошу вас, пожалуйста! — засуетился обрадованный астроном.

— А ребятам тоже можно? — взволнованно спросил Григорьев.

— Но они же спят.

— Для такого дела...— И Григорьев зычно крикнул: — Кто желает звезды смотреть, вставай!

Сев на высокий металлический табурет, Григорьев припал единственным глазом к рефрактору. В таинственной тишине обсерватории он слушал рассказ профессора о величавой жизни Вселенной. Небесный океан раскрывал перед ним свои глубины.

А на улице, в холодной ночи, выстроились кашлявшие, продрогшие бойцы, чтобы увидеть далекое небо.

Вспыхивали и гасли огоньки папирос, люди шутили хриплыми голосами, толкались, пробуя согреться.

Но, входя в помещение обсерватории, движимые каким-то инстинктом, они почтительно снимали фуражки.

Выходившего из обсерватории человека охватывало великое волнение от виденного, хотелось молчать и думать, и уже никто не помышлял о сне.

1938

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

НОЧЬ МЕЖДУ ДВУМЯ БОЯМИ

Рассказ

Потный Телегин, широкоплечий человек с обветренным, широким, бритым лицом, зевнув, присел у костра, где ярко горел, брошенный сверху, железнодорожный щит.

Было лето восемнадцатого года. Свежая ночь над кубанской степью пышно раскинулась звездами, булькала перепелиными голосами. Огонь освещал наверху, на насыпи, товарные составы — кирпично-красные вагончики, ободранные и разбитые. Иные прибежали от берегов Тихого океана, иные из полярных болот, из песков Туркестана, с Волги, из Полесья. На каждом имелась пометка: *«Срочный возврат»*. Но все сроки давно прошли. Построенные для мирной работы многотерпеливые вагончики, с намазанными осями и проломанными баками, готовились сейчас, отдыхая под звездами, к совершенно уже фантастической деятельности. Их будут сбрасывать целыми составами со всем содержимым под откосы, набив в них, как сельдь в бочку, пленных русских мужиков и наглухо заколотив двери и окошки,— угонят за тысячи верст с пометкой мелом: *«Непортящийся груз, медленная скорость»*. Они превратятся в кладбища сыпнотифозных, в рефрижераторы для перевозки мороженых трупов. Они будут взлетать в огненных взрывах под самое небо... В сибирских дебрях их двери и стенки будут растаскиваться на заборы и скотные дворы... И, уцелевшие, обгорелые, разбитые, они еще не скоро, очень не скоро приплетутся по требованию срочного возврата и станут на ржавых путях для ремонта.

— А что, товарищ Телегин, как в Москве пишут — скоро кончится гражданская война?

— Покуда не победим.

— Видишь, как пишут... Значит — надеются на нас...

Несколько человек у костра — бородатые, обгорелые, черные — лежали лениво. Спать не хотелось, шибко раз-

говаривать тоже не хотелось. Один попросил у Телегина махорки.

— Товарищ Телегин, а кто это такие — чехословаки? Откуда они взялись у нас? Раньше будто бы не было таких людей...

Иван Ильич объяснил, что чехословаки — военнопленные, славяне, из них еще царское правительство начало формировать корпус, чтобы перебросить на Западный фронт, к французам, но не успели...

— А теперь Советская власть не может их выпустить, раз они едут на империалистический фронт... Потребовали, чтобы они разоружились. Они взбунтовались где-то, кажется, в Пензе.

— А ведь наш комиссар, ребята, так же объяснял... Что же, товарищ Телегин, неужели и с ними будем воевать?

— Никто сейчас ничего не знает... Сведения — самые неопределенные... Думаю, что вряд ли... Их всего — тысяч сорок...

— Ну, это побьем... У нас народу много...

Опять замолчали у костра. Тот, кто попросил табачку у Телегина, покосившись, сказал, видимо только так, для уважения:

— Гнали нас при царе под Сарыкамыш в Закавказье. Никто ничего не говорит — за что должны бить турок, за что мы должны помирать. А горы там ужасные. Посмотришь — эх, думаешь, родила тебя мать не в той люльке... А теперь не то,— эта война веселая, для себя, отчаянная... И все понятное — и кто и за что...

— Ну, вот я, скажем, прозвище — Чертогонов,— густо проговорил другой солдат, поднявшись на локте, и сел так близко к огню, что стало удивительно, как не загорится у него борода. Вид его был страшный, черные волосы падали на лоб, на рябом лице горели круглые глаза. — Может, я — цыган, может — индеец какой-нибудь, мне не известно... Два раза был на Дальнем Востоке, в кутузках сидел без счета за бродяжничество. Летом — на Черном море, на Волге, на пристанях, зимой батрачу по хуторам... Ну, Чертогонов и Чертогонов, разве я человек! Хорошо. Все-таки меня закрючили — в казарму, воинский билет и — на войну... Шесть ранений... Вот, гляди.— Он залез пальцем в рот, отодрал его на сторону, показал корешки выбитых зубов.—Изловчился я попасть в Москву, в лазарет, а тут — большевики... Конец моим мукам. Вопрос: «Социальное положение?» Я им: «Дальше не ищите, я — тут, потомственный почетный

батрак, рода-племени не знаю,— может, цыган, может, индеец — словом, интернационалист...» Как они засмеются! Мне — винтовку, мне — мандат. И стали мы в то время обходить город — искать злостных буржуев... Зайдешь в хорошую квартиру, хозяева, конечно, сробеют... Смотришь, где у них что попрятано — мука, сахар... Сволочи, ведь боятся, дрожат, а разговору не выходит и не выходит... Иной раз остервенишься,— не человек, что ли, я, гладкая твоя морда, разговаривай, ругайся, умоляй меня... Пустишь его матюгом, а разговора не выходит... В чем, думаю, дело?.. И так мне стало обидно: весь век молчал, на них, дьяволов гладких, работал, кровь за них проливал... И меня за человека не считают... Вот они, думаю, каковы буржуи, сподобился их повидать. И стала меня жечь классовая ненависть! Узнал я свою силу... Хорошо... Надо было реквизировать особняк купца Рябинкина. Пошли мы туда четверо с пулеметом, для паники. Стучим в парадное. Через некоторое время отворяет нам трясогузка, горничная, вся, голубушка, побледнела и заметалась,— ах, ах,— на цыпочках... Мы ее отстранили, входим в залую — огромная комната со столбами, и посередине стоит стол, а за ним сам Рябинкин с гостями едят блины. Дело было на масленицу, все, конечно, пьяные... Это в то время, когда пролетариат погибает от голоду!.. Как я винтовкой стукну об пол, как я на них закричу! Смотрю — сидят, улыбаются... И подбегает к нам Рябинкин, красный весь, веселый, глаза выпученные. «Дорогие товарищи,— говорит,— ведь я давно знаю, что вы мой особняк со всем имуществом реквизируете, дайте доесть блины, а между прочим, садитесь с нами... Это не стыдно, потому что это все народное достояние»,— и показывает на стол... Мы потоптались, но сели к столу, держим винтовки, хмуримся... А Рябинкин нам — водки, блинов, икры... И говорит и хохочет... Про что он только не рассказывал, всё в лицах, с подковыркой... Терпенья нет, гости грохочут, и мы стали смеяться. Пошли разные шутки про похождения буржуев, начались споры, но — чуть кто из нас ощетинится — хозяин глушит его ликером,— чайный стакан, в другой посуде не пили... Начали откупоривать шампанское, и мы винтовки поставили в уголок... «Чертогонов,— думаю,— ты ли это ходишь по залаю, цепляешься за столбы?» Песни начали петь хором. А к вечеру поставили у входа в парадном пулемет, чтобы кто не вломился. Полтора суток пили. Отыгрался я за всю мою бессловесную жизнь. Но все-таки Рябинкин нас обманул — ах, дошлый купец!..

Покуда мы гуляли, он успел,— горничная ему помогала,— все бриллианты, золото, валюту, разные стоющие вещицы переправить в надежное место... Реквизировали мы одни стены да обстановку!.. Уж как с нами прощался Рябинкин, с похмелья конечно: «Дорогие товарищи, берите, берите все, мне ничего не жалко, из народа я вышел, в народ и уйду...» И в тот же день скрылся за границу. А меня в Чеку. Я им: «Виноват, расстреливайте». За бессознательность только не расстреляли. А я и сейчас рад, что погулял... Есть что вспомнить, а пуля все равно пришибет.

— Много злодеев среди буржуев, но и среди нас немало,— проговорил кто-то, сидевший за дымом. В его сторону посмотрели. Тот, кто спрашивал махорку у Телегина, сказал:

— Раз уж кровь переступили в четырнадцатом году, народ теперь ничем не остановишь...

— Я не про то,— повторил голос из-за дыма,— враг — враг, кровь — кровь, а я про злодеев.

— А сам-то ты кто?

— Я-то? Я и есть злодей,— ответил голос тихо.

Тогда все замолчали, опустили головы, глядели на угли в догоравшем костре. Холодок пробежал по спине Телегина. Ночь была свежа. Кое-кто у костра поворочался и лег, подложив шапку под щеку.

Телегин поднялся, потянулся, расправляясь. Теперь, когда дым сошел, можно было видеть по ту сторону огня сидевшего, поджав ноги, злодея. Он кусал стебелек полыни. Угли освещали его худое, со светлым и редким пушком, почти женственно мягкое, длинное лицо. На затылке — заношенный картуз, на узких плечах — солдатская шинель. Он был по пояс голый. Рубашка, в которой он, должно быть, искал, лежала подле него. Заметив, что на него смотрят, он медленно поднял голову и улыбнулся как-то по-детски — жалобно.

Телегин узнал,— это был боец из его роты, девятнадцатилетний Мишка Соломин, из-под Ельца, из пригородных крестьян, взят был как доброволец еще в Красную гвардию и попал на Северный Кавказ из армии Сиверса.

Он только на секунду встретился взором с Телегиным и сейчас же опустил глаза, будто от смущенья, и тут только Иван Ильич вспомнил, что Мишка Соломин славился в роте как сочинитель стихов и безобразный пьяница, хотя пьяным видели его редко. Ленивым движением плеча он сбросил шинель и стал надевать ру-

башку. Иван Ильич полез по насыпи к классному вагону, где бессонно в одном окошке у командира полка, Сергея Сергеевича Сапожкова, горела керосиновая лампа. Отсюда, с насыпи, были яснее видны звезды и внизу, на земле, красноватые точки догорающих костров.

— Кипяток есть, иди-ка,— сказал Сапожков, высовываясь с кривой трубкой в зубах в окошко.

Керосиновая лампа, пристроенная на боковой стене, тускло освещала ободранное купе второго класса, висевшее на крючках оружие, книги, разбросанные повсюду, военные карты. Сергей Сергеевич Сапожков, в грязной бязевой рубашке и подтяжках, обернулся к вошедшему Телегину:

— Спирту хочешь?

Телегин сел на койку. В открытое окно вместе с ночной свежестью долетело бульканье перепела, пробухали спотыкающиеся шаги красноармейца, вылезшего спросонок из теплушки за надобностью. Тихо тренькала балалайка. Где-то совсем близко прогорланил петух,— был уже первый час ночи.

— Это как так — петух? — спросил Сапожков, кончая возиться с чайником. Глаза его были красны, и румяные пятна проступали на худом лице. Он пошарил позади себя на койке, нашел пенсне и, надев его, стал глядеть на Телегина:

— Каким образом в расположении полка мог оказаться живой петух?

— Опять беженцы прибыли, я уже доложил комиссару. Двадцать подвод, с бабами, ребятами, живностью... Черт знает что такое,— сказал Телегин, помешивая в кружке с чаем.

— Откуда?

— Из станицы Привольной. Их большой обоз шел, да казаки по пути побили. Все иногородние, беднота. У них за станицей, в камышах, два казачьих офицера собрали отряд, ночью налетели, разогнали Совет, пятьдесят человек повесили на воротах, стали отнимать скот, ломали плуги, бороны...

— Словом, обыкновенная история,— проговорил Сапожков, отчетливо произнося каждую букву. Кажется, он был сильно пьян и зазвал Телегина, чтобы отвести душу...— Скажи, пожалуйста, на кой черт ты пошел в Красную Армию?

— Я тебе уже объяснял...

— Ты что же, в партию ловчишься?

— Нужно будет для дела, пойду и в партию.

— А меня,— Сапожков прищурился за мутными стеклами пенсне,— вари в трех котлах, коммуниста из меня не сделаешь...

— Вот уж если кто странный, так это ты странный, Сергей Сергеевич...

— Ничего подобного. У меня мозги не диалектические... Дикая порода — один глаз всегда в лес смотрит. Гм! Так ты говоришь — я странный... (Он усмехнулся, видимо, с удовлетворением.) С октября месяца дерусь за Советскую власть. Гм! А ты Кропоткина читал?

— Нет, не читал.

— Оно и видно... А Кропоткин — хороший старик: поэзия, мечта, бесклассовое общество. Воспитаннейший старик: «Дайте людям анархическую свободу, разрушьте узлы мирового зла, то есть большие города, и бесклассовое человечество устроит сельский рай на земле, ибо основной двигатель в человеке — это любовь к ближнему». Хи-хи...

Сапожков принялся беззвучно смеяться, пенсне запрыгало на горбатом его носу. Смеясь, он полез под койку, вытащил железный бидончик со спиртом, налил в чашку, выпил и хрустко разгрыз кусочек сахару...

— Наша трагедия, милый друг, в том, что мы, русская интеллигенция, выросли в безмятежном лоне крепостного права и революции испугались не то что до смерти, а прямо — до мозговой рвоты... Нельзя же так пугать нежных людей! А? Посиживали мы в тиши сельской беседки, думали под пенье птичек: «А хорошо бы, в самом деле, устроить так, чтобы все люди были счастливы...» Вот откуда пошли мы, несчастные... На Западе интеллигенция — это мозговики, отбор буржуазии, выполняет железное задание: двигать науку, промышленность, индустрию, раскидывать по белу свету утешительные миражи гуманизма... Там интеллигенция знает, зачем живет... А у нас, ой, братишки!.. Кто мы такие? Кому служим? Какие наши задачи? С одной стороны, мы — плоть от плоти славянофилы — духовные их наследники. А славянофильство, знаешь, что такое? Российский помещичий гуманизм. С другой стороны: деньги нам платит отечественная буржуазия, на ее иждивении живем, из чувства признательности даже выдали мандат товарищу Чернову. А при всем том служим народу... Вот так чудаки: народу!.. Ей-богу, мы же искренно старались изо всех сил... Трагикомедия! Так плакали над

горем народным, что слез не хватало... И когда у нас эти слезы отняли, жить стало нечем... А? Революция виновата, большевики виноваты,— это они вооружили вилами наш богоносный народ... Мы мечтали — вот-вот дойдут наши мужики до Цареграда, влезут на кумпол, водрузят православный крест над святой Софией... Земной шар мечтали мужичкам подарить — панславянство! А нас, энтузиастов, мечтателей, рыдальцев,— вилами... Неслыханный скандал! Испуг ужасный... И начинается, милый друг, саботаж... Интеллигенция попятилась, голову из хомута тащит — не хочу, попробуйте-ка без меня обойдитесь... Это когда Россия на краю чертовой бездны... Величайшая непоправимая ошибка. А все — барское воспитание, нежны очень... Не в состоянии постигнуть революции без морального обоснования, вне гуманитарного мышления... Без этого — не революция, а бессмысленный бунт, стихийное зверство... Нам ризы нужны для революции, а тут народ бежит с германского фронта, проходит по городам, топит офицеров, в клочки растерзывает главнокомандующего, жжет усадьбы, ловит купчих по железным дорогам, выковыривает у них из непотребных мест бриллиантовые сережки... Ну нет, мы с таким народом не играем, в наших книжках про такой народ ничего не написано. Что тут делать? Океан слез пролить у себя в квартире, с коврами и телефонами, на Фурштатской? А народ и квартирку реквизировал и ковры увез в деревню... Вдребезги разбиты мечты, жить нечем... И мы со страха и отвращения — головой под подушку, другие из нас — дирака за границу, а кто позлее — за оружие схватился... Получается скандал в благородном семействе... А народ, на семьдесят процентов неграмотный, не знает, что ему делать с его ненавистью, мечется — в крови, в ужасе... Продали, говорит, нас, пропили! Бей зеркала, ломай все под корень!.. И в интеллигенции нашлась одна только кучечка, понявшая революцию,— коммунисты... Когда гибнет корабль, что делают? Выкидывают все лишнее за борт... Коммунисты первым делом вышвырнули за борт старые бочки с гуманизмом, кованые ящики с тысячелетней моралью, бидоны с эмоциями... Облегчились, и народ сразу же, звериным чутьем почуял: «Это свои, не господа, эти рыдать не станут, у этих счет короткий...» Вот почему, милый друг, я — с ними, хотя произращен в кропоткинской оранжерее, под стеклом, в мечтах... И нас немало таких, ого! Ты думаешь, интеллигента на капустку потянуло,— может быть, может быть... Ты зубы-то не скаль, Телегин,

ты вообще эмбрион, примитив жизнерадостный... А есть, видишь ли, такие, которым сознательно приходится вывернуть себя наизнанку, мясом наружу и, чувствуя каждое прикосновение, утвердить в себе сейчас одну волевую силу — ненависть... Драться без этого нельзя... Мы сделаем все, что в силах человеческих,— поставим впереди цель, куда пойдет народ... Вот так — с двумя револьверами в руках — прыгнем в самую пучину... Но ведь нас — кучка... А враги — повсюду... Ты слыхал про чехословаков? Придет комиссар, он тебе расскажет... Не верю,— месяц, два, полгода — больше не продержимся... Разве что... Нет! Обречены, брат... Кончится все генералом... И я тебе говорю — виноваты во всем славянофилы... Когда началось освобождение крестьян, надо было кричать: «Беда, гибнем, Европа нас сожрет! Нам нужно интенсивное сельское хозяйство, нужно бешеное развитие промышленности, поголовное образование... Пусть придет новый Пугачев, Стенька Разин — все равно — вдребезги разбить крепостной костяк...» Вот какую мораль нужно было тогда бросить в массы, вот на чем воспитывать интеллигенцию... А мы изошли в потоках счастливых слез: боже мой, как необъятна, как самобытна Россия, и мужичок теперь свободен, как воздух, и помещичьи усадьбы с тургеневскими барышнями целы, и таинственная душа народа у нас — не то что на скаредном Западе — рвется не к фабрикам и чернозему, а к тому, чтобы водрузить славянский крест над святой Софией... И вот я теперь, Телегин, ногами топчу всякую мечту.

В проходе вагона послышались шаги, как будто шел кто-то неимоверно тяжелый. Дверь купе приотворилась, и показался широкий, среднего роста человек с прилипшими к большому лбу темными полосами. Он молча сел под лампой, положив на колени большие руки; на обветренном грубом лице его редкие морщины казались шрамами, глаз не было видно в тени глазниц и нависших бровей. Это был товарищ Гымза.

— Опять шпирт достал? — спросил он негромко и серьезно.— Смотри, товарищ...

— Какой такой спирт? Ну тебя к свиньям. Видишь — чай пьем,— сказал Сапожков.

Гымза, не шевелясь, прогудел:

— Так еще хуже, что врешь. Спиртищем из окна так и тянет, в теплушках шевеление началось, бойцы принюхиваются... Бузы у нас мало? Во-вторых, опять философию завел, дурацкую волынку, отсюда я заключаю, что ты пьяный...

— Ну — пьяный, ну — расстреляй меня!

— Расстрелять мне тебя недолго, это ты хорошо знаешь, и если я терплю, то принимая во внимание твои боевые качества...

— Дай-ка табаку,— сказал Сапожков.

Гымза важно достал из кармана тряпичный кисет. Затем, обращаясь к Телегину, продолжал медленным голосом, точно тер жернова:

— Каждый раз одна и та же недопустимая картина: на прошлой неделе мы расстреляли троих подлецов, я сам допрашивал,— гниль, во всем сознались... И он сейчас же достает шпирту... Сегодня расстреляли заведомую сволочь, деникинского контрразведчика, он же сам его и поймал в камышах... Готово, нализался и тянет философию... Такая у него получается капуста, — ну, вот я сейчас стоял под окном, слушал, рвет, как от тухлятины... За эту философию другой, не я, давно бы его отправил в особый отдел, потому что он же разлагается... Он потом два дня болен, не может командовать боем...

— А если ты расстрелял моего университетского товарища? — Сапожков прищурился, ноздри у него затрепетали.

Гымза ничего не ответил, будто и не слышал этих слов. Телегин опустил голову. Сапожков придвинул коленки вплоть к коленям Гымзы, в упор глядел ему в темные впадины глаз.

— Могу я иметь человеческие чувства или я уже все должен в себе сжечь?

Гымза ответил так же, не спеша:

— Нет, не можешь иметь... Другой кто-нибудь, там уже не знаю... А ты все должен в себе сжечь... От такого гнезда, как в тебе, контрреволюция и начинается... Это ты, товарищ, заруби себе да вспоминай почаще...

Долго молчали. Казалось, воздух был тяжкий. За темным окном затихли все звуки.

Гымза налил себе чаю, отломил большой кусок серого хлеба и стал есть, как очень голодный человек. Потом, поцыкивая зубом, он начал рассказывать о чехословаках. Новости были тревожны. Чехословаки взбунтовались во всех эшелонах, растянутых от Пензы до Владивостока. Западные эшелоны очистили Пензу, подтянулись к Сызрани, взяли ее и оттуда двигаются на Самару. Они отлично дисциплинированы, хорошо вооружены и дерутся умело и отчаянно. Пока еще трудно сказать, что это: простой военный мятеж или ими руково-

дят какие-то силы извне. Очевидно — и то и другое. Во всяком случае, от Тихого океана до Волги вспыхнул, как пороховая нить, новый фронт, грозящий неимоверными бедствиями.

К окну снаружи кто-то подошел. Гымза замолчал, нахмурился, обернулся. Голос позвал его:

— Товарищ Гымза, выдь-ка...

— Что тебе? Говори...

— Секретное. Выдь, говорю, скорей.

Опустив брови на впадины глаз, Гымза уперся руками о койку, сидел так секунду, сильным движением поднялся и вышел, задев плечами за оба косяка двери. На площадке он сел на ступени, наклонился. Из темноты к нему пододвинулась высокая фигура в кавалерийской шинели, звякнули шпоры. Человек этот торопливо зашептал ему у самого уха.

Сапожков, как только Гымза вышел, стал шибко раскуривать трубку, яростно плюнул несколько раз в окно. Снял, швырнул пенсне и вдруг рассмеялся:

— Вот в чем весь секрет — прямо ответить на поставленный вопрос... Есть бог? Нет! Можно человека убить? Можно! Какая ближайшая цель? Мировая революция!.. Тут, братишка, без эмоций...

1927

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

РОДИНКА

Рассказ

I

На столе гильзы патронные, пахнущие сгоревшим порохом, баранья кость, полевая карта, сводка, уздечка наборная с душком лошадиного пота, краюха хлеба. Все это на столе, а на лавке тесаной, заплесневевшей от сырой стены, спиной плотно к подоконнику прижавшись, Николка Кошевой, командир эскадрона сидит. Карандаш в пальцах его иззябших, недвижимых. Рядом с давнишними плакатами, распластанными на столе,— анкета, наполовину заполненная. Шершавый лист скупо рассказывает: Кошевой Николай. Командир эскадрона. Землероб. Член РКСМ.

Против графы *«возраст»* карандаш медленно выводит: 18 лет.

Плечист Николка, не по летам выглядит. Старят его глаза в морщинках лучистых и спина, по-стариковски сутулая.

— Мальчишка ведь, пацаненок, куга зеленая,— говорят шутя в эскадроне,— а подыщи другого, кто бы сумел почти без урона ликвидировать две банды и полгода водить эскадрон в бои и схватки не хуже любого старого командира!

Стыдится Николка своих восемнадцати годов. Всегда против ненавистной графы *«возраст»* карандаш ползет, замедляя бег, а Николкины скулы полыхают досадным румянцем. Казак Николкин отец, а по отцу и он — казак. Помнит, будто в полусне, когда ему было лет пять-шесть, сажал его отец на коня своего служивского.

— За гриву держись, сынок! — кричал он, а мать из дверей стряпки улыбалась Николке, бледнея, и глазами широко раскрытыми глядела на ножонки, окарачившие острую хребтину коня, и на отца, державшего повод.

Давно это было. Пропал в германскую войну Николкин отец, как в воду канул. Ни слуху о нем, ни духу. Мать померла. От отца Николка унаследовал любовь к

лошадям, неизмеримую отвагу и родинку, такую же, как у отца, величиной с голубиное яйцо, на левой ноге, выше щиколотки. До пятнадцати лет мыкался по работникам, а потом шинель длинную выпросил и с проходившим через станицу красным полком ушел на Врангеля. Летом нонешним купался Николка в Дону с военкомом. Тот, заикаясь и кривя контуженную голову, сказал, хлопая Николку по сутулой и черной от загара спине:

— Ты того... того... Ты счастли... счастливый! Ну да, счастливый! Родинка — это, говорят, счастье.

Николка ощерил зубы кипенные, нырнул и, отфыркиваясь, крикнул из воды:

— Брешешь ты, чудак! Я с мальства сирота, в работниках всю жизнь гибнул, а он — счастье!..

И поплыл на желтую косу, обнимавшую Дон.

II

Хата, где квартирует Николка, стоит на яру над Доном. Из окон видно зеленое расплескавшееся Обдонье и вороненую сталь воды. По ночам в бурю волны стучатся под яром, ставни тоскуют, захлебываясь, и чудится Николке, что вода вкрадчиво ползет в щели пола и, прибывая, трясет хату.

Хотел он на другую квартиру перейти, да так и не перешел, остался до осени. Утром морозным на крыльцо вышел Николка, хрупкую тишину ломая перезвоном подкованных сапог. Спустился в вишневый садик и лег на траву, заплаканную, седую от росы. Слышно, как в сарае уговаривает хозяйка корову стоять спокойно, телок мычит требовательно и басовито, а о стенки цыбарки [1] вызванивают струи молока.

Во дворе скрипнула калитка, собака забрехала. Голос взводного:

— Командир дома?

Приподнялся на локтях Николка:

— Вот он я! Ну, чего там еще?

— Нарочный приехал из станицы. Говорит, банда пробилась из Сальского округа, совхоз Грушинский заняла...

— Веди его сюда.

Тянет нарочный к конюшне лошадь, пóтом горячим облитую. Посреди двора упала та на передние ноги, потом — на бок, захрипела отрывисто и коротко и издохла,

---

[1] Цыбарка — железное ведро.

глядя стекленеющими глазами на цепную собаку, захлебнувшуюся злобным лаем. Потому издохла, что на пакете, привезенном нарочным, стояло три креста и с пакетом этим скакал сорок верст, не передыхая, нарочный.

Прочитал Николка, что председатель просит его выступить с эскадроном на подмогу, и в горницу пошел, шашку цепляя, думал устало: «Учиться бы поехать куда-нибудь, а тут банда... Военком стыдит: мол, слова правильно не напишешь, а еще эскадронный... Я-то при чем, что не успел приходскую школу окончить? Чудак он... А тут банда... Опять кровь, а я уж уморился так жить... Опостылело все...»

Вышел на крыльцо, заряжая на ходу карабин, а мысли, как лошади по утоптанному шляху, мчались: «В город бы уехать... Учиться б...»

Мимо издохшей лошади шел в конюшню, глянул на черную ленту крови, точившуюся из пыльных ноздрей, и отвернулся.

III

По кочковатому летнику, по колеям, ветрами облизанным, мышастый придорожник кучерявится, лебеда и пышатки густо и махровито лопушатся. По летнику сено когда-то возили к гумнам, застывшим в степи янтарными брызгами, а торный шлях улегся бугром у столбов телеграфных. Бегут столбы в муть осеннюю, белесую, через лога и балки перешагивают, а мимо столбов шляхом глянцевитым ведет атаман банду — полсотни казаков донских и кубанских, властью советской недовольных. Трое суток, как набедившийся волк от овечьей отары, уходят дорогами и целиною бездорожно, а за ним вназирку [1] — отряд Николки Кошевого.

Отъявленный народ в банде, служивский, бывалый, а все же крепко призадумывается атаман: на стременах привстает, степь глазами излапывает, версты считает до голубенькой каемки лесов, протянутой по ту сторону Дона.

Так и уходят по-волчьи, а за ними эскадрон Николки Кошевого следы топчет.

Днями летними, погожими в степях донских, под небом густым и прозрачным звоном серебряным вызванивает и колышется хлебный колос. Это перед покосом, когда у ядреной пшеницы гарновки ус чернеет на коло-

[1] Вназирку — пристально, зорко.

се, будто у семнадцатилетнего парня, а жито дует вверх и норовит человека перерасти.

Бородатые станичники на суглинке, по песчаным буграм, возле левад засевают клинышками жито. Сроду не родится оно, издавна десятина не дает больше тридцати мер, а сеют потому, что из жита самогон гонят, яснее слезы девичьей; потому, что исстари так заведено, деды и прадеды пили, а на гербе казаков Области войска Донского, должно, недаром изображен был пьяный казак, телешом сидящий на бочке винной. Хмелем густым и ярым бродят по осени хутора и станицы, нетрезво качаются красноверхие папахи над плетнями из краснотала.

По тому самому и атаман дня не бывает трезвым, потому-то все кучера и пулеметчики пьяно кособочатся на рессорных тачанках.

Семь лет не видал атаман родных куреней. Плен германский, потом Врангель, в солнце расплавленный Константинополь, лагерь в колючей проволоке, турецкая фелюга со смолистым соленым крылом, камыши кубанские, султанские и — банда.

Вот она, атаманова жизнь, коли назад через плечо оглянуться. Зачерствела душа у него, как летом в жарынь черствеют следы раздвоенных бычачьих копыт возле музги степной. Боль, чудная и непонятная, точит изнутри, тошнотой наливает мускулы, и чувствует атаман: не забыть ее и не залить лихоманку никаким самогоном. А пьет — дня трезвым не бывает — потому, что пахуче и сладко цветет жито в степях донских, опрокинутых под солнцем жадной черноземной утробой, и смуглощекие жалмерки [1] по хуторам и станицам такой самогон выварnaвают, что с водой родниковой текучей не различить.

IV

Зарею стукнули первые заморозки. Серебряной проседью брызнуло на разлапистые листья кувшинок, а на мельничном колесе поутру заприметил Лукич тонкие разноцветные, как слюда, льдинки.

С утра прихворнул Лукич: покалывало в поясницу, от боли глухой ноги сделались чугунными, к земле липли. Шаркал по мельнице, с трудом передвигая несуразное, от костей отстающее тело. Из просорушки шмыгнул мышиный выводок; поглядел кверху глазами слезливо-мок-

[1] Жалмерки — солдатки.

рыми: под потолком с перекладины голубь сыпал скороговоркой дробное и деловитое бормотание. Ноздрями, словно из суглинка вылепленными, втянул дед вязкий душок водяной плесени и запах перемолотого жита, прислушался, как нехорошо, захлебываясь, сосала и облизывала сваи вода, и бороду мочалистую помял задумчиво.

На пчельнике прилег отдохнуть Лукич. Под тулупом спал наискось, распахнувши рот, в углах губ бороду слюнявил слюной клейкой и теплой. Сумерки густо измазали дедову хатенку, в молочных лоскутьях тумана застряла мельница...

А когда проснулся — из лесу выехало двое конных. Один из них крикнул деду, шагавшему по пчельнику:

— Иди сюда, дед!

Глянул Лукич подозрительно, остановился. Много перевидал он за смутные года таких вот вооруженных людей, бравших не спрошаючи корм и муку, и всех их огулом, не различая, крепко недолюбливал.

— Живей ходи, старый хрен!

Промеж ульев долбленых двинулся Лукич, тихонько губами вылинявшими беззвучно зашамкал, стал поодаль от гостей, наблюдая искоса.

— Мы — красные, дедок... Ты нас не бойся,— миролюбиво просипел атаман.— Мы за бандой гоняемся, от своих отбились... Може, видел вчера отряд тут проходил?

— Были какие-то.

— Куда они пошли, дедушка?

— А холера их ведает!

— У тебя на мельнице никто из них не остался?

— Нетути,— сказал Лукич коротко и повернулся спиной.

— Погоди, старик.— Атаман с седла соскочил, качнулся на дуговатых ногах пьяно и, крепко дохнув самогоном, сказал: — Мы, дед, коммунистов ликвидируем... Так-то!.. А кто мы есть, не твоего ума дело! — Споткнулся, повод роняя из рук.— Твое дело — зерна на семьдесят коней приготовить и молчать... Чтобы в два счета!.. Понял? Где у тебя зерно?

— Нетути,— сказал Лукич, поглядывая в сторону.

— А в энтом амбаре что?

— Хлам, стало быть, разный... Нетути зерна!

— А ну, пойдем!

Ухватил старика за шиворот и коленом потянул к амбару кособокому, в землю вросшему. Двери распахнул. В закромах просо и чернобылый ячмень.

— Это тебе что, не зерно, старая сволочуга?

— Зерно, кормилец... Отмол это... Год я его по зернушку собирал, а ты конями потравить норовишь...

— По-твоему, нехай наши кони с голоду дохнут? Ты что же это — за красных стоишь, смерть выпрашиваешь?

— Помилуй, жалкенький мой! За что ты меня? — Шапчонку сдернул Лукич, на колени жмякнулся, руки волосатые атамановы хватал, целуя...

— Говори: красные тебе любы?

— Прости, болезный!.. Извиняй на слове глупом. Ой прости, не казни ты меня,— голосил старик, ноги атамановы обнимая.

— Божись, что ты не за красных стоишь... Да ты не крестись, а землю ешь!..

Ртом беззубым жует песок из пригоршней дед и слезами его подмачивает.

— Ну, теперь верю. Вставай, старый!

И смеется атаман, глядя, как не встанет на занемевшие ноги старик. А из закромов тянут наехавшие конные ячмень и пшеницу, под ноги лошадям сыплют и двор устилают золотистым зерном.

V

Заря в тумане, в мокрети мглистой.

Миновал Лукич часового и не дорогой, а стежкой лесной, одному ему ведомой, затрусил к хутору через буераки, через лес, насторожившийся в предутренней чуткой дреме.

До ветряка дотюпал, хотел через прогон завернуть в улочку, но перед глазами сразу вспухли неясные очертания всадников.

— Кто идет? — окрик тревожный в тишине.

— Я это...— шамкнул Лукич, а сам весь обмяк, затрясся.

— Кто такой? Что — пропуск? По каким делам шляешься?

— Мельник я... С водянки тутошней. По надобностям в хутор иду.

— Каки таки надобности? А ну, пойдем к командиру! Вперед иди...— крикнул один, наезжая лошадью.

На шее почуял Лукич парные лошадиные губы и, прихрамывая, засеменил в хутор.

На площади у хатенки, черепицей крытой, остановились. Провожатый, кряхтя, слез с седла, лошадь

привязал к забору и, громыхая шашкой, взошел на крыльцо.

— За мной иди!..

В окнах огонек маячит. Вошли.

Лукич чихнул от табачного дыма, шапку снял и торопливо перекрестился на передний угол.

— Старика вот задержали. В хутор правился.

Николка со стола приподнял лохматую голову, в пуху и перьях, спросил сонно, но строго:

— Куда шел?

Лукич вперед шагнул и радостью поперхнулся.

— Родимый, свои это, а я думал — опять супостатники энти... Заробел дюже и спросить побоялся... Мельник я. Как шли вы через Митрохин лес и ко мне заезжали, еще молоком я тебя, касатик, поил... Аль запамятовал?..

— Ну, что скажешь?

— А то скажу, любезный мой: вчерась затемно наехали ко мне банды эти самые и зерно начисто стравили коньми!.. Смывались надо мною... Старший ихний говорит: присягай нам, в одну душу, и землю заставил есть.

— А сейчас они где?

— Тамотко и есть. Водки с собой навезли, лакают, нечистые, в моей горнице, а я сюда прибег доложить вашей милости,— может, хоть вы на них какую управу сыщете.

— Скажи, чтоб седлали!..— С лавки привстал, улыбаясь деду, Николка и шинель потянул за рукав устало.

VI

Рассвело.

Николка, от ночей бессонных зелененький, подскакал к пулеметной двуколке:

— Как пойдем в атаку — лупи по правому флангу. Нам надо крыло ихнее заломить! — И поскакал к развернутому эскадрону.

За кучей чахлых дубков на шляху показались конные — по четыре в ряд, тачанки в середине.

— Наметом! — крикнул Николка и, чуя за спиной нарастающий грохот копыт, вытянул своего жеребца плетью.

У опушки отчаянно застучал пулемет, а те, на шляху, быстро, как на учении, лавой рассыпались.

* * *

Из бурелома на бугор выскочил волк, репьями увешанный. Прислушался, угнув голову вперед. Невдалеке барабанили выстрелы, и тягучей волной колыхался разноголосый вой.

Тук! — падал в ольшанике выстрел, а где-то за бугром, за пахотой, эхо скороговоркой бормотало: так!

И опять часто: тук, тук, тук!.. А за бугром отвечало: так! так! так!..

Постоял волк и не спеша, вперевалку, потянул в лог, в заросли пожелтевшей нескошенной куги...

— Держись!.. Тачанок не кидать!.. К перелеску... К перелеску, в кровину мать! — кричал атаман, привстав на стременах.

А возле тачанок уж суетились кучера и пулеметчики, обрубая постромки, и цепь, изломанная беспрестанным огнем пулеметов, уже захлестнулась в неудержимом бегстве.

Повернул атаман коня, а на него, раскрылатившись, скачет один и шашкой помахивает. По биноклю, метавшемуся на груди, по бурке догадался атаман, что не простой красноармеец скачет, и поводья натянул. Издалека увидел молодое безусое лицо, злобой перекошенное, и сузившиеся от ветра глаза. Конь под атаманом заплясал, приседая на задние ноги, а он, дергая из-за пояса зацепившийся за кушак маузер, крикнул:

— Щенок белогубый!.. Махай, махай, я тебе намахаю!..

Атаман выстрелил в нараставшую черную бурку. Лошадь, проскакав саженей восемь, упала, а Николка бурку сбросил, стреляя, перебегал к атаману ближе, ближе...

За перелеском кто-то взвыл по-звериному и осекся. Солнце закрылось тучей, и на степь, на шлях, на лес, ветрами и осенью отерханный, упали плывущие тени.

«Неук, сосун, горяч, через это и смерть его тут налапает»,— обрывками думал атаман и, выждав, когда у того кончилась обойма, поводья пустил и налетел коршуном.

С седла перевесившись, шашкой махнул, на миг ощутил, как обмякло под ударом тело и послушно сползло наземь. Соскочил атаман, бинокль с убитого сдернул, глянул на ноги, дрожавшие мелким ознобом, оглянулся и присел сапоги снять хромовые с мертвяка. Ногой упираясь в хрустящее колено, снял один сапог быстро и ловко. Под другим, видно, чулок закатился, не скидается. Дернул, злобно выругавшись, с чулком сорвал сапог

и на ноге, повыше щиколотки, родинку увидел с голубиное яйцо. Медленно, словно боясь разбудить, вверх лицом повернул холодеющую голову, руки измазал в крови, выползавшей изо рта широким бугристым валом, всмотрелся и только тогда плечи угловатые обнял неловко и сказал глухо:

— Сынок!.. Николушка!.. Родной!.. Кровинушка моя...

Чернея, крикнул:

— Да скажи же хоть слово! Как же это, а?

Упал, заглядывая в меркнущие глаза, веки, кровью залитые; приподымая, тряс безвольное, податливое тело... Но накрепко закусил Николка посинелый кончик языка, будто боялся проговориться о чем-то неизмеримо большом и важном.

К груди прижимая, поцеловал атаман стынущие руки сына и, стиснув зубами запотевшую сталь маузера, выстрелил себе в рот...

* * *

А вечером, когда за перелеском замаячили конные, ветер донес голоса, лошадиное фырканье и звон стремян,— с лохматой головы атамана нехотя сорвался коршун-стервятник. Сорвался и растаял в сереньком, поосеннему бесцветном небе.

1924

ПРОДКОМИССАР

Рассказ

I

В округ приезжал областной продовольственный комиссар. Говорил, торопясь и дергая ехидными, выбритыми досиня губами:

— По статистическим данным, с вверенного вам округа необходимо взять сто пятьдесят тысяч пудов хлеба. Вас, товарищ Бодягин, я назначил сюда на должность окружного продкомиссара как энергичного, предприимчивого работника. Надеюсь. Месяц сроку... Трибунал приедет на днях. Хлеб нужен армии и центру вот как...— Ладонью чиркнул по острому щетинистому кадыку и зубы стиснул жестко.— Злостно укрывающих — расстреливать.

Головой, голо остриженной, кивнул и уехал.

II

Телеграфные столбы, воробьиным скоком обежавшие весь округ, сказали: разверстка.

По хуторам и станицам казаки-посевщики богатыми очкурами покрепче перетянули животы, решили разом и не задумавшись:

— Дарма хлеб отдавать?.. Не дадим...

На базах, на улицах, кому где приглянулось, ночушками повыбухали ямищи, пшеницу ядреную позарыли десятками, сотнями пудов. Всякий знает про соседа, где и как попрятал хлебишко.

Молчат...

Бодягин с продотрядом каруселит по округу. Снег визжит под колесами тачанки, бегут назад заиндевевшие плетни. Сумерки вечерние. Станица — как и все станицы, но Бодягину она родная. Шесть лет ее не состарили.

Так было: июль знойный, на межах желтопенная ромашка, покос хлебов, Игнашке Бодягину — четырнадцать лет. Косил с отцом и работником. Ударил отец работника за то, что сломал зубец у вил; подошел Игнат к отцу вплотную, сказал, не разжимая зубов:

— Сволочь ты, батя...

— Я?

— Ты...

Ударом кулака сшиб с ног Игната, испорол до крови чересседельней. Вечером, когда вернулись с поля домой, вырезал отец в саду вишневый костыль, обстрогал; бороду поглаживая, сунул его Игнату в руки:

— Поди, сынок, походи по миру, а ума-разума наберешься — назад вертайся,— и ухмыльнулся.

Так было, — а теперь шуршит тачанка мимо заиндевевших плетней, бегут назад соломенные крыши, ставни размалеванные. Глянул Бодягин на раины[1] в отцовском палисаднике, на жестяного петуха, раскрылатившегося на крыше в безголосном крике; почувствовал, как что-то уперлось в горле и перехватило дыхание. Вечером спросил у хозяина квартиры:

— Старик Бодягин живой?

Хозяин, чинивший упряжку, обсмоленными пальцами всучил в дратву щетинку, сощурился:

— Все богатеет... Новую бабу завел, старуха померла давненько, сын пропал где-то, а он, старый хрен, все по солдаткам бегает...

И, меняя тон на серьезный, добавил:

---

[1] Раина — пирамидальный тополь.

— Хозяин ничего, обстоятельный... Вам разве из знакомцев?

Утром, за завтраком, председатель выездной сессии ревтрибунала сказал:

— Вчера двое кулаков на сходе агитировали казаков хлеб не сдавать... При обыске оказали сопротивление, избили двух красноармейцев. Показательный суд устроим и шлепнем...

III

Председатель трибунала, бывший бондарь, с приземистой сцены Народного дома бросил, будто новый звонкий обруч на кадушку набил:

— Расстрелять!..

Двух повели к выходу... В последнем Бодягин отца спознал. Взглядом проводил морщинистую, загорелую шею, вышел следом.

У крыльца начальнику караула сказал:

— Позови ко мне вот того, старика.

Шагал старый, понуро сутулился, узнал сына, и горячее блеснуло в глазах, потом потухло. Под взъерошенное жито бровей спрятал глаза:

— С красными, сынок?

— С ними, батя.

— Тэ-э-эк... — В сторону отвел взгляд.

Помолчали.

— Шесть лет не видались, батя, и говорить нечего?

Старик зло и упрямо наморщил переносицу:

— Почти не к чему... Стежки нам выпали разные. Меня за мое ж добро расстрелять надо, за то, что в свой амбар не пущаю, — я есть контра, а кто по чужим закромам шарит, энтот при законе? Грабьте, ваша сила.

У продкомиссара Бодягина кожа на острых изломах скул посерела.

— Бедняков мы не грабим, а у тех, кто чужим потом наживался, метем под гребло. Ты первый батраков всю жизнь сосал!

— Я сам работал день и ночь. По белу свету не шатался, как ты!

— Кто работал — сочувствует власти рабочих и крестьян, а ты с дрекольем встретил... К плетню не пустил... За это и на распыл пойдешь!..

У старика наружу рвалось хриплое дыхание. Сказал голосом осипшим, словно оборвал тонкую нить, до этого вязавшую их обоих:

— Ты мне не сын, я тебе не отец. За такие слова на отца будь трижды проклят, анафема... — Сплюнул и молча зашагал. Круто повернулся, крикнул с задором нескрытым: — Нно-о, Игнашка!.. Нешто не доведется свидеться, так твою мать! Идут с Хопра казаки вашевскую власть резать. Не умру, сохранит матерь божия — своими руками из тебя душу выну.

* * *

Вечером за станицей мимо ветряка, к глинищу, куда сваливается дохлая скотина, свернули кучкой. Комендант Тесленко выбил трубку, сказал коротко:

— Становитесь до яру ближче...

Бодягин глянул на сани, ломтями резавшие лиловый снег сбочь дороги, сказал придушенно:

— Не серчай, батя...

Подождал ответа.

Тишина.

— Раз... два... три!..

Лошадь за ветряком рванулась назад, сани испуганно завиляли по ухабистой дороге, и долго еще кивала крашеная дуга, маяча поверх голубой пелены осевшего снега.

IV

Телеграфные столбы, воробьиным скоком обежавшие весь округ, сказали: на Хопре восстание. Исполкомы сожжены. Сотрудники частью перерезаны, частью разбежались.

Продотряд ушел в округ. В станице на сутки остались Бодягин и комендант трибунала Тесленко. Спешили отправить на ссыпной пункт последние подводы с хлебом. С утра пришагала буря. Понесло, закурило, белой мутью запорошило станицу. Перед вечером на площадь прискакало человек двадцать конных. Над станицей, застрявшей в сугробах, полыхнул набат. Лошадиное ржание, вой собак, надтреснутый, хриплый крик колоколов...

Восстание.

На горе через впалую лысину кургана, понатужась, перевалили двое конных. Под горою, по мосту, лошадиный топот. Куча всадников. Передний в офицерской папахе плетью вытянул длинноногую породистую кобылу:

— Не уйдут коммунисты!..

За курганом Тесленко, вислоусый украинец, поводьями тронул маштака-киргиза[1]:

— Черта с два догонят!

Лошадей «прижеливали». Знали, что разлапистый бугор лег верст на тридцать.

Позади погоня лавой рассыпалась. Ночь на западе, за краем земли, сутуло сгорбатилась. Верстах в трех от станицы в балке, в лохматом сугробе, Бодягин заприметил человека. Подскакал, крикнул хрипло:

— Какого черта сидишь тут?

Мальчонка малюсенький, синим воском налитый, качнулся. Бодягин плетью взмахнул, лошадь замордовалась, танцуя подошла вплотную.

— Замерзнуть хочешь, чертячье отродье? Как ты сюда попал?

Соскочил с седла, нагнулся, услышал шелест невнятный:

— Я, дяденька, замерзаю... Я — сирота... по миру хожу. — Зябко натянул на голову полу рваной бабьей кофты и притих.

Бодягин молча расстегнул полушубок, соскочил с седла, в полу завернул щуплое тельце и долго садился на взноровившуюся лошадь.

Скакали. Мальчишка под полушубком прижух, оттаял, цепко держался за ременный пояс. Лошади заметно сдавали ходу, хрипели, отрывисто ржали, чуя нарастающий топот сзади.

Тесленко сквозь режущий ветер кричал, хватаясь за гриву бодягинского коня:

— Брось пацаненка! Чуешь, бисов сын? Брось, бо можуть споймать нас!.. — Богом матюкался, плетью стегал посиневшие руки Бодягина. — Догонят — зарубают!.. Щоб ты ясным огнем сгорив со своим хлопцем!..

Лошади поравнялись пенистыми мордами. Тесленко до крови иссек Бодягину руки. Окостенелыми пальцами тискал тот вялое тельце, повод уздечки наматывая на руку, к нагану тянулся.

— Не брошу мальчонку, замерзнет!.. Отвяжись, старая падла, убью!

Голосом заплакал сивоусый хохол, поводья натянул:

— Не можно уйти! Шабаш!..

Пальцы — чужие, непослушные; зубами скрипел Бодягин, ремнем привязывая мальчишку поперек седла. Попробовал, крепко ли, и улыбнулся:

---

[1] Маштак-киргиз — приземистая крепкая лошадь.

— За гриву держись, головастик!

Ударил ножнами шашки по потному крупу коня, Тесленко под вислые усы сунул пальцы, свистнул пронзительным разбойничьим посвистом. Долго провожали взглядами лошадей, взметнувшихся облегченным галопом. Легли рядышком. Сухим, отчетливым залпом встретили вынырнувшие из-под пригорка папахи...

* * *

Лежали трое суток. Тесленко, в немытых бязевых подштанниках, небу показывал пузырчатый ком мерзлой крови, торчащей изо рта, разрубленного до ушей. У Бодягина по голой груди безбоязненно прыгали чубатые степные птички; из распоротого живота и порожних глазных впадин не торопясь поклевывали черноусый ячмень.

1925

ЖЕРЕБЕНОК

Рассказ

Среди белого дня возле навозной кучи, густо облепленной изумрудными мухами, головой вперед, с вытянутыми передними ножонками выбрался он из мамашиной утробы и прямо над собою увидел нежный, сизый, тающий комочек шрапнельного разрыва, воющий гул кинул его мокренькое тельце под ноги матери. Ужас был первым чувством, изведанным тут, на земле. Вонючий град картечи с цоканьем застучал по черепичной крыше конюшни и, слегка окропив землю, заставил мать жеребенка — рыжую Трофимову кобылицу — вскочить на ноги и снова с коротким ржаньем привалиться вспотевшим боком к спасительной куче.

В последовавшей затем знойной тишине отчетливей зажужжали мухи, петух, по причине орудийного обстрела не рискуя вскочить на плетень, где-то под сенью лопухов разок-другой хлопнул крыльями и непринужденно, но глухо пропел. Из хаты слышалось плачущее кряхтенье раненого пулеметчика. Изредка он вскрикивал резким осипшим голосом, перемежая крики неистовыми ругательствами. В палисаднике на шелковистом багрянце мака звенели пчелы. За станицей в лугу пулемет доканчивал ленту, и под его жизнерадостный строчащий стук, в промежутке между первым и вторым орудийными вы-

стрелами, рыжая кобыла любовно облизала первенца, а тот, припадая к набухшему вымени матери, впервые ощутил полноту жизни и неизбывную сладость материнской ласки.

Когда второй снаряд жмякнулся где-то за гумном, из хаты, хлопнув дверью, вышел Трофим и направился к конюшне. Обходя навозную кучу, он ладонью прикрыл от солнца глаза и, увидев, как жеребенок, подрагивая от напряжения, сосет его, Трофимову, рыжую кобылу, растерянно пошарил в карманах, дрогнувшими пальцами нащупал кисет и, слюнявя цигарку, обрел дар речи:

— Та-а-ак... Значит, отелилась? Нашла время, нечего сказать. — В последней фразе сквозила горькая обида.

К шершавым от высохшего пота бокам кобылы прилипли бурьянные былки, сухой помет. Выглядела она неприлично худой и жидковатой, но глаза лучили горделивую радость, приправленную усталостью, а атласная верхняя губа ежилась улыбкой. Так, по крайней мере, казалось Трофиму. После того как поставленная в конюшню кобыла зафыркала, мотая торбой с зерном, Трофим прислонился к косяку и, неприязненно косясь на жеребенка, сухо спросил:

— Догулялась?

Не дождавшись ответа, заговорил снова:

— Хоть бы в Игнатова жеребца привела, а то черт его знает в кого... Ну, куда я с ним денусь?

В темноватой тишине конюшни хрустит зерно, в дверную щель точит золотистую россыпь солнечный кривой луч. Свет падает на левую щеку Трофима, рыжий ус его и щетина бороды отливают красниною, складки вокруг рта темнеют изогнутыми бороздами. Жеребенок на тонких пушистых ножках стоит, как игрушечный деревянный конек.

— Убить его? — Большой, пропитанный табачной зеленью палец Трофима кривится в сторону жеребенка.

Кобыла выворачивает кровянистое глазное яблоко, моргает и насмешливо косится на хозяина.

* * *

В горнице, где помещался командир эскадрона, в этот вечер происходил следующий разговор:

— Примечаю я, что бережется моя кобыла, рысью не перебежит, наметом — не моги, одышка ее душит. Доглядел, а она, оказывается, сжеребанная... Так уж

береглась, так береглась... Жеребчик-то масти гнедоватой... Вот... — рассказывает Трофим.

Эскадронный сжимает в кулаке медную кружку с чаем, сжимает так, как эфес палаша перед атакой, и сонными глазами глядит на лампу. Над желтеньким светлячком огня беснуются пушистые бабочки, в окно налетают, жгутся о стекло, на смену одним — другие.

— ...безразлично. Гнедой или вороной — все равно. Пристрелить. С жеребенком мы навродь цыганев будем.

— Что? Вот и я говорю, как цыгане. А ежели командующий, что тогда? Приедет осмотреть полк, а он будет перед фронтом солонцевать[1] и хвостом этак... А? На всю Красную Армию стыд и позор. Я даже не понимаю, Трофим, как ты мог допустить? В разгар гражданской войны и вдруг подобное распутство... Это даже совестно. Коноводам строгий приказ: жеребцов соблюдать отдельно.

Утром Трофимыч вышел из хаты с винтовкой. Солнце еще не всходило. На траве розовела роса. Луг, истоптанный сапогами пехоты, изрытый окопами, напоминал заплаканное, измятое горем лицо девушки. Около полевой кухни возились кашевары. На крыльце сидел эскадронный в сопревшей от давнишнего пота исподней рубахе. Пальцы, привыкшие к бодрящему холодку револьверной рукоятки, неуклюже вспоминали забытое, родное — плели фасонистый половник для вареников. Трофим, проходя мимо, поинтересовался:

— Половничек плетете?

Эскадронный увязал ручку тоненькой хворостинкой, процедил сквозь зубы:

— А вот баба — хозяйка — просит... Сплети да сплети. Когда-то мастер был, а теперь не того... не удался.

— Нет, подходяще, — похвалил Трофим.

Эскадронный смел с колен обрези хвороста, спросил:

— Идешь жеребенка ликвидировать?

Трофим молча махнул рукой и прошел в конюшню.

Эскадронный, склонив голову, ждал выстрела. Прошла минута, другая — выстрела не было. Трофим вывернулся из-за угла конюшни, как видно чем-то смущенный.

— Ну что?

— Должно, боек спортился... Пистон не пробивает.

— А ну, дай винтовку.

Трофим нехотя подал. Двинув затвором, эскадронный прищурился:

---

[1] Солонцевать — ходить справа налево.

— Да тут патрон нету!..

— Не могет быть!.. — с жаром воскликнул Трофим.

— Я тебе говорю, нет.

— Так я ж их кинул там... за конюшней...

Эскадронный положил рядом винтовку и долго вертел в руках новенький половник. Свежий хворост был медвяно пахуч и липок, в нос ширяло запахом цветущего краснотала, землей попахивало, трудом, позабытым в неуемном пожаре войны...

— Слушай!.. Черт с ним! Пущай при матке живет. Временно и так далее. Кончится война — на нем еще того... пахать. А командующий на случай чего войдет в его положение, потому молокан и должен сосать... И командующий титьку сосал, и мы сосали, раз обычай такой, ну и шабаш! А боек у твоего винта справный.

* * *

Как-то, через месяц, под станицей Усть-Хоперской эскадрон Трофима ввязался в бой с казачьей сотней. Перестрелка началась перед сумерками. Смеркалось, когда пошли в атаку. На полпути Трофим безнадежно отстал от своего взвода. Ни плеть, ни удила, до крови раздиравшие губы, не могли понудить кобылу идти наметом. Высоко задирая голову, хрипло ржала она и топталась на одном месте до тех пор, пока жеребенок, разлопушив хвост, не догнал ее. Трофим прыгнул с седла, пихнул в ножны шашку и с перекошенным злобой лицом рванул с плеча винтовку. Правый фланг смешался с белыми. Возле яра из стороны в сторону, как под ветром, колыхалась куча людей. Рубились молча. Под копытами коней глухо гудела земля. Трофим на секунду глянул туда и схватил на мушку выточенную голову жеребенка. Рука ли дрогнула сгоряча, или виною промаха была еще какая-нибудь причина, но после выстрела жеребенок дурашливо взбрыкнул ногами, тоненько заржал и, выбрасывая из-под копыт седые комочки пыли, описал круг и стал поодаль. Обойму не простых патронов, а бронебойных — с красно-медными носами — выпустил Трофим в рыжего чертенка и, убедившись в том, что бронебойные пули (случайно попавшие из подсумка под руку) не причинили ни вреда, ни смерти потомку рыжей кобылы, вскочил на нее и, чудовищно ругаясь, трюпком поехал туда, где бородатые краснорожие староверы теснили эскадронного с тремя красноармейцами, прижимая их к яру.

В эту ночь эскадрон ночевал в степи возле неглубокого буерака. Курили мало. Лошадей не расседлывали. Разъезд, вернувшийся от Дона, сообщил, что к переправе стянуты крупные силы противника.

Трофим, укутав босые ноги в полы резинового плаща, лежал, вспоминая сквозь дрему события минувшего дня. Плыли перед глазами: эскадронный, прыгающий в яр, щербатый старовер, крестящий шашкой политкома, в прах изрубленный москлявенький казачок, чье-то седло, облитое черной кровью, жеребенок...

Перед светом подошел к Трофиму эскадронный, в потемках присел рядом:

— Спишь, Трофим?

— Дремаю.

Эскадронный, поглядывая на меркнувшие звезды, сказал:

— Жеребца свово сничтожь! Наводит панику в бою... Гляну на него, и рука дрожит... рубить не могу. А все через то, что вид у него домашний, а на войне подобное не полагается... Сердце из камня обращается в мочалку... И между прочим, не стоптали поганца в атаке, промеж ног крутился... — Помолчав, он мечтательно улыбнулся, но Трофим не видел этой улыбки. — Понимаешь, Трофим, хвост у него, ну то есть... положит на спину, взбрыкивает, а хвост, как у лисы... Замечательный хвост!..

Трофим промолчал. Накрыл шинелью голову и, подрагивая от росной сырости, уснул с диковинной быстротой.

* * *

Против старого монастыря Дон, притиснутый к горе, мчится с бесшабашной стремительностью. На повороте вода кучерявится завитушками, и зеленые гривастые волны с наскока поталкивают меловые глыбы, рассыпанные у воды вешним обвалом.

Если б казаки не заняли колена, где течение слабее, а Дон шире и миролюбивей, и не начали оттуда обстрела предгорья, эскадронный никогда не решился бы переправлять эскадрон вплавь против монастыря.

В полдень переправа началась. Небольшая комяга подняла одну пулеметную тачанку с прислугой и тройку лошадей. Левая пристяжная, не видавшая воды, испугалась, когда на средине Дона комяга круто повернула против течения и слегка накренилась набок. Под

горой, где спешенный эскадрон расседлывал лошадей, отчетливо слышно было, как тревожно она храпела и стучала подковами по деревянному настилу комяги.

— Загубит лодку! — хмурясь, буркнул Трофим и не донес руку до потной спины кобылы: на комяге пристяжная дико всхрапнула, пятясь к дышлу тачанки, стала в дыбки.

— Стреляй!.. — заревел эскадронный, комкая плеть.

Трофим увидел, как наводчик повис на шее пристяжной, сунул ей в ухо наган. Детской хлопушкой стукнул выстрел, коренник и правая пристяжная плотней прижались друг к дружке. Пулеметчики, опасаясь за комягу, придавили убитую лошадь к задку тачанки. Передние ноги ее медленно согнулись, голова повисла...

Минут через десять эскадронный заехал с косы и первый пустил своего буланого в воду, за ним следом с грохочущим плеском ввалился эскадрон — сто восемь полуголых всадников, столько же разномастных лошадей. Седла перевозили на трех каюках. Одним из них правил Трофим, поручив кобылу взводному Нечепуренко. С середины Дона видел Трофим, как передние лошади, забредая по колено, нехотя глотали воду. Всадники понукали их вполголоса. Через минуту в двадцати саженях от берега густо зачернели в воде лошадиные головы, послышалось многоголосое фырканье. Рядом с лошадьми, держась за гривы, подвязав к винтовкам одежду и подсумки, плыли красноармейцы.

Кинув в лодку весло, Трофим поднялся во весь рост и, жмурясь от солнца, жадно искал глазами в куче плывущих рыжую голову своей кобылы. Эскадрон похож был на ватагу диких гусей, рассыпанную по небу выстрелами охотников: впереди, высоко поднимая глянцевитую спину, плыл буланый эскадронного, у самого хвоста его белыми пятнышками серебрились уши коня, принадлежавшего когда-то политкому, сзади плыли темной кучей, а дальше всех, с каждой секундой отставая все больше и больше, виднелись чубатая голова взводного Нечепуренко и по левую руку от него острые уши Трофимовой кобылы. Напрягая зрение, Трофим увидал и жеребенка. Плыл он толчками, то высоко выбрасываясь из воды, то окунаясь так, что едва виднелись ноздри.

И вот тут-то ветер, плеснувший над Доном, донес до Трофима тонкое, как нитка паутины, призывное ржанье: и-и-и-го-го-го!..

Крик над водой был звонок и отточен, как жало шашки. Полоснул он Трофима по сердцу, и чудное сделалось

с человеком: пять лет войны сломал, сколько раз смерть по-девичьи засматривала ему в глаза, и хоть бы что, а тут побелел под красной щетиной бороды, побелел до пепельной синевы — и, ухватив весло, направил лодку против течения, туда, где в коловерти кружился обессилевший жеребенок, а саженях в десяти от него Нечепуренко силился и не мог повернуть матку, плывшую к коловерти с хриплым ржаньем. Друг Трофима, Стешка Ефремов, сидевший в лодке на куче седел, крикнул строго:

— Не дури! Правь к берегу! Видишь, вон они, казаки!..

— Убью! — выдохнул Трофим и потянул за ремень винтовку.

Жеребенка течением снесло далеко от места, где переправлялся эскадрон. Небольшая коловерть плавно кружила его, облизывая зелеными гребенчатыми волнами. Трофим судорожно махал веслом, лодка двигалась скачками. На правом берегу из яра выскочили казаки. Забарабанила басовитая дробь «максима». Чмокаясь в воду, шипели пули. Офицер в изорванной парусиновой рубахе что-то кричал, размахивая наганом.

Жеребенок ржал все реже, глуше и тоньше был короткий режущий крик. И крик этот до холодного ужаса был похож на крик ребенка. Нечепуренко, бросив кобылу, легко поплыл к левому берегу. Подрагивая, Трофим схватил винтовку, целясь ниже головки, засосанной коловертью, рванул с ног сапоги и с глухим мычанием, вытягивая руки, плюхнулся в воду.

На правом берегу офицер в парусиновой рубахе гаркнул:

— Пре-кра-тить стрельбу!

Через пять минут Трофим был возле жеребенка, левой рукой подхватил его под нахолодавший живот, захлебываясь, судорожно икая, двинулся к левому берегу. С правого берега не стукнул ни один выстрел.

Небо, лес, песок — все ярко-зеленое, призрачное... Последнее чудовищное усилие — и ноги Трофима скребут землю. Волоком вытянул на песок ослизлое тельце жеребенка, всхлипывая, блевал зеленой водой, шарил по песку руками... В лесу гудели голоса переплывших эскадронцев, где-то за косою дребезжали орудийные выстрелы. Рыжая кобыла стояла возле Трофима, отряхаясь и облизывая жеребенка. С обвислого хвоста ее падала, втыкаясь в песок, радужная струйка...

Качаясь, встал Трофим на ноги, прошел два шага по

песку и, подпрыгнув, упал на бок. Словно горячий укол пронизал грудь; падая, услышал выстрел. Одинокий выстрел в спину — с правого берега. На правом берегу офицер в изорванной парусиновой рубахе равнодушно двинул затвором карабина, выбрасывая дымящуюся гильзу, а на песке, в двух шагах от жеребенка, корчился Трофим, и жесткие посиневшие губы, пять лет не целовавшие детей, улыбались и пенились кровью.

1926

ЧУЖАЯ КРОВЬ

Рассказ

В Филипповку, после заговенья, выпал первый снег. Ночью из-за Дона подул ветер, зашуршал в степи обыневшим краснобылом, лохматым сугробам заплел косы и догола вылизал кочковатые хребтины дорог.

Ночь спеленала станицу зеленоватой сумеречной тишиной. За дворами дремала степь, непаханая, забурьяневшая.

В полночь в ярах глухо завыл волк, в станице откликнулись собаки, и дед Гаврила проснулся. Свесив с печки ноги, держась за комель, долго кашлял, потом сплюнул и нащупал кисет.

Каждую ночь после первых кочетов просыпается дед, сидит, курит, кашляет, с хрипом отрывая от легких мокроту, а в промежутках между приступами удушья думки идут в голове привычной, хоженой стежкой. Об одном думает дед — о сыне, пропавшем в войну без вести.

Был один — первый и последний. На него работал не покладая рук. Время приспело провожать на фронт против красных — две пары быков отвел на рынок, на выручку купил у калмыка коня строевого, не конь — буря степная летучая. Достал из сундука седло и уздечку дедовскую с серебряным набором. На проводах сказал:

— Ну, Петро, справил я тебя, не стыдно и офицеру с такой справой идтить... Служи, как отец твой служил, войско казацкое и тихий Дон не страми! Деды и прадеды твои службу царям несли, должон и ты!..

Глядит дед в окно, обрызганное зелеными отсветами лунного света, к ветру — какой по двору шарит, не положенного ищет — прислушивается, вспоминает те дни, что назад не придут и не вернутся...

На проводах служивого гремели казаки под камышовой крышей Гаврилиного дома старинной казачьей песней:

> А мы бьем, не портим боевой порядок.
> Слу-ша-ем один да приказ.
> И что нам прикажут отцы-командиры,
> Мы туда идем — рубим, колем, бьем!..

За столом сидел Петро, хмельной, иссиня-бледный, последнюю рюмку, «стременную», выпил, устало зажмурив глаза, но на коня твердо сел. Шашку поправил и, с седла перегнувшись, горсть земли с родимого база взял. Где-то теперь лежит он, и чья земля на чужбинке греет ему грудь?

Кашляет дед тягуче и сухо, мехи в груди на разные лады хрипят-вызванивают, а в промежутках, когда, откашлявшись, прислонится сгорбленной спиной к комелю, думки идут в голове знакомой, хоженой стежкой.

* * *

Проводил сына, а через месяц пришли красные. Вторглись в казачий исконный быт врагами, жизнь дедову, обычную, вывернули наизнанку, как порожний карман. Был Петро по ту сторону фронта, возле Донца усердием в боях заслуживал урядницкие погоны, а в станице дед Гаврила на москалей на красных вынашивал, кохал, нянчил — как Петра, белоголового сынишку, когда-то — ненависть стариковскую глухую.

Назло им носил шаровары с лампасами, с красной казачьей волей, черными нитками простроченной вдоль суконных с напуском шаровар. Чекмент надевал с гвардейским оранжевым позументом, со следами ношенных когда-то вахмистерских погон. Вешал на груди медали и кресты, полученные за то, что служил монарху верой и правдой; шел по воскресеньям в церковь, распахнув полы полушубка, чтоб все видали.

Председатель Совета станицы при встрече как-то сказал:

— Сыми, дед, висюльки! Теперь не полагается.

Порохом пыхнул дед:

— А ты мне их вешал, сымать-то велишь?

— Кто вешал, давно, небось, в земле червей продовольствует.

— И пущай!.. А я вот не сыму! Рази с мертвого сдерешь?

— Сказанул тоже... Тебя же жалеючи, советую, по

мне, хоть спи с ними, да ить собаки... собаки-то штаны тебе облатают! Они, сердешные, отвыкли от такого виду, не признают свово...

Была обида горькая, как полынь в цвету. Ордена снял, но обида росла в душе, лопушилась, со злобой родниться начала.

Пропал сын — некому стало наживать. Рушились сараи, ломала скотина базы, гнили стропила раскрытого бурей катуха. В конюшне, в пустых станках, по-своему захозяйствовали мыши, под навесом ржавела косилка.

Лошадей брали перед уходом казаки, остатки добирали красные, а последнюю, лохмоногую и ушастую, брошенную красноармейцами в обмен, осенью за один огляд купили махновцы. Взамен оставили деду пару английских обмоток.

— Пущай уж наше переходит! — подмигивал махновский пулеметчик. — Богатей, дед, нашим добром!..

Прахом дымилось все нажитое десятками лет. Руки падали в работе; но весною, — когда холостеющая степь ложилась под ногами покорная и истомная,— манила деда земля, звала по ночам властным неслышным зовом. Не мог противиться, запрягал быков в плуг, ехал, полосовал степь сталью, обсеменял ненасытную черноземную утробу ядреной пшеницей-гирокой.

Приходили казаки от моря и из-за моря, но никто из них не видал Петра. В разных полках с ним служили, в разных краях бывали — мала ли Россия? — а однополчане, станичники Петра, полком легли в бою со Жлобинским отрядом на Кубани где-то.

Со старухой о сыне почти не говорил Гаврила.

Ночами слышал, как в подушку точила она слезы, носом чмыкала.

— Ты чего, старая? — спросит кряхтя.

Помолчит та немного, откликнется:

— Должно, угар у нас... голова что-то прибаливает.

Не показывал виду, что догадывается, советовал:

— А ты бы рассольцу из-под огурцов. Сем-ка я слазю в погреб, достану?

— Спи уж. Пройдет и так!..

И снова тишина расплеталась в хате незримой кружевной паутиной. В оконце месяц нагло засматривал, на чужое горе, на материнскую тоску любуясь.

Но все же ждали и надеялись, что придет сын. Овчины отдал Гаврила выделать, старухе говорит:

— Мы с тобой перебьемся и так, а Петро придет, что будет носить? Зима заходит, надо ему полушубок шить.

Сшили полушубок на Петров рост и положили в сундук. Сапоги расхожие — скотину убирать — ему сготовили. Мундир свой синего сукна берег дед, табаком пересыпал, чтобы моль не посекла, а зарезали ягнока — из овчинки папаху сшил сыну дед и повесил на гвоздь. Войдет с надворья, глянет, и кажется, будто выйдет сейчас Петро из горницы, улыбнется, спросит: «Ну, как, батя, холодно на базу?»

Дня через два после этого перед сумерками пошел скотину убирать. Сена в ясли наметал, хотел воды из колодца почерпнуть — вспомнил, что забыл варежки в хате. Вернулся, отворил дверь и видит: старуха на коленях возле лавки стоит, папаху Петрову неношеную к груди прижала, качает, как дитя баюкает...

В глазах потемнело, зверем кинулся к ней, повалил на пол, прохрипел, пену глотая с губ:

— Брось, подлюка!.. Брось!.. Что ты делаешь?!

Вырвал из рук папаху, в сундук кинул и замок навесил. Только стал примечать, что с той поры левый глаз у старухи стал дергаться и рот покривило.

Текли дни и недели, текла вода в Дону, под осень прозрачно-зеленая, всегда торопливая.

В этот день замерзли на Дону окраинцы. Через станицу пролетела припозднившаяся ватага диких гусей. Вечером прибежал к Гавриле соседский парень, на образа второпях перекрестился.

— Здорово дневали!

— Слава богу.

— Слыхал, дедушка? Прохор Лиховидов из Турции пришел. Он ить с вашим Петром в одном полку служил!..

Спешил Гаврила по проулку, задыхаясь от кашля и быстрой ходьбы. Прохора не застал дома: уехал на хутор к брату, обещал вернуться к завтрему.

Ночь не спал Гаврила. Томился на печке бессонницей.

Перед светом зажег жирник, сел подшивать валенки.

Утро — бледная немочь — точит с сизого восхода чахлый рассвет. Месяц зазоревал посреди неба, сил не хватило дошагать до тучки, на день прихорониться.

* * *

Перед завтраком глянул Гаврила в окно, сказал почему-то шепотом:

— Прохор идет!

Вошел он, на казака не похожий, чужой обличьем. Скрипели на ногах у него кованые английские ботинки, и мешковато сидело пальто чудного покроя, с чужого плеча как видно.

— Здорово живешь, Гаврила Василич!..

— Слава богу, служивый!.. Проходи, садись.

Прохор снял шапку, поздоровался со старухой и сел на лавку, в передний угол.

— Ну и погодка пришла, снегу надуло — не пройдешь!..

— Да, снега нынче рано упали... В старину в эту пору скотина на подножном корму ходила.

На минутку тягостно замолчали. Гаврила, с виду равнодушный и твердый, сказал:

— Постарел ты, парень, в чужих краях!

— Молодеть-то не с чего было, Гаврила Василич! — улыбнулся Прохор.

Заикнулась было старуха:

— Петра нашего...

— Замолчи-ка, баба!.. — строго прикрикнул Гаврила. — Дай человеку опомниться с морозу, успеешь... узнать!..

Поворачиваясь к гостю, спросил:

— Ну как, Прохор Игнатич, протекала ваша жизня?

— Хвалиться нечем. Дотянул до дому, как кобель с отбитым задом, и то — слава богу.

— Та-а-ак... Плохо у турка жилось, значится?

— Концы с концами насилу связывали. — Прохор побарабанил по столу пальцами. — Однако и ты, Гаврила Василич, дюже постарел, седина вон как обрызгала тебе голову... Как вы тут живете при Советской власти?

— Сына вот жду... стариков нас докармливать... — криво улыбнулся Гаврила.

Прохор торопливо отвел глаза в сторону. Гаврила приметил это, спросил резко и прямо:

— Говори: где Петро?

— А вы разве не слыхали?

— По-разному слыхали,— отрубил Гаврила.

Прохор свил в пальцах грязную бахромку скатерти, заговорил не сразу.

— В январе, кажись... Ну да, в январе, стояли мы сотней возле Новороссийского города... Город такой у моря есть... Ну, обнакновенно стояли...

— Убит, что ли?..— нагибаясь, низким шепотом спросил Гаврила.

Прохор, не поднимая глаз, промолчал, словно и не слышал вопроса.

— Стояли, а красные прорывались к горам: к зеленым на соединение. Назначает его, Петра вашего, командир сотни в разъезд... Командиром у нас был подъесаул Сенин... Вот тут и случись... понимаете...

Возле печки звонко стукнул упавший чугун, старуха, вытягивая руки, шла к кровати, крик распирал ей горло.

— Не вой!! — грозно рявкнул Гаврила и, облокотясь о стол, глядя на Прохора в упор, медленно и устало проговорил: — Ну, кончай!

— Срубили!.. — бледнея, выкрикнул Прохор и встал, нащупывая на лавке шапку. — Срубили Петра... насмерть... Остановились они возле леса, коням передышку давали, он подпругу на седле отпустил, а красные из лесу... — Прохор, захлебываясь словами, дрожащими руками мял шапку. — Петро черк за луку, а седло коню под пузо... Конь горячий... не сдержал, остался... Вот и всё!..

— А ежели я не верю?.. — раздельно сказал Гаврила.

Прохор, не оглядываясь, торопливо пошел к двери.

— Как хотите, Гаврила Василич, а я истинно... Я правду говорю... Гольную правду... Своими глазами видал...

— А ежели я не хочу этому верить?! — багровея, захрипел Гаврила. Глаза его налились кровью и слезами. Разодрав у ворота рубаху, он голой волосатой грудью шел на оробевшего Прохора, стонал, запрокидывая потную голову: — Одного сына убить?! Кормильца?! Петьку мово?! Брешешь, сукин сын!.. Слышишь, ты?! Брешешь! Не верю!..

А ночью, накинув полушубок, вышел во двор, поскрипывая по снегу валенками, прошел на гумно и стал у скирда.

Из степи дул ветер, порошил снегом; темень, черная и строгая, громоздилась в голых вишневых кустах.

— Сынок! — позвал Гаврила вполголоса. Подождал немного и, не двигаясь, не поворачивая головы, снова позвал: — Петро!.. Сыночек!..

Потом лег плашмя на притоптанный возле скирда снег и тяжело закрыл глаза.

* * *

В станице поговаривали о продразверстке, о бандах, что шли с низовьев Дона. В исполкоме на станичных

сходах шепотом сообщались новости, но дед Гаврила ни разу не ступнул на расшатанное исполкомовское крыльцо, надобности не было, потому о многом не слышал, многое не знал. Диковинно показалось ему, когда в воскресенье после обедни заявился председатель, с ним трое в желтых куценьких дубленках с винтовками.

Председатель поручкался с Гаврилой и сразу как обухом по затылку:

— Ну, признавайся, дед: хлеб есть?

— А ты думал как, духом святым кормимся?

— Ты не язви, говори толком: где хлеб?

— В амбаре, само собой.

— Веди.

— Дозволь узнать, какое вы имеете касательство к моему хлебу?

Рослый, белокурый, по виду начальник, постукивая на морозе каблуками, сказал:

— Излишки забираем в пользу государства. Продразверстка. Слыхал, отец?

— А ежели я не дам? — прохрипел Гаврила, набухая злобой.

— Не дашь? Сами возьмем!..

Пошептались с председателем, полезли по закромам, в очищенную, смугло-золотую пшеницу накидали с сапог снежных ошлепков. Белокурый, закуривая, решил:

— Оставить на семена, на прокорм, остальное забрать.— Оценивающим хозяйским взглядом прикинул количество хлеба и повернулся к Гавриле: — Сколько десятин будешь сеять?

— Чертову лысину засею!..— засипел Гаврила, кашляя и судорожно кривляясь.— Берите, проклятые!.. Грабьте!.. Все ваше!..

— Что ты, осатанел, что ли, остепенись, дед Гаврила!..— упрашивал председатель, махая на Гаврилу варежкой.

— Давитесь чужим добром!.. Лопайте!..

Белокурый содрал с усины оттаявшую сосульку, искоса умным, насмешливым глазом кольнул Гаврилу, сказал со спокойной улыбкой:

— Ты, отец, не прыгай! Криком не поможешь. Что ты визжишь, аль на хвост тебе наступили?..— И, хмуря брови, резко переломил голос: — Языком не трепли!.. Коли длинный он у тебя — привяжи к зубам!.. За агитацию...— Не договорив, хлопнул ладонью по желтой ко-

буре, перекосившей пояс, и уже мягче сказал: — Сегодня же свези на ссыппункт!

Не то чтобы испугался старик, а от голоса уверенного и четкого обмяк, понял, что в самом деле криком тут не пособишь. Махнул рукой и пошел к крыльцу. До половины двора не дошел — дрогнул от крика дико-хриплого:

— Где продотрядники?!

Повернулся Гаврила — за плетнем, вздыбив приплясывающую лошадь, кружится конный. Предчувствие чего-то необычайного дрожью подкатилось под колени. Не успел рта раскрыть, как конный, увидев стоявших возле амбара, круто осадил лошадь и, неуловимо поведя рукой, рванул с плеча винтовку.

Сочно треснул выстрел, и в тишине, вслед за выстрелом на короткое мгновение облапившей двор, четко сдвоил затвор, патронная гильза вылетела с коротким жужжаньем.

Оцепененье прошло: белокурый, влипая в притолоку, прыгающей рукой долго до жути тянул из кобуры револьвер, председатель, приседая по-заячьи, рванулся через двор к гумну, один из продотрядников упал на колено, выпуская из карабина обойму в черную папаху, качавшуюся за плетнем. Двор захлестнуло стукотнею выстрелов. Гаврила с трудом оторвал от снега словно прилипшие ноги и тяжело затрусил к крыльцу. Оглянувшись, увидал, как трое в дубленках недружно, врассыпную, застревая в сугробах, бежали к гумну, а в радушно распахнутые ворота хлынули конные.

Передний, в кубанке, на рыжем жеребце, горбатясь, приник к луке и закружил над головой шашку. Перед Гаврилой лебедиными крыльями мелькнули концы его белого башлыка, в лицо кинуло снегом, брызнувшим из-под лошадиных копыт.

Обессиленно прислонясь к резному крыльцу, Гаврила видел, как рыжий жеребец, подобравшись, взлетел через плетень и закружился на дыбках возле початого скирда ячменной соломы, а кубанец, свисая с седла, крест-накрест рубил ползавшего в корчах продотрядника...

На гумне обрывчатый, неясный шум, возня, чей-то протяжный, рыдающий крик. Через минуту гулко стукнул одинокий выстрел. Голуби, вспугнутые было стрельбой и вновь попадавшие на крышу амбара, сорвались в небо фиолетовой дробью. Конные на гумне спешились.

По станице неумолчно плескался малиновый трезвон.

Паша — станичный дурачок — взобрался на колокольню и по глупому своему разуму хватил во все колокола, вместо набата вызванивая пасхальную плясовую.

К Гавриле подошел кубанец в наброшенном на плечи белом башлыке. Лицо его, горячее и потное, подергивалось, углы губ слюняво свисали.

— Овес есть?

Гаврила трудно двинулся от крыльца, подавленный виденным, не мог совладать с онемевшим языком.

— Оглох ты, черт?! Овес есть — спрашиваю? Неси мешок!

Не успели подвести лошадей к корыту с кормом — в ворота вскочил еще один.

— По коням!.. С горы пехота...

Кубанец с проклятием взнуздал облитого дымящимся потом жеребца и долго тер снегом обшлаг своего правого рукава, густо измазанного чем-то багрово-красным.

Со двора их выехало пятеро, в тороках последнего угадал Гаврила желтую, в кровяных узорах дубленку белокурого.

* * *

До вечера за бугром в терновой балке погромыхивали выстрелы. В станице побитой собакой, приниженно лежала тишина. Уже заголубели сумерки, когда Гаврила решился пойти на гумно. Вошел в настежь открытую калитку, увидел: на гуменном прясле, уронив голову, повис настигнутый пулей председатель. Руки его, свисая, словно тянулись за шапкой, валявшейся по ту сторону прясла.

Неподалеку от скирда на снегу, притрушенном объедьями и половой, лежали раздетые до белья продотрядники, все трое в ряд. И глядя на них, уже не ощутил Гаврила в дрогнувшем от ужаса сердце той злобы, что гнездилась там с утра. Казалось небывальщиной, сном, чтобы на гумне, где постоянно разбойничали соседские козы, обдергивая прикладок соломы, теперь лежали изрубленные люди; и от них, от талых круговин примерзшей пузырчатой крови, уже струился-тек запах мертвечины...

Белокурый лежал, неестественно отвернув голову, и если б не голова, плотно прижатая к снегу, можно было бы подумать, что лежит он отдыхая — так беспечно были закинуты его ноги одна за одну.

Второй, щербатый и черноусый, выгнулся, вобрав голову в плечи, оскалясь непримиримо и злобно. Тре-

тий, зарывшись головою в солому, недвижно плыл по снегу: столько силы и напряжения было в мертвом размахе его рук.

Нагнулся Гаврила над белокурым, вглядываясь в почерневшее лицо, и дрогнул от жалости: лежал перед ним мальчишка лет девятнадцати, а не сердитый, с колючими глазами продкомиссар. Под желтеньким пушком усов возле губ стыл иней и скорбная складка, лишь поперек лба темнела морщинка, глубокая и строгая.

Бесцельно тронул рукою голую грудь и качнулся от неожиданности: сквозь леденящий холодок ладонь прощупала потухающее тепло...

Старуха ахнула и, крестясь, шарахнулась к печке, когда Гаврила, кряхтя и стоная, приволок на спине одеревеневшее, кровью почерненное тело.

Положил на лавку, обмыл холодной водой, до устали, до пота тер колючим шерстяным чулком ноги, руки, грудь. Прислонился ухом к гадливо-холодной груди и насилу услышал глухой, с долгими промежутками стук сердца.

* * *

Четвертые сутки лежал он в горнице шафранно-бледный, похожий на покойника. Пересекая лоб и щеку, багровел запекшийся кровью шрам, туго перевязанная грудь качала одеяло, с хрипом и клокотаньем вбирая воздух.

Каждый день Гаврила вставлял ему в рот свой потрескавшийся, зачерствелый палец, концом ножа осторожно разжимал стиснутые зубы, а старуха через камышинку лила подогретое молоко и навар из бараньих костей.

На четвертый день с утра на щеках белокурого зарозовел румянец, к полудню лицо его полыхало, как куст боярышника, зажженный морозом, дрожь сотрясала все тело, и под рубахой проступил холодный и клейкий пот.

С этой поры стал он несвязно и тихо бредить, порывался вскакивать с кровати. Днем и ночью дежурили около него Гаврила поочередно со старухой.

В длинные зимние ночи, когда восточный ветер, налетая с Обдонья, мутил почерневшее небо и низко над станицей стлал холодные тучи, сиживал Гаврила возле раненого, уронив голову на руки, вслушиваясь, как бредил тот, незнакомым, окающим говорком несвязно о чем-

то рассказывая; подолгу вглядывался в смуглый треугольник загара на груди, в голубые веки закрытых глаз, обведенных сизыми подковами. И когда с выцветших губ текли тягучие стоны, хриплая команда, безобразные ругательства и лицо искажалось гневом и болью, слезы закипали у Гаврилы в груди. В такие минуты жалость приходила непрошеная.

Видел Гаврила, как с каждым днем, с каждой бессонной ночью бледнеет и сохнет возле кровати старуха, примечал и слезы на щеках ее, вспаханных морщинами, и понял, вернее — почуял сердцем, что невыплаканная любовь ее к Петру, покойному сыну, пожаром перекинулась вот на этого недвижного, смертью зацелованного, чьего-то чужого сына...

Заезжал как-то командир проходившего через станицу полка. Лошадь у ворот оставил с ординарцем, сам взбежал на крыльцо, гремя шашкой и шпорами. В горнице шапку снял и долго молча стоял у кровати. По лицу раненого бродили бледные тени, из губ, сожженных жаром, точилась кровица. Качнул командир преждевременно поседевшей головой, затуманясь и глядя куда-то мимо Гаврилиных глаз, сказал:

— Побереги товарища, старик!

— Побережем! — твердо ответил Гаврила.

Текли дни и недели. Минули святки. На шестнадцатый день в первый раз открыл белокурый глаза, и услышал Гаврила голос паутинно-скрипучий:

— Это ты, старик?

— Я.

— Здорово меня обработали?

— Не приведи Христос!

Во взгляде, прозрачном и неуловимом, почудилась Гавриле усмешка, беззлобно-простая.

— А ребята?

— Энти того... закопали их на плацу.

Молча пошевелил по одеялу пальцами и перевел взгляд на некрашеные доски потолка.

— Звать-то тебя как будем? — спросил Гаврила.

Голубые с прожилками веки устало опустились.

— Николай.

— Ну а мы Петром кликать будем... Сын у нас был... Петро...— пояснил Гаврила.

Подумав, хотел еще о чем-то спросить, но услышал ровное, в нос дыхание и, удерживая руками равновесие, на цыпочках отошел от кровати.

* * *

Жизнь возвращалась к нему медленно, словно нехотя. На другой месяц с трудом поднимал от подушки голову, на спине появились пролежни.

С каждым днем с ужасом чувствовал Гаврила, что кровно привязывается к новому Петру, а образ первого, родного, меркнет, тускнеет, как отблеск заходящего солнца на слюдовом оконце хаты. Силился вернуть прежнюю тоску и боль, но прежнее уходило все дальше, и ощущал Гаврила от этого стыд и неловкость... Уходил на баз, возился там часами, но, вспомнив, что с Петром у кровати сидит неотступно старуха, испытывал ревнивое чувство. Шел в хату, молча топтался у изголовья кровати, негнущимися пальцами неловко поправлял наволочку подушки и, перехватив сердитый взгляд старухи, смирно садился на скамью и притихал.

Старуха поила Петра сурчиным жиром, настоем целебных трав, снятых весною, в майском цвету. От этого ли или от того, что молодость брала верх над немощью, но раны зарубцевались, кровь красила пополневшие щеки, лишь правая рука с изуродованной у предплечья костью срасталась плохо: как видно, отработала свое.

Но все же на второй неделе поста в первый раз присел Петро на кровати сам, без посторонней помощи, и, удивленный собственной силой, долго и недоверчиво улыбался.

Ночью в кухне, покашливая на печке, шепотом:

— Ты спишь, старая?

— А что тебе?

— На ноги подымается наш... Ты завтра из сундука Петровы шаровары достань... Приготовь всю амуницию... Ему ить надеть нечего.

— Сама знаю! Я ить надысь достала.

— Ишь ты, проворная!.. Полушубок-то достала?

— Ну, а то телешом, что ли, парню ходить!

Гаврила повозился на печке, чуть было задремал, но вспомнил и, торжествуя, поднял голову:

— А папах? Папах, небось, забыла, старая гусыня?

— Отвяжись! Мимо сорок разов прошел и не спотыкнулся, вон на гвозде другой день висит!..

Гаврила досадливо кашлянул и примолк.

Расторопная весна уже турсучила Дон. Лед почернел, будто источенный червями, и ноздревато припух. Гора облысела. Снег ушел из степи в яры и балки. Об-

донье млело, затопленное солнечным половодьем. Из степи ветер щедро кидал запахи воскресающей полынной горечи.

Был на исходе март.

* * *

— Сегодня встану, отец!

Несмотря на то что все красноармейцы, переступавшие порог Гаврилиного дома, глянув на его волосы, опрятно выбеленные сединой, называли его отцом, на этот раз Гаврила почувствовал в тоне голоса теплую нотку. Казалось ли ему так, или действительно Петро вложил в это слово сыновью ласку, но Гаврила густо побагровел, закашлялся и, скрывая смущенную радость, пробормотал:

— Третий месяц лежишь... Пора уж, Петя!

Вышел Петро на крыльцо, ходульно переставляя ноги, и чуть было не задохнулся от избытка воздуха, втолкнутого в легкие ветром. Гаврила поддерживал его сзади, а старуха томашилась возле крыльца, утирая завеской привычные слезы.

Подвигаясь мимо нахохленной крыши амбара, спросил названый сын — Петро:

— Хлеб отвез тогда?

— Отвез...— нехотя буркнул Гаврила.

— Ну и хорошо сделал, отец!

И опять от слова «отец» потеплело у Гаврилы в груди. Каждый день ползал Петро по двору, прихрамывая и опираясь на костыль. И отовсюду — с гумна, из-под навеса сарая, где бы ни был,— провожал Гаврила нового сына беспокойным, ищущим взглядом. Как бы не оступился да не упал!

Говорили между собою мало, но отношения увязались простые и любовные.

Как-то, дня два спустя после того, как в первый раз вышел Петро на двор, перед сном, умащиваясь на печке, спросил Гаврила:

— Откель же ты родом, сынок?

— С Урала.

— Из мужицкого сословия?

— Нет, из рабочих.

— Это как же? Рукомесло имел какое, навроде чеботарь али бондарь?

— Нет, отец, я на заводе работал. На чугунолитейном заводе. С мальства там.

— А хлеб забирать это как же пристроился?
— Из армии послали.
— Ты что же, у них за командира был?
— Да, им был.
Было трудно спрашивать, но к этому вел:
— Значится, ты партейный?
— Коммунист, — ответил Петро, ясно улыбаясь.
И от улыбки этой бесхитростной уже не страшным показалось Гавриле чуждое слово.
Старуха, выждав время, спросила с живостью:
— А семья-то есть у тебя, Петюшка?
— Ни синь пороха!.. Один как месяц в небе!
— Родители, должно, померли?
— Еще махоньким был, лет семи... Отца при пьянке убили, а мать где-то таскается...
— Эка сучка-то! Тебя, жалкенького, стало быть, кинула?
— Ушла с одним подрядчиком, а я при заводе вырос.
Гаврила свесил с печки ноги, долго молчал, потом заговорил, раздельно, медленно:
— Что ж, сынок, коли нету у тебя родни, оставайся при нас... Был у нас сын, по нем и тебя Петром кличем... Был, да быльем порос, а теперь вот двое с старухой кулюкаем... За это время сколько горя с тобой натерпелись; должно, от этого и полюбился ты нам. Хучь и чужая в тебе кровь, а душой за тебя болишь, как за родного... Оставайся! Будем с тобой возле земли кормиться, она у нас на Дону плодовитая, щедрая... Справим тебя, женим... Я свое отжил, правь хозяйством ты. По мне, лишь бы уважал нашу старость да перед смертью в куске не отказывал... Не бросай нас, стариков, Петро...
За печкой верещал сверчок, трескуче и нудно.
Под ветром тосковали ставни.
— А мы со старухой тебе уже невесту начали приглядывать!..— Гаврила с деланной веселостью подмигнул, но дрогнувшие губы покривились жалкой улыбкой.
Петро упорно глядел под ноги в выщербленный пол, левой рукой сухо выстукивал по лавке. Звук получился волнующий и редкий: тук-тик-так! тук-тик-так!.. тук-тик-так!..
Как видно, обдумывал ответ. И, решившись, оборвал стук, тряхнул головой:
— Я, отец, останусь у вас с радостью, только работник из меня, сам видишь, плоховатый... Рука моя, кормилица, не срастается, стерва! Однако работать буду,

насколько силов хватит. Лето поживу, а там видно будет.

— А там, может, навовсе останешься! — закончил Гаврила.

Прялка под ногою старухи радостно зажужжала, замурлыкала, наматывая на скало волокнистую шерсть. Баюкала ли, житье ли привольное сулила размеренным, усыпляющим стуком — не знаю.

* * *

Вслед за весной пришли дни, опаленные солнцем, курчавые и седые от жирной степной пыли. Надолго стало вёдро. Дон, буйный, как смолоду, бугрился вихрастыми валами. Полая вода поила крайние дворы станицы. Обдонье, зеленовато-белесое, насыщало ветер медвяным запахом цветущих тополей, в лугу зарею розовело озеро, покрытое опавшим цветом диких яблонь. Ночами по-девичьи перемигивались зарницы, и ночи были короткие, как зарничный огневый всплеск. От длинного рабочего дня не успевали отдыхать быки. На выгоне пасся скот, вылинявший и ребристый.

Гаврила с Петром жили в степи неделю. Пахали, волочили, сеяли, ночевали под арбой, одеваясь одним тулупом, но никогда не говорил Гаврила о том, как крепко, незримой путой, привязал к себе его новый сын. Белокурый, веселый, работящий, заслонил собою образ покойного Петра. О нем вспоминал Гаврила все реже. За работой некогда стало вспоминать.

Дни шли воровской, неприметной поступью. Подошел покос.

Как-то с утра провозился Петро с косилкой. На диво Гавриле оправил в кузне ножи и сделал новые, взамен поломанных, крылья. Хлопотал над косилкой с утра, а смерклось — ушел в исполком: позвали на какое-то совещание. В это время старуха, ходившая по воду, принесла с почты письмо. Конверт был замусоленный и старый, адрес на имя Гаврилы: с передачей товарищу Косых, Николаю.

Томимый неясной тревогой, Гаврила долго вертел в руках конверт с расплывчатыми буквами, размашисто набросанными чернильным карандашом.

Поднимал и глядел на свет, но конверт ревниво хранил чью-то тайну, и Гаврила невольно чувствовал нарастающую злобу к этому письму, изломавшему привычный покой.

На мгновение пришла мысль — изорвать его, но, подумав, решил отдать. Петра встретил у ворот новостью:

— Тебе, сынок, письмо откель-то.

— Мне? — удивился тот.

— Тебе. Иди читай!

Засветив в хате огонь, Гаврила острым, нащупывающим взглядом следил за обрадованным лицом Петра, читавшего письмо. Не вытерпел, спросил:

— Откель оно пришло?

— С Урала.

— От кого прописано? — полюбопытствовала старуха.

— От товарищей с завода.

Гаврила насторожился:

— В счет чего же пишут?

У Петра, темнея, померкли глаза, ответил нехотя:

— Зовут на завод... Собираются его пускать. С семнадцатого года стоял.

— Как же?.. Стало быть, поедешь? — глухо спросил Гаврила.

— Не знаю...

* * *

Угловато осунулся и пожелтел Петро. По ночам слышал Гаврила, как вздыхал он и ворочался на кровати. Понял, после долгого раздумья, что не жить Петру в станице, не лохматить плугом степную целинную чернозем. Завод, вскормивший Петра, рано или поздно, а отымет его, и снова черной чередой заковыляют безрадостные, одичалые дни. По кирпичику разметал бы Гаврила ненавистный завод и место с землею сравнял бы, чтобы росла на нем крапива да лопушился бурьян!..

На третий день на покосе, когда сошлись у стана напиться, заговорил Петро:

— Не могу, отец, оставаться! Поеду на завод... Тянет, душу мутит...

— Аль плохо живется?..

— Не то... Завод свой, когда шел Колчак, мы защищали полторы недели, девятерых колчаковцы повесили, как только заняли поселок, а теперь рабочие какие пришли из армии, снова поднимают завод на ноги... Смертно голодают сами и семьи ихние, а работают... Как же я могу жить тут? А совесть?..

— Чем пособишь-то? Рукой ить не прав.

— Чудно говоришь, отец! Там каждой рукой дорожат!

— Не держу. Поезжай!..— бодрясь, ответил Гаврила.— Старуху обмани... скажи, что возвернешься... Поживу, мол, и вернусь... а то затоскует, пропадет... один ить ты у нас был...

И, цепляясь за последнюю надежду, шепотом, дыша порывисто и хрипло:

— А может, в самом деле возвернешься? А? Неужели не пожалеешь нашу старость, а?...

* * *

Скрипела арба, разнобоисто шагали быки, из-под колес, шурша, осыпался рыхлый мел. Дорога, излучисто скользившая вдоль Дона, возле часовенки заворачивала влево. От поворота видны церкви окружной станицы и зеленое затейливое кружево садов.

Гаврила всю дорогу говорил без умолку. Пытался улыбаться.

— На этом месте года три назад девки в Дону потопли. Оттого и часовенка.— Он указал кнутовищем на унылую верхушку часовни.— Тут мы с тобой и простимся. Дальше дороги нету, гора обвалилась. Отсель до станицы с версту, помаленечку дойдешь.

Петро поправил на ремне сумку с харчами и слез с арбы. С усилием задушив рыдание, Гаврила кинул на землю кнут и протянул трясущиеся руки.

— Прощай, родимый!.. Солнышко ясное смеркнется без тебя у нас...— И, кривя изуродованное болью, мокрое от слез лицо, резко, до крика повысил голос: — Подорожники не забыл, сынок?.. Старуха пекла тебе... Не забыл?.. Ну, прощай!.. Прощай, сынушка!..

Петро, прихрамывая, пошел, почти побежал по узенькой каемке дороги.

— Ворочайся!..— цепляясь за арбу, кричал Гаврила.

«Не вернется!..» — рыдало в груди невыплаканное слово.

В последний раз мелькнула за поворотом родная белокурая голова, в последний раз махнул Петро картузом, и на том месте, где ступила его нога, ветер дурашливо взвихрил и закружил белесую дымчатую пыль.

1926

АЛЕКСАНДР ФАДЕЕВ

РОЖДЕНИЕ АМГУНЬСКОГО ПОЛКА

Повесть

Памяти Игоря Сибирцева

I

Настоящее название полка было 22-й Амгуньский стрелковый, а его рядовые бойцы во всех официальных приказах именовались народоармейцами[1]. Но человек, около года не вылезавший из сопок, вскормивший несчетное количество вшей, исходивший все таежные тропы от зейских истоков до устья Амура, привык к безвластью и безнаказанности и боялся порядка и дисциплины. В новых наименованиях и, главное, в цифрах ему чудилось кощунственное посягательство на его свободу. И бойцы 22-го Амгуньского полка продолжали называть себя партизанами, а полк свой по имени старого командира — просто Семенчуковским отрядом.

Это была упорная и жестокая борьба между старым названием и новым. За старое боролся весь полк во главе с командиром Семенчуком, за новое — комиссар полка Челноков.

Силы противостояли неравные. Не только потому, что Челноков был одинок, но и потому, что это происходило в местности, где так короток день, а ночь длинна, где густ и мрачен лес, где воздух сыр и ядовит от болотных испарений, где зверь в лесах силен и непуглив и человек как зверь.

Семенчуковский отряд оказался сильнее Амгуньского полка. Это произошло после разгрома под Кедровой речкой, хмарным и слизким утром, на левом фланге красного фронта.

Сгрудившись у гнилого, поросшего мхом и плесенью охотничьего зимовья, Семенчуковский отряд митинговал.

— Куда нас завели? — кричал, взгромоздившись на пень, лохматый детина.

Весь — костлявая злость, от головы до пят обвешан-

---

[1] На Дальнем Востоке наша армия называлась в 1920 году не Красной, а Народно-революционной. *(Примеч. автора.)*

ный грязными шматками полгода не сменявшейся одежды, он походил на загнанного таежного волка.

— Нас завели на верную гибель... Нас продали... Владивосток занят, Спасск-Приморск занят, Хабаровск занят, не сегодня завтра займут Иман,— куда мы пойдем? Мы — партизаны, амурцы. Мы мерзли в сопках за наши хлеба и семьи. Пора уж и домой! Довольно покормили вшей, пойдем за Амур! Там тоже Советская власть — мы ее поставили. Пущай приморцы сами свои края защищают... Пущай Челноков сам повоюет... с рыбой со своей, с тухлой...

И из человеческого месива, где озлобленные лица, обдрипанные шинели, штыки, патронташи, подсумки и мокрые ветви загаженного людьми ельника сливались в одно оскаленное щетинистое лицо, неслось:

— За Амур! За Амур!

— Довольно!

— Ну как вы попадете за Амур? — стараясь быть спокойным, говорил Челноков.— Через фронт вам не пройти — раз. Через Хорские болота и подавно не пройти. Остается Уссури. Как вы через нее переправитесь? Пароходов ведь нет...

— Вре-ошь! — кричали из толпы.— Омманываешь... Есть пароходы... А грузы на чем эвакулируют? Сволочь!

— Этот пароход вас не возьмет...

— Мы сами его возьмем...

— Он всегда и так перегружен...

— Разгру-узим... Вот невидаль, подумаешь!

— Так ведь не в этом суть,— не сдавался Челноков.— Ведь мы оголяем фронт. Из-за нашего ухода вся область пропадает...

— А что мы — сторожа? — надсаживался лохматый детина.— Чего вы приморцев не держали? Небось в тылу сидят, одеты и обуты... Одних штабов, как собак, расплодилось...

— Верно, Кирюха... В тылу... галифеи шириной в Амур распустили.

Масса не слушалась комиссара. Вчера, ругаясь с ним из-за продуктов, она еще чувствовала в нем силу и нехотя подчинялась ей. Это не было, как в прежние дни, сознательное уважение к старшему товарищу, а просто последние остатки робости перед начальством. Они проявлялись тем сильней, чем независимей, храбрей и строже держался начальник. Но сегодня это уже не помогало. Сегодня масса не боялась и ненавидела комиссара.

Он являлся единственным препятствием на ее пути. Вопрос ясен. К чему этот разговор?

— Дово-ольно! — кричала толпа.

— Долой комиссара! Отзвонил свое. Даешь в отставку!

На заросшей завалинке зимовья сидел Семенчук и ждал. В волнующейся толпе странно было видеть его притаившуюся, безучастную фигуру. И несколько раз, ловя на себе его хитрый, выжидающий взгляд, Челноков думал, что это единственный человек, который мог бы еще удержать полк. Но Семенчук молчал. Он сам был амурец, ему надоело воевать, а симпатии толпы так изменчивы, что не стоит рисковать своим авторитетом за чужое дело.

— За Амур! — рвался через тайгу в золотистые амурские пади стихийный тысячеголосый рев.

— Слушай, Семенчук,— сказал Челноков, наклонясь к командиру,— если они уйдут — ты будешь отвечать.

Семенчук насмешливо улыбнулся:

— При чем тут я? Мое дело маленькое.

— Врешь! — не выдержал Челноков.— Ты продаешь весь фронт за свой командирский значок...

— Что-о?

Семенчук вскочил как ужаленный. В его напряженной позе скользнуло что-то кошачье. Даже желтая шерсть его тигровой тужурки, казалось, вздыбилась, как живая.

— Товарищи!.. Вы слышали, что сказал комиссар? Вы слышали, что он сказал? — Голос Семенчука дрожал от деланного гнева.— Мы, что целый год страдали в сопках, падали под пулями, топли в болотах, кормили мошкару, мы, оказывается, предатели революции! А они, что пришли на готовенькое, надели френчи и сели на наши шеи, они — спасители... Убирайся вон! — рявкнул он злобно.

Его толстая шея вздулась багровыми жилами, и широкое скуластое лицо налилось кровью.

Челноков схватился за револьвер и шагнул к командиру.

— Если ты думаешь на этом сыграть...— сказал он со зловещей сдержанностью, но грозный рев заставил его повернуться к массе. Отовсюду, где только виднелись люди, смотрела на комиссара стальная щетина неумолимых ружейных дул.

— Уйди-и!

Челноков принял руку с кобуры и несколько мгновений изучал толпу. Из-за каждого дула впивались в него горящие угрозой и ненавистью глаза.

Челноков опустил голову и медленно сошел с завалинки.

— Красные! — крикнул Семенчук.— Я всегда был с вами, а вы со мной... Слушай мою команду. Построиться!

Винтовки опустились одна за другой. В толпе зашныряли ротные командиры.

— Первая рота, собира-айсь!

— Вторая рота!

Резкие выкрики команд казались неуместными под мохнатыми елями в распущенной массе голодных людей и тотчас же глохли где-то в заржавленном мхе карчей. Роты строились наспех, как-нибудь, и уползали в чащу по грязной дороге. Оседланная лошадь комиссара неистово ржала и металась на привязи. Под сотнями ног трещал низкорослый ельник.

— Винтовки хоть бы на плечо взяли...— неуверенно предложил кто-то.

— Во-от еще, на плечо! — гудели недовольные голоса.— Мы и на ремне донесем. Старый режим, что ли?

— Покомандовали ужо над нами, будя!

Оставшийся у зимовья комиссар слышал в удаляющихся голосах нотки радостного возбуждения и наивной, почти детской уверенности в окончании всех бед и страданий на этом свете.

Его лошадь запуталась в поводу и, вспенив губы, жалобно фыркала.

— Тише ты-ы! — сердито закричал Челноков.

Он несколько раз ударил ее хлыстом по крутому заду и выругался самыми скверными словами, какие только знал. Неизбежный вопрос — что делать? — сверлил уставшую голову. Он сел на завалинку и стал размышлять. Это было не очень приятное и нелегкое занятие. Комиссар не спал уже около двух суток! В висках стучало. Он сжимал голову большими шершавыми ладонями, и его сухие и ломкие, как старая оленья шерсть, волосы топорщились на голове. Фуражка защитного цвета лежала у ног, и в ней хозяйничали рыжие болотные муравьи. Шум шагов и людские голоса давно уже замолкли вдали. Только в ольховнике у ключа робко посвистывали мелкоглазые рябчики. На левом фланге красного фронта комиссар Амгуньского полка был совершенно одинок.

Он медленно расстегнул кобуру и вытащил наган. Долго с интересом наблюдал, как ленточкой отливает смазанная вороненая сталь, и так же серьезно и вдумчиво взвел холодный курок. Однако он не выстрелил сразу, а решил еще подождать и подумать. Он привык отрезать только один раз, но зато после семикратной примерки.

И действительно, мысли его приняли другой оборот.

— Так нельзя,— сказал он, строго глядя на лошадь. Слова эти относились, однако, не к ней, а к самому комиссару.— Так нельзя,— снова повторил он вслух.— Тебя все равно расстреляют, но предупредить о случившемся ты обязан.

Придерживая курок нагана большим пальцем, Челноков опустил его на место и спрятал револьвер в кобуру. В его движениях не чувствовалось волнения или страха. Он поднял с земли фуражку и стал чистить ее мокрой еловой веткой. Ему не хотелось, чтобы даже в его одежде был намек на панику. Правда, он не сумел удержать полк, хотя и должен был сделать это. Но это еще не означает, что все остальное может идти спустя рукава.

Челноков отвязал лошадь и, вскочив в седло, выехал на дорогу. Лошадь рвалась в ту сторону, куда ушел полк, а он заставлял ее идти в другую. Несколько секунд они вертелись на одном месте, пока ей не стало ясно, что обстоятельства переменились.

Тогда она повиновалась человеку и, закусив удила, понеслась к штабу фронта, на станцию Бейцухе.

В очередной оперативной сводке иманская «Рабоче-крестьянская газета» писала: *«2 мая наши части, под давлением превосходных сил противника, оставив разъезд Кедровая речка, отошли на линию ст. Бейцухе. Дальнейшее продвижение противника приостановлено».* Прочитав сводку, командующий Северным фронтом невольно улыбнулся. Это была горькая, спрятанная в усы улыбка. Он лучше всяких газет знал, что поражение под Кедровой речкой являлось на самом деле разгромом красного фронта. «Превосходные силы противника» заключались в одном батальоне, разогнавшем десятитысячную армию. «Движение противника» отнюдь не было приостановлено, но он сам не пошел дальше, боясь распылить немногочисленные силы по мелким станциям и разъездам.

Перед мысленным взором командующего все время лежал громадный кусок Амурской долины, по которому

уверенно перестраивались цепочки, квадратики, линии маленьких косоглазых людей, внушавших ужас защитникам кедровореченских позиций. И потом... эта неудержимая звериная паника, с оставлением орудий, винтовок и амуниции, с беспощадными драками между своими из-за каждого паровоза, вагона или двуколки, с бессмысленными, полными дикого страха, потными, измученными, уже нечеловеческими лицами. А когда штабной вагон попал наконец на станцию Бейцухе, он увидел на платформе сухого, сморщенного, с мочальной бородкой старика, грозившего скрюченным пальцем и кричавшего с пеной у рта:

— Дезертиры... Мы дали вам одежду, мы дали вам хлеб, а вы нас японцу продаете? Будьте вы прокляты!.. Вы и ваши дети!

Теперь — не только в Приморье, но и за Амуром, и в Прибайкалье, и за Байкалом — Кедровая речка стала нарицательным именем, символом панического бегства, трусости и позора.

Командующий фронтом посмотрел на карту. В этом злополучном краю даже военные карты были составлены неверно. Справа от ветки тянулись непролазные Хорские болота. Верховья реки Хор и ее притоков были помечены пунктиром. Там не ступала еще человеческая нога. Плохонькие позиции перед Бейцухе занимал недавно сформированный коммунистический отряд. Половина его бойцов была набрана из ставших ненужными, за развалом частей и учреждений, военных и гражданских комиссаров. Все они привыкли командовать, не любили подчиняться и искали путей, как бы попасть в Советскую Россию.

На левом фланге на нескольких пунктах значился по штабной карте 22-й Амгуньский полк. Связь с ним была еще плохо налажена. Полк считался ненадежным. Во всяком случае, это был единственный неразвалившийся полк, в порядке отступивший из-под Кедровой речки.

Командующий снова взял газету, но чтение не шло на ум. Он выглянул в окно. Везде было так пустынно, так неприглядно, что не верилось, будто на этой заброшенной станции находится главный мозг фронта. Да был ли у такого фронта хоть какой-нибудь мозг?

Из станционного здания подпрыгивающей походкой шел к вагону комиссар Соболь. Он был очень маленького роста и, шагая через прогнившие дыры платформы, в своем черном обмундировании напоминал беззаботного вишневого жучка. Но командующему он казал-

ся скорее неутомимым муравьем, несущим на себе непосильную ношу.

— Хорошие вести,— сказал комиссар, заходя в вагон.— Из Владивостока пришел тайгою на Иман матросский отряд, вот телеграммы...— Он бросил на стол пачку розовых бумажек.— На Имане восстановлен порядок, ловят дезертиров. Ревштаб извещает, что кое-какие полки удастся привести в боевой вид... Ей-богу, мы сможем выправиться на этом деле!..

— Боюсь, что нам уже ничто не поможет,— сказал командующий, прочитав последнюю телеграмму и передавая ее комиссару.— Вы читали это?

Телеграмма извещала, что пароход, эвакуировавший военные и железнодорожные грузы по реке Уссури за Амур, вышел в третий рейс. Телеграфный язык не знал правил правописания — ни больших, ни малых букв, ни запятых, ни кавычек. Подпись: *«Комендант пролетарий селезнев»* — нужно было читать: *«Комендант парохода «Пролетарий» Селезнев».*

— Что ж, молодчага! — воскликнул комиссар.— Этого парня я знаю только по телеграммам, но он чертовски исполнительный человек. Можно было бы жить, если б все были такие.

Командующий смотрел на комиссара и, как всегда, удивлялся, откуда набирается бодрости эта маленькая, невзрачная фигурка. Сам он давно работал механически. Он был совсем одинокий человек, и с развалом фронта ему некуда было идти. Бывший офицер старой, царской армии, он провоевал бо́льшую часть своей жизни, из которой почти три года пришлись на борьбу за Советскую Россию. Теперь она маячила перед ним как последнее и единственное убежище.

— Дело не в исполнительном человеке,— сказал он сухо,— дело в эвакуации. Когда этот пароход пошел в первый рейс, я сразу понял, что дело пахнет ликвидацией. Ревштаб вывозит все, что можно. Приморье спело свою песенку. Нам тоже пора кончать. Я так думаю.

— Ну и плохо, что вы так думаете! — вспылил комиссар. Ему надоели вечные толки о ликвидации, за которыми шел неизбежный разговор о Советской России.— Наша беда и заключается в том, что так думают почти все, начиная от командующего и кончая дезертиром. Но ведь нам, черт возьми, предписано держаться, а не ликвидироваться!.. Вы думаете, мне не хочется в Советскую Россию? Вы думаете, я не устал от всей этой чертовщины? — Лицо комиссара невольно сморщилось в жал-

кой гримасе.— Но вы помните, я говорил, что нам надо идти против течения? Какой я, к черту, комиссар фронта? Я вам говорил, что я просто токарь военного порта. Но раз я поставлен комиссаром, я должен им быть: не спать ночей, стрелять дезертиров, ругаться с полками, реквизировать хлеб, бороться до тех пор, пока меня самого не сволокут в придорожную канаву... Я начинаю и кончаю свой день с этой мыслью. Я подвинчиваю себя каждый день невидимыми гайками до последней степени, до отказа... Я все время иду против течения и тащу за собой всех, кого только можно тащить при помощи слова или нагана... Черт возьми!.. Я буду идти и тащить, покуда хватит моих сил. Я уж вам не раз говорил об этом.

Командующему хотелось сказать: «Я тоже старый солдат и исполняю свой долг», но эта фраза показалась ему слишком напыщенной при Соболе.

— Я привык к организованным войсковым единицам,— сказал он извиняющимся тоном.

Соболь ничего не ответил.

Неловкую тишину одиноко прорезал отдаленный гудок паровоза. Оба ощутили легкое, едва заметное дрожание штабного вагона. Судя по гудку, паровоз шел с тыла.

— Это наш броневик,— сказал командующий.

— Наконец-то!

Соболь швырнул телеграмму и, жуя на ходу вытащенный из кармана хлеб, вышел на линию.

Из темного провала сопок, раскидывая по откосам клочья тяжелого дыма, несся к штабу новенький бронепоезд.

Из бронированного паровоза, смеясь, выглядывал седенький машинист. Соболь заметил у его пояса пару английских гранат.

Поезд остановился за станцией, у стрелки. Из вагонов одна за другой выскакивали серые фигуры. Впереди шел начальник штаба фронта и его помощник. За ним виднелись еще знакомые и незнакомые лица.

— Черт возьми!.. Шептало! — воскликнул комиссар, узнав среди штабных начальника бронепоезда.

Черные, закоптелые лица обступили комиссара со всех сторон. Они радостно трясли ему руки и что-то кричали наперерыв. Двое из вновь прибывших, в одинаковых чистеньких френчах и кожаных галифе, остановились поодаль и улыбались.

— Не все сразу,— с нарочитой строгостью сказал

комиссар.— Сначала о деле. Идите все на свои места, потом поболтаем. Шептало и вы,— он посмотрел на отдельно стоящую пару,— пойдемте со мной.

— Рассказывай,— обратился он к Шептало, когда они зашли в купе.— А ты все такой же,— перебил он себя, невольно переходя с официального тона на дружеский.— Ну, ну, рассказывай...

Шептало сообщил, с каким трудом удалось ему сформировать бронепоезд. Он постоянно сбивался с тона и, брызгая слюной, возбужденно передавал не относящиеся к делу подробности.

— Понимаешь, все уже было сделано! — кричал он на весь вагон.— Уж и орудия поставили, а ни один машинист не соглашается... Кстати, насчет орудий: эта трусливая никольская артиллерия никак не хотела отдавать. Рабочие из мастерских даже депутацию к ним посылали. «Мы,— говорят,— маялись, делали, а вы удрали с фронта, да еще орудий не даете». Ни черта не помогает... Тогда уж и я разъярился. «Не дадите,— говорю,— начну садить по лагерям из пулеметов...» Все-таки отдали...

Он весело засмеялся, и, глядя на боевые искорки в его зеленовато-серых глазах, так же весело завторил ему Соболь. Двое в кожаных брюках скептически переглянулись.

— Так вот, про машиниста,— продолжал Шептало.— Я уж, брат, все службы — тяги, пути, движения и еще черт его знает какие службы облазил. Никто!.. Наконец этот старичок. «Мне,— говорит,— все равно умирать...» И поехал. Ей-богу...

Соболь смотрел на исхудавшее белобрысое лицо начальника бронепоезда и думал, что из этого парня будет толк. «Ничего, что немного звонит. Зато делает дело...»

— Ребята у тебя надежные? — спросил он вслух.

— Ребята — что надо! — восторженно воскликнул Шептало.— Большинство со Свиягинской лесопилки. Есть трое батраков из Зеньковки. Тут, брат, комедия... Один из них рассказывал, что после Кедровой речки он дезертировал домой. Так, понимаешь ли, собственная баба в избу не пустила. «Иди ты,— говорит,— ко псу, сметанник». Ей-богу, так и сказала: «Иди ты ко псу». Сам рассказывал. «Стало,— говорит,— мне соромно, я и вернулся...»

— А вы как к нему попали? — обратился Соболь к парням в кожаных брюках.

— Они не ко мне,— сказал Шептало. Его потрескавшиеся губы скривились в насмешливую улыбку.— Это так... случайные...

— У нас разрешение в Советскую Россию,— сказал один из них. Это был молодой белокурый парень с тонкими и правильными чертами лица.

— Так,— сказал комиссар.— Ну, мы еще поговорим. Шептало, можешь идти.

Он долго и пристально разглядывал оставшихся в купе. Его маленькие черные усики странно топорщились. Все трое молчали.

Соболь хорошо знал обоих по совместной работе во Владивостоке. Белокурый был матросом из музыкантской команды Сибирского флотского экипажа. Его товарищ, горячий, неутомимый латыш, слесарил во временных мастерских. В те времена это были на редкость хорошие ребята.

— Как же вас выпустили из Владивостока? — спросил комиссар пытливо.

Белокурый звучно рассмеялся:

— Там сейчас такая неразбериха, что кого хочешь выпустят. Везде хозяйничают японцы. Наши прячутся по слободкам. Старик Крайзельман совсем потерял голову. Когда мы ему подсунули бумажку, он сразу подписал. Я еще сказал Артуру, что, подсунь ему его собственный смертный приговор, он бы так же подписал. Факт!

При его словах латыш нервно дернулся на койке.

— Разве у нас вожди?! — резко закричал он. — У нас сапожники! Все потерьяли голову, мечутся, как угорелеватые. Мы думали, шьто хоть на фронте порьядок, а тут у вас тоже... Скорей бы уйти к черту из этого краю...

Он выразительно махнул рукой, и вся его мускулистая, чуть сгорбленная фигура, казалось, говорила о том, что он не желает больше об этом разговаривать.

— Так, —снова сказал комиссар. — И что же вы думаете делать в Советской России?

Его голос чуть заметно дрожал.

— Я проберусь в Латвию, —буркнул латыш.

— А я пойду по культурно-просветительной части. До японского выступления я уж ударял по этому делу. Хоть я и матрос, но ты знаешь, что из меня плохой вояка. А каковы твои планы на будущее?

— Я думаю всю свою дальнейшую жизнь посвятить

военному делу, — насмешливо процедил Соболь. — Ну, покажите, какую вам дали бумагу...

— Ерунда, обыкновенный мандат. — Белокурый полез в бумажник. — А ты зря идешь по военной, — сказал он с сожалением. — Приморье погибло уж для Советской России, а в центре нужны люди для мирного строительства. Вот она...

Соболь взял протянутую бумажку и сунул, не читая, в карман.

— Теперь послушайте меня, —сказал он, неожиданно меняя тон. — Вы обманным путем ушли из Владивостока, забыв свой долг и бросив массы в самую тяжелую минуту. Я отдал бы вас под суд, ежели бы они у нас не развалились. Я застрелил бы вас сам, ежели бы у нас хватало толковых людей. Я жалею, что не могу сделать ни того, ни другого... Но я предлагаю...

— Это плохие шутки, Соболь, —недоуменно перебил латыш.

— Молчать!.. — не выдержал комиссар. Он выхватил наган, и голос его звякнул, как лопнувший станционный колокол. — Сидеть смирно и слушать! Я предлагаю вам вот что: или вы пойдете в коммунистический отряд, дав мне слово, что не убежите, или я вас посажу под арест и не буду кормить до тех пор, пока вы не дадите мне этого слова и не пойдете в отряд.

— Соболь, что с тобой? Ты с ума спятил? — удивленно забормотал матрос.

— Одна минута на размышление, — сказал комиссар, выкладывая часы.

— Не пойму... — В глазах белокурого померк мягкий и теплый свет, и вся его фигура выразила удивление, беспомощность и вместе с тем сознание своей правоты.

— Я буду жалеться в областком! — вскипел латыш.— Это свинство!

— Когда будешь в Советской России, можешь пожаловаться в ЦК — там разберемся.

— Л...ладно, —сказал матрос после непродолжительного раздумья. — Мы можем, конечно, пойти и в коммунистический отряд. Но с твоей стороны это превышение власти. Ты определенно закомиссарился, ты за это ответишь. Я тебе говорю...

— Двадцать секунд осталось, — холодно обрезал комиссар.

— Да я же сказал, что мы пойдем!

— Товарищ Сикорский! — крикнул Соболь, открывая дверь. — Выдайте этим двум удостоверения в комот-

ряд... рядовыми бойцами, — добавил он после некоторой паузы.

— Эх, Соболь, Соболь... — с грустью протянул белокурый.

— Канцелярия направо, — сухо сказал комиссар. — Я вас не задерживаю.

— Гас-тро-леры, — промычал он с непередаваемым презрением, когда оба спутника возмущенно выскочили из купе. Ему казалось всего обиднее то, что один был слесарем временных мастерских, а другой — матросом революционного экипажа.

III

Соболь беседовал у бронепоезда с народоармейцами, когда всадник на взмыленной густогривой лошади выскочил из кустов и, быстро осмотревшись по сторонам, поскакал к штабному вагону.

«Это еще что за личность?» — подумал Соболь. Но когда всадник соскочил с седла, он сразу узнал в нем Челнокова. До этого ему не приходилось видеть его на лошади.

Приезд Челнокова был слишком необычен. Соболь оборвал свою речь на полуслове и не пошел, а побежал к штабу. Комиссар Амгуньского полка угрюмо поджидал его, прислонившись к вагону. Видно было, что он страшно устал. Его лошадь тоже понурила голову и застыла.

Соболь с силой сжал протянутую ему руку и несколько секунд не мог выговорить ни слова.

— Ну?! — прохрипел он наконец.

— Амгуньский полк ушел с позиции, — тихо проговорил Челноков.

— Тсс!.. — прошипел Соболь, до боли стиснув зубы. — Никому ни единого слова об этом. Здесь воздух полон паники. Идем в вагон.

Но когда они вошли в купе, комиссар фронта не мог больше сдерживаться. Он яростно вцепился в грязный челноковский френч и, дрожа от переполнявших его существо бешеных противоречивых чувств, закричал тонким, надорванным фальцетом:

— Как же ты допустил?.. Надо было держать з-зубами!.. Да что же у вас там... Челноков?!

— Я сделал все, что мог, — угрюмо пробормотал тот. — Но я не сумел убедить...

— Убедить?! — яростно повторил Соболь.—Комиссар! Надо было не только убеждать, надо было стрелять!

— Дело так сложилось, что не мог даже вытащить револьвера... Они направили на меня винтовки...

— Какое мне до этого дело?.. Ты должен был удержать, понимаешь? До-олжен... Меня не интересует, убили бы тебя или нет!..

Соболь выпустил френч и возбужденно забегал по купе. Его маленькая растрепанная фигурка, мечущаяся в тесной и пыльной кабинке, как-то не вязалась с рослой, окаменевшей на месте фигурой Челнокова.

— Ты знаешь, что нужно сделать с тобой? — спросил вдруг Соболь, круто остановившись перед полковым комиссаром.

— Знаю, — сказал Челноков.

Соболь опустился на койку и сидел молча несколько минут. Слышно было, как в канцелярии кто-то неумело стукал на машинке.

В этой тишине слова комиссара прозвучали совсем по-иному.

— Федор, — тихо позвал он Челнокова, — ты не забыл, как мы пять лет работали у соседних станков?

Челноков вздрогнул, и странный мягкий звук сорвался с его уст. Соболь нервно хрустнул пальцами и так же тихо продолжал:

— И ты... не сумел удержать полк?

Комиссар Северного фронта не смотрел на своего подчиненного, но в его словах слышался такой же тихий, как его голос, укор.

— Я не сделаю тебе ничего, — продолжал Соболь, — потому что у нас мало таких людей, как ты, а мы милуем кой-кого и похуже. Но мы должны исправить положение. Ты понимаешь, Челноков?

Комиссар Амгуньского полка медленно поднял голову. Его смущенный взгляд встретился с серьезным и решительным взглядом Соболя, и в обоих мелькнуло нечто большее, чем простое взаимное понимание. Это была дружеская симпатия, может быть даже нежность. Но она показалась только на одно мгновение.

— Пойдем к командующему, — сказал Соболь.

Им требовался быстрый и правильный рецепт. Но что мог дать человек в старом полковничьем мундире, привыкший к организованным войсковым единицам? Он уныло посмотрел на обоих сквозь потные очки в черной, почти траурной оправе и не сказал ни слова.

— Если бы у меня было тогда с пяток надежных ребят, я бы удержал весь полк, — пояснил Челноков. — Но теперь его не возьмешь и с пятью десятками. Он вый-

дет к реке и укрепится. Семенчук — старая лисица!

Он вопросительно взглянул на командующего, но тот по-прежнему молчал. Когда-то точная и исполнительная машина теперь отказывалась работать. Соболь схватил телеграфный бланк. и, вырвав из рук командующего карандаш, стал быстро писать, нагнувшись над столом.

— Подпишите! — сказал он, подсовывая исписанный бланк. — Челноков, я сообщаю о происшедшем в ревштаб и прошу прислать один из матросских батальонов в твое распоряжение. Ты сейчас же сядешь на дрезину и поедешь на Веземскую. Там встретишь эшелон и вместе с отрядом пройдешь трактом к Аргунской. Я думаю, к завтрашнему вечеру ты уже будешь там. Семенчуку больше некуда деться. Я даю тебе все права и полномочия, какие только потребуются.

— А если он успеет погрузиться на пароход?

Соболь схватил другой бланк:

«Станица Орехово. Коменданту „Пролетарий" Селезневу. Никаких частей без моего ведома не грузить.

Военком фронта Соболь».

— Орехово выше Аргунской, — пояснил он, — там тоже есть телеграф. Селезнев зайдет в Орехово за динамитом. Ну... иди, брат... ждать некогда...

Они вместе вышли на линию. На привязи у вагона все в том же положении стояла лошадь Челнокова. Из ее грустных полуоткрытых глаз сочились мутные слезы усталости и голода. Челноков ласково потрепал ее по шее.

— Ты позаботься о моей лошадке, — сказал он Соболю. — А потом... — Он на мгновение замялся и странно дрогнувшим голосом докончил: — Может, у тебя найдется кусок хлеба... для меня?

Только теперь Соболь заметил, что Челноков бледен, как песок. Кожа стянулась на его лице, резко обозначив скулы и челюсти. Под глазами выступили расплывчатые синие круги, и веки чуть заметно дрожали.

Соболь убежал в вагон и через минуту вернулся с ковригой гречишного хлеба и с большим куском нутряного сала.

— Есть сумка, куда положить? Нет? Ну, возьми мою!

Он снова сбегал в вагон и принес походную сумку японского образца.

— Носи за мое здоровье! — сказал он шутливо.

IV

Пароход «Пролетарий» имел свою историю. Когда Иманский ревштаб пришел к необходимости эвакуировать за Амур все, что поддается эвакуации, он столкнулся с рядом непредвиденных затруднений.

Прежде всего требовалось судно, на котором можно было провозить эвакуированные грузы. Нужен был твердый и исполнительный человек, способный взять на себя такое опасное и ответственное дело. И наконец, необходим был новый путь для эвакуации, так как Уссури впадала в Амур возле Хабаровска, а в последнем сидели японцы.

В течение нескольких дней штабная канцелярия занималась отыскиванием нового пути. Были извлечены из старых переселенческих архивов изъеденные мышами, пожелтевшие от времени географические карты, из которых ни одна не походила на другую, хотя все изображали одну и ту же местность.

Комендантская команда ловила на побережье загорелых рыбаков и хитрых, предприимчивых скупщиков меха, могущих дать хоть какие-нибудь сведения по указанному вопросу.

И путь был наконец найден.

Это была Центральная протока, вытекавшая из Амура в пятидесяти верстах выше Хабаровска и впадавшая в Уссури верст на сорок выше того же города. Пароход должен был спускаться по Уссури до устья протоки и, свернув в нее, идти против течения до тех пор, пока не попадет в Амур. Таким образом, Хабаровск оставался в стороне. По свидетельству рыбаков, то была глубокая протока, хотя по ней не плавало еще ни одно паровое судно.

С пароходом дела обстояли хуже. В Иманском затоне находилась старая баржа в сто тонн водоизмещения и маленький поломанный пароходик, насчитывавший пятьдесят восемь лет производственного стажа. Когда-то он назывался «Казаком уссурийским», а баржа — «Казачкой», но после февральской революции его переименовали в «Гражданина», а баржу — в «Гражданку». При Колчаке на нем вылавливали в тростниковых зарослях Сунгача беглых большевиков и красногвардейцев. Пароход был заново перекрашен и перекрещен в «Хорунжего Былкова», а баржа — в «Свободную Россию». По мнению знающих людей, он теперь ни к чему не годился. Но председатель ревштаба осмотрел его самолично и

нашел, что «можно починить». Нужен был только человек, способный взяться за это дело.

Стали искать человека. Он должен был, во-первых, хоть немного понимать в пароходном деле, во-вторых, отличаться поистине дьявольской настойчивостью, и, в-третьих, его глаза не смели косить в сторону Советской России. Иначе он мог исчезнуть в первом же рейсе, как только попадет за Амур.

Надо сознаться, таких людей на Уссурийской ветке было очень мало. И все-таки нашли. Он командовал комендантской ротой города Имана и, по имевшимся сведениям, плавал раньше на торговых и военных судах.

Председатель ревштаба занимался у себя в кабинете, когда дверь отворилась без доклада и в комнату вошел плотный чернявый человек среднего роста, в короткой гимнастерке полузащитного цвета и простых кожаных брюках, заправленных в грубые сапоги.

— Что вам угодно? — спросил председатель сухо.

В эти дни у него бывало излишне много посетителей, и вошедшего он видел в первый раз.

— Я Никита Селезнев, — просто сказал вошедший.— Меня вызвали по делу эвакуации.

— Садитесь, — сказал председатель, указывая на стул. — Это очень серьезное и ответственное дело. Мы предлагаем вам отремонтировать пароход в две недели. Ни в коем случае не позже — в порядке боевого приказа.

Излагая Селезневу, в чем состояла задача, он пристально изучал его внимательное, спокойное лицо и плотную, резко очерченную фигуру. У Селезнева были сильные челюсти, прямой и крепкий нос, темные, почти черные волосы на голове и такие же подстриженные по-английски усы. Одна из его бровей поднялась чуть выше другой, и из-под обеих смотрели острые, проницательные глаза цвета полированной яшмы. На вид ему можно было дать около двадцати семи лет.

— Нам требуется строгая точность и исполнительность в этом деле, — говорил председатель. — Вы сами знаете, что теперь творится. Можно сказать заранее, что вас толпой будут осаждать дезертиры с просьбой перевезти за Амур. Они будут угрожать вам оружием и, очень возможно, отправят вас на тот свет. Но мы все ходим под этой угрозой... Что вы предполагаете сделать на первый случай?

Селезнев несколько секунд молча теребил фуражку

и, внезапно надев ее на голову быстрым, решительным движением, сказал:

— Ежели готов мандат, я приду к тебе через неделю и скажу, что я уже сделал.

Он сказал председателю «ты», как говорил всем людям, с которыми встречался хотя бы и в первый раз. В его тоне чувствовалась врожденная незлобивая грубоватость.

— Мандат сейчас заготовят, — сказал председатель. И, тоже переходя на «ты», спросил: — Ты коммунист?

— Да.

— Можно надеяться, что ты сам не сбежишь за Амур?

Он ожидал, что Селезнев обидится на этот вопрос и скажет какую-нибудь резкость. Но Селезнев просто ответил:

— Можно.

Вопрос был исчерпан. Через полчаса Селезнев ушел из штаба с длинной инструкцией, ни один пункт которой не понадобился из-за ее нежизненности, и с таким же мандатом. Последний тоже не нашел себе применения, так как оборудование парохода нужно было проводить отнюдь не мандатом, а либо уменьем убеждать, либо силой кулака и нагана.

Прежде всего Селезнев взял себе помощника — взводного командира Назарова, из комендантской роты.

Это был необычайно рослый волосатый человек, угрюмый и несуразный, как выкорчеванный пень. Когда-то он работал на Сучанских угольных копях и вынес с той поры редкие качества: никуда не смотреть, все видеть и в течение нескольких дней не произносить ни слова. Несмотря на это, а может быть, благодаря этому он имел верный глаз на людей и умел их отыскивать.

— Вот что, Назарыч, — сказал Селезнев,— ты достань мне одного писучего, другого хозяйственного человека! А потом натаскай ребятишек для пароходной комендантской команды! Работнем —куда ни шло...

Сам он пошел в типографию «Рабоче-крестьянской газеты», и на следующий день были расклеены по городу приказ и воззвание: *«Всем, служившим когда-либо на пароходе «Хорунжий Былков» и барже «Свободная Россия», явиться к коменданту указанного парохода т. Селезневу, в контору на берегу, 22 апреля, к 8 часам утра».*

Первым явился на зов маленький кривоногий старичок во главе небольшой кучки веселых загорелых пар-

ней в засаленных блузах и широких брезентовых штанах навыпуск. Он оказался судовым машинистом, а сопровождавшие его ребята — матросами с парохода.

Они произвели на Селезнева самое хорошее впечатление. У старичка были длинные, опущенные книзу хохлацкие усы и густые седоватые брови. Он, видимо, любил поговорить и после каждой фразы как-то особенно щурился. Морщины на его маленьком шершавом лице, черные от въевшейся копоти и машинного масла, делались при этом еще чернее и глубже.

— Ты видел ево... пароход-от, голова? — говорил он с добрым затаенным смехом в глазах.— Дрянь посудинка-то, ну? Ничево-о, голова! Нала-адим. Там в машине малость частей не хватает, дак в депе можно раздобыть — пойдет...

— Как же тебя записать? — спросил Селезнев. — Машинистом?

— Люди механиком звали, а хошь — пиши машинистом... Нам все едино... Мы народ негордый...

Он засмеялся мягким, беззвучным смехом, похожим на шорох дыма в пароходной трубе.

— Механиком и запишем, — серьезно сказал Селезнев. — А матросы тут все?

— Пятерых нет, —сказал «механик», — удрали.

— Босотва! — презрительно добавил нескладный чубатый парнишка. — Трусят...

— Перело-овим! — уверенно загудели остальные.

Селезнев отвел ребятам место в конторе и выписал им паек.

Работа пошла веселее.

В тот же день пришел капитан парохода — костлявый мужчина лет сорока, одетый, несмотря на стоявшую теплынь, в теплую казачью шинель и такую же папаху. Он относился к своей судьбе со странным безразличием, и Селезнев долго не мог отгадать, каково его действительное настроение. Они вместе прошли на пароход, где уже возились маленький механик и раздобытые им неизвестно откуда слесаря и плотники. Увидев, что работа кипит, капитан несколько оживился.

— Пятьдесят восемь лет посудинке! —сказал он с неожиданными ласковыми нотками в голосе. — Отец мой сорок лет на ней плавал. На Ханку и к Николаевску ходил. Тогда тут еще маленький поселочек был, а теперь — город...

Последнее слово капитан произнес с легким оттенком неодобрения и даже досады.

— Тебя как звать? — спросил Селезнев.

— Усов, Никита Егорыч.

— Тезка, значит? Ладно. Так вот, Никита Егорыч, назначаю тебя старшим по ремонту. Понял? Все, что требуется, докладывай мне. Срок — неделя.

— Недели мало, — сказал капитан, снова переходя на безразличный тон.

— Неделя! — решительно отрезал Селезнев.

Капитан помялся, потеребил выцветшие казачьи усы и, как-то сбоку глядя на Селезнева, сказал тем же безразличным тоном:

— Попробуем. Я хочу вам сказать, что я, конечно, не интересуюсь политикой. Но японцы тоже не по мне. Я не стану тормозить дело.

— Еще бы ты стал тормозить! — с обычной грубоватой и вместе с тем незлобивой насмешкой воскликнул Селезнев.

Но он понял капитана очень хорошо. Старый речной судак действительно боялся политики и предпочел бы сидеть дома. Но раз его сволокли с нагретого места, он решил работать не за страх, а за совесть, как работал на «Хорунжем Былкове», когда тот вылавливал большевиков.

На другой день Назаров привел «хозяйственного человека».

Более странного и подозрительного типа Селезнев не видел никогда в жизни.

Его лицо, волосы, шея, кисти рук с неимоверно длинными пальцами были ярко-рыжего, огненного цвета. Веснушчатый нос чуть вздернулся кверху и совсем не вязался с горестной и немного ядовитой складкой тонких обветренных губ. При всем том «хозяйственный человек» имел очень жуликоватый вид, усиливавшийся потрепанным клетчатым пиджаком с воротником, загнутым кверху, указывавшим на знакомство с последней модой амурских «налетчиков».

Неприятно поразили Селезнева уставившиеся в него немигающие белужьи глаза с длинными, почти белыми ресницами.

Фамилия «хозяйственного человека» оказалась Кныш.

Он должен был добыть весь необходимый материал по оборудованию парохода и заготовить продовольственные запасы для матросов и комендантской команды.

Однако он не выразил никакого испуга или протеста, узнав про трудности своей будущей работы.

Селезнев не решился сразу ввести его в курс и велел ему прийти на следующее утро.

— Назарыч! — недоуменно воскликнул он, когда Кныш вышел из конторы. — Ты промахнулся на этот раз, старый братишка. Ну скажи мне: ну что это за фигура?

Назаров вытащил из кармана голубенький кисет и, распустив завязку, достал из него кусок газетной бумаги и щепотку крупного коренчатого табаку. Свернув папироску, он протянул кисет Селезневу и, по обыкновению не глядя ни на кисет, ни на Селезнева, сказал спокойным и ровным тоном:

— Это жулик. За ним придется присмотреть. Только для нас... — Тут Назаров сделал маленькую паузу и тем же спокойным тоном докончил: — Это самый годящий человек.

Чувствуя, однако, что для Селезнева его слов недостаточно, он продолжал:

— Нас он не надует — факт. А других — сколько угодно. Он тебе самую последнюю гайку хоть из-под земли, а доставит моментом. В живом виде.

Селезнев решил не спорить, а посмотреть. Но он не оставил Кныша без контроля и, дав ему на другой день задачу добыть в Иманском депо необходимые для машины части, написал бумажку от себя, в которой точно указал, какие именно части были нужны.

— Сходи в ревштаб, пущай председатель наложит резолюцию — «выдать».

Кныш оказался талантливее, чем предполагалось. В первый раз он действительно сходил в ревштаб и получил требуемую резолюцию. Однако он сразу увидел, что это очень длинная, волокитная история, а главное — никому не нужная. Развалившиеся части и учреждения не обращали никакого внимания ни на бумагу, ни на резолюцию ревштаба, а всюду приходилось действовать самому. Тогда он засел за работу и в пять минут разучил подпись председателя как нельзя лучше. На всех следующих бумажках, выдаваемых Селезневым, он накладывал резолюцию собственноручно и, раздобыв требуемую вещь всякими правдами и неправдами, возвращал бумажку с надписью: *«Исполнено»*.

Если ему не удавалось перехитрить тех, от кого зависела выдача необходимого продукта или материала, он старался его украсть. У него было неисчислимое количество «друзей», способных за незначительное вознаграждение выкрасть с неба апрельскую луну.

Неизвестно, какое количество различных ценностей Кныш употребил в свою пользу, но к указанному Селезневым сроку он не только достал все, что требовалось для парохода, но и нагрузил его более чем достаточным количеством муки, сала, печеного хлеба, солонины, гнилой копченой рыбы и даже липового меда.

Приведенный Назаровым «писучий человек» оказался вихрастым синеглазым мальчуганом лет пятнадцати, служившим до этого поваренком в одном из полков. Он совсем недавно бежал из родительского дома и жаждал более авантюристических похождений.

— Переезжай ко мне со всем имуществом, — сказал ему Селезнев. — Будем друзьями.

Имущество синеглазого парнишки выразилось в маленьком вещевом мешке, в котором кроме смены белья хранилось «Руководство для кораблеводителей» издания 1848 года, сломанный детский компас и старый заржавленный пугач без единого патрона.

Как бы то ни было, но работа в затоне закипела с лихорадочной быстротой. И каждый новый человек, каждый фунт краденого сала, каждая маленькая ржавая гайка, попадая на пароход, чувствовали на себе острый, распорядительный глаз Селезнева и его твердую, в железных мозолях, руку.

Через девять дней после начала работы Селезнев явился к председателю ревштаба и доложил ему, что «все готово». Пароход и баржа были заново отремонтированы, покрашены и в четвертый раз в своей жизни переименованы. Теперь пароход назывался «Пролетарий», а баржа — «Крестьянка».

К этому времени сформировалась комендантская команда. Это была разноликая, разношерстная «братва». Тут были рослые крепкоскулые пастухи с заимок Конрада и Янковского — задумчивые ребята в широкополых соломенных шляпах, с неизменными трубками в зубах. Были замасленные и обветренные машинисты уссурийских паровозов, с черными, глубоко запавшими глазами, похожими на дыры, прожженные углем. Были тут и разбитные парни с консервной фабрики, с острыми, ядовитыми язычками и жесткими ладонями, порезанными кислой жестью.

Они безропотно грузили все, что им прикажут, и в жгучий полдень и в слизкие, дождливые ночи, задыхаясь под тяжестью массивных станков и несчетного количества орудийных снарядов. Они несли бессменную вахту у пулеметов, с минуты на минуту ожидая выхода

японских канонерок, чтобы перерезать им путь, и дрались смертным боем с бесчисленными толпами дезертиров, грозивших либо овладеть пароходом, либо «разнести в дресву паршивую посудину». Днем обстреливали их китайские посты, как только пароход приближался к китайскому берегу, а ночью леденил холодный туман, и сумрачный стлался вдоль границы Китай, суливший нежданные хунхузские налеты[1].

За Амуром у каждого оказались друзья, предлагавшие не ехать назад, в «чертово пекло», обещая «устроить» на более спокойные места без всякого риска. Но, справив дела, они неизменно возвращались обратно, шли, стиснув зубы, надвинув шапки на брови, снова вверх и вверх против течения — для новых вахт и драк, за новым драгоценным грузом.

И не знавший правил правописания, бесстрастный телеграф слал по линии одну за другой деловые телеграммы со странной, непонятной подписью: *«Комендант пролетарий селезнев»*.

V

Этот день был несчастлив с самого начала.

Около трех часов ночи пароход «Пролетарий» сел на мель верстах в двенадцати выше станицы Орехово. Чувствовалась несомненная халатность, так как речной фарватер был изучен до тонкостей в прошлые рейсы.

Кривоногий машинист свел Селезнева в трюм и, приподняв половицу, показал ему, чем угрожает подобный опыт в следующий раз.

— Глянь, голова, — сказал он, добродушно щурясь в темноте, — днище-то на ладан дышит, насквозь проржавело. Еще разок сядем, и — каюк.

По счастью, мель оказалась неширокой, и баржа, шедшая с пароходом «под ручку», остановилась на глубине. Вся пароходная команда, за исключением капитана и машиниста, перебралась на баржу. Нагруженная до отказа, подталкиваемая течением, она сволокла пароходик собственной тяжестью.

Селезнев вызвал капитана в каюту и, глядя в упор в его водянистые глаза, сурово сказал:

— Мы больше никогда не сядем на мель. Понял?

Разумеется, капитан был очень понятливым человеком. Но все-таки вместо четырех часов ночи они пришли в Орехово к девяти часам утра.

---

[1] Имеются в виду отряды, состоящие из деклассированных элементов.

Измученный бессоньем, Селезнев едва стоял рядом с Усовым на капитанском мостике. Боясь уснуть, он заставлял себя изучать то неясные очертания далеких сопок, то прибрежные зеленеющие холмы, то притулившиеся к ним разбросанные избы станицы. Они все тонули в молодых вербовых зарослях. Весенний клейкий лист играл на солнце, как олово. Из кустов возле телеграфа вился кверху белесоватый, смешанный с паром дымок. Казалось, что вместе с ним тянется оттуда жирный запах сомовьей ухи. В ту весну по Уссури то и дело сплывали книзу безвестные трупы, и от них сомы жирели, как никогда.

Наконец пароход причалил, и Селезнев пошел на телеграф. За ним на почтительном расстоянии шагал «писучий человек» с тощей порыжевшей папкой под мышкой. Кстати сказать, в ней не имелось ни одной бумажки, и вряд ли она вообще была для чего-нибудь нужна. «Писучий человек» переоделся в ватные шаровары и просторную солдатскую гимнастерку. Ему пришлось подвернуть рукава, а похожая на блин фуражка покоилась не столько на его голове, сколько на ушах. Тем не менее он чувствовал всю важность и ответственность своего положения.

В конторе Селезневу передали телеграмму Соболя. Она удивила его и заставила насторожиться.

— Чудасия, — сказал он «писучему человеку», — кажись, мы ничего не делаем без приказу. Что-нибудь тут неспроста.

Около кустов, из которых тянулся заманчивый кухонный дымок, их остановил полный человек в коричневом пиджаке и жесткой соломенной шляпе.

— Товарищ Селезнев, здравствуйте! — сказал он с виноватой, несколько заискивающей улыбкой.

Селезнев узнал председателя партийного района, в котором он состоял во Владивостоке.

— Здоро́во. Ты как сюда попал?

— Да вот... попал... — неопределенно пробормотал тот.

— Что делаешь?

— Да ничего. Так вот —туда, сюда. Неразбериха.

— Будет врать-то, — раздался из кустов хриплый насмешливый голос. — Скажи: младший гарнизонный повар. Потому, мол, ни к чему другому способностей не оказал.

Селезнев посмотрел на руки председателя района и

заметил, что его пальцы порезаны и желты от картофеля.

— Что ж, и это дело,— сказал он, зевая.

Председатель покраснел и спрятал руки в карман.

— Товарищ Селезнев, — начал он, нервно мигая глазами, — не перевезете ли вы меня... за Амур?

— Разрешение есть?

— Разрешения нет, но... что ж я тут... верчусь — так, зря?..

«А ведь казался хорошим партийцем...» — в недоумении подумал Селезнев.

— Без разрешения не перевезу, — сказал он сухо.

— Товарищ Селезнев... — В дрожащем голосе председателя послышались умоляющие нотки. — Я вас прошу... в память нашей совместной работы... Я... измучился, я не могу больше работать здесь.

— Слушай, брось ныть, — устало перебил Селезнев. — Я не возьму без приказу. Прощай.

Он круто повернулся и пошел к пароходу. «Писучий человек» с любопытством наблюдал за обоими.

— Не берет, — сказал председатель со смущенной улыбкой.

Губы «писучего человека» задрожали мелкой смешливой дрожью, но он удержался от смеха. Кинув на председателя истинно комиссарский взгляд, он небрежно произнес:

— Подайте заявление и анкету в двух экземплярах. А впрочем, я вам не советую ехать. На нашем пароходе оч-чень опасно.

Комендантская команда грузила динамит. Из продолговатых ящиков тянулся легкий дурманящий запах, от которого кружилась голова. Несмотря на усталость, Селезнев присоединился к работе. Глядя на него, примкнули и матросы, хотя погрузка не входила в их обязанности.

Потом, лежа в каюте, Селезнев думал о странной телеграмме с фронта, и, даже когда совсем засыпал, ему казалось, что неугомонная пароходная машина выстукивает те же слова: *«Никаких... частей... не грузите...»*

VI

Он проснулся оттого, что кто-то настойчиво тормошил его за плечо.

— Товарищ комендант! Товарищ комендант!

Он вскочил на ноги и протер глаза.

Перед ним стоял «писучий человек» с беспокойным, несколько растерянным выражением лица.

— В Аргунской стоит какая-то часть...

Селезнев надел фуражку и стремительно побежал наверх.

Извиваясь меж холмов, стлалась вниз сверкающей лентой река. Впереди, на голом безлесном мысике, лепилась маленькая станичка, необычно кишевшая народом. Вся комендантская команда высыпала на палубу. Многие, чтоб лучше видеть, забрались на снарядные ящики, не уместившиеся в баржевом трюме и аккуратно уложенные наверху.

Селезнев посмотрел в бинокль и без труда различил на людях вооружение и походную амуницию. Он сразу почувствовал какую-то связь между ней и полученной им вчера телеграммой.

— Товарищ Усов,— сказал он, быстро оборачиваясь к капитану,— на этот раз мы не зайдем в Аргунскую.

— Нельзя не зайти: дрова на исходе.

Селезнев послал Назарова проверить. Дров действительно оказалось мало. Он знал, что на всем остальном пути их негде будет достать, а следовательно, вопрос решался сам собою.

— Команда... в ружье! — крикнул он жестким, отвердевшим голосом. — Пулеметчики, на места! Живо!

Не глядя на побледневшее лицо капитана, он перешел на баржу и, отозвав Назарова в сторону, велел занять ему место у сходен.

— Как сходни перебросим, ухо держи востро. Никого не пущай. Полезут силой — стреляй.

— Кныш, иди-ка сюда, — позвал он «хозяйственного человека». — Сегодня тебе будет большая работа. Ты, говорят, мастер заговаривать зубы. Как только причалим, слезай на берег и начинай тереться промеж братвы. Разговор заводи посурьезней: что-де, мол, пароходишко-то чуть жив, того и гляди на дно пойдет, в протоке, мол, обстреливают каждый раз из орудий, прошлый раз, мол, сорок человек из строя выбыло... Да что тебя учить — сам грамотный! Одним словом, прикинься хорошим дружком, а сам пугай.

Кныш тотчас же выразил свое согласие, как соглашался и раньше на все, что ему предлагали.

— Только смотри, — предупредил Селезнев, — если какая дурь взбредет в голову...

Тут он выразительно хлопнул по карману с револь-

вером, и его лицо приняло черствое, почти жестокое выражение.

— Не взбре-дет, — засмеялся Кныш, — дело знакомое.

Пароход подходил все ближе и ближе, но на берегу не чувствовалось никакого волнения. Теперь простым глазом можно было различить в толпе не только оружие, но даже выражение лиц. Они смотрели с любопытством и ожиданием, но без всякой враждебности.

Пароход медленно повернулся против течения почти у самого берега.

— Отдай якорь! — хриплым, не своим голосом скомандовал Усов.

— Здорово, ребя-аты! С приездом! — кричали на берегу.

Селезнев снял фуражку, помахал ею в виде приветствия. Выражение его лица было приветливо и беззаботно.

Покачиваясь на собственных волнах, пароход подошел к пристаньке. Тотчас же двое ребят соскочили на берег и закрепили концы. Чьи-то сильные загорелые руки перебросили сходни, и по ним врезалась в толпу частая матросская цепь. Двое с винтовками впереди расчищали дорогу к дровяным штабелям, а за ними несколько смущенно и неуверенно тянулись остальные.

Впрочем, никто не оказал им никакого сопротивления.

Стоявший наготове Кныш незаметно юркнул в толпу.

— Что за часть? — спросил Селезнев, спускаясь на берег.

— Мы семенчуковцы... — раздалось несколько голосов.

— Слыхал, слыхал... Молодцы, — похвалил Селезнев, — боевых сразу видно...

Широкоплечий скуластый мужчина в тигровой тужурке выдвинулся из толпы и подошел к нему.

— Я командир отряда, — сказал он, протягивая руку.

— А я комендант парохода, — отрекомендовался Селезнев.

«Ну и ряшка», — беспокойно подумал он, изучая наклонившееся к нему лицо.

— Мне тебя и надобно, — продолжал Семенчук, — насчет нашей погрузки.

— Идем на пароход.

Когда они проходили мимо окаменевшего у сходен Назарова, Селезнев пропустил Семенчука вперед и, незаметно тронув взводного за рукав, шепнул:

— Пошли одного парня к моей каюте. Пущай станет у дверей и ждет, пока позову.

Он с удовлетворением отметил, что погрузка дров идет полным ходом, и, подхватив Семенчука под руку, вместе с ним спустился в каюту. «Главный выигрыш — время», — подумал он, шагая по шатким ступенькам.

На берегу мирно дымились бивачные костры. Кныш быстро втерся в одну из компаний, отыскивая земляков.

— Так, так, — говорил он, хитро прищуривая глаза. — Амурцы, значит? Стало быть, землячки?.. Так, так... Каких уездов?

Оказалось, что тут имеются люди со всех концов Амурской области. Кныш знал ее вдоль и поперек и, таким образом, с первых же слов обнаружил себя вполне своим человеком.

— И давно вас сюда передвинули?

— Сами пришли. Нешто кто передвинет? Ка-ак же!.. Держи карман шире... Тута все продано до последнего человека... Ежели командующий золотопогонник, какая тут война?..

— Это верно, — согласился Кныш. — Нашего брата везде надуют... Это уж как было, так и останется. Землю пашем мы, а хлеб кушает дядя... Куда же вы теперь?

— Домой.

— Та-ак...

Кныш подбросил в огонь несколько щепок и с видом человека, который говорит истинную правду, но в общем не заинтересован в том, как ее примут, спокойно произнес:

— Только домой вам не попасть, вот.

— Чего так?

— А за Амуром, братишка, такой порядок: приезжает человек — к нему сейчас же начальство: «Ваш пропуск?» Пропуска нет — чик... и готово... в Могилевскую губернию. Это, брат, там моментом.

— Расска-азывай! — недоверчиво протянул кто-то. — Нас целый отряд, а не то што какой один...

— Что ж, что отряд?.. Вот прошлым рельсом тоже перевезли один батальон. Нам, натурально, все едино, а у его приказу не было. Так за Амуром сейчас же орудия, пулеметы... Наставили: чик-чик-чик... — Кныш выразительно повращал белками и, безнадежно сплюнув в сторону, добавил: — Под чистую.

Его слова действовали самым убийственным образом, но он и привык работать наверняка. Умение провоцировать входило составной частью в его многообразную профессию. Он обходил кучку за кучкой, то выпрашивал табачку, то отыскивал двоюродного брата и всюду рассказывал о том, как «прошлым рельсом» они отбивались от японцев в протоке ручными гранатами, или о том, что стоять в Аргунской тоже далеко не безопасно.

— Вот дня четыре тому назад... японская канонерка версты на три досюда не дошла. А мы от их всякий раз бегаем: служба такая...

В каюте Селезнев потребовал от Семенчука приказ о погрузке.

— Видишь, какое дело, — ответил Семенчук, — отправили нас срочно и писаного приказа не дали. Командующий на словах передал. «Идите, — говорит, — там погрузят».

Он хитро мигал глазами и крякал после каждого слова.

— Как же мне быть? — нерешительно мямлил Селезнев. — Ну, ты сам командир, понимаешь, в чем тут загвоздка?.. Ну как бы ты сам поступил?

— Да ясное дело как! — воскликнул Семенчук. — Оммануть я, чай, не стану. Тут дело верное.

— Давай лучше вызовем к прямому проводу штаб, — предложил Селезнев.

— Телеграф не работает, я уже пробовал, — соврал Семенчук. — Да ты что, не веришь, что ли?

Теперь Селезнев не сомневался, о ком говорила полученная им телеграмма. Ждать дальше не имело никакого смысла. Как бы в раздумье он прошелся по каюте и, поравнявшись с дверью, выхватил из кармана браунинг.

— Не шематись! — крикнул тугим и звонким, как натянутый трос, голосом. — Руки на стол! Ну-у! Поговорим по-настоящему.

— Ты что? — прохрипел Семенчук, бледнея. — Ты что!.. Ах ты с...

— Цыть! — оборвал Селезнев с мрачной угрозой. — Только пикни! Дыр наделаю — не сосчитаешь! Эй, кто там? Сюда иди!

Стоявший у дверей народоармеец ворвался в каюту.

— Обезоружить!

В несколько секунд Семенчук лишился всех знаков своего командирского звания.

— Вот теперь погрузился и сиди, — мрачно пошутил Селезнев. — Все равно, где расстреляют: здесь или за Амуром.

Он вышел из каюты и запер Семенчука на ключ.

— Иди на берег, — сказал народоармейцу, — и позови Кныша. Скажи, мол, комендант и Семенчук зовут узнать насчет продуктов. Да пошли ко мне Назарова!

Он еще не знал точно, что ему делать в дальнейшем, но первая позиция была занята почти без боя.

— Назарыч! — сказал он, когда взводный спустился вниз. — Всю команду незаметно разложи по борту. Усову скажи, пущай приготовится. Как кончат грузить дрова, скажешь мне, а кого другого пошли отдать концы. Если спросят на берегу, зачем отвязывает, пущай скажет, что грузить, мол, вас будем у второго причала, выше...

«Может, выйдет, а может, и нет», —подумал он, провожая взводного глазами. Во всяком случае, ему самому не следовало вылезать наверх без Семенчука.

Минут через пятнадцать пришел Кныш.

— Ну, как там? Что говорят?

— Да что, товарищ комендант, народ серый...— Кныш презрительно почесал за ухом.— Я им наговорил страстей — до будущего года хватит. Придет, говорят, Семенчук, будем митинговать. Только злы они — это верно.

— Ладно. Больше на берег не ходи. Ступай.

Когда Селезневу сообщили, что погрузка окончена, он не пришел еще к ясному решению. Туго перетянув пояс и надвинув фуражку на лоб, взбежал на палубу и, пригибаясь к доскам, почти ползком перебрался на баржу. Нудно скрипела ржавая цепь, и где-то внутри медленно стучала машина, подталкивая судно навстречу якорю.

Весь Семенчуковский отряд сгрудился у второго причала. Бесформенная, обезглавленная масса зловеще чернела на светло-зеленом фоне берега, но Селезнев чувствовал всем своим нутром, что она сплошь состоит из усталых, растерянных и обманутых людей.

Лежа между снарядными ящиками, он слышал, как пароходные лопасти со звоном раскалывали воду, и думал, как поступить. Он мог бы просто миновать второй причал, дав судну полный ход. Но тогда люди на берегу почуют измену и откроют стрельбу. Он не имел права идти на такой риск, чувствуя под ногами семьдесят пудов динамита. Одной пули в трюм было бы достаточ-

но, чтобы от гнилой посудины не осталось и следа. Значит...

Лицо Селезнева стало коричневым и жестким, как ржавое железо. Он медленно повернул голову и тихим, оледеневшим голосом бросил припавшим к борту людям слова, простые и безжалостные, как камни:

— Взвод, слушай... мою команду... Пулеметчики, приготовься... По Се-мен-чу-ковскому... отря-аду... постоянный прицел... Взво-оод!

С берега доносился разноголосый человеческий гомон, и жутко и ровно стучала машина, как настороженное сердце зверя.

— Пли!

В первое мгновенье никто на берегу не понял, что это смерть. Но залп следовал за залпом. Тогда, бросая винтовки, скатки, патронташи, сумки — все, что мешало бежать,— сгибаясь к земле, люди ринулись прочь от берега. Они падали в траву безжизненными кулями мяса, не издав предсмертного стона, а раненые впивались в землю костенеющими от страха пальцами.

— Вверх стрелять! — кричал Селезнев.— Довольно по людям! Усов, давай полный!

Пароходик рванулся книзу и, кутаясь клубами дыма, разбрасывая в стороны белые пласты кипучей холодной пены, помчался прочь от Аргунской.

VII

Челноков прибыл на станцию Вяземскую поздней ночью. Матросский батальон ждал его на перроне в полном боевом снаряжении. Батальоном командовал рослый сивоусый матрос с миноносца «Гроза». От него Челноков узнал историю похода матросских батальонов из Владивостока на Иман.

Когда японцы врасплох напали на владивостокский гарнизон, доблестные моряки под перекрестным пулеметным огнем высадились с миноносцев на берег и, преодолев восемь рядов проволочных заграждений, вырвались в тайгу. Окольными тропами, продираясь сквозь валежник и чащу, они в двенадцать суток сделали около пятисот километров и утром вошли в город Иман усталые и загоревшие, с песней:

По морям, морям, морям,
Нынче — здесь, а завтра — там...

На рассвете батальон под командованием Челнокова выступил в направлении станицы Аргунской. Две ночи

батальон провел в тайге. На третьи сутки высланная Челноковым разведка сообщила, что Аргунская близко и что Амгуньский полк еще находится в станице.

— Что-то, товарищ комиссар, неладно у них,—сказал разведчик, отирая рукавом пот и улыбаясь.— Баба в крайней избе говорит, будто приходил пароход и командира увез у них... Большая, говорит, стрельба была, есть убитые и раненые...

— А часовые у них расставлены? — удивленно приподняв брови, спросил Челноков.

— С этого краю часовых нет...

Оставив батальон в лесу, Челноков с двумя разведчиками взобрался на сопку. Станица Аргунская лежала снизу в вербовых зарослях. Далеко видна была извивающаяся лента реки, отливавшая серебром и весенней синью.

Посреди станицы, у церкви, виднелась большая толпа вооруженных людей. Семенчуковский отряд митинговал.

Люди, лиц которых нельзя было разобрать, сменяя один другого, взбегали на паперть, игрушечно размахивали руками. Иногда до Челнокова докатывался гул голосов.

Коренастый человек, сильно прихрамывая, взошел по ступенькам. По его фигуре и хромоте Челноков узнал в нем командира первой роты Буланова, бывшего пастуха. Буланов постоял на паперти, потом поднял руку, и тотчас же лес рук вырос над толпой. До Челнокова чуть долетел голос команды. Толпа закипела и распалась— Семенчуковский отряд начал строиться.

— Ну вот что, ребята,—дрогнувшим голосом сказал Челноков,— бегите к командиру, скажите, чтобы строил батальон в колонны и шел к церкви, а я сейчас к своим пойду...

И, к величайшему удивлению разведчиков, он побежал с сопки в станицу.

Пробежав переулком, у выхода на площадь Челноков замедлил шаг и спокойно, твердой походкой направился к шеренге.

В тот момент, когда он вышел на площадь, шеренга рассчитывалась на двое:

— Первый... Второй... Первый... Второй...

Но в этот же момент вся шеренга увидела Челнокова — счет перепутался, шеренга дрогнула и замерла.

Командир первой роты Буланов удивленно обернулся и застыл.

Челноков медленно подошел к нему.

— Товарищ комиссар! — неожиданно взвизгнул Буланов.— Мы...

Вдруг рябое лицо его исказилось, он схватился руками за голову и заплакал.

Челноков некоторое время сурово смотрел на него. Было так тихо, что слышна стала возня голубей на колокольне.

— Товарищи! — обернувшись к шеренге, спокойно сказал Челноков.— На ком остановился счет? Продолжайте...

Несколько секунд еще стояла тишина, потом кто-то сказал почти шепотом:

— Первый...

— Второй...— хрипло отозвался сосед.

— Первый...— смущенно откликнулся третий.

— Второй...— уже более уверенно подхватил четвертый.

— Первый... Второй... Первый... Второй...

По главной улице, вздымая клубы пыли, мерно шагал матросский батальон на соединение с Амгуньским полком.

1923—1934

ВСЕВОЛОД ВИШНЕВСКИЙ

ГИБЕЛЬ КРОНШТАДТСКОГО ПОЛКА

Рассказ

Ходили слухи, что их было тысяча, две, три. Но определенно не знали, сколько же их было.

Я знаю, что их было тысяча восемьсот восемьдесят пять. И все они как один, похожие друг на друга, как прибрежные балтийские сосны. Великолепным шагом прошли они Якорную площадь Кронштадта и, бросив прощальный взгляд на гавань, ушли на сухопутный далекий фронт. В бумагах красавцев значилось: *«Военный моряк Первого морского Кронштадтского полка».*

17 декабря 1918 года... Полк стоит под селом Кузнецовским, на Урале. Ночью пошли белые сибирцы на матросов. Юз стучит: *«Противник силой до шести тысяч штыков начал наступление на участке кронштадтцев...»*

— Го-го, Марфуша, ставь самовар, гости едут!

— Гады сибирские, спать не дадут...

— Искромсаем!

— Стукнем!

Цепь в снегу... Идет передача:

— Прицел постоянный. Без приказа не стрелять...

Так. Подпускать, значит, в упор. А ночь лунная — удобная для этого. Ведь на снегу все видно.

Идут сибирцы. Смотрят матросы:

— В рай торопятся...

— Хорошо идут, ей-богу!

Пулеметчики спешно докуривают, потом некогда будет: предстоит бой, а то еще и убьют.

Табаку мало, второй номер просит:

— Оставь двадцать, а?

Потянул. Третий просит:

— Заявка на сорок...

Пососал третий, пальцы цигарка обжигает, держать нельзя, но мы народ хитрый: подденем ее на острую спичечку — и ко рту, вот на пару затяжек и хватит. На все, друг, соображение надо.

Комиссар подбадривает:

— Держись за землю, братки. Корешки пускай в нее, расти, как дерево.

Идут сибирцы...

— А ну, сыграть им, а?

— Стоп! Без торопливых. А то еще залягут...

У гангутских подначка идет:

— Мишечка, может, вам надо для безопасности партийный билет на сохранение сдать?

Мишечка глазом косит:

— Ты от себя или от хозяина треплешься?

— Мишечка, странный вопрос. Хозяев ликвидировали. (И сразу голос изменился.) А чалдоны-то близко... Во! Гляди, Миша!

— Вижу...

Сибирцы подходят: цепями, вперебежку. Интервалы по фронту — три шага. Примолкли все. Тихо. Тут у одного зубы застучали. Слышно, как снег скрипит. Командиры матросские — старые, бывалые — ловят глазом, чуют нутром: опередить сибирцев надо, ожечь их прежде, чем «ура» начнут. С «ура» легче идти, а если их раньше стегануть — труднее им наступать будет.

Братки лежат, левыми локтями под собой ямки буравят. Кто понервнее — курок поставит, чтобы не дернуть раньше других. Полковой пес, взятый с крейсера, стал поскуливать. Цыкнули — умолк. Пулеметчикам из резерва горячие чайники летом тащат: кожухи пулеметов прогреть надо. И вот — с фланга:

— По противнику! Постоянный! Пальба рот-той!

Старый унтер голос дал — что в тринадцатом году на плацу у Исаакия:

— Рот-та!

Подождем... На выдержку берет...

— Пли!

Эх, плеснули! Ох, капнули! С елей снег посыпался...

А пулеметчики ждут. Свои «максимы» белолобые прячут. А ну, иди ближе, Колчак! Мы тебе захождение сыграем.

Загудели сибирцы: «Ура-а-а!» Жидковато.

— Огонь!

Бьют матросы с рассеиванием.

— Шире рот разевай, лови!

Окапываются сибирцы...

— Хлебнули!

— Куда лезете, здесь для некурящих!..

Тихо...

Время шло. Девять атак было.

Двое суток сибирцы окружали полк, теснили его. Полк подался и занял кольцевую позицию... Окружен... К концу вторых суток, девятнадцатого декабря, в десятую атаку готовились сибирцы. Шрапнелью поливать начали.

Покрикивают в цепи братки:

— Санита-а-ры...

— Носилки...

Ответ дают:

— В цепи санитары все...

Шестая рота по семь патронов на человека имеет. Когда ты в кольце — это небогато. И вдруг:

— А ну, кто за патронами?

Вскинулись... Кто кричал?

Васька отвечает:

— Есть патроны! Кто со мной? Идем с убитых снимать...

И на белых показывает. А их на снегу, шагах в двухстах, не обери-бери.

— Поди, поди-и, тебе жару дадут. На тебя запас там есть...

Вася говорит:

— Мишечка, вы, конечно, с Тулы вагон патронов себе затребовали, и вам нет заботы, и вам этот вагон два паровоза экстренно везут.

Мишечка лежит, молчит.

— Или, Мишечка, вы разговаривать не желаете? Слабó идти, а?

Молчит Мишечка. Встал, подошел к нему Вася. С ним еще четверо. А Миша лежит, не движется. Политрук говорит:

— Ну, за Мишку никогда не думал худо, а тут не пошел...

— Коммунар!

А Мишечка лежит в цепи тихий, неразговорчивый. Тяжко ранен он.

В цепи обсуждают:

— До подъема флага продержимся?

— Нет.

— Сомнут...

— Говорят, выручка идет...

— Эх, обнял бы я на прощание какую-нибудь старушку лет семнадцати...

Вася ползет по снегу. Дотащился. Лежит один бородатый солдат на животе, рука в сторону откинута. Ко-

лечко алюминиевое поблескивает. Голова набок. И слезы замерзшие. Вася с ним в разговор:

— Эх, дура-борода. Ведь взрослый парень, а туда же.

Мурлычет Вася между делом:

— Спи, дитя мое родное, бог твой сон храни...

Патроны с мертвеца снимает, приговаривает:

— Колчак чай внакладку пьет. А ты, мертвый, на холоде зябнешь (пересчитывает патроны). Один, два, три, десять — и то хлеб... Дело твое кончено, а нам, может, еще целый день жить.

И дальше пополз матрос. Набрали все-таки кое-каких патронов. Опять шрапнель лопается. Потом затихло. Пули свистят беспрерывно: «Пи-у, пи-у...»

— Вон она, пуля, за молоком пошла.

Двинули сибирцы. Заходили пулеметы.

Раненые второй роты сидят и лежат в яме.

— Опять пошли...

— Может, выручка придет?

— Воды бы...

С жару, с лихорадки раненые снег едят...

— Товарищи, воды бы... Глоток хошь... О-ох...

Стонут недобитые братки. Руки себе искусали. Один пополз воды просить в лощинку, где снег для пулеметов топят.

— Дай глотнуть.

— На, только немного, костер тухнет, а пулеметы стынут.

Рядом ели в обхват, а в костер класть уже нечего. Что было сучьев — поломали, порубили, пожгли...

— Мне бы котелочек... для раненых.

— Не выйдет, браток...

Пулеметчики примчались:

— Воду давай!

— Тут раненые просят...

— А нам как же, чего в пулеметы лить?

Поглядел раненый на пулеметчиков и сказал:

— Берите воду, братки. Полку атаку отбивать надо. Потерпим...

И снова едят раненые снег и тихо стонут:

— Испить бы...

Рядом комиссар лежит. Бок у него разворочен, кровью истекает, бойцов уговаривает:

— Потерпим, друзья, потерпим.

И захлебнулся кровью комиссар.

Отбили атаку последними патронами матросы.

За полночь перевалило. В пятой роте покуривают, идет тихий разговор:

— Всыпались вроде, а?

— Похоже...

— Выручка идет, бригада целая.

— Языком треплешь.

Командир и двое уцелевших коммунистов из ячейки обсуждают:

— Был полк, и должен быть полк как полк.

— Ударить на них разом. Может, прорвемся?

— Нечем уже ударять. По двадцать человек в роте осталось.

— Что же делать-то?

— Принять гранатами, а потом на руку. Кто-нибудь ранеными займется.

В ротах готовятся. Граната дистанционного действия — «лимонка». Взяли гранату в правую руку, левой сорвали свободный конец ленты с головки запала.

— Запоминай, товарищ, правила изготовки к бою: правой рукой чиркай о дощечку, как спичку. Огонь пройдет по внутреннему бикфордову шнуру к капсюлю. Размахивайся и сразу бросай. А у кого гранаты «Г-один» — проверь тоже. Бери гранату в правую руку. Левой снимай предохранительный колпачок, ударяй правой рукой гранату раз или два по ладони. (Ну как бутылку водки. Эх, пополоскать бы зубки под конец жизни!) Жало ударит капсюль, он воспламенится, огонь пойдет по бикфордову шнуру к заряду. Через пять секунд взрыв. Бросай...

— Всё в порядке?

— Всё.

Ваську вызвали к ротному в ячейку. Идет, нашептывает сам себе: «Полный, малый... стоп...»

— В чем дело?

— Где гармонь?

— Лежит в порядке. А что?

— «Вставай, проклятьем заклейменный...» знаешь?

— Нет... Я больше романсы и танцы знаю...

— Чудак ты, почему не научился?

— Вот пусть белые подождут — научусь, пожжалста...

— Говори толком, что играешь-то?

— «На сопках» знаю, «Падеспань», «Краковяк», «Песню кочегара»...

— Толком бы чего-нибудь.

— А вот «Варяга».

— Дак это старое...
— Зато флотское. А для чего именно нужно?
— Будешь сейчас в цепи играть.
— Ай, здорово! А там и выручка подойдет...
Пошли. Вася саратовскую гармонь вынул. Взял с переборами:
— «Ай, ой, иху-аху, аха-ха!»
В цепи:
— Вот чудило! Молодец!
— Дай, дай, Вася!
— Вот прилажусь...
Три гранаты приготовил, ямку удобную в снегу устроил.
Представился:
— Рота моя, слушай меня... Сеанс начинается. Любимец публики с крейсера «Россия», кавалер кронштадтских дам, машинист самостоятельного управления — Васечка Демин.
Матросы заулыбались:
— Вот зараза!
Донеслись возгласы белых:
— Наступа-а-й!
И опять пошли сибирцы. Потарахтели два пулемета, и кончились патроны у матросов. Только гармонь играет...
Идут сибирцы. Скрип по снегу. Опять залегли, а братки гудят:
— А-а-а...
— Что, сапоги жмут?
Командир кричит братве:
— Держись, карапузики! Выручка будет!
Ни черта, товарищи, не будет. Только разговор для подъема духа делается. Понимают это ребята. Сибирцы опять пошли. Матросы за гранаты взялись...
— Товарищи, держись кучнее, корму не показывать!
А Васечка опять треплется:
— Первым номером исполнена будет популярно-морская мелодия «Варяг». Три-четыре...

> Наверх вы, товарищи, все по местам!
> Последний парад наступа-а-ет.
> Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
> Пощады никто не жела-а-ет...

Но что же делать, что Васечка подходящего не знает? Вы его простите.

> ...Все вымпелы вьются, и цепи гремят...
> Наверх якоря поднимают...

«Варяг» послужил полку,— разное бывает...
Крикнул командир:
— А ну, к гранатам!
Один — тот самый, из ячейки,— подбежал к яме с ранеными.
Раз... Два... Три... Одну, другую, третью гранату пустил. Рр-аах-ах-ах!.. По своим, по раненым! Ну ясно — а что же делать? Оставить их колчаковцам, чтобы кишки на шомпол наматывали? Брысь вы, жалостливые!
Вернулся товарищ в цепь. В цепи уже все в рост стоят, в руках гранаты. Васечка играет «Варяга»...
Кричат белые:
— Сдавайтесь!
Ответ из полка дают:
— Тппрру...
— Сад-дись!
— А ну, дернули!
Полетели гранаты. Искры сыплются — фосфор у «лимонок» горит.
Сибирцы шарахнулись — кто назад, кто вперед. Не любят они этого дела.

Мертвый лежит Первый Кронштадтский полк.
Лежит у села Кузнецовского. Знаю только двух живых из полка — вырвались: Емельянов и Степанов...
Товарищи крестьяне села Кузнецовского, сложите груду камней у могилы павших — в память полка.
В Кронштадт с Восточного фронта пришло сообщение об исключении из списков Первого морского Кронштадтского полка.
В гавани кронштадтской — траур на кораблях.
— На флаг смирно!
— Флаги приспустить!
До половины вниз сбежали флаги. Стоят смирно матросы на палубах. Тихо падает снег. Траур.
Стоят минуту, ходят годы...
«Ай, ой, иху-аху, аха-ха!» Пошел из Кронштадта Второй полк. Смотри, Колчак! Моря нам не видать, если тебя не разгрохаем...
А Первый Кронштадтский полк лежит и лежит — мертвый, у села Кузнецовского.
Сибирцы бродят, смотрят, смотрят на матросов, удивляются:
— Вот народ!
— И чего они такие?

— Меченые...

На руках матросов действительно синеют якоря.

Шарят сибирцы, обирают трупы. У одного портсигар пустой нашли, у другого — наган без патронов, у третьего газету вытащили.

— Дай-ка газетку, покурим...

А полуротный тут как тут:

— Дай сюда газету!

— На раскурку разрешите оставить, господин прапорщик.

— Давай, не разговаривай!

Сует солдат газету полуротному:

— Виноват...

Разве можно нижним чинам сибирской армии держать в руках «Красную газету»?

1930

БРОНЕПОЕЗД «СПАРТАК»

Рассказ

— Встать!

— Вста-ать!

И бойцы, повстанцы Украины, встают. Они встают медленно и грузно... В походах прилип чернозем Украины к ногам бойцов. Ноги натружены, огромны и тяжелы. Как ими идти, как ими ступать по степям Таврии?..

— Вста-ать!

Встань и ты, если наш. Встань и слушай повелительный возглас, вскаляющий кровь,— возглас, следующий по уставу, блюдимому нами,— «Встать!»

А если ты не наш, если ты враг,— присутствуй здесь и гляди на то, что произойдет. Гляди, недострелянный! Гляди, пока жив! И слушай, слушай!

Бойцы, повстанцы Украины, встали. И за возгласом «Встать!» по степи Таврической лег клич:

— Вперед!

— Вперьод!

Вперед, хлопцы! Вперед, товарищи! С нами! Мы идем в атаку на ходу. Шире шаг! Пошли!.. Идем сегодня снова!

А ты, комсомолец? Идем, браток. Ты много увидишь и поймешь сегодня...

По степи Таврической — тяжелая поступь бойцов. Нет еще встречных пуль, но сердце бьется неровно. Что будет сегодня, что будет сегодня?

Город молчит... Море молчит... Небо молчит... Только степь гудит... Наши глотки гудят... В твою славу, за твою жизнь, Украина,— и пусть! — гудят перед нашей смертью!

Город заговорил:

— Дывись, Яким Хрущ упал.

— Хто там коло ранетых, остановывсь? А ну, вперьод!

— Дывись, Трохим Коцура упал.

— Вбыт. А ну, ходом!

Дивись, Украина! Дивись! Партизаны идут, не идут — летом рвут. Ах, пули бьют, бьют... По наше мясо плачут, кричат. Чуешь, Украина? Чуешь, мати?!

В цепи и матросы, бригаде в помощь данные, летят. Ходом! Ходом!

Жарко бежать в атаке, тяжело бежать. Двести патронов на теле, и каждый патрон более пяти золотников.

Пули бьют, бьют... Глухим бы сделаться. А ну, не робеть! Швидче! Кто там в землю лезет?..

— Партизани! Товариство! А ну, разом, а ну, визьмем! Вперьод!

И, наискось держа винтовки затворами у глаз — хоть одна бойцу от пули защита! — кидаются партизаны к первым домам. За вильну Украину!

Опалены вражьими выстрелами брови и ресницы, и опять падают повстанцы. Умирающие дышат кислым запахом бездымного пороха. Залегли все. Сливают кровь раненые, и идет от нее пар.

Примолк город. Белые держатся.

И когда примолк,— еще раз рев по его стенам шарахнул:

— Виддай Марыуполь!

Братки хрипят:

— А ну, дай море!

От бега тяжелых ног задрожал город.

— Отдай!

— Видда-а-ай!..

Третья бригада повстанцев вошла в Мариуполь. Белых — в пыль. Штаб бригады быстро и победно дал телеграмму: *«Мариуполь занят»*. И дальше стучат юзы...

Что будет сегодня? Что будет сегодня?

И в тот же день, следом за атакой, паровоз по рельсам прыгает, мотается, семьдесят верст в час идет, ветер свистит,— рот и нос забивает. Стук на стыках, как пулеметный,— в одно сливается. Рви, ай, рви!

К Азовскому морю три матроса летят в Третью бригаду, чтоб обстановку узнать. Машинист из окошка руку свесил, на руке стальная цепь-браслет — знак силы и верности. Машинист свой — с эскадренного миноносца Черноморского флота «Гневный».

Приазовская степь. Таврия. Морем пахнет. Чуют матросы, ох чуют, не ошибутся! Море вновь увидят, на море глаз положат! Дай море, дай!

Дыханье азовское флотские ленточки вьет, распластаны они по ветру. На тендере матросы, на каменном угле открыто стоят, качаются, грудями воздух секут. Рви, ай, рви!

Едут матросы на дело, о судьбе голов своих про себя думают... А ветер бьет, хлещет. Камышом, тиной, рыбой, солью пахнет. Рви, машинист, прибавь там ходу,— эй!

— Под откосом будем!

— Фактец — буде-ем. Прибавь!

— Есть прибавить!

Смех, ой смех с такого дела! С такого хода рельсы разболтать на этой ветке можно. Петрушка выйдет. Но парни не в шалость ход прибавляют — парни о боевом приказе думают. Успеть надо.

— Который час?

— Одиннадцать.

Час имеем.

За Волновахой напрямую к морю вынеслись. Бушлаты поскидали, к топке кинулись. Лопаты звенят, уголь в расплавку идет, глядеть нельзя. Манометр «стоп» кричит, парни уголь в топку садят. Скорее, скорее! Именем морской бригады путь на Мариуполь для паровоза освобожден. Прямой провод работает, телеграфисты стучат, как только паровоз мимо станции прогрохает... Прошел... Прошел... Прошел...

Рви, прибавь еще! Осатанели матросы. Машинист на манометр глядит, кричит:

— Большой кошьмар выйдет!

Ничего не слышат матросы. За руку машинист их хватает, пальцем тычет — стрелка куда за красной чертой.

— Кошьмар выйдет!

— А... Чтоб ты понял — во!

На манометр бескозырку надели. И не видно, чего там стрелка беспокоится.

Парни, рви! Дело за дело идет. Свое мясо пожалеете — беда будет!

Влетели в Мариуполь...

— Который час?

— Одиннадцать часов тридцать пять минут.

Так! С ходу — «стоп» сделали, на землю спрыгнули. Двое матросов по-украински балакают, один — нижегородский.

— Где штаб?

— Ось там.

Летят — шаг в сажень. Часовые стоят, на их поясах рядами висят немецкие гранаты — деревянными ручками вниз. Матросы к часовым. Часовые глядят:

— Цеж вы видкиля?

— З Александровська...

— Так. А що ж вы з Александровська?

— Трэба.

— А що ж вам трэба?

— А ну, что я с тобой буду балачками заниматься! Кличь товарищей — начальство. Ну!

— А що же я буду клыкать, як воно и само идэ.

Щус подходит, матрос черноморский со «Свободной России», вторая голова повстанья. Венгерка на братке — ярко-синяя с золотом, фуражка — с ленточкой Георгиевской черноморской и шпалеруха «Стейер» в пол-аршина.

— Здоров.

— Товарищки дорогие! Гостэчки дорогие!

Не знает, как принять, как посадить.

Матросы о командире Третьей бригады спрашивают:

— Як батько?

— Батько живэ.

— Ну и добрэ.

Вежливость сначала. Теперь пора чуть-чуть и к делу:

— Щус, як воюетэ?

— Дякую, гадов бьемо, аж пыль лэтыть. Зараз бой хранцюзам даемо... У порту — эскадра...

«Мариуполь занят»... Но в порту французская эскадра. Не тороплива ли была телеграмма Третьей бригады?

Дальше разговор:

— Знаем. С того, друже, и летели сюда. Как там на эскадре?

— Ультиматум им с Красной Армией дали, шоб убырались к боговой матери.

— Так лихо им в рот!

— Порушимо. В двэнадцать годын по хранцюзам огонь откроемо з вашего бронепоезда, як з Марыуполя нэ повыкатяться. Вы тилько доглядайте за бронепоездом. Воны там аутономыю разводят... Бис их знае, що воны думають... Ескадры, мабуть, пугаются...

Бронепоезд «Спартак» — недавно сформирован — по портовой ветке пошел. Партизаны глядят:

— О, идэ!

Три товарища с паровоза идут на «Спартак» и дают пакет командиру бронепоезда. Три товарища летели с пакетом потому, что прямые провода во фронтовом районе — нам не гарантия.

В двенадцать часов, в полдень, истекает срок ультиматума, от имени Красной Армии предъявленного командованию французской эскадры: *«Красная Армия требует очистить Мариупольский порт. Красная Армия требует прекратить погрузку угля на французские суда. Уголь — достояние Украинской Советской Республики»*.

Ответ гласит: *«Французская республика. Правительству России в свое время были предоставлены Францией суммы, кои не возмещены, и принимаемый по необходимости военного времени уголь из запасов Мариупольского порта является компенсацией, получаемой Францией за означенные выше невозмещенные суммы, как упомянуто и как подчеркивается повторно, в свое время предоставленные ею правительству России. К сему командующий французской эскадрой.*

Рейд Мариупольский. 24 марта 1919 г.».

Ответ на ответ гласит: *«Суммы, упоминаемые командующим французской эскадрой, предоставлены были правительству царской России, но не правительству Советской Республики. И потому за этими суммами надлежит обращаться именно к тем, кто эти суммы получал. Напоминаем свое требование: в 12 часов сего числа французским судам надлежит сняться с якорей и покинуть Мариуполь»*.

Ответ гласит: *«Французская республика. Доводится до вашего сведения, что погрузка угля будет продолжаться. К сему командующий французской эскадрой»*.

«Спартак» стоит. Эскадра в порту. В бинокль видно — уголь грузят. А уголь донецкий, знаменитый. Угля

этого в Балтике ждут, угля этого заводские кочегарки Украины и России ждут!

В двенадцать часов будет решение дела. «Спартак» поступит согласно революционной необходимости. Пакет-приказ доставлен. Три товарища об этом просили, и обещала команда — выполнить.

Щус спросил:

— Ну як? Выполнят?

— Выполнят.

— Без аутономыи?

— Все будет в порядке.

На «Спартаке». Часы вынуты. Снаряды из гнезд погреба вынуты. На случай боя в городе, если будет французский десант, гранаты ручные вынуты. Пулеметные ленты из ящиков концами вынуты.

У носового орудия матросы стоят. На корабли Франции смотрят:

— Стоят гады!

Матросы и ругаются и любуются кораблями Франции, скользят глазом по бортам, мачтам и трубам... Фартовые корабли! Дадут залп — бож-же мой! — пропадешь... Мысли сразу являются на этот счет...

— Сколько осталось?

— Без восьми.

— Охо-хо!.. Фартовые корабли! А наши — потопленные в Новороссийске лежат... Ы-ых!..

Стоят французы один в один — миноносцы и транспорты. Горят, блестят — красота, помереть можно! Комендоры спартаковские тихо на скрещение нитей прицела саму красоту эту и блеск уже взяли. Взяли исподтишка. Приходится... Да, вот, хорошо, удобно брать прицел, когда у противника блестят корабли, когда спасательные круги белеют отчетливо, когда медь горит.

— Ну как?

— Без семи.

К бронепоезду Щус подходит:

— Здоровэньки булы, хлопцы!

— Здорово, Щус.

Поглядел. Видит — готовятся. Улыбается Щус — боевой, дьявол!

— Гарнэнько. Як там, товарищки, скильки осталось?

— Пьять минут.

— Поковиряемо! (Видит — лица боем не горят.) Хлопцы, вы не бойтэсь... Вы ще нэ бачили, яки ми бои на Украине приймали! Потроха хранцюзам пораскидаемо. Никому угля нэ дамо. Партизаньский уголь. Ми им нагрузимо!

— Щус, дай по банке!

— Могу усю команду угостыть. Тилько постарайтэсь.

Дернули по банке, кишки ожгли. Хорошо!

Балакают со Щусом, на часы поглядывают.

Партизаны берегом вперед выдвигаются — на эскадру цепью идут. Лихие хлопцы!

Петр Попов к прицелу орудия прилип. Минута осталась.

— Глаз выдавишь, Петро!

— Не бойсь.

Глядит Щус на эскадру. Оценивает. Сам моряк. Петру Попову командует:

— Наводь на полный!

— Есть!

Коротка минута. Поглядишь и дашь приказ — и истекла минута.

На часах двенадцать.

Полдень!

Полдень!

Корабли французские уголь грузят.

Полдень!

Даже не видно, чтобы на палубах кто-нибудь к концам вышел.

«Спартак» стоит, не дымит — кочегары дело знают в совершенстве. Тут за один дымок — с кораблей плевок, и ваших нет. Действуют поэтому кочегары как надо. Пропадать неохота. Из трубы только теплый воздух, а дыму нет. Уметь надо.

Щус командует:

— Хлопцы, а ну, вдарьтэ!

У-ух, считай остаток жизни, французский адмирал!

Щус — матрос черноморский, рука повстанья Украины — огонь с бронепоезда открывает, всей Антанте вызов бросая!

— Вдарьтэ, хлопцы!

Даже не шевелятся матросы.

— Огонь, кажу, хлопцы!

И не глядят матросы.

— Огонь, хлопчики! Партизаны ждуть!

И не глядят матросы.

— Що ж вы — нэ подчиняетэсь? А?

— Не кричи. Ша!

Помолчал Щус, и желчь в рот пошла.

— Измэна! Пострылять усих. Пьянии?

— Не кричи на ветру. Простудишься.

Щус командира бронепоезда в грудь бьет. Долой такого командира!

Щус командование берет на себя. Во имя повстанья! Во имя вольности Украины!

Щус другого в грудь бьет:

— Кацапы!

Попов от прицела отходит. Щусу нос на сторону сворачивает, сурик из этого носа пускает, за волосы держит, в ухо дает, в морду Щуса, как в бубен, бьет, о броняшку стукает и просит:

— Не авраль.

— А-а-а-а-а!..

— А не кричи.

— А-а-а-а!..

— А не кричи.

Приказ штаба Третьей бригады не выполнен матросами.

Ты улыбаешься, враг? Ну, кричи: на командование бригады матросы руку подняли! Ну, кричи: предательство!..

Кого побили? Щуса — второго в Третьей бригаде, руку повстанческих сил Украины побили!

Ой, быть человечьей смерти! Ой, быть человечьей смерти! Гнев качает Щуса...

А матросы меж собой разговаривают:

— Выкинь его за борт.

Сбросили.

Потом:

— А ну, подымись! Подыми головку, скажи «а».

И тут сорвали с фуражки Щуса ленточку. Оскорбили насмерть.

Ой, быть человечьей смерти!..

Гнев качает Щуса!

Щус бежит, кровь свою пьет.

В штабе повстанцев зубами скрипят: кого побили — Щуса!

И к повстанцам весть бежит: «Измена!»

12 часов 10 минут.

Эскадра стоит. Уголь берет. На ультиматум Красной Армии крест кладет.

Что делать, товарищи? Сейчас — прикинув — будем действовать...

Щус в штабе бригады шумит:

— Продалы! На часы смотрите! Двэнадцать часов пятнадцать минут! Продалы матросы.

12 часов 16 минут.

В штабе бригады решенье; диктует командир Третьей бригады Нестор Махно:

— Бросай бригаду на бронепоезд. Давить изменников всих чисто!

Кричит сигнальщик на «Спартаке»:

— Сходни убирают!

— Так!

— К концам идут!

— Так!

Корабли французские покидают порт.

Дым стелют черный и уходят в него. Не видно в дымовой завесе кораблей.

Прикинуть, я говорил, надо. Ведь могут же часы у французов отставать или у нас спешить. Бывает же?..

Действовать, я говорил...

Спартаковцы тихо и не спеша садятся обедать на палубе — орудийной площадке. Сегодня макароны. Ну и макароны наварили, ай макароны!

Сели товарищи. Лица их безмятежны... Боем не светят...

Чья-то мысль в эти лица бьет: «Боязливо выждали!»

Не надо, товарищ! Кто сидит, знаешь? Ведь не видно, не написано... Коммунары сидят, военные моряки Волжской военной флотилии, старые матросы.

Первый: командир бронепоезда Степанов, Краснознаменец дважды, ибо на груди у него орден и корабль

его — сторожевик «Борец за свободу» — имеет флаг с орденом.

Второй: Попов Петр, машинист самостоятельного управления с Краснознаменного военного корабля «Ваня-Коммунист» № 5. По требованию необходимости — ныне у орудия. Трижды ранен, и раны его — из первых в революцию ран матросских.

Третий: Донцов Михаил, с Краснознаменного военного корабля «Ваня-Коммунист» № 5. Будет товарищ убит в бою со Шкуро в июне 1919 года. Отдайте больше, чем он!..

Сидят коммунары...

Фыркнул Попов, и макароны фонтаном изо рта вылетели:

— Ой!.. «Наводи, — говорит,—на полный...» Адмирал Щус...

Ржут парни.

— А он Юхименко ударил и кацапом назвал!

— Ну и кацап! Юхименко, чуешь, ты кацап!..

— Го-го-го!

— Пьяные, говорит... Ай дура! С одной банки — матрос пьяный?!

Михаил Донцов чешет:

— Щус, пожалуй, на тебя обидится, а? Смотри, Петро.

Попов гудит:

— Ну а что он мне сделает? Не скажет разве завтра «доброе утро»? А? Дела! Ой, братва, макароны, ну и макароны сегодня!

Обедают товарищи боевые, уплетают макароны коммунары. Про эскадру вспоминают. Ничего эскадра, солидная эскадра, красивая эскадра республики Франции. И ход хороший, быстро от берегов наших смывается.

Опять мысль чья-то: в чем же дело?! Как же так?

Разберем.

У товарищей боевых глаз веселый — обработали дело. Еще раз командир бронепоезда секретный пакет, с паровоза доставленный тремя товарищами (двух убьет — один довезет, вот трех и послали), перечитывает:

«Имея в виду огромное превосходство противника и сложность обстановки, ни в коем случае первым не начинать артиллерийского боя, ибо в этом случае Красную Армию французское командование обвинит в предательском нападении и извлечет из этого пользу. Вызвав противника на ответ, мы поставим Мариуполь в опасное положение, будут напрасные жертвы среди населения, воз-

никнут пожары, и, возможно, пострадает и бронепоезд — единственный на участке Третьей бригады. Действовать поэтому осмотрительно, не сообщая о сей инструкции махновцам, иначе они сами откроют огонь, и не поддаваясь требованиям махновцев, склонных втягиваться в операции без расчета. Командование рассчитывает добиться ухода французов мерами переговорными, имея в виду общую обстановку, вынуждающую союзников к отступлению.

В остальном вам надлежит действовать строго сообразно обстановке».

Есть, так держать!

Эй, радовавшийся предательству! Гляди, что будет еще впереди!

А ты, браток, понял?

Ветер спал. «Спартак» стоит, коммунары макароны убрали, доели, утерлись, покурили. Жизнь! Зачем и помирать!

Команде — по Морскому уставу — положено иметь время послеобеденного отдыха...

Нежнейше овевает всех бриз с моря. Нежнейше в тишине дня гитара заиграла «Страдание»... Струны источают тончайшее и грустное, сладкую печаль на матросов наводят, и головы их к броне клонятся... И кого-то жаль, и кого-то нет...

И необъяснимы мысли у матросов, такие неясные, неопределенные — шевелится затаенная боль...

Кто там играет так, гэй?! Отчего печаль?

Играет Петро Попов. Возит с собой гитару, укутанную в кожаную тужурку, чтобы при стрельбе не побилась. Гитару возит везде и, когда руки не заняты орудием, вынимает ее, расправив нежный бантик на грифе.

— Слабость у вас, товарищ, слабость к мещанской гитарке, а еще партиец и военмор!

— Правда ваша, строгий и точный товарищ, что же делать? Слабость!

Петро меланхолично уже «Марусэньку» играет. Товарищи слушают, стараясь не шуметь.

Играет Петро. На гитаре бантик нежненький и надпись трогательная: *«От Реввоенсовета Республики. За штурм Казани 10 сентября 1918. Команде военного корабля „Ваня-Коммунист" № 5».*

Трое матросов, что из Александровска, до Щуса идут — в штаб Третьей бригады.

— Щус, давай говорить.

— А ыдыть вы, пока я вас всих нэ пострилял!

Ходит Щус по комнате, морду руками поддерживает. Кольца на пальцах.

— Да ты не горячись, чудачка ты, Щус.

Щус кольт вынимает, в упор в одного бьет, а пуля мимо — в стенку идет. Матросы к стенке — смотрят, хвалят:

— Вот здорово!

— Ой, дирочка!

— Дирочка, как у курочки! (И медленно, так, между прочим.) Щус, ты, может, думаешь, что мы этого делать не умеем?

И видит Щус шесть глаз, как шесть смертельных дыр на теле своем. Щус тогда садится. Дверь открывается. Махновский палач входит:

— Чего шумэлы?

— Так.

— Щус, дэ арестованных вэсти?

— Котори направо сидьят — пострыляй, Костичька; котори налево — до батька на разборку.

— Добрэ.

— Потим придешь, доложишь, Костичька.

— Добрэ.

Вышел.

Матросы опять:

— Щус, брось, вот взял — в бутылку залез! Брось! Ну поспорились — помирились. Эскадра ушла же.

— Та ще подывлюсь, як воны мырытьця прийдут... Воны у менэ сльозами вмываться будуть! Я им кипятку в душу поналываю!

Дверь открылась. Махновский палач снова вошел:

— Вже. Котри налево булы — пострылял, котри направо — построил, до батька вэду...

— Ошибка в тебэ, Костичька, выйшла. Трэба було пострыльять тих, що направо.

— От-то ж бис попутал! Ай и попутал!.. Ну... Що ж, добро.

Ушел.

Матросы опять:

— Щус, давай по-доброму. Гад будешь... Что мы на тебя зло имеем? Да умереть на месте!

Задание выполняют свято.

— Та и я, мабуть, зла на вас троих нэ маю... Тилько сии спартаковськи каммунисти жить нэ будуть.

Дверь открылась. Махновский палач опять вошел:

— Вже пидправил. Котри направо булы — пострылял.

— Так. И тих и тих пострылял?

— Эге ж. Воны уси контрики. И з дочками своими. Воно и так по карточкам видно.

И два колечка Щусу отдал. Маленькие колечки. На мизинец не влезут Щусу.

С моря выстрелы. В чем дело? Но со Щусом разговор надо вести — инструкция о нем говорит, а не о выстрелах.

— Щус, мы до партизан пийдэм — поговорим.

— Идыть, идыть. Як за каммуну рот раскроетэ, зараз и проглотыте свынця. (Спохватился и ласково.) Вы, хлопцы, говорыть за анархыу, за мать порядка. Щоб нэ було властэй, ни якого насылля. Костичька, иды соби, бильше тебья нэ трэба. (К матросам.) Переходыть, хлопцы, в анархыу, ей-бо!

Матросы на лицах раздумье изображают. Всё нужно уметь...

Слушайте,— если надо для дела, знаете, на что мы способны?.. Я много вам скажу теперь, когда стал книгами говорить о бойцах первого призыва революции... Я день за днем покажу два десятилетия, создавшие нас...

На берегу стоят партизаны. Гул идет. Спартаковцев смять хотят. Без огня французов упустили! Продажа!

Трое матросов до партизан идут, наганов с собой не берут.

— Га-а, кацапня идэ!

Идут матросы. Загоготали партизаны:

— Каммуныстам в хронт! Гэй!

Один матрос говорит:

— Товарищи, здравствуйте! Мы расскажем вам...

— Про то як Щуса вбыть хотелы? На партизан пийшлы!..

— Хранцюзам тикать далы! Упустилы!

— Измэна!

— У-у, вражья сила!..

— Товарищи, дайте говорить. Мы вам обрисуем...

— Рисуй жинке по пузу!

— Воду варыть будэте? Душа вон!

— Та што там, бэй их!

Один партизан винтовку навел. Из трех матросов один — украинец — говорит:

— Стриляй, хлопче! (За ворот свой голубой взялся.) И утопысь у крови моий и товарыщей моих. Хай вона, кровь моя, тут у моий Марыупольщины уся выйдэ!

Стоит партизан, на матроса глядит и говорит:

— Хиба ты марыупольский?

— Марыупольский.

— Мабуть, брэшит? А ну, перекрэстысь.

— Ни, нэ перекрэщусь.

— Чого?

— Бог с довольствия в нас снятый.

— Гы-ы!..

Один кричит:

— Хлопцы, брэшет матрос, який вин марыупольский!

Другой подходит, в лицо матросу глядит:

— Ни, нэ брэшет... То Павло, хромого Нечипора сын с Мангуша. Вин у моего дядька наймытом був...

— А тепэрь дывысь, який цаца!

— Та брось — то ж хворма флотцка...

Тут корабли Франции по берегу страны — войны Франции не объявлявшей — огонь открыли. По горизонту желтые вспышки прыгнули. На берегу дерево взлетело на воздух... Морские орудия берег рвут...

Упал еще залп. И в пыль обратился один дом. Удирают партизаны боевые, залегли в канавах. Еще залп упал. И еще один дом раскололся...

А что было бы, если бы в двенадцать часов тронули эскадру Франции и она открыла бы огонь в упор?! Ну?

«Спартак» в стороне стоит. Попов на командира смотрит. Командир на Попова смотрит. Оба на машиниста и кочегара смотрят. Все ясно.

«Спартак» дымить начинает. В небо черный, как тучи ночные, дым пошел. Кочегар, что делаешь?!

Что делает? Показывает эскадре место «Спартака». Как?!

Так.

«Спартак» на себя принимает огонь эскадры. В этом есть революционная необходимость: нельзя допустить истребления партизан, нельзя допустить гибели рабочей слободки и потери угля. Ясно же говорится — и это наш закон — *«действовать строго сообразно обстановке»*.

Матросы у орудий стоят. Стрелять нельзя: из 75-миллиметровых снаряды не долетят до эскадры. Но под об-

стрелом стоять можно. И шире, и выше, и выше черный дым «Спартака».

По горизонту желтые вспышки мечутся. И через четыре минуты залп кораблей Франции ударил по «Спартаку». Степанов, Попов и Донцов, когда пронесло грохот, гарь, пыль и дым, переглянулись без улыбки. Какая улыбка — убить может сейчас! Какая улыбка — сердце стучит! Какая улыбка — жалобно о себе думает каждый! Какая улыбка, когда страх убивает... Но — замечен дым — стреляют по нас!

Один французский корабль приблизился... На сорок три кабельтова подходит... Сорок три кабельтова ставит на диске прицела Попов.

— Товсь!

— Залп!

Стекла посыпались в домах. Гильза упала. Пороховым газом понесло. Гремит на море.

Дыханье азовское ленточки вьет, распластаны они по ветру. На палубе «Спартака» матросы с эскадрой Франции бой ведут.

— Перелет! И лево!

— Сорок два!

Сорок два кабельтова ставит на диске Петро. И десять делений вправо берет орудие.

— Товсь!

— Залп!

Опять стекла посыпались. Гильза упала. Опять залп с моря упал. Дым французского разрыва с дымом «Спартака» смешался. Броня гудит. Кричит наблюдатель:

— А, запарил! Запарил!

Кричат:

— Уткнулся, стоит!

Вторым снарядом подбил «Спартак» корабль Франции. Спасибо флоту российскому за артиллерийскую выучку! Давай крой дальше, «Спартак»!

— Петро, крестников во Франции завел!

— Го-го!

— Товсь!

— Залп!..

Цел порт, цел уголь, целы партизаны, цел «Спартак». Повезло двадцать четвертого марта товарищам боевым!

Повезло?

Расчет, товарищи!

Ночью пишет один из трех матросов:

«Комиссару бригады бронепоездов. На то, что делается в бригаде Махно, необходимо нам обратить самое серьезное внимание. Те «львы» создают угрозу, и свободный дух течет не в тех берегах, не в том русле, каковые требует жизнь. Анархистические элементы в настоящее время разлагают бригаду, и нам предстоят опасности большие, ибо тут определенно говорят: «Бить коммунистов». Еще: людей убивают, хотя бы и контрреволюционных, но без суда и следствия, что не соответствует взятому Махно имени-марке «Красная Армия». Когда мы переговаривались, то была против нас со стороны адъютанта Махно стрельба и был таковой же случай через час в одном полку, но остановлен нашими разъяснениями. Герои-бойцы батьки Махно заблуждаются. Необходимо доказать, что партизаны ослеплены в деле понимания идеи революции. Работу таковым курсом ведем и просим с политотдела литературу. «Спартак» поддерживает и имел бой с эскадрой, но на провокации не пошел, и поэтому был инцидент со Щусом, несколько потерпевшим. Имеем цель, как удастся, насчет угля принять меры».

Пишут матросы на палубе...

Дыхание азовское ленточки вьет, распластаны они по ветру.

Ночь спускается, укутывает родную Украину тихо-тихо. Матросы не спят. Море вновь взято, на море глаз кладут матросы. Ночной ветер ленточки колышет. У орудий на броневых рубках матросы вахту несут... Волна рядом плещет; камышом, тиной, рыбой и солью пахнет... Часть товарищей с боем возвращенный уголь грузит. Грузят Харькову, грузят Питеру, Балтике эшелоны угольных пульманов.

Служба родимая! Погрузка угольная!

Ночью телеграмма идет: *«Мариуполь занят Красной Армией».*

Последние два слова — гарантия.

Красная Армия! Померкло солнце в глазах твоих, враг!

Ленинград — Кронштадт
1930

БОРИС ЛАВРЕНЕВ

СОРОК ПЕРВЫЙ

Повесть

Памяти
Павла Дмитриевича Жукова

ГЛАВА ПЕРВАЯ,
написанная автором исключительно в силу необходимости

Сверкающее кольцо казачьих сабель под утро распалось на мгновение на севере, подрезанное горячими струйками пулемета, и в щель прорвался лихорадочным последним упором малиновый комиссар Евсюков.

Всего вырвались из смертного круга в бархатной котловине малиновый Евсюков, двадцать три и Марютка.

Сто девятнадцать и почти все верблюды остались распластанными на промерзлой осыпи песка, меж змеиных саксауловых петель и красных прутиков тамариска.

Когда доложили есаулу Бурыге, что остатки противника прорвались, повертел он звериной лапищей мохнатые свои усы, зевнул, растянув рот, схожий с дырой чугунной пепельницы, и рыкнул лениво:

— А хай их! Не гоняться, бо коней морить не трэба. Сами в песке подохнут. Бара-бир!

А малиновый Евсюков с двадцатью тремя и Марюткой увертливым махом степной разъяренной чекалки[1] убегали в зернь-пески бесконечные.

Уже не терпится читателю знать, почему «малиновый Евсюков»?

Всё по порядку.

Когда заткнул Колчак ощеренными винтовками человечьим месивом, как тугой пробкой, Оренбургскую линию, посадив на зады обомлелые паровозы — ржаветь в глухих тупиках,— не стало в Туркестанской республике черной краски для выкраски кож.

А время пришло грохотное, смутное, кожаное.

Брошенному из милого уюта домовых стен в жар и ледынь, в дождь и вёдро, в пронзительный пулевой свист человечьему телу нужна прочная покрышка.

[1] Чекалка — мышь, земляной зайчик.

Оттого и пошли на человечестве кожаные куртки.

Красились куртки повсюду в черный, отливающий сизью стали, суровый и твердый, как владельцы курток, цвет.

И не стало в Туркестане такой краски.

Пришлось ревштабу реквизировать у местного населения запасы немецких анилиновых порошков, которыми расцвечивали в жар-птичьи сполохи воздушные шелка своих шалей ферганские узбечки и мохнатые узорочья текинских ковров сухогубые туркменские жены.

Стали этими порошками красить бараньи свежие кожи, и заполыхала туркестанская Красная Армия всеми отливами радуги — малиновыми, апельсиновыми, лимонными, изумрудными, бирюзовыми, лиловыми.

Комиссару Евсюкову судьба в лице рябого вахтера вещсклада отпустила по наряду штаба штаны и куртку ярко-малиновые.

Лицо у Евсюкова сызмалолетства тоже малиновое, в рыжих веснушках, а на голове вместо волоса нежный утиный пух.

Если добавить, что росту Евсюков малого, сложения сбитого и представляет всей фигурою правильный овал, то в малиновой куртке и штанах похож — две капли воды — на пасхальное крашеное яйцо.

На спине у Евсюкова перекрещиваются ремни боевого снаряжения буквой «Х», и кажется, если повернется комиссар передом, должна появиться буква «В».

Христос воскресе!

Но этого нет. В пасху и Христа Евсюков не верит.

Верует в Совет, в Интернационал, Чека и в тяжелый вороненый наган в узловатых и крепких пальцах.

Двадцать три, что ушли с Евсюковым на север из смертного сабельного круга, красноармейцы как красноармейцы. Самые обыкновенные люди.

А особая между ними Марютка.

Круглая рыбачья сирота Марютка, из рыбачьего поселка, что в волжской, распухшей камыш-травой, широководной дельте под Астраханью.

С семилетнего возраста двенадцать годов просидела верхом на жирной от рыбьих потрохов скамье, в брезентовых негнущихся штанах, вспарывая ножом серебряноскользкие сельдяные брюхи.

А когда объявили по всем городам и селам набор добровольцев в Красную, тогда еще гвардию, воткнула вдруг Марютка нож в скамью, встала и пошла в негнущихся штанах своих записываться в красные гвардейцы.

Сперва выгнали, после, видя неотступно ходящей каждый день, погоготали и приняли красногвардейкой, на равных с прочими правах, но взяли подписку об отказе от бабьего образа жизни и, между прочим, деторождения до окончательной победы над капиталом.

Марютка — тоненькая тростиночка прибрежная, рыжие косы заплетает венком под текинскую бурую папаху, а глаза Марюткины шалые, косо прорезанные, с желтым кошачьим огнем.

Главное в жизни Марюткиной — мечтание. Очень мечтать склонна и еще любит огрызком карандаша на любом бумажном клоке, где ни попадется, выводить клонящимися в падучей буквами стихи.

Это всему отряду известно. Как только приходили куда-нибудь в город, где была газета, выпрашивала Марютка в канцелярии лист бумаги.

Облизывая языком сохнущие от волнения губы, тщательно переписывала стихи, над каждым ставила заглавие, а внизу подпись: *Стих Марии Басовой.*

Стихи были разные. О революции, о борьбе, о вождях. Между другими о Ленине:

> Ленин — герой наш пролетарский,
> Поставим статуй твой на площаде.
> Ты низвергнул дворец тот царский
> И стал ногою на труде.

Несла стихи в редакцию. В редакции пялили глаза на тоненькую девушку в кожушке, с кавалерийским карабином, удивленно брали стихи, обещали прочитать.

Спокойно оглядев всех, Марютка уходила.

Заинтересованный секретарь редакции вчитывался в стихи. Плечи его подымались и начинали дрожать, рот расползался от несдерживаемого гогота. Собирались сотрудники, и секретарь, захлебываясь, читал стихи.

Сотрудники катались по подоконникам: мебели в редакции в те времена не было.

Марютка снова появлялась утром. Упорно глядя в дергающееся судорогами лицо секретаря немигающими зрачками, собирала листки и говорила нараспев:

— Значит, невозможно народовать? Необделанные? Уж я их из самой середки, ровно как топором, обрубаю, а все плохо. Ну, еще потрудюсь,— ничего не поделаешь! И с чего это они такие трудные, рыбья холера? А?

И уходила, пожимая плечами, нахлобучив на лоб туркменскую свою папаху.

Стихи Марютке не удавались, но из винтовки в цель садила она с замечательной меткостью. Была в евсюковском отряде лучшим стрелком и в боях всегда находилась при малиновом комиссаре.

Евсюков показывал пальцем:

— Марютка! Гляди! Офицер!

Марютка прищуривалась, облизывала губы и не спеша вела стволом. Бухал выстрел, всегда без промаха.

Она опускала винтовку и говорила каждый раз:

— Тридцать девятый, рыбья холера. Сороковой, рыбья холера.

«Рыбья холера» — любимое словцо у Марютки.

А матерных слов она не любила. Когда ругались при ней, супилась, молчала и краснела.

Данную в штабе подписку Марютка держала крепко. Никто в отряде не мог похвастать Марюткиной благосклонностью.

Однажды ночью сунулся к ней только что попавший в отряд мадьяр Гуча, несколько дней поливавший ее жирными взглядами. Скверно кончилось. Еле уполз мадьяр, без трех зубов и с расшибленным виском. Отделала рукояткой револьвера.

Красноармейцы над Марюткой любовно посмеивались, но в боях берегли пуще себя.

Говорила в них бессознательная нежность, глубоко запрятанная под твердую яркоцветную скорлупу курток, тоска по покинутым дома жарким, уютным бабьим телам.

Такими были ушедшие на север, в беспросветную зернь мерзлых песков, двадцать три, малиновый Евсюков и Марютка.

Пел серебряными вьюжными трелями буранный февраль. Заносил мягкими коврами, ледянистым пухом увалы между песчаными взгорбьями, и над уходящими в муть и буран свистало небо — то ли ветром диким, то ли назойливым визгом крестящих воздух вдогонку вражеских пуль.

Трудно вытаскивались из снега и песка отяжелевшие ноги в разбитых ботах, хрипели, выли и плевались голодные шершавые верблюды.

Выдутые ветрами такыры[1] блестели соляными кристаллами, и на сотни верст кругом небо было отрезано от земли, как мясничьим ножом, по ровной и мутной линии низкого горизонта.

---

[1] Такыры — плоские глинистые поверхности.

Эта глава, собственно, совершенно лишняя в моем рассказе.

Проще бы мне начать с самого главного, с того, о чем речь пойдет в следующих главах.

Но нужно же читателю знать, откуда и как появились остатки особого гурьевского отряда в тридцати семи верстах к норд-весту от колодцев Кара-Кудук, почему в красноармейском отряде оказалась женщина, отчего комиссар Евсюков — малиновый и много еще чего нужно знать читателю.

Уступая необходимости, я и написал эту главу.

Но, смею уверить вас, она не имеет никакого значения.

ГЛАВА ВТОРАЯ,
в которой на горизонте появляется темное пятно, обращающееся при ближайшем рассмотрении в гвардии поручика Говоруху-Отрока

От колодцев Джан-Гельды до колодцев Сой-Кудук семьдесят верст, оттуда до родника Ушкан еще шестьдесят две.

Ночью, ткнув прикладом в раскоряченный корень, сказал Евсюков промерзшим голосом:

— Стой! Ночевка!

Разожгли саксауловый лом. Горел жирным копотным пламенем, и темным кругом мокрел вокруг огня песок.

Достали из вьюков рис и сало. В чугунном котле закипела каша, едко пахнущая бараном.

Тесно сгрудились у огня. Молчали, лязгая зубами, стараясь спасти тело от знобящих пальцев бурана, заползающих во все прорехи. Грели ноги прямо на огне, и заскорузлая кожа ботов трещала и шипела.

Стреноженные верблюды уныло позвякивали бубенцами в белесой поземке.

Евсюков скрутил козью ножку трясущимися пальцами.

Выпустил дым, а с дымом выдавил натужно:

— Надо обсудить, значит, товарищи, куды теперь подаваться.

— Куды подашься,— отозвался мертвый голос из-за костра,— все равно каюк-кончина. На Гурьев вертаться невозможно, казачни наперло — чертова сила. А, окромя Гурьева, смотаться некуда.

— На Хиву разве?

— Хы-ы! Сказанул! Шестьсот верст без малого по Каракумам зимой? А жрать что будешь? Вшей разве в портках разведешь на кавардак?

Загрохотали смехом, но тот же мертвый голос безнадежно сказал:

— Один конец — подыхать!

Сжалось сердце у Евсюкова под малиновыми латами, но, не показав виду, яростно оборвал говорившего:

— Ты, мокрица! Панику не разводь! Подыхать каждый дурень может, а нужно мозгом помурыжить, чтобы не подохнуть.

— На хворт Александровский можно податься. Тама свой брат, рыбалки.

— Не годится,— бросил Евсюков,— было донесение, Деника десант высадил. И Красноводский и Александровский у беляков.

Кто-то сквозь дрему надрывисто простонал.

Евсюков ударил ладонью по горячему от костра колену. Отрубил голосом:

— Баста! Один путь, товарищи, на Арал! До Арала как добредем, там немаканы по берегу кочуют, поживимся и в обход на Казалинск. А в Казалинске фронтовой штаб. Там и дома будем.

Отрубил — замолчал. Самому не верилось, что можно дойти.

Подняв голову, спросил рядом лежащий:

— А до Арала что шамать будем?

И опять отрубил Евсюков:

— Штаны подтянуть придется. Невелики князья! Сардины тебе с медом подавать? Походишь и так. Рис пока есть, муки тоже малость.

— На три перехода?

— Что ж, на три! А до Черныш-залива — десять отседова. Верблюдов шестеро. Как продукт поедим — верблюдов резать будем. Все едино ни к чему. Одного зарежем, мясо на другого — и дальше. Так и допрем.

Молчали. Лежала у костра Марютка, облокотившись на руки, смотрела в огонь пустыми, немигающими кошачьими зрачками. Смутно стало Евсюкову.

Встал, отряхнул с куртки снежок.

— Кончь! Мой приказ — на заре в путь. Може, не все дойдем,— шатнулся вспуганной птицей комиссарский голос,— а идти нужно... потому, товарищи... революция вить... За трудящихся всего мира!

Смотрел поочередно комиссар в глаза двадцати трех.

Не видел уже огня, к которому привык за год. Мутны были глаза, уклонялись, и метались под опущенными ресницами отчаяние и недоверие.

— Верблюдов пожрем, потом друг дружку жрать придется.

Опять молчали.

И внезапно визгливым бабьим голосом закричал исступленно Евсюков:

— Без рассуждениев! Революционный долг знаешь? Молчок! Приказал — кончено! А то враз к стенке.

Закашлялся и сел.

И тот, что мешал кашу шомполом, неожиданно весело швырнул в ветер:

— Чего сопли повесили? Тюпайте кашу — дарма варил, что ли? Вояки, едрена вошь!

Выхватывали ложками густые комья жирного распухшего риса, обжигаясь, глотали, чтобы не остыло, но, пока глотали, на губах налипала густая корка заледеневшего противно-стеаринового сала.

Костер дотлевал, выбрасывая в ночь палево-оранжевые фонтаны искр. Еще теснее прижимались, засыпали, храпели, стонали и ругались спросонья.

Уже под утро разбудили Евсюкова быстрые толчки в плечо. Трудно разлепив примерзшие ресницы, схватился, дернулся по привычке окостенелой рукой за винтовкой.

— Стой, не ершись!

Нагнувшись, стояла Марютка. В желто-сером дыму бурана поблескивали кошачьи огни.

— Ты что?

— Вставай, товарищ комиссар! Только без шуму! Пока вы дрыхли, я на верблюде прокатилась. Караван киргизий идет с Джан-Гельдов.

Евсюков перевернулся на другой бок. Спросил, захлебнувшись:

— Какой караван, что врешь?

— Ей-пра... провалиться, рыбья холера! Немаканы! Верблюдов сорок!

Евсюков разом вскочил на ноги, засвистал в пальцы. С трудом поднимались двадцать три, разминая не свои от стужи тела, но, услыхав о караване, быстро приходили в себя.

Поднялись двадцать два. Последний не поднялся. Лежал, кутаясь в попону, и попона тряслась зыбкой дрожью от бьющегося в бреду тела.

— Огневица! —уверенно кинула Марютка, пощупав пальцами за воротом.

— Эх, черт! Что делать будешь? Накройте кошмами, пусть лежит. Вернемся — подберем. В какой стороне караван, говоришь?

Марютка взмахнула рукой к западу:

— Недально! Верстов шесть. Богаты немаканы. Вьюков на верблюдах — во!

— Ну, живем! Только не упустить. Как завидим, обкладай со всех сторон. Ног не жалей. Которы справа, которы слева. Марш!

Зашагали ниточкой между барханами, пригибаясь, бодрея, разогреваясь от быстрого хода.

С плоенной песчаными волнами верхушки бархана увидели вдалеке, на плоском, что обеденный стол, такыре темные пятна вытянутых в линию верблюдов.

На верблюжьих горбах тяжело раскачивались вьюки.

— Послал восподь! Смилостивился,— упоенно прошептал рябой молоканин Гвоздев.

Не удержался Евсюков, обложил:

— Восподь?.. Доколе тебе говорить, что нет никакого воспода, а на все своя физическая линия.

Но некогда было спорить. По команде побежали прыжками, пользуясь каждой складочкой песка, каждым корявым выползком кустарников. Сжимали до боли в пальцах приклады: знали, что нельзя, невозможно упустить, что с этими верблюдами уйдут надежда, жизнь, спасение.

Караван проходил неспешно и спокойно. Видны уже были цветные кошмы на верблюжьих спинах, идущие в теплых халатах и волчьих малахаях киргизы.

Сверкнув малиновой курткой, вырос Евсюков на гребне бархана, вскинул на изготовку. Заорал трубным голосом:

— Тохта! Если ружье есть — кладь наземь. Без тамаши, а то всех угроблю.

Не успел докричать — оттопыривая зады, повалились в песок перепуганные киргизы.

Задыхаясь от бега, скакали со всех сторон красноармейцы.

— Ребята, забирай верблюдов! — орал Евсюков.

Но, покрыв его голос, от каравана ударил вдруг ровный винтовочный залп.

Щенками тявкали обозленные пули, и рядом с Евсюковым ткнулся кто-то в песок головой, вытянув недвижные руки.

— Ложись!.. Дуй их, дьяволов!..— продолжал кричать Евсюков, валясь в выгреб бархана. Защелкали частые выстрелы.

Стреляли из-за залегших верблюдов неведомые люди. Не похоже было, чтобы киргизы. Слишком меткий и четкий был огонь.

Пули тюкались в песок у самых тел залегших красноармейцев.

Степь грохотала перекатами, но понемногу затихали выстрелы от каравана.

Красноармейцы начали подкатываться перебежками.

Уже шагах в тридцати, вглядевшись, увидел Евсюков за верблюдом голову в меховой шапке и белом башлыке, а за ней плечо, и на плече золотая полоска.

— Марютка! Гляди! Офицер! — повернул голову к подползшей сзади Марютке.

— Вижу.

Неспешно повела стволом. Треснул раскат.

Не то обмерзли пальцы у Марютки, не то дрожали от волнения и бега, но только успела сказать: «Сорок первый, рыбья холера!» — как, в белом башлыке и синем тулупчике, поднялся из-за верблюда человек и поднял высоко винтовку. А на штыке болтался наколотый белый платок.

Марютка швырнула винтовку в песок и заплакала, размазывая слезу по облупившемуся грязному лицу.

Евсюков побежал на офицера. Сзади обогнал красноармеец, размахивая на ходу штыком для лучшего удара.

— Не трожь!.. Забирай живьем,— прохрипел комиссар.

Человека в синем тулупчике схватили, свалили на землю.

Пятеро, что были с офицером, не поднялись из-за верблюдов, срезанные колючим свинцом.

Красноармейцы, смеясь и ругаясь, тащили верблюдов за продетые в ноздри кольца, связывали по нескольку.

Киргизы бегали за Евсюковым, виляя задами, хватали его за куртку, за локти, штаны, снаряжение, бормотали, заглядывали в лицо жалобными узкими щелками.

Комиссар отмахивался, убегал, зверел и, сам морщась от жалости, тыкал наганом в плоские носы, в обветренные острые скулы.

— Тохта, осади! Никаких возражениев!

Пожилой, седобородый, в добротном тулупе, поймал Евсюкова за пояс.

Заговорил быстро-быстро, ласково пришептывая:

— Уй-бай... Плоха делал... Киргиз верблюда жить нада. Киргиз без верблюда помирать пошел... Твоя, бай, так не делай. Твоя деньга хотит — наша дает. Серебряна деньга, царская деньга... киренка бумаж... Скажи, сколько твоя давать, верблюда назад дай?

— Да пойми ж ты, дубовая твоя голова, что нам тоже теперь без верблюдов подыхать. Я ж не граблю, а по революционной надобности, во временное пользование. Вы, черти немаканые, пехом до своих добредете, а нам смерть.

— Уй-бай. Никарош. Отдай верблюда — бири абаз, киренки бири,— тянул свое киргиз.

Евсюков вырвался:

— Ну тя к сатане! Сказал, и кончено. Без разговору. Получай расписку, и все тут.

Он ткнул киргизу нахимиченную на лоскуте газеты расписку.

Киргиз бросил ее в песок, упал и, закрыв лицо, завыл.

Остальные стояли молча, и в косых черных глазах дрожали молчаливые капли.

Евсюков отвернулся и вспомнил о пленном офицере.

Увидел его между двумя красноармейцами. Офицер стоял спокойно, слегка отставив правую ногу в высоком шведском валенке, и курил, с усмешкой смотря на комиссара.

— Кто такой есть? — спросил Евсюков.

— Гвардии поручик Говоруха-Отрок. А ты кто такой? — спросил в свою очередь офицер, выпустив клуб дыма.

И поднял голову.

И когда посмотрел в лица красноармейцев, увидели Евсюков и все остальные, что глаза у поручика синие-синие, как будто плавали в белоснежной мыльной пене белка шарики первосортной французской синьки.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
о некоторых неудобствах путешествия в Средней Азии без верблюдов и об ощущениях спутников Колумба

Сорок первым должен был стать в Марюткином счете гвардии поручик Говоруха-Отрок.

Но то ли от холода, то ли от волнения промахнулась Марютка.

И остался поручик в мире лишней цифрой на счету живых душ.

По приказу Евсюкова выворотили пленнику карманы и в замшевом френче его, на спине, нашли потайной кармашек.

Взвился поручик на дыбы степным жеребенком, когда красноармейская рука нащупала карман, но крепко держали его, и только дрожью губ и бледностью выдал волнение и растерянность.

Добытый холщовый пакетик Евсюков осторожно развернул на своей полевой сумке и, неотрывно впиваясь глазами, прочитал документы. Повертел головой, задумался.

Было обозначено в документах, что гвардии поручик Говоруха-Отрок, Вадим Николаевич, уполномочен правительством верховного правителя России адмирала Колчака представлять особу его при Закаспийском правительстве генерала Деникина.

Секретные же поручения, как сказано было в письме, поручик должен был доложить устно генералу Драценко.

Сложив документы, Евсюков бережно сунул их за пазуху и спросил поручика:

— Какие такие ваши секретные поручения, господин офицер? Надлежит вам рассказать все без утайки, как вы есть в плену у красных бойцов и я командующий комиссар Арсентий Евсюков.

Вскинулись на Евсюкова поручичьи ультрамариновые шарики.

Ухмыльнулся поручик, шаркнул ножкой:

— Monsieur! Евсюков?.. Оч-чень рад познакомиться! К сожалению, не имею полномочий от моего правительства на дипломатические переговоры с такой замечательной личностью.

Веснушки Евсюкова стали белее лица. При всем отряде в глаза смеялся над ним поручик.

Комиссар вытащил наган:

— Ты, моль белая! Не дури! Или выкладай, или пулю слопаешь!

Поручик повел плечом.

— Балда ты, хоть и комиссар! Убьешь — вовсе ничего не слопаешь!

Комиссар опустил револьвер и чертыхнулся.

— Я тебя гопака плясать заставлю, сучье твое мясо. Ты у меня запоешь,— буркнул он.

Поручик так же улыбался одним уголком губ.

Евсюков плюнул и отошел.

— Как, товарищ комиссар? В рай послать, что ли? — спросил красноармеец.

Комиссар почесал ногтем облупленный нос:

— Не... не годится. Это заноза здоровая. Нужно в Казалинск доставить. Там с него в штабе все дознание снимут.

— Куда ж его еще, черта, таскать? Сами дойдем ли?

— Афицерей, что ль, вербовать начали?

Евсюков выпрямил грудь и цыкнул:

— Твое какое дело? Я беру — я и в ответе. Сказал!

Обернувшись, увидел Марютку:

— Во! Марютка! Препоручаю тебе их благородие. Смотри в оба глаза. Упустишь — семь шкур с тебя сдеру!

Марютка молча вскинула винтовку на плечо. Подошла к пленному.

— А ну-ка, поди сюды. Будешь у меня под караулом. Только не думай, раз я баба, так от меня убечь можно. На триста шагов на бегу сниму. Раз промазала, в другой не надейся, рыбья холера.

Поручик скосил глаза, дрогнул смехом и изысканно поклонился:

— Польщен быть в плену у прекрасной амазонки.

— Что?.. Чего еще мелешь? — протянула Марютка, окинув поручика уничтожающим взглядом.— Шантрапа! Небось кроме падекатра танцевать, другого и дела не знаешь? Пустого не трепли! Топай копытами. Шагом марш!

В этот день заночевали на берегу маленького озерка.

Из-подо льда прелью и йодом воняла соленая вода.

Спали здорово. С киргизских верблюдов поснимали кошмы и ковры, завернулись, укутались — теплынь райская.

Гвардии поручика на ночь крепко связала Марютка шерстяным верблюжьим чумбуром по рукам и ногам, завила чумбур вокруг пояса, а конец закрепила у себя на руке.

Кругом ржали. Лупастый Семянный крикнул:

— Глянь, бра,— Марютка милого привораживает. Наговорным корнем!

Марютка повела глазом на ржущих:

— Брысь-те к собакам, рыбья холера! Смешки... А если убегнет?

— Дура! Что ж, у него две башки? Куды бечь в пески?

— В пески не в пески, а так вернее. Спи ты, кавалер чумелый.

Марютка толкнула поручика под кошму, сама привалилась сбоку.

Сладко спать под шерстистой кошмой, под духмяным войлоком. Пахнет от войлока степным июльским зноем, полынью, ширью зернь-песков бесконечных. Нежится тело, баюкается в сладчайшей дреме.

Храпит под ковром Евсюков, в мечтательной улыбке разметалась Марютка, и, сухо вытянувшись на спине, поджав тонкие, красивого выреза, губы, спит гвардии поручик Говоруха-Отрок.

Один часовой не спит. Сидит на краю кошмы, на коленях винтовка-неразлучница, ближе жены и зазнобушки.

Смотрит в белесую снеговую сутемь, где глухо брякают верблюжьи бубенчики.

Сорок четыре верблюда теперь. Путь прям, хоть и тяжек.

Нет больше сомнения в красноармейских сердцах.

Рвет, заливается посвистами ветер, рвется снежными пушинками часовому в рукава. Ежится часовой, поднимает край кошмы, набрасывает на спину. Сразу перестает колоть ледяными ножами, оттеплевает застывшее тело.

Снег, муть, зернь-пески.

Смутная азийская страна.

— Верблюды где?.. Верблюды, матери твоей черт!.. Анафема... Сволочь рябая! Спать?.. Спать?.. Что ж ты наделал, подлец? Кишки выпущу!

У часового голова идет кругом от страшного удара сапогом в бок. Мутно водит глазами часовой.

Снег и муть.

Сутемь дымная, утренняя. Зернь-пески.

Нет верблюдов.

Где паслись верблюды, следы верблюжьи и человечьи. Следы остроносых киргизских ичигов.

Шли, наверно, тайком всю ночь киргизы, трое, за отрядом и в сон часового угнали верблюдов.

Столпясь, молчат красноармейцы. Нет верблюдов. Куда гнаться? Не догонишь, не найдешь в песках...

— Расстрелять тебя, сукина сына, мало! — сказал Евсюков часовому.

Молчит часовой, только слезы в ресницах замерзли хрусталиками.

Вывернулся из-под кошмы поручик. Поглядел, свистнул. Сказал с усмешечкой:

— Дисциплиночка советская! Олухи царя небесного!

— Молчи хоть ты, гнида! — яростно зыкнул Евсюков и не своим, одеревенелым шепотом бросил: — Ну, что ж стоять? Пошли, братцы!

Только одиннадцать гуськом, в отрепьях, шатаясь, вперевалку карабкаются по барханам.

Десятеро ложились вехами на черной дороге.

Утром мутнеющие в бессилье глаза раскрывались в последний раз, стыли недвижными бревнами распухшие ноги, вместо голоса рвался душный хрип.

Подходил к лежащему малиновый Евсюков, но уже не одного цвета с курткой было комиссарское лицо. Высохло, посерело, и веснушки по нему как старые медные грошики.

Смотрел, качал головой. Потом ледяное дуло евсюковского нагана обжигало впавший висок, оставив круглую, почти бескровную, почернелую ранку.

Наскоро присыпали песком и шли дальше.

Изорвались куртки и штаны, разбились в лохмотья боты, обматывали ноги обрывками кошм, заматывали тряпками отмороженные пальцы.

Десять идут, спотыкаясь, качаясь от ветра.

Один идет прямо, спокойно.

Гвардии поручик Говоруха-Отрок.

Не раз говорили красноармейцы Евсюкову:

— Товарищ комиссар! Что ж долго его таскать? Только порцию жрет задарма. Опять же одежа, обужа у него хороша, поделить можно.

Но запрещал Евсюков трогать поручика.

— В штаб доставлю или с ним вместе подохну. Он много порассказать может. Нельзя такого человека зря бить. От своей судьбы не уйдет.

Руки у поручика связаны в локтях чумбуром, а конец чумбура у Марютки за поясом. Еле идет Марютка. На снеговом лице только играет кошачья желть ставших громадными глаз.

А поручику хоть бы что. Побледнел только немного.

Подошел однажды к нему Евсюков, посмотрел в ультрамариновые шарики, выдавил хриплым лаем:

— Черт тебя знает! Двужильный ты, что ли? Сам

щуплый, а тянешь за двух. С чего это в тебе сила такая?

Повел губы поручик всегдашней усмешкой. Спокойно ответил:

— Не поймешь. Разница культур. У тебя тело подавляет дух, а у меня дух владеет телом. Могу приказать себе не страдать.

— Вона что,— протянул комиссар.

Дыбились по бокам барханы, мягкие, сыпучие, волнистые. На верхушках их с шипеньем змеился от ветра песок, и казалось, никогда не будет конца им.

Падали в песок, скрежеща зубами. Выли удавленно:

— Не пойду даля. Оставьте отдохнуть. Мочи нет.

Подходил Евсюков, подымал руганью, ударами.

— Иди! От революции дезертировать не могишь.

Подымались. Шли дальше. На вершину бархана выполз один. Обернувшись, показал дико ощеренный череп и провопил:

— Арал!.. Братцы!..

И упал ничком. Евсюков через силу взбежал на бархан. Ослепляющей синевой мазнуло по воспаленным глазам. Зажмурился, заскреб песок скрюченными пальцами.

Не знал комиссар о Колумбе и о том, что так точно скребли пальцами палубу каравелл испанские мореходы при крике: «Земля!»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

в которой завязывается первый разговор Марютки с поручиком, а комиссар снаряжает морскую экспедицию

На берегу на второй день наткнулись на киргизский аул.

Вначале дунуло из-за барханов острым душком кизячного дыма, и от запаха сжало желудки едкой спазмой.

Закруглились вдали рыжие купола юрт, и с ревом помчались навстречу мохноногие низкорослые собачонки.

Киргизы столпились у юрт, удивленно и жалостно смотрели на подходящих, на жалкие человечьи остатки.

Старик с продавленным носом погладил сперва редкие пучки бороденки, потом грудь. Сказал, кивнув:

— Селям алекюм. Куда такой идош, тюря?

Евсюков слабо пожал поданную дощечкой шершавую ладонь:

— Красные мы. На Казалинск идем. Примай, хозяин, покорми. За нас тебе благодарность от Совета выйдет.

Киргиз потряс бороденкой, зачмокал губами:

— Уй-бай... Кирасни аскер. Большак. Сентир пришел?

— Не, тюря! Не из центра мы. От Гурьева бредем.

— Гурьяв? Уй-бай, уй-бай! Каракума ишел?

В киргизских щелочках заискрился страх и уважение к полинялому малиновому человеку, который в февральскую стужу прошел пешком страшные Каракумы от Гурьева до Арала.

Старик похлопал в ладоши, гортанно проворковал подбежавшим женщинам.

Взял комиссара за руку:

— Иди, тюря, кибитка. И спи мала-мала. Сыпишь, палав ашай.

Свалились полумертвыми тюками в дымное тепло юрт, спали без движения до сумерек. Киргизы наготовили плова, угощали, дружелюбно поглаживали красноармейцев по вылезшим на спинах острым лопаткам.

— Ашай, тюря, ашай! Твоя немного высохла. Ашай — здорова будишь.

Ели жадно, быстро, давясь. Животы вздулись от жирного плова, и многим становилось дурно. Отбегали в степь, дрожащими пальцами лезли в горло, облегчались и снова наваливались на еду. Разморенные и распаренные, уснули опять.

Не спали лишь Марютка и поручик.

Сидела Марютка у тлеющих углей мангала, и не было в ней памяти о пройденной муке.

Вытащила из сумки заветный охвостень карандаша, вытягивала буквы на выпрошенном у киргизки листе иллюстрированного приложения к «Новому времени». Во весь лист был напечатан портрет министра финансов графа Коковцева, и поперек коковцевского высокого лба и светлой бородки ложились в падучей Марюткины строки.

А вокруг пояса Марюткина по-прежнему окручен чумбур, и другим концом крепко держал чумбур скрещенные за спиной кисти поручика.

Только на час развязала Марютка чумбур, чтобы дать поручику наесться плова, но только отвалился от котла, завязала опять.

Красноармейцы хихикали:

— Тю, ровно пса цепная.

— Втрескалась, Марютка? Вяжи, вяжи миленького. А то, не ровен час, припрет на ковре-самолете по воздуху Марья Маревна, украдет любезного.

Марютка не удостоила ответом.

Поручик сидел, прислонясь плечом к столбу юрты. Следил ультрамариновыми шариками за трудными потугами карандаша.

Подался вперед всем корпусом и тихо спросил:

— Что пишешь?

Марютка покосилась на него из-под сбившейся рыжей пряди:

— Тебе какая суета?

— Может, письмо нужно написать? Ты продиктуй — я напишу.

Марютка тихо засмеялась:

— Ишь ты, проворяга! Это тебе, значит, руки развяжи, а ты меня по рылу да в бега! Не на ту напал, сокол. А помочи твоей мне не требуется. Не письмо пишу, а стих.

Ресницы поручика распахнулись веерами. Он отделился спиной от столба:

— Сти-и-их? Ты сти-ихи пишешь?

Марютка прервала карандашные судороги и залилась краской.

— Ты что взбутился? А? Ты думаешь, тебе только падекатры плясать, а я дура мужицкая? Не дурее тебя!

Поручик развел локтями, кисти не двигались.

— Я тебя дурой и не считаю. Только удивляюсь. Разве сейчас время для стихов?

Марютка совсем отложила карандаш. Взбросилась, рассыпав по плечу ржавую бронзу.

— Чудак — поглядеть на тебя! По-твоему, стихи в пуховике писать надо? А ежели душа у меня кипит? Если вот мечтаю означить, как мы, голодные, холодные, по пескам перли! Все выложить, чтоб у людей в грудях сперло. Я всю кровь в их вкладываю. Только народовать не хотят. Говорят — учиться надобно. А где ж ты время возьмешь на ученье? От сердца пишу, с простоты!

Поручик медленно улыбнулся:

— А ты прочла бы! Очень любопытно. Я в стихах понимаю.

— Не поймешь ты. Кровь в тебе барская, склизкая. Тебе про цветочки да про бабу описать надо, а у меня все про бедный люд, про революцию,— печально проронила Марютка.

— Отчего же не понять? — ответил поручик.— Может быть, они для меня чужды содержанием, но понять человеку человека всегда можно.

Марютка нерешительно перевернула Коковцева вверх ногами. Потупилась.

— Ну черт с тобой, прослушь! Только не смейся. Тебя, может, папенька до двадцати годов с гибернерами обучал, а я сама до всего дошла.

— Нет!.. Честное слово, не буду смеяться!

— Тогды слушь! Тут все прописано. Как мы с казаками бились, как в степу ушли.

Марютка кашлянула. Понизила голос до баса, рубила слова, свирепо вращая глазами:

Как казаки наступали,
Царской свиты палачи,
Мы встренули их пулями,
Красноармейцы-молодцы,
Очень много тех казаков,
Нам пришлося отступать.
Евсюков геройским махом
Приказал сволочь прорвать.
Мы их били с пулемета,
Пропадать нам все одно,
Полегла вся наша рота,
Двадцатеро в степь ушло.

— А дальше никак не лезет, хоть ты тресни, рыбья холера, не знаю, как верблюдов вставить? — оборвала Марютка пресекшимся голосом.

В тени были синие шарики поручика, только в белках влажно доцветал лиловатыми отсветами веселый жар мангала, когда, помолчав, он ответил:

— Да... здорово! Много экспрессии, чувства. Понимаешь? Видно, что от души написано.— Тут все тело поручика сильно дернулось, и он, как будто икнув, спешно добавил: — Только не обижайся, но стихи очень плохие. Необработанные, неумелые.

Марютка грустно уронила листок на колени. Молча смотрела в потолок юрты. Пожала плечами:

— Я ж и говорю, что чувствительные. Плачет у меня все нутро, когда обсказываю про это. А что необделанные — это везде сказывают, точь-в-точь как ты. «Ваши стихи необработанные, печатать нельзя». А как их обделать? Что в их за хитрость? Вот вы ентиллегент,— может, знаете? — Марютка в волнении даже назвала поручика на вы.

Поручик помолчал.

— Трудно ответить. Стихи, видишь ли,— искусство.

А всякое искусство ученья требует, у него свои правила и законы. Вот, например, если инженер не будет знать всех правил постройки моста, то он или совсем его не выстроит, или выстроит, но безобразный и негодный в работе.

— Так то ж мост. Для его арихметику надо произойти, разные там анженерные хитрости. А стихи у меня с люльки в середке закладены. Скажем, талант?

— Ну что ж? Талант и развивается ученьем. Инженер потому и инженер, а не доктор, что у него с рождения склонность к строительству. А если он не будет учиться, ни черта из него не выйдет.

— Да?.. Вон ты какая оказия, рыбья холера! Ну вот, воевать кончим, обязательно в школу пойду, чтоб стихам выучили. Есть, поди, такие школы?

— Должно быть, есть,— ответил задумчиво поручик.

— Обязательно пойду. Заели они мою жизнь, стихи эти самые. Так и горит душа, чтоб натискали в книжке и подпись везде проставили: *«Стих Марии Басовой»*.

Мангал погас. В темноте ворчал ветер, копаясь в войлоке юрты.

— Слышь ты, кадет,— сказала вдруг Марютка,— болят, чай, руки-то?

— Не очень! Онемели только!

— Вот что. Ты мне поклянись, что убечь не хочешь. Я тебя развяжу.

— А куда мне бежать? В пески? Чтоб шакалы задрали? Я себе не враг.

— Нет, ты поклянись. Говори за мной. Клянусь бедным пролетариятом, который за свои права, перед красноармейкой Марией Басовой, что убечь не хочу.

Поручик повторил клятву.

Тугая петля чумбура расплелась, освободив затекшие кисти.

Поручик с наслаждением пошевелил пальцами.

— Ну, спи,— зевнула Марютка,— теперь, если убегнешь,— последний подлец будешь. Вот тебе кошма, накройся.

— Спасибо, я полушубком. Спокойной ночи, Мария...

— Филатовна,— с достоинством дополнила Марютка и нырнула под кошму.

Евсюков спешил дать знать о себе в штаб фронта.

В ауле нужно было отдохнуть, отогреться и отъесться. Через неделю он решил двинуться по берегу, в обход, на Аральский поселок, оттуда на Казалинск.

На второй неделе из разговора с пришлыми киргизами комиссар узнал, что верстах в четырех осенней бурей на берег залива выбросило рыбачий бот. Киргизы говорили, что бот в полной исправности. Так и лежит на берегу, а рыбаки, должно быть, потонули.

Комиссар отправился посмотреть.

Бот оказался почти новый, желтого крепкого дуба. Буря не повредила его. Только разорвала парус и вырвала руль.

Посоветовавшись с красноармейцами, Евсюков положил отправить часть людей сейчас же, морем, в устье Сырдарьи. Бот свободно поднимал четверых с небольшим грузом.

— Так-то лучше,— сказал комиссар.— Во-первых, значит, пленного скорей доставим. А то, черт весть, опять что по пути случится. А его обязательно до штаба доперёть нужно. А потом в штабе о нас узнают, навстречу конную помогу вышлют с обмундированием и еще чем.

При попутном ветре бот в три-четыре дня пересечет Арал, а на пятые сутки и Казалинск.

Евсюков написал донесение; зашил его в холщовый пакетик с документами поручика, которые все время берег во внутреннем кармане куртки.

Киргизки залатали парус кусками мата, комиссар сам сколотил новый руль из обломков досок и снятой с бота банки.

В февральское морозное утро, когда низкое солнце полированным медным тазом поползло по пустой бирюзе, верблюжьим волоком дотянули бот до границы льда. Спустили на вольную воду, усадили отправляемых. Евсюков сказал Марютке:

— Будешь за старшего! На тебе весь ответ. За кадетом гляди. Если как упустишь, лучше на свете тебе не жить. В штаб доставь живого аль мертвого. А если на белых нарветесь ненароком, живым его не сдавай. Ну, трогай!

ГЛАВА ПЯТАЯ,

целиком украденная у Даниеля Дефо, за исключением того, что Робинзону не приходится долго ожидать Пятницу

Арал — море невеселое.

Плоские берега, по ним полынь, пески, горы перекатные.

Острова на Арале — блины, на сковородку вылитые,

плоские до глянца, распластались по воде — еле берег видать, и нет на них жизни никакой.

Ни птицы, ни злака, а дух человеческий только летом и чуется.

Главный остров на Арале Барса-Кельмес.

Что оно значит — неизвестно, но говорят киргизы, что *«человечья гибель»*.

Летом с Аральского поселка едут к острову рыбалки. Богатый лов у Барса-Кельмеса, кипит вода от рыбьего хода.

Но как взревут пенными зайчиками осенние моряны, спасаются рыбалки в тихий залив Аральского поселка и до весны носу не кажут.

Если до морян всего улова с острова не свезут, так и остается рыба зимовать в деревянных сквозных сараях просоленными штабелями.

В суровые зимы, когда мерзнет море от залива Чернышева до самого Барса, раздолье чекалкам. Бегут по льду на остров, нажираются соленого усача или сазана до того, что, не сходя с места, дохнут.

И тогда, вернувшись весной, когда взломает ледяную корку Сырдарья желтой глиной половодья, не находят рыбалки ничего из брошенного осенью засола.

Ревут, катаются по морю моряны с ноября по февраль. А в остальное время изредка только налетают штормики, а летом стоит Арал недвижным — драгоценное зеркало.

Одна радость у Арала — синь-цвет необычайный.

Синева глубокая, бархатная, сапфирами переливается.

Во всех географиях это отмечено.

Рассчитывал комиссар, отправляя Марютку и поручика, что в ближайшую неделю надо ждать тихой погоды. И киргизы по стародавним приметам своим то же говорили.

Потому и пошел бот с Марюткой, поручиком и двумя ребятами, привычными к водяному шаткому промыслу, Семянным и Вяхирем, на Казалинск морским путем.

Радостно вспучивал залатанный парус шелестящий волной ровный бриз. Сонливо скрипел в петлях руль, и закипала у борта густая масляная пена.

Развязала Марютка совсем поручику руки — некуда бежать человеку с лодки,— и сидел Говоруха-Отрок вперемежку с Семянным и Вяхирем на шкотах.

Сам себя в плен вез.

А когда отдавал шкоты красноармейцам, лежал на дне, прикрывшись кошмой, улыбался чему-то, мыслям своим тайным, поручичьим, никому, кроме него, не ведомым.

Этим беспокоил Марютку.

«И чего ему хихиньки все время? Хоть на сласть бы ехал, в свой дом. А то один конец — допросят в штабе и в переделку. Дурья голова, шалый!»

Но поручик продолжал улыбаться, не зная Марюткиной думы.

Не вытерпела Марютка, заговорила:

— Ты где к воде приобык-то?

Ответил Говоруха-Отрок, подумав:

— В Петербурге... Яхта у меня своя была... Большая. По взморью ходил.

— Какая яхта?

— Судно такое... парусное.

— От-то ж! Да я яхту, чай, не хуже тебя знаю. У буржуев в клубе в Астрахани насмотрелась. Там их гибель была. Все белые, высокие да ладные, словно лебеди. Я не про то спрашиваю. Прозывалась как?

— «Нелли».

— Это что ж за имя такое?

— Сестру мою так звали. В честь ее и яхта.

— Такого и имени христианского нету.

— Елена... а Нелли по-английски.

Марютка замолчала, посмотрела на белое солнце, изливавшееся холодным блистающим медом. Оно сползало вниз, к бархатной синей воде.

Заговорила опять:

— Вода! Чистая синь в ей. В Каспицком зеленя, а тут, поди ж ты, до чего сине!

Поручик ответил как будто в себя и для себя:

— По шкале Фореля приближается к третьему номеру.

— Чего? — беспокойно повернулась Марютка.

— Это я про себя. О воде. В гидрографии читал, что в этом море очень яркий синий цвет воды. Ученый Форель составил таблицу оттенков морской воды. Самая синяя в Тихом океане. А здешняя приближается по этой таблице к третьему номеру.

Марютка полузакрыла глаза, как будто хотела представить себе таблицу Фореля, раскрашенную разными тонами синевы.

— Здорово синя, приравнять даже трудно. Синя, как...— Она открыла глаза и внезапно остановила жел-

тые кошачьи зрачки свои на ультрамариновых шариках поручика. Дернулась вперед, вздрогнула всем телом, будто открыв необычайное, раскрыла изумленно губы. Прошептала: — Мать ты моя!.. Зенки-то у тебя — точь-в-точь как синь-вода! А я гляжу, что в их такое знаемое, рыбья холера!

Поручик молчал.

Оранжевая кровь пролилась по горизонту. Вода вдали сверкала чернильными отблесками. Потянуло ледяным холодком.

— С востоку тянет,— заворошился Семянный, кутаясь в обрывки шинели.

— Моряна бы не вдарила,— отозвался Вяхирь.

— Ни черта. Часа два пропрем еще — Барсу видать будя. Чо ветер,— там заночевам.

Смолкли. Бот начало подергивать на потемневших свинцовых гребнях.

По сизо-черному мохнатому небу протянулись узкие облачные полоски.

— Так и есть. Моряна прет.

— Должно, скоро Барсу откроем. Слева на пеленге должна быть. Клятое место тая Барса. Со всех боков песок, хоть ты лопни! Одни ветра воют... Трави, стерва, шкоты трави! Это тебе не помочи генеральские!

Поручик не успел вовремя вытравить шкот. Бот резнул воду бортом, и потоком пены хлестнуло по лицам.

— Да я тут при чем? Марья Филатовна на руле зевнула.

— Это я-то зевнула? Опомнись, рыбья холера! С пяти годов на рулю сидю!

Волны нагоняли сзади высокие, черные, похожие на драконьи хребты, хватали за борта шипящими челюстями.

— Эх-эх, мать!.. Скорей бы до Барсы добраться. Темно, не видать ничего.

Вяхирь вгляделся влево. Крикнул радостно, звонко:

— Есть. Вон она, сволочь!

Сквозь брызги и муть замаячила низкая белеющая полоса.

— Правь к берегу,— зыкнул Семянный,— дай бог дойти!

С треском поддало корму, протяжно застонали шпангоуты. Гребень обрушился на бот, налив по щиколотки воды.

— Черпай воду! — визгнула, вскочив, Марютка.

— Черпай?... Черпака черт ма!

— Хвуражками!

Семянный и Вяхирь сорвали папахи, лихорадочно выбрасывали воду.

Поручик мгновение колебался. Снял свою меховую финку и бросился на помощь.

Белая низкая полоса наплывала на бот, становилась плоским, припушенным снежком берегом. Он был еще белее от кипевшей там пены.

Ветер бесился псиным воем, взбрасывал все выше колеблющиеся плескучие холмы.

Бешеным налетом бросился на парус, вздыбил его беременное брюхо, рванул.

Старая холстина лопнула с пушечным гулом.

Семянный и Вяхирь метнулись к мачте.

— Держи концы! — пронзительно взвыла с кормы Марютка, налегая грудью на румпель.

Вихрастая, шумная, ледяная, накатилась сзади волна, положила бот совсем на бок, перекатилась тяжелым стеклянным студнем.

Когда выпрямился, почти до бортов налитый водой, ни Семянного, ни Вяхиря у мачты не было. Хлестал мокрыми отрепьями разорванный парус.

Поручик сидел на дне по пояс в воде и крестился мелкими крестиками.

— Сатана!... Чего смок? Черпай воду! — в первый раз за всю свою жизнь завернула Марютка поручика в многоэтажную ругань.

Вскочил встрепанным щенком, забрызгал водой.

Марютка кричала в ночь, в свист, в ветер:

— Семя-я-анна-аа-ай!.. Вя-яя-яхи-иирь!

Хлестала пена. Не слышно было человеческого голоса.

— Утопли, окаянные!

Ветер нес полузатопленный бот на берег. Кипела вокруг вода. Поддало сзади, и днище шурхнуло по песку.

— Стебай в воду! — кричала Марютка, выскакивая. Поручик вывалился за ней.

— Тащи бот!

Ухватившись за конец, ослепленные брызгами, сбиваемые волной, тащили бот к берегу. Он тяжело врезался в песок. Марютка схватила винтовки.

— Забирай мешки с жратвой! Тащи!

Поручик покорно повиновался. Добравшись до сухого места, Марютка сронила винтовки в песок. Поручик сложил мешки.

Марютка крикнула еще раз в тьму:

— Семянна-ай!.. Вяхи-ирь!.

Безответно.

Она села на мешки и по-бабьи заплакала.

Поручик стоял сзади, часто и гулко лязгая челюстями.

Однако пожал плечами и сказал ветру:

— Черт!.. Совершенная сказка! Робинзон в сопровождении Пятницы!

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

в которой завязывается второй разговор и выясняется вредное физиологическое действие морской воды при температуре +2° по Реомюру [1]

Поручик тронул Марюткино плечо.

Несколько раз пытался говорить, но мешала щелкавшая ознобом челюсть.

Подпер ее кулаком и выговорил:

— Плачем не поможешь. Идти надо! Не сидеть же здесь! Замерзнем!

Марютка подняла голову. Сказала безнадежно:

— Куда пойдешь. На острову мы. Вода вкруг.

— Идти надо. Я знаю, тут сараи есть.

— Откудова ты знаешь? Был тут, что ли?

— Нет, никогда не был. А когда в гимназии учился — читал, что здесь рыбаки сараи строят для рыбы. Нужно найти сарай.

— Ну, найдем, а дале что?

— Утро вечера мудренее. Вставай, Пятница!

Марютка с испугом посмотрела на поручика:

— Никак, рехнулся?.. Господи, боже мой!.. Что ж я делать с тобой буду? Не пятница — середа сегодня.

— Ничего! Не обращай внимания. Об этом потом поговорим. Вставай!

Марютка послушно встала. Поручик нагнулся поднять винтовки, но девушка перехватила его руку:

— Стой! Не шали!.. Слово дал мне, что не убегнешь!

Поручик рванул руку и хрипло, дико захохотал.

— Видно, не я с ума сошел, а ты! Ты сообрази, голова, могу я сейчас думать о побеге? А винтовки хочу понести потому, что тебе тяжело будет.

Марютка притихла, но сказала мягко и серьезно:

— За помочь спасибо. А только приказ мне, чтоб тебя доставить... Не могу, значит, тебе оружия давать, как я в ответе!

---

[1] +2° по Реомюру соответствует +2,5° по Цельсию.

Поручик пожал плечами и подобрал мешки. Зашагал вперед.

Песок, смешанный со снегом, хрустел под ногами. Тянулся без конца низкий, омерзительный своей ровностью берег.

Вдалеке засерело что-то, присыпанное снегом.

Марютка шаталась под тяжестью трех винтовок.

— Ничего, Марья Филатовна! Потерпи! Должно быть, это и есть сараи.

— Скорей бы, силы моей нет. Вся простыла.

Уткнулись в сарай. Внутри была дикая темь, тошнотворно пахло рыбной сыростью и проржавелой солью.

Рукой поручик ощупал кучи сложенной рыбы.

— Ого! Рыба есть! По крайней мере голодать не будем.

— Огня бы!.. Оглядеться. Може, какой угол найдем от ветру? — простонала Марютка.

— Ну, электричества здесь не дождешься.

— Рыбу бы зажечь... Вона жирная.

Поручик опять захохотал.

— Рыбу зажечь?.. Ты правда помешалась.

— Зачем помешалась? — с обидой ответила Марютка.— У нас на Волге сколь ее жгли. Чище дров горит!

— Первый раз слышу... Да зажечь как?.. Трут у меня есть, а щепы на распалку...

— Эх ты, кавалер!.. Видать, всю жизнь у маменьки под юбкой сидел. На, выворачивай пули, а я со стенки лучину подеру.

Поручик с трудом вывернул из трех винтовочных патронов пули окостеневшими пальцами. Марютка в тьме наткнулась на него со щепками.

— Сыпь сюда порох!.. Кучкой... Давай трут!

Трут затлел оранжевой точкой, и Марютка сунула ее в порох. Зашипел, вспыхнул медленным желтым огоньком, зацепил сухие щепочки.

— Готово,— обрадовалась Марютка,— бери рыбу... Сазана пожирней ташши.

На загоревшиеся лучинки сверху легла накрест рыба. Поежилась, вспыхнула жирным жарким пламенем.

— Теперь только подкладай. Рыбы на полгода хватит!

Марютка огляделась. Пламя дрожало бегающими тенями на громадных кучах сваленной рыбы. Деревянные стены были в дырках и щелях.

Марютка прошла по сараю. Крикнула откуда-то из угла:

— Есть цел угол! Подкладай рыбу, чтоб не загасла. Я тут с боков завалю. Чистую комнату устрою.

Поручик сел у костра. Ежился, отогреваясь. В углу шуршала и шлепалась перебрасываемая Марюткой рыба. Наконец она позвала:

— Готово! Ташши огня-то!

Поручик поднял за хвост горящего сазана. Прошел в угол. Марютка с трех сторон навалила стенки из рыбы, внутри образовалось пространство в сажень.

— Залазь, разжигай. Я там в середке наложила рыбин. А я пока за припасом смотаюсь.

Поручик подложил сазана под клетку сложенной рыбы. Медленно, нехотя, она разгорелась. Марютка вернулась, поставила в угол винтовки, сложила мешки.

— Эх, рыбья холера! Ребят жаль. Ни за что утопли.

— Хорошо бы платье просушить. А то простудимся.

— За чем дело стало? От рыбы огонь жаркий. Скидай, суши!

Поручик помялся:

— Вы просушивайте, Марья Филатовна, а я там подожду пока. А потом я посушусь.

Марютка с сожалением взглянула на его дрожащее лицо:

— Ах дурень ты, я погляжу. Барское твое понятие. Чего страшного? Никогда голой бабы не видел?

— Да я не потому... а вам, может, неловко?

— Ерунда! Из одного мяса сделаны. Невесть какая разница! — Почти прикрикнула: — Раздевайся, идол! Ишь зубами, что пулемет. Мука мне с тобой чистая!

На составленных винтовках висело и дымилось над огнем платье.

Поручик и Марютка сидели друг против друга перед огнем, упоенно поворачиваясь к жару пламени.

Марютка внимательно, не отрываясь, глядела на белую, нежную, похудевшую спину поручика. Хмыкнула:

— До чего ж ты белый, рыбья холера! Не иначе как в сливках тебя мыли!

Поручик густо покраснел и повернул голову. Хотел что-то сказать, но, встретив желтый отблеск, кругливщийся на Марюткиной груди, опустил вниз ультрамариновые шарики.

Платье просохло. Марютка набросила на плечо кожушок.

— Поспать нужно. К завтрему, может, стихнет. Счастье — бот-то не потоп. По-тихому, может, когда-нибудь до Сырдарьи допремся. А там рыбалок встренем.

Ты ложись-ка, я за огнем погляжу. А как сон сморит, тебя сбужу. Так и подежурим.

Поручик подложил под себя платье, укрылся полушубком. Тяжело заснул и стонал во сне. Марютка неподвижно смотрела на него.

Пожала плечом.

«Навязался на мою голову! Болезный! Как бы не застудился! Дома небось в бархат-атлас кутали. Эх ты, жизнь, рыбья холера!»

Утром, когда сквозь щели в крыше засерело, Марютка разбудила поручика:

— Слышь, ты последи за огнем, а я на берег схожу. Посмотрю, может, наши-то выплыли, сидят где.

Поручик трудно поднялся. Охватил виски пальцами, глухо сказал:

— Голова болит.

— Ничего... Это с дыму да с устали. Пройдет. Лепешки возьми в мешке, усача поджарь да пошамай.

Взяла винтовку, обтерла полой кожушка и вышла.

Поручик на коленях подполз к огню, вынул из мешка размокшую черствую лепешку. Прикусил, немного пожевал, выронил кусок и мешком свалился на землю у огня.

Марютка трясла поручиково плечо. Кричала с отчаянием:

— Вставай!.. Вставай, окаянный!.. Беда!

Поручиковы глаза широко раскрылись, распахнулись губы.

— Вставай, говорю! Напасть такая! Бот волнами унесло! Пропадать нам теперь.

Поручик смотрел в лицо ей, молчал.

Вгляделась Марютка, тихо ахнула.

Были мутны и безумны поручиковы ультрамариновые шарики. От щеки, прислонившейся бессильно к Марюткиной руке, несло жаром костра.

— Застудился-таки, черт соломенный! Что ж я с тобой делать буду?

Поручик пошевелил губами.

Марютка нагнулась, расслышала:

— Михаил Иванович... Не ставьте единицу... Я не мог выучить... Назавтра приготовлю...

— Чего мелешь-то? — дрогнув, спросила Марютка.

— Трезор... пиль... куропатка... — вдруг крикнул, подскочив, поручик.

Марютка отшатнулась и закрыла лицо руками.

Поручик опять упал, заскреб пальцами по песку.

Быстро-быстро забормотал неразборчивое, давясь звуками.

Марютка безнадежно оглянулась.

Сняла кожушок, бросила на песок и с трудом перетащила на него бесчувственное поручиково тело. Накрыла сверху полушубком.

Съежилась беспомощным комком рядом. По осунувшимся щекам закапали у нее медленные мутные слезы.

Поручик метался, сбрасывая полушубок, но Марютка упорно поправляла каждый раз, закутывая его до подбородка.

Увидела, что завалилась голова, подложила мешки.

Сказала вверх, как будто небу, с надрывом:

— Помрет ведь... Что ж я Евсюкову скажу? Ах ты горе!

Наклонилась над пылающим в жару, заглянула в помутневшие синие глаза.

Укололо острой болью в груди. Протянула руку и тихонько погладила разметанные вьющиеся волосы поручика. Охватила голову ладонями, нежно прошептала:

— Дурень ты мой синеглазенький!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ,
вначале чрезвычайно запутанная, но под конец проясняющаяся

Трубы серебряные, а на трубах висят колокольчики.

Трубы поют, колокольчики звенят нежным таким ледяным звоном.

Тили-динь, динь, динь.

Тили-тили, длям-длям-длям.

А трубы поют свое особенное:

Ту-ту-ту-ту, ту-ту-у-ту.

Несомненно, марш. Конечно, тот самый, что всегда на парадах.

И площадь, солнцем забрызганная сквозь зеленые шелка кленов, та же.

Капельмейстер оркестром управляет.

Стал к оркестру спиной, из разреза шинели хвост выдвинул, большой рыжий лисий хвост, а на кончике хвоста золотая шишечка наверчена, а в шишечку камертон вставлен.

Хвост во все стороны машет, камертон тон задает, указывает корнетам и тромбонам, когда вступать, а зазевается музыкант — тотчас камертон по лбу.

Музыканты вовсю стараются. Занятные музыканты.

Солдаты как солдаты, лейб-гвардии разных полков. Сводный оркестр.

Но ртов у музыкантов вовсе нет... Гладкое место под носом. А трубы у всех в левую ноздрю вставлены.

Правой ноздрей воздух забирают, левой в трубу вдувают, и от этого тон у труб особенный, звонкий и развеселый.

— К це-е-е-ериальному аршу и-отвсь!

— К це-риальному... На пле-е-чо!

— По-олк!

— Ба-тальон!

— Рота-ааа!

— Справа повзводно... Первый батальон шагом... арш!..

Трубы: ту-ту-ту. Колокольчики: динь-динь-динь.

Капитан Швецов лакирашами выплясывает. Зад у капитана тугой, гладкий, что окорок. Дрыг-дрыг.

— Молодцы, ребята!

— Драм-ам, ав-гав-гав!..

— Поручик!

— Поручик! Поручика к генералу!

— Какого поручика?

— Третьей роты. Говоруху-Отрока к генералу!

Генерал на лошади сидит, среди площади. Лицом красен, ус седой.

— Господин поручик, что за безобразие?

— Хи-хи-хи!.. Ха-ха-ха!

— С ума сошли?.. Смеяться?.. Да я вас, да вы с кем?

— Хо-хо-хо!.. Да вы не генерал, а кот, ваше превосходительство!

Сидит генерал на лошади. До пояса — генерал как генерал, а с пояса ноги кошачьи. Хотя бы породистого кота — так нет. Самый дворняга, серые такие, линялые коты, в полоску, по всем дворам на крышах шляются.

И когтями ноги в стремена уперлись.

— Я вас под суд, поручик! Неслыханный случай! В гвардии, и вдруг у офицера пуп навыворот!

Осмотрелся поручик и обомлел. Из-под шарфа пуп вылез, тонкой кишкой такой зеленого цвета, и кончик, пуповина самая в центробежном движении поразительной быстроты мелькает. Схватил пуп, а он вырывается.

— Арестовать его! Нарушение присяги!

Вынул генерал из стремени лапу, когти распустил, тянется ухватить, а на лапе шпора серебряная, и вместо колечка вставлен в шпору глаз.

Обыкновенный глаз. Кругленький, желтый зрачок, остренький такой и в самое сердце поручику заглядывает.

Подмигнул ласково и говорит, как — неизвестно, глаз сам говорит:

— Не бойся!.. Не бойся!.. Наконец-то отошел!

Рука приподняла поручикову голову, и, открыв глаза, увидел он худенькое лицо с рыжими прядями и глаз ласковый, желтый, тот самый.

— Напугал ты меня, жалостный. Неделю с тобой промучилась. Думала, не выхожу. Одни-одинешеньки на острову. Лекарствия никакого, помочь некому. Только кипятком и отходила. Рвало тебя спервоначалу все время... Вода-то паршивая, соленая, кишка ее не принимает.

С трудом входили в поручиково сознание ласковые, тревожные слова.

Он слегка приподнялся, осмотрелся непонимающими глазами.

Кругом рыбные штабеля. Костер горит, на шомполе котелок висит, бурлит водой.

— Что такое?.. Где?..

— Ай забыл? Не узнал? Марюта я!

Тонкой прозрачной рукой поручик потер лоб.

Вспомнил, бессильно улыбнулся, прошептал:

— Да... припомнил. Робинзон и Пятница!

— Ой, опять забредил? Далась тебе пятница. Не знаю, который и день. Совсем со счету сбилась.

Поручик опять улыбнулся.

— Да не день!.. Имя такое... Есть рассказ, как человек после крушения на остров попал необитаемый. И друг у него был. Пятницей звали. Не читала никогда? — Он опустился на кожушок и закашлялся.

— Не... Сказок много читала, а этой не знаю. Ты лежи, лежи тихонько, не шебаршись. Еще опять захвораешь. А я усача сварю. Поешь, подкрепись. Почитай, всю неделю, кроме воды, ничего в рот не взял. Вишь, прозрачный стал, как свечка. Лежи!

Поручик лениво закрыл глаза. В голове у него звенело медленным хрустальным звоном. Вспомнил трубы с хрустальными колокольчиками, засмеялся тихонько.

— Ты что? — спросила Марютка.

— Так, вспомнил... Смешной сон видел, когда бредил.

— Кричал ты во сне чего! И командовал, и ругался... Чего только не было. Ветер свистит, кругом пустота, одна я с тобой на острову, а ты еще не в себе. Прямо страх брал, — она зябко поежилась, — и не знаю, что делать.

— Как же ты справлялась?

— Да вот, справилась. А пуще всего боялась — помрешь ты с голоду. Кроме ж воды, ничего. Лепешки-то, что остались, все тебе в кипятке скормила. А теперь одна рыба кругом. А какая же больному человеку жратва в соленой рыбе? Ну, как завидела, что ты заворочался и глаза открываешь, отлегло.

Поручик вытянул руку. Положил тонкие, красивые, несмотря на грязь, пальцы на сгиб Марюткиной руки. Тихо погладил и сказал:

— Спасибо тебе, голубушка!

Марютка покраснела и отвела его руку.

— Не благодари!.. Не стоит спасиба. Что ж, по-твоему, дать человеку помирать? Зверюка я лесная или человек?

— Но ведь я кадет... Враг. Чего было со мной возиться? Сама еле дышишь.

Марютка остановилась на мгновение, недоуменно дернулась. Махнула рукой и засмеялась:

— Где уж враг? Руки поднять не можешь, какой тут враг? Судьба моя с тобой такая. Не пристрелила сразу, промахнулась, впервой отроду, ну и возиться мне с тобой до скончания. На, покушай!

Она подсунула поручику котелок, в котором плавал жирный янтарный кусок балыка. Запахло вкусно и нежно прозрачное душистое мясо.

Поручик вытаскивал из котелка кусочки. Ел с аппетитом.

— Ужасно только соленая. Прямо в горле дерет.

— Ничего ты с ней не поделаешь. Была б вода пресная — можно вымочить, а то чистое несчастье. Рыба солена — вода солена! Попали в переплет, рыбья холера!

Поручик отодвинул котелок.

— Что? Больше не хочешь?

— Нет. Я наелся. Поешь сама.

— Ну ее к черту! Обрыдла она мне за неделю. Колом в глотке стоит.

Поручик лежал, опершись на локоть.

— Эх... Покурить бы! — сказал он с тоской.

— Покурить? Так бы и говорил. В мешке-то у Семянного махра осталась. Подмокла малость, так я ее высушила. Знала, курить захочешь. У курящего, опосля болезни, еще пуще на табак тяга. Вот, бери.

Поручик взволнованно взял кисет. Пальцы у него дрожали.

— Ты прямо золото, Маша! Лучше няньки!

— Небось без няньки жить не можешь? — сухо ответила Марютка и покраснела.

— Бумаги вот только нет. Твой этот малиновый до последней бумажки у меня все обобрал, а трубку я потерял.

— Бумаги... — Марютка задумалась.

Потом решительным движением отвернула полу кожушка, которым накрыт был сверху поручик, сунула руку в карман, вытащила маленький сверточек.

Развязала шнурок и протянула поручику несколько листков бумаги:

— Вот тебе на завертку.

Поручик взял листки, всмотрелся. Поднял на Марютку глаза. Они засияли недоумевающим синим светом.

— Да это же стихи твои! С ума ты сошла? Я не возьму!

— Бери, черт! Не рви ты мне душу, рыбья холера! — крикнула Марютка.

Поручик посмотрел на нее:

— Спасибо! Я этого никогда не забуду!

Оторвал маленький кусочек с угла, завернул махорку, закурил. Смотрел куда-то вдаль сквозь синюю ленточку дыма, ползшую от козьей ножки.

Марютка пристально вглядывалась в него. Неожиданно спросила:

— Вот гляжу я на тебя, понять не могу. С чего зенки у тебя такие синие? Во всю жизнь нигде таких глаз не видала. Прямо синь такая, аж утонуть в них можно. Правда!.. Еще как тебя в плен забрали, я и подумала: что у него за глаза такие? Опасные у тебя глаза!

— Для кого?

— Для баб опасные. В душу без мыла лезут! Растревоживают!

— А тебя растревожили?

Марютка вспыхнула:

— Ишь черт! А ты не спрашивай! Лежи, я за водой сбегаю.

Поднялась, равнодушно взяла котелок, но, выходя из-за рыбных штабелей, весело повернулась и сказала, как раньше:

— Дурень мой синеглазенький!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ,
в которой ничего не нужно объяснять

Мартовское солнце — на весну поворот.

Мартовское солнце над Аралом, над синью бархатной нежит и покусывает горячими зубами, расчесывает кровь человеку.

Третий день, как стал выходить поручик.

Сидел у сарайчика, грелся на солнышке, кругом посматривал глазами радостными, воскресшими, синими, как синь-море. Марютка весь остров облазила тем временем.

Возвратилась в последний день к закату радостная:

— Слышь! Завтра переберемся!

— Куда?

— Там, подале. Верст восемь отсюда будет.

— Что там такое?

— Рыбачью хибару нашла. Чистый дворец! Сухая, крепкая, даже в окнах стекла не биты. С печкой, посудины кой-какой, битой, черепки — все сгодятся на хозяйство. А главное — полати есть. Не на земле валяться. Нам бы сразу туда дойтить.

— Кто же знал?

— Вот то-то и есть! А кроме всего, находку я сделала. Хороша находка!

— А что?

— Закуточка такая у них там, за печкой. Провизию прятали. Ну и осталось там малость. Рис да муки с полпуда. Гниловата, а есть можно. Должно, осенью, как буря захватила, торопились убираться, забыли впопыхах. Теперь живем не тужим!

Утром перебрались на новое место. Впереди шла Марютка, нагруженная верблюдом. Все на себе тащила, ничего не позволила взять поручику.

— Ну тебя! Еще опять занеможешь. Себе дороже. Ты не бойся! Донесу! Я с виду тонкая, а здоровая.

К полудню добрались до хибарки, вычистили снег, привязали веревкой сорвавшуюся с петель дощатую дверь. Набили полную печь сазана, разожгли, со счастливыми улыбками грелись у огня.

— Лафа... Царское житье!

— Молодец, Маша. Всю жизнь тебе буду благодарен... Без тебя не выжил бы.

— Известно дело, белоручка!

Помолчала, растирая руки над огнем.

— Тепло-тепло... А что ж мы дальше делать будем?

— Да что же делать? Ждать!

— Чего ждать?

— Весны. Уже недолго. Сейчас середина марта. Еще недели две — рыбаки, верно, приедут рыбу вывозить, ну, выручат нас.

— Хорошо бы. Так на рыбе да на гнилой муке мы с тобой долго не вытянем. Недельки две продержимся, а дальше каюк, рыбья холера!

— Что у тебя присказка такая — рыбья холера? Откуда?

— Астраханская наша. Рыбаки так болтают. Это заместо чтоб ругаться. Не люблю я ругаться, а злость мутит иной раз. Вот и отвожу душу.

Она поворошила шомполом рыбу в печке и спросила:

— Ты вот мне говорил про сказку ту, насчет острова... С Пятницей. Чем зря сидеть — расскажи. Страсть я жадная до сказок. Бывало, у тети соберутся бабы, старуху Гугниху приволокут. Ей лет сто, а может, и больше было. Наполевона помнила. Как зачнет сказки говорить, я в углу так и пристыну. Дрожмя дрожу, слово боюсь проронить.

— Это про Робинзона рассказать? Забыл я наполовину. Давно уже читал.

— А ты припомни. Все, что вспомнишь, и расскажи!

— Ладно. Постараюсь.

Поручик полузакрыл глаза, вспоминая.

Марютка разложила кожушок на нарах, забралась в угол у печки.

— Иди садись сюда! Теплее тут, в уголку.

Поручик залез в угол. Печка накалилась, обдала веселым жаром.

— Ну, что ж ты? Начинай. Не терпится мне. Люблю я эти сказки.

Поручик оперся на локти. Начал:

— В городе Ливерпуле жил богатый человек. Звали его Робинзон Крузо...

— А где этот город-то?

— В Англии... Жил богатый человек Робинзон Крузо...

— Погоди!.. Богатый, говоришь? Почему это во всех сказках про богатых да про царей говорится? А про бедного человека и сказки не сложено.

— Не знаю, — недоуменно ответил поручик, — мне это и в голову никогда не приходило.

— Должно быть, богатые сами сказки писали. Это все одно, как я. Хочу стих написать, а учености у меня для него нет. А я бы об бедном человеке написала здорово. Ничего. Поучусь вот, тогда еще напишу.

— Да... Так вот задумал этот Робинзон Крузо путешествовать и объехать кругом всего земного шара. Поглядеть, как люди живут. И выехал из города на большом парусном корабле...

Печка потрескивала, проливался мерными каплями голос поручика.

Постепенно вспоминая, он старался рассказывать со всеми подробностями.

Марютка замерла, восхищенно ахая в самых сильных местах рассказа.

Когда поручик описывал крушение робинзоновского корабля, Марютка презрительно повела плечами и спросила:

— Что ж, значит, все, кроме его, потопли?

— Да, все.

— Должно, дурья голова капитан у них был или нализался перед крушением до чертиков. В жизнь не поверю, чтобы хороший капитан всю команду так зря загубил. Сколь у нас на Каспийском этих крушениев было, а самое большое — два-три человека потонут, а остальные, глядишь, и спаслись.

— Почему? Утонули же у нас Семянный и Вяхирь. Значит, ты плохой капитан или нализалась перед крушением?

Марютка оторопела:

— Ишь поддел, рыбья холера! Ну, досказывай!

В момент появления Пятницы Марютка опять перебила:

— Вот, значит, почему ты меня Пятницей прозвал-то? Вроде как ты — Робинзон этот самый? А Пятница черный, говоришь, был? Негра? Я негру видела. В цирке в Астрахани был. Волосатый, губы — во! Морда страшенная! Мы за им бегали, полы складали и кричим: «На, поешь свиного уха!» Серчал здорово. Каменюгами бросался.

При рассказе о нападении пиратов Марютка сверкнула глазами на поручика:

— Десятеро на одного? Шпана, рыбья холера!

Поручик кончил.

Марютка мечтательно сжалась в комок, прильнув к его плечу. Промурлыкала дремотно:

— Вот хорошо-то. Небось много сказок еще знаешь? Ты мне так каждый день по сказке рассказывай.

— А что? Разве нравится?

— Здорово. Дрожь берет. Так вечера и скоротаем. Все время незаметней.

Поручик зевнул.

— Спать хочешь?

— Нет, ослабел я после болезни.

— Ах ты слабенький!

Опять подняла Марютка руку и ласково провела по волосам поручика. Он удивленно поднял на нее синие шарики.

От них дохнуло лаской в Марюткино сердце. Забвенно склонилась к исхудалой щеке поручика и вдавила в небритую щетину свои огрубелые и сухие губы.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ,

в которой доказывается, что хотя сердцу закона нет, но сознание все же определяется бытием

Сорок первым должен был стать на Марюткином смертном счету гвардии поручик Говоруха-Отрок.

А стал первым на счету девичьей радости.

Выросла в Марюткином сердце неуемная тяга к поручику, к тонким рукам его, к тихому голосу, а пуще всего к глазам необычайной сини.

От нее, от сини, светлела жизнь.

Забывалось тогда невеселое море Арал, тошнотный вкус рыбьей солони и гнилой муки, расплывалась бесследно смутная тоска по жизни, мечущейся и грохочущей за темными просторами воды. Днем делала обычное дело, пекла лепешки, варила очертевший балык, от которого припухали уже круглыми язвочками десны, изредка выходила на берег высматривать, не закрылится ли косым летом ожидаемый парус.

Вечером, когда скатывалось с повесневшего неба жадное солнце, забивалась в свой угол на нарах, жалась, ластясь, к поручикову плечу. Слушала.

Много рассказывал поручик. Умел рассказывать.

Дни уплывали медленные, маслянистые, как волны.

Однажды, занежась на пороге хибарки под солнцем, смотря на Марюткины пальцы, с привычной быстротой обдиравшие чешую с толстенького сазана, сказал поручик, зажмурясь и пожав плечами:

— Хм... Какая ерунда, черт побери!..

— О чем ты, милок?

— Ерунда, говорю... Жизнь вся — сплошная ерунда. Первичные понятия, внушенные идеи. Вздор! Условные значки, как на топографической карте. Гвардии поручик?.. К черту гвардии поручика. Жить вот хочу. Прожил двадцать семь лет и вижу, что на самом деле вовсе еще не жил. Денег истратил кучу, метался по всем странам в поисках какого-то идеала, а под сердцем все сосала смертная тоска от пустоты, от неудовлетворенности. Вот и думаю: если бы кто-нибудь мне сказал тогда, что самые наполненные дни проведу здесь, на дурацком песчаном блине посреди дурацкого моря, ни за что бы не поверил.

— Как ты сказал, какие дни-то?

— Самые наполненные. Не понимаешь? Как бы тебе это рассказать понятно? Ну, такие дни, когда не чувствуешь себя враждебно противопоставленным всему миру, какой-то отделенной для самостоятельной борьбы частицей, а совершенно растворяешься в этой вот, — он широко обвел рукой, — земной массе. Чувствую сейчас, что слился с ней нераздельно. Ее дыхание — мое дыхание. Вот прибой дышит: шурф... шурф... Это не он дышит, это я дышу, душа моя, плоть.

Марютка отложила нож:

— Ты вот говоришь по-ученому, не все слова мне понятны. А я по-простому скажу — счастливая я сейчас.

— Разными словами, а выходит одно и то же. И сейчас мне кажется: хорошо б никуда не уходить с этого нелепого горячего песка, остаться здесь навсегда, плавиться под мохнатым солнцем, жить зверюгой радостной.

Марютка сосредоточенно смотрела в песок, будто припоминая что-то нужное. Виновато, нежно засмеялась:

— Нет... Ну его!.. Я здесь не осталась бы. Лениво больно, разомлеть под конец можно. Счастья своего и то показать некому. Одна рыба дохлая вокруг. Скорей бы рыбалки на лову сбирались. Поди, конец марта на носу. Стосковалась я по живым людям.

— А мы разве не живые?

— Живые-то живые, а как муки на неделю осталась самая гниль, да цинга заест, тогда что запоешь? А кроме того, ты возьми в толк, миленький, что время не такое, чтобы на печке сидеть. Там наши, поди, бьются, кровь проливают. Каждая рука на счету. Не могу я в таком случае в покое прохлаждаться. Не затем армейскую клятву давала.

Поручиковы глаза всколыхнулись изумленно.

— Ты что же? Опять в солдаты хочешь?

— А как же?

Поручик молча повертел в руках сухую щепочку, отодранную от порога. Пролил слова ленивым густым ручейком:

— Чудачка! Я тебе вот что хотел сказать, Машенька: очертенела мне вся эта чепуха. Столько лет кровищи и злобищи. Не с пеленок же я солдатом стал. Была когда-то и у меня человеческая, хорошая жизнь. До германской войны был я студентом, филологию изучал, жил милыми моими, любимыми, верными книгами. Много книг у меня было. Три стенки в комнате доверху в книгах. Бывало, вечером за окном туман петербургский сырой лапой хватает людей и разжевывает, а в комнате печь жарко натоплена, лампа под синим абажуром. Сядешь в кресло с книгой и так себя почувствуешь, как вот сейчас, без всяких забот. Душа цветет, слышно даже, как цветы шелестят. Как миндаль весной, понимаешь?

— М-гм, — ответила Марютка, насторожившись.

— Ну, в один роковой день это лопнуло, разлетелось, помчалось в тартарары... Помню этот день, как сейчас. Сидел на даче, на террасе, и читал, книгу даже помню. Был грозный закат, багровый, заливал все кровяным блеском. С поезда из города приехал отец. В руке газета, сам взволнован. Сказал одно только слово, но в этом слове была ртутная, мертвая тяжесть... Война. Ужасное было слово, кровяное, как закат. И отец прибавил: «Вадим, твой прадед, дед и отец шли по первому зову родины. Надеюсь, ты?..» Он не напрасно надеялся. Я ушел от книг. И ушел ведь искренне тогда...

— Чудило! — кинула Марютка, пожав плечами. — Что же, к примеру, если мой батька в пьяном виде башку об стенку разгвоздил, так и я тоже обязана бабахаться? Что-то непонятно мне такое дело.

Поручик вздохнул:

— Да... Вот этого тебе не понять. Никогда на тебе не висел этот груз. Имя, честь рода. Долг... Мы этим дорожили.

— Ну?... Так я своего батьку, покойника, тоже люблю крепко, а коли ж он пропойца дурной был, то я за его пятками тюпать не обязана. Послал бы прадедушку к прабабушке!

Поручик криво и зло усмехнулся:

— Не послал. А война доконала. Своими руками живое сердце свое человеческое на всемирном гноище, в паршивой свалке утопил. Пришла революция. Верил в нее, как в невесту... А она... Я за свое офицерство ни одного солдата пальцем не тронул, а меня дезертиры на вокзале в Гомеле поймали, сорвали погоны, в лицо плевали, сортирной жижей вымазали. За что? Бежал, пробрался на Урал. Верил еще в родину. Воевать опять за попранную родину. За погоны свои обесчещенные. Повоевал и увидел, что нет родины, что родина такая же пустошь, как и революция. Обе кровушку любят. А за погоны и драться не стоит. И вспомнил настоящую, единственную человеческую родину — мысль. Книги вспомнил, хочу к ним уйти и зарыться, прощения у них выпросить, с ними жить, а человечеству за родину его, за революцию, за гноище чертово — в харю наплевать.

— Так-с!.. Значит, земля напополам трескается, люди правду ищут, в кровях мучаются, а ты байбаком на лавке за печью будешь сказки читать?

— Не знаю... И знать не хочу! — крикнул исступленно поручик, вскакивая на ноги. — Знаю одно — живем мы на закате земли. Верно ты сказала: «Напополам трескается». Да, трескается, трещит старая сволочь! Вся опустошена, выпотрошена. От этой пустоты и гибнет. Раньше была молодой, плодоносной, неизведанной, манила новыми странами, неисчислимыми богатствами. Кончилось. Больше открывать нечего. Вся человеческая хитрость уходит на то, чтобы сохранить накопление, протянуть еще века, года, минутки. Техника. Мертвые числа. И мысль, обеспложенная числами, бьется над вопросами истребления. Побольше истребить людей, чтоб оставшимся надольше хватило набить животы и карманы. К черту!.. Не хочу никакой правды, кроме своей. Твои большевики, что ли, правду открыли? Живую человеческую душу ордером и пайком заменить? Довольно. Я из этого дела выпал! Больше не желаю пачкаться!

— Чистотел? Белоручка? Пусть другие за твою милость в дерьме покопаются?

— Да! Пусть! Пусть, черт возьми! Другие — кому это нравится. Слушай, Маша! Как только отсюда выберемся, уедем на Кавказ. Есть у меня там под Сухумом дачка маленькая. Заберусь туда, сяду за книги, и все к черту. Тихая жизнь, покой. Не хочу я больше правды — покоя хочу. И ты будешь учиться. Ведь хочешь же ты учиться? Сама жаловалась, что неученая. Вот и учись. Я для тебя все сделаю. Ты меня от смерти спасла, а это незабвенно.

Марютка резко встала. Процедила, как ком колючек бросила:

— Значит, мне так твои слова понимать, чтобы завалиться с тобой на пуховике спариваться, пока люди за свою правду надрываются, да конфеты жрать, когда каждая конфета в кровях перепачкана? Так, что ли?

— Зачем же так грубо?— тоскливо сказал поручик.

— Грубо? А тебе все по-нежненькому, с подливочкой сахарной? Нет, погоди! Ты вот большевицкую правду хаял. Знать, говоришь, не желаю. А ты ее знал когда-нибудь? Знаешь, в чем ей суть? Как по́том соленым да слезами людскими пропитана?

— Не знаю, — вяло отозвался поручик. — Странно мне только, что ты, девушка, огрубела настолько, что тебя тянет идти громить, убивать с пьяными, вшивыми ордами.

Марютка уперлась ладонями в бедра. Выбросила:

— У них, может, тело завшивело, а у тебя душа насквозь вшивая! Стыдоба меня берет, что с таким связалась. Слизняк ты, мокрица паршивая! «Машенька, уедем на постельке валяться, жить тихонько», — передразнила она. — Другие горбом землю под новь распахивают, а ты? Ах и сукин же сын!

Поручик вспыхнул, упрямо сжал тонкие губы.

— Не смей ругаться!.. Не забывайся, ты... хамка!

Марютка шагнула и поднятой рукой наотмашь ударила поручика по худой, небритой щеке.

Поручик отшатнулся, затрясся, сжав кулаки. Выплюнул отрывисто:

— Счастье твое, что ты женщина! Ненавижу... Дрянь!

И скрылся в хибарке.

Марютка растерянно посмотрела на зудящую ладонь, махнула рукой и сказала неведомо кому:

— Ишь до чего нравный барин! Ах ты рыбья холера!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ,
в которой поручик Говоруха-Отрок слышит грохот погибающей планеты, а автор слагает с себя ответственность за развязку

Три дня после ссоры не разговаривали поручик и Марютка. Но не уйдешь друг от друга на острове. И помирила весна. Катилась она дружным, жаропышущим натиском.

Уже давно под ударами золотых копыт лопнула тонкая снежная броня на острове. Стал он мягким, яркожелтым, канареечным на темном стекле густой воды.

Песок в полдень обжигал ладони, и больно было до него дотронуться.

В грузной синеве золотым пылающим колесом ярилось промытое талыми ветрами солнце.

От солнца, от талого ветра, от начинавшей мучить цинги оба совсем ослабели. Не до ссор было.

По целым дням валялись на берегу в песке, неотрывно смотрели на густое стекло, искали воспаленными глазами паруса.

— Нет больше моего терпения! Ежели через три дня рыбалок не будет, ей-пра, пулю себе пущу! — простонала отчаянно Марютка, вглядываясь в равнодушную тяжелую синь.

Поручик засвистел легонько.

— Меня слизняком и мокрицей называла, а сама сдаешь? Терпи — атаманом будешь! Тебе же одна дорога — в атаманы разбойничьи.

— А ты чего старое поминаешь? Ну и заноза! Было и сплыло. Ругала потому, что стоило ругать. Распалилось сердце, что тряпка ты мокрая, цыпленок. А мне и обидно! Навязался же ты на мою голову, смутил, все нутро вытянул, черт синеглазый.

Поручик с хохотком опрокинулся спиной в горячий песок, задрыгал ногами.

— Ты чего? Сдурел? — заворошилась Марютка.

Поручик хохотал.

— Эй, чумелый! Да говори же!

Но поручик не унимался, пока Марютка не ткнула кулаком в бок.

Поднялся, вытер смешливые слезинки на ресницах.

— Ну, чего ржешь?

— Хорошая ты девушка, Марья Филатовна. Кого угодно развеселишь. Мертвец с тобой плясать пойдет!

— А то? По-твоему, лучше вихляться, как бревну в

полынье, ни к тому бережку, ни к другому? Чтоб самому мутно было и другим тошно?

Поручик снова визгнул смехом. Похлопал Марютку по плечу:

— Исполать тебе, царица амазонская. Пятница моя любезная. Перевернула ты меня, жизненного эликсира влила. Не хочу больше вихляться, как бревно в полынье, по твоему образному словарю. Сам вижу, что рано мне еще думать о возврате к книгам. Нет, пожить еще нужно, поскрипеть зубами, покусаться по-волчьи, чтоб кругом клыки чуяли!

— Что? Неужели в самом деле поумнел?

— Поумнел, голубушка! Поумнел! Спасибо — научила! Если мы за книги теперь сядем, а вам землю оставим в полное владение, вы на ней такого натворите, что пять поколений кровавыми слезми выть будут. Нет, дура ты моя дорогая. Раз культура против культуры, так тут уж до конца. Пока...

Он оборвал, захлебнувшись.

Ультрамариновые шарики уперлись в горизонт, сжались радостным пламенем.

Вытянул руки и сказал тихо, дрогнувшим голосом:

— Парус.

Марютка вскочила, подброшенная внутренним толчком, и увидела:

Далеко-далеко, на индиговой черточке горизонта, вспыхивала, дрожала, колебалась белая искорка — треплемый ветром парус.

Марютка ладонями туго сжала задрожавшую грудь, впилась глазами, не веря еще долгожданному.

Сбоку подпрыгнул поручик, схватил руки, отнял их от груди, заплясал, завертев Марютку вокруг себя.

Плясал, высоко взбрасывая тонкие ноги в изорванных штанах, и пел пронзительно:

> Бе-ле-ет па-рус о-ди-но-кий
> В ту-ма-не моря го-лу-бом-бом-бом...
> Бим-бам. Бом-бом,
> Голу-бом!

— Ну тебя, дурной! — вырвалась запыхавшаяся, радостная Марютка.

— Машенька! Дурища моя дорогая, царица амазонская. Спасены ведь! Спасены!

— Черт шалый! Небось сам теперь захотел с острова в жизнь людскую?

— Захотел, захотел! Я же тебе говорил, что захотел!

— Постой!.. Подать им знак надо! Позвать!

— Чего звать? Сами подъедут.

— А вдруг на другой остров едут? Немаканы говорили: тут островов гибель. Могут мимо пройти. Тащи винтовку из хибары!

Поручик бросился в хибару. Выбежал, высоко взбрасывая винтовку.

— Не дури! — крикнула Марютка. — Жарь три штуки подряд.

Поручик приставил приклад к плечу. Выстрелы глухо рвали стеклянную тишину, и от каждого удара поручик шатался и только сейчас понял, до чего ослабел.

Парус уже был виден ясно. Большой, розовато-желтый, он несся по воде крылом веселой птицы.

— Черт-и што, — проворчала, вглядываясь, Марютка. — Что оно за суденышко такое? На рыбалку не похоже, здоровое больно.

На судне услыхали выстрелы. Парус шатнулся, перелетел на другую сторону и, накренясь, понесся линией к берегу.

Под розово-желтым крылом выплыл из сини черный низкий корпус.

— Не иначе, должно быть, объездчика промыслового бот. Только кто ж на нем мотается в такую пору, не пойму? — бормотала тихонько Марютка.

Саженях в пятидесяти бот снова лег на левый галс. На корме приподнялась фигура и, приставив руки рупором, закричала.

Поручик дернулся, перегнулся вперед, бросил с маху в песок винтовку и в два прыжка очутился у самой воды. Протянул руки, ополоумело закричал:

— Урр-ра!.. Наши!.. Скорей, господа, скорей!

Марютка воткнула зрачки в бот и увидела... На плечах человека, сидевшего у румпеля, золотом блестели полоски.

Метнулась всполошенной наседкой, задергалась.

Память, полыхнув зарницей в глаза, открыла кусок.

Лед... Синь-вода... Лицо Евсюкова. Слова: «На белых нарветесь ненароком, живым не сдавай».

Ахнула, закусила губы и схватила брошенную винтовку.

Закричала отчаянным криком:

— Эй, ты... кадет поганый! Назад!.. Говорю тебе — назад, черт!

Поручик махал руками, стоя по щиколотки в воде.

Внезапно он услыхал за спиной оглушительный торжественный грохот гибнущей в огне и буре планеты. Не успел понять почему, прыгнул в сторону, спасаясь от катастрофы, и этот грохот гибели мира был последним земным звуком для него.

Марютка бессмысленно смотрела на упавшего, бессознательно притопывая зачем-то левой ногой.

Поручик упал головой в воду. В маслянистом стекле расходились красные струйки из раздробленного черепа.

Марютка шагнула вперед, нагнулась. С воплем рванула гимнастерку на груди, выронив винтовку.

В воде на розовой нити нерва колыхался выбитый из орбиты глаз. Синий, как море, шарик смотрел на нее недоуменно-жалостно.

Она шлепнулась коленями в воду, попыталась приподнять мертвую, изуродованную голову и вдруг упала на труп, колотясь, пачкая лицо в багровых сгустках, и завыла низким, гнетущим воем:

— Родненький мой! Что ж я наделала? Очнись, болезный мой! Синегла-азенький!

С врезавшегося в песок баркаса смотрели остолбенелые люди.

Ленинград, март, 1924 год

ДМИТРИЙ ФУРМАНОВ

КРАСНЫЙ ДЕСАНТ

Повесть

Осенью, в августе 1920 года, Врангель из Крыма перебросил на Кубань несколько тысяч своих лучших войск. Этими войсками командовал Улагай — один из ближайших сподвижников Врангеля. Цель переброски заключалась в том, чтобы поднять на восстание против Советской власти кубанское казачество, свергнуть ее и начать морем переправку хлеба в Крым. Белый десант высадился в трех пунктах Азовского побережья и сразу пошел вперед свободно, быстро, почти не встречая препятствий, занимая один поселок за другим, все ближе и ближе подвигаясь к сердцу области — Краснодару.

Взволновалась, встревожилась Кубань. Ощетинилась полками 9-й армии, наспех сколоченными отрядами добровольцев: один только Краснодар в эти неспокойные дни выставил шесть тысяч рабочих-добровольцев! Улагаевский десант шел победоносным маршем и ждал со дня на день, что восстанет казачество и тысячами, десятками тысяч, создавая партизанские отряды, станет к нему примыкать, помогать ему наскакивать на тылы Красной Армии, громя их и уничтожая. Но ничего подобного не случилось. Измученное долгими испытаниями гражданской войны, убедившееся в подлинной силе Красной Армии, в могуществе Советской власти, казачество кубанское не верило в успех улагаевской затеи, держалось спокойно и на помощь к нему не подымалось. Правда, не по душе была зажиточным казакам продовольственная разверстка, не по душе было запрещение вольной торговли, запрещение эксплуатации работников-батраков, но даже при всем этом недовольстве богачи казаки не осмеливались выступать против Советской власти, как выступали они против нее в 1918 году. И все же опасность от белого десанта была

велика. Надо было торопиться его остановить, задержать, а потом ударить и отогнать...

«Не прогнать, а уничтожить!» И Кубань готовилась лихорадочно к этой новой трудной задаче.

В двадцатых числах августа неприятель стоял всего в сорока или пятидесяти верстах от областного центра, Краснодара. Был принят целый ряд срочных мер. В числе этих мер — посылка красного десанта по рекам Кубани и Протоке к неприятелю в тыл, верст на сто пятьдесят от Краснодара, к станице Ново-Нижестеблиевской: там находился тогда штаб генерала Улагая, командовавшего белым десантом. Начальником красного десанта был назначен тов. Ковтюх, комиссаром назначили меня.

Нашей задачей было — нанести неприятелю внезапный стремительный удар в тылу, вырвать у него инициативу наступления, произвести панику, разрушить все планы...

Операция удалась.

На Кубани, у пристани, стояли три парохода: «Илья Пророк», «Благодетель» и «Гайдамак». Пароходишки дрянные, старые, на ходу тяжелые: через силу протаскивались по семь-восемь верст в час. На этих пароходах и на четырех баржах должен был отправиться в неприятельский тыл наш красный десант.

Целый день до вечера на берегу царило необыкновенное оживление: за несколько часов надо было собрать живую силу, вооружиться, запастись продовольствием, что можно — починить... Подъезжали автомобили, скакали кавалеристы, подвозили артиллерию и отчаянно галдели, возясь с нею на песчаном скате; гремя и дребезжа, врывались в говорливую сутолоку военные повозки с хлебом, фуражом, со снарядами; по чьей-то неслышной команде подбегали кучки красноармейцев, живо взваливали на спины тугие мешки и, согнувшись дугою, качались на речных подмостках, пропадали в сияющих темных дырах пароходов... Ящики со снарядами брали по двое, а те, что потяжелее, — и по четверо, тихо снимали, тихо несли, тихо спускали на землю, — такова была команда: «Снарядов не бросать!» Ну зато уж над хлебными караваями потешились вволю; их, словно мячики, перебрасывали из рук

в руки, старались друг дружку загнать, опередить в ловкости и быстроте. А иной раз эти мячики давали здоровенного тумака зазевавшемуся ротозею и через его голову проскальзывали в руки дальнего соседа, ждавшего с лукавой усмешкой.

Одному такому ротозею, стоявшему на подмостках, над водой, сбили фуражку прямо в реку, дружно хохотали, острили.

— Эка буря поднялась, одежу рвет... — кричит один.

— Плыви скорей, что смотришь! — горланит другой.

А третий, показывая на лодку, смеется:

— Эй, ударь веслами, попытай счастья...

После этого случая ребята поснимали шапки: те, что были на берегу, бросили их на землю, а стоявшие на подмостках и близко к воде пихали за пазуху, за пояса.

Погрузка продолжалась. Подходили новые команды оживленными стройными рядами, а потом расплывались, пропадали в толпе, — и эти новые также начинали бегать, таскать, браниться, хохотать. С инструментами в руках и на плечах, готовая к работе, подошла рабочая артель и, пошучивая, пересмеиваясь с красноармейцами, исчезла в прожорливой пасти парохода. Вездесущие торговки продавали на берегу спелые сочные арбузы; мальчишки, юркие и горластые, шныряли повсюду и предлагали нараспев папиросы. Шпалерами стояла в отдалении бездельничающая публика, недоуменно смотрела на все эти приготовления, выспрашивала, высматривала, вынюхивала. Потом каждый разносил по городу вздорные слухи, уверяя, что видел все «своими собственными глазами». Были тут, как это водится, шпионы, но даже и они не могли проникнуть в тайну таких по виду шумных, открытых и в то же время совершенно секретных приготовлений: что за суда, кого, зачем и куда они везут — этого не знал никто. Тайну мы не раскрывали целиком даже командному составу, даже ответственным работникам.

Тайна в нашем деле была крайне необходима. Тайну надо было хранить крепко, ибо, выпорхнув в Краснодаре, она через несколько часов опустилась бы в улагаевском штабе.

За время гражданской войны белое казачество отлично приучилось поддерживать свой казачий «узун-кулак» (так называется у киргизов Семиречья обычай всякое важное событие немедленно передавать от кишлака к кишлаку. Получил киргиз весть — вскакивает

на коня, мчится по равнинам, пробирается по горным тропкам — и в результате за короткое сравнительно время вся пустынная и дикая округа оповещена). Если бы Улагай заранее узнал про красный десант — всей операции нашей была бы грош цена: приготовиться к встрече и обезвредить нас не стоило бы ему ровным счетом никаких трудов — речные мины, десятка полтора пулеметов в камыши да два-три орудия, взявшие на картечь,— вот и могила десанту: в узкой реке трудно было бы спастись.

Тайна была соблюдена.

Вопросы любопытных разбивались о мычание незнающих. А бойцы — эти даже и не любопытствовали; разве только какой-нибудь курносый и веснушчатый пулеметчик Коцюбенко толкнет локтем соседа и молвит:

— На подмогу? А?

— Известно, не против своих, — оборвет его недовольный сосед.

На этом разговор и кончается.

Красноармейцы были набраны молодец к молодцу: добровольцы, члены профессиональных союзов, рабочие, комсомольцы, партийно-мобилизованные — словом, такие ребята, с которыми можно было начинать любое трудное дело. Всего набралось восемьсот штыков, девяносто сабель, десяток пулеметов да артиллеристов около макленовского взвода и двух легких полевых орудий. Отряд небольшой, но ядреный.

После обеда, часам к четырем, все уже было готово к отплытию: втащили последние ящики снарядов, загнали автомобили, завели усталых, взмыленных коней.

Дожидались — не подойдут ли медикаменты, но с этим добром в подобных случаях уж, видимо, конец всегда один: не подошли. И ехать пришлось, можно сказать, с совершенно пустяковыми запасами.

На баржи, на пароходы втащили подмостки, побросали грязные мокрые канаты... Бабы закатывали в мешки непроданные арбузы, взваливали на плечи, уходили. Берег пустел, зеваки расходились... На баржах, где навалены были седла, мешки, канаты, сено, арбузы, солдатские сумки, — в самых разнообразных позах расположились бойцы: грудно, шумно, весело.

На одной барже, у самого борта, свесив ноги, сидел Ганька из комсомола, по профессии наборщик. Ему восемнадцать лет. Лицо у Ганьки хорошее, чистое, а глаза светлые и умные. Он хорошо умеет играть на ги-

таре, легок на ноги, отлично пляшет и поет звучно, широко и свободно. Ганьку из комсомола хотели направить в студию — развивать свои таланты, да тут вот приплыл Улагай, — не до ученья, надо идти воевать. Он даже и не раздумывал над тем, идти ему или остаться. Когда в комсомоле объявили набор добровольцев, он записался одним из первых и ни на секунду не знал колебания, — наоборот, всеми чувствами, мыслями и волей вдруг напрягся в ожидании чрезвычайных, удивительных событий. Он на фронте еще не бывал никогда и представлял себе этот фронт совершенно фантастически.

Ганька молчал, плевал на воду и любовался, как крошечные рыбки подскакивали и глотали его белую, творожную слюну.

Позади Ганьки на корточках сидел матрос Леонтий Щеткин. Глаза как у совы, круглые, водянистые, когда надо — добрые, а когда и жестокие. Острижен наголо; широкая открытая грудь загорела, как медный таз. Щеткин молча озирался кругом, пускал залпами махорочный дым и долбил себя кулаком по колену...

Около самых его ног на куче сена покоилась черная кудрявая голова Танчука, лихого наездника, красивого бледнолицего белоруса. Самым дорогим существом на этой барже был для Танчука его пегий конь, именем Юсь.

Отчего он назвал его Юсь — и сам объяснить не мог, но уж, верно, потому, что, когда Танчук произносил часто: «Юсь-юсь-юсь», получался свист, и это ему нравилось: он начинал прихлопывать, притопывать и высвистывать плясовую. Дважды раненный, Юсь неоднократно спасал жизнь своему бледнолицему седоку и уносил его даже от быстроногих казацких коней.

Танчук лежал с открытыми глазами, глотал арбузную корку, сопел и отплевывал в сторону.

Рядом стоял эскадронный, по фамилии Чобот, — высокий, мускулистый, могучий. Полуголодное бродяжничество из города в город, из конца в конец по широкой Руси, нескладная семейная жизнь — ничто не убило в нем бодрого духа, какого-то ясного, торжественного отношения к жизни. Казалось, будто у этого человека никогда не было и нет ни несчастий, ни горя; будто у него одна сплошная радость, которая так вот открыто льется на волю и сквозит во всем: в его словах, в его движениях, в его манере обращаться с людьми и в том, как легко и весело берется он за всякое дело.

Чобот стоял, чему-то улыбался — верно, своим мыслям — и смотрел вверх по Кубани...

Тут же был веснушчатый желторотый Коцюбенко. Жиденький, маленький — он словно врастал в землю и становился еще меньше, когда начинал что-нибудь говорить своим глухим, могильным голосом. Бедняга был болен чахоткой. Лечился, но мало, плохо, неисправно. Страшная болезнь подбирала его под себя, готовилась удушить. Коцюбенко это знал и, когда был один, становился мрачен, тосклив и задумчив. А на людях все торопился во всем и всех перекричать, но как-то невинно, как-то незлобно — и на это никто не обижался. Когда он силился «громыхнуть», как острил про него огромный Чобот, все невольно притихали, и на лицах появлялась терпеливая, снисходительная улыбка.

— Ишь черт, не балуй! — крикнул Танчук, увидев, как Юсь прицеливался укусить соседа мерина.

Юсь остановился, словно вдумываясь в то, что услышал, дернул два-три раза теплыми шелковистыми ушами и отвернулся от мерина.

— То-то, — объявил торжественно Танчук.

— А что — «то-то»? — спросил усмешливо Чобот.

— Не видишь? Слово понимает...

— Ну, вижу: стоит как стоял, — поддразнивал Чобот.

— Грызть хотел, ерыга...

— Все чего-нибудь хотят, — философически брякнул Щеткин.

На минутку все замолчали.

— Товарищи, — обернулся к ним Ганька, — а верно, что лошадь привыкает к хозяину и понимает, что он ей говорит, правда? А?

— Так вон, хоть бы сейчас... — начал было Танчук.

— Ясно, — прогремел Чобот, перебивая его. — Иной скажешь — дескать, посторонись-ка, а она и жмякнет тебе копытом на ногу... все понимает, да еще как...

— Нет, товарищи, понимает, — вмешался Коцюбенко, — только кормить надо. Ты кормишь, тебя и понимает. И слушает одного тебя. У отца вороной жеребец — одного его подпускал, а соседу, Антипу, руку прогрыз, мясо вырвал... Один отец ходил — с ним, как ягненок...

— Кто кормит, тот любит, — поддержал его Ганька. — А любовь все понимают. Поди-ка пни лошадь ни за что, думаешь, не обидится? Как же... Сразу поймет...

А холку потрепли — замрет, ждет, что станут еще трепать... Все, братец, понимает.

— Непременно так,— поддержал и Танчук.

По берегу шла девушка в розовом платке; она смотрела на баржи и кого-то, видимо, искала.

— Ай, Дуня-Груня, — крикнул Чобот, — не видишь, что ли?

Девушка улыбнулась и шла дальше.

— Хоть платочек на дорогу подари, — смеялся он.

— И глядеть-то не хочет, — ввернул Щеткин.

— Тебя видит, пугается... — бросил Чобот.

— Сам-то хорош, кобыла березовая...

Все рассмеялись.

— Ганька, — сказал Коцюбенко, — хочешь, гармошку принесу, петь будешь?

— Чего же не петь, буду, — согласился Ганька.

Коцюбенко пропал среди мешков и коней и скоро воротился с гармонью. Сел на бревно и, как полагается, минуту или две пробовал голоса, тянул ноты, мурлыкал что-то про себя, брал всевозможные аккорды.

— Ну, что? — вытянулся он вопросом к Ганьке.

— Что хочешь...

— Давай — «За острова на стержень»...

— На стрежень, — поправил Ганька. — Только помогать — один не стану...

— Начинай! — согласились разом Чобот и Танчук.

Ганька запел. Сначала тихо, будто пробуя и приноравливаясь, потом громче, громче, громче...

Он уже поднялся на ноги, лицом обернулся к реке и пел не людям — волнам Кубани.

Гармошка подыгрывала плохо; Коцюбенко почти совсем не умел на ней играть, но это дела не портило. Пока Ганька запевал — Коцюбенко притихал, вслушиваясь в серебряный Ганькин голос, а когда он хотел дать гармошке ход — было уже поздно: ребята подхватывали громовыми голосами вторую половину куплета и не давали Коцюбенке проявить себя как следует... Уж вся баржа пригрудила к певцам и слилась с ними в общей песне... Ганька заканчивал и повторял первый куплет:

Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны...

Бурею вырвались грудные, сильные голоса:

Выплывают расписные
Стеньки Разина челны...

В эту минуту певцов качнуло в сторону. Пароходы — незаметно, бесшумно, без свистков — снялись с места, отчалили от берега, потянули за собой баржи...

Словно огромные чудовища, длинной лентою вытянулись суда по реке. Было в этом зрелище что-то одновременно и торжественное и жуткое: отряд уплывал в неприятельский тыл.

Этого никто не знал, но уже чувствовали и понимали все по характеру стремительных сборов, что предстоит что-то значительное и очень важное. Беззаботная веселость, царившая на баржах и пароходах, пока они стояли у берега, уступала теперь свое место какому-то трезво-напряженному и сосредоточенному состоянию. Это была не трусость, не растерянность, не малодушие — это была непроизвольная психологическая подготовка к грядущему серьезному делу. Во взглядах, коротких и полных мысли, в движениях, быстрых и нервных, в речах, обрывистых и сжатых, — во всем уже чувствовалось нечто новое, чего совершенно не было, пока стояли у берега; это состояние нарастало прогрессивно по мере продвижения и принимало все более и более определенные формы мучительного ожидания.

На пароходах, где в общем и целом про операцию знали больше, чем на баржах, все повысыпали на верхние палубы и, показывая в разные стороны, определяли, где находится теперь неприятель, где расположено то или иное болото, где проходят дороги и тропы...

Кубань кружилась и вилась между зелеными берегами. Вот уже миновали корниловскую могилу — крошечный холмик на самом берегу. Все знакомые, такие памятные, исторические места! Эти берега сплошь политы кровью: здесь каждую пядь земли отбивали с горячим боем у царских генералов наши красные полки.

Дальше, все дальше плывет отряд...

Широкими темными пятнами раскинулись в отдалении станицы. Лесу нет — кругом идут просторные, теперь уже пустые, сжатые поля.

Кое-где трава особенно сочна и зелена — это болота; порою встречаются камышовые заросли; но здесь их еще немного — они будут дальше, в завтрашнюю ночь; изредка блеснет свинцовое лоно лимана — вокруг него ютятся, как пасынки, мелкие, корявые, уродливые кустарники...

Все ниже и ниже опускается темная августовская ночь. Вот уже и берега пропали; вместо них остались по краям какие-то однообразные смутные полосы: ни

трав, ни камышей, ни кустарника — не видно ничего. Медленно движется караван судов. Передом, как собачонка перед сердитым хозяином, юлит и кружится во все стороны моторная лодка: ей дана задача все видеть, все слышать, знать все, что ожидает впереди, а главным образом высматривать — нет ли попрятанных мин.

Эта первая ночь еще не грозила большими опасностями: надо было к утру добраться до станицы Славянской, что верстах в семидесяти — восьмидесяти от Краснодара, если считать по воде. В Славянской — наши; берега, следовательно, до самой станицы должны быть тоже наши. Впрочем, это последнее предположение может быть и ошибочным: неприятель, отлично зная места, все потаенные дорожки и камышовые тропы, часто заскакивал в наш тыл и оказывался там, где его совсем не ожидали. Так мог он и теперь заскочить на эти берега, мимо которых мы проплывали. Но тихо: ни стрельбы, ни шума. Только слышны всплески воды под колесами пароходов, да изредка конь заржет, обиженный беспокойным соседом.

Опустели палубы пароходов — люди спустились в каюты. Сидели молча, говорить не располагало. Иные дремали, просыпаясь при каждом толчке; иные сидели, упершись взорами в темные стекла, и курили одну цигарку за другой. На баржах тоже тихо: притулившись к седлам, к мешкам, к повозкам или прижавшись друг к другу — спят красные бойцы. Сопят и храпят вперегонки: закрыв глаза, чрезвычайно странно послушать этот своеобразный концерт. Что-то фыркает и хрипит внутри пароходов, но так сдержанно, так тихо, что едва ли слышно на берегу. Все дальше и дальше плывет наш красный караван. Когда густая мгла стала подниматься от земли, а на востоке чуть забрезжила заря — мы подплывали к Славянской.

У самой станицы, над рекою, — огромный железнодорожный мост. Его взорвали белые, когда увидели, что положение их безнадежно. Чудовище рухнуло в воду, но крайние пролеты устояли и под углом накренили средний пролет, лежавший на дне. Под этими крайними пролетами и надо было провести наши суда. Задача нелегкая, ибо река здесь сильно обмелела. Работы хватило до самого вечера: вымеривали, выщупывали, проверяли каждый шаг. Наконец все готово к отплытию. Разместились новые бойцы, которых забрали из Славянской. Теперь уже всех набиралось около полу-

тора тысяч человек. Погрузили кое-что из припасов — и снова в путь. Десант разбили на три эшелона. Во главе каждого поставили на время пути своего начальника; разъяснили, что предстоит за путь, чего можно ночью ожидать.

Лишь только смерклось, так же тихо и бесшумно, как вчера, отчалили от берега тяжелые пароходы. В станице никто не заметил отхода: весь день она была оцеплена войсками — ни в станицу, ни из нее никого никуда не пускали. Тайна и здесь была сохранена.

Тайна спасла жизнь красному десанту.

От Славянской до Ново-Нижестеблиевской, где стоял улагаевский штаб, по Протоке считается верст восемьдесят. Ехать надо целую ночь. Время было рассчитано таким образом, чтобы к месту высадки попасть на рассвете, в тумане, когда все еще погружено в глубокий сон. Врага застать надо было врасплох, появиться совершенно неожиданно.

Эту последнюю мучительную ночь никогда не забыть участникам похода. Пока ехали до Славянской — здесь все-таки были свои места, и неприятелю проникнуть сюда было трудно. А вот теперь, за Славянской — среди лиманов и плавней, по зарослям и камышам, которыми укутаны мокрые низкие берега, — там всюду кишат вражьи дозоры и разъезды.

Положение крайне опасное. В таком положении и меры принимать надо было особенные.

Перед тем как отплыть пароходам, на берегу собрались в кучу руководители отряда и совещались о необходимых мерах предосторожности. Тут был начальник Ковтюх, имя которого так неразрывно связано с Таманской армией. Эту многострадальную армию по горам и ущельям он выводил в 1918—1919 годах из неприятельского кольца. Кубань, а особенно Тамань, отлично знают и помнят командира Епифана Ковтюха. Сын небогатого крестьянина из станицы Полтавской, он за время гражданской войны потерял и все то немногое, что имел: хату белые сожгли дотла, а имущество разграбили начисто. Всю революцию Ковтюх — под ружьем. Немало заслуг у него позади. Да вот и теперь: Кубань в опасности, надо кому-то кинуться в самое пекло, пробраться во вражеский тыл, надо проделать не только смелую — почти безумную операцию. Кого же выбрать? Епифана Ковтюха. У него атлетическая, коренастая фигура, широкая грудь. Большие рыжие усы словно для

того лишь и созданы, чтобы он их щипал и крутил, когда обдумывает дело. А в тревожной обстановке он все время полон мыслями. И в эти минуты уже не говорит — командует. Зорки серые светлые глаза; чуток слухом, крепок, силен и ловок Ковтюх. Он из тех, которым суждено остаться в памяти народной полулегендарными героями. Вокруг его имени уже складываются были и небылицы, его имя присоединяют красные таманцы ко всяким большим событиям. Стоит Ковтюх на берегу и машинально, сам того не замечая, все дергает и дергает широкий рыжий ус.

С ним рядом стоит первый, ближайший, лучший помощник — Ковалев. Ему перекосило от контузии лицо, на сторону своротило скулу, оттянуло верхнюю губу. Не запомнить Ковалеву, сколько раз побывал он в боях, сколько раз ходил в атаку. Даже не подсчитает точно и того, сколько раз был поранен: не то двенадцать, не то пятнадцать. Я не знаю, есть ли у него живое место, куда не шлепнулась бы пуля, не ударился бы осколок снаряда или взметнувшаяся земля. И как только выжил человек — не понять. Худой, нездоровый, с бледным, измученным лицом, обрамленным мягкой шелковистой бородой, он представляет собой образец истинного воина: по своей постоянной готовности к любому, самому рискованному делу, по своей дисциплинированности, по личному мужеству и благородству. Числясь в полной отставке, он никак не мог оставаться вне боевой обстановки и теперь направлялся с нами совершенно добровольно на опасное дело.

Я видел его потом в бою — такой же веселый, ровный, как всегда. Самое большое дело он совершал с неизменным хладнокровием и докладывал об этом деле, как о пустяке, не стоящем внимания. Таких Ковалевых, чуть заметных, но подлинных героев, — много в Красной Армии. Но они всегда скромны, о себе молчат, на глаза начальству не лезут — и остаются в тени.

Против Ковалева — командир артиллерии Кульберг. Я ближе узнал его лишь потом, в горячем бою, когда у нас все было поставлено на карту; такой твердости, такой настойчивости можно позавидовать: кремень — не человек. А посмотреть — словно козел в шинели, да и голос как козлиный: дрожит, дребезжит, рассыпается горохом.

Были еще два-три командира. Совещались недолго: почти все было решено и придумано еще днем.

— Позовите Кондру, — приказал Ковтюх.

— Кондра... Кондра... Кондра...— покатилось из уст в уста.

Быстрой твердой поступью подходит Кондра:

— Явился, что прикажете?

Любо посмотреть на бравого молодца: глаза горят отвагой, а рука то и дело опускается на эфес кривой чеченской шашки. На самом затылке мохнатая белая шапка: открылся чистый высокий лоб, еще яснее стали ясные, быстрые глаза.

— Слушай, Кондра,— сказал Ковтюх.— Ты должен знать, что дело, на которое идем,— опасное дело. По плавням белые. Куда ни глянь — в камышах, по луговинам, над лиманами — у них везде стоят, разъезжают дозоры... Знаешь ты эти места?

— Ну кто же их знает, как не я?— осклабился Кондра.— До самого Ачуева, до моря,— тут все болота, все дорожки знакомые... Ходил, знаю...

— А знаешь, так вот что,— молвил Ковтюх,— нам некогда медлить... Суда готовы плыть. Надо взять тебе десятка три-четыре лучших из ребят, самых смелых да и место знающих,— взять их с собой и — фью...— Ковтюх свистнул и пальцем указал куда-то неопределенно вперед.

— Понимаю...

— А понимаешь — и толковать больше не будем. Возьмешь погоны офицерские, кокарды, светлые пуговицы: у меня все заготовлено... А ну!— обратился он к одному из стоявших.

Тот мигом к пароходу и скоро вернулся с небольшим узелком.

— Бери,— подал Ковтюх Кондре узелок.— Только живо: разукрашиваться будете не здесь — когда отъедете. Выдели надежного — он поедет по левому берегу, дашь ему человек десяток — тут не так опасно. А сам направо. Оглядывайся, не проморгай. Коли что неладно — знаешь наши сигналы? Держись ближе самого берега.

— Понимаю...

— Так запомни: ежели не очистишь берегов — нам назад не возвращаться...

— Так точно... Можно идти?

— Иди... Да живо...

Кондра так же быстро, как и появился, исчез на барже. Скоро стали сводить коней. Потом сбились в кучу. Потолковали с минуту, разбились на две партии...

И видно было, как быстрою рысью поехал Кондра, а за ним человек двадцать пять бойцов.

В другую сторону отделилась группа человек в пятнадцать, и во главе ее узнал я Чобота: могучий, широкий — как богатырь сидел он на рослом вороном коне. А рядом с ним Ганька — худенький, гибкий, как тополевый сучок. Со всех судов смотрели молча красноармейцы вслед удалявшимся товарищам; не спрашивали, не допытывались — все было понятно и так; не было ни шуток, ни смеха.

Отъехал Кондра версты полторы, спешился со своими ребятами и говорит:

— Вот тут разбирайте, кому что придется, только с чинами не спорить, — и подал им узелок.

Ребята развязали его, извлекли оттуда белогвардейские наряды — погоны, кокарды, пуговки, ленты, — а через пять минут отряда было не узнать.

Сам Кондра оборотился полковником и, когда надувал губы, делался смешон и неловок, словно ворона в павлиньих перьях.

Тьма еще не проглотила вечерние сумерки, но дорожку различать можно было лишь с трудом. Сели снова на коней, тронулись.

— Хлопцы, — внушал Кондра, — не курить, не кашлять громко — будто нас вовсе нет...

Ехали в тишине. Чуть слышно хлюпали по влажной и топкой земле привычные кони. Лишь только они начинали вязнуть — и вправо и влево отъезжали всадники, выискивали, где крепче, где настоящая дорога... Так ехали час, два, три... Никто не попадался навстречу; в камышах и по плавням — никаких признаков жизни. Черным, густым мраком закутались равнины; над болотами — тяжелый седой туман. Вот навстречу донеслись какие-то странные звуки, которых не было до сих пор; так гудит иной раз телефонная проволока, а может быть, это где-нибудь вдалеке падает ручей...

Кондра остановился, остановились и все. Он повернул ухо в ту сторону, откуда доносились звуки, и различил теперь ясно гомон человеческой речи...

— Приготовиться! — отдана была тихая команда.

Руки упали на шашки. Продолжали медленно двигаться вперед...

Были уже отчетливо видны силуэты шести всадников — они ехали прямо на Кондру.

— Кто едет? — раздалось оттуда.

— Стой! — скомандовал Кондра. — Какой части?

— Алексеевцы... А вы какой?

— Комендантская команда от Казановича...

Всадники подъехали. Увидели погоны Кондры и почтительно дернулись под козырек.

— Разъезд? — спросил Кондра.

— Так точно, разъезд... Только — кто же тут ночью пойдет?

— Никого нет, сами проехали добрых пятнадцать верст.

В это время наши всадники сомкнулись кольцом вокруг неприятельского разъезда...

Еще несколько вопросов-ответов; узнали, что дальше едет новый дозор. Примолкли. Тишина была на одно мгновение... Кондра гикнул — и вдруг сверкнули шашки... Через пять минут все было окончено.

Ехали дальше, и с новым дозором был тот же конец...

Так за ночь изрубил мужественный Кондра шесть неприятельских дозоров и не дал уйти ни одному человеку.

Чоботу тоже встретились два дозора — судьба их была одинакова; только со вторым дозором чуть не приключилась беда: под раненым белым всадником рванулся конь и едва не унес его. Пришлось вдогонку послать ему пулю — она сняла беглеца на землю.

Этот выстрел Чобота мы слышали с парохода и насторожились: предполагали, что завязывается перестрелка, что дозору удалось уйти, что враг примет живо какие-то новые меры.

Мы все стоим на верхней палубе и ждем... Вот-вот послышатся сигналы Кондры или Чобота. Но нет, ничего не слышно, на берегах могильное спокойствие.

Всю ночь до утра мы дежурили на верхних палубах. Все чудилось, что в камышах кто-то передвигается, что лязгает оружие, слышен даже глухой и сдержанный шепот-разговор. Здесь близко берега — и можно рассмотреть мутное колыхающееся поле прибрежных камышей.

— Как будто что-то... — начинал один, присматриваясь во мглу на берег и указывая соседу.

— А нет, — отвечал тот, — пустое...

Но потом, всмотревшись пристальнее, продолжал:

— А впрочем... Да, да... Как будто и в самом деле...

— Ты вот про то, что колышется, как штыки?

— Да, про них... Всмотрись... Только что это? И здесь, смотри, и здесь, и дальше все те же штыки...

— Э, да ведь это все камыши волнуются...

И отводили взоры от берега, но только на мгновение, а потом — опять, опять штыки, глухой и тихий разговор, стальное лязганье... Ночь полна страшных шорохов и звуков... Каждый силится остаться спокойным, но спокойствия нет. Можно сохранить спокойное лицо, и голос, и движения, но мысль бьется лихорадочно, чувствительность обострена до крайности. Рассуждали о том, что надо делать, если вдруг из камышей откроется пулеметный огонь. А можно ведь ожидать и большего: там сумеют подкатить орудия и возьмут нас на картечь... Что делать тогда?

Предполагали разное. Только ясно было каждому, что тогда уж надежды на спасение мало: в узкой реке не повернуться неуклюжим судам, а идти вперед — значит еще дальше просовывать голову в мертвую петлю. Но что же делать?

Соглашались на том, что надо быстро причалить к берегу, сбросить подмостки и вступить в бой...

Легко сказать — «вступить в бой». Пока подплывали бы к берегу — неприятель всех мог перекосить пулеметным огнем: ему из камышей прекрасно видно, как на баржах вплотную, кучно расположились наши бойцы.

Они тоже не спали: теперь, когда отъехали от Славянской, уже в пути, командиры объяснили им предстоящую операцию со всеми ее трудностями и опасностями, которые только можно было предвидеть. Где уж тут было спать — в такие ночи не до сна; глаза сами ширятся, и взоры вперяются в безответную тьму.

Прижавшись друг к другу, они во всех концах вели тихую, прерывистую беседу:

— Холодно...

— Дуй в кулак — жарко будет.

— Дуй сам... Вот он как дунет — пожалуй, и впрямь отогреешься. — И красноармеец кивнул головою на берег, в сторону неприятеля.

— Близко он тут?

— Кто его знает... Говорят, везде по берегу ходит... Да вот тут, в камыше, лежит... Наши уехали искать...

— Кондра уехал?

— Он. Кому же? Все дыры тут знает...

— Парень — голова...

— Ну, куда ты... Мы с ним еще на ерманском были — три Георгия и тогда приплодил.

— Надо быть, нет никого — тихо что-то...

— Али тебе орать будут? Вот чикнут с берега — и баста.

— Нет, говорю — от Кондры ничего не слышно.

— Как же ты услышишь? Ироплан, что ли, прилетит?

— А что это иропланов, братцы, нет нигде?

— Как нет! Летают... Они за городом лежат, а летают, когда солнце чуть восходит, — оттого и не видишь.

— Вот что... А отчего это они летают?

— Кто их знает: пару, надо быть, подпускают.

— У тебя табачок-то с собой?

— Да курить же нельзя; тебе же ротный говорил.

— И верно... А в кулак, я думаю, пройдет, не видно.

Запротестовали сразу три-четыре голоса. Курить не дали.

— Скоро подъем?

— Куда?

— А где вылезать надо.

— Как станет — значит, и подъехали.

Такие короткие, сдержанные разговоры шли на всех баржах.

Один вопрос цеплялся за другой — часто совершенно случайно, от слова к слову...

Все так же тихо, почти бесшумно плыли во тьме караваны судов. На заре, когда еще густым облаком стоял тяжелый речной туман, первый пароход причалил к берегу... Одно за другим подходили суда и врезались в прибрежные камыши и высокую траву.

До станицы оставалось всего две версты. Зарослей на берегу не было, и открывалась широкая поляна, где удобно было разгрузиться и строить войска. Знатоки этих мест говорили, что более удобной пристани для разгрузки не найти, что эта поляна — единственная на всем протяжении от самой Славянской.

Живо побросали подмостки — и с удивительной быстротой все очутились на берегу. Лишь только вступили на твердую почву — вздохнули свободно и радостно: теперь — не на воде, теперь стрелки и всадники сумеют постоять за себя и даром жизнь не отдадут! Скатили орудия, свели коней. Командиры построили части. Во все концы поскакали разведчики. Нервность пропала и уступила место холодной серьезной сосредоточенности. Все делалось быстро, так быстро, что приходилось только изумляться. Бойцы понимали, как это было необходимо в такой обстановке.

Командиры верхами окружили нас с Ковтюхом. Два-три напутственных совета, и — марш по местам! Уж все готово. Отдана команда идти в наступление. Впереди рысью пошла кавалерия. Заколыхались цепи.

На долю Ганьки выпала задача промчаться метеором по улицам станицы, все рассмотреть и доложить. Он несся, словно птица, мимо густых садов, мимо домов с закрытыми ставнями, пронесся по главной площади, у храма, и, исколесив станицу, возвратился и доложил, что «все в порядке». Когда стали расшифровывать это замечательное «все в порядке», оказалось, что обреченная станица спит мертвым сном. Она ничего не ждет, ничего не знает. Кое-где по углам дремали часовые, они сонными глазами смотрели вслед скакавшему Ганьке и считали его, верно, за гонца с позиции... Жители тоже спали, только изредка попадалась какая-нибудь сгорбленная старуха казачка, тащившаяся с ведром к колодцу. Видел Ганька и аэроплан — он был на площади, у церкви. Видел за изгородью одного большого дома мотоциклетку и два автомобиля.

Когда он, запыхавшись и торопясь, все это пересказал, было совершенно ясно, что мы движемся, не замеченные врагом.

Удар был рассчитан на внезапность. Подойти надо было совершенно неожиданно, атаковать оглушительно. В то же время необходимо было создать впечатление навалившихся крупных частей, хорошо вооруженных, с богатой артиллерией. С другой стороны, нужно было организовать засады, неожиданные встречи, картину полного окружения и вселить в неприятеля убеждение в полной безнадежности положения. Эффект неожиданного удара должен был сыграть здесь исключительную роль.

В конце поляны, под самой станицей, остались еще целые полосы невыжженных камышей. Здесь пробраться было невозможно, и пришлось загибать, идти окружным путем. Разгрузка, сборы, приготовления, само движение до станицы заняло около двух часов. Станица все еще не пробуждалась. Туман рассеивался, но медленно и над рекой продолжал держаться таким же густым белесоватым облаком, как прежде. Протока у самого селения загибалась в западном направлении и вела на Ачуев, к морю. По берегу, до станицы и за станицей, шла езжая дорога. По этой дороге и напра-

вилась часть наших войск. Сюда же глубже, во главе с Чоботом, отправлен был в засаду эскадрон кавалерии, которому дана была задача рубить неприятеля, если он в случае паники бросится бежать, спасаться на Ачуев.

Части десанта были расположены в своем движении таким образом и с таким расчетом, чтобы одновременно могли дойти до станицы с разных сторон и одновременно же открыть огонь.

Тогда же должна была загромыхать артиллерия.

Неприятельские силы, расположенные в станице, могли нам оказать стойкое сопротивление ввиду своей достаточно высокой боевой доброкачественности (малонадежными были только пленные красноармейцы). Там стояли части корпуса генерала Казановича: Алексеевский пехотный полк, запасный батальон того же полка, Алексеевское и Константиновское военные училища и Кубанский стрелковый полк. Кроме того, в станице был расположен главный штаб улагаевского десанта со всеми своими разветвлениями и другие, более мелкие штабы и тыловые учреждения. При всем том следовало ожидать враждебных действий со стороны станичного населения. Ново-Нижестеблиевская была у нас на худом счету.

Около семи часов утра, когда части вплотную подошли к станице, раздался первый орудийный выстрел. Затем открылась оглушительная канонада: орудийные громы слились с пулеметным и ружейным огнем. Части шли вперед. Неприятель, не понимая, в чем дело, совершенно растерялся и никак не мог организовать защиту. Открытый по нашему десанту беспорядочный огонь не приносил почти никакого вреда. Красная пехота напирала и одну за другою занимала улицы станицы. В центре пришлось столкнуться с неприятелем, готовым к обороне.

Наши батальоны в этом месте вел Ковалев. Он отлично понимал, как опасно теперь промедление. Он знал, что паника в неприятельских рядах может миновать, и тогда с неприятелем справиться будет нелегко. В такие минуты бывает достаточно одного находчивого командира, который властно остановил бы бегущих, который бы понял мигом, в чем корень дела, и уяснил бы себе отчетливо, как и с чего следует начинать сию же минуту. Паника усиливается обычно множеством случайных и противоречивых приказов, которые отдаются сплеча и сгоряча: один приказ опровергает дру-

гой, запутывает, затуманивает дело. Именно в такой стадии беспланного метания находился теперь неприятель. Но уже были первые признаки его начинающейся организации. Надо было ловить момент.

Ковалев отдает команду идти в атаку. Сам с винтовкою в руке остается на левом фланге. На правом идет Щеткин. У него так же широко открыты глаза, как и там, на барже, во время песни. Только теперь в них горят огни жестокого, беспощадного хищника. Весь лоб, до переносицы, перерезала глубокая складка. У Щеткина тяжелая поступь — он словно и не идет, а по заказу трамбует землю. Около него идти спокойно, — родится какая-то твердая уверенность, что с ним не пропадешь, что Щеткина невозможно свалить с ног. Он отдает команду коротко, четко, сердито...

Неприятель сгрудился возле садов. Было видно, что он еще не выстроился как следует, что не нашлась еще могучая, организующая рука, которая смогла бы толпу превратить в стройные упругие цепи.

Скорее, скорее... К этой толпе отовсюду — из сараев, из халуп, из садов и огородов, по улицам и закоулкам — сбегались солдаты. Толпа растет у нас на глазах. Она уже развертывается, принимает форму. Еще минута — и мы встретим стену стальных штыков, море огня — меткого, уничтожающего...

— Ура! — проносится по нашим рядам.

Винтовки наперевес, бойцы мчатся на толпу... Там замешательство. Многие кинулись бежать кто куда. Иные все еще продолжают стрелять... Почти все побросали винтовки и стояли, ждали с поднятыми вверх руками. Звенели кругом пули, то здесь, то там вырывая жертвы. Одним из первых, прямо в лоб, был убит Леонтий Щеткин.

Вдруг от плетня отделилось человек пятьдесят и кинулось нам навстречу... Это заставило отпрянуть назад передовую нашу цепь. На минуту произошло замешательство, но Ковалев уже отдал новую громкую команду:

— Вперед, ребята, вперед, ура!..

И рванулись, как бешеные, красноармейцы... Опрокинули бегущих им навстречу белых солдат, смяли их под себя, — дальше ничего не было видно...

Когда эта полсотня кинулась от плетня, те, что побросали винтовки, остались недвижимы и за ними не побежали: они стояли и ждали пощады с высоко вздернутыми кверху руками. Красные бойцы окружили плен-

ников. Живо отогнали их на другое место, стояли, не трогали... Брошенное оружие собрали, сложили в груду, а через несколько минут пригнали подводы, погрузили и увезли к берегу. Всюду, куда ни глянь, валялись раненые — стонали, хрипели, иные кричали от боли... Оказалось, что эти пятьдесят — шестьдесят белых солдат были частью офицерами, частью — алексеевцами. Пощады им не было ни одному.

Остальных пленных погнали к баржам.

Чобот, пробравшись со своим эскадроном за станицу, проехал до самых камышей, спешил всадников и ждал. От него человек десять разведчиков протянулось, залегло цепью ближе к станице, и один другому передавал, как идут там дела, что видно, что слышно.

Пока бежали отдельные белые солдаты, Чобот не подымал своих ребят и не тратил зарядов, не обнаруживал своего местонахождения. Правда, отдельные беглецы сами запарывались сюда же, к камышам; их без криков задерживали, оставляли у себя... Но лишь только ковалевская атака решила дело — остатки гарнизона кинулись вон из станицы и прямо на дорогу, к реке, надеясь переплыть ее на лодках и спрятаться на том берегу. В эту минуту эскадрон вскочил на коней и кинулся из-за камышей на бегущих... Произошло что-то невероятное. Белые совершенно не ожидали нападения с этого края. Они шарахнулись в сторону, рассыпались по берегу, и в большинстве побежали на то место, где прежде стояли лодки. Лодок не было. Чоботовы ребята увели их на другое место. Бежать было некуда. А всадники метались всюду среди беглецов и безжалостно их сокрушали, не встречая почти никакого сопротивления. Многие бросились в воду, надеясь вплавь добраться до того берега, но мало кому удалось доплыть: наш пулемет шарил по воде и нащупывал беглецов — большинство ушло ко дну Протоки. Возбужденный Чобот носился по берегу, он сам не рубил и не преследовал — только указывал бойцам, куда скрывался, куда бежал кучками ошалелый неприятель. Чобот все видел и разом замечал во все стороны, как метался враг и где он искал спасения.

Словно дикий степной наездник, скакал из конца в конец с обнаженной шашкой Танчук. Он уже давно потерял шапку, и черные кудрявые волосы разметались по ветру.

Он не знал и не слышал никакой команды, сам выбирал себе жертву и бросался на нее, как коршун,

мял и рубил без пощады. И когда уже все было сделано — шальная пуля своего же стрелка перебила Танчуку левую руку. Он не крикнул, не застонал — только выругался крепче крепкого и соскочил с верного Юся. Сеча кончилась...

Сколько побито здесь было народу, сколько сгибло его на дне Протоки — останется навсегда неизвестным. Только отдельные беглецы успели добраться до камышей и спрятаться в них — большинство же погибло во время бегства. Были случаи, когда белогвардейские офицеры переодевались в женское платье, пытаясь таким образом скрыться в камыши, но кавалеристы не пропускали никого, задерживали маскированных и «оставляли» их здесь же на месте. Через два часа станица была в руках красного десанта.

В начале боя с церковной площади поднялся неприятельский аэроплан и полетел в направлении на Ново-Николаевскую[1], где были расположены белые части. И во время боя и после него из станичных садов и огородов, с чердаков крыш, из-за копен сена и из высокой травы то и дело летели шальные пули: так недружелюбно встречала станица красных гостей.

В этом утреннем бою захвачено было около тысячи пленных, человек сорок офицеров, бронированный грузовой автомобиль, пулеметы, винтовки, снаряды, обозы с медикаментами, печати канцелярии, личные офицерские документы и т. д.

В это время пароходы и баржи подошли к самой станице. Были погружены пленные и трофеи; тут же толпились с носилками раненых красноармейцев, пострадавших большей частью в штыковой атаке.

Дальше было совершенно ясно, что неприятель, получив известие от летчика о катастрофе в тылу, постарается или сняться совершенно, или послать в станицу сильную часть, которая могла бы управиться с красным десантом.

Неприятель выбрал первое: снял с позиции свои части и от Ново-Николаевской (а затем и других пунктов) тронулся на Ново-Нижестеблиевскую, опасаясь быть окончательно отрезанным от моря. Здесь у него была единственная дорога на Ачуев, и он торопился по ней пройти, пока красный десант не закрепился здесь по-настоящему и еще не пополнен новыми, может быть плывущими сзади, частями.

Фронт неприятельский в это время находился по ли-

[1] Верст 25—30 на восток.

нии станиц: Чертолаза, Старо-Джирелеевская, Ново-Николаевская, Пискуново, Башты, Степной и Чурово.

Уже дрогнула неприятельская позиция, снялась она и быстро покатилась к морю. Неприятель попятился назад, а тем временем главные наши силы, стоявшие против неприятельских позиций, стали подгонять и колотить отступающего к морю врага. В станице, занятой красным десантом, бой не возобновлялся до тех пор, пока из Ново-Николаевской не подошли новые белые части.

Первыми из них пришли Сводный Кубанский кавалерийский полк, Полтавский пехотный и Запорожский полки, неизвестная часть генерала Науменко и части кавалерийского корпуса генерала Бабиева, среди которых был и волчий дивизион Шкуро. Красному десанту было чрезвычайно трудно сдержать напор таких крупных сил; его задачей было теперь во что бы то ни стало продержаться до подхода главных своих сил, все время тревожить неприятеля, расстраивать его движение, беспокоить его частичными боевыми столкновениями и держать в напряжении. В полдень, под напором превосходящих сил, нам пришлось очистить две крайние улицы, идущие с востока на запад: по этим улицам пошли главные силы неприятеля. Снова завязался бой.

Неприятель ввел в работу два бронированных автомобиля. Но положение его было в общем весьма сложное: напирая на красный десант, он в то же время не мог сосредоточить на нем свое исключительное внимание и дать в станице основательный бой; этого не мог он сделать потому, что по пятам гнали и наседали на него главные наши силы, снявшиеся вслед за ним со своих позиций. Уже слышалась в отдалении, со стороны Ново-Николаевской, артиллерийская стрельба: это были батареи красной бригады, торопившейся объединить свои действия с действиями красного десанта. Около четырех часов у станицы скопилось много вражеских сил. Видимо, там решено было покончить с красным десантом и сбросить его в Протоку. Неприятель открыл ураганный артиллерийский огонь и цепями пошел в наступление. Это активное и стремительное движение заставило нас попятиться к реке.

Вот красные бойцы оставили поляну, отошли за речку, а неприятель все идет и идет.

Было ясно, что при дальнейшем отступлении десант может погубить себя целиком.

Командир артиллерии товарищ Кульберг уже целых три часа не слезал с дуба. Он примостился там, подобно филину, на верхний сучок, приник потным лбом к сырому холодному стволу и все смотрел в бинокль, как падают наши снаряды. Батарея стояла тут же, в нескольких шагах, и Кульберг с дуба корректировал стрельбу, отдавая команду:

— Трубка — сто, прицел — девяносто пять... Трубка — сто, прицел — девяносто семь!..

И когда чудовище ухало, а снаряд с визгом и стоном вырывался из жерла, Кульберг покрякивал и рукой дергался в ту сторону, куда он скрылся.

— Отлично, отлично, — кричал он сверху, — в самую глотку засмолило... А ну, еще такого же... Да живее, ребята, живее... Ишь побежали! — И он взглядом, через бинокль, впился в окраину поляны, где взметнулись столбы пыли, а от них шарахнулись в разные стороны и побежали люди.

— Еще стаканчик! — продолжал он покрикивать сверху, когда артиллеристы спешно заряжали орудие: один подавал снаряд, другой его загонял в дуло, третий давал удар. Так в лихорадочной пальбе Кульберг забывал о времени, об усталости, забывал обо всем... И теперь, когда неприятель шел в наступление и подходил ближе и ближе к тому месту, где стояла наша батарея, Кульберг и не думал тронуться, не шелохнулся, словно прирос к дубовому сучку.

Все резче, все порывистей его приказания, все чаще меняет он прицел, громче отдает команду... А возле орудий — запыхавшиеся, усталые артиллеристы; еще живее, чаще падают снаряды, бьют по идущему врагу...

На лугу, у выхода к Протоке, там, где сходятся две дороги, неподалеку от камышей были выстроены пулеметы, и пулеметчикам была дана задача — или погибнуть, или удержать наступающие цепи врага.

Пулеметные кони повернуты мордами к реке. На тачанках, за щитами, согнулись пулеметчики. Мы сзади их верхами удерживаем отступающие цепи. Вижу Коцюбенко — он словно припаян к пулемету, уцепился за него обеими руками, шарит, проверяет дрожащими пальцами, все ли в порядке.

Неприятель на виду, он так же неудержимо продолжает двигаться вперед.

Ну, молодцы-пулеметчики, теперь на вас вся надежда: переживете — удержимся, а не сумеете остановить врага — первые сгибнете под вражьими штыками!

Как уже близко неприятельские цепи! Вот они прорвутся на луговину...

В это время, в незабвенные трагические минуты, когда десант держался на волоске, пулеметчики открыли невероятный, уничтожающий огонь.

Минута... две...

Еще движутся по инерции вражьи цепи, но уже дрогнули они, потом остановились, залегли... И лишь только подымались — их встречал тот же невероятный огонь...

Это были переломные минуты, — не минуты, а мгновения. Красные цепи остановились, подбодрились и сами пошли в наступление. Неожиданный оборот дела сбил неприятеля с толку, и белые цепи начали отступать. Положение было восстановлено.

В это время над местом, где находились неприятельские войска, показались барашки разрывающейся шрапнели. Нельзя описать той радости, которая охватила бойцов и командиров, увидевших эти белые барашки от огня своей красной бригады: это свои шли на подмогу, они уже совсем недалеко, они не дадут погибнуть нашему десанту...

Ободренные и радостные, красноармейцы снова начали тревожить проходящие неприятельские войска.

Так продолжалось до самой ночи, до темноты. Пытались было связаться с подходившей красной бригадой, но попытки оказались неудачными: между десантом и подходившими красными частями были густые неприятельские массы. Плавни и лиманы не позволяли соединиться обходным путем.

Неприятель на ночь решил задержаться в станице, дабы дать возможность дальше к морю отойти своим бесконечным обозам.

Красный десант решил произвести ночную атаку.

За церковью, неподалеку от станичной площади, в густом саду Чобот спрятал в засаду свой эскадрон. Ему опять предстояло лихое дело в новой обстановке, в глухую полночь. Бойцы расположились в траве, лежали молча.

Кони были привязаны посредине сада к стволам черемушника и яблонь. На крайних деревьях, у изгородей — всюду попрятались в ветвях наблюдатели. Чобот ходил по саду из конца в конец, молча посматривал на лежащих бойцов, на коней; проверял сидевших на сучьях дозорных.

Над ручейками и дальше по аллее залегли наши батальоны. Все были уже оповещены о готовящейся ночной атаке. Мы с Ковтюхом лежали под стогом сена, позвали к себе командиров, устроили маленькое совещание. В это время с парохода притащили большой чугун с похлебкой — поднялись, уселись кружком, как голодные волки, накинулись на еду: с самого утра во рту не было маковой росинки. Бойцы, стоявшие возле стога, подвигались ближе и ближе; похлебка брала свое и притягивала, словно магнит. Только вот беда — ложек нет: двух паршивеньких обглоданных на всех не хватало. Но и тут умудрились: кто ножом, кто деревянной, только что оструганной лопаткой заплескивал из котла прямо в рот. Скоро весь котелок опорожнили начистую. Закурили. Повеселели. Приободрились.

Ровно в полночь решено было произвести атаку, а эскадрону, спрятанному в саду, поручалось в нужную минуту выскочить из засады и довершить налетом панику в неприятельских рядах.

Отрядили храбрецов, поручили им проползти вглубь станицы и в двенадцать часов поджечь пяток халуп, а для большего эффекта, лишь займется пожар, — кидать бомбы.

С первыми же огнями должны разом ударить все орудия, заработать все пулеметы: а стрелки, дав по несколько залпов, должны громко кричать «ура», но в бой не вступать, пока не выяснится состояние противника.

Наступили мертвые минуты ожидания. Кругом тишина — и у нас тишина, и у неприятеля. В такую темную ночь трудно было ожидать атаку. Люди, казалось, ходили на цыпочках.

Разговаривали шепотом. Все ждали.

Вот задрожали первые огни, взвились из станицы красные вестники, разом занялось несколько халуп...

В то же время до слуха красных бойцов донеслись глухие разрывы — это наши поджигатели метали бомбы. Что получилось через мгновение — не запечатлеть словами. Ухнули разом батареи, пулеметы заговорили, заторопились, залпы срывались один за другим.

Какое-то ледяное безумное «ура» вонзилось в черную ночь и сверлило ее безжалостно. «Ура... ура...» — катилась на станицу страшная угроза. Неприятель не выдержал, побросал насиженные места и кинулся бежать. В эту минуту из засады вылетел спрятанный там кавалерийский эскадрон и довершил картину. При зареве го-

рящих халуп эти скачущие всадники с обнаженными шашками, эти очумелые, заметавшиеся люди казались привидениями. Неприятель сопротивлялся беспорядочно, неорганизованно: открывал пальбу, но не видал своего врага, пытался задержаться, но не знал, где свои силы, как и куда их собрать. Недолго продолжалась уличная схватка. Станица была снова полностью очищена. Неприятель за окраиной распылился по плавням и камышам; только наутро собрался с оставшимися силами, но к станице больше уже не подступал, а направился к морю.

Еще ночью, тотчас после боя, в станицу вошли наши заставы, но весь десант вошел туда лишь на заре. Снова была пальба из огородов и садов, снова недружелюбно встречали станичники красных пришельцев...

Когда рассвело, стали собирать и отправлять на баржи новые трофеи: бронированный автомобиль, легковые генеральские машины, пулеметы, траншейные орудия, снаряды, винтовки, патроны...

К этому времени со стороны Николаевской вошла в станицу красная бригада — ей и была передана задача дальнейшего преследования убегающего противника. Десант свою задачу окончил.

Весело, с песнями грузились красноармейцы на баржи, чтобы плыть обратно. Каждый понимал, какое сделано большое и нужное дело. Каждый все еще жил остатками глубоко драматических переживаний...

Суда отчалили от берега... Громкие песни разбудили тишину лиманов и камышей. Мимо этих вот мест, только вчера, на заре, в глубоком сивом тумане, в гробовом молчании, плыли суда с красными бойцами... Еще никто не знал тогда, как обернется рискованная операция, никто не знал, что ждет его на берегу...

Теперь, плывя обратно, бойцы не досчитывались в своих рядах нескольких десятков лучших товарищей.

На верхней палубе «Благодетеля», на койке, лежит с раздробленной рукой бледнолицый Танчук и тихо-тихо стонет. В просторной братской могиле, у самых камышей, покоится вечным сном железный командир Леонтий Щеткин.

Когда вспоминали павших товарищей, умолкали все, словно тяжелая дума убивала живое слово. А потом, когда миновало и молчание,— снова смех, пение, снова веселая радость, будто и не было ничего в эти минувшие дни и ночи.

Москва, 14 ноября 1921 года

АЛЕКСАНДР МАЛЫШКИН

ПАДЕНИЕ ДАИРА

Повесть

I

Керосиновые лампы пылали в полночь. Наверху на штабном телеграфе несмолкаемо стучали аппараты: бесконечно ползли ленты, крича короткие тревожные слова. На много верст кругом — в ноябрьской ночи — армия, занесенная для удара ста тысячами тел; армия сторожила, шла в ветры по мерзлым большакам, валялась по избам, жгла костры в перелесках, скакала в степные курганы. За курганами гудело море. За курганами, горбясь черной скалой, лег перешеек в море — в синие блаженные островные туманы. И армия лежала за курганами, перед черной горбатой скалой, сторожа ее зоркими ползучими постами.

Лампы, пылающие в полночь, безумеющая бессонница штабов, Республика, кричащая в аппараты, стотысячный топот в степи; это развернутый, но не обрушенный еще удар по скале, по последним армиям противника, сброшенного с материка на полуостров.

В штабе армии, где сходились нити стотысячного, за керосиновыми лампами работали ночами, готовя удар. Стотысячное двигалось там отраженной тенью по веерообразным маршрутам — на стенах, закругляя щупальца в цепкий смертельный сдав. Молодые люди в галифе ползали животами по стенам — по картам, похожим на гигантские цветники, отмечая тайные движения, что курганами, скалами, перешейками: они знали всё. В абстрактной выпуклости линий, цветов и значков было:

громадный ромб полуострова в горизонталях синего южного моря. Ромб связан с материком узким двадцатипятиверстным в длину перешейком;

в ста верстах западнее перешейка еще одна тонкая нить суши от ромба к материку, прерванная проливом посередине;

на материке перед перешейком цветная толпа красных флажков; N-ская армия и красные флажки против

тонкой прерванной нити — соседняя Заволжская армия; и против той и другой — с полуострова — цветники голубых флажков: белые армии Даира.

Путь красным армиям преграждался: на перешейке Даирской скалой, пересекавшей всю его восьмиверстную ширину, от залива до залива, с сетью проволочных заграждений, пулеметных гнезд и бетонных позиций тяжелых батарей, воздвигнутых французскими инженерами, — это делало недоступной обрывающуюся на север, к красным, терассу; перед Заволжской армией — проливом; пролив был усилен орудиями противоположного берега и баррикадирован кошмарной громадой взорванного железнодорожного моста. За укреплениями были последние. Страна требовала уничтожить последних.

Керосиновые лампы пылали за полночь. В половине второго зазвонили телефоны. Звонили из аппаратной: фронт давал боевую директиву. Галифе торопливо слезали со стен, бежали докладывать начальнику штаба и командарму. У аппаратов, ожидая, стояла страна.

И минуту спустя прошел командарм: близоруко щурясь, выпрямленный, как скелет, стриженный ежиком, каменный, торжественный командарм, взявший на материке восемь танков и уничтоживший корпус противника. В ветхих скрипучих переходах штаба, ведущих на телеграф, отголосками — через стены — выл ветер, переминались и шатались деревья, черным хаосом скакала ночь! И казалось, с облаками бурь, с гулом двигающихся где-то масс затихли и стали времена в вещем напряжении...

ОТ КОМАНДУЮЩЕГО ФРОНТОМ

«Секретная. Вне всякой очереди. Командармам N-ской, Заволжской, Конно-партизанской. Дополнение директиве приказываю: Перейти наступление рассвете 7 ноября.

Заволжской армии произвести демонстративные атаки переходимый вброд Антарский пролив, дабы привлечь себе внимание и силы противника.

N-ской армии, усиление коей переданы две конно-партизанских дивизии, прорвать укрепление Даирской террасы, ворваться плечах противника Даир и сбросить море.

Конно-партизанской армии двигаться фронтовом резерве, N-ской армией стремительно выдвинуться полуостров и отрезать отход противнику к кораблям Антанты.

Вести борьбу до полного уничтожения живой силы противника».

Из кабинета командарма отрывистый звонок летел в оперативное:

— Ветер?

Галифе, звякая шпорами, почтительно наклонялись к телефону:

— Северо-западный, девять баллов.

Каменная черта на лбу таяла — в жесткую, ироническую улыбку: над теми, дальними, что за террасой. Счастливый, роковой ветер дул, ветер побед.

И начальник штаба бежал с приказом из кабинета на телеграф. В приказе было: начать концентрацию множеств к морю, к перешейку; нависнуть молотом над скалой... Аппараты простучали в пространства, в ночь — коротко и властно.

А в ночи были поля и поля: земля черная молча лежала. Дули ветры по межам, по невидимому кустарнику балок, по щебнистым пустырям, там, где раньше были хутора, скошенные снарядами, по дорогам, истоптанным тысячами тысяч — теперь уже умерших и утихших, — по дорогам до тишайшей одной черты, где лежали, зарывшись в землю, живые и сторожкие; и впереди в кустарнике на животах лежали еще: секрет. Туда дули ветры.

И все-таки в черной ночи, впереди, видели — не глаза, а что-то еще другое — темный, от века поднятый массив, лютый и колючий; и за ним чудесный Даир — синие туманы долин, цветущие города, звездное море...

Так казалось только: за террасой никаких чудес не было, а те же лежали поля. За террасой в пещерах и землянках сидели и курили люди в английских шинелях с медными пуговицами и в погонах; смеялись и разговаривали, кое-кто дежурил у телефонов. Но этим людям виделось иное. Безглазое и страшное, страшное молчанием нависало из-за террасы с черных полей, где кто-то присутствовал и выжидал, может быть, уже полз в темноте. И нависло так: вот еще миг и вдруг погаснут смех, и разговоры, и коптилками освещенные стены; и вот а-а-а-а!.. кричать, зажать голову, лицо руками, бежать прямо туда — в ужас, в безглазое и поджидающее, подставляя под удары, под топоры мозг, тело...

И дальше по дорогам на юг; за деревушки, еще не спящие; за пылающие огнями станции со скрипящими составами поездов, полными солдат в английских шинелях, за платформы станций, где лихорадочно ждут поездов люди и с поездами угромыхивают в темь — все дальше шло это: безвестьем, ползучей тоской.

И вот, гудя в туннелях — с поездами, — катилось еще дальше на юг, где глухо и веще стучало море в обрыв и тысячами пожаров стояли пространства, пронизав ночь. И там...

...гудящая циркуляция площадей—в пылании светов; шелесты шин щегольских авто, и грудные гудки, и звон скрещивающихся в голубых иглах трамваев, и лязг рысачьих копыт, и во всем пронизывающие токи толп, вперед — назад, выбрасывающие под светы низких солнц плосковатые, припудренные светом лица, ищущие лаза, сонные, прогуливающие скуку глаза, безумные глаза и еще — с пролетки — очерченные карандашом, увядающие и прекрасные. И все неслось — в фасады — в аллеи каменных архитектур — в кипящие ночным полднем пространства — в сонмы бирюзовых искр и взошедших солнц.

Даир.

Распахивались зеркальные вестибюли громад, пылающих изнутри, сбегали, сходили и снова восходили, рождаясь и тая в кипучем движении панелей: красивая из кафе, с румяной ярью губ, гордо несущая страусовое перо на отлете, и этот — бритый, заветренный ротмистр с выпуклыми, изнуренными и жесткими глазами, волочащий зеркальный палаш, и вон тот, пожилой, тучный, в моднейшем сером пальто и цилиндре, с выпяченной челюстью сластника, обвисший сзади багровым затылком, — и еще — и еще. Охваченные водоворотом, грохотами ночного полдня, где сквозь слепую от светов высоту кричали со стены небоскреба огненным р о с к о ш н ы й в ы б о р м с ь е Н и в у а... п о с т а в щ и к и м п е р а т о р с к о й ф а м и л и и... С п е ш и т е у б е д и т ь с я... шли мимо ослепительных витрин, где изысканно-скудно разложено матовое серебро, утонченные овалы вещей, которых будут касаться пресыщенные, ничего не хотящие руки владык; и вот мимо этих, неживых, обольстительных восковых, с чересчур сказочными ресницами и щеками, — с этих дышит шелк, как дыхание, как Восток; и мимо окон озер, разливающихся ввысь стройно,— до ноябрьских южных звезд — «Г а с т р о н о м и ч е с к о е» — под налетом влажной пыльцы тускнеет виноград, пахнут коричневые круто сбитые груши, и корзины оранжевой земляники и алого, прохладного, горьковато-весеннего... и все мимо шли — к перекрестку: там, оплеснутая огнями, светилась над зыбью многоголового карикатура знаменитого «Т р и у м ф а».

На ней — с круглым обритым черепом, приплюсну-

тым до бровей, с исподлобным сверканием маленьких звериных глазок — шел некто в скомканном картузе со звездой, в рваной шинели и чугунно-тяжких ботах.

Из ночи, из улиц приливала глазеющая зыбь. Стыли раскрытые рты, разверстые неподвижные зрачки, восковые от голубых светов лица. Сзади, обходя толпу, заглядывали, привстав на цыпочки, еще: мимоидущие. На цыпочках безглазое ползло в свет, в улицы, в улыбки — щемью, дикой тоской...

— Не придут, где там.

— Союзные инженеры работали. Теперь — миллионы положи, не возьмешь!

— Пускай эти Ваньки попробуют, хе-хе!

— А слыхали? Говорят, будто...

— Что вы, что вы!..

— Тише, это ни-ко-му... Ужас... ужас!..

А на улицах шли и бежали люди, словно торопясь за счастьем, по двое таяли в бульвары, где просвечивал звездный ход волн. Высоко на мутной стене небоскреба огненным прожектором кричало:

СВОДКА ШТАБА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

«Атаки красных на твердыни Даирской террасы легко отражаются артиллерийским огнем.

На всех фронтах спокойно».

II

В селе Тагинка штабы двух дивизий: Железной, численностью и обилием вооружения равняющейся почти армии; неделю назад дивизия, выполняя директивы командарма, разбила белый корпус и захватила восемь танков, и Пензенской — эта дивизия, окровавленная и полууничтоженная, зарывшись в землю, принимала на себя тяжелые удары врага, пока Железная сложным обходом выполняла маневр.

В школьной избе, в штадиве Железной, в присутствии начальников дивизий и штабов командарм излагал план операции.

Противник имел численно меньшую армию, но эта армия была сильна испытанным офицерским составом и мощью усовершенствованной военной техники. У красных были множества; множествами надлежало раздавить и мстительное упорство последних и хитрость культур.

Армия противника стояла за неприступными укреплениями террасы, пересекающей все пути на полуостров.

Надо было преодолеть террасу. Бросить массы за террасу — уже значило победить.

Армия, атакующая в ярости террасу — под ураганным огнем артиллерии и пулеметов противника, — обратилась бы в груду тел. Исход был или в длительной инженерной атаке, или в молниеносном маневре. Но страна требовала уничтожить последних сейчас. Оставался маневр.

Дули северо-западные ветры. По донесениям агентуры, ветры угнали в море воду из залива, обнажив ложе на много верст. Ринуть множества в обход террасы — по осушенным глубинам — прямо на восточный низменный берег перешейка, проволочить туда же артиллерию, обрушиться паникой, огнем, ста тысячами топчущих ног на тылы хитрых, запрятавшихся в железо и камни.

— Надо спешить, пока ветер не переменился и вода не залила пространств, — сказал командарм. — Общее наступление назначаю в ночь на седьмое ноября. Остальные части армии одновременно атакуют террасу с фронта. Если так — мы прорвем преграду с малой кровью.

Собрание молча обдумывало. Начдив Пензенской, тощий, впалогрудый, похожий на захолустного дьякона (он и был дьяконом до войны), заволновался и замигал.

— План верный, товарищ командующий, что и говорить, а мои ребята хоть и через воду — все равно перепрут. Только я ведь докладывал: разутые, раздетые все, как один. Железная после операции вся оделась — они, изволите видеть, первые склады захватили! А за что мои страдали? Как?

— Относительно обмундирования мне известно, — сказал командарм, — но нет нарядов из Центра. И вообще... У Республики едва ли есть. За террасой все оденутся!

Он встал каменный, чужой мирным сумеркам избы.

— Оперативных поправок нет?

Очевидно, не было: все молчали. План был принят — он висел над глухой сосредоточенностью полей. В них снилась невозможная горящая ночь.

В пасмури слышались, близились идущие шумы. Как в бреду, где-то в далеком кричали лошади и люди.

Командарм вышел на улицу.

В сумерках, жидко дрожавших от множества костров, шли горбатые от сумок, там и сям попыхивая огоньками цигарок. Земля гудела от шагов, от гнета обозов; роптал и мычал невидимый скот. В избах набились впо-

валку, до смрада: в колеблющейся тусклости коптилок видно было, как валялись по избам, по полу, едва прикрытому соломой, стояли, сбиваясь головами у коптилок, выворачивая белье и ища насекомых. Между изб пылали костры; и там сидели и лежали, варили хлебово в котелках, ели и тут же, в потемках, присаживались испражниться; и вдоль улиц еще и еще горели костры, галдели распертые живьем избы, и смрадный чад сапог, пота ног, желудочных газов полз из дверей. Это было становье орд, идущих завоевывать прекрасные века.

Командарм подошел к костру. На колодах кругом сидели несколько; кое-кто, сутулясь, мешал ложкой в котелке; обветренный и толстомордый парень, оголившийся до пояса, несмотря на мороз, озабоченно искал в лохмотьях вшей и бросал их в костер; у костра лежал пожилой, в австрийской шинели и кепи, глядя на огонь из-под скорбных полузакрытых век; и лежали еще безликие. Сколько бездомных костров видели они в далеких затерянных скитаньях... Из тьмы подошел командарм, на него взглянули мельком: велик мир, бесконечны дороги, много людей подходит к бездомным кострам... Полуголый рассказывал:

— Есть там железная стена, поперек в море уперлась, называется терраса. Сторона за ней ярь-пески, туманны горы. Разведчики наши там были, так сказывают, лето круглый год, по два раза яровое сеют! И живут за ней эти самые елементы в енотовых шубах, которые бородки конусами: со всей России туда набежались. А богачества-а-а! Что было при старом режиме, так теперь все в одну кучу сволокли!

— И опять они хозяева,— сказал лежачий от костра.

Полуголый обозлился и хлестнул об землю лохмотьями.

— Хозяева, в душу их мать!..

— Подожди, домой придешь, и ты хозяином будешь!

— До-мой-ой!.. А ежели вот у этого, — парень ткнул пальцем в пожилого в кепи, — и дома-то нет, кругом один тернаценал остался? Што?

Лежавший поднял на него мутные добрые глаза:

— У бедних дому нема. Една семья, една хата — Интернационал.

— Эх, друг! — хлопнул его по спине парень и заржал. — Все книжки читаешь, умна-ай!

Сутулый от котелка хихикнул:

— А ты, Микешин, все больше насчет жратвы? Имнастерка-то где? Ох и жрать здоровый, чисто бык!

— Верно, что бык, — отозвались лежавшие.

— У нас в деревне у дяде бык был, такой же на жратву ядовитый, так уби-или!

— Ха-ха-ха!..

Микешин тоже смеялся, открыв широкий крепкозубый рот.

— Вот когда в Цаплеве стояли, — сказал он, — так кормили: пошенишный хлеб, аль сала, аль свинина, прямо задарма. Вот кормили! А теперь народу нагнали, братва все начисто пожрала. Вот мы этих енотовых пощупаем, погоди, погуля-ам!..

Кто-то из лежавших изумленно и смутно грезил, корчась в нагретой стуже:

— Боже ж, какая есть сторона!..

— А может, брешут, — хмуро сказал другой; оба легли на локтях, стали глядеть на огонь задумчиво и неотрывно.

Сутулый исподлобья взглянул на командарма, греющего руки над костром, и спросил:

— Вот вы, може, ученый человек будете, скажите: правда ли, если мы этих последних достанем, так там столько добра напасено, что, скажем, на весь бедный класс хватит? Или как?

Командарм улыбнулся каменной своей улыбкой и ничего не ответил.

Что сказать? Он знал, что над этой ночью будет еще, горящая и невозможная; в огненной слепоте рождается мир из смрадных кочевий, из построенных на крови эпох...

Из потемок оглянулся: у костра сели в кружок около полуголого, хлебали из котелка, говорили что-то, показывая в темь: наверно, о той же чудесной стране Даир. В избах хлопали двери, кто-то, оберегая смрадное тепло, кричал: «Лазишь тут, а затворять за тобой царь будет?..» За околицей, в темном, цвела чудесная бирюзовая полоса от зари; в улицах топало, гудело железом, людьми, телегами, скотом, как в далеком столетии. И так было надо: гул становий, двинутых по дикой земле, брезжущий в потемках рай — в этом было мировое, правда.

III

Целый день шли войска.

С рассвета двинулись конно-партизанские дивизии. Запружая дороги, лавой катились телеги с пулеметами,

мотоциклетки, автомобили со штабами и канцеляриями, подтрясывались конные с пиками, винтовками и палицами, высматривая зорким озорным глазом, нет ли дымка за перевалом. И если показывался дымок, деревня — сваливалось все в кучу, задние с лета шарахались на передних: начиналась дикая скачка на дымок, на околицу — с пиками наперевес, с криками «дае-о-ошь!». В улицах, сразу пустеющих, сползали на скаку, брюхами с лошадей, жгли наскоро костры, шарили по погребам, варили баранов, ели, рыскали за самогонкой, гоняли девок — и снова, вскочив на коней, относились, как ветром, в версты, в мерзлую пыль.

Впереди скакал слух: конные идут.

У мостов еще с ночи стояли мужики с подводами: через мосты было не проехать, надо было ждать, когда схлынет волна... Мужики обжились, распрягли лошадей, варили в ведерках снедево, спали, а то прохаживались, переругиваясь от тоски. Сзади подъезжали еще; останавливались; гомоном, ярмарками кишело в полях у мостов.

От Тагинки примчались и тут же круто застопорили армейские автомобили. С машин гудели в упор в едущих сиплыми пугающими гудками; адъютант бегал по мосту, едва не попадая под ноги лошадям, кричал, потрясая револьвером, но безуспешно: глухая сила хлестала через мост, спершись стеной и не пропуская никого. Черноусый в бурке нагнулся с седла к командарму и, дерзко подмигнув, крикнул:

— Посидишь, браток! Закуривай! Га!

С трудом рванулись из клокочущих летящих лав назад — к Тагинке, чтобы взять в объезд. И сразу обе машины ринулись, словно спасаясь, — и сразу рухнуло гиком, засвистело сзади и заревело тысячами горл; отставшие неслись, нахлестывая лошадей, на автомобили, на близкий дымок. Командарм оглянулся: оторвавшись от толп, падали в зияние дорог автомобили, за ними, словно предводимое вождями, неслось облако грив, пик и развевающихся в ветер отрепий. Ревели дико и пугливо машины вождей; мчалась ножовщина, сшибаясь друг с другом осями, сворачивая плетни и ветхие палисаднички, улицы тонули в звякающем железе, вопле бубнов, визге лошадей. Командарм силился подняться, его сбивало ветром — в ветер, в гик злобно кричал:

— Молодцы! Блестящая кавалерийская атака!..

Селом зачертили машины — в пустые пролеты — в степь. Из штаба дивизии глядели недоуменно, в штабе

бросили работу, липли к окнам: все хотели увидеть знаменитые полки, овеянные ужасом и красотою невероятных легенд. Пылью и гомоном крутило улицы. За пылью и гомоном в полдень разграбили дивизионный склад с фуражом; гикая, метались по задворкам, высматривая у мужиков и по штабным командам лошадей; которых посытее брали себе, а взамен оставляли своих, мокрых и затерзанных скачкой. То и дело запыхавшиеся прибегали в кабинет к начдиву — доложить; в кабинете топали ногами, материли в душу и в революцию, — улицы крутили пылью, гоготом, стоном; дьяволы мчались, скалясь на штаб.

В переулке остановили вестового Петухова, подававшего лошадей комиссару: в лакированную пролетку переложили молча пишущую машинку и пулемет, поверх всего посадили рябую девицу в шинели и велели ехать за собой.

Петухов было фыркнул:

— Ну-ну, шути, да не больно!.. Я тебе не собачья нога! Я от комиссара штаба, за меня ответишь, брат!..

В это утро выряжен был Петухов в новый френч и галифе, нарочно без шинели — на зависть тагинским девкам, и ехал с фасоном, держа локти на отлет. Конные оглядели его озорными смеющимися глазами и фыркнули:

— Вот фронтовик, а!..

Черноусый в бурке подскакал, танцуя на коне, по-кошачьи изловчился и переел лошадей нагайкой:

— Га!..

Лошади встали на дыбы, упали и понесли. И сзади тотчас же загикало, засвистало, рушилось и понеслось стеной. Вот-вот налетит, затопчет, развеет в пыль. В глазах помутилось. «Несут, ей-богу, несут», — подумал Петухов, закрыл глаза, сжал зубы и вдруг — не то от злобы, не то от шалой радости — встал и навернул еще раз арапником по обеим лошадям...

— Держись! — завопил он в улюлюканье и свист.— Разнесу! Расшибу, рябая бандура!..

Так и унесло всех в степь.

Пели рожки над чадными становьями пеших. В морозных улицах, грудясь у котлов, наедались на дорогу; котлы и рты дышали паром; костры стлали мглу в поля. А небо под тучами гасло, день стал дикий, бездон-

ный, незаконченный; тело отяжелело от сытости, а еще надо было ломить и ломить в ветреные версты, в серую бескрайнюю безвестень. Где еще они, ярь-пески, туманны горы?

Микешин от скуки покусал сала, потом подошел к впалоглазому в кепи, лежавшему у завалины с книжкой, и сказал тоскливо:

— Юзеф, что ты все к земле да к земле прилаживаешься? Вечор тоже лежал... Тянет тебя, что ли? Нехороший это знак, кабы не убили.

Юзеф слабо улыбнулся из-под полузакрытых век:

— А что же, у мене никого нема. Ни таты, ни мамы. За бедних умереть хорошо, бо я сам быв бедний.

За околицей налегло сзади ветром, забираясь под шарф и под дырявый пиджак. Микешин глядел на шагающего рядом Юзефа: и о чем он думает, опустив в землю чудные свои глаза? И дума эта вилась будто по миру кругом в незаконченном дне, в бездонных насупленных полях — о чем?.. В дали, в горизонты падали столбы, ползли обозы, серая зернь батальонов, орудия. По дорогам, по балкам, по косогорам тьмы тем шли, шли, шли...

И еще севернее — на сотню верст, — где в поля, истоптанные и сожженные войной, железными колеями обрывалась Россия, — ветер стлал серой поземкой по межам, по перелескам, по льдам рек, голым еще и серым,— где в степных мутях свистками и гудками жила узловая станция — кишел народ, мятый, сонный, немытый, валялся на полях и на асфальте; на путях стояли эшелоны, грузные от серого кишащего живья, и платформы с орудиями, кухнями, фуражом, понтонами — шли тылы и резервы N-ской армии на юг, к террасе.

И еще с севера, скрипя и лязгая, шли загруженные эшелоны, перекошенные от тяжести, вдавливающие рельсы в грунт, с галдежом, скандалами, песнями. С вагонов кричало написанное мелом: даешь Даир! Эшелоны шли с севера, из России, из городов: в городах были голод и стужа, топили заборами, лабазы былым обилием стояли наглухо забитые, стекла выбиты и запаутинены, базары пусты и безлюдны. Но в голодных и холодных городах все-таки било ключом, кипело, живело и вот изрыгало на юг громадные эшелоны — за хлебом, за теплом, за будущим. С севера великим походом шли города на юг; телами пробить гранитную скалу, за которой страна Даир.

Из грязных теплушек валил дым: топили по-черному,

разжигая костры на кирпичах, прямо на полу и, когда холодно, ложась животом на угли. Но чем южнее, тем неузнаваемей и чудесней становилось все для северных — обилием былого, уже затерянного в снах; а на узловой станции, преддверии юга, продавали давно невиданное — белый хлеб, сало, колбасу. Распоясанные, засиженные копотью, сбегав куда-то, возвращались и, задыхаясь, кричали в вагоны своим: «Братва, айда, здесь вольная торговля, ий-богу!» — «А де ж базар?»—«А там за водокачкой...» За водокачкой стояли телеги с мясом и тушами, бабы с горшками и тарелками, в которых было теплое — жирный борщ с мясом, стояли с салом, коржами, молоком, буханками пшеничного... И из эшелонов бежали туда косяками с бельем, с барахлом, навив его на руку для показа; и тут же сбывали за водокачкой и проедали, садясь на корточки и хлебая теплый борщ, таща в вагоны сало, мясо, буханки. В вагонах уборных не полагалось, и, расслабленные, распертые от обильной пищи, лезли тут же под тормоза и в канавы.

Поезда шли только на юг: на север не давали паровозов силой. Едущие на север жили на станции неделями, обносились, проелись, обовшивели, очумели от долгого лежанья по перронам и полям, но надежды уехать все-таки не было. Напрасно представитель Военных Сообщений, черненький, ретивый, в пенсне и кожаном, бегал по станции, звонил в телефон, висел над аппаратами в телеграфной, писал, высунув язык от гонки: на узловой пробка, на узловой катастрофическое положение и саботаж, самовольная прицепка паровозов, угрозы оружием — «прошу виновных привлечь к суду ревтрибунала, единственная мера — расстрел»... напрасно с пеной на губах кричал озлобленной, понурой и голодной толпе, ловившей его на перронах, что первый же паровоз, тот, который подчинивается сейчас в депо, пойдет на север, — все шло своим чередом, как хотелось молоту множеств, падающему в неукоснительном и чудовищном ударе на юг. И на паровозе, предназначенном на север и чистящемся в депо, кричало уже на чугунной груди мелом: даешь Даир! — у депо дежурили суровые и грубые с винтовками наперевес: ждали. И на перронах ждали, глядя в провалы путей жадными, впалыми и полубезумными глазами,— видели только муть, тоску, безнадежье...

А в отяжелевших от сытости эшелонах ухало и топало. Из дверей черный ядовитый дым полз на пути, в дыму кричали:

— Ох-ох-ох! Безгубный шинель загнал! Полпуда сала, три четверти самогону! Гуля-ам!

Чумазый плясал над дымным костром распоясанный, с расстегнутым воротом гимнастерки. В теплушке словно медведями ходило.

— Крой, Безгубный! Ах, ярь-пески, туманны горы! Зажаривай! Не бойсь, там те и без шинели жарко будет!..

— На теплы дачи едем!..

Из депо выкатывался паровоз, тяжко пыхтя; машинист, перегнувшись над сходней, курил и хмуро ждал. Платформу запрудили едущие на север с мешками, с узлами, зверели, толкались кулаками и плечами, пробиваясь к путям, чтобы не опоздать и не умереть. Ждавшие с винтовками вывели паровоз на круг, схватились за рычаги и повернули чугунную грудь к югу. Начальник эшелона вынул наган из-за пояса и сказал машинисту:

— Веди к эшелону на одиннадцатый путь.

Машинист хотел протестовать, но подумал, бросил с сердцем окурок и повел. Помощник успел сбежать.

По эшелону обходом кричали:

— Эй, кто за кочегара поедет? Товари-шши!

— Вали Безгубнова, он летось у барина на молотилке ездил, всю механизму знает! Погреется заодно без шинели-то!

— Без-губ-на-а-а-ай!

Паровоз стал под эшелон. На платформах завыло: обманутые материли, махали кулаками, выбегали на рельсы, дребезжали по стеклам станции, грозя убить.

Черненький бегал вдоль вагонов, терял пенсне и исступленно кричал:

— Это бандитизм! Разбой! Вы все графики спутали, вы подводите под катастрофу всю дорогу! Помните — это даром не пройдет!.. Я по проводу в Особый отдел!

— К черту! — отмахивался начальник эшелона. — У меня боевой приказ в двадцать четыре часа быть на месте — плевал я на ваши графики. Дежурный, отправление!

— Расстрел!.. — вопил черненький.

В эшелонах зазвякало, задребезжало, рявкнуло тысячеротым «ура» и пошло всей улицей:

— Дае-о-о-о-ошь!..

На подъеме за станцией паровоз забуксовал: перегруженный эшелон был не под силу. Распоясанные вы-

скакивали из дыма и галдежа на насыпь, рвали ногтями мерзлый песок, подбрасывали его на рельсы, чтобы не скользило; ухали, подталкивали, подпирая плечом, и в то же время откусывали от пшеничной буханки и пропихивали за отторбученную щеку.

— Гаврило, крути! Таш-ши, миленок!

— Безгубна-а-ай, поддава-а-ай!..

— Го-го-го!.. Гаврюша, крути!..

— Таш-ши!..

В перелески, в мутную поземку волокли красную громадину плечами, а впереди черный, с налитыми огнем глазами, натужно пыхтел, крича хриплыми гулами в степь: дае-о-о-ошь!..

IV

И за террасой готовились. В Даире провожали на фронт эскадрон, свою надежду, самых храбрых и блестящих, чьи фамилии говорили о веках владычества и слав.

Наутро они уходили в степи — к конному корпусу «мертвецов» генерала Оборовича, — того, который сказал:

— Идя в бой, мы должны себя считать уже убитыми за Россию.

Был незабываемый вечер в Даире. Он вставал бриллиантово-павлиньим заревом празднеств, он хотел просиять в героические пути всеми радугами безумий и нег. Музыка оркестров опевала вечер; бежали токи толп; женские нежные глаза покоренно раскрывались юным — в светах мчавшихся улиц, в качаниях бульварных аллей. В прощальных кликах приветствий, любопытств, ласк юные проходили по асфальтам, надменно волоча зеркальные палаши за собой; в вечере, в юных была красота славы и убийств. И шла речь; во мраке гудело море неотвратимым и глухим роком; и шла ночь упоений и тоски.

Был круговорот любвей; встречались у витрин, у блистающих зеркал «Пассажа», в зеленоватых гостиных улиц, у сумеречных памятников площадей. Девушки на ходу протягивали из мехов тонкие свои драгоценные руки; звездные глаза смеялись нежно и жалобно: их увлекали, сжимая, в качающуюся темь бульваров, голос мужественных, тоскующих шептал:

— Последняя ночь. Как больно...

Горя хрустальными глазами, метеорами мчались машины — через гирлянды пылающих перспектив — во

влажные ветры полуостровов, — с повторенными в море огнями ресторанов (там скрипка звенит откликом цыганского разгула...), в свистящий плеск ветвей и парков. Сходили отраженные звезды, шуршали колеблемые над ветром покрывала. Прижимались друг к другу холодноватыми от ветра губами, полными улыбок и тоски, и волны были сокровенны и глухи, волны бросали порывом это хрупкое, драгоценное в мехах к нему, уходящему, и девушка, приникая, шептала:

— Мне сегодня страшно моря... Я вижу глубину, она скользкая и холодная.

И он — может быть, этот, ушедший с любимой к морю, может быть, другой — там, в городе, у сумеречного памятника, может быть, еще третий и сотый — в ослепительных зеркалах ресторанов — повторял, торопясь и задыхаясь:

— Любимая моя, эта ночь — навсегда. В эту ночь — жить. Мы выпьем жизнь ярко! Ведь любить — это красиво гореть, забыть все...

И снова в туманы, теплые и влажные, кричала сирена, летели, валясь назад, загородные кварталы, трущобы бедноты и керосиновых фонарей. А влажные туманы просвечивались и утончались; раздвигались; рос и ширился в золотистом зареве ночной полдень улиц; раздвигались перспективы, и туда, ринувшись, потеряв волю, мчались машины — в арки громадных молочно-голубых сияющих шаров.

Это Доре.

Замедлен лет плавных крыльев; еще толчок — и стали, качнув бриллиантовую эгретку. И еще и еще, обегая полукруги, стекались авто; убегали; спархивали, стопывали на асфальт засидевшиеся телеса, ловко оталиенные, цилиндры, плюмажи миссий, драгоценные манто, аксельбанты сиятельных: туда — в кружащиеся монументально зеркальные зевы.

Уютный подъем лестниц, сотворенных из ковров, растений и мягких сияний; утонченно-почтительные поклоны лакеев, перехвативших на лету крошечное пальто бритого, тучного, с обвислой сзади оливковой шеей; у зеркал на повороте краткая остановка блистающей подруги, и за ней причмокивающий, щурящийся через монокль взгляд того, с выпяченной челюстью, — в атласный вырез, в розовую роковую теплоту.

Спутник сжал рукой палаш. «Наглец!» — хотел крикнуть он, но девушка умоляюще, нежно сжала локоть:

— Это же известный,.. парижский...

Офицер почти приостановился, подавленный: это качались на лакированных носках, шаловливо посмеиваясь, сумасшедшие алмазные россыпи, мировая нефть... Надо было улыбнуться, хотя бы дерзко, но любезно — в прищуренный испытующий монокль, в бриллиантовую запонку пластрона, — мы не варвары, месье!

И за портьерой открылась сияющая вселенная: проборы, орхидеи, белые снега грудей, бриллианты, голые плечи, летящие в блаженную беспечность, выдохи сигар, смех и говор беспечных. Пьянели залы, опеваемые смычками. Был вечер у Доре, был час, когда — жить...

Рты, раскрываясь, давили горячим нёбом нежную сочащуюся плоть плодов; распаленные рты втягивали тонкое, жгучее, на свету драгоценно-мерцающее вино; челюсти, сведенные судорогой похоти, всасывали, причмокивая, податливое, жирное, пряное.

Смычки окутывали мир.

Вставали — откуда? — преисполненные спокойствия и обилия вечера, любовь на закате, у тихого дома. Качались задумчиво головы опьяненных; грустили ушедшие куда-то пустые глаза, смычки терзались в идиотическом качании, мир исходил блаженной слюной. Шептали, безумея:

— Любимая, мы будем потом навсегда, навсегда... Будет ваш парк в Таврии, пруды, солнце... Мы будем одни! Парк, звезды твоих глаз... Как хочется забыть жизнь, моя!..

— А завтра?

И вдруг тревогой колыхнуло из недр, смычки кричали режуще и тоскливо: дуновением катастрофы пронеслось через зеленые, бездушно сияющие пространства. И тучный, с выпяченной челюстью, задрожав, встал в ужасе из-за дальнего столика, выкатывая мутнеющие глаза...

...А на много верст севернее — за дебрями ночи — из дебрей ночи прибежали двое в английских шинелях с винтовками и, показывая окоченевшими, дрожащими пальцами назад, крикнули заглушенно: «Там... идут... колоннами... наступление...» Зазвонили тревожно телефоны из блиндажных кают в штаб командующего, ночью проскакали фельдъегери в деревни — будить резервы; зевы тяжелых орудий, вращаясь, настороженно зияли в мрак: три дивизии красных густыми лавами ползли на террасу. Из штаба командующего, поднятого на ноги в полночь, звонили: немедленно открыть ураганный огонь по наступающим, взорвать фугасы во рвах. И в

ночь из-за террасы ринули ураганное: пели все сотни пулеметов, винтовки; и еще громче стучали зубы в смертной лихорадке. Прожекторы огненными щупальцами вонзились в высь — и вот опустились, легли в землю, в страшное, в оскалы ползущих... но не было ничего, пустые кусты трепыхались в ноябрьском ветре, мглой синела безлюдная ночь, огненный ураган безумел и вихрился в пустых полях...

— Ложная тревога! — кричали бледные в телефон — в штаб командующего; и те двое, прибежавшие из ночи, тут же легли у каюты начальника дивизии, пристреленные из нагана в затылок...

А из стен, с высот, нависло, росло... и вдруг, под рукой надменного метрдотеля погасли огни, где-то визгнул гонг; подтолкнутый ужасом, тучный рванулся, прижимая вилку к груди, коротенькими безумными шажками добежал до прохода и упал, хрипя. Взвыл гонг, погасли залы, эстрада вспыхнула малиновым неземным сиянием сквозь вязь волшебных растений — и знаменитая баядера выплыла из сказок, из томных лун, заломив голые руки в алом... Бесшумные лакеи бежали к лежавшему, бережно и почтительно будили за плечо, но поздно: на губах трупа густела и склеивалась кровь. И когда в темноте в пьяное, и жадное, и тоскливое дыхание притянули девушку, она сказала изнеможенными и влажными глазами: да, можно все.

Глыбы черных этажей, пылающие изнутри. Каменные аллеи улиц, пустые, чуткие после полуночи.

Остановиться у фонаря, глядеть в тихое насильственное сияние его в безглубом. Не кажется ли, что делается потайное, страшное за зловещей безмолвью? И им, в этот час, и им, несущимся на бесшумных крыльях авто, сжимала сердце тревога, плывущая с пиров.

Раскрывались зеркальные зевы гостиниц, распахивались портьеры комнат, принять тех, кто возвращался спать, усталый, со ртом, раскрытым от наслаждений. И тени бесшумных любовников скользили в зеркальные двери: цилиндры, ярь губ, заглушенный стук палаша, черный шелк Коломбины, опущенный на бровь. И в кабинетах — в полузакрытых, упоенных глазах, в объятиях последней ночи — были закаты гаснущих, уходящих веков...

А на площади, оцепленной гигантским канделябром голубых фонарей, — и где еще скрещивались фонари

кварталов, где звонко и безлюдно процокали последние рысаки, летя в кварталы, — безглубая тишина поднялась ввысь, в мировое пространство. Никла вселенская ночь. В мутной обреченности площадей на фонарях висели трое с покорными понурыми головами, глядя себе в грудь черными впадинами глазниц...

К зеркальным дверям поднесли рысаки. Двое поднимались в темно-красные, отуманенные мерцанием слабых светов бесконечные ковры. За портьерой, полной мрака и невнятного благоухания чужих, любивших и ушедших, повторялось вдруг: площадь, опрокинутая в безглубое, трое висящих — и где-то в черных пропастях та полночь, жуткая ужасом и позором... Девушка прижала ладони к бьющимся вискам; вдруг в близящиеся к ней с мукой и обожанием глаза тихо засмеялась, слабея...

И шла или стояла ночь. В сказках щемящим разгулом выл бубен баядеры. Или звенели неисходным пространства гаснущего рая в зеленоватом тумане заката, последнего на земле...

...Пели гудки в тусклом брезжущем окне. Рождался день; он был, может быть, в навсегда. Распахнули окно — в зелень высот, в холодное играние рассвета. Пели гудки; по асфальтам из переулков, из кварталов, из трущоб шли, тихо перекликаясь, безликие, утренние; шли в гудки.

В непогасших лампах комнаты тени вчерашнего, непроснувшегося, жили еще. В постели клубочком спала подруга, и был округл в усталой синеве драгоценный очерк ресниц, ушедших в себя.

В жесткой ясности восхода свет. Утренние шли в сумерках асфальтов, за ними четкость будней, жизнь. Кто-то, бережно целуя руку спящей, глядел, тускнея, в окно; день оттуда восходил, как смерть.

V

На побережье готовились к осмотру красных войск.

С севера пришли армейские и дивизионные автомобили со штабами. С курганов открывался плац, в песках, под полуобгорелой ржавой крепостью, оставшейся от древних степных царств; там знамена и серые квадраты батальонов зыбились под ветром, как поле; от опушки изб кольцом теснился глазеющий народ. Был день перед боем, день, нахмуренный в безвестье...

На плаху среди поля вбежал без шапки косматый, чернобородый, яростный. Шинель, сбитая ветром, сползла с плеч. Волосатые голые руки выкинулись из гимнастерки, кричали в поле, в толпы, в бескрайний ветреный день:

— То-ва-ри-шши!

О последних черных силах, о солнечных рубежах, за которыми счастье, хлеб и вечера, как золотеющая рожь. Хмурые батальоны молчали; бесшумно знамена плескались под плахой в желтом свечении горизонтов. А в горизонтах лежали поля, рыжие, пустые, холодные; и бесконечная тусклая свинцовость вод, уходящих в муть: там была жуткая лютая грань, оплаканная матерями.

Гигантское полотно колыхалось за плахой. И как призраки — в серых ветрах дня Красный и Черный всадники сшиблись в вышине грудями огненноглазых, бешено вздыбленных коней. Кто кого раздавит в сумерках полей, в смертельной схватке... А за ними уходит ночь, и брезжут рассветы красной золотеющей рожью.

Это есть наш последний и решительный бой...

Оркестры играли. Просторы мощно и задумчиво разверзались, грустью наплывали замедленные певучие ветры: колыхались знамена застывших батальонов. Перетянутые ремнями накрест ротные семенили перед фронтом. Около командарма, в центре круга, собрались начдивы, начальники штабов. Начальник Пензенской дивизии, мигая озябшими веками, нагибаясь, обидчиво говорил:

— Вы на моих-то картинок обратите внимание, товарищ командующий. Не солдаты, а босая команда! Где же справедливость, а?

С рядов летела придушенная команда:

— Ра-вня-й-айсь!

И вдруг — после паузы застывших движений — ревом барабанов и труб ударили два оркестра. Колоннами повзводно шли батальоны. Тысячи ног били по песку мерно и четко. И в степи от медных и певучих стенало откликом — гортанно и грустно; пело о бурях и прекрасных веках.

Был на рубеже времен желтый день в полях, и в нем торжественный церемониал толп на пепелище пышного когда-то степного царства, командарм и штабы, вытянувшиеся, пронизанные трепетом идущего, и ветры, и безвестье неизжитых, неизволнованных дней...

И под пенье гортанных торжественных фанфар видел командарм — шли, наступая, ряды, кося глаза ему в грудь. И впереди всех двое — их встречал он где-то: они запомнились навсегда, как рыжий день, как мерзлые пустые поля. Крайний с фланга рослый парень с красным обветренным лицом, в черном залатанном пиджаке, в опорках, укутавший шею в красный дырявый шарф; и рядом с ним в австрийской аккуратной шинели и кепи усатый, пожилой, с крупными прозрачными глазами.

Пели трубы, тысячи ног били в песок, и желто просвечивали поля — безгранные; и эти двое шли (за ними еще тысячи и тысячи); в пенье фанфар шли упоенные— на крыльях сказок о прекрасных веках — парень в дырявом шарфе, закинув голову и орлом глядя вперед; другой, опустив веки (крупные и впалые), утонув в далекие брызжущие сны...

Проходили ветераны Пензенской дивизии. Командарм знал эти израненные, окровавленные остатки.

— Спасибо, товарищи!

— Служ... ба... ре-во-лю-ции!

Железные птицы гудели в зените. Закат из-за далеких рубежей дрожал в облаках и на крыльях птиц червонной дрожью. Как ветры, бесконечные, безликие, провлекались ряды, в безвестье, в забвенные волны. И вдруг прекрасным стал вечер или чудесным переход фанфар: будто уже нет тех, кому надо завтра умереть, будто прошли века, прошумели все бури, и стерлись все письмена, и в успокоительных прекрасных временах поют чудесные песни о них, полузабытых тенях...

Проходили части Железной дивизии, с причудливым разнообразием обмундированные: в гусарских венгерках, в офицерских шинелях стального цвета. В командарма впивались огрубевшие от боев и походов глаза — и в них было то же оторванное, чуждое уюту, бездомное, как у него самого. Шли тупомордые броневики, безглазые и безлюдные, слепо поводя щупальцами пулеметов. Рыча гигантскими гусеницами, ползли глыбастые суставчатые танки, те самые, о взятии которых насмешливо кричали советские радио в Париж; еще не смыта была внутри кровь перерезанных белых танкистов. И белые танкисты, оставшиеся в живых, вели танки церемониальным маршем; дойдя до командарма, они заставили вертеться волчком их чудовищные, потрясающие землю тела: танки отдавали честь командарму. И шла суета сует. Газетные корреспонденты бегали в соседние избы, лезли в погреба заряжать фотографические

камеры, народ глазел и ахал. Сумерки падали, омрачая пески.

Вечерея, уходили ряды вдаль, в темно-кровавую пыль, в навсегда. Суровей и настойчивей дул ветер на залив. В волны, в муть гортанно грустили трубы, уходя в бесконечное.

И еще день прошел.

Вечером — в Даире — восходило огненным:

СВОДКА ШТАБА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

«Красные перешли к позиционной войне.

Наши части завершают перегруппировку, готовясь к очередному разгрому большевистских армий.

На всех фронтах спокойно».

И еще через минуту:

—ДОРЕ—
Несравненнейшая
Анжелика Асти
Балет! Открытая сцена до утра!
Элегантные кабинеты!

Но кто-то уже проведал о красных лавах на побережье. На тайной неуловимой бирже платили безумное — бриллиантами и золотом, чтобы попасть в секретный план эвакуации, лежавший в несгораемом шкафу в кабинете главкома. Панический шепот шелестел в улицах. На рейде дредноуты дымили загадочно и угрюмо.

Ночью в степном городке горели факелы и строился корпус генерала Оборовича. Под звездами, сняв шапку, генерал сказал:

— Прощайте, братцы. Помните: идя в бой, мы должны себя считать уже убитыми за Россию.

Корпус шел в боевой резерв: его берегли для решающего момента. Первым скакал в степь офицерский эскадрон. Просмеявшись беспечной лихостью, гинул он в пустыню, где замкнулась за ним ночь навсегда...

И еще позже — в селе Перво-Николаевка, что на северном берегу залива, было так.

Красноармеец Микешин, сидя перед пылающей печкой в волостном исполкоме, где разместился взвод, доел последнее сало, аккуратно подрезая его ножичком, обтер тряпичкой рот и, посасывая зубом, сказал товарищу, что лежал животом на полу:

— Кончил, Юзефка. Ну и сала же попалась вкусная, лихо ее забери...

И лег рядом.

В избу вошел секретарь исполкома, кривой инвалид, которого заели в боковушке солдатские вши. От бессонницы решил кое-что поделать для завтрашнего праздника — годовщины, полез по лавкам протирать портреты вождей, потом из канцелярского шкафа достал два красных свертка. Солдатам крикнул:

— Помогите, што ль, лозунга-то развесить, эй!

Никто не встал: все спали, а то нежились, жмурясь и затягиваясь из цигарок. Кривой протянул один плакат над окном, но для другого не хватило места, да и работать одному разонравилось. Микешин поднял голову и от безделья разбирал:

МЫ — МИРУ — ПУТЬ — УКАЖЕМ — НОВЫЙ...

Секретарь сел к печке, к теплу и прикорнул. В полночь велели собираться. Взводу назначено было идти в головной колонне, роздали ножницы для резки проволоки и гранаты. Микешин подтянул ремешок, поглядел на спящего секретаря и взял, подмигнув, оставшийся красный сверток.

Ночь стояла без дна, без края; после тепла сонно и дрожно зяблось. Ротный обходил, считая людей.

— Первое дело, братва, не шуметь, ни гугу... Мы его на печке живьем сцапаем! Слушать команду...

В бездонно-черном белые пожары далеко-далеко играли, трепетали, качались, вспыхивали огоньками: это вправо нервничали за террасой, щупая ночь прожекторами и ракетами. На заливе и впереди стоял глухой морок, шуршала и тревожно гудела только где-то земля. То шли к берегу тьмы тем с прибрежных деревень, волоча за собой артиллерию.

— Взвод... ар-рш...

Прошли мимо темных ометов за околицу, полезли под откосы. За откосами начиналось высушенное ветрами морское ложе. Микешин отошел в сторону, снял опорки и быстро, на ходу, перекрутил ноги плакатом: старые обмотки истлели, а братва говорила, что придется лезть через море. Впереди колыхались по земле багровые тени —это на берегу, сзади, жгли костры, чтобы не сбиться идущим.

И справа далеко-далеко шли и качались белые пожары. Они светили в пустые поля, где не шел никто... А в сухое море сползали из мрака тьмы тем, уже железом орудия загромыхали по откосам, под мягкое глухое ржанье, скатываясь в неезженный морок. Головные ушли

далеко. Понемногу скрылись костры, только зарева их тлели обманно, призрачно. Микешин сказал Юзефу:

— Друг за дружку давай держатца, братишка...

И вот стало все глухо, черно и мертво, как на дне.

Через час взводный учуял что-то впереди и прошипел: «Ложись!» Тогда пригнулись к земле и полезли дальше, сжав зубы...

Так начался знаменитый удар командарма.

Всю ночь молчали аппараты.

И с рассвета тусклые облака пошли от моря на страну. В пространства ползли полчища облаков — неслышно, могуче, бездонно. На рассвете тревожные звонили в кабинет к командарму:

— Дуют ветры южных румбов, восемь баллов...

Из бессонного кабинета верные и четкие шаги отзвучали в сумерках коридоров к аппаратам. Свинцовый рассвет глядел в окна: рассвет ли, день ли, годы ли? И опять:

— С частями за заливом связи нет. Слышна канонада на побережье...

Перед террасой с севера лежали полки: ждали. Вот-вот должно было вспыхнуть зовами, заревами в далеком — за террасой, загудеть из моря позади смятенного, не верящего еще противника; и тогда с севера ощетиненным потоком взреветь на террасу — в крик, в крошево, в навстречу.

Но в облаках, тяжких, лизавших угрюмые, лютые массивы, уже шел рассвет; за массивами продолжал лежать враг, хитрый, настороженный, и сзади его все молчало... На рассвете, не дождавшись, потоком разъяренных, опасливо пригибающихся к земле хлестнуло на террасу и — разбилось о камни: отхлынув, легло человечьими грудами во рвах, в мглистых плоскостях плацдарма...

С моря дул ветер.

И с моря бежало ручейками, серо-грязными озерами — бежало хлябями тусклых высот; затопляло дно залива, взрыхленное ступнями тысяч. В слякоти, в озерах, глубиневших каждую минуту, хлюпали резервы, брошенные вдогонку ушедшим. Свинцовым поясом стояли воды у берегов, в водах тонули дороги. Не было дорог. И опять:

— Немедленно, по приказанию командарма...

— Все меры исчерпаны. Связи нет...

На рассвете грозой пробило из-за моря. Это они, прижатые к берегу множества — прижатые к морю, —

в туманы били грозой. В море шли резервы, изнемогая, по колени в воде; с материка выгоняли деревни в воду — мостить плотины — задержать море. Деревни хлюпали базарами в воде, путались ленивыми, вязнущими телегами, плотины росли —осклизлые, зыбкие, седые — и таяли тотчас: ветер и воды пожирали их.

Командарм стоял у аппаратов — серый, как тень, от железной бессонной ночи — может быть, единственной в жизни и — в истории. Аппараты молчали... и вдруг — из дальнего, из прорвавшихся ослепительных снов — крикнуло грозой:

— Есть! В двенадцать часов без выстрела форсирована терраса. Противник бежал, угрожаемый красными дивизиями с тыла. Соединившиеся части атакуют первую линию Эншуньских укреплений.

Армия была за террасой. Рубеж был перейден. Полки лежали на солончаковом плато перешейка — перед последней тройной линией заграждений, опутавших узкие дефиле озер. Сквозь шестидесятиверстную даль — через шипы железных проволок — через гарь боя — и командарм видел уже счастливую синь долин...

Армейские автомобили мчали к террасе. Конно-партизанским дивизиям, еще замешкавшимся у залива, было приказано: стянуться на перешеек через террасу. Но через террасу был переход в двенадцать верст; а с перешейка уже дышало гулом, дрожанием недр; там начиналось... И, хрипя от нетерпения и злобы, конные свалились под берег, ордой забурлили — в воды, в кипящую муть.

VII

Был день —из жизни, из снов ли? — во мгле его остались седые плескания волн, кому-то понятные передвижения в тумане прибрежий — вперед — назад, обреченность переступивших через черту, стоны, матерщина озверелых, немолчное татаканье, бледные в рассвете зарева зажженных хуторов — в избе, на минутку, хлюпнулся Микешин бедрами на пол, отвел в сторону потные волосы и пил, тяжело дыша, из котелка.

— Ну и вода же здесь, Юзефка! Соленая-рассоленая, аж с нее пить хоцца! И железой отдает... Вот ты какая местность, а!..

И потом Юзеф лежал рядом, за бугром, в вечерении синих озер, и в этот беглый огневой треск отдавал свою долю, ложась ухом на приклад, едва открывая веки, ус-

талые, запавшие — какая мечта, какая боль за ними?.. А впереди выло и ахало железом из-за озер, рвалось, ураганилось сзади, в безводных солончаках, заревами вздыбливалась пыль, и в пологах пыли, в ночах пыли и дыма тупо и лениво ползли суставчатые серые громады в синь озер.

— Садуны-то! — всхлипнул Микешин. — От зажварят теперь! Крепись, Юзефка!..

Танки шли прорвать первую линию дефиле. На хуторе, в пяти верстах сзади, сидел командарм с начдивами и штабами дивизий: танки были его воля. За танками бросить в прорыв всю армию — в последнее, в Даирскую степь. И на минуту вдалеке смолкло татаканье сотен пулеметов, только ухало и дышало железным гулом в земле — это танки подошли к окопам, и, не переставая, били мортиры из-за озер. И вдруг слева застрочило, запело, визгнуло медными нитями ввысь — и в степи, в озера бежали поднимающиеся из-за бугров, бежали пригнутыми, разреженными токами в крик и грохот, где танки плющили кости, дерево и железо; из-за бугров подходили еще, пригибаясь, и тоже бежали, и за ними еще зыбилось нескончаемое поле масс — до краев степей, до мутных вечереющих заливов: это был вечер, исторический вечер 7 ноября — первый прорыв левого сектора Эншуньских дефиле.

На карте одноверстного масштаба командарм зачерчивал математически рассчитанные параболы движений. Он думал: это уже завершение, конец.

Но это было не все. За озерами стоял свежий, нерастраченный корпус генерала Оборовича: его берегли к концу. И теперь час настал. Когда левый сектор белых, окровавленный и разбитый, сползался за вторую колючую сеть и пешие настигали его железом, сбыченными лбами, глыбами танков — он рванулся с правого, растекаясь в просторы тучами конных фаланг. Это с убийственным вращением лезвий, с тусклым холодом глаз — в бреши живых, теплых, раздавливаемых тел мчались те, которые уже были убиты.

Была мгновенно прорвана тонкая завеса пеших против правого сектора. Конные растекались уже сзади — во взбесившиеся обозы, в марширующие резервы, в лавы опрокинутых, зажимающих головы руками. Корпус обходил фланг армии. И еще дальше — заходя правым плечом, корпус выходил в тыл армии. Над армией был занесен отчаянный удар.

На дорогах, в тылу наступающей армии нависло тре-

вожное. В долах метались спины масс, крики и гиканье плыли из-за холмов. У хутора, где стоял штаб, рвались с привязи фельдъегерские лошади, вставали на дыбы, били копытами по лакированным крыльям автомобилей. Командарм вышел и глядел в степь: там творилась смута.

Корпус выходил в тыл армии, загоняя ее в мешок между дефиле и заливом. Впереди корпуса офицерский эскадрон лихих, беспечных, смеясь, мчался в смерть. Жадно раздувались ноздри — и в близкой гибели, и в вечере, и в зверином шатании масс была острая жизнь, было пьяное, жгуче-одуряющее вино. Им, за которыми твердели века владычества, верилось в гениальность маневра, в легкость победы над диким, орущим и мечущимся безголовьем.

Командарм был спокоен, может быть потому, что знал закон масс. От командарма скакали фельдъегери к конно-партизанским дивизиям с приказанием немедленно выступить на поддержку частям. Но не успели доскакать: дивизии уже шли сами, дивизии, мокрые от усталости и воды, проволочившие свои телеги и пулеметы через море, — шли прорвать дорогу в кочевья, где молоко, мясо и мед. И еще — они хотели пить.

Черной пилой колеблясь в горизонтах — от залива до залива, тяжко неслась лава коней, бурок, телег, прядающих грив — в вечереющее. Это шел конец. Против прорыва, зияющего между заливом и скопищами армии, развертывались гигантским полукругом телеги, подставляя себя под бешеное паденье мчащихся фаланг.

На левый сектор только еще дошла тревога из тылов. Пешие не знали, куда идти; глыбастые громады, огрызаясь пулеметами, отползали назад, их били в упор подкатившиеся почти вплотную орудия. В водовороте стоял Микешин, большой, с кроваво-красными обмотками на упорно расставленных ногах, кричал в лезущее:

— Юзеф, Юзеф, где же ты? Давай друг за дружку держатца! Уходют, слышь, Юзеф!..

Из-за второй линии озверелые лезли догонять отходящих, били гулы, выпыхивали молнии из стальных зевов, расстреливавших почти в упор, на картечь... Во вселенском бреду, на земле, под ботами тысяч, лежал Юзеф — боком, поджавшись, земляной и убаюканный... или не он, может быть, а еще сотни других. Над ними кричал Микешин, охрипнув, разевая в гуле будто безмолвный рот:

— Братишка, аль же в тебя попало, а? Дружок! Слышь, Юзеф! Эх, друг-то ведь какой бы-ыл...

И, обернувшись к озерам, махал винтовкой:

— Жлобы!.. Вы! Напоследок и его, а-а-а!..

Рядом, из сумерек, упирался в бегущих ротный, гололобый матрос, тряся маузером, визжал:

— Бежать? Шкурники! Трусы!.. А революция, бога вашу мать? Первого на месте... сам!.. Назад!..

В этот миг заездил вперед и назад полукруг телег: на них обрушились, хрипя лошадьми, эскадроны. И брызнул огонь — с телег, страшных, двигающихся, разбегающихся, косящих невидимыми лезвиями пулеметов. В конных тучах скрещивались пулевые струи телег, секли, подрезали, подламывали на скаку, клали колоннами наземь; опустевшие лошади, визжа, крутя головами, уносились дико в муть. Распадались перебитые кости, чернели рты, исцелованные вчера любовницами, в кровавое месиво, истоптанные ногами, сваливались улицы, фонтаны светов, изящество культур, торжественные гимны владычеств... А телеги мчались по лежачим взад и вперед на ржавых скрипящих осях; мчался Петухов на пролетке, в одном френче, с цигаркой в зубах, держа локти наотлет: сзади рябая, сжав зубы, строчила железом; грохотала и пела смерть гнусавыми визгами.

И с флангов из-за телег сорвались и ринулись конные, крича «дае-о-ошь!» невидимой в ночи массой подъятых кулаков, пик, бурок, прядающих грив. Обратно в правый сектор уходил, истекая кровью, корпус. А в левый, в пролом, бежали опять матрос и Микешин и за ними груды потных, хрипящих, злобных от жажды — «дае-о-шь!» — и вот: на второй линии полег матрос, повиснув через проволоку затылком почти оземь, и на правом, мчась в табуне визжавших взбешенных коней, рухнул тот, в бурке, черноусый, рухнул вместе с конем, завязив размозженную голову ему под шею. И через них и за ними в сеть оскаленных проволок, ям, блиндажей неслись телеги, бежали пешие, скакали конные; далеко за озерами, прильнув к гриве лбом, уходили остатки последних, глядя назад тусклыми выпуклыми глазами.

Конец.

К ночи прошли укрепления, под откосом, в степной речушке, пили пресную воду. Микешин лег на живот, пробил прикладом ледешек и пил, а потом камнем ус-

нул тут же на берегу. И легли еще множества и спали. И в снах — сквозь зарево, жуть и кровь — успокоением сияли в мглах светы.

Ночью, в ста верстах восточнее, у Антарского мыса, двинулись еще множества и в полночь форсировали пролив. Шли по пояс в воде, на берегах толпами пылали костры, в пролетах вздыбленного моста пылали факелами керосиновые бочки, пронзая дугою зарев ночь. Противник ушел. В заревах армия форсировала пролив, и множества пили пресную воду на том берегу и, упав камнем, спали на теплой еще от вражеских ног земле.

И командарм в далекой избе, на попоне, завернувшись с головой в шинель, спал не спал — видел зарева, висящие в безднах, и идущих из черных снов в века.

VIII

В ночь противник оторвался от передовых нагоняющих частей и сгинул в степях. Вперед были брошены конно-партизанские дивизии — настичь отходящего и не дать ему сесть на корабли. Из-за террасы — с севера — шли резервы, вразвалку, в накинутых на плечи шинелях, за ними волочились бесконечные обозы в солончаках; резервы шли на смену усталым от трехдневных переходов и боев частям. Но боевые части встретили пришедших матерщиной и насмешками и сменяться не пожелали — впереди уже светились млечно-синие долы Даира. Резервные бригады тоже не хотели оставаться в тылу; полки их втиснулись кое-как между полками Пензенской и Железной, и на рассвете, скрипя и гудя тысячеголосым, армия повалила по большакам на юг.

И правофланговая Заволжская армия, проделав заход правым плечом, выходила на магистральный тракт к Даиру. Запоздавшая благодаря маневру, она наткнулась там же на обозы далеко ушедшей N-ской армии. Но армия не хотела прийти последней; она свернула на проселки, там понеслась вскачь на подводах и повозках, задыхалась пешком, волочила рысью артиллерию, бросая застрявшие орудия у зыбких рухающих мостков на степных речонках; и с тылов двинулась конно-партизанская — прямо в неезженое, сбритое осенью и утрамбованное копытами белых — три армии бежали наперегон в островную даль. Ближе и ближе чудились брошенные богатства городов; золотом крыш горело из сказок... С пересохшими ртами бежали кочевья потных, иструженных, ведомых снами...

Далеко впереди катились, расползаясь по радиусам степей, армии врага: к кораблям. С презрительной усмешкой, свертывая с дорог, отделялись от них последние из мертвецов Оборовича. Эти не хотели уходить: скрываясь в горах, поджидали идущих с севера, чтобы напасть, убить, еще раз умереть...

И дальше — в бушующей мути — крутились корабли бежавших. Еще грузились у берегов: толпы бежали по дамбам, топча брошенные узлы и тюки, под бегущими зыбкой обвисали и трещали сходни, с берега кричали и проклинали оставленные, гудки кричали угрюмо с берега в нависшую жуткую расправу и смерть. Черный дым с судов, не оседая на зыбь, куревом ночи полз у прибрежий; дикая смятенная ночь шла.

В ночи гул дальних. Все ближе на города надвигались раскаленной тенью костров.

Командарм выехал в рассвет — в степь.

Были пустые поля, теплеющий иней на развалинах разбитых хуторов, за курганами невнятная, огромно восходящая заря, как грань времен. Ночь грезилась за спиной, будто черные дремотные ворота, вставшие до высот. Заглушенно гудел мотор, главными крыльями пожирая пространство; мерцающая дорога, обложенная лошадиными трупами, кружительно пробегала назад. Трупы... трупы со вздутыми боками, с оскалом челюстей, за горизонтами опять трупы, недвижные, как вещи... Тысячи, коридоры из тысяч... И, заслышав шум, стаи трупных собак, пригибаясь брюхами к земле, отползали в поля, облизываясь, глядели на дорогу фиолетовыми кровяными глазами, мутными от страсти...

В сумерках истории, в полуснах лежали пустые поля, бескрайние, вогнутые, как чаша, подставленная из бездн заре...

Как это? Русь, уже за шеломянем еси?.. В бескрайнем курганы уплывали, как черные — на заре — шеломы: назад, в сумерки, в историю... Где-то сзади раскинулось в рассвете поле битв, еще бредящее кровью, криками, гарью; пустынно брошенные, не раскраденные еще деревнями на топливо, стоят рогатки с сетями колючек, разметано железо убийц, кости, помет животных, ямы, зияющие сумраком. Ветер треплет лохмотья бурки, повисшей на железных шипах в безумно-наклонном полете вперед... И тишина плывет над полем битв — дневная тишина запустенья; плывут, осыпаясь неуловимыми пластами забвенья, времена.

. . . .

Перед сумерками авангард ворвался в Даир. По площади копыта отзвонили пустынно и гулко. Авангард подскочил к углу трех улиц, где над каменной рябью мостовых свисали со стен небоскреба алые флаги непоколебимо, как металл: ревком. Под балконом, потрясая пиками, авангард прокричал свой дикий и радостный вызов. И с высоты из-за решетки, ликуя, наклонялись маленькие, безумно юркие, в пиджаках и без шапок, махали руками и кричали в приливающие ощетиненные низины:

— ...приветствуем...

— ...пусть услышат угнетенные массы мира!..

— ...да здравствует!..

Из далей, перспектив, как прибой, мчались конные, рассыпая в улицах крик телег и дробь копыт. С низов махали шапками, из опрокинутых лиц тысячи горящих глаз глядели ввысь — на ниспадание алого, на гаснущие алебастровые химеры небоскребов, на каменные арки культур — там оркестры веяли волнами слав,— из раскрытых пересохших глоток, из спертых зыком грудей выло:

— ...а-а-а-а!..

С окраин, из доков, из трущоб бедноты шли вставшие из земли, давя улицы множеством, зыбля алые лохмотья над зыбким океаном тысячеголовья, и от них, еще невидимых, из сумеречных недр стенало:

— ...а-а-а-а!..

В порту глыбями и насыпями громоздилось изобилие вспоротых пакгаузов и складов — тюки, ящики, остовы машин, брошенные задыхающимися на бегу. Цепи конных отеснили берега и порт, сторожили, покуривая, глядя в невиданную тысячелетнюю даль; зыбь шла туда зеленоватым свечением, словно из-за горизонтов заря.

Улицы вспыхнули от синих, бесконечно убегающих огней. В светы изумленные смеющиеся глаза тысяч глядели, как в утро. Из этажей, из стеклянных подъездов выходили нерешительные, спускались на асфальт, кривясь ласковой и боязливой улыбкой, помахивали тросточками: «И мы рады, и мы тут!..» — выходили, осмелев, женщины напудренные, со сладкой горячкой глаз, шепчась, улыбались обветренным и хищно скалящимся галифе. Мутным, радужно-болотным оком вчерашнее глядело, догасая...

В особняке черного переулка, оцепленного конными, угрюмыми и молчаливыми, осудили последних, захваченных у взорванного туннеля в горах. За безлюдьем пере-

улка ширился гул и крик, вещающий о рассветах; резко и жутко прогрохотал грузовик в мраке у ворот.

А ночью пришли полки. Массы расступились под железным упором рядов. На правом фланге впереди шел рослый, с обветренным красным лицом, в новой английской шинели, с ногами красными, как кровь; глаза, не мигая, упоенно глядели перед собой в крики толп, в пенье труб, в светы культур. Из глоток мощным выдохом ревело:

Не надо нам монархии,
Не надо нам царя,
Бей буржуазию!
Товарищи, ура!

Промчавшийся из степей автомобиль, замедленный полками, стал на перекрестке. На шествии бесконечных, на сиянии пространств — недвижим был в остром шишаке профиль каменного, думающего о суровом. Полураскрытый рот хотел крикнуть призывно и властно.

Армия, командарм вступали в Даир.

1923

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

ЛИТЕРА «Т»

Рассказ

Иван Семеныч Панкратов любил беззаботно повторять, что и умрет-то он стоя за реалом и что труп его вынесут из типографии, как букву вынимают из набора: лбом к стенам, а не к потолку. Приятели по работе уважали его за эту беззаботность, бодрую тучность, веселую седину и за те пять морщин, которые, как шрамы, пересекали его розовое лицо и говорили, что человек с такими морщинами видел много ветров и много солнца.

А солнце в Туркестане тяжелое, едкое — давно уже Иван Семеныч стал замечать, что зрение его слабнет, мир тускнеет: исчезают веселые облака, рано наступает серый вечер. С табличного набора его перевели на афиши, но и тут он делал много ошибок,— перед ним извинились, поручили ему раздавать оригиналы и разбирать. Но и тут Иван Семеныч не упал духом, он только заявил, что, видно, от старости руки трясутся, а про глаза умолчал. В жизни он, казалось, о многом молчал (хотя думать под такой жарой об этом некогда, да никто особенно и не думал о характере Ивана Семеныча). Говорил он хвастливо, например, что жена его, покойная Елена Александровна, была хозяйственная женщина, домоседка, — а Елена Александровна от водки сгорела: померла возле Амударьи у рыбачьего баркаса. Дочка, Машенька, уродилась в мать: и выпить и погулять мастерица; хроменькая, несчастненькая, будто лицо как-то вбок, рост и характер козлиный,— а почти со всеми парнями городишка П. спала и пьянствовала! Машеньку Иван Семеныч тоже уважал безмерно, тоже добродетелями ее хвастался!

За такую беззаботность его, за душевную, так сказать, красоту приятели жалеючи (перед тем как Иван Семеныч начинал разбор) подкладывали в клеточки касс темные бумажки. Иван Семеныч разберет заданный урок, а приятели утром велят выгрести буквы, бумажки

возьмут — снова переберут его работу, потому что, по слепоте своей, Иван Семеныч буквы путал и кидал не в те клеточки, где им надлежит бывать: кинет литеру «К» в свою клеточку, а она рядом упадет — в «Л». Вновь поступающих рабочих Иван Семеныч не терпел: к лицу привыкнуть трудно, лицо как бы в синей мгле, а по голосам: голоса, по правде сказать, на эту дикую окраину, перед самой Хивой и пустыней Кызылкум, попадали худейшие, хриплые, пропившиеся, без всякого уважения к сединам. В молодости Иван Семеныч и сам мало уважал седины, а теперь думал иное, так как чувствовал себя человеком, работником, полезным для земли и для дочери своей.

В день, когда начинается рассказ, на работу первый раз вышел накладчик Мишка Благовещенский. Паренек это был молодой, лет шестнадцати, дошлый, с гнилым дыханием и весь как бы прогорклый. За свою короткую жизнь он успел уже объехать всю Россию, побывал и в столицах, лихо пил пиво, таскался с бульварными девчонками. Он сразу познакомился с Машенькой, сводил ее гулять в городской сад, пощупал в темной аллее и очень обиделся: она отказалась с ним спать, она почему-то решила, что Мишка болел дурной болезнью, и Мишка догадался об ее мыслях. Мишка обиделся на нее, на Ивана Семеныча, работать явился злым, к тому же в городе поговаривали, что со стороны пустыни ведут наступление басмачи с атамановцами и что руководит наступлением атаман Кашимиров (офицер, даже в Туркестане прославившийся своей жестокостью),— а Мишка был трус, хвастался трусостью, и поэтому никто его трусости не верил. Пришел он в типографию рано утром, мальчишка-подручный уже сбирал перепутанный разбор Ивана Семеныча; мальчишка пожаловался на свою унизительную участь. Мишка встретил Ивана Семеныча язвительным воем. У Ивана Семеныча была легкая, уверенная походка, он остановился на пороге: белое крыло седины поднялось выше косяка дверей.

Тогда метранпаж Ершов отозвал Мишку за машину, поднес к его носу пропитанный скипидаром кулак и свел коротенькие сердитые брови. Мишка смолк. Иван Семеныч понял, что Мишке не дали говорить: он и боялся и желал того, что ему могли выкрикнуть.

Был пасмурный, низкий день. Две недели уже шли дожди. Из-под подпочвы сквозь песок выступили глины с отвратительным затхлым запахом. Медленно по течению Амударьи к городишку П. спускался пароход «Вол-

на революции». Пароход наполняли две роты красноармейцев, полевые орудия и снаряды. Пароход шел на помощь потому, что действительно из пустыни на городок шли басмачи. Спускался же он медленно оттого, что река Амударья, текущая среди песчаной пустыни, часто меняет русло, на ней много перекатов, мелей, течение ее стремительное, опасное, к тому же бандиты уничтожили на перекатах бакены, да и бакенщиков давно не осталось на свете. Ночью пароход бросал якорь, и каждую ночь поднималась брань: солдаты требовали, чтоб пароход все-таки шел!.. Да и верно, спать было более опасно, чем идти. Каюки басмачей не слышны; в камышах шелестит ветер... пароход тушил огни и проверял затворы. Наконец солдатам сообщили, что до городка остается каких-нибудь верст десять — пятнадцать. Но начался крупный дождь, небо потемнело. Буро-желтые песчаные холмы окружали стремительные воды Амударьи.

На одном из холмов виднелось огромное голое дерево, украшенное вороньим гнездом. Матросы высадились на берег, взобрались на холм. Ворон не пускал матросов на дерево; налетал несколько раз (подле дерева валялись щиты молодых черепах: воронята, видимо, питались ими), сверкнула молния — и тогда осторожный матрос выстрелил в ворона — и гром заглушил выстрел. Бесконечная голубовато-бурая равнина, покрытая гравием, расстилалась перед ними. Еще дальше виднелись фиолетовые холмы: ничто не напоминало им о городе. На душе у команды было смутно. Долго спорили они тихими голосами — и все же решили кинуть якорь. И тогда гнилые запахи подпочв, словно вдруг всплыли тысячи трупов, дохнули на них с берега. Туго натянувшаяся якорная цепь дрожала на мелких и злых волнах. Река, мутно-желтая, тяжелая и холодная, стремительно неслась мимо!..

В городке ревком уже давно ожидал парохода, уже второй день пристань была украшена мелкими красными флажками (они уже успели полинять, и свирепый дождь частью оборвал их). Половину городка населяли казаки, и ревком опасался, что они могут перейти на сторону басмачей, и (в то время как остальное население было мобилизовано) боялись призывать казаков к защите. Казаки, несмотря на дождь и слякоть, ходили увешанные оружием, с песнями и гармониками, привезенными с фронта,— и все это еще более увеличивало беспокойство. И сидящие в окопах, за городом, перед ли-

цом пустыни, больше всего смотрели на город, тоскливо слушая его тишину. В пустыне было темно, сыро, она походила на огромный грязный вагон.

Дальше, десятка за два верст, среди холмов, связав вершины нескольких кустарников, укрыв их попонами и чепраками, спали басмачи; атаман и генерал Кашимиров был среди них. Вот они прошли почти через Кызылкум, город уже был неподалеку, а за ним Амударья и за нею благословенная, благоуханная Хива! Все ж и басмачи и атаман Кашимиров думали, что веру, как пух, поднять можно, а через голову перекинуть нельзя. Они верили в силу города! Наконец они поймали киргиза, бродячего певца-уянчи, пробиравшегося из Хивы в Бухару, и певец, склонный к преувеличиванию, сказал им, что русские третий день уже отводят Амударью в сторону, что у русских непередаваемая даже в песне сила, что это великие богатыри; здесь атаман Кашимиров выстрелил певцу в рот. И тогда басмачи решили, что певец-уянчи подослан, шпион; сверкнули мокрые укрючины; седла звякнули стременами. Басмачи понеслись на город.

А город действительно под дождем, в грязи и слякоти третий день рыл канал. Пароход «Волна революции», кинувший якорь в пятнадцати верстах от города, вдруг ночью пошатнуло, команда спросонья открыла было огонь. Плеск вод прекратился, и дождливым утром солдаты увидали, что река отошла в сторону на сто сажень. Пароход неуклюже торчал в тине. Увязая по колени в грязи, матросы стащили лодку в реку. Коряги, тинистые и черные, торчали округ. Громадные рыбы, не успевшие скрыться, тускло трепетали под дождем в крошечных лужах. И это было все, что осталось от реки! Матросы с матерками гребли к городу. И вот тогда ревком объявил добавочную мобилизацию, конфисковал лопаты и кирки. И все ж, даже теперь, ревком не решался мобилизовать казаков. Неумело выстроившиеся отряды направились рыть канал, дабы пропустить воду к пароходу. Моросил дождь, и было такое низкое серенькое небо, словно небо это было не над блистательным и ярким Туркестаном, а над тусклыми российскими болотами. В типографии было холодно, шрифты слиплись, потому что смывать краску было нечем: ни скипидару, ни керосину. Краска застыла; валики машины прыгали по шрифту, не прилипая. Рабочих увели рыть канал, остались только Иван Семеныч да Мишка.

И по-прежнему Иван Семеныч бодро ходил среди ре-

алов, заложив за спину руки, покашливая и жалея, что некому рассказать пришедшие ему в голову занятные истории. Мишка, дабы его не мобилизовали, расковырял гвоздем ногу на взъеме, хромал, злился и резал узкие ленточки бумаги, чтобы ими переклеить крест-накрест окна: стекла тогда от бомбардировки не лопаются. Иван Семеныч побродил-побродил (Машенька, несшая картошку к обеду, долго что-то не являлась),— он посмотрел на стекла и сказал, что давно пора б вымыть — больно уж тусклы! Мишка огрызнулся: стекла мыли только утром, да и дождь их плохо моет, что ли! И он вдруг кинул полоски бумаги на пол, завизжал — вся ругань, накопленная за годы великих войн и революций, вывалилась у него изо рта. Он вытер губы; ладонь была мокрая, длинная. А старик все беззаботно смотрел в сторону, в окна, которых почти не видал: он ждал дочери. И тогда Мишка закричал ему правду об его дочери и, закричав, сам понял, что если еще можно было уязвить старика слепотой, то теперь-то совсем не поверит Мишке. И он, точно, сказал, что Мишка зря клевещет на дочь: девка верная, честная. Откуда Мишке вдруг знать о том, что неизвестно всему городу? Откуда у него такие сведения? Старик даже возвысил веселый свой голос. Мишка собрался крикнуть что-то необычайно обидное, но здесь в дверях типографии показался военком города Тулумбаев.

Тулумбаев, сутулый и решительный человек, страдавший некоторым излишком красноречия, на пороге попросил слова. И просьбу его Мишка принял как насмешку. Он обиженно ушел за машину. Военком, держа в руках аккуратно переписанный лист бумаги, сказал, что, по полученным сведениям, басмачи и атамановцы под предводительством генерала Кашимирова наступают на город со стороны пустыни и будут у окопов не позднее как через полтора-два часа. Ревком заявляет рабочим типографии: в их руках судьба города. В казачьем клубе объявлен митинг, но казаки не придут, если по городу не расклеить воззваний, в которых приводится текст телеграммы из центра, уравнивающей в правах на луга и покосы казаков и туркмен (такой телеграммы ревком не получал: он сам сочинил ее!). К пароходу за рабочими не успеть да и некому ехать — надо говорить, действовать! Казаки боятся обмана, они боятся, что на митинге их могут переарестовать. Тулумбаев взглянул на часы: он говорил пять минут, ему показалось, что этого довольно, он передал оригинал воззвания старику.

— Когда явиться за напечатанными воззваниями? — спросил он.

И старик ответил ему:

— Через сорок минут!

Военком пожал ему руку, дотронулся до козырька и, щеголяя решительностью своих движений, быстро вышел. В окна все еще сыпал мелкий дождь, было тихо, но в городе уже началась ерунда: пулеметами не знали кого защищать — то ли исполком, то ли их утащить в окопы за город. Поперек улиц протягивали проволоку. Хроменькая Машенька спала с солдатом в будке, недалеко от местного музея Географического общества. Из музея тащили старинную пушку. Машенька вспомнила и предложила зарядить ее упраздненными буквами (на упразднение «ѣ» и «ъ» утром сетовал отец: он требовал завитков в жизни), никто не понял ее: зарядили гвоздями. На улицах засверкало битое бутылочное стекло, появились стулья раскиданные — всё наивные устрашения для конницы.

Иван Семеныч стоял с оригиналом в руках и видел перед собой твердое серое полотно с ровными строчками. Шея непонятно ныла и остро кололо в висках, так остро, что трудно было повернуться. Мишка, дыша гнилью, мотался перед ним и жалобно и злобно (уже сам страшась своих выкриков) стучал каблуками. Он кричал, что не хочет из-за такого старого черта, всегда притворявшегося наборщиком, из-за побирушки и сволочи — он не хочет быть расстрелянным! Ему жаль, он страдает оттого, что не вздумал вовремя хоть сколько-нибудь подучиться набирать, хоть бы кассу немного знал! Мишка, задыхаясь от злости, схватил Ивана Семеныча за руку: кисть была длинная и неимоверно тяжелая. Мишка подвел старика к кассе, обежал кругом реала напротив,— облокотился на выпачканное краской дерево; упал на него грудью и опять завопил:

— Расстреляют, прирежут из-за тебя, сука! Свои же расстреляют. Набирай!

Бумага сухо свертывалась. Строки стыли, исчезали. И тогда Иван Семеныч вдруг вспомнил, что ему очень нравится уха из окуней, пирог с калиной, печеная в золе картошка и когда-то давно он любил французские булки. Вспомнил, как недавно умершая старуха, уже перед самой кончиной, глядя на него жалобно, сказала, что «ты вот, Иван Семеныч, как овод: летишь по-птичью, кричишь по-бычью»,— а что дальше... слезы показались у нее на глазах. Тогда эти слезы сильно удивили Ивана

Семеныча, и он их понял так, что старухе не хочется помирать, жалко расставаться с жизнью. И вот теперь, держа в руках оригинал, текста которого он не видел, он понял, как долгие годы он обманывал себя и как его обманывали и жалели. Понял многие разговоры, понял, почему так мало всегда было разбору и почему наборщики говорили, что мало работы и что он, Иван Семеныч, может отдохнуть, может идти. Иван Семеныч уходил, гулял по городу и думал: какая у него легкая и достойная старость. И еще он понял, какая была скучная и грязная жизнь, если его, старого болтуна и хвастуна, держали неизвестно за что в типографии, работали за него, кормили его и его дочь... А теперь из-за его беспомощности, из-за его... Здесь он вспомнил свою дочь, вспомнил, как часто пахнет от нее водкой... сердце его устало рванулось.

Мишка все еще орал:

— Набирай, набирай!..— Ругательства его были неистощимы. Иван Семеныч неистово дернул кассу: третью по счету сверху. Реал пошатнулся. Он выключил верстатку на десять квадратов; выбросил кассу на реал (несколько квадратов выпало). Он сразу схватил букву «Т» — так начинались все воззвания, и ему казалось, что взял он не букву «Т», а другую, перед ней или рядом с ней. Он взглянул на литеру. Литера была холодная, тяжелая и тусклая, как бы совершенно сбитая, стертая. Он беспомощно взглянул на окно, и окно было стертое, в розовой мерцающей паутине. Он совсем близко к глазам поднес литеру. Он видел: неясный овал блестел в его гладких туманных и как бы помолодевших пальцах. Литера упала к нему на ладонь. Ничего! Верстатка затряслась в руке! И тогда он почувствовал легкий озноб в пальцах ног. Озноб этот все увеличивался, сначала он походил на то чувство, которое испытываешь, когда отсидишь ногу, затем нога совсем омертвела, и только дрожала в ней какая-то тугая и необычайно горячая жила. Дальше озноб кинулся в икры, охватил всю ногу. Живот обдало волнистым и тяжелым пламенем. Горло у него пересохло; губы далеко ушли в рот, тогда мозг его запылал, необычайная радость, такая, какой он не испытывал с детства, да и то воспоминания об этой детской радости были и по сие время неясны и необъяснимы,— эта радость вдруг выпрямила его. Слезы покатились у него из глаз! Литера из ладони опять вернулась в пальцы, в упругие пальцы, и он увидал теперь, и он вспомнил только теперь, как давно он не видал морщин

на своих пальцах... Как давно!.. Но ему некогда было вспоминать, потому что он явственно разглядел, что из кассы он взял не литеру «Т», а литеру «С», лежащую рядом. «Ошибка»,— сказал он вслух, кинув букву обратно, и твердыми пальцами, описывая полукруг перед верстаткой, принес литеру «Т», за ней «О», за ней «В» и так далее...

Тогда накладчик Мишка медленно отошел от реала, боязливо оглянулся, попробовал подумать о старике что-то обидное, получилось только ругательство; он не осмелился выругаться. Мишка зачем-то пригладил волосы и начал приготовлять марзаны для заключки набора в раму. Рама вставляется вместе с набором в машину — и можно печатать. Раму он сначала выбрал самую новую, а затем осмелел, ехидно подмигнул самому себе,— дескать, знаю,— старик-то лодырь — как ловко всех обводил!

И взял раму самую грязную и заржавленную. Иван Семеныч, все еще чувствуя необычайную свою радость и даже мучаясь от этого (грудь слегка покалывало и болели виски), поспешно выставлял одну верстатку за другой. Ему показалось, что он пропустил слово, он проверил, перечел,— все было в порядке. Он опять стал набирать, и опять казалось, что слово, теперь уже какое-то необычайно важное слово, пропущено. Он сплюнул, досадливо завязал шнурком набор, кинул его на талер и схватился за рукоятку, чтобы повернуть машину и чтобы валики накатали на буквы краску. Руки его были мокры от пота; пар шел от лица.

— Крути! — закричал Мишка, кладя на барабан под зубцы лист обойной бумаги (воззвания печатались на обоях). Иван Семеныч увидел оттиск набора. Сколько лет он не видал оттисков своего набора? Ему некогда было вспоминать. Мишка визжал:

— Читай корректуру, дядя!

И он увидал опечатку: вместо слова *«смертельная»* стояло *«смиртельная»,* он схватил шило, дабы выдернуть букву из набора, заменить ее другой, но здесь острие шила исчезло из его глаз, затем он потерял рукоятку, пальцы его пошли в туман, рука исчезла. Он выронил шило и, крепко схватившись за рукоятку машины, огляделся. Типография скрылась. Мутно-багровый туман был его миром. Он сказал:

— Накладывай, Мишка.

Мишка свистнул, приказал ему крутить. Вскоре прибежал за воззваньями солдат, их отдали все — семьде-

сят штук, себе забыли оставить. А через полчаса казаки наполнили окопы. Пулеметы обратили жерла свои к пустыне. Басмачи отступили. А еще через пять часов пароход вышел прорытым каналом в Амударью. Весь город встречал пароход. Вывели встречать и Ивана Семеныча, под руки (он и сам не заметил: как и зачем). Казаки стройно и, должно быть, с некоторой хвастливостью кричали пароходу «ура». Все еще шел дождь, и мелкие капли падали на лицо Ивана Семеныча. Кто-то спросил его:

— Видишь, пароходище-то какой агромадный!

И он ответил:

— Вижу,— хотя перед ним стлалась бесконечная туманная пелена и посреди нее блестящий крошечный кружок — солнце.

1927

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

АГИТВАГОН

Рассказ

I

— Он появился у нас... постойте-ка, дайте припомнить. Я пошел на репетицию при зеленых третьего июня прошлого года. Концерт мы ставили пятого июня при налете казаков, а повторили его десятого — уже при красных. Так вот прибавьте еще две недели... Совершенно правильно, день в день. Он и появился у нас двадцать второго июня в десять часов утра, можете быть уверены в этом, как в собственном дне рождения.

Рассказчик сделал перерыв, чтоб налить себе в кружку, где на донышке осел выжатый ломтик лимона; откусив изрядную порцию ситного, усеянного, как мухами, жирным черным изюмом, он не спеша глотнул горячего чая и снова утвердил кружку на ритмически подрагивающем откидном столике.

Время было летнее, окна открыты справа и слева. В коридоре юго-восточные люди дымили густым сухумским табаком. Ветер, гулявший между окнами, заносил с собой запах нагретой степи и сладкого клевера.

Поезд летел на юг.

— Гражданин, что же дальше?

Рассказчика, худого мужчину в пиджаке из альпака, потного от жары и чая, обсели слушатели. Все глядели ему в рот, одни из любопытства, другие с бессознательным аппетитом соглядатаев,— уж очень поджарый мужчина вкусно ел и пил. Ни одной крошки не уронит, все соберет с пиджака, встряхнет на ладони, посмотрит да и отправит себе в рот. А неровные места ситного, обкусанного зубами, выровняет тотчас же острым перочинным ножом, отрезанный ломтик направляя все в ту же аккуратную глотку, как топливо в печку. И добро бы резал сыр пармезан или чарджуйскую дыню,— а и всего-то ситный не первой свежести. Слюнки закипали во рту у соседей. Впрочем, он не только вкусно ел, он и говорил очень вкусно. В его лице, изрезанном бесчислен-

ными морщинами, было что-то напоминавшее хорошую топографическую карту, складывавшуюся квадратиками. Глаза, как озера, поросли полуседым кустарником бровей. Подглазные пятна вклинивались глубоко в худые щеки. Подбородок хранил следы бесчисленных бритвенных порезов. Верхняя губа то и дело приподымалась, как у кролика над зеленями. И усы над ней, будто выкорчеванные корни деревьев на лужайке, отмечались только глубокими точками впадин и бугорков.

Внимательному человеку стало бы ясно, что перед ним опытный притворщик по профессии. Стрелки, избороздившие кожу, точно показывали привычное направление его улыбок, гримас и мимики. Складное лицо превратилось бы в маску, если б не грустные и прямые глаза, всякий раз встречавшиеся с вашими непринужденно и внимательно. Эти глаза говорили о высокой интеллигентности незнакомца. Было ясно, что он понял, взвесил и разместил каждого своего слушателя в строгом иерархическом порядке, вывел среднюю равнодействующую и весь применился к ней, ассимилировавшись со средою ровно настолько, чтобы не быть ни на йоту ни выше, ни ниже ее. Эта внутренняя «аккомодация» стала бы заметна, повторяю, только очень внимательному наблюдателю, но его сейчас не было. Единственный тонкий пассажир, горбун-коммунист, с лицом насмешливым и значительным, был сейчас невозмутимо равнодушен и спокоен. Убаюканный поездом, он просто-напросто спал, обращая столько же внимания на все происходящее, сколько на мух, ползавших у него по лицу. Остальные — поддевки и русские рубашки, красноармеец, две женщины в шляпах да коридорные брюнеты коммерческого вида,— как я уже сказал, с восхищеньем глядели говорившему в рот и чувствовали себя с ним в одной тарелке.

— Некуда спешить,— наставительно заметил рассказчик нетерпеливому слушателю,— рассказ, как монпансьешку, только дурак грызет, а умный на языке держит да исподволь посасывает. Вот, значит, он и появился у нас ровно двадцать второго июня в десять часов утра.

— Гражданин, да разъясните, кто появился-то,— не терпелось соседу, вихрастому юноше из железнодорожных служащих.

— А вам бы, молодой человек, самую чуточку обождать, тогда бы и вопрос свой не задавали неправильно. Не «кто», а «что»... Ибо я рассказываю о необыкновенном вагоне. Но прежде разрешите вам сказать, что пе-

ред вами знаменитый артист труппы Раздувай-Печурина, двадцать восемь лет кряду не покидавший сцены. Собственно, я даже тенор. Я пел Фауста. Но по мере надобности пришлось и актерствовать и режиссерствовать, а последние пять лет, благодаря оживлению политики, заниматься куплетами. Бывало, спою куплет на каждый образ правления, он и ходит по городу. А в междуцарствие у нас особая песня пелась, «Васькой» звали. Домовая охрана при охотничьих ружьях, уголовная тюрьма вся поразбежалась, а у нас зала приказчицкого собрания полным-полна, и публика с меня требует «Ваську». Ну выйдешь, споешь им:

Васька Тертый говорит:
«Что такое колорит?» —
«Это, брат, такое дело:
Слева красно, справа бело,
У Деникина черно,
А у Махно — зелено».
Отвечает Васька Тертый:
«Очевидный мелешь вздор ты.
Колорит, брат, — в спирта литре
Слить все краски на палитре...»

Рассказчик спел это приятным тенорком и продолжал дальше, покосившись на спавшего горбуна.

— Так вот, двадцать второго июня по новому стилю, после переворота, ранним утром бегут ко мне мальчишки с нашего двора и кричат во весь голос: «Дяденька, дяденька, за вами солдаты пришли!» Вышел в чем был — на пороге два красноармейца с винтовками: «Так и так, товарищ, нам нужны сознательные силы для борьбы с деревенской темнотой. Устраиваем летучий митинг в образцовом вагоне и, как мы наслышаны, что вы очень хорошо куплеты говорите, то за вами из исполкома присылают, и хоть без бумажки, а явка обязательна».

Я взял фуражку и пошел. Исполком помещался у нас в бывшей городской управе, на площади, прямо против городского сада. И что же я вижу? Стоит перед самым крыльцом огромнейший, длинный вагон на колесах, запряженный четверкой лошадей. Вагон покрашен в красную краску, совсем как в прежнее время странствующие театры ездили. По обе стороны окошечки с занавесками, а между окошечками выведены желтой краской эмблемы республики, агитационные надписи и лозунги. И все это сделано не как-нибудь, а чисто, нарядно, с хитростью. Куда ни посмотри, отовсюду действует. Особенно сзади был хороший рисунок — звал рабочий, подни-

мая тяжелый молот над старым миром, к будущему, сиявшему над ним пламенной пятиконечной звездой; и так он заразительно звал, что смотреть нельзя было без подъема. Вокруг вагона столпилось множество мальчишек; кто ни проходил по площади, остановится и смотрит.

Поднимаюсь по лестнице в исполком. Навстречу молодой человек в гимнастерке и с револьвером у пояса, красивенький, как ангелы художника Перуджино. Назвался секретарем.

— Вы,— говорит,— гражданин такой-то, куплетист нашего города?

— Именно,— отвечаю.

— Так вот, не возьмете ли вы на себя задачу выступать на наших летучих митингах с импровизированными куплетами? Тему мы вам заблаговременно укажем, условия назначьте сами. Вагон направляется по всем окрестным деревням, и в первую очередь в казачью станицу Молчановку.

Я подумал минуты две и согласился. Хотел было уж и домой повернуть, но секретарь останавливает:

— Нет, товарищ, не успеете. Если кого предупредить надо из домашних, пошлите записку. А только в десять часов соберутся сюда все участники митинга, и мы должны выехать.

— Чаю,— говорю,— не пил.

— В дороге напоим...

— Почему же,— говорю,— в такой ударной поспешности?

Он мне рассказывает, что у них все уже давно было устроено и разработано, а только ночью заболела их концертная певица, и было решено заменить ее кем-нибудь из городских. А уж тут им про меня столько наговорили, что загорелось им непременно везти с собой куплетиста, да и только. Этаким образом мне осталось лишь закупить поблизости четвертку табаку и усесться в ожидании на площадку вагона.

Проходит с полчаса, и наконец собираются мои попутчики. Я наблюдаю со стороны и вижу, что они сами-то не знают друг друга. Одни — шапочно, а иные — совсем никак. Первым подходит высокий такой, ростом с добрую подворотню, весь в парусине, штаны широкие, пояс ремешком, лицо не наше,— оказался грузином. Этот и еще другой, худенький, в синей рубашке, были партийные ораторы с мандатами от парткома. Поздоровались они молча и — в вагон. Как я потом узнал, си-

ненький был из очень важных, прикомандированный к нам с войском, а грузин — местный работник, до переворота в тюрьме сидел. За ними машинистка, девочка молоденькая и хорошенькая; пятеро человек музыкантов и секретарь исполкома с лицом Перуджинова ангела. На переднюю площадку взгромоздился казак с винтовкой, взял в обе руки вожжи, цокнул на лошадей, и мы поехали. Покуда ехали, весь город, кто ни попадался, смотрел на нас выпуча глаза.

II

В вагоне же было на первый взгляд как в читальном зале. Чистенько, пол крашеный, будто на квартире, стены в портретах, картах и плакатах. А посередине, на столе, множество брошюрок и книжек, одно и то же названье по двадцати — тридцати экземпляров; тут же в ящиках листовки и газеты.

Едем мы, позакусили, курим. Занавесочки на окнах колыхаются, как паруса. Выехали из города, пахнула нам в окна степь. Летом в наших кубанских степях хорошо, как в американской прерии: трава по пояс, кругом глаз не охватит простору, дорогу меж волнами ковыля не разглядишь, ни людей, ни животных, дергается иной раз в траве перепел да свистит иволга, и таким манером не верста и не две, десятки верст. Станицы затеряны, до хуторов не докричишься. А встретится хуторянин в широкой шляпе-осетинке из белого войлока — издалека ни дать ни взять сомбреро. Компания моя в фургоне, видно, давненько за городом не была. Худенький в синей рубашке посмотрел в окошко, скинул пенсне на шнурочке, оглянулся на нас, и лицо у него сразу другое стало; барышня-машинистка до того развеселилась, что непременно пожелала за фургоном босиком бежать, а грузин, как уселся, ворот расстегнул, ноги на другую скамейку перед собой положил и давай тянуть грузинские песни, одна другой заунывней. Музыканты ему на духовых инструментах подыгрывали.

Разговор у нас как-то вначале не клеился. Только мы с секретарем условились насчет темы для куплетов, и я тут же набросал несколько стишков, прочел ему и получил одобренье. А жара все распаривает, земля сладким соком исходит, дышать тяжело от благовония. Скинули тужурки, сапоги... Лица начали загорать ярко-розовой краской. Барышня обожгла себе спину и руки до локтя так, что они пузырями покрылись. Свернули мы

с верстовой дороги на проселочную, сделали привал и к вечеру должны были подъехать к станице Молчановке. Только к самому закату, когда вся степь клубилась в огне и рыжие пятна плыли перед глазами у того, кто глядел на небо, вдруг вдалеке послышалась частая трескотня. Сыпалась она, как горох через сито, без умолку. Кони наши остановились, казак слез с козел и подошел к нашему окошку, откуда выглядывал худенький в синей рубашке.

— Пожалуй, лучше нам будет поворачивать.

— А что такое? Выстрелы из Молчановки?

— Да, больше неоткуда. Я эти места наскрозь знаю. Тут не приведи бог застрять, окружат со всех сторон, как в мышеловке. Может, белые отбили Молчановку.

— Как это может быть, если мы утром ничего не слышали? Местность была очищена до самой Тихорецкой.

— Всяко случается, о чем вперед не услышишь,— философски заметил казак и взял пристяжную под уздцы, чтоб повернуть вагон обратно.

Нам стало как-то досадно. Что за дурацкое положение: едем честь честью в агитвагоне, разубраны, как на свадьбу, а тут здравствуйте: поворачивай оглобли перед самой целью. Не сговариваясь, переглянулись мы, и у каждого одна и та же мысль в глазах.

— Эй, послушайте,— крикнул грузин казаку в окно,— не лучше ли будет нам здесь устроиться на ночь, а наутро можно разведку сделать! Может быть, белые к утру очистят Молчановку, вот тогда мы и въедем.

Казак в сомнении покачал головой. Он был из надежных красноармейцев, родом неподалеку, из маленькой станицы. Не так давно бился с родным отцом, зарубившим младшего сына — большевика. Родичи его воевали под Врангелем. Он знал, что нарваться на белых в этих холмистых степях, где каждый клочок земли еще ослежен проходившими войсками, где в оврагах не подобраны раненые, в кустах засели партизаны и бандиты,— дело возможное и далеко не пустяковое. Он ковырнул кнутовищем землю и нехотя ответил:

— Тут за Молчановкой наши в прошедший год, уходя, хутора поразоряли. Лютей здешних хуторян вы не найдете по всей Кубани. Чуть что — они наших в полоску исполосуют. Бабы на Молчановке, говорят, красноармейцев в банях душили: казаков-то ведь на Молчановке, кроме стариков и ребят, не осталось никого, Врангель всех угнал с собой.

— Видите, товарищ,— пробасил грузин,— никого, кроме баб, не осталось, а вы Молчановки боитесь. Баб мы с вами так распропагандируем, что они и мужей обратно не примут. Распрягайте лошадей, обождем до утра, тут кстати же и хворост есть для огня.

Действительно, мы стояли возле крутого глинистого овражка, голого с нашей стороны и поросшего с противоположной сухим кустарником... Выстрелы смолкли. Оставаться на ночь в благословенной степи, развести костер, дышать запахом мяты, молочая и тмина было куда приятней, чем возвращаться. Барышня-машинистка спрыгнула наземь и легонько ударила казака в спину:

— Бросьте вы ваши страхи! Ишь какой зловещий! Посмотрите вокруг, тут курица не испугается.

Казак все так же нехотя и, видимо, неодобрительно распряг лошадей, опутал им ноги и пустил на лужайку. Потом он сходил за версту на родничок, собрал хворосту, и мы, развеселившись, как дети, принялись зажигать костер, из предосторожности на самом дне овражка. Вагон пламенел в последних лучах заката, надписи и плакаты выделялись, как огненные. Должно быть, его видно было издали. Это опять не понравилось нашему красноармейцу. Он снял с козел рваную рогожу и накинул ее на самый яркий угол вагона.

Около костра мы, можно сказать, в первый раз нащупали друг друга и перезнакомились между собой. Очень много значит в таких случаях уютность человеческая, уменье наладить, вовремя подать, вовремя сказать. Обычно это дело женское, но наша единственная дама оказалась из тех, кто, кроме своей службы, ничего не умеет. Она бегала, приставала с вопросами, веночки нам на голову плела и умножала беспорядок. За хозяйство же взялись грузин и один из пятерых музыкантов, кларнетист, удивительный человек. Как сейчас его вижу: лицо у него круглое, губы враскидку, бровей ни следа, глаза смотрели из двух щелок весело-превесело, и все у него под руками размещалось на свое место. Он нам и кашу сварил, и кофеек приготовил, и все это с прибауточками, со стишками. Грузин был тоже мастер на всякое дело, только он не умел шутить и лицом отпугивал — очень суровое, рябое лицо, нос кривой — кем-то переломлен был и сросся, руки жилистые, огромные, корявые. Маленький товарищ в синем первое время никак не проявлялся: он только недавно приехал к нам из Москвы и юг знал, как он выражался, «больше теоретически». Улыбка выходила у него робкая, слабая, и

весь он казался щуплым и слабоватым. Никто не знал среди нас ни силы, ни значительности этого тощего человека; узнать пришлось попозже. А покудова он молчал, на шутки улыбался, ел рассеянно и понемножку, объяснив, что после двухлетней голодовки от пищи поотвык и есть в полную меру остерегается. Если б не почтительность, с какой обращался к нему херувимчик-секретарь, мы бы вовсе забыли этого щуплого человека, а вместе с ним и всякую политику. Остальные четыре музыканта бесхитростно, как говорится, поддерживали «ансамбль».

Так вот, сидим мы у костра, спать не тянет, никому неохота со свежего воздуха в фургон лезть. Выстрелы утихли, казак тоже поуспокоился, достал кисет, свернул себе крученку и подсел к огоньку.

— Скажите, товарищ, на какую аудиторию вы рассчитываете в Молчановке? — спросил грузин у худенького человечка.— Имейте в виду, что казаки — народ ехидный, они менее всего побеждаются красноречием. Они привыкли к нему со дня рождения, у них даже между собою в разговоре патетический тон. Разные там аллегории, метафоры, гиперболы в обиходе у последнего безграмотного, а грамотей до такой степени витиеват, что я, признаться, сам их не всегда понимал.

— Что правда, то правда, — вмешался казак, — они разговаривать умеют. Казачья речь гуще поповской. Вы их разговорами не прошибете.

— В агитации на словах никогда ничего и не строится, — ответил худенький человек, — надо зацепить и увлечь, а это всякий раз достигается новыми средствами. Вразумлять людей — дело затяжное, долгое; тут же надобно заставить их захотеть быть с вами, сразу, без раздумья, и, если это удалось, начало положено.

— Как под музыку вприсядку пуститься, — вставил кларнетист, — слова тут самое последнее дело.

— Вы так понимаете агитацию, будто это магнетизм или истерика, — продолжал грузин, — если на этом стоять, так самые лучшие агитаторши — наемные бабы-плакальщицы или эпилептики.

— А что вы думаете? — серьезно заметил худенький, обведя нас взглядом. — Эпилептики агитируют с потрясающей силой. Я такого действия, такого возбуждения, такого скопления нигде не наблюдал, как вокруг упавшего эпилептика. Будем говорить начистоту, без книжного шаблона. Учить может знающий, а возбуждать — чувствующий. Высший тип агитатора — лицо страдатель-

ное. Ваш пример с эпилептиком великолепен. Тут ничего не осталось преднамеренного, человек весь ушел в напряжение, и окружающие этому поддаются, заражаются.

— Я как агитатор всегда пытаюсь действовать на интеллект, — возразил грузин, — и считаю странным, товарищи, что именно от вас слышу такие немарксистские речи. Я никогда не забываю основной цели: разогнать туман в головах, убедить логикой или очевидностью. Конечно, с мужиком я балагурю, зубоскалю, к нему совсем иной подход, нежели к рабочему, но цель одна: убедить, привести к умственному суждению и сознательному выбору.

— Все это так, но это не агитация. Нельзя путать разных задач. Мы с вами получили задание агитаторское, а не пропагандистское. Для пропаганды к вашим услугам время, грамота, интеллект, даже дискуссия. Для агитации ничего этого нет и не требуется. Вы промелькнули, как метеор, и зажгли. У вас нет времени на разбор, на ответ, на логику. Вы поставлены в положение электрического провода, и вам необходимо найти отрицательное электричество, чтоб образовать положительное и зажечь. В этом вся штука. Мы, товарищ, наделали много ошибок, путая обе задачи. Мы шли с пропагандой туда, где нужна была агитация, и, наоборот, насаждали хроническую агитацию там, где уже надобилась пропаганда. Нельзя, товарищ, на митинге ставить проблему, а в книге или в фельетоне преподносить голый лозунг.

Говоря так, худенький весь оживился, черты лица у него стали сильней и выразительней, голос окреп. Мы все подумали, что он должен быть превосходным оратором. Но грузин никак не хотел угомониться и, поспорив еще с полчаса, ушел спать. На меня меж тем речь худенького агитатора произвела большое впечатленье. Как куплетист, я часто сталкивался с толпой, и задачей моей было возбудить ее. Я отлично понимал все, что он сказал о положительном и отрицательном электричестве. Материалом для агитации, магнитным полем всегда в таких случаях становишься ты сам и твоя нервная система, и чем это полнее, безостаточней, тем лучше удается увлечь толпу. Я даже не раз думал, что мы все — мелкие агитаторы сцены, паяцы, клоуны, комики, трагики, — мы все сплошь постоянные жертвы в прямом значении слова; наше дело — жертвоприношение, мы каждый вечер идем на заклание. Вся нервная сила

уходит на это, а для жизни мы обезличиваемся, стираемся, обмякаем, тускнеем, ходим с ослабшими мускулами.

С такими мыслями, разбередившими мне мое прошлое, скоро пошел и я спать. Мы устроили барышню за перегородкой, а сами улеглись на лавках не раздеваясь. В окна глядели большие острые звезды, такие острые, что впрямь казалось, будто они прокалывают усиками занавеску. Из долины несло ночной сыростью, кони наши, выйдя из зарослей, шевелились возле вагона, вскидывая завязанными ногами и дергая головой, отчего по земле прыгали огромнейшие тени. Возница и не думал спать. Закутавшись в бурку и взяв ружье, он ходил взад и вперед вдоль овражка, время от времени скручивая папироску.

Я долго ворочался, потом свежий воздух свалил меня, и я заснул.

III

Как вдруг, среди самого крепкого сна, чувствую — бьет меня кто-то кулаком по уху раз, два, три, четыре... Вскочил я как безумный — оказывается, бьет в ухо треск перестрелки. Да какой еще! Не поймешь откудова, с какой стороны. Вокруг меня бегали, проснувшись, музыканты, не решаясь выскочить из вагона, выглянуть из окошка.

Я, однако же, отдернул занавеску. Мне представилось ужасное зрелище. Возле самой стены, вздыбившись от выстрела, стояла наша лошадь. Она казалась в этой позе огромной. За ее спиной отстреливался казак, ухватившись за ее гриву. Внизу валялась другая лошадь, должно быть убитая. А вокруг, справа, слева, со дна овражка, лезли на нас страшные существа, косматые, как черти, в смутном предутреннем свете казавшиеся призраками. Они орали неистово. Они стреляли без умолку. Их еще сдерживали меткие выстрелы нашего возницы, прятавшегося за раненую лошадь. Но вот пуля попала ей в брюхо. Тяжко захрипев, она содрогнулась, выпрямилась, как человек, и обеими передними ногами подмяла под себя казака, рухнув с ним вместе наземь. Я слышал, как у казака хрустнули кости. Потом в стенку вагона застучали, как град, пули, и, прежде чем я опомнился, чья-то рука за шиворот оттащила меня от окна.

— На пол! — крикнул мне хриплый голос грузина. — Товарищи, у кого есть оружие — к дверям!

Оружие — револьвер — оказалось только у него одного. Он выхватил его из-за пояса и бросился к дверям.

Музыканты слились на полу в обезумевшую кучку. Кто-то залез под скамейку. Барышня-машинистка в одной рубашке стояла у стены, белая как полотно, зажав уши руками. Она не кричала, только беспрерывно шептала что-то. Почти бессознательно водя глазами по комнате, я встретился с еще одной парой глаз, спокойных до жуткости. Это был худенький человек в синем. Он сидел в углу вагона, где лежали его портфель и подушка, и занимался необычайным делом: он натягивал сапоги. Каждая мелочь врезалась мне с этой минуты в память. Я увидел, что носки у него были розовые в полоску, что вокруг пальцев и на пятке они потемнели от пота и облегали ногу плотнее, чем на щиколотке. Заметив, что я смотрю на него, он сказал совершенно просто:

— Казак был прав, а мы безрассудны. На нас наехал разъезд белых. Постарайтесь спастись, если уцелеете в первую минуту. Скажите, что вы, музыканты и барышня, были насильно мобилизованы для участия в митинге.

В эту минуту грузин, отстреливавшийся в дверях, упал. За мною протяжно охнул кларнетист. Барышня закричала отчаянно, истерически, каким-то чужим голосом:

— Спасите! Спасите! Не трогайте!

В двери раздался залп, мы услышали крики:

— Сдавайся!

Один из музыкантов был ранен. Мы крикнули в ответ:

— Сдаемся! Среди нас женщина.

— Комиссара! — продолжали реветь снаружи. — Выходи поодиночке, руки вверх, комиссара вперед!

Тогда худенький человек взял в одну руку портфель, в другую фуражку, пошел как ни в чем не бывало к двери, и я услышал отчетливый голос, упругий, как мячик, ясный, пронзительно-спокойный:

— Я комиссар.

Много довелось мне читать всяких романов. Я испортил себе глаза над описанием разных героических подвигов. И скажу вам, что в ту минуту как при свете молнии увидел, насколько лгут книги. Ничего не доводилось мне читать подобного тому, что я увидел. Вы понимаете, в голосе, в позе, в лице худенького человека была, как бы это сказать, экзальтация совершающегося

при полной наружной трезвости. Впечатление было настолько сильно, что покрыло нас, отодвинуло нас от самих себя, мы на несколько мгновений позабыли о всякой опасности. Нет, мало того, скажу больше, мы все, по крайней мере я, ощутили вдруг, на это самое мгновение, чувство полнейшей безопасности. Вот что я называю теперь героизмом, и это нельзя понять, не пережив...

На секунду воцарилась тишина. Худенький человек стоял. Солнце начинало заниматься и лизнуло крышу нашего вагона, бросив розовый отсвет на лицо человека с портфелем. Вдруг, сразу, как со дна пропасти, завизжало, заорало, захрипело десятками нутряных голосов:

— Сука!

— Жид!

— На кол его! Ребята, бей в морду!

— К стенке! На кол!

В ту же секунду мохнатая лава людей серым комком облепила нашего комиссара, сорвала его с порога и увлекла вниз. Я слышал команду:

— Назад! Не добивать прежде времени! Допросить и на кол!

Потом те же мохнатые люди (они казались нам такими, потому что носили высокие мохнатые шапки, — это был один из именных полков деникинской армии), так вот, эти мохначи ринулись на нас, связали и выволокли поодиночке на воздух. Я не мог в ту минуту простить грузину, что он позабыл о девушке и не застрелил ее заблаговременно. Несчастная так и осталась в рубашке. Ее оголили и, схватив поперек тела, потащили в кусты.

Нас стали допрашивать. Тут вылез вперед кларнетист и, как он неподражаемо умел, развел им целое слезное море; по его словам, нас мобилизовали под угрозой смерти, держали под прицелом. На вопросы о положении в городе врал без зазрения совести: будто бы там чуть ли не бунт, белых ждали как избавителей; словом, не прошло и десяти минут, как офицер угостил его папиросой. Каюсь, в эту минуту он был мне противен, между тем он спас нам жизнь. Кто-нибудь из нас должен был проделать всю эту дипломатию; есть люди, которые добровольно берут на себя худшие роли, — все им обязаны, а вместо благодарности чувствуют брезгливость.

Одним словом, нас арестовали, но не тронули. Пока допрашивали, солдаты выволокли из вагона тело наше-

го херувимчика-секретаря: он был раньше всех, еще во сне, убит первою пулею.

Потом началось допрашивание комиссара. Впрочем, нельзя было назвать издевательство допрашиванием. С лица его лилась кровь. Верхние зубы были выбиты. Отвечая, он плевал кровью. На вопросы офицера он отвечал ясно, коротко, почти весело. Близорукие глаза (пенсне было сорвано и разбито) смотрели необычным взором, усиливая то впечатление экзальтации, о котором я говорил. Видно было, что по близорукости он не различает ни лиц, ни направления чужих взглядов и смотрит прямо перед собой на какую-то умственную, одному ему видимую точку.

— Пытать, — кричали солдаты, — чего с ним канителиться!

Худенький человек выпрямился, поднял руки, как оратор, и воскликнул звенящим голосом:

— Товарищи, близок час, когда вы поймете, что вы делаете! Разве не ради вас, жен и детей ваших борется Красная Армия? Подумайте, за кого вы стоите? Подумайте, где обещанная вам земля?

— Молчать, собака! — крикнул офицер. — Сажайте его на кол!

Знаете вы, что такое кол? Это деревянный обрубок, самый настоящий. Вот такую дубинку вгоняют человеку в задний проход. Я видел, как его посадили на кол, вогнав с силой так, что хрястнули раздираемые внутренности. И человек корчился, пригвожденный, а с востока взошло большое, белое, горячее солнце, зачирикали птицы, занялась вся степь и ослепительно засиял наверху наш агитвагон всеми своими лозунгами и плакатами. Он стоял к нам как раз той стороной, где веселый рабочий размахивал огненным молотом, зовя к сияющей пятиконечной звезде.

Корчившийся на колу увидел эту звезду, он протянул руки к вагону. И... содрогаюсь до сих пор, как вспомню. Вдруг сильным, нечеловеческим голосом, будто не рвало ему внутренности, стал говорить. Это была его агитационная речь. Он успел сказать:

— Да здравствует рабоче-крестьянская республика! Вы все поймете, вы будете с нами. В вагоне приготовлена для вас ли-те-ра-тура. Берите себе вагон!

Слово *«вагон»* резнуло, как нож, так напряженно вышло оно из горла. Действие было нечеловеческое, потрясающее. Солдаты буквально оцепенели, многие попятились от него. Офицер с проклятием выстрелил в лицо

тому, кто агитировал с кола. Он был вне себя, когда заорал, чтоб жгли вагон.

Тут-то я и увидел самое необычайное во всей моей жизни. Да, милые вы мои, солдаты ринулись к вагону, набились в него и — пусть я провалюсь, если вру, — делая вид, что разрушают вагон, совали себе, кто во что успел, нашу литературу. Один за голенища, другой за пазуху, третий в рукав, под шапку. Я видел в окошко их лихорадочные движения — это казалось полусознательным, сомнамбулическим. Должен сказать вам, что и я сохранил на память, подобрав тихонько, обгорелую щепку от нашего вагона и сохраню ее до самой своей смерти.

В шесть месяцев после этого весь юг был окончательно очищен от белых. Я встретился случайно с одним из тогдашних наших мохначей, —он был уже красноармейцем.

— Почитай, целиком перешли мы в Красную, — сказал он мне между прочим. — С того дня и задумались.

Вот что я считаю образцовой агитацией. Живите тысячу лет и еще тысячу, а большего не придумаете. Сильнее, чем жертва, на земле нет ничего.

Кажись, станция. Пойду возьму свежего кипяточку.

Рассказчик встал, взял большой медный чайник и двинулся к выходу. Спящий в углу пассажир-коммунист внезапно открыл глаза, вскочил и, взяв фуражку, вышел за ним. На лесенке он слегка ударил его по плечу. Рассказчик живо обернулся и, казалось, ничуть не удивился.

— Вот что, товарищ, — сказал пассажир, — рассказ хорош, хотя и есть некоторая скрытая тенденция... Вы меня понимаете, насчет жертвы. Только одно плохо: постепенно сбились с тона. Вели вначале соответственно аудитории, а потом вдруг перешли на высокий стиль и засерьезничали, словно для более тонкого слушателя рассказываете. Эта неровность — единственный недостаток.

— Разве вы не догадались, что это — для вас? — усмехнувшись, ответил рассказчик. — Я заметил, что вы не спите. И тенденция, может быть, вам не повредит.

И, прежде чем тот успел опомниться, он взмахнул чайником и исчез в толпе.

1923

ИСААК БАБЕЛЬ

ИЗМЕНА

Рассказ

«Товарищ следователь Бурденко. На вопрос ваш отвечаю, что партийность имею номер двадцать четыре два нуля, выданную Никите Балмашеву Краснодарским комитетом партии. Жизнеописание мое до 1914 года объясняю как домашнее, где занимался при родителях хлебопашеством и перешел от хлебопашества в ряды империалистов защищать гражданина Пуанкаре и палача германской революции Эберта-Носке, которые, надо думать, спали и во сне видели, как бы дать подмогу урожденной моей станице Иван Святой Кубанской области. И так вилась веревочка до тех пор, пока товарищ Ленин не отворотил озверелый мой штык и не указал ему предназначенную кишку и новый сальник поудобнее. С того времени я ношу номер двадцать четыре два нуля на конце зрячего моего штыка, и довольно оно стыдно и слишком мне смешно слыхать теперь от вас, товарищ следователь Бурденко, неподобную эту липу про неизвестный N-ский госпиталь. В госпиталь этот я не стрелял и не нападал, чего и не могло быть. Будучи ранены, мы все трое, а именно: боец Головицын, боец Кустов и я, имели жар в костях и не нападали, а только плакали, стоя в больничных халатах на площади посреди вольного населения по национальности евреев. А коснувшись повреждения трех стекол, которые мы повредили из офицерского нагана, то скажу от всей души, что стекла не соответствовали своему назначению, как будучи в кладовке, которой они без надобности. И доктор Явейн, видя горькую эту нашу стрельбу, только надсмехался разными улыбками, стоя в окошке своего госпиталя, что также могут подтвердить вышеизложенные вольные евреи местечка Козин. На доктора Явейна даю еще, товарищ следователь, тот материал, что он надсмехался, когда мы, трое раненых, а именно: боец Головицын, боец Кустов и я, первоначально поступали на

излечение, и с первых слов он заявил нам слишком грубо: вы, бойцы, искупайтесь каждый в ванной, ваше оружие и вашу одежду скидайте этой же минутой, я опасаюсь от них заразы, они пойдут у меня обязательно в цейхгауз... И тогда, видя перед собой зверя, а не человека, боец Кустов выступил вперед своею перебитой ногой и выразился, что какая в ней может быть зараза, в кубанской вострой шашке, кроме как для врагов нашей революции, и также поинтересовался узнать об цейхгаузе, действительно ли там при вещах находится партийный боец или же, напротив, один из беспартийной массы. И тут доктор Явейн, видно, заметил, что мы можем хорошо понимать измену. Он оборотился спиной и без другого слова отослал нас в палату и опять с разными улыбками, куда мы и пошли, ковыляя разбитыми ногами, махая калечеными руками и держась друг за друга, так как мы трое есть земляки из станицы Иван Святой, а именно: товарищ Головицын, товарищ Кустов и я, мы есть земляки с одной судьбой, и у кого разорвана нога, тот держит товарищей за руку, а у кого недостает руки, тот опирается на товарищево плечо. Согласно отданного приказания пошли мы в палату, где ожидали увидеть культработу и преданность делу, но интересно узнать, что же мы увидели, взойдя в палату? Мы увидели красноармейцев, исключительно пехоту, сидящих на устланных постелях, играющих в шашки, и при них сестер высокого росту, гладких, стоящих у окошек и разводящих симпатию. Увидев это, мы остановились как громом пораженные.

— Отвоевались, ребята? — восклицаю я раненым.

— Отвоевались, — отвечают раненые и двигают шашками, поделанными из хлеба.

— Рано, — говорю я раненым, — рано ты отвоевалась, пехота, когда враг на мягких лапах ходит в пятнадцати верстах от местечка и когда в газете «Красный кавалерист» можно читать про наше международное положение, что это одна ужасть и на горизонте полно туч.

Но слова мои отскочили от геройской пехоты, как овечий помет от полкового барабана, и заместо всего разговор получился у нас, что милосердные сестры подвели нас к лежанкам и снова начали тереть волынку про сдачу оружия, как будто мы уже были побеждены. Они растревожили этим Кустова нельзя сказать как, и тот стал обрывать свою рану, помещавшуюся у него на левом плече, над кровавым сердцем бойца и пролетария. Видя эту натугу, сиделки поутихли, но только поутихли

они на самое малое время, а потом опять завели свое издевательство беспартийной массы и стали подсылать охотников повытаскивать из-под нас, сонных, одежду или заставляли для культработы играть театральную ролю в женском платье, что не подобает.

Немилосердные сиделки... Не однажды примерялись они к нам ради одежды сонным порошком, так что отдыхать мы стали в очередь, имея один глаз раскрывши, и в отхожее даже по малой нужде ходили в полной форме, с наганами. И, отстрадавши так неделю с одним днем, мы стали заговариваться, получили видения и, наконец, проснувшись в обвиняемое утро, 4 августа, заметили в себе ту перемену, что лежим в халатах под номерами, как каторжники, без оружия и без одежи, вытканной матерями нашими, слабосильными старушками с Кубани... И солнышко, видим, великолепно светит, а окопная пехота, среди которой страдало три красных конника, фулиганит над нами и с ней немилосердные сиделки, которые, всыпавши нам накануне сонного порошку, трясут теперь молодыми грудьями и несут нам на блюдах какаву, а молока в этом какаве хоть залейся! От развеселой этой карусели пехота стучит костылями громко до ужасти и щиплет нам бока, как купленным девкам, дескать отвоевалась и она, Первая Конная Буденная армия. Но нет, раскудрявые товарищи, которые наели очень чудные пуза, что ночью играют, как на пулеметах: не отвоевалась она, а только, отпросившись вроде как по надобности, сошли мы трое во двор и со двора пустились мы в жару, в синих язвах к гражданину Бойдерману, к предуревкома, без которого, товарищ следователь Бурденко, этого недоразуменья со стрельбой, возможная вещь, и не существовало бы, то есть без того предуревкома, от которого совершенно мы потерялись. И хотя мы не можем дать твердого материала на гражданина Бойдермана, но только, зайдя к предуревкома, мы обратили внимание на гражданина пожилых лет, в тулупе, по национальности еврея, который сидит за столом, стол его набит бумагами, что это некрасота смотреть... Гражданин Бойдерман кидает глазами то туда то сюда, и видно, что он ничего не может понимать в этих бумагах, ему горе с этими бумагами, тем более сказать, что неизвестные, но заслуженные бойцы грозно подступают к гражданину Бойдерману за продовольствием, вперебивку с ними местные работники указывают на контру в окрестных селах, и тут же являются рядовые работники центра, которые желают венчаться

в уревкоме в самой скорости и без волокиты... Так же и мы возвышенным голосом изложили случай с изменой в госпитале, но гражданин Бойдерман только пучил на нас глаза и опять кидал их то туда то сюда, и ласкал нам плечи, что уже не есть власть и недостойно власти, резолюции никак не давал, а только заявлял: товарищи бойцы, если вы жалеете Советскую власть, то оставьте это помещение, на что мы не могли согласиться, то есть оставить помещение, а потребовали поголовное удостоверение личности, не получив какового, потеряли сознание. И, находясь без сознания, мы вышли на площадь перед госпиталем, где обезоружили милицию в составе одного человека кавалерии и нарушили со слезами три незавидных стекла в вышеописанной кладовке. Доктор Явейн при этом недопустимом факте делал фигуры и смешки, и это в такой момент, когда товарищ Кустов должен был через четыре дня скончаться от своей болезни!

В короткой красной своей жизни товарищ Кустов без края тревожился об измене, которая вот она, мигает нам из окошка, вот она насмешничает над грубым пролетариатом, но пролетариат, товарищи, сам знает, что он грубый, нам больно от этого, душа горит и рвет огнем тюрьму тела...

Измена, говорю я вам, товарищ следователь Бурденко, смеется нам из окошка, измена ходит, разувшись, в нашем дому, измена закинула за спину штиблеты, чтобы не скрипели половицы в обворовываемом дому...»

1926

АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ

ПОБРАТИМЫ

Рассказ

Они встретились в Кронштадте на Якорной площади.

Арсений говорил скорую речь среди многотысячной волнующейся толпы моряков, солдат и портовых рабочих. Военный моряк французской службы Шарль Дюмон, что выделялся в толпе своей шапочкой с красным помпоном на макушке, слушал русского моряка с волнением, осененные длинными ресницами глаза сияли.

Дружные крики «Правильно! Правильно!» и хлопки жестких ладоней перекрыли последние слова оратора. Шарль протискался к нему и принялся энергично трясти точно из чугуна литую лапу русского моряка.

— Bravo, bravo, camarade! (Браво, браво, товарищ!)

— Bonjour, mon vieux. Comman gue ça va? (Добрый день, приятель! Как дела?) — приветливо спросил и Арсений. Он, моряк старой службы, знал с сотню иностранных слов, которых ему за глаза хватало для любого разговора.

Прогуливаясь по набережной, они переговорили обо всем на свете — о русской революции и о суточном порционе, о грядущем мире и подводных лодках, о последних волнениях во французской армии и о портовых девчонках: где-то в Алжире и Марселе у них нашлись общие приятельницы, чему оба немало смеялись.

Арсений повел гостя на свой крейсер, где Шарля все привело в восхищение: и то, что все вредные офицеры казнены или списаны на берег; и то, что на корабле самими моряками поддерживается образцовый порядок; и то, что рядовые моряки живут на равную ногу с оставшимися лицами командного состава, едят из одного котла и курят одинаковый табак. Шарль Дюмон не захотел возвращаться на свой корабль. Арсений принес ему из вещевой баталерки комплект обмундирования и подарил отличного боя маузер.

Они подружились.

Всюду их видели вместе — и на митингах, и на вечеринках, и в театре, и на лекциях, и на бурных заседаниях Кронштадтского Совета. Шарль рьяно изучал язык революционной страны.

В июльские дни они вместе маршировали по Невскому, на митинге слушали Ленина, перед особняком Кшесинской присягали на верность революции. Вместе они участвовали в штурме Зимнего дворца, вместе в конце семнадцатого года с одним из первых красногвардейских отрядов отправились и на фронт; всю зиму они вместе мыкались на бронепоезде по Украине и Дону, сражаясь с разномастными бандами контрреволюции. Под Ростовом бронепоезд был спущен под откос, а Арсений тяжело контужен.

Потрепанный отряд балтийцев отозвали в Харьков на переформирование; Арсений, прихватив с собой друга, уехал на поправку к себе в деревню, под Пензу, где у него еще живы были старики.

Дело близилось к весне.

Арсений быстро поправлялся и уже стал похаживать в сельсовет, наводя там порядки, а Шарль с жаром доучивался русскому языку у деревенских девок и частенько возвращался домой под утро.

Весною восемнадцатого года на защиту контрреволюции выступил чехословацкий корпус. По городам и селам зашевелилось воронье, по всему Поволжью забушевали грозы восстаний. Оба моряка пристали к проходившему мимо партизанскому отряду.

С отрядом, принимая бои, они упятились к Волге, сдали Сызрань, отступили до Самары.

По реке Самарке стлался предрассветный туман.

Нарытые по окраине города окопы были полны спящих людей: спали вымотанные последними боями латыши и матросы; спали лишь накануне прибывшие татары уфимской дружины. По дворам и домам, примыкавшим к фронту, сморенные смертельной усталостью и только что смененные с позиций, спали бойцы самарской дружины коммунистов: успокоенные обманчивой тишиной, беспечно спали в своих норах секреты и заставы.

Вдруг у самых окопов — осторожное дыхание паровоза...

Зарывшись в солому и посапывая, спал Шарль. У него в ногах, засунув рукав в рукав и обняв карабин, сидя спал Арсений. Сознание его было заткано паути-

ной каких-то летучих, тревожных снов... Вдруг сердцевещун: тук-тук... Арсений кулаком протер глаза и, выглянув из окопа, ахнул.

— Чехи, — крикнул он, выдергивая из-за пояса бомбу, — братва, чехи!

Через мост осторожно переползал неприятельский поезд — паровоз и несколько открытых платформ с установленными на них пулеметами и двумя орудиями. Под прикрытием поезда мост перебегали густые цепи чехов в своих шапочках пирожками.

В окопах зашевелились.

В следующее мгновение тишина июньского утра была разодрана залпами.

Весть о неприятеле искрой просверкнула по всей линии фронта от завокзальных позиций до косы, образуемой слиянием Волги и Самарки.

Взыграла паника.

Из окопов выпрыгивали и бежали сломя голову оробевшие, увлекая за собой отважных.

Минута, другая — и с угла Заводской и Уральской улиц, по квадратам кварталов, чехи стали быстро распространяться по городу. На подмогу им из темных щелей вылезли лабазники, эсерствующие юнцы, черная сотня и офицеры подпольной организации.

Защищались дружинники, захваченные в клубе коммунистов; защищался штаб охраны; на улицах защищались отдельные герои, но участь города была уже решена. Забросанный гранатами, сдался клуб коммунистов, и уцелевших защитников его рыжебородый Масленников вывел на улицу под белым флагом.

Волна террора обрушилась на город.

Захваченных в плен бойцов пачками расстреливали на косе, у плашкоутного моста, у вокзала, в Запанской слободке; топили в Волге и Самарке, вылавливали по дворам и предавали самосуду.

Моряки — человек пятнадцать — отходили по улице, отстреливаясь. Как вода, напоровшись на камень, разбивается на обе стороны, так и моряки разбились, наткнувшись на дом, из окон и с крыш которого по ним загремели выстрелы. Двое остались на мостовой, посредине улицы; пулеметчик Аксютин был застрелен в подъезде каким-то мальчишкой-гимназистом; еще один растянулся, уронив голову на порог чужого дома; Шарль был схвачен дворниками, остальные бросились врассыпную.

Арсений забежал во двор — кучка падких до зрелищ

полураздетых обывателей расступилась перед матросом, что в три прыжка перемахнул двор и нырнул в пролом в заборе. Перебежал еще двор, с маху на руках перекинулся еще через забор, под его коваными сапогами прогремела железная крыша, под ним оборвалась водосточная труба. Он упал куда-то в сад, прямо в сиреневый куст, в кровь испоров руки. Перелез еще через один усаженный гвоздями забор, оглядевшись, нырнул в дровяной сарай и — задыхающийся от волнения и быстрого бега — упал на дрова.

Все было кончено, бежать было некуда... Бомбы все до одной раскиданы; приклад карабина расколот пулей; не могли больше сослужить службы кольт и наган, патроны из которых были расстреляны все до последнего. Перебрав скороговоркой всех божьих угодников и святителей до семьдесят седьмого колена, моряк закурил... Но напрасно он думал, что оторвался от преследователей, — его искали, искали и в саду, и по дворам, и по всем норам. Вот он заслышал лающие голоса, звон шпор, топот многих ног... Затоптал окурок и, схватив березовое полешко, — с сердцем, бьющимся в самом горле, — встал за дверной косяк... Идут, прошли... Но один — судьбы подарок! — завернул в дровяник и у самой двери рухнул, сраженный поленом.

Через несколько минут, одетый в длинную, до пят, офицерскую шинель, Арсений вышел на улицу и замешался в толпу.

Город ликовал.

Над городом полыхал праздничный перезвон церковных колоколов, улицы были полны разряженными лавочниками, с балконов на победителей сыпались цветы и крики приветствий, гремели военные оркестры. При большевиках памятник Александру II был задрапирован досками. Чьи-то руки уже сдирали эти доски, и чьи-то лбы уже стукались о гранитный пьедестал «царя-освободителя», а там, на окраинах, еще шла расправа с побежденными.

Арсений шел как пьяный. Жажда мести разъедала его сердце.

Привлеченный криками мальчишек «Ведут, ведут!», он остановился. По дороге, окруженная кольцом конвоя, двигалась партия пленных, среди которых он сразу узнал дружка: обрадовался, чуть не крикнул, но сдержался и, втянув голову в плечи, упятился на тротуар, за спи-

ны других. Шарль шагал, потупив залитое кровью лицо. Арсений без думы пошел следом.

Арестованных ввели в дом, у подъезда которого размашисто мелом было написано: *Управление коменданта города.*

Решение созрело мгновенно.

Арсений — мимо часового — вошел вслед за арестованными в просторный зал. Комендант города, в перевитых двухцветной ленточкой погонах полковника, сидел за столом перед зеркальцем и брился. Арсений, четко отбивая шаг, подошел к столу и принял под козырек:

— Поручик триста девятого Овручского пехотного полка... Честь имею, господин полковник, явиться в ваше распоряжение...

Полковник, не прекращая своего занятия, скосил глаза и внимательно осмотрел стоящего перед ним человека в офицерской шинели, из-под воротника которого выбивался ворот матросской форменки.

— Ваши документы?

Арсений подал истертый на сгибах послужной список, из которого явствовало, что он действительно является поручиком триста девятого Овручского пехотного полка Андреем Владимировичем Озеровым, награжденным двумя Георгиевскими крестами и уволенным со службы по демобилизации.

Полковник отер носовым платком чисто выскобленное лицо и подал руку:

— Очень рад. Садитесь.

Арсений сел в кресло.

— Вы, господин поручик, и в русском флоте служили? — неожиданно спросил полковник, не сводя с него светлых холодных глаз.

— Нет, не служил.

— А это что за маскарад? — И он, перегнувшись через стол, вытянул у него из-под шинели ворот форменки.

Арсений заправил ворот обратно и спокойно ответил:

— При большевиках, господин полковник, всяко приходилось одеваться...

— Да, да, конечно, — согласился полковник и, сказав несколько фраз об изуверстве тевтонского племени, о кровожадности большевиков и о единстве задач, стоящих перед славянами, протянул руку: — Завтра, поручик, в нашем штабе вы получите назначение в действующую часть.

Арсений козырнул и пошел было к выходу, но, уви-

дев прижатых в угол пленных, отшатнулся и повернул обратно к полковнику:

— Господин полковник... здесь... негодяй!..

— Что такое?

— Вашими солдатами задержан мерзавец, казнивший мою мать и сестру.

— Который?

Арсений подошел к кучке арестованных и грубо, за руку выдернул Шарля:

— Вот он!

— Не извольте, господин поручик, беспокоиться. Я прикажу немедленно расстрелять его, здесь же, во дворе.

— О нет... На могиле матери я поклялся... Позвольте мне самому с ним расправиться! — И Арсений выхватил из кармана пустой кольт.

Полковник любезно согласился.

Арсений залепил другу по скуле так, что тот пролетел через весь зал и тяжестью своего тела распахнул дверь во двор. Арсений быстро выскочил за ним и, награждая его тумаками, повел куда-то в глубину двора.

Через полчаса они уже сидели на Набережной в шумном трактире, пили чай и обсуждали план дальнейших действий. Убежать из города было не так-то просто: на все дороги и тропы были выставлены заставы, всюду шныряли военные патрули, проверяющие у всех подозрительных документы. В том же трактире они познакомились с кочегарами буксирного пароходишка «Сатурн». Арсений, решив сыграть ва-банк, открылся кочегарам во всем.

Ночевали дружки в трюме «Сатурна».

В трюме они сидели три недели, не высовывая носа на белый свет.

Но вот капитан «Сатурна» получил приказание чешского командования доставить на фронт две баржи с патронами и снарядами.

Отправились в поход.

В ночь с первого на второе июля под Хвалынском, пройдя полным ходом линию фронта, транспорт «Сатурн» — под красным флагом — выплыл к советским берегам, где и был встречен с почестями. Красная Армия нуждалась и в пароходах, и в патронах, и в снарядах, а еще более — в верных революции людях!

1935

ЛАРИСА РЕЙСНЕР

МАРКИН[1]

Очерк

Каждое утро боцман флагманского судна «Межень», довольный и улыбающийся, доносит о падении температуры в Каме.

Сегодня термометр остановился на 1/2 градуса, в воздухе — ноль. По течению плывут одинокие льдины, вода стала густой и медленной, над поверхностью дымится постоянный туман, верный предвестник мороза. Команды судов, совершивших всю трудную кампанию от Казани до Сарапуля, готовятся к зимовке, команды веселеют, предвкушая отдых. Еще день-два, и флотилия уйдет из Камы до следующей весны.

И только теперь, когда близок час невольного отступления, все вдруг начинают чувствовать, как дóроги и незабываемы стали эти берега, отбитые у неприятеля, каждый поворот реки, каждая мохнатая ель над крутыми обрывами.

Сколько трудных часов ожидания, сколько надежд и страхов — не за себя, конечно, но за великий восемнадцатый год, судьбы которого иногда зависели от меткости выстрела, от мужества разведчика! Сколько радостных часов победы останется здесь, на Каме! Лед затянет суровые воды, избитые снарядами, исчерченные высокими бортами, лед навсегда скроет от нас омуты, ставшие могилами наших лучших товарищей и ожесточеннейших врагов.

Кто знает, против кого и в каких водах придется начать борьбу через год, какие товарищи взойдут на бро-

---

[1] Маркин Николай Григорьевич (1893—1918) — активный участник Октябрьской революции и гражданской войны. Член КПСС с 1916 года. В 1916—1918 годах — секретарь Наркомата иностранных дел. По заданию В. И. Ленина организовал издание секретных документов царского и Временного правительства. В 1918 году — комиссар и помощник командующего Волжской военной флотилией. Погиб в бою.

нированные мостики судов, таких знакомых и дорогих каждому из нас.

Тяжело стуча колесами и высоко в темноте покачивая сигнальный фонарь на мачте, уходит в Нижний кто-то из «транспортов».

Оставшиеся суда провожают удалившегося товарища прерывистым ревом сирен, который долго не умолкает: каждый из них знаком, как голос друга. Вот резкий крик «Рошаля», вот пронзительный и короткий свисток «Володарского», вот «Товарищ Маркин» со своей грудной, оглушительной трубой.

Самые тяжелые воспоминания связаны для нас с этим прощальным приветом моряков. К нему прибегают суда, находящиеся в крайней опасности.

Так звал к себе на помощь несчастный «Ваня-Коммунист», зажженный неприятельским снарядом, пылающий среди ледяных вод реки, окруженный всплесками, со сломанным рулем и оборванным телеграфом. Как долго, как непрерывно кричала его сирена.

Все чаще подымались вокруг фонтаны воды, уже на поверхности реки замелькали черные точки — люди, бросившиеся вплавь к берегу, и течением понесло вниз обгорелые щепы, какие-то ведра и табуретки, а она все не умолкала — окутанная паром, опаленная огнем, обезумевшая, страшная сирена смерти. Странно и неожиданно подошло это несчастье.

Еще накануне военная флотилия одержала значительную победу над белогвардейской флотилией: после двухдневного боя у села Битки последняя должна была бежать выше, и наши суда прорвались в тыл белым, расположенным на обоих берегах. Преследование продолжалось еще целые сутки, и только наутро третьего дня флотилия стала на якорь в чудесном плесе Камы, голубом, бирюзовом и янтарном под ясным солнцем ноября.

Решено было на время остановиться, подождать прихода десанта, так как разведчики принесли тревожные известия о сильных береговых укреплениях в селе Пьяный Бор, которые нельзя было взять с реки без поддержки нашей пехоты; к тому же запас снарядов совершенно истощился, на кораблях и барже оставалось по восемнадцать — пятьдесят выстрелов. В ожидании пехоты, которая всегда сильно опаздывала, моторные катера пошли на разведку, и матросы с удовольствием издали наблюдали неуловимо быстрые, стремительные тела, едва заметные в облаке пены, по которым белые открыли совершенно бесполезный ураганный огонь.

В высоких столбах воды, поднятых снарядами, играла огнистая дуга, и на реке ежеминутно вздымались и таяли пушистые, белоснежные и радужные фонтаны. С отмели поднялась стая испуганных лебедей, мимо нее разбежался и прогудел гидроплан, и воздух наполнился лебединым криком, трепетом белых крыльев и пчелиным гудением винта.

И Маркин не выдержал. Маркин, командовавший лучшим пароходом «Ваня-Коммунист», привыкший к опасности, влюбленный в нее как мальчик, не мог со стороны наблюдать воинственную игру этого утра. Его дразнил и привлекал высокий песчаный обрыв, и Пьяный Бор, таинственно-молчаливый, и притаившаяся опушка, и эта батарея на берегу, где-то спрятанная, терпеливо ожидающая.

Как выбрали якорь, как скользнули вдоль запретного берега, как успели отойти далеко от своей стоянки, никто хорошо не помнит. И вдруг недалеко, почти перед собой, заметил Маркин прикрытие и за ним неподвижные, на него направленные дула.

Один корабль не может сражаться с береговой батареей, но это утро после победы было так хмельно, так безрассудно, что «Коммунист» не отступил, не скрылся, но вызывающе приблизился к берегу, пулеметом отгоняя прислугу от орудий. Безумству храбрых поем мы славу. Но на этот раз гибель Маркина была предрешена.

На помощь «Коммунисту», ушедшему далеко вперед, подошел миноносец «Прыткий». Можно не верить в предчувствия, но каким томительным волнением были охвачены все бывшие тогда на мостике «Прыткого». Это не страх — этой гнусной болезни никто не был подвержен,— но особое, единственное, какое-то щемящее ожидание, которое я лично тоже испытала, когда миноносец, ничего не подозревая, приближался к «Коммунисту».

Краткий разговор с корабля на корабль был последним для Маркина. Комфлот спросил по мегафону:

— Маркин, в кого вы стреляете?

— Мы стреляем по батарее.

— По какой батарее?

— Вон за дровами, видите, блестит дуло.

— Немедленно дайте полный ход назад.

Но было уже поздно. Едва машина миноносца сделала бешеный скачок назад, едва «Коммунист» последовал за ним, белые на берегу, чувствуя, что добыча от них ускользает, открыли истребительный огонь. Снаряды валились градом. За кормой, по бортам, перед но-

сом — кругом. Через мостик они проносились с «сосущим» воем, как кегельные шары катясь и разрывая воздух. И через несколько минут «Коммунист» окутался облаком пара, из которого, танцуя, прыгал золотой язык, и заметался от берега к берегу со сломанным рулем. Тогда сирена закричала о помощи.

Несмотря на страшный артиллерийский огонь, мы вернулись к погибающему, надеясь его взять на буксир, как было под Казанью при гибели «Ташкента», который удалось взять на буксир и вывести из огня.

Но бывают условия, при которых самое высокое мужество бессильно: у «Вани-Коммуниста» первым же снарядом разбило штуртрос и телеграф. Судно, ничем не управляемое, закружилось на месте, и миноносцу, с величайшим риском подошедшему к нему, не удалось принять на буксир умирающий корабль.

«Прыткий», сделав крутой оборот, должен был отойти.

Как белые нас тогда упустили, просто непонятно. Стреляли в упор. Только поразительная скорость миноносца и огонь его орудий вывели его из западни. И странно, две большие чайки, не боясь огня, долго летели перед самым его носом, исчезая ежеминутно за всплесками упавших в воду снарядов.

Среди тех, кого удалось спасти, был и товарищ Поплевин, помощник Маркина. Человек молчаливый, необычайно скромный и мужественный, один из лучших на флотилии, он надолго сохранил синеватую бледность лица: и особенно ясно выступали на нем следы смерти, когда безоблачно сияло осеннее небо и невозмутимо журчала вода под золотистым камским берегом.

Он отплатил за своего друга и за гибель своего корабля. Ночью, когда самые сильные уставали, Поплевин бесшумно подымался на мостик и один под темным звездным небом смотрел, прислушивался, угадывал малейшее движение ночи, и никогда не уставала и не ослабевала его священная месть.

Маркина ждали всю ночь, — Маркин не вернулся, и о нем грустили, стоя у руля, молчаливые штурвальные, и наводчики у орудий, и наблюдатели у своих стекол, которые вдруг казались мутно-водянистыми от непролитых слез.

Погиб Маркин с его огненным темпераментом, нервным, почти звериным угадыванием врага, с его жестокой волей и гордостью, синими глазами, крепкой руганью, добротой и героизмом.

Погиб «Ваня-Коммунист»; на миноносцах расстрелянные пушки остались почти без снарядов, а обещанный десант все не приходил. Тогда в сумерки на моторном катере сняли брезент с четырех темных продолговатых предметов, сложенных рядами.

Минеры, флагманский штурман и командующий долго совещались, склоненные над картой, и, когда выходили из кабинета, были молчаливы и пожали руки уходящих особенно крепко. Комфлот проводил четырех матросов и офицера на палубу, и через несколько минут истребитель, груженный минами типа «рыбка», скрылся за островом.

Вернулся он под утро, на корме уже не видно было черных, длинных, похожих на усатые ведра, мин. Теперь оставалось одно: спокойно ждать. И действительно, на второй день белые, отпраздновав всеобщим пьянством гибель «Коммуниста», перешли в наступление.

Шли в кильватерной колонне, торжественно, как на парад. Сам адмирал Старк, командующий белогвардейской флотилией, впервые лично принял участие в походе. Его флаг был поднят на «Орле». Но, едва поравнявшись с «Зеленым островом», торжественное шествие должно было остановиться. Пароход «Труд», шедший головным, вдруг стал, и нос его буквально оторвало от корпуса: мины сделали свое дело.

Теперь на обледенелых берегах Камы, почти рядом, лежат разрушенные и обгорелые остовы двух кораблей: «Вани-коммуниста» и белогвардейского «Труда». И кто знает, быть может, под непроницаемой поверхностью реки, на темном дне, прибило течением друг к другу Маркина и тех презренных, которые из пулеметов добивали его утопающую команду.

Покидая Каму, быть может, навсегда, моряки долго и неохотно прощались. Ничто не сближает людей так прочно, как вместе пережитые опасности, бессонные ночи на мостике и те долгие, со стороны незаметные, но мучительнейшие усилия воли и духа, которые подготовляют и делают возможной победу.

Никакая история не сумеет заметить и по достоинству оценить большие и малые подвиги, ежедневно совершавшиеся моряками Волжской военной флотилии; вряд ли даже известны имена тех, кто своей добровольной дисциплиной, своей неустрашимостью и скромностью помогли созданию нового флота.

Конечно, отдельные лица не делают истории, но у нас в России вообще так мало было лиц и характеров

и с таким трудом они выбивались сквозь толщу старого и нового чиновничества, так редко находили себя в настоящей, трудной, а не словесной и бумажной борьбе. И раз у революции оказались такие люди, люди в высоком смысле этого слова, значит, Россия выздоравливает и собирается.

И их немало. В среде, которую пришлось мне наблюдать, их было много. В решительные минуты они сами собой выступали из общей массы, и вес их оказывался полным, неподдельным весом, они знали свое геройское ремесло и подымали до себя колеблющуюся и податливую массу.

Вот спокойный, немногословный Елисеев, чудесный наводчик, подбивавший лодчонку на двенадцативерстной дистанции из дальнобойного орудия, со своими синими, без ресниц, глазами, опаленными при разрыве орудия, всегда устремленными куда-то далеко вперед.

Вот Бабкин, больной, всегда в жару и с пьяными глазами, которому осталось недолго жить и который по-царски расточает сокровища своего беззаботного, доброго и непостижимо стойкого духа.

Это он приготовил белым минное поле, на котором подорвался их сильнейший пароход «Труд».

Вот Николай Николаевич Струйский, флагманский штурман и наопер[1] флотилии во вторую половину Камского похода. Один из лучших специалистов и образованных моряков, служивших безукоризненно Советской власти в течение всей гражданской войны. Между тем его вместе с несколькими младшими офицерами насильно мобилизовали и чуть не под конвоем привезли на фронт. На «Межень» они прибыли, ненавидя революцию, искренне считая большевиков немецкими шпионами, честно веря каждому слову «Речи» или «Биржевки».

На следующее же утро по прибытии они участвовали в бою. Сперва сумрачное недоверие, холодная корректность людей, по принуждению вовлеченных в чужое, неправое, ненавистное дело. Но под первыми выстрелами все изменилось: нельзя делать наполовину, когда от одного слова команды зависит жизнь десятков людей, слепо исполняющих всякое приказание, и жизнь миноносца, этой прекраснейшей боевой машины. От каждого матроса — стальная нить к капитанскому мостику, к голосу, повелевающему машиной, скоростью, огнем и ко-

---

[1] Наопер — сокращенное «Начальник оперативного управления». *(Примеч. автора.)*

лесом штурвала, вращающегося в дрожащих руках рулевого. Хороший моряк не может саботировать в бою. Забыв о всякой политике, он отвечает огнем на огонь, будет упорно нападать и сопротивляться, блестяще и невозмутимо исполнять свой профессиональный долг. А потом, конечно, он уже не свободен. Его связывает с комиссаром, с командой, с красным флагом на мачте гордость победителя, самолюбивое сознание своей нужности, той абсолютной власти, которой именно его, офицера, интеллигента, облекают в минуту опасности.

После десяти дней походной жизни, которая вообще очень сближает, после первой победы, после первой торжественной встречи, во время которой рабочие какого-нибудь освобожденного от белых городка с музыкой выходят на пристань и одинаково крепко пожимают и руку матроса, первым соскочившего на берег, и избалованные, аристократические пальцы «красного офицера», который сходит на «чужой» берег, нерешительно озираясь, не смея еще поверить, что он тоже товарищ, тоже член «единой армии труда», о которой так взволнованно, неуклюже и радостно трубит хриплая труба провинциального «Интернационала».

И вдруг этот спец, этот императорской службы капитан первого ранга с ужасом чувствует, что у него глаза на мокром месте, что вокруг него не «шайка немецких шпионов», а вся Россия, которой бесконечно нужен его опыт, его академические знания, его годами усидчивого труда воспитанный мозг. Кто-то произносит речь — ах, эту речь, задиристую, малограмотную, грубую речь, которая еще неделю тому назад не вызвала бы ничего, кроме кривой усмешки, — а капитан первого ранга слушает ее с сердцебиением, с трясущимися руками, боясь себе сознаться в том, что Россия этих баб, дезертиров и мальчишек, агитатора товарища Абрама, мужиков и Советов — его Россия, за которую он дрался и до конца будет драться, не стыдясь ее вшей, голода и ошибок, еще не зная, но чувствуя, что только за ней право, жизнь и будущее.

Еще через неделю, одев чистый воротничок, смыв с головы и лица угольную и пороховую копоть, застегнув на все золотые, с орлами, пуговицы китель, на котором не успели выгореть темные следы эполет и нашивок, товарищ Струйский идет объясняться со своим большевистским начальством. Он говорит и крепко, обеими руками, держится за ручки кресла, как во время большой качки.

— Во-первых, я не верю, что вы, и Ленин, и остальные из запломбированного вагона брали деньги от немцев.

Раз — передышка, как после залпа. Где-то вдали, где морской корпус, обеды на «Штандарте» и золотое оружие за мировую войну, — взрывы и крушение. Запоздалый Октябрь.

— Второе, с вами Россия, и мы тоже с вами. Всем младшим товарищам, которые пожелают узнать мое мнение, я скажу то же самое. И третье, вчера мы взяли Елабугу. На берегу, как вы знаете, найдено до ста крестьянских шапок. Весь яр обрызган был мозгами. Вы сами видели — лапти, обмотки, кровь. Мы опоздали на полчаса. Больше это не должно повториться. Можно идти ночью. Конечно, опасный фарватер, возможна засада в виде батареи... но...

Из кармана достается залистанный томик «Действия речных флотилий во время войны Северных и Южных штатов».

1924

Л. ПАНТЕЛЕЕВ

ПАКЕТ

Повесть

В детстве я был пастухом и сторожил заграничных овечек у помещика Ландышева. Потом я работал в городе Николаеве плотницкую работу. Потом меня взяли во флот. Потом революция. Потом воевал, конечно. Потом учили меня читать и писать. Потом — арифметику делать.

А теперь я заведую животноводческим совхозом имени Буденного. А почему я заведую животноводческим совхозом имени Буденного — я расскажу после. Сейчас я хочу рассказать совсем небольшой, пустяковый случай, как я однажды на фронте засыпался.

Было это в гражданскую войну. Состоял я в бойцах буденновской Конной армии при Особом отряде товарища Заварухина. Было мне в тую пору совсем пустяки: двадцать четыре года.

Стояли мы с нашей дивизией в небольшом селе Тыри.

Дело было у нас плоховато: слева Шкуро теснит, справа Мамонтов, а спереду генерал Улагай напирает.

Отступали.

Помню, я два дня не спал. Помню, еле ходил. Мозоли натер на левой ноге. В ту пору у меня еще обе ноги при себе были.

Ну, помню, сел я у ворот на скамеечку и с левой ноги сапог сымаю. Тяну я сапог и думаю:

«Ой, — думаю, — как я теперь ходить буду? Ведь, вот дура, какие пузыри натер!»

И только я это подумал и снял сапог, — из нашего штаба посыльный.

— Трофимов! — кричит. — Живее! До штаба! Товарищ Заварухин требует.

— Есть, — говорю. — Тьфу!

Подцепил я сапог и портянки, и на одной ноге — в штаб.

«Что, — думаю, — за черт? У человека ноги отнимаются, а тут бегай, как маленький!»

— Да! — говорю. — Здорово, комиссар. Зачем звали?

Заварухин сидит на подоконнике и считает на гимнастерке пуговицы. Он всегда пуговицы считал. Нервный был. Из донецких шахтеров.

— Садись, — говорит, — Трофимов, на стул.

— Есть, — говорю. И сел. Сапог и портянки держу на коленях. А он с подоконника встал, пуговицу потрогал и говорит:

— Вот, —говорит, — Трофимов... Есть у меня к тебе великое дело. Дай мне, пожалуйста, слово, что умрешь, если нужно, во имя революции.

Встал я со стула. Зажмурился. Портянки бросил.

— Есть,— говорю.— Умру.

— Одевайся! — говорит.

Обулся я живо. Мозоли в сапог запихал. Подтянул голенище. Каблуком прихлопнул.

— Ох! — говорю. — Так точно. Слушаю.

— Вот, — говорит. И вынимает он из ящика пакет. Огромный бумажный конверт с двумя сургучовыми печатями. — Вот, — говорит, — получай! Бери коня и скачи до Луганска в штаб Конной армии. Передашь сей пакет лично товарищу Буденному.

— Есть, — говорю. — Передам. Лично.

— Но знай, Трофимов, — говорит товарищ Заварухин, — что дело у нас невеселое, гиблое дело... Слева Шкуро теснит, справа Мамонтов, а спереду Улагай напирает. Опасное твое поручение. На верную смерть я тебя посылаю.

— Что ж, — говорю. — Есть такое дело! Заметано...

— Возможно, — говорит, — что хватит тебя белогвардейская пуля, а то и живого возьмут. Так ты смотри, —ведь в пакете тут важнейшие оперативные сводки.

— Есть, — говорю. — Не отдам пакета. Сгорю вместе с ним.

— Уничтожь, — говорит, — его в крайнем случае. А если Луганска достигнешь, то вот в коротких словах содержание сводок: слева Шкуро теснит, справа Мамонтов, а спереду Улагай наступает. Требуется ударить последнего с тыла и любой ценой удержать Центр, дабы не соединились разрозненные казачьи части. В нашей дивизии бойцов столько-то и столько-то. У противника вдвое больше. Без экстренной помощи — гибель.

— Понятно, — говорю. — Гибель. Давай-ка пакет, товарищ...

Взял я пакет, потрогал, пощупал, рубашку расстегнул и сунул его за пазуху под ремень.

— Прощай, комиссар!

— Прощай, — говорит, — Трофимов. Живой возвращайся.

Выбежал я на крыльцо. Зажмурился. Каблуком стукнул.

«Ох! — думаю. — Только бы меня мозоль не подвела, дьявол!»

Бегу на выгон. Там наши кони гуляют, — головы свесили, кашку жуют.

Выбрал я самого лучшего коня — Негра. Чудный был конь, австрийскопленный. Поправил седло я, вскочил, согнулся, дал каблуком в брюхо и полетел.

Несется мой Негр, как леший. Несемся мы по шоссе под липками, липки шумят, в ушах жужжит. Что ни минута — верста, а Негр мой только смеется, фырчит, головой трясет... Лихо!

Вот мост деревянный простукали...

Вот в погорелую деревню свернули...

Вот лесом скачем...

Темно... Сыро... Я поминутно голову поднимаю, солнце ищу: по солнцу дорогу узнать легче. Голову подниму — ветки в лицо стегают. Снова сгибаюсь и снова дышу в самую гриву Негра.

Вдруг, понимаете, — лес кончается. И вижу — течет река. Какая река? Что за черт?! Неожиданно.

Скачу по берегу вправо. Мост ищу. Нету. Вертаюсь, скачу налево. Нету.

Река широкая, темная — после узнал, что это река Донец.

— Фу! — говорю. — Несчастье какое! Ну, Негр, ныряй в воду.

Спускаюсь тихонько с обрыва и направляю конягу к воде. Коняга подходит к воде.

— Но! — говорю. И пришпорил слегка. И поводьями дернул.

Не двинулся Негр.

— Но! — говорю. — Дурашка! Воды испугался?

Стоит и боками шевелит. И уши тоже шевелятся.

— Черт! — говорю.

Обозлился я тут, дурак. Как ударил в бока, свистнул:

— А ну скачи!..

Подскочил Негр. И ринулся прямо в воду. Прямо в самую глубину.

Уж не знаю, как я успел стремена скинуть, только вынырнул я и вижу — один я плыву по реке, а рядом, в двух саженях, круги колыхаются, и белые пузыри булькают.

Ох, пожалел я лошадь... Минут пятнадцать все плавал вокруг этого места. Все ждал, что вот-вот вынырнет Негр. Но не вынырнул Негр. Утонул.

Захлюпал я тут, как маленький, и поплыл на тот берег.

Вылез. Течет с меня как с утопленника. Шапку в воде потерял. Сапоги распухли. В мягких таких сапогах и идти легко.

Пошел. Иду по тропиночке. Солнце мне в левую щеку греет, — значит, Луганск правее — где нос. Иду по направлению носа. Между прочим, все больше и больше обсыхаю. И сапоги обсыхают. Все меньше и меньше становятся сапоги. Ноги начинают жать.

Вдруг откуда-то человек. Не военный. Вольный. В мужицкой одежде. Страшный какой-то.

— Здорово, — говорит, — пан солдат!

И смеется.

Я говорю:

— Чего, — говорю, — смеешься?

Я испугался немножко. Все-таки не в деревне гуляю на масленице. На фронте ведь.

— Я смеюсь с того, пан солдат, что вы очень ласковые.

— Как то есть, — говорю, — ласковые? Ты кто?

— Я, — говорит, — был человеком, а теперь я — бездомная собака. Вы не смотрите, что у меня хвоста нет, я все-таки собака...

— А ну тебя, — говорю. — Выражайся точнее.

Смеется бродяга.

— Вы, — говорит, — у меня жену убили, а я, — говорит, — сейчас вашего часового камнем пристукнул.

— Как, — говорю, — часового?

И сразу — за браунинг. А он за горло себя схватил, рубаху на себе разорвал и как закричит:

— Стреляй, стреляй, Мамонтов сын!..

Я тут и понял. Фуражки на мне нет, звезды не видно, вот — человек и подумал, что я бандит, мамонтовец, белый казак.

— Кто, — говорю, — у тебя жену убил? Отвечай!..

— Вы, — отвечает. — Вы добрые паны. И домик вы мой сожгли. И Нинку, старушку мою, штыком закололи. Спасибочко вам...

И на колени вдруг встал. И заплакал.

«Ах, черт! — думаю. — На сумасшедшего нарвался. Что с ним поделаешь?»

— Встань, — говорю, — бедный человек. Иди! Ошибаешься ты: не белый я, а самый настоящий красный.

Встал он и смотрит. Такими глазами смотрит, что век не забуду. Большие, печальные, как и действительно у собаки.

— Иди, — говорю, — пожалуйста.

А он смотрит.

— Иди, — говорю, — пройдись немножко.

Страшно мне стало. Браунинг все-таки, шесть патронов в обойме, а страшно. Жутко как-то.

Мужик молчит. Тогда я свернул с тропиночки и осторожно пошел мимо него. И дальше иду. Нажимаю. И тут, понимаете ли, опять начинает скулить мозоль. Пока я стоял с сумасшедшим, сапоги у меня совершенно ссохлись.

Невозможно до чего заскулила мозоль. Еле иду.

И вдруг сзади топот. Оглядываюсь — бежит сумасшедший. За мной бежит, орет чего-то.

Ох, испугался я, — мочи нет. Побежал. Не могу бежать. Остановился. Поднял браунинг и спустил курок.

И конечно, выстрел у меня не вышел. Пока я купался, патроны промокли и отсырели.

Но сумасшедший остановился. Остановился и снова кричит:

— Пан товарищ! Не ходите до той могилы. За могилой вам смерть.

Не понял я. За какой могилой? Чепуха! Пошел.

Не знал я, конечно, в то время, что они тут всякую горку могилой называют. На горку как раз взбираюсь. Карабкаюсь я на эту горку и вдруг вижу — навстречу мне с горки — конный разъезд.

Сразу я догадался, что это за разъезд. Блеснули на солнце погоны. Мелькнули барашковые кубанки. Сабли казацкие. Пики...

Тут на своих ужасных мозолях я все-таки побежал. Я побежал в кусты. Выкинул браунинг. И руками — за пазуху, за ремень, где лежал у меня тот секретный пакет к товарищу Буденному.

Но — мать честная! Где же пакет? Шманаю по голому животу, живот весь на месте, а пакета нема. Нету!.. Потерялся пакет.

Дьявол! Пакет потерялся!!

А уж кони несутся с горы, уж слышу казацкие клики:

— Гей! Стой!..

Уж даже фырканье лошадиное слышу. Даже свист из ноздрей слышу. А бежать не могу. Невозможно. Не позволяют, подумайте, мозоли бежать, и все тут.

Глупо я им достался. Тьфу, до чего глупо!

Окружили меня. Поспешились. Кинулись.

Ну, у меня еще в те времена, по счастью, обе руки при себе были. Я показал им, как в нашей деревне дерутся. Один — получай в зубы, другой — в ухо, а третий — третий меня по башке стукнул. Упал я. И память потерял. Но не умер.

Очнулся я — мокрый. Сечет мне на морду вода. Хлещет вода, не поймешь откуда. И в нос, и в ухи, и в глаза, и за шиворот. Фу!

Закричал я:

— Да хватит! Бросьте трепаться!

И сразу увидел: лежу я на голой земле у колодца, вокруг — офицеры толпятся, казаки... Один с железным ведром, у другого в руках пузырек какой-то, спирт нашатырный, что ли...

Все нагибаются, радуются... Сапогами меня пинают.

— Ага, — говорят, — ожил.

— Задвигался!

— Задышал, большевистская морда!

— Вставай! — приказывают.

Я встаю. Мне все равно, что делать: лежать, или стоять, или сидеть на стуле. Я стою. Мокрый. Весь капаю.

— Ну как? — говорят. — Куда его?

— Да что, — говорят, — с ним чикаться. Веди его, мерзавца, прямо в штаб.

Повели меня в штаб. Иду. Капаю. И невесело, знаете, думаю...

«Да, — думаю, — Петя Трофимов, жизнь твоя кончается. Последние шаги делаешь».

И между прочим, эти последние шаги — ужасные шаги. Мозоли мои, товарищи, окончательно спятили. Прямо кусаются мозоли. Прямо как будто клещами давят. Ох, до чего тяжело идти.

«Да, — думаю, — Петечка!.. Погулял ты достаточно. Хватит. Мозолям твоим уж недолго осталось ныть. Через полчаса времени расстреляют тебя, буденовец Петя Трофимов».

«Ох!.. Буденовец! — думаю. — Баба! Засыпался! Па-

кет потерял! Представить только: буденовец пакет потерял...»

«Ой,— думаю,— неужели я его потерял? Неужели посеял? Невозможно ведь. Не мог потерять. Не смел...»

И себя незаметно ощупываю. Иду, понимаете, ковыляю, а сам осторожно за пазухой шарю, в штанах ищу, по бокам похлопываю. Нет пакета. Ну что ж! Это счастье. С пакетом засыпаться было б хуже. А так — умирать легче. Все-таки наш пакет к Мамонтову не попал. Все-таки — совести легче...

— Стой! — говорят конвоиры. — Стой, большевик! Вже штаб.

Поднимаемся мы в штаб. Входим в такие прихожие сени. В полутемную комнату. Мне и говорят:

— Подожди, — говорят, — мы сейчас доложим дежурному офицеру.

— Ладно... Докладывайте.

Двое ушли, а двое со мной остались. Вот я постоял немного и говорю:

— Товарищи! — говорю. — Все-таки ведь мы с вами братья. Все-таки земляки. С одной земли дети. Как вы думаете? Послушайте, — говорю, — земляки, прошу вас, войдите в мое тяжелое положение. Пожалуйста,— говорю,—товарищи! Разрешите мне пред смертью переобуться!.. Невозможно мозоли жмут.

Один говорит:

— Мы тебе не товарищи. Гад! Россию жидам продаешь, а после — мозоли жмут. Ничого, на тот свет и с мозолями пустят. Потерпишь!

Другой говорит:

— А что, жалко, что ли? Пущай переобувается. Можно, земляк. Вали, скидывай походные!

Сел я скорее на лавочку в уголок и чуть не зубами с себя сапоги тяну. Один стянул и другой... Ох, черт возьми, до чего приятно голыми пальцами шевелить. Знаете, так почесываешь, поглаживаешь и даже глаза зажмуришь от удовольствия. И обуваться обратно не хочется.

Сижу я на лавочке в темноте, пятки чешу, и совсем уж другие мысли в башку лезут. Бодрые мысли.

«Черт возьми, — думаю. — Не так уж мои дела плохи. Кто меня, между прочим, на бас возьмет? Что я такое сделал? Красный? На мне не написано, что я красный, — звезды на мне нет, документов тоже. Это еще неизвестно, за что меня расстрелять можно. Еще побузим, господа товарищи!..»

Но тут,— не успел я как следует пятки почесать,— отворяется дверь и кричат:

— Пленного!

— Эй, пленный, обувайся скорей!— говорят мне мои конвоиры.

Стал я как следует обуваться. Сначала, конечно, правую ногу как следует обмотал и правый сапог натянул. Потом уж за левую взялся.

Беру портянку. И вдруг — что такое? Беру я портянку, щупаю и вижу, что там что-то лишнее. Что-то бумажное. Пакет! Мать честная!

Весь он, конечно, промок, излохматился... Весь мятый, как тряпка. Черт! Он по штанине в сапог провалился. Понимаете? И там застрял.

Что будешь делать?

Что мне, скажете, бросить его было нужно? Под лавочку? Да? Так его нашли бы. Стали бы пол подметать и нашли. За милую душу.

Я скомкал его и в темноте незаметно сунул в карман. А сам быстро оделся и встал.

Говорю:

— Готов.

— Идем, — говорят.

Входим мы в комнату штаба.

Сидит за столом офицер. Ничего. Морда довольно симпатичная. Молодой, белобрысый. Смотрит без всякой злобы.

А перед ним на столе лежит камень. Понимаете? Огромный лежит булыжник. И офицер улыбается и слегка поглаживает этот булыжник рукой.

И я поневоле тоже гляжу на этот булыжник.

— Что? — говорит офицер. — Узнаешь?

— Чего? — говорю.

— Да, — говорит, — вот эту штучку. Камешек этот.

— Нет, — говорю. — Незнаком с этим камнем.

— Ну? — говорит. — Неужели?

— В жизнь, — говорю, — с камнями дела не имел. Я, — говорю, — плотник. И вообще не понимаю, что я вам такого плохого сделал. За что? Я ведь просто плотник. Иду по тропинке... Понимаете? И вдруг...

— Ага, — говорит. — И вдруг — на пути стоит часовой. Да? Плотник берет камень — вот этот — и бьет часового по голове... Камнем!

Вскочил вдруг. Зубами залязгал. И как заорет:

— Мерзавец! Я тебе дам голову мне морочить! Я тебя за нос повешу! Сожгу! Исполосую!..

«Ах ты, — думаю, — черт! Исполосуешь!..»

— Ну, — говорю, — нет. Пожалуй, я тебе раньше ноги сломаю, мамочкин сынок. Я таких глистоперов полтора года бью. Понял? Ты! — говорю. — Гоголь-моголь!

И черт меня дернул такие слова сказать! При чем тут тем более гоголь-моголь? Ни при чем совершенно.

А он зашипел, задвигался и кричит мне в самое лицо:

— А-а-а! Большевик? Товарищ? Жидовский шпион? Тэк, тэк, тэк. Замечательно!.. Ребята! — кричит он своим казакам. — А ну, принимай его. Обыскать его, подлеца, до самых пяток.

Ох, задрожал я тут. Отшатнулся. Зажмурился. И руки свои так в кулаки сдавил, что ногти в ладошки вонзились.

Но тут, понимаете, на мое счастье, отворяются двери, вбегает молоденький офицер и кричит:

— Господа! Господа! Извиняюсь... Генерал едет!

Вскочили тут все. Побледнели. И мой — глистопер этот — тоже вскочил и тоже побледнел, как покойник.

— Ой! — говорит. — Что же это? Батюшки! — Смирррно! — орет. — Немедленно выставить караул! Немедленно все на улицу — встречать атамана! Живо!

И все побежали к дверям.

А я остался один, и со мной молодой казак в английских ботинках. Тот самый казак, который меня пожалел и мне переобуться позволил. Помните?

Стоит у самых дверей, винтовкой играет и мне в лицо глядит. И глаза у него — понимаете — неясные. Улыбается, что ли? Или, может быть, это испуганные глаза? Может быть, он боится? Боится, что я убегу?

Не знаю. Мне рассуждать было некогда. Я сунул руку в карман, нащупал пакет и думаю:

«Вот,— думаю,— последняя загадка: куды мне пакет девать? Уничтожить его необходимо. Но как? Каким макаром уничтожить? Выбросить его нельзя. Ясно! Разорвать невозможно. Что вы! Разорвешь, а после эти черти его по кусочкам склеят. Нет, что-то такое нужно придумать».

Стою, понимаете, пакет щупаю и на своего надзирателя гляжу. А надзиратель — ей-богу! — улыбается. Смотрю на него — улыбается. Подозрительная какая-то морда. То ли он мне сочувствует, то ли смеется. Пойми тут! И главное дело — винтовкой все время играет.

«А что,— думаю,— дать ему, что ли, пакет на аллаха? Вот, дескать, друг, возьми, спрячь, пожалуйста...»

«Нет,— думаю,— нет, ни за что. Подозрительная все-таки морда. Лягавая,— думаю,— морда».

Но дьявол! Куда же пакет девать?

И тут я придумал.

«Фу,— думаю,— мать честная! Об чем разговор? Да съем!.. Понимаете? Съем — и все тут».

И сразу я вынул пакет. Не пакет уж, конечно,— какой там пакет,— а просто тяжелый комок бумаги. Вроде булочки. Вроде такого бумажного пирожка.

«Ох,— думаю,— мама! А как же его мне есть? С чего начинать? С какого бока?»

Задумался, знаете. Непривычное все-таки дело. Все-таки ведь бумага — не ситник. И не какой-нибудь бле-манже.

И тут я на своего конвоира взглянул.

Улыбается! Понимаете? Улыбается, белобандит!..

«Ах так?! — думаю.— Улыбаешься, значит?»

И тут я нахально, на зло, откусил первый кусочек пакета. И начал тихонько жевать. Начал шамать.

И шамаю, знаете, почем зря. Даже причмокиваю.

Как вам сказать? С непривычки, конечно, не очень вкусно. Какой-то такой привкус. Глотать противно. А главное дело — без соли, без ничего,— так, всухомятку жую.

А мой конвоир, понимаете, улыбаться перестал, и винтовкой играть перестал, и сурьезно за мной наблюдает. И вдруг он мне говорит... Тихо так говорит:

— Эй! — говорит.— Хлеб да соль.

Удивился я, знаете. Что такое? Даже жевать перестал.

Но тут — за окном, на улице, как загремит, как залает:

— Урра-аа! Урра! Урра!

Коляска как будто подъехала. Бубенцы зазвенели. И не успел я как следует удивиться, как в этих самых сенях голоса затявкали, застучали приклады, и мой часовой чучелом застыл у дверей. А я испугался. Я скомкал свой беленький пирожок и сунул его целиком в рот. Я запихал его себе в рот и еле губы захлопнул. Стою и дышать не могу. И слюну заглотать не могу.

Тут распахнулись двери и вваливается орава.

Впереди — генерал. Высоченный такой, косоглазый медведь в кубанской папахе. Саблей гремит. За ним офицеришки лезут, писаря, вестовые. Все суетятся, бегают, стулья генералу приносят; и особенно суетится дежур-

ный по штабу офицер. Этот дежурный глистопер уж прямо лисой лебезит перед своим генералом.

— Пардон,— говорит,— ваше превосходительство. Мы,— говорит,— вас никак не ожидали. Мы, так сказать, рассчитывали, что вы как раз под Еленовкой держите бой.

— Да,— говорит генерал.— Совершенно верно. Бой под Еленовкой уже состоялся. Красные отступили. С божьей помощью наши части взяли Славяносербск и движутся на Луганск через Ольховую.

Подошел он к стене, где висела военная карта, и пальцем показал, куда и зачем движутся ихние части.

И тут он меня заметил.

— А это,— говорит,— кто такой?

— А это,— говорят,— пленный, ваше превосходительство. Полчаса тому назад камнем убил нашего караульного. Захвачен в окрестностях нашей конной разведкой.

— Ага,— говорит генерал. И ко мне подошел. И зубами два раза лязгнул.— Ага,— говорит,— ангел мой! Попался? Засыпался?! Допрашивали уже?

— Нет,— говорят.— Не успели.

— Обыскивали?

Застыл я, товарищи. Зубы плотнее сжал и думаю: «Ну,— думаю,— правильно! Засыпался, ангел мой».

А все, между прочим, молчат. Все переглядываются. Плечами пожимают. Неизвестно, дескать. Не знаем.

И тут вдруг, представьте себе, мой землячок, этот самый казак в английских ботинках, выступает.

— Так точно,— говорит,— ваше превосходительство. Обыскивали.

— Когда? — говорит.

— А тогда,— говорит,— когда он без памяти лежамши был. У колодца.

— Ну как? — говорит.— Ничего не нашли?

— Нет,— говорит.— Нашли.

— Что именно?

— Именно,— говорит,— ничего, а нашли тесемочку.

— Как тесемочку?

— Вот,— говорит. И вынимает он из кармана ленточку. Ей-богу, я в жизнь ее не видал. Обыкновенная полотняная ленточка. Лапти такими подвязывают. Но только она не моя. Ей-богу!..

— Да,— говорит генерал.— Подозрительная тесемочка. Это твоя? — говорит.

А я, понимаете, головой повертел, покачал, а сказать, что нет, не моя, не могу. Рот занят.

И тут, понимаете, казачок выступает:

— Это,— говорит,— ваше превосходительство, тесемочка не опасная. Это,— говорит,— плотницкая тесемочка. Ею здешние плотники разные штуки меряют, заместо аршина.

— Плотники? — говорит генерал.— Так ты что — плотник?

Я, понимаете, головой закивал, закачал, а сказать, что ну да, конечно, плотник, не могу. Опять рот занят.

— Что это? — говорит генерал.— Что он — немой, что ли?

— Да нет,—говорит офицер.— Должен вам, ваше превосходительство, сообщить, что пять минут тому назад этот немой так здесь митинговал, что его повесить мало. Тем более,— говорит,— что он мне — личное оскорбление сделал...

— Так,— говорит генерал.— Замечательно! Ну,— говорит,— подайте мне стул, я его допрашивать буду.

Сел на стул, облокотился на саблю и говорит:

— Вот,— говорит,— мое слово: если ты мне сейчас же не ответишь, кто ты такой и откуда,— к стенке. Без суда и следствия. Понял?

Конечно, понял. Что тут такого особенно непонятного? Понятно. К стенке. Без суда и следствия.

Я молчу. Генерал помолчал тоже и говорит:

— Если ты большевистский лазутчик, сообщи название части, количество штыков или сабель и где помещается штаб. А если ты здешний плотник,— скажи, из какой деревни...

Видали? Деревню ему скажи. Эх!..

«Деревня моя,— думаю,— вам известна: Кладбищенской губернии, Могилевского уезда, деревня Гроб».

И я бы сказал, да сказать не могу — рот закупорен. А я об одном думаю:

«Как бы мне, — думаю, — мертвому, после смерти, рот не разинуть. Раскрою рот, а пакет и вывалится. Вот будет номер!..»

— Нет,—говорит генерал,— это, как видно, из тех комиссариков, которые в молчанку играют. Такой,— говорит,— скорее себе язык откусит. А впрочем... Вот,— говорит,— мое распоряжение. Попробуйте его шомполами. Поняли? Когда говорить захочет, приведите его ко мне на квартиру. А я чай пить пойду... Но только, — говорит генерал,— смотрите — не до смерти бейте. Расстре-

лять мы его всегда успеем, а нужно сперва допросить. Поняли?

— Так точно,— говорят,— ваше превосходительство. Будем бить не до смерти. Как следовает.

Ну, генерал чай пить ушел. А меня повели в соседнюю комнату и велели снимать штаны.

— Снимай,— говорят,— плотник, спецодежду.

Стал я снимать спецодежду. Свои драгоценные буденновские галифе.

Спешить я, конечно, не спешу, потому что смешно, понимаете, спешить, когда тебя бить собираются.

Я потихонечку, полегонечку расстегиваю разные пуговицы и думаю:

«Положение,— думаю,— нехорошее. Если бить меня будут, я могу закричать. А закричу — обязательно пакет изо рта вывалится. Поэтому ясно, что мне кричать нельзя. Надо помалкивать».

А между прочим, бандиты поставили посреди комнаты лавку, накрыли ее шинелью и говорят:

— Ложись!

А сами вывинчивают шомпола из ружей и смазывают их какой-то жидкостью. Уксусом, может быть. Или соленой водой. Я не знаю.

Я лег на лавку.

Живот у меня внизу, спина наверху. Спина голая. И помню, мне сразу же на спину села муха. Но я ее, помню, не прогнал. Она почесала мне спину, побегала и улетела.

Тогда меня вдарили раз по спине шомполом.

Я ничего на это не ответил, только зубы плотнее сжал и думаю:

«Только бы,— думаю,— не закричать. А так, все — слава богу».

Пакет у меня совершенно размяк, и я его потихоньку глотаю. Ударят меня, а я вместо того, чтобы крикнуть или там охнуть, раз — и проглочу кусочек. И молчу. Но, конечно,— больно. Конечно, бьют меня здорово, не жалеючи... Бьют меня по спине и по этой самой — пониже спины, и по ребрам, и по ногам, и по чем попало.

Больно. Но я молчу.

Удивляются офицеры.

— Вот, ведь,— говорят,— черт! Вот экземпляр! Ну и ну!.. Бейте, братцы!.. Бейте его, пожалуйста, до полусмерти. Заговорит! Запоет каналья!..

И снова стегают меня. Снова свистят шомпола.

Раз! Раз! Раз!..

А я голову с лавочки свесил, зубы сдавил и молчу. Помалкиваю.

— Нет,— говорит офицер.— Это так невозможно. Что он такое сделал? Может быть, он, дьявол, и в самом деле язык себе демонстративно откусил?.. Эй, стойте!..

Остановились. Сопят. Устали бедняжки.

— Ты! — говорит офицер.— Плотник! Будешь ты мне отвечать или нет? Говори!

А я тут, дурак, и ответил:

— Нет! — говорю.

И зубы разжал. И губы. И что-то такое при этом у меня изо рта выпало. И шмякнулось на пол.

Ах, до чего я сдрейфил!..

— Эй,— говорит офицер,— что это у него там изо рта выпало? Королев, посмотри!..

Королев подходит и смотрит. Смотрит и говорит:

— Язык, ваше благородие...

— Как? — говорит офицер.— Что ты сказал? Язык?

— Так точно,— говорит,— ваше благородие. Язык на полу валяется.

Дернулся я.

«Фу! — думаю.— Неужели и вправду я вместе с пакетом язык сжевал?»

Ворочаю языком и сам понять не могу: что такое? Язык это или не язык? Во рту такая гадость, оскомина: чернила, сургуч, кровь...

Поглядел я на пол и вижу: да, в самом деле — лежит на полу язык. Обыкновенный такой, красненький, мокренький валяется на полу язычишко. И муха на нем сидит. Понимаете? Понимаете, до чего мне обидно стало?

Язык ведь, товарищи! Свой ведь! Не чей-нибудь! А главное — муха на нем сидит. Представляете? Муха сидит на моем языке, и я ее, ведьму, согнать не могу.

Ох, до того мне все это обидно стало, что я заплакал. Ей-богу! Прямо заплакал, как маленький... Лежу на шинельке и плачу.

А бандиты вокруг стоят, удивляются и не знают, что делать.

Тогда офицер говорит:

— Королев,— говорит,— убери его!

— Слушаю-с,— говорит Королев.— Кого убрать?

— Язык,— говорит,— убери. Дурак! Не понимаешь?

«Ну,— думаю,— нет! Шалите! Не позволю я вам надсмехаться над моим язычком».

Проглотил я скорее слезы и заодно все, что у меня во рту было; протянул руку, схватил язычок и — в рот.

И чуть зубы не обломал.

Мать честная! Никогда я таких языков не видел. Твердый. Жесткий. Камень какой-то, а не язык...

И тут я понял.

«Фу ты! Так это ж,— думаю,— не язык. Это — сургуч. Понимаете? Это сургучовая печать товарища Заварухина. Комиссара нашего. Ха!»

Фу, как смешно мне стало.

Разломал я зубами этот сургучный язык и скорей, незаметно, его проглотил.

И лежу. И не могу, до чего мне смешно.

Спина у меня горит, кости ломит, а я — чуть не смеюсь. А над чем, вы думаете?

Смеюсь я над тем, что бандиты уж очень испугались за мой язык. Вот испугались! Вот им от генерала попадет! Ведь им генерал что сказал? Чтобы они меня живого и здорового привели к нему на квартиру. А они?..

Офицер — так тот прямо за голову хватается.

— Ой! — говорит.— Ай! Немыслимо!.. Чего он такое сделал? Ведь он язык съел! Понимаете? Язык уничтожил! Боже мой,— говорит,— какая сволочь!..

И ко мне на колесиках подъезжает.

— Братец,— говорит.— Что с тобой? А? Зачем ты плачешь?

А я и не плачу. Я смеюсь.

— А? — говорит.— Может быть,— говорит,— тебе лежать жестко? Ты скажи тогда. Можно подушку принести. Хочешь,— говорит,— подушку? Отвечай.

А я ему отвечаю:

— Мы-ны-бы-бы...

— Что? — говорит.

Я говорю:

— Бы-бы...

И башкой трясу. Понимаете? Будто я настоящий немой.

— Да,— говорит офицер.— Так и есть. Он язык слопал.— А ну,— говорит,— ребята! Сведем его, пожалуйста, поскорей в околоток к доктору. Может быть, с ним еще чего-нибудь можно сделать. Может быть, он не совсем язык откусил. Может быть, пришить можно.

— Одевайся! — говорят.

Стали мне помогать одеваться. Стали напяливать на меня гимнастерку, пуговки стали застегивать, будто я маленький и не умею. Но я отпихнул их и сам оделся. Сам застегнулся и встал. Встал на свои ноги.

И ясно, что первое дело — спину пощупал. Надо же поглядеть, что и как.

И — как вам сказать? Чешется. Липкая какая-то, противная стала спина. И — ноги. Ноги еле стоят. Фу, до чего плохие стали ноги!

— А ну,— говорят,— пошли!

Пошли. Выходим на площадь. Идем. Я иду, офицер идет и — представьте себе — казачок в английских ботинках идет. Его фамилия Зыков.

— Слушай, Зыков,— говорит офицер.— Веди его, пожалуйста, поскорей в околоток. А я тебя сейчас догоню. Я, понимаешь, к его превосходительству должен сбегать.

Прицепил он свою кавалерийскую саблю и побежал.

А мы идем через площадь. Я — впереди, а Зыков — немного сзади. Винтовку свою он держит наперевес. И молчит.

Я говорю:

— Послушай, земляк...

А он отвечает:

— Молчать!

Я говорю:

— Брось ты, братишка!..

А он:

— Не разговаривать! Смир-рно!

Вот ведь какой чудной. Вот — лягавая морда!

Ну, я больше с ним разговаривать не стал и иду молча.

Иду, понимаете, ковыляю и разные мысли думаю. И думаю все о том, что дело мое окончательно гиблое. Что всюду, куда ни сунься,— один каюк.

Ну сами подумайте, что мне такое делать? Бежать? Так сзади с винтовкой шагает. Беги — все равно спасу нет.

Нет, невеселое мое дело! Ох, до чего невесело! Только одно и весело, что пакет сшамал. Это — да! Это еще ничего. Все-таки совесть во мне перед смертью чистая...

А тут мы пришли в околоток. Это по-нашему если сказать, по-военному. А по-вольному — называется амбулатория. Или больница. Я не знаю.

Маленький такой деревенский домик. Окно открыто. Крылечко стоит. У крылечка и под окном на завалинке сидят больные. Очереди ждут.

Один там больную руку на белой повязке качает. У другого нога забинтована. Третий все время за щеку

хватается — зубы скулят. Четвертый болячку на шее ковыряет. У пятого — черт его знает что. Просто сидит и махорку курит. И все, конечно, об чем-то рассуждают, чего-то рассказывают, смеются, ругаются...

Мой конвоир говорит:

— Здорово, ребята!

Ему отвечают:

— Здоровы! Куды,— говорят,— без очереди? Садись, четырнадцатым будешь.

Он говорит:

— Мы без очереди. У нас,— говорит,— дело очень сурьезное.

— Со штаба?

— Ну да,— говорит.— Видите, комиссар заболел.

— Ого! — говорят.— Чего же в нем заболело?

— А в нем,— говорит,— зуб заболел. Ему перед смертью особую золотую плонбу хочут поставить.

— Ого! —говорят.

Хохочут дьяволы. Издеваются. И тот — эта морда лягавая — тоже хохочет и тоже шутки вышучивает.

— А ну,— говорит,— комиссар, садись, отдохни, покуда его благородие к его превосходительству бегают. Да ты,— говорит,— не стесняйся...

Я не стесняюсь. Сесть я хотя и не сел, а слегка прислонился к столбику, на котором крыльцо висело.

Стою потихоньку, спину свою о столбик почесываю и на этих гадов внимания не обращаю.

«Пускай,— думаю,— веселятся. Жалко, что ли? Больные все-таки. Скучно ведь».

А сам и не слушаю даже, чего они там про меня зубоскалят. Я, понимаете, природой любуюсь.

Ах, какая природа! Ну, я такой не видал. Ей-богу! Даже в нашей деревне и то нету таких садов и таких густых тополей. А воздух такой чудный! Яблоком пахнет. А небо такое синее,— даже синее Азовского моря. Ну, прямо всю жизнь готов любоваться!

Да только какая моя осталась жизнь? Маленькая. Я потому и любуюсь, что после уж поздно будет. Зато уж вовсю любуюсь. Даже голову к небу задрал.

А тут, понимаете, прибегает со своей саблей его благородие, господин офицер. Красный такой, весь взлохмаченный, мятый, словно его побили. И на меня:

— А! — говорит.— Языки кусать? Ты,— говорит,— языки кусаешь, а после за тебя отвечай? Да? Дрянь худая!..

Размахнулся и — раз! — меня по щеке. Понимаете?

Я ничего на это не ответил, только зубы сжал да как вдарю его по башке сверху.

Ох, как завоет, застонет, заверещит:

— Расстрел-л-л-ять!..

А я еще раз — бах! И еще — со всего размаху — бах!

Ну, он и сел, как миленький, у самого крылечка.

Конечно, меня уж в два счета сграбастали эти самые больные. Руки мне закрутили, к виску — наган и не выпускают. А я и не рыпаюсь. Чего мне рыпаться?.. Стою потихоньку.

Тогда офицер встает, поправляет свою офицерскую фуражечку и говорит:

— Погодите еще стрелять.

Потом закачался, глаза закрыл и говорит:

— Ох... Мне худо.

Его поскорее сажают обратно на ступеньку и начинают махать около его морды — кто чем: кто, понимаете, тряпкой, кто веточкой, а кто просто своей забинтованной лапой.

— Ну как,— говорят,— ваше благородие?.. Ожили?

— Да нет,— говорит.— Не совсем.

Опять помахали.

— Ну как?

— Ожил,— говорит.— Спасибо... Молодцы, ребята!

Они, дураки, отвечают:

— Рады стараться, ваше высокоблагородие! Потом говорят: — Ну как? Можно расстреливать?

— Да нет,— говорит офицер. И встает.— Нет,— говорит.— К моему сожалению, придется подождать с расстрелом. Его сначала доктору показать нужно. Однако расстрел от него не уйдет. Я,— говорит,— из этой малиновой дряни через полчаса решето сделаю. Собственноручно. Но только сначала,— говорит,— его все-таки подлечить нужно... Послушай, Зыков, веди его, пожалуйста, скорей к доктору, а я сзади пойду.

Понимаете? Боится! Боится рядом идти. Даже вдвоем с Зыковым боится...

— А ну,— говорит,— еще кто-нибудь... Вот ты,— говорит,— Филатов, у тебя наган при себе, пойдем с нами.

Зыков пихает меня прикладом и кричит:

— Пошел, дьявол!

Я пошел. Поднимаюсь по лесенке и вхожу в эту самую — в раздевальную комнату.

Ну, знаете, воздух тут прямо противный. Карболкой воняет. Какие-то всюду банки валяются, склянки, жестянки. Пыль, понимаете, грязь. Стены черные. У сте-

ны деревянная лавка стоит, а на стене, на вешалке, висят солдатские шинели, фуражка и китель с погонами.

Я это все заметил потому, что мы в раздевальной целую минуту стояли, покуда его благородие по лестнице поднимался. С ним, понимаете, опять худо стало. И его опять обмахивали березками.

Потом он приходит и говорит:

— Ну, вы! — говорит.— Чего на дороге встали? К доктору! Живо!

Ну, Зыков меня опять пихает прикладом, Филатов распахивает двери, и я захожу к доктору.

А доктор-то, доктор! Ей-богу, смешно сказать — совсем старичок. Беленький, маленький, ну такой маленький, что даже ноги его в халате путаются. А перед ним, понимаете, выпятив грудь, стоит этакий здоровенный полуголый дядя. И доктор его через трубку слушает. А тот дышит грудью. Словно борец Василий Петухов.

Мы, понимаете, входим, а доктор и говорит:

— Стучаться,— говорит,— нужно.

Но тут, как увидел штабного офицера, совсем иначе заговорил:

— Извиняюсь,— говорит,— господин подпоручик. Я,— говорит,— думал, что это кто-нибудь без очереди лезет.

— Нет,— говорит офицер.— Вы ошиблись. У нас чрезвычайно экстренное дело. Потрудитесь,— говорит,— отпустить больного и оказать помощь.

— Ага,— говорит доктор.— С большим удовольствием.

Тут он скорее достукал своего борца Петухова, помазал его кой-где йодом и отпустил. А сам подошел к рукомойнику и стал намыливать руки.

— Да,— говорит.— Я вас слушаю.

— Вот,— говорит офицер.— Видите этого человека? Несколько минут тому назад этот человек демонстративно откусил себе язык.

— Ага,— говорит доктор. Потом говорит:

— А как, позвольте спросить, откусил?.. Насовсем или частично?

— Я не знаю,— говорит офицер.— Может быть, и частично. Не в этом дело. Самое главное в том, что он теперь говорить не может. Понимаете? А нам еще нужно его допросить. Так вот,— говорит,— не можете ли вы чего-нибудь сделать? Научным путем. Чтобы он перед смертью хоть чуточку поговорил.

— Посмотрим,— говорит доктор.

И начинает споласкивать руки.

— Посмотрим,— говорит.— Это нетрудно. Хотя,— говорит,— должен вас поставить в известность, что наша наука не очень допускает, чтобы человек разговаривал без языка. Конечно, посмотреть можно. Это труда не представляет. Но все-таки с научной точки зрения я не берусь вам давать какие-либо обещания. Посмотреть,— говорит,— посмотрю, а...

— Хорошо,— говорит офицер.— Посмотрите. Но только нельзя ли поторопиться, господин доктор? Нельзя ли слегка поскорей?

— Можно,— говорит.— Почему же нельзя? Можно и поторопиться...

И начинает, понимаете, вытирать полотенцем пальцы. Один, понимаете, вытрет,— посмотрит, полюбуется и другой начинает. Потом третий. Потом четвертый. И так далее.

Офицер — ну прямо лягается. Прямо копытами бьет. Даже шпора звякает.

А доктор внимания не обращает, вытирает себе потихоньку пальчики и чего-то мурлычет.

Потом он подходит ко мне и говорит:

— А ну, молодой человек... Откройте рот.

Я не хотел открывать. Но думаю:

«Что, в самом деле... Жалко, что ли?..»

Взял и открыл.

— Еще,— говорит,— откройте... Пошире!

Я открываю еще пошире, как только могу.

— Еще,— говорит.

Ну, тут я совсем до ушей разинул ему свою пасть.

— Вот так,— говорит.— Достаточно. Спасибо.

Посмотрел он у меня во рту, поковырялся своими чистенькими пальчиками и говорит:

— Да нет,— говорит.— Язык на месте.

— Как? — говорит офицер.— Не может этого быть!

— Уверяю вас,— говорит доктор.— Язык в полной исправности, только синий.

— Да нет,— говорит офицер.— Вы ошибаетесь. Я же сам хорошо видел, как он его откусил.

— Тогда посмотрите,— говорит доктор. И показывает ему мой рот. А там, понимаете, преспокойно болтается язык.

Ах мать честная! Вот офицер удивился! Вот у него глаза на нос полезли!

— Да что же это,— говорит,— такое? Да как же,— говорит,— это может быть? Что у него, дьявола, два языка висят, что ли?!

— Да нет,— говорит доктор.— Навряд ли, что два... У одного человека двух языков не полагается. Этого наука не допускает. И я,— говорит,— хотя с научной точки зрения и не берусь объяснять этот факт, но в общем и целом — язык на месте.

— Тьфу! — говорит офицер.— Так, значит, он меня обманул?! Значит, он говорить может? Значит, ты, негодяй, говорить можешь?

— Да,— говорю.— Могу.

И тут же сказал я ему такое слово, от которого, извиняюсь, можно со стула упасть.

А он — вы думаете что? Рассердился? Думаете, он орать на меня стал или драться? Ничего подобного. Он смеяться начал. Он прямо обрадовался — ну как не знаю что. Как будто ему, понимаете, пятнадцать рублей подарили.

— Ой,— говорит,— неужели это не сон? Неужели я не ослышался? А ну,— говорит,— повтори, что ты сказал...

Я повторил. И еще прибавил. Дескать, вы, говорю, ваше высокоблагородие, последняя дрянь и даже хуже. Вы, говорю...

Понимаете? Не ругается! Не дерется! Смеется, как лошадь.

— Еще! — говорит.— Еще!

Даже ругаться скучно. Чего в самом деле? Я же не граммофон. Я постоял, порычал немного и замолчал.

Тогда он кончает смеяться, поправляет свою офицерскую саблю и начинает командовать:

— Вы,— говорит,— господин доктор, пожалуйста, подзаймитесь немного с этим комиссаром. Успокойте его слегка, приведите в порядок, а после пришлите его к нам в штаб. А вы, братцы, покараульте пленного, Филатов останется здесь, а Зыков — наружная охрана. После, Зыков, приведешь его в штаб.

Подцепил свою вострую саблю и поскакал. А за ним и Зыков. Дверь перед ним отворяет. И в сени за ним бежит.

И там, в этих самых сенях, кто-то вдруг как заорет:

— А-ах!

— Что? Что такое? — говорит доктор.

Тут Зыков кричит:

— Ничего! Ничего! Не извольте беспокоиться. Это их благородие спотыкнулись. О притолку шмякнулись.

— Ах,— говорит доктор,— разве можно так резво бегать?

Ну, мы остались втроем: я, Филатов и доктор.

А доктор-то, доктор! Фу, ей-богу, ну прямо без смеха глядеть невозможно.

Такого доктора если потребуется пристукнуть — совсем пустяки. Деревянной ложкой можно пристукнуть.

Но я вижу, что здесь у меня ничего не выйдет. Во-первых, Филатов как столб стоит со своим наганом. Потом — окно. Оно хоть открыто, но за окном на завалинке больные сидят,— мне даже их голоса хорошо слышно,— а на подоконнике всякая мура стоит: банки, склянки, пузырьки и большая лошадиная клистирка с длинной кишкой.

Нет, я вижу, что здесь у меня ничего не выйдет. Я стою тихо.

А доктор меня начинает лечить.

— Так вот,— говорит,— молодой человек... Откройте, пожалуйста, рот.

Я говорю:

— Зачем? Чего,— говорю,— вы там не видали?

— А я,— говорит,— хочу убедиться.

— Ну ладно,— говорю.— Убеждайтесь.

И рот раскрыл. И язык высунул.

— Да,— говорит доктор.— Язык у вас в полной исправности. Могу вас порадовать. Но только,— говорит,— он чересчур синий. Как будто его в чернилах купали? А? Вы, молодой человек,— чернила не кушаете? Хе-хе!..

— Нет,— говорю.

— Так-так,— говорит.— И десны у вас распухли. Ну,— говорит,— нате, скушайте, пожалуйста, пирамидону.

Я съел. Ничего. Мне, понимаете, так шамать хотелось здорово, что я бы и самого доктора съел.

— Вы что? — говорит.— Военнопленный?

— Да,— говорю.— Не в гости, конечно, сюды приехал...

— Значит, вы — большевик?

— Был,— говорю.— Да.

— Ах,— говорит,— вы сядьте. Что вы стоите? Вот, пожалуйста, табуретка,— присаживайтесь.

— Нет,— говорю,— спасибо. У меня,— я говорю,— на том месте, где сидят, заметка на вечную память. Я,— говорю,— этим местом сидеть не могу. Но если б мне жить привелось, я бы,— говорю,— не забыл, что и как. Я бы,— говорю,— помнил.

И тут я, товарищи, извиняюсь, штаны опустил. И показал доктору.

— Ах,— говорит доктор,— ах, какая жестокость!
А Филатов, балда красномордая, как загогочет:
— Го-го-го!
— Ты что? — спрашивает доктор.
— Виноват,— говорит,— ваше благородие. Поперхнулся.
А доктор нахмурился и говорит:
— Ну,— говорит,— молодой человек, если вас не расстреляют, приходите,— я вам еще пирамидону дам.
— Ладно,— говорю.— Зайду.
Смеюсь, конечно. Зачем мне, скажите, после смерти ходить, старичков пугать? Я не Исус Христос. Я насовсем помирать собрался. А живым я ходить уж, понимаете, не надеюсь. Нет, не надеюсь ни чуточки.
— Ну что ж,— говорит доктор.— Можете отправляться.
И сам уж скорей к рукомойнику — пальчики мылить.
Филатов командует:
— Шагом марш!
И наган свой — на изготовку.
Выходим через сени на улицу. Зыков сидит с больными. Сидит на завалинке с больными и что-то рассказывает смешное. Те на него хохочут. Зубы скалят.
— А! — говорит.— Комиссару почтенье! Ну как,— говорит,— поставили вам золотую плонбу?
Все:
— Ха-ха-ха!..
Смешно, понимаете, дуракам.
И Филатов тоже грохочет.
Я говорю:
— Поставили бы,— говорю,— тебе такую пломбу в хайло... Говорок тамбовский!
Все опять:
— Ха-ха-ха!.. Ловко отшил! Браво!
Зыков мне отвечает:
— Я-то тамбовский, а ты — каковский? Жидовский?
Я говорю:
— Знаешь? Я с тобой и говорить не хочу, лягавая морда. Продажная ты,— говорю,— шкура! Белобандит!
Гляжу — покраснел мой Зыков. Встает, поднимает свою винтовку и говорит:
— А ну! — говорит.— Поворачивайся! Шагом марш!
И затвором — щелк!
Дескать, поговори у меня — свинцовую пломбу получишь.
Я пошел. Идем мы почти что рядом. Я слева, а Зы-

ков справа. И вдруг я вижу, что мы совсем не туда идем. Понимаете? Мы идем не к штабу, а куда-то совсем обратно. Туда, где село кончается. Где последние домики стоят.

«Что,— думаю,— за дьявол! На кой черт мы туда идем?»

А спросить я, конечно, у Зыкова не хочу. Самолюбие не позволяет. Я молчу.

Зыков тогда говорит:

— А ну, поднажми.

— Вот еще! — говорю.— Буду бегать.

Он говорит:

— Поднажми! Дурак!

Ну я хотя и не очень, а пошел побыстрее. А сам думаю: «Занятно, куда это все-таки мы так спешим? На свадьбу, что ли?»

И только я это подумал: «На свадьбу», вижу — идет нам навстречу какой-то седой генерал. Какое-то, понимаете, чучело в синих подштанниках. Такой, понимаете, тухленький, поганенький старичок. Идет и ножкой подрыгивает.

— Куда? — говорит.

Тут Зыков мой делает перед ним, как полагается, стойку и отвечает:

— Так что,— говорит,— ваше превосходительство, пленного большевика к исполнению веду.

— В расход?

— Так точно, ваше превосходительство, в расход.

— Ну-ну,— говорит генерал.— Вольно... Шагай себе... Не промахнись,— говорит.

И на меня, понимаете, этак весело посмотрел, будто я курица или гусь и он меня на обед скушать собирается.

— Шагай,— говорит,— с богом... И пусть,— говорит,— твоя рука не дрогнет... Потому что,— говорит,— ты не человека убиваешь, а дьявола. Понял?

— Так точно,— говорит Зыков.— Понял,— говорит.— Дьявола.

— Ну, с богом!— говорит. И пошел. Опять, понимаете, ножкой задрыгал.

А мы, понимаете, тоже пошли дальше.

И прямо скажу — не хотелось идти. Ну, поверите, ноги не хотели идти.

А тем более что погода была замечательная. Погода стояла чудная. В садах повсюду фрукты цвели. Деревья шумели. Птицы летали.

А тут, мать честная, изволь иди на такой веселенький проминат...

Ах, черт подери!.. Никогда мне, товарищи, не забыть, как я тогда шел, что думал и что передумал.

Иду, понимаете, я впереди, а Зыков идет сзади. Винтовочка у него все гремит. Английские ботиночки поскрипывают. И все молчит этот Зыков. Хоть бы слово сказал для развлечения. Хоть бы крикнул чего-нибудь.

А идем мы сначала селом. Потом мы выходим на выгон, где коровы гуляют. Потом по тропиночке мимо разных там огородов и зимних сараев идем. И все молчит этот Зыков. Только знай винтовкой потряхивает. П-противно все время скрипят его бутсы.

Фу, понимаете, до чего невесело!..

Я думаю: «Ну!.. Ну, Петя Трофимов!.. Буденовец! Подними голову!»

Не могу, понимаете. Не поднимается голова.

Какая-то, понимаете, панихида все время в голову лезет.

«Да, тяжело,— думаю,— Петя Трофимов, помирать не в своей губернии. Хотя,— думаю,— губернии мне не жаль. Какая у меня, к черту, губерния? Какая у плотника, каменщика, пастуха губерния? Где хлебом пахнет, туда и ползешь. Отец у меня в одном месте зарыт, мать в другом. Только и остались у меня боевые товарищи. Да вот загадка: выскочат ли они из ловушки? Ох,— думаю,— туго небось товарищу Заварухину в деревне Тыри. Слева Шкуро теснит, справа Мамонтов, спереду Улагай напирает. Черт подери! И может быть, это из-за меня. Может быть, это я все дело смазал?»

Но — дьявол! — куда же мы все идем? Куда же мы все, понимаете, шагаем?

Уж вон и села не видать, и собаки не лают, а мы все идем.

Удивительно, знаете...

«Разве,— я думаю,— здесь вот, за этим кусточком, не очень подходящее место? Или вон, скажем, за теми ракитами...»

Мне ведь, товарищи, самому приходилось расходовать людей. У меня с этой практики глаз наметался.

Я думаю: «Здесь, за этим кусточком, или вон в том овраге — очень удобное место, чтобы с человека дух выбить. Это Зыков,— я думаю,— напрасно меня туда не ведет».

А Зыков меня, понимаете, как раз туда и ведет. В тот самый в овраг.

— А ну,— говорит.— Стой!

Я встал. И стою. И спокойно, вы знаете, думаю: «Что ж,— думаю,— прощайся, буденовец!..»

А с кем мне прощаться? Вокруг, понимаете, одна трава.

Я повернул голову и вижу, что Зыков берет свой бердан под мышку, а сам лезет за пазуху и вынимает оттуда что-то такое неясное.

— На,— говорит,— пришпиливай.

Что такое?

Вижу — погоны. Понимаете? Золотые погоны с такими блестящими звездочками. И четыре французских булавки.

— Ну! — говорит.— Присобачивай!

— Что? — говорю.

Я, понимаете, не понимаю. Я говорю:

— Ну тебя к черту, лягавая морда! Довольно шутки шутить.

А он:

— Чумовой! — говорит.— Надевай поскорей погоны, покуда нас не застремили. Слышишь?

Я не могу. Ей-богу, стою, понимаете, как дурак.

— Ну, давай,— говорит,— глупый черт, я сам тебе присобачу. Нагинайся,— говорит.— Живенько!..

Я нагнулся. И тут он мне ловко пришпилил двумя булавками левый погон и двумя булавками правый.

— А теперича,— говорит,— бежим!

— Куда? — говорю.

— А куда? — говорит.— Ясное дело куда: к Буденному.

Ох, товарищи!.. Ну, знаете, я чуть не заплакал. Ей-богу, я сел на землю и встать не могу.

— Браток! — говорю.— Братишка! Зыков,— говорю,— неужели свой?

— Свой,— говорит,— честное слово... Вставай,— говорит,— побежим к Буденному.

— Нет,— говорю,— погоди... Не могу.

— А что? — говорит.— Почему не можешь?

— У меня,— я говорю,— в животе какая-то гадость начинается.

Понимаете? У меня в самом деле что-то ужасное начинается в животе. Начинает, я думаю, таять сургуч. Потому что как огнем начинает мне жечь и горло, и грудь, и особенно самое брюхо. Все, понимаете, кишки во мне начинают как будто плясать и как будто рвать-

ся на мелкие лоскутки. И — больно. Такая боль, что сказать не могу. И на ноги встать не могу.

«Фу,— думаю.— Мать честная! Неужели — от пули спасся, а тут от такой гадости помирать? Нет,— думаю,— не хочу помирать».

И хочу, понимаете, встать на ноги. Через силу встаю на колени и падаю снова.

— Нет,— говорю,— шалишь! Встанешь, такой-сякой.

И опять, понимаете, встаю на колени. И опять падаю.

— Ах,— говорю,— дрянь какая! Вы подумайте: буденовец на ноги встать не может. Ну,— думаю,— что ж... Значит — амба. Значит,— говорю,— давай попрощаемся, товарищ Зыков.

А он говорит:

— Ладно. Попрощаться мы после успеем. А ты,— говорит,— не обидишься, если я тебя на руках понесу?

— Нет,— говорю,— это не стоит. Это,— говорю,— смысла нет меня на руках нести. Все равно мне каюк.

— Да брось,—говорит.— Ну просто у тебя в животе телеграмма зудит.

— Какая,— говорю,— телеграмма?

— А та,— говорит,— которую ты сшамал.

— Вот,— говорю,— охламон! Вот чудик. Это,— говорю, — не телеграмма. Это, — говорю — пакет. Это — секретное письмо к товарищу Буденному, которое, понимаешь, я вез и которое не довез. Я, — говорю, — ворона. Я съел важнейшие оперативные сводки своей дивизии. Меня, — говорю, — расстрелять за это мало.

Ну, я, понимаете, все ему рассказал.

— А теперь,— говорю,— оставь меня, ради бога... Беги, пока жив.

А он — вы подумайте — ничего мне тогда не сказал, а берет меня прямо в охапку, кладет меня, как мешок, на плечо и шагает со мной в кусты. А потом из оврага вон. А потом через кочки-пенечки бегом, понимаете, как запустил... Даже ужас! Лошади, понимаете, так не бегают.

Я говорю:

— Зыков! Тебе тяжело, наверно?

— Невидаль,— хрипит.— Я,— говорит,— и не с таким бегал.

Я говорю:

— Ты отдохни...

Мне, понимаете, все-таки неудобно как-то на человеке ехать.

— Ты отдохни,— говорю,— а потом опять поедем.

— Не гуди,— отвечает.— До леска вон того добежим, а там посмотрим.

А лесок, я гляжу, неблизко. До леска того, понимаете, версты две.

Ну, мы так хорошо с ним скакали, что минут через десять были уже в лесу.

— Тпру! — говорю.— Приехали...

Зыков меня опускает на землю, и я — вы представьте себе — спокойно встаю на ноги.

Вот ведь чудо какое!

А это, вы знаете, пока я на Зыкове через поле скакал, у меня в животе все помаленьку умялось. И стало как будто полегче. Как будто не так чересчур больно.

— Вот,— говорю,— лафа! Ну, давай,— говорю,—побежим дальше!

А Зыков говорит:

— Нет. Погоди... Не могу.

— А что? — говорю.— Почему не можешь?

— А я,— говорит,— все-таки не лошадь. Я не могу без отдыха.

Вижу — действительно: вспотел парень.

Ну, мы тут сели с ним под высоким деревом, я растянулся в траве, а Зыков достал кисет и стал закуривать трубочку.

Я говорю:

— Все-таки, Зыков... Я не понимаю: кто ты такой?

— Я? — говорит.— Я — продажная шкура. Я,— говорит,— за английский шинель Мамонтову продался.

— Ох,— говорю,— ты же врешь, Зыков!

— Ну,— говорит,— может, и вру. Меня,— говорит,— это верно,— мобилизовали. Я не своей охотой четвертый месяц у белых служу.

И тут он мне, понимаете, рассказал все...

Как он приехал с германского фронта домой. Как у него дома хозяйство погибло. Как он жену после тифа похоронил. Как он, представьте, у попа в работниках жил. И так дале... И как его после насильно забрали в казаки, дали ружье и велели стрелять в большевиков.

«Стреляй,— говорят,— и пороху не жалей! Потому что,— говорят,— большевики не люди. Они,— говорят,— понимаешь,— враги человечества...»

Я спрашиваю:

— И ты— стрелял?

— Нет,— говорит.— Я прикладом.

— Как,— говорю,— прикладом? Значит, ты убивал?

— Честное слово,— говорит,— одного только человека убил. И тот — наш офицер. Подпоручик Гибель.

— Это какой,— говорю,— Гибель?

— А тот,— говорит,— который тебе по щеке ударил.

— Как? — спрашиваю.— Мать честная! Когда ты успел?

— А я,— говорит,— его в околотке... в сенях... прикладом. Пока ты там пирамидон кушал.

Ах, черт! Вы подумайте, какой ловкий парень! Он этого подпоручика с одного маху прикладом положил. Помните, доктор спросил: кто там орет? Так это Гибель орал. Зыков его в то время под лавку запихивал.

— Я,— говорит Зыков,— в этих сенях, между прочим, и погончики тебе раздобыл. Нет,— говорит,— не бойся. Не с покойника... Там у доктора китель висел. Так я с этого самого кителя. Ведь ты,— говорит,— теперь знаешь кто? Ты теперь — доктор.

— Фу,— говорю.

Я говорю:

— Зыков! Чего же ты, дьявол, тогда дурака валял? Чего ж ты со мной ругался?

— Ругался? — говорит.— А ты что — захотел, чтобы я целовался? Чтобы я тебя «дорогим товарищем» называл? Так нас бы с тобой тогда, дорогой товарищ, на одной березе повесили.

— Верно,— говорю.— Верно, Зыков! Ах, ну и ловкий ты парень, Зыков!

А он говорит:

— Да! У меня теперича такой вопрос: расстреляют меня, скажи, у ваших или нет, если я туды перемахну?

— Да брось,— говорю.— Ты что — генерал? Или ты полковник?

— Нет,— говорит,— я — нижний чин.

— Ну,— говорю,— чего ж нам тебя стрелять? Мы расстреливаем врагов, капиталистов, а ты кто? Ты же не капиталист? Ты же не с буржуазного класса?..

— Я,— говорит,— таких слов не понимаю. Но я,— говорит,— окончил приходскую сельскую школу. Два класса. А после батя меня в пастухи отдал.

— Во! — говорю.— Значит, мы с тобой одного звания. Я тоже в пастухах воспитывался. Да что,— говорю,— я! У нас вся армия с пастухов, да с маляров, да с каменщиков. У нас,— говорю,— тебя примут во как! Свой парень! Мужик! Где ж тебе иначе служить, как не в буденновской армии?

— Верно,— говорит.— Мне,— говорит,— в казаках

служить неподходящее дело. Я,— говорит,— это давно о Буденном мечтаю. Мне, понимаешь, ужасно охота его поглядеть. Какой он такой, Буденный? Ты его видел?

— Да,— говорю,— видел. Но только — на стенке. Он у нас в штабе на стенке висел. На белой лошади.

— А что,— спрашивает Зыков,— он — с офицеров бывших?

— Ну да! — говорю.— Ты что — опупел? Ведь он же командует цельной армией.

— Значит, из генералов?

— Да нет,— говорю,— из бывших батраков. Представь себе — нашей губернии мужичок. Да, впрочем,— говорю,— сам увидишь. Если мы до Луганска дойдем и я Буденного разыщу, я тебя обязательно с им познакомлю.

— Знаешь что? — говорит Зыков.— Давай пойдем тогда поскорей, поищем дорогу.

— Пойдем,— говорю.

А сам, понимаете, и встать не могу. Развезло.

Зыков тогда меня поднимает, я кое-как шагаю.

Шагаем мы через лес и выходим на такую веселую опушку.

И помню,— выходим мы на эту веселую опушку, Зыков и говорит:

— А скажи,— говорит,— на коего лешего ты нашего часового тюкнул?

Я говорю:

— Как тюкнул? Я,— говорю,— его не тюкал. Это,— говорю,— его один сумасшедший, наверно, угробил.

И только я это сказал — вы подумайте! — из кустов выходит мужик. Тот самый сумасшедший мужик, который меня, вы помните, напугал и в которого я с браунинга целился.

Идет он навстречу — лохматый, рваный и опять, вы подумайте, улыбается. И опять он чего-то бормочет и чего-то шипит.

Я испугался. Стал. Но виду не подал.

Я говорю:

— А-а! Знакомая личность.

— Это кто? — спрашивает Зыков.

Я говорю:

— А это тот самый, который вашего караульного камнем убил.

Потом говорю:

— Ты что же это, братишка, по чужому пачпорту людей убиваешь? А? Меня, знаешь, из-за тебя чуть за

нос не повесили. Чуешь? Ты,— я говорю,— зачем это вздумал людей убивать?

А он отвечает:

— Да,— говорит.— Убивал и убивать буду. Я,— говорит,— вас всех изничтожу, Мамонтово племя.

И вижу — глядит мне на левое плечо. А там, понимаете, на левом плече — у меня погон сверкает.

— Я,— говорит,— и вас не пожалею. И вас отошлю к богу в рай, сучьи дети.

Нагибается и — вижу — берет камень.

— Стой,— кричу,— стой, шалопут!

Но тут, понимаете,— зззиг!

Над самой моей башкой летит камень. Ну только на палец башки не достал.

Разозлился я.

— Чум! — говорю.— Сумасшедший! Остановись!

А он, вы представьте, бежит до канавы, нагибается и набирает полные горсти камней. И оттуда, понимаете, из засады, начинает в нас этим каменьем швырять. Мне в ухо два раза попал, Зыкову, кажется, в грудь или в нос.

Я говорю:

— Хватай его, Зыков! Чего там.

Навалились мы тут вдвоем на этого сумасшедшего, Зыков его по ногам хряснул, а я в обнимку схватил и валю на землю... А он — сильный. Сумасшедшие, черти, все сильные. Он ворочается, шипит, кусается,— ну прямо никак невозможно его положить. И орет все время:

— Гады! — орет.— Собаки! Лякузы буржуйские!..

Ну, тут я с себя ремешок стянул,— у меня ремешок был особенный, прочный, из сыромятной кожи,— и мы сумасшедшего кое-как связали. Чтобы он не орал — мы в рот ему напихали травы. И после, связанного, кинули в канаву,— лежи, мол, отдыхай.

И уж собрались дальше идти,— вдруг слышим топот. Казачий разъезд. Понимаете? Прямо на нас несутся.

— Стой! — говорят.— Кто такие? Откуда?

«Ну,— думаю,— Петя Трофимов! Завяз».

Сижу на земле на корточках и встать не могу.

А Зыков, вы знаете, не смутился. Он отвечает бойко:

— Так, мол, и так... Генерала Мамонтова личные курьеры.

— А куды идете?

— А идем,— говорит,— мы в деревню Курбатово, к полковнику Штепселю с донесением.

— Так,— говорят,— дело. А ну — поворачивай в штаб.

— Это зачем?

— А затем. Там разберемся.

И вижу — глядят на мои погоны. И хмуро посмеиваются. Дескать, нам все понятно. У нас глаза спробованные. Нас на арапа не возьмешь.

А только и Зыков не дурак. Он тоже глядит на мои погоны и тоже чего-то кумекает.

— Вы знаете,— говорит,— между прочим, кто это там сидит? Это,— говорит,— самый главный врач деникинской армии. Он только-то убежал из советского плена, и теперь ему спешно необходимо податься к Деникину. А я его личный конвой. Чуете?

Те говорят:

— Врешь?!

Он говорит:

— Если вы только осмелитесь нас задержать,— вам от Мамонтова так влетит, что лозы не хватит. Верно,— говорит,— господин доктор?

А я — опупел. Я прямо смутился и не знаю, что сказать.

— Да,— говорю.— Висеть вам, ребята, на первой березе. Серая,— говорю,— вы скотинка. Какое вы имеете право так с благородным человеком поступать?

Я говорю:

— Наука этого не допускает.

Ну, они тут все сразу шапки посымали и стали затылки чесать. А тут, на наше счастье, еще какой-то подъехал. Казак. Он Зыкова знал. Он говорит:

— А! Зыков!

Зыков говорит:

— Здорово, Петров (или там — Иванов). Подумай, какое дело. Меня признавать не хочут.

Тот говорит:

— Что вы, ребята! Это же Зыков. С первого эскадрону. Нашему каптеру земляк.

Ну, тут уж бандиты совсем поверили, что я доктор, а Зыков мой адъютант.

— Пожалуйста,— говорят.— Можете ехать.— И мне говорят: — Извините, ваше благородие. Мы не нарочно.

Я говорю:

— Чего там... Ладно. Наука это допускает.

И пошел. И Зыков за мной, как адъютант, идет.

А они нам кричат:

— Послухайте! Эй!.. Послухайте!

— Что еще? — спрашиваю. Стал. А Зыков мне шепчет:

— Дуй! Дуй, парень!..

Они говорят:

— Вы, господин доктор, на правую руку не ходите.

— А что такое?

— А там,— говорят,— за ручьем буденовцы окопались.

— Буденовцы? — говорю.— Ах, какой ужас! Ладно,— говорю,— не пойдем. Мерси вам. Можете ехать.

Они на коней позалезли и поехали.

А мы сразу — в канаву, где, помните, у нас сумасшедший был положен. Мы думали,— он задохся. Но видим, что нет сумасшедшего. Туда, сюда,— представьте себе, исчез сумасшедший. Один ремешок в канаве лежит, и тот пополам лопнувший.

Ох, я дурак тогда был, мне до чего ремешка стало жалко,— я чуть не заплакал. Зыков смеется, говорит: «Вот боров — какой сильный», а я чуть не плачу. Тем более что ремешок я купил у нашего взводного за четыре куска рафинада и ему сносу не было. Такой — сыромятный, свиной кожи — ремень, его двадцать пять человек тяни — не растянешь. А тут один человек без рук разорвал... Или он его зубами раскусил — я не знаю.

Стою, вздыхаю,— вдруг вижу, что Зыков тоже нахмурился и тоже чего-то соображает. Как будто он чего-то потерял. Или дома оставил.

— Ты что? — говорю.— Что с тобой?

— Погоди,— говорит,— не мешай.

И чего-то он себя осматривает и ощупывает и лоб потирает.

Потом говорит:

— Я,— говорит,— забыл... Это какая рука?

Я говорю:

— Левая.

— А это?

— Правая.

— Ну,— говорит,— слава богу! Давай сюда... На эту руку.

— А! — говорю.— Понимаю. На правую. За ручей... К Буденному. Есть такое дело! Топаем, Вася!

Бросил свой бывший ремень и так, понимаете, бодро зашагал, что сам удивился. Но только — недолго.

Немного прошел — и опять, вы подумайте, заскулила мозоль, опять в животе заворчало и заныла спина.

Иду раскорякой и думаю:

«Эх,— думаю,— герой! Аника воин! Таким из-под пушек лягушек гонять, а не за власть бороться».

А Зыков идет, идет и остановился.

— Стой! — говорит.— Ты ничего не слышишь?

— Нет,— говорю.

Остановился. Послушал.

И в самом деле, где-то далеко-далеко как будто горох молотили.

Я говорю:

— Что-то трещит.

— Стреляют,— говорит Зыков.— Пулеметная дробь... С кольту бьют. Чуешь,— говорит,— как ваши нашим накладывают?

— Да,— говорю,— чую.

Ну, мы тут опять побыстрее пошли. На дорогу вышли. И по пыльной дороге прямо на солнце топаем. А солнце уже садится, уже темнеет, и чем дальше, тем громче — то справа, то слева — бум! бах!

— Ну,— говорит Зыков.— Довольно! Давай сымать эту дрянь.

— Чего,— говорю,— сымать?

— Погоны,— говорит.— Сымай их к черту. Ша! Хватит! Пофасонил четыре месяца. Не поверишь, брат, на плечах мозоли натер.

— А пора? — говорю.

— Пора,— отвечает.— Вполне. Давайте,— говорит,— господин доктор, я вам первому сыму.

И начинает сдирать с меня деникинские погоны. Я голову повернул и вижу, что лицо у него злое-злое, как будто он не погоны снимает, а что-то такое грязное делает. Как будто он чирей выдавливает или вшей ищет. А тем более что булавка попалась ржавая, не отшпиливается. Он ее дергает, а она не лезет.

— А,— говорит,— холера!

Дернул и — прямо, балда, с мясом погон оторвал. Прямо такой вот кусок гимнастерки вырвал.

— Есть,— говорит,— один штука. Давай,— говорит,— поворачивайся!

И только второй отцепил и только бросил его куда-то к черту в канаву,— слышим топот.

Опять, понимаете, не успели очухаться, не успели вздохнуть,— опять конный разъезд несется. И прямо на нас.

— Тикай! — говорит Зыков.— Тикай, парень, если жить хочешь.

И так, понимаете, поскакал, будто его стегнули.

И я побежал. Уж не знаю, как я бежал, но только бежал хорошо и от Зыкова не отставал.

А конники — ясно — нас нагоняют. Это в лесу легко убегать от кавалерии, а по гладкой дороге это не очень легко. Все-таки у них ног больше. Лошади все-таки.

Ну, слышу, что ближе и ближе стучат их копыта. И вдруг — трах-тах-тах!

Над самой моей башкой свистит пуля.

Бах! — еще раз...

Как принялись пулять из берданов — спина похолодела.

Зыков мне говорит:

— Милый! Браток!

Я говорю:

— Что?

Он говорит:

— Милый... товарищ!.. Не отставай...

Гляжу на него: бледный несется, глаза выкатил, на губах пузыри белые, как у лошади.

— Беги! — говорит.— Беги, пожалуйста... Не отставай. Милый!..

Ох, не хотелось, как видно, парню обратно к Мамонтову. Видно, и в самом деле хотел он перед смертью Буденного повидать.

Да и мне помирать не хотелось. Я прямо как орловский рысак скакал.

Бежим, понимаете, а вокруг такая пылища, как дым на пожаре. Дороги не видно. И Зыкова мне тоже почти не видать. А сзади так и трещит:

— Бум! Бах! Трах!

Вдруг Зыков мне что-то сказал. Не сказал, а крикнул:

— Ай!

Или:

— Ой!

Я не помню.

Я повернул голову и вижу: упал мой Зыков навзничь, лежит на дороге, щека у него в крови, а нос в земле.

А сзади — бах! бах!

Я побежал. Вперед. Не могу. Не бежится. Вертаюсь тогда назад и кричу:

— Зыков! — кричу.— Вставай! Дьявол!..

А он — не встает. Не шевелится. Землю нюхает.

Хватаю его тогда за плечо. Трясу что есть силы.

— Зыков,— говорю,— хватит трепаться! Вставай!..

Но тут над самой моей головой:

— Стой! Руки кверху!

Поднимаю я эту свою чумовую голову и вижу...

Мать честная!.. Вижу на мятых солдатских фуражках — красные красноармейские звезды.

Сел я тогда, как помню, в самую пыль, где Зыков лежал, и говорю:

— Товарищи!— говорю.— Что же это? Зачем? Ведь вы же,— я говорю,— своего убили!

— Брось,— говорят.— Не вкручивай. У наших погоны не блестят.

— Да,— я говорю,— мало ли что погоны! Он все-таки свой! Он — говорю,— наш!

— Верно,— говорят.— Это ты правду сказал, что ваш...

А ихний взводный командир, такой чубастый парнишка, смеется и говорит:

— Эва,— говорит,— эполеты-то — с мясом вырвал. Сдрейфил, белобандит?

— Сам ты — бандит,— говорю.— Я тебя, знаешь,— за оскорбление...

Я задохнулся даже.

«Что,— думаю,— за черт? К своим попал, а так встречают...»

Я говорю:

— Я тебе зубы пересчитаю.

Он говорит:

— Ладно. После посчитаемся. Товарищи,— командует,— убитого обыскать, а этого счетовода гони в Бандурово до комиссара.

Я тут только и понял.

— Вы что,— говорю,— думаете, я — белый?

— Нет,— говорит,— ты, пожалуй, серо-буро-малиновый.

А Зыков по-старому все лежит в пыли. Его поворачивают на спину, на бок и шманают во всех карманах. Говорят:

— Еще дышит.

— Ладно, — говорит взводный, — пускай подышит. Погода сегодня чудная.

Вынимают тогда из кармана Зыкова бумажки. Читают: *«Василий Семеныч Зыков, первого эскадрона добровольческой казачьей дивизии генерала Мамонтова рядовой»*.

— Н-да,— говорит взводный.— Это — наш. Это по всему видно, что наш. А ну,— говорит,— на коня, хлопцы!

И мне говорит:

— А ну, солдат... Вперед— за бога, царя и отечество!

— Ну нет,— говорю.— Я не оставлю своло товарища. Берите его с собой. Слышите?

— Извиняемся,— отвечают.— У нас катафалка с собой не захвачено.

— Я,— говорю,— не пойду без него.

— Не пойдешь? Верно? Не шутишь? Ну если так, то бери его сам. Неси на закукорках. Согласен?

Смешно дуракам.

А я — что вы думаете? Я понатужился, сграбил Зыкова в охапку и положил на плечо. Ну, тяжело, конечно, а все-таки я не упал и Зыкова не уронил и стою на своих ногах.

Ну, тут мы поехали.

Спереди едут двое на дозоре, слева еще один, справа еще один, сзади взводный на белой лошади, а посредине Зыков на мне. Конечно, ноги у меня неподкованные и шибко бежать я не в силах. Тем более что — мозоли, спина... Сами знаете. Я не особенно шибко иду. И невесело.

Иду я как пьяный. Глаза закрываются, ноги шатаются,— ну прямо как будто из кабака иду. И все время, тем более, на коней натыкаюсь. Все время меня окрикивают:

— Эй! Беляк! Лошадей не пугай... Чучело!

Я говорю:

— Извиняюсь. Нечаянно.

И дальше иду. Мне, понимаете, все равно, что кричат. Мне не жалко. Такая в башке мура, что и думать не хочется.

Думаю только, что — чепуха. Чепуха такая, что ужас! Ужас, какая чепуха! Ведь это представить надо: буденовец к Буденному в плен попал.

А все-таки мне спокойнее.

Свои ведь, черт подери! Ведь свои все-таки, со звездочками. Разве я надеялся, что увижу своих, со звездочками? Нет, никогда не надеялся.

А сбоку копыта стучат. И в голове стучит. И на плече Зыков поминутно вздрагивает.

«Ах,— думаю,— бедняга Зыков. Погиб ты,— думаю,— ни за медную пуговицу. И не увидел ты мечту своей жизни, товарища Буденного».

Но — я не могу. Я чуть не падаю. Чуть под копыта не попадаю.

Слышу — сбоку смеются:

— Эх, солдат!.. Мало ты каши ел. Видно, белая каша не очень-то жирная. А?

А я и сказать ничего не могу. Даже выругаться как следует не могу. Я прямо падаю.

Тогда говорит кто-то сбоку:

— Давай,— говорит,— солдат, клади свово друга моему коню на загривок.

Я положил. Я, помню, спасибо сказал и взвалил своего бедного Зыкова на теплую лошадиную шею. Ну, он повис и руки свесил. А я дальше пошел.

Уже темно стало. Уж звезды наверху замигали, когда мы въехали в село Бандурово Марьевской волости Луганского уезда.

И помню, что мы на каком-то дворе долго чего-то ждали. Тут часовые стоят, тут Зыков лежит на земле у колодца, а я на корточках рядом сижу и плачу.

Может быть, у меня нервы расстроились, может быть, я устал, но мне тяжело было смотреть, как помирает мой друг.

Он дышал еще. Но так, знаете,— невесело и нечасто. Вздохнет, замычит, головой поерзает — и снова молчит. И кровь уже не идет с виска. А это — худо.

Я говорю:

— Зыков!

А он молчит. И ушами не шевелит. И глаз не открывает.

Я говорю:

— Зыков!.. Да брось... Не журысь! — говорю.— Все ладно будет. Ошибка ведь вышла. Ведь это — наши, буденовцы,— говорю,— со звездочками. Завтра мы,— говорю,— Зыков, сами наденем звездочки и пойдем до Буденного знакомиться. Вот я тогда и скажу: «Товарищ Буденный, позвольте вам познакомить мово друга Василия Семеновича Зыкова. Он — первый герой на нашем земном шаре...» Зыков, ты слышишь? А Буденный тебе ответит: «Да,— скажет,— хороший ты парень, и вид у тебя боевой, но только служить тебе не у белой сволочи, не у Деникина, а в особом отряде товарища Заварухина». И пошлет тебя к нам в часть. Ты хочешь,— говорю,— Зыков, к нам в часть?

Чепуху, конечно, я говорю. Потому что Зыков не слышит, молчит и лежит у колодца, как дерево.

Тут отворяются двери и из дому кричат:

— Пленных!..

Это я-то пленный!.. Подумайте только: буденовец к Буденному в плен попал!

Ну, вводят меня в избу. В избе, понятно, и хлебом, и щами, и керосином воняет, под иконами стол стоит, на столе — молока кувшин и английский маузер. А за столом сидит молодой парень в кавказской рубахе. И другой рядом с ним — в кепке. И еще, с бородой,— у окна. И еще какие-то — я не помню.

— А ну,— говорят,— канай, голубчик, сюда, поближе...

Зыкова кладут на лавку, а я подхожу к столу.

Все они разглядывают меня, как будто я не человек, а чудо. Потом они начинают писать акт.

— Фамилия? — спрашивают.

Я говорю:

— Трофимов Петр Васильевич.

— Чего? — говорят.

Я говорю:

— Я не могу вам громко отвечать, у меня горло чернилами смазано.

— Фу,— говорят.— Чумовой!

Я говорю:

— Что?

Они говорят:

— Рядовой?

— Да,— говорю,— особого отряда товарища Заварухина боец.

— Как? — говорит парень, который в кавказской блузе.— Ты заварухинец?

— Ну конечно,— говорю.

— Что за чепуха! Товарищи, где вы его взяли?

А те говорят:

— Заливает, товарищ комиссар. С мамонтовской дивизии чистокровный разведчик. Вот документики. И кладут перед ним на стол зыковский военный билет.

Я говорю:

— Ну так что ж? Это — Зыков. Он беглый мамонтовец. Это верно. А я — Заварухина боец. Я вез,— говорю,— секретный пакет к товарищу Буденному.

— На чем это,— спрашивают,— вез?

— На Негре,— говорю.

— На каком негре? Ты,— говорят,— голубок, не в Африке. Ты, голубок, в Российской республике.

— Да,— говорю,— я знаю, что я в Российской республике. Но Негр — это лошадь.

— Да? А где же она, твоя лошадь?

— Потонула,— говорю.

— Это лошадь-то потонула?!

— Да,— говорю,— представьте себе... Затянул чересчур подпругу, ну, с нею в воде худо стало.
— Вот,— говорят,— чудеса какие! Ну а пакет-то твой где?
— Ну, где? — говорю. Обозлился я, помню, страшно.— Где? — говорю.— Съел!
Как загогочут:
— Хо-хо-хо!
Не верят, понимаете... Ни одному моему слову не верят. Думают, я треплюсь.
Я говорю:
— Вот у меня и спина вся исстегана. Видите? Что, я сам себя, что ли, шомполами отхлестал?
И тут я задрал рубаху и показал. И тому, который в кавказской рубахе, и тому, который в кепке, и тому, который стоял у окна, с бородой.
У окна, с бородой, говорит:
— Это да. Это так невозможно себя самого исхлестать. Это верно. Вон ведь как, черти, излупцевали! Кто это тебя так?
Я говорю:
— Мамонтовские казачишки.
— А,— говорят.— Что же с ним делать? Может быть, он и верно наш? Кто его знает. Документы у тебя есть?
Я говорю:
— Нету. Все съел. Вы,— говорю,— самое лучшее, телеграмму пошлите к товарищу Заварухину. Он вам ответит.
— Эвона,— говорят.— От Заварухина три дни известий нету. Черт его знает, где он и что с ним.
— Я,— говорю,— знаю, где он и что с ним. Я товарищу Буденному от него все сведения везу. Пустите меня,— говорю,— пожалуйста, я дальше поеду.
— Ну, как? — говорят одни.
— А что? — говорят другие.
И вижу — плечами пожимают и руками вот этак делают. Отпустят, вижу. Ей-богу, отпустят.
Но тут, понимаете, снова случилось приключение.
Вдруг, вы представьте, за окном во дворе какой-то начался шум. Какой-то послышался голос. Какое-то даже пение послышалось. И мне почему-то сразу стало невесело. У меня какое-то вроде предчувствия появилось. Мне худо стало.
А комиссар, который в кавказской рубахе сидел, спрашивает:
— Чего там такое случилось, во дворе?

Который с бородкой повернулся к окну и отвечает:
— А это все тот самый несчастный старикан шумит.
— Какой несчастный старикан?
— А тот пасечник, у которого добровольцы жену зарезали.
— А,— говорит комиссар.— Чего ж он бродит тут? Чего его не впускают? Может быть, он голодный — так пусть ребята накормят.
А тут распахнулась дверь, и сам этот несчастный пасечник ворвался в избу.
Ну, я его сразу узнал. Как же мне было его не узнать, когда он на меня за один день столько страху нагнал. Это был тот самый мужик. Сумасшедший. Теперь он совсем уж был страшный. Одежда его совсем изодралась. Руки и ноги его были в крови, как будто он три часа в шиповнике прятался. И главное дело — глаза у него совсем полоумные стали. Такими глазами можно было цельный полк боевой кавалерии испугать. Я чуть на пол не сел от страха.
А он увидел меня — как замашет руками, как заорет:
— Ага! — кричит.— Вота он! Товарищи! — говорит.— Большевики! Бейте его! Бейте чертова сына! Стреляйте в него сию минуту с самого длинного нагана...
— А что,— говорит комиссар,— ты его разве знаешь?
— Знаю! — говорит.— Как же не знать! Они самые хату мою сожгли и жинку, старушку мою, штыком закололи. Они, собаки, после уздечкой меня в лесу увязали...
— Что? — говорит комиссар.— Что такое?!
А я говорю:
— Как уздечкой? Врет,— говорю,— не уздечкой, а ремешком...
А он говорит:
— Это,— говорит,— генерала Мамонтова кульеры. Шли они,— говорит,— до Курбатова с доносом. Я все своими ушами слышал, хоть они меня, подлецы, уздечкой связали и в канаву кинули.
Я говорю:
— Не ври! Что ты выдумываешь! Не уздечкой вовсе мы тебя вязали.
А комиссар:
— Ша! — говорит.— Не гуди! Ты лучше скажи, дрянь, зачем это ты в Курбатово путешествовал?
Я говорю:
— Ну так что ж... Это верно. Действительно, мы шли в Курбатово. Но шли мы занарочно... Шли мы...

Я смутился. Я спутался, понимаете, и покраснел, наверно.

— Шли мы,— я говорю,— не туда, а шли сюда. Шли мы...

— Стой! — кричит комиссар.— Достаточно.

Потом говорит комиссар старику:

— Ладно, дедка. Спасибо тебе. Можешь идти. Скажи красноармейцам, чтобы тебе кушать дали. Прощай.

Пожал сумасшедшему руку, и сумасшедший ушел. А все ребята сели в углу под иконами и стали совещаться...

Ну, время тогда, сами знаете, какое было. Экономное. Рассусоливать некогда было.

Пошептались ребята, подумали, написали чего-то в бумагу и уже читают:

— Трофимова Петра, неприятельского разведчика и шпиона,— расстрелять. Приговор привести в исполнение немедленно.

Я — что? Я ничего не сказал. Только, помню, сказал:

— Н-да!.. Буденовец к Буденному в плен попал...

Тогда все встали. Кто из избы пошел. Кто о военных делах заговорил. А меня взяли трое или четверо за бока и повели во двор. И велели встать к стенке.

Я, помню, им говорю:

— Во дворе не стоит. Зачем, товарищи, двор гадить? После,— я говорю,— мужику противно будет. Вы где-нибудь в стороне, чистоплотно...

— Ладно,— говорят.— Ставай. Некогда чистоплотничать.

Я говорю:

— Ну что ж... Я разденусь.

— Не надо,— отвечают.

— Что ж,— я говорю,— значит, одеже пропадать? Нет, это так не годится... Лучше, ребята, я вам свою одежу отдам. У меня,—я говорю,— сапоги отличные. Спиртовые! А?

— Не надо,— говорят.— Не желаем англицких сапог. Пущай в них Антанта ходит.

— Дурни вы! — говорю.— Антанта! Сами вы — Антанта! Так это ж,— я говорю,— не английские сапоги. Это московские. Это — фабрика «Богатырь».

Сажусь я скорей на землю и тащу с себя эти самые богатырские сапоги.

— Нате,— говорю,— ребята, носите на вечную память.

Кидаю им сапоги. Разматываю портянку.

И — что вы думаете? Ну, этого мне не забыть! Я вижу в своей изодранной, потной портянке какой-то клочок. Какой-то бумажный комочек. И что-то на нем написано.

Я развернул его и вижу — буквы. Но что это были за буквы — в то время я не знал.

Я говорю:

— Ну-ка, ребята... Я неграмотный. Прочтите, чего тут написано.

Они говорят:

— Чего нам читать. Нечего нам читать. Вставай к стенке!

Я говорю:

— Да что вам, жалко, что ли?.. Успею я к стенке встать. Прочтите, чего тут сказано. Может быть, тут что-нибудь важное сказано...

Ну, один нашелся, который зажег спичку и стал читать. Стал шевелить губами и составлять буквы. Потом говорит:

— Тут написано в общем *«хайло»*.

— Как? — я говорю.— Какое *хайло*?

— Да,— говорит,— *хайло*.

Другой подошел. Третий. Стали читать.

— Да,— говорят.— В общем, *«нуми... хайло... К. К...»*.

Потом говорят:

— Подозрительно все-таки. Тут и печатка была пришлепнута... Давайте,— говорят,— ребята, позовем Белопольского.

Пошли в избу. Через секунду возвращаются с комиссаром. Комиссар — в кавказской рубахе — ругается.

— Что еще,— говорит,— за хайло? А ну, покажите.

Берет, я помню, рваную, мятую мою бумажку и, помню, читает:

— *«...ну Михайловичу Буденному... арму Первой Конной... штаб шестой дивизии РККА»*.

Ну — тут что было — можно и не говорить.

Комиссар Белопольский за голову схватился.

— Что это?— говорит.— Что это такое?!

Я говорю:

— А это все, что от пакета осталось. Который я вез в Луганск. К Буденному. А остальное,— я говорю,— я сшамал.

Ах, что тут было!

Комиссар Белопольский кричит:

— Отставить! Приговор отменяется!

Потом он подходит ко мне, нагибается и хватает меня за плечо.

— Товарищ,— говорит,— извини! Чуть к богу в рай не послали.

Я говорю:

— Ничего. Пожалуйста. Дайте мне лошадь, я к Буденному поскачу. У меня,— говорю,— к нему очень важные оперативные сводки.

А сам, понимаете, и с земли встать не могу. Сижу на земле без сапог и портянками пот с лица вытираю. Упрел, понимаете... Упреешь!

Через пять минут у ворот тачанка гремит. На паре. Кони такие чудные, так и бьются,— прямо копытами землю роют.

Меня положили в тачанку. Сеном всего обклали. Тепло, мягко...

Я, помню, глаза чуть-чуть призакрыл и слышу — товарищ Белопольский командует:

— В Луганск, до штаба командарма Буденного.

Тогда я голову поднимаю.

— Послушайте,— говорю,— и Зыкова тоже положьте.

И Зыкова принесли и положили рядом со мной. Пихнул я его, помню, головой в бок. Молчит. Ни бум-бум. Как дерево.

Тут кучер мой захлопал кнутом, тачанка дернулась, и я потерял память. Заснул, одним словом.

И, помню, вижу я сон.

Будто стоим мы в городе Елизаветграде. Будто у меня новые сапоги. И будто я покупаю у Ваньки Лычкова, нашего старшины, портянки. Будто он хочет за них осьмую махорки и сахару три или четыре куска. А я даю полторы пайки хлеба и больше ни хрена, потому что махры у меня нет. Я некурящий. И будто мне очень хочется купить портянки. Понимаете, они такие особенные. Мягкие. Из господского полотенца.

Я говорю:

— Полтора фунта я дам. Хлеб очень хороший. Почти свежий.

А Лычков говорит:

— Нет... К богу!..

Ну, я не помню, на чем мы с ним сторговались, но все-таки я их заимел. Я их купил, эти портянки. И стал наматывать на ноги.

Мотаю их тихо, спокойно, а тут вдруг товарищ Заварухин идет. Идет он будто и пуговицы на гимнастерке считает. И так говорит:

— Трофимов! До нашего сведения дошло, что ты на ногах имеешь мозоли. Это верно?

— Так точно,— говорю.— Есть маленькие.

— Ну вот,— говорит,— наш Особый отдел решил тебя по этому поводу расстрелять.

Я говорю:

— Как хотите, товарищ Заварухин. Это,— я говорю,— товарищ Заварухин, ваше личное дело. Можете расстреливать.

И начинаю, понимаете, тихо, спокойно разматывать свои портянки. Сымаю портянки и думаю:

— Н-да! Бывает в жизни огорченье...

А тут я проснулся.

Лежу в тачанке. Тачанка стоит почему-то. Темно. Мост какой-то или застава. Мой кучер сидит на передке и курит.

А рядом Зыков. Хрипит мой Зыков из последних сил, и все лицо у него, подумайте, в крови. Из виска так и булькает. Так и клекочет.

Хотел я подняться и кучеру сказать, чтобы чего-нибудь с ним сделали, но мне так страшно стало, что я обратно без памяти упал. И заснул.

А второй раз проснулся уже в другом месте.

Лежу я в мягкой постели. Над головой у меня лампочка тихо горит. На животе чего-то лежит горячее, пузырь какой-то, а рядом на стуле сидит такой рыжеватый дядя в белом переднике.

Я говорю:

— Ты кто, рыжий?

Он говорит:

— Я доктор.

— А я?

— А ты в лазарете. Ты больной. Лежи, пожалуйста, и не двигайся. У тебя только что в желудке нашли сургуч, чернила и еще кое-что.

Я говорю:

— Так. А бумагу нашли?

— Да,— говорит,— очень много.

Я говорю:

— Всё поняли?

— Что?— говорит.

Я говорю:

— Всё разобрали, что там написано было? Или что-нибудь смылось?

— Да нет,— говорит.— Эта бумага превратилась в сплошную массу.

— Жалко,— я говорю.

Он говорит:

— А тебе теперь нужно лечиться. Тебе нужно серьезно и долго лечить свой живот. На вот,— говорит,— скушай, пожалуйста, на всякий случай пирамидону.

Я съел. Он посидел, поправил пузырь и ушел.

Я повернул голову. Поглядеть, что тут такое происходит. И вижу — лежат больные. Спят. Кое-кто стонет. Кто-то бормочет во сне...

А через две койки от меня, у самой печки, вижу — знакомая морда.

Представьте себе: Зыков!

Но только — что он делает?

Башка у него забинтована. Один нос торчит. А он, этот Зыков, свесился с койки и чего-то на полу делает. Что-то пихает в щелку.

Я говорю:

— Зыков!

Он свои полбашки поднял и говорит:

— А?

Я говорю:

— Чего,— говорю,— ты там делаешь?

— Я?

— Ну да,— говорю.— Ты!

— А я,— говорит,— это пирамидон туды пихаю. Мне,— говорит,— понимаешь, он до чертовой матери надоел. Пирамидоном,— говорит,— наверное, во всех армиях лечут. Я думаю, доктора еще до рождества Христова солдат пирамидоном кормили.

— Чудак!— говорю.

Потом говорю:

— Ты жив?

— А то нет?— говорит.

Я говорю:

— Рад?

— А то нет?— говорит.— Чучело тамбовское!..

Ну, хотел я его как следует обругать, хотел даже в него подушкой кинуть, но вдруг ослаб, ослаб, понимаете, задрожал и тюкнулся на эту самую подушку. И заснул.

А проснулся от солнца. Это уж утром было. Горячее солнце хлещет мне прямо в глаза. Я отворачиваюсь, помню, повертываю голову и вдруг вижу — знакомое лицо.

Такой невысокий, плечистый дядя с усами стоял в дверях и смотрел на меня.

Понимаете, я его сразу узнал. Хоть и не видел ни разу, а узнал.

«Ох,— думаю,— братишка наш Буденный! Какой ты с усам...»

А он подходит к моей койке, снимает свой громоотвод и говорит:

— Ну, здорово!

Я приподнялся немного и говорю:

— Товарищ Буденный...— Я поперхнулся даже.— Товарищ Буденный! Особый отряд товарища Заварухина окружен неприятелем. Слева,— я говорю,— теснит Шкуро. Справа теснит Мамонтов. Нет,— говорю,— слева Мамонтов... Слева,— я говорю,— Улагай... Извиняюсь,— говорю,— справа Улагай...

Я забыл. У меня в башке, понимаете, все спуталось. Я замолчал. И лег.

А товарищ Буденный, помню, положил мне на лоб ладошку и говорит:

— Жар начинается. Необходимо поставить компресс.

Но я тут вспомнил чего-то, поднялся опять через силу и говорю:

— Товарищ Буденный! Позвольте вам познакомить моего друга — Василий Семеныч Зыков. Первый герой на земном шаре.

Смеется Буденный и говорит:

— Это который герой?

— А тот,— я говорю,— у которого полбашки завязано. Вота он вам улыбается.

— Ага,— говорит.

И пошел к зыковской койке.

Ну, как они там познакомились, я не помню. Проще сказать, я не видел. Я спал.

А через две недели я вышел из лазарета и поехал обратно в дивизию.

А потом зима наступила. И под самый Новый год — мне из Москвы подарок: орден Красного Знамени.

За что?— вы подумайте...

1931

РУВИМ ФРАЕРМАН

СКВОЗЬ БЕЛЫЙ ВЕТЕР

Рассказ

I

Июль 1918 года был особенно жаркий. В порту маленького дальневосточного городка, Николаевска-на-Амуре, как всегда летом, пахло свежей рыбой, брусникой и пароходным дымом. У китайских лавчонок на одеялах, разостланных тут же в пыли на тротуарах, сушились трепанги[1]. Корейцы в белых одеждах и высоких соломенных шляпах продавали пучки морской капусты, пахнущей илом и йодом. Из черных тупоносых шампонок[2] у пристани сахалинские рыбаки выгружали прямо на камни свежую кету. Рыбы еще трепетали, и некоторые падали обратно в воду, засоренную щепками и шелухой китайских бобов. Одни собаки кидались за ними в воду, скользя по мокрым камням, другие вместе с мальчишками таскали рыбу прямо из кучи. Рыбаки относились к этому с каким-то равнодушием, в котором было гораздо больше отчаяния, чем беспечности.

— А-а, пропадай всё пропадом!

Рыбаки были злы. Цены на рыбу за последние дни страшно упали. Мелкие хищники, узнав о готовящемся приходе японских войск, скупали рыбу у бедных артелей и рыбаков за гроши. Крупные промышленники, притихшие было на время, снова появились на своих рыбалках, оттесняя рыбацкие артели от богатых тоней. Все это делалось несмотря на то, что над штабом красной гвардии, на большой улице, висел еще красный флаг. Но все знали, что завтра его снимут.

В портовых мастерских было сумрачно, тихо. Рабочие хмуро слонялись между станками. Утром пришел в мастерские из штаба Красной гвардии последний красногвардеец Митька Коренев. Он оставил штаб пустым,

---

[1] Трепанги — мелкие морские животные, употребляемые в пищу.

[2] Шампонка — небольшая лодка.

с выбитыми стеклами. Из дверей мастерских был виден Амур, серо-желтый, с мелкими волнами, по которым прыгало солнце. На противоположном берегу огромная сопка, поросшая хвойником и брусникой, бросала длинную тень на реку. На рейде, где кончалась эта тень, виднелся японский крейсер. Его косые трубы белели свежей краской и серый нос был хищно повернут к городу.

Вчера группа белых офицеров, переодетых грузчиками, стреляла по крыше японского консульства, чтобы вызвать десант. Вечером городская дума, состоящая из местных промышленников и эсерствующих интеллигентов, послала на крейсер делегацию во главе с правым эсером Карпенко и миллионером Люри просить японцев избавить город от большевиков и красной опасности. Им обещали...

Рыбаки молча выгружали кету. Не крепкий, верховой ветер колебал мачты шампонок и шхун. Плескалась река. Чайки падали в воду, словно клочья разорванных прокламаций. Пахло жженой хвоей. Где-то на дальних сопках горела тайга.

У дверей мастерских хмуро толкались рабочие... Было известно, что во Владивостоке японский десант, чехи взяли Никольск-Уссурийский, в Хабаровске атаман Калмыков, а в Чите атаман Семенов. Многие из рабочих в эту ночь спали неспокойно. Кое-кто из местных большевиков собирался уйти в подполье. Но город был так мал, что для этого приходилось покинуть его. Зато кругом было «подполье», обширное, как мир, — тысячеверстная тайга, сопки, глухие рыбалки и прииски.

На рассвете японцы высадили десант. Никто не встретил их шлюпок, полных морской пехоты. Лишь утром обыватели увидели на перекрестках плоские штыки и желтые гетры японских солдат. Лица их были так же желты, как и гетры. В этот день портовые рабочие и грузчики слышали частые окрики:

— Э! Боршевик!

Начались аресты. В полдень по Большой улице прошлись два офицера в погонах. На собственном рысаке промчался Люри с лицом озабоченным, но довольным. Негоцианты и лавочники стояли у магазинов, сдвинув шляпы на затылок. Японские матросы в круглых шапочках слонялись по базару, гоняясь за китайцами, торгующими бобами и сладостями. Это веселило проституток с Фонарной улицы. Они были сегодня в праздничных кимоно с огромными бантами на спине.

В порту было тихо. Между пароходами на рейде носился катерок, пугая мотором чаек. Скрипели у пристани рыбацкие лодки. Уходили шампонки, подняв свои пестрые квадратные паруса.

Осенняя путина еще не кончилась, и на крупных промыслах Люри и других промышленников появились приказчики в галстуках и резиновых макинтошах, срочно восстанавливали заездки — это истинное бедствие для рыбацких артелей и бедных рыбаков. Заездки — это способ ловли, которым пользуются крупные рыбопромышленники на своих промыслах. Река или берег моря в том месте, где проходит рыба, перегораживается особым частоколом. Рыба попадает туда, как в мешок, и не в состоянии пробраться выше. Так что вся добыча остается у богатых промышленников.

Так началась черная ночь японской интервенции, более страшная и долгая, чем полярные ночи, хорошо знакомые амурским приискателям.

Эта ночь длилась почти два года. За это время реалисты—великовозрастные юноши из местных купеческих семейств, молодые чиновники и десятка два интеллигентов научились маршировать на плацу под командой поручика Токарева. Они выглядели не совсем привлекательно в старых солдатских шинелях, добытых из артиллерийских пакгаузов, и в бескозырках с кокардами. Но зато они служили Колчаку и восстанавливали «великую и неделимую Россию». Для их юных сердец это была большая честь, тем более что стрелять почти не приходилось. Этим делом занималась контрразведка под руководством гвардейского офицера фон дер Лауница. Он был блестящ, как подобает гвардейцу, и жесток, как подобает палачу. Заподозренных в большевизме рабочих он избивал и расстреливал собственноручно. И, как рассказывают, не проявлял при этом излишней горячности. Это спокойствие доставалось ему, конечно, не благодаря той сотне реалистов в артиллерийских бескозырках, которые маршировали перед казармами, а исключительно благодаря тому, что в городе и крепости стояли батальоны экспедиционных войск. Их ручные пулеметы, меховые шлемы, тулупчики без рукавов и ватные стеганые штаны можно было видеть повсюду.

Но с некоторых пор фон дер Лауниц потерял свое спокойствие. Молодые парни из рыбаков и приисковых рабочих, мобилизованные в белую армию, стали дезертировать. Исчез из портовых мастерских и Митька Коренев. Их нельзя было найти ни в их деревнях, куда

обычно бежит дезертир, ни в китайской слободке, ни близко от города. И, что хуже всего, у Малмы — небольшого рыбацкого села на Амуре — появились красные партизаны. Они обстреляли пароход, идущий с баржей вниз, в Николаевск. Пароход еще не пришвартовался к пристани, когда раздались первые выстрелы. Капитан растерялся. Японский офицер, показавшийся на палубе, был убит. Другому удалось саблей перерубить буксир. Пароход ушел. Но железная баржа, груженная мукой, осталась у партизан. Целую неделю тогда во всех рыбацких семьях пекли сибирские шаньги и пироги с кетой.

С этого началась та упорная борьба с интервентами, которую до самого конца вели амурские рабочие, рыбаки, приискатели под руководством большевиков, и которую они помнят как лучшие героические страницы своей истории.

* * *

Хлюпал дождь по доскам пристани. Над Амуром и сопками качался туман. Какая-то сырая мгла сыпалась с неба. Слова японской команды на катере, топотанье солдатских башмаков о железную палубу, выкрики белых офицеров — все слышалось глухо, отрывочно, точно сквозь стену. Японцы и белые отправляли экспедицию в тайгу. По неточным сведениям, не то за Циммермановкой, не то ниже находился партизанский отряд.

Огромный морской катер без гудка отчалил от пристани, повернул направо и пошел вверх по реке. Дым, мешаясь с туманом, садился за кормой на воду. На палубе в чехлах мокли под дождем пулеметы. В кубрике японские солдаты, сидя на корточках, сосали свою утреннюю порцию шоколадных ирисок. Белогвардейцы скучали. До партизан было еще далеко, и ехать пришлось долго. За это время небо успело проясниться. На мысах под сопками волновалась мокрая и черная тайга.

К деревне катер подходил в полдень, когда небо было совершенно чистое и ветреное. Настя Колбановская заметила его еще издали, как только он показался из-за мыса. За этот год она научилась хорошо различать красные околыши японских шапок, и она имела зоркие глаза, какие полагается иметь дочери бедного амурского рыбака. В первую минуту она подумала о себе — «хорошо бы спрятаться». Потом подумала о Митьке Кореневе (она думала о нем чаще, чем сама того хотела) и

затем уже о своих двух братьях, которые вместе с ним стоят в партизанском отряде под Голубиной сопкой. Ей надо было сначала вернуться в деревню. Но она была молода и неосторожна. Она побежала вперед по берегу к болоту, поросшему черемшой, за которым начинается Голубиная сопка. Ее платочек из красной китайской дабы[1] был хорошо виден с катера, тем более что майор Цукамото не отрывал бинокля от глаз. Она успела не только сбегать в отряд под сопку, но и вернуться назад в деревню, где мальчишки уже тревожно кричали под окнами: «Японцы идут!»

Настя вбежала в избу. Она немного запыхалась. Щеки, уши, шея горели. Она сняла платок, засучила рукава и подставила лицо под рукомойник. Воды там не оказалось. Она вылила остатки из ведра и наконец умылась. Мать ворчала, что никогда нет воды в доме, что ей, старухе, приходится таскать тяжелые ведра с Амура и что вообще когда наконец придет погибель на всех глупых девок. Так привычно было это ворчанье, что Настя не заметила даже, как мать надела ее платок и, громыхнув в дверях пустым ведром, вышла на улицу.

Катер стоял уже у берега. И первым, что увидел Цукамото, поднимаясь с солдатами в гору к деревне, был тот самый красный платок, за которым он следил в бинокль. Старуху задержали. Сварливая, вспыльчивая по характеру, она отбивалась от солдат пустым ведром, наделав много шуму и смеха. Но когда Цукамото донесли, что красный отряд, кем-то предупрежденный, скрылся дальше в сопки, он перестал смеяться над старухой и сказал по-японски унтер-офицеру: «Удавить ее».

Напрасно бабы принесли Цукамото двадцать таких красных платков из китайской дабы, столь любимой гольдами и амурскими рыбачками. Цукамото качал головой. Он был разъярен. Он возлагал кое-какие надежды на эту экспедицию. Ему достаточно надоело называться господином майором. Многие из его сверстников уже в подполковниках. На секунду в голове майора мелькнула мысль, что вряд ли старуха могла так быстро бегать, как он видел это в бинокль. Но кто их знает, этих ужасных «боршевиков»!..

Кругом стояли рыбаки, сумрачные и страшные в своих огромных сапогах, с бледными бородатыми лицами.

И Цукамото повторил:

---

[1] **Даба** — бумажная ткань.

— Удавить ее. Боршевик!

Настя кричала, плакала и что-то пыталась сказать. Но мать вдруг глянула на нее строгими понимающими глазами, побелевшими от ужаса. Настя села на землю и, закрыв лицо руками, уткнулась в пыль.

Старуху потащили к пустому сараю. Ее удавили проволокой — по японскому обычаю казни, — и белогвардеец с молодым лицом и трясущимися руками помогал японским солдатам.

Потом убили Андрюшу Сочинского, у которого нашли обойму с патронами. Затем били еще кого-то, допрашивали и в шесть часов вечера подожгли деревню с двух концов. Катер не уходил, пока вся деревня не сгорела. Дым тянуло на Амур. Отраженное пламя качалось на волнах. От этого вода казалась горячей и зловещей. Всю ночь не спали чайки.

За час перед рассветом пожар заглох. Катер отошел. На пулеметы вновь надели чехлы. Солдатам роздали по лишней порции галет и ирисок. Цукамото стоял на носу. Когда вышли на середину, он закурил последнюю перед сном сигарету, сплюнул за борт и неожиданно вздрогнул. Вся река была полна злых, колючих, незнакомых звезд. Их было много, и почему-то они напоминали Цукамото бородатых рыбаков, оставшихся на берегу у сгоревшей деревни. «Какое странное сравнение может прийти в голову!» — подумал он и ушел в каюту расстроенный.

II

Через полгода, зимой, Цукамото еще раз вспомнил об этих звездах. Они отражались в глазах мертвых солдат. Красные партизаны стояли кольцом вокруг крепости и города. Цукамото с тремя ротами находился в крепости, комендантом которой он был лишь недавно назначен. Связи с городом не было. Люди мерзли в казармах, так как не было возможности привезти за полверсты из тайги дрова. Всюду, всюду были эти «боршевики». И накануне начался буран. Казалось, что тайфун, настигший в море, не столь страшен. Белая гудящая мгла разрывала снежную землю и небо. Ветер был тверд, пронзителен и поражал точно ядрами. Из носу шла кровь, словно люди поднимались на страшную высоту. Пришлось увести наружные караулы с фортов. Солдаты замерзали через пять минут. Так длилась пурга, то усиливаясь, то стихая, три дня. И когда она кончилась, верхний сектор

крепости был в руках партизан. В последнюю ночь, когда пурга ослабла, сто красных лыжников в белых халатах, перейдя Амур, поднялись на главный форт. Среди них был Митька Коренев и много старых артиллеристов из красногвардейцев, которые в тот знойный июль, покидая крепость, спрятали замки от орудий и снаряды. Теперь они всю ночь под снежным ветром, вызывающим судорогу, возились с орудиями, глухо стуча молотками. К рассвету тяжелые «виккерсы» были заряжены и повернуты на минный городок, где сидели японцы. Там над длинными казармами медленно занималась желтая ветреная заря. Ее встретили шестидюймовым снарядом, который ударил в угол японских казарм.

Цукамото понял все. Боясь засады на дороге, он вывел все роты на Амур и двинулся целиной к городу. Снег уже не падал... Но густой морозный туман, сверкавший, как море, не поддавался ветру. Желтые шлемы солдат были обернуты полотенцами, полушубки вывернуты белой овчиной вверх. Можно было незамеченными пройти эти пять-шесть верст до города. Но ветер! Он вдавливал глаза внутрь. Многие их держали все время закрытыми.

Город был уже близко. Можно было видеть железные баржи у пристани и цепь японских и белогвардейских окопов. Тогда случилось то, чего не ожидал Цукамото. Белые приняли их за наступающих партизан. По всей цепи начался частый огонь. Цукамото и солдаты легли на лед. Прошло полчаса, а стрельба не прекращалась. Внизу на льду шуршал и звенел снег, ударяясь о пряжки и дула винтовок. Мертвели губы, леденели слезы на глазах, их приходилось отрывать вместе с ресницами. Раненых терли снегом, и все же они замерзали. Кто-то из младших офицеров предложил с боем ворваться к своим. Но Цукамото недаром прошел военную немецкую школу. Он подполз к Симото, самому высокому солдату первой роты, и сказал:

— Встань, эй ты, труба фабричная.

Тот сидел неподвижно на снегу, засунув под язык помороженные пальцы. На его темно-желтом лице южанина виднелись уже белые пятна.

— Ты спишь, кули проклятый! — Цукамото ударил его кулаком по лицу. Симото с трудом улыбнулся замерзшими губами. Он не знал, что может быть так приятно, когда бьют. Тогда Цукамото вынул браунинг. Симото поднялся, не чувствуя ни пальцев на ногах, ни пяток. Он был действительно высок, словно не японец, вы-

ше Цукамото на три головы. Ему подали японский флаг. Побелевшие руки не держали его.

— Сложи их, как Будда, — сказал Цукамото и просунул древко под скрещенные руки Симото. — Иди к городу. Не прячься от пуль, а выбирай самые высокие места и кричи: «Банзай, японцы». Если придешь, то скажешь первому, что здесь японцы, а не большевики.

Симото пошел по гребням сугробов, кланяясь ветру. Слева всходило солнце, туман по-прежнему качался над головой. Симото хотелось плакать, ибо этой весной кончается срок его службы. Он думал вернуться в Кочи, где близ моря родился и работал на табачной фабрике. Странно, что лучший друг Симото, хромой Хигучи, тоже называл его фабричной трубой. Что за несчастье быть высоким!

Когда Симото отправился в Сибирь, Хигучи на прощанье угостил его в портовом кабачке теплым сакэ и китайскими трепангами.

— Мне жаль тебя, Симото, — сказал Хигучи, — тебя отправляют в Россию воевать с людьми, которые делают для нас, рабочих, хорошее дело.

И он долго рассказывал ему о Катаяме и еще об одном человеке, чье незнакомое имя Симото смутно запомнил тогда — Ленин.

— Я понимаю, Хигучи, — ответил он, — что нашему брату хорошо, то всегда хорошо.

Навеселе немного после сакэ они бродили потом обнявшись по портовым улицам и пели песню, за которую их чуть было не арестовали жандармы.

Симото вспомнил об этом, потому что думал о Хигучи. Он не чувствовал себя виноватым. Ни одного выстрела не сделал он в этой стране. И он знал даже некоторых из этих удивительных «боршевиков», для которых ничто не препятствие: ни мертвый ветер, убивающий его, Симото, ни снег, по которому они бегают быстрее рикшей, ни пушки, которые они поворачивают, куда им надо.

Симото медленно шел по сугробам. Ветер относил в сторону свист пуль. Казалось, что стреляют и сзади. Симото с трудом оглянулся. Он удивился, что так мало прошел, Цукамото, целящийся в него из винтовки, был хорошо виден. И Симото вспомнил, что надо кричать. Тогда он открыл рот и, обжигая легкие студеным ветром, запел ту самую песню, которую пел с Хигучи в порту. Туман был реже. Древко знамени сползало из застывших рук к ногам. В плече мучительно жгло. Си-

мото зацепился о древко и упал — замерзающий, уже близкий к кончине. Туман исчез, стало жарко. И Симото увидел синие воды Тазанады. А на волне, глотая селедку, качался бронзово-черный баклан[1]. Пахло ирисами и морской капустой. И Симото казалось, что он все еще поет.

Выстрелы прекратились. Кто-то поднял знамя, а Симото остался лежать, как и другие, кто не успел дойти до барж.

Цукамото видел его потом среди партизан в красном штабе, когда приезжал туда от японского командования. Симото был без пальцев, с черным обмороженным лицом, и девушка в знакомом красном платочке вертелась тут же.

Цукамото прочитал вслух условия мирного соглашения, по которым японцы сдавали партизанам город. Это были тяжелые условия, и для Цукамото, который считал себя истинным самураем и к тому еще имел крупную партию акций одной здешней рыбопромышленной компании, эти условия казались вдвое тяжелей. Но в тот момент он почувствовал ужас перед этими оборванными бородатыми «боршевиками», пахнущими холодным ветром. И чтобы не видеть их, не видеть страшного лица Симото, он низко поклонился, коснувшись руками колен и закрыв глаза, потом взял перо и сказал впервые за эти два года:

— Модзно.

1931

---

[1] Баклан — морская птица.

АРКАДИЙ ГАЙДАР

Р. В. С.

Повесть

I

Раньше сюда иногда забегали ребятишки затем, чтобы побегать и полазить между осевшими и полуразрушенными сараями. Здесь было хорошо.

Когда-то немцы, захватившие Украину, свозили сюда сено и солому. Но немцев прогнали красные, после красных пришли гайдамаки, гайдамаков прогнали петлюровцы, петлюровцев — еще кто-то. И осталось лежать сено почерневшими, полусгнившими грудами.

А с тех пор как атаман Криволоб, тот самый, у которого желто-голубая лента пересекала папаху, расстрелял здесь четырех москалей и одного украинца, пропала у ребятишек всякая охота лазить и прятаться по заманчивым лабиринтам. И остались стоять черные сараи, молчаливые, заброшенные.

Только Димка забегал сюда часто, потому что здесь как-то особенно тепло грело солнце, приятно пахла горько-сладкая полынь и спокойно жужжали шмели над широко раскинувшимися лопухами.

А убитые?.. Так ведь их давно уже нет! Их свалили в общую яму и забросали землей. А старый нищий Авдей, тот, которого боится Топ и прочие маленькие ребятишки, смастерил из двух палок крепкий крест и тайком поставил его над могилой. Никто не видел, а Димка видел. Видел, но не сказал никому.

В укромном углу Димка остановился и внимательно осмотрелся вокруг. Не заметив ничего подозрительного, он порылся в соломе и извлек оттуда две обоймы патронов, шомпол от винтовки и заржавленный австрийский штык без ножен.

Сначала Димка изображал разведчика, то есть ползал на коленях, а в критические минуты, когда имел основание предполагать, что неприятель близок, ложился на землю и, продвигаясь дальше с величайшей осторожностью, высматривал подробно его расположение. По

счастливой случайности или еще почему-то, только сегодня ему везло. Он ухитрялся безнаказанно подбираться почти вплотную к воображаемым вражьим постам и, преследуемый градом выстрелов из ружей, из пулеметов, а иногда даже из батарей, возвращался невредимым в свой стан.

Потом, сообразуясь с результатами разведки, высылал в дело конницу и с визгом врубался в самую гущу репейников и чертополохов, которые геройски умирали, не желая, даже под столь бурным натиском, обращаться в бегство.

Димка ценит мужество и потому забирает остатки в плен. Затем, скомандовав «стройся» и «смирно», он обращается к захваченным с гневной речью:

— Против кого идете? Против своего брата рабочего и крестьянина? Генералы вам нужны да адмиралы...

Или:

— Коммунию захотели? Свободы захотели? Против законной власти...

Это в зависимости от того, командира какой армии в данном случае изображал он, так как командовал то одной, то другой по очереди. Он так заигрался сегодня, что спохватился только тогда, когда зазвякали колокольчики возвращающегося стада.

«Елки-палки! — подумал он. — Вот теперь мать задаст трепку, а то и поесть, пожалуй, не оставит». И, спрятав свое оружие, он стремительно пустился домой, раздумывая на бегу, что бы соврать такое получше.

Но, к величайшему удивлению, нагоняя он не получил и врать ему не пришлось.

Мать почти не обратила на него внимания, несмотря на то что Димка чуть не столкнулся с ней у крыльца. Бабка звенела ключами, вынимая зачем-то старый пиджак и штаны из чулана.

Топ старательно копал щепкой ямку в куче глины.

Кто-то тихонько дернул сзади Димку за штанину. Обернулся — и увидел печально посматривающего мохнатого Шмеля.

— Ты что, дурак? — ласково спросил он и вдруг заметил, что у собачонки рассечена чем-то губа.

— Мам! Кто это? — гневно спросил Димка.

— Ах, отстань! — досадливо ответила та, отворачиваясь. — Что я, присматривалась, что ли?

Но Димка почувствовал, что она говорит неправду.

— Это дядя сапогом двинул, — пояснил Топ.

— Какой еще дядя?

— Дядя... серый... он у нас в хате сидит.

Выругавши «серого дядю», Димка отворил дверь. На кровати он увидел здорового детину в солдатской гимнастерке. Рядом на лавке лежала казенная серая шинель.

— Головень! — удивился Димка. — Ты откуда?

— Оттуда, — последовал короткий ответ.

— Ты зачем Шмеля ударил?

— Какого еще Шмеля?

— Собаку мою...

— Пусть не гавкает. А то я ей и вовсе башку сверну.

— Чтоб тебе самому кто-нибудь свернул! — с сердцем ответил Димка и шмыгнул за печку, потому что рука Головня потянулась к валявшемуся тяжелому сапогу.

Димка никак не мог понять, откуда взялся Головень. Совсем еще недавно забрали его красные в солдаты, а теперь он уже опять дома. Не может быть, чтоб служба у них была такая короткая.

За ужином он не вытерпел и спросил:

— Ты в отпуск приехал?

— В отпуск.

— Вот что! Надолго?

— Надолго.

— Ты врешь, Головень! — убежденно сказал Димка. —Ни у красных, ни у белых, ни у зеленых надолго сейчас не отпускают, потому что сейчас война. Ты дезертир, наверно.

В следующую же секунду Димка получил здоровый удар по шее.

— Зачем ребенка бьешь? — вступилась Димкина мать. — Нашел с кем связываться.

Головень покраснел еще больше, взмахнул своей круглой головой с оттопыренными ушами (за нее-то он и получил кличку) и ответил грубо:

— Помалкивайте-ка лучше... Питерские пролетарии... Дождетесь, что я вас из дома повыгоню.

После этого мать как-то съежилась, осела и выругала глотавшего слезы Димку:

— А ты не суйся, идол, куда не надо, а то еще и не так попадет.

После ужина Димка забился в сени, улегся на груду соломы за ящиками, укрылся материной поддевкой и долго лежал не засыпая. Потом к нему тихонько пробрался Шмель и положил голову на плечо.

— Уедем, мам, в Питер, к батьке.

— Эх, Димка! Да я бы хоть сейчас... Да разве проедешь теперь? Пропуски разные нужны, а потом и так— кругом вон что делается.

— В Питере, мам, какие?

— Кто их знает! Говорят, что красные. А может, врут. Разве теперь разберешь?

Димка согласился, что разобрать трудно. Уж на что близко волостное село, а и то не поймешь, чье оно. Говорили, что занял его на днях Козолуп... А что за Козолуп, какой он партии?

И он спросил у задумавшейся матери:

— Мам, а Козолуп зеленый?

— А пропади они все, вместе взятые! — с сердцем ответила та. — Все были люди как люди, а теперь поди-ка...

...В сенцах темно. Сквозь распахнутую дверь виднеются густо пересыпанное звездами небо и краешек светлого месяца. Димка зарывается глубже в солому, приготавливаясь видеть продолжение интересного, но не досмотренного вчера сна. Засыпая, он чувствует, как приятно греет шею прикорнувший к нему верный Шмель...

В синем небе края облаков серебрятся от солнца. Широко по полям желтыми хлебами играет ветер, и лазурно-покоен летний день. Неспокойны только люди. Где-то за темным лесом протрещали раскатисто пулеметы. Где-то за краем перекликнулись глухо орудия. И куда-то промчался легкий кавалерийский отряд.

— Мам, с кем это?

— Отстань!

Отстал Димка, побежал к забору, взобрался на одну из жердей и долго смотрел вслед исчезающим всадникам.

Между тем Головень ходил злой. Каждый раз, когда через деревеньку проходил красный отряд, он скрывался где-то. И Димка понял, что Головень дезертир.

Как-то бабка послала Димку отнести Головню на сеновал кусок сала и ломоть хлеба. Подбираясь к укромному логову, он заметил, что Головень, сидя к нему спиной, мастерит что-то. «Винтовка! — удивился Димка. — Вот так штука! На что она ему?»

Головень тщательно протер затвор, заткнул ствол тряпкой и запрятал винтовку в сено.

Весь вечер и несколько следующих дней Димку разбирало любопытство посмотреть, что за винтовка: «Русская или немецкая? А может, там и наган есть?»

Как раз в это время утихло все кругом. Прогнали красные Козолупа и ушли дальше на какой-то фронт. Тихо и безлюдно стало в маленькой деревушке, и Головень начал покидать сеновал и исчезать где-то подолгу. И вот как-то под вечер, когда лягушиными песнями зазвенел порозовевший пруд, когда гибкие ласточки заскользили по воздуху и бестолково зажужжала мошкара, решил Димка пробраться на сеновал.

Дверца была заперта на замок, но у Димки был свой ход через курятник. Заскрипела отодвигаемая доска, громко заклохтали потревоженные куры. Испугавшись произведенного шума, Димка быстро юркнул наверх. На сеновале было душно и тихо. Пробрался в угол, где валялась красная подушка в перьях, и, принявшись шарить под крышей, наткнулся на что-то твердое. «Приклад!» Прислушался: на дворе — никого. Потянул и вытащил всю винтовку. Нагана не было. Винтовка оказалась русской. Димка долго вертел ее, осторожно ощупывая и осматривая. «А что, если открыть затвор?»

Сам он никогда не открывал, но часто видел, как это делают солдаты. Потянул тихонько — рукоятка вверх подается. Отодвинул на себя до отказа. «Умею!»— горделиво подумал он, но тут же заметил под затвором вынырнувший откуда-то желтоватый патрон. Это его немного озадачило, и он решил закрыть снова. Теперь пошло туже, и Димка заметил, что желтый патрон движется прямо в ствол. Он остановился в нерешительности, отодвинув от себя винтовку.

«И куда лезет, черт!»

Однако надо было торопиться. Он закрыл затвор и начал потихоньку толкать ружье на место. Запрятал почти все, как вдруг распахнулась дверь и прямо перед Димкой очутилось удивленное и рассерженное лицо Головня.

— Ты что, собака, здесь делаешь?

— Ничего! — испуганно ответил Димка. — Я спал...— И незаметно двинул ногой в сено приклад винтовки. В тот же момент грохнул глухой, но сильный выстрел. Димка чуть не сшиб Головня с лестницы, бросился сверху прямо на землю и пустился через огороды. Перескочив через плетень возле дороги, он оступился в канаву и, когда вскочил, почувствовал, как рассвирепевший Головень вцепился ему в рубаху.

«Убьет! — подумал Димка. — Ни мамки, никого — конец теперь». И, получив сильный тычок в спину, от ко-

торого черная полоса поползла по глазам, он упал на землю, приготовившись получить еще и еще...

Но... что-то застучало по дороге. Почему-то ослабла рука Головня. И кто-то крикнул гневно и повелительно:

— Не сметь!

Открыв глаза, Димка увидел сначала лошадиные ноги — целый забор лошадиных ног.

Кто-то сильными руками поднял его за плечи и поставил на землю. Только теперь рассмотрел он окружавших его кавалеристов и всадника в черном костюме, с красной звездой на груди, перед которым растерянно стоял Головень.

— Не сметь! — повторил незнакомец и, взглянув на заплаканное лицо Димки, добавил: — Не плачь, мальчуган, и не бойся. Больше он не тронет ни сейчас, ни после. — Кивнул одному головой и с отрядом умчался вперед.

Отстал один и спросил строго:

— Ты кто такой?

— Здешний, — хмуро ответил Головень.

— Почему не в армии?

— Год не вышел.

— Фамилия?.. На обратном пути проверим. — Ударил шпорами кавалерист, и прыгнула лошадь с места галопом.

И остался на дороге недоумевающий и не опомнившийся еще Димка. Посмотрел назад — нет никого. Посмотрел по сторонам — нет Головня. Посмотрел вперед и увидел, как чернеет точками и мчится, исчезая за горизонтом, красный отряд.

II

Высохли на глазах слезы. Утихла понемногу боль. Но идти домой Димка боялся и решил обождать до ночи, когда улягутся все спать. Направился к речке. У берегов под кустами вода была темная и спокойная, посередке отсвечивала розоватым блеском и тихонько играла, перекатываясь через мелкое каменистое дно.

На том берегу, возле опушки никольского леса, заблестел тускло огонек костра. Почему-то он показался Димке очень далеким и заманчиво загадочным. «Кто бы это? — подумал он. — Пастухи разве?.. А может, и бандиты! Ужин варят — картошку с салом или еще что-нибудь такое...» Ему очень хотелось есть. В сумерках огонек разгорался все ярче и ярче, приветливо мигая издалека

мальчугану. Но еще глубже хмурился, темнел в сумерках беспокойный никольский лес.

Спускаясь по тропке, Димка вдруг остановился, услышав что-то интересное. За поворотом, у берега, кто-то пел высоким переливающимся альтом, как-то странно, хотя и красиво разбирая слова:

— Та-ваа-рищи, та-ва-рищи, —
Сказал он им в ответ, —
Да здра-вству-ит
Ра-сия!
Да здра-вству-ит
Совет!

«А чтоб тебе! Вот наяривает!» — с восхищением подумал Димка и бегом пустился вниз.

На берегу он увидал небольшого худенького мальчишку, валявшегося возле затасканной сумки. Заслышав шаги, тот оборвал песню и с опаской посмотрел на Димку:

— Ты чего?

— Ничего... Так!

— А-а! — протянул тот, по-видимому удовлетворенный ответом. — Драться, значит, не будешь?

— Чего-о?

— Драться, говорю... А то смотри! Я даром что маленький, а так отошью...

Димка вовсе и не собирался драться и спросил в свою очередь:

— Это ты пел?

— Я.

— А ты кто?

— Я Жиган, — горделиво ответил тот. — Жиган из города... Прозвище у меня такое.

С размаху бросившись на землю, Димка заметил, как мальчишка испуганно отодвинулся.

— Барахло ты, а не жиган... Разве такие жиганы бывают?.. А вот песни поешь здорово.

— Я, брат, всякие знаю. На станциях по эшелонам завсегда пел. Все равно хоть красным, хоть петлюровцам, хоть кому... Ежели товарищам, скажем, — тогда «Алеша-ша» либо про буржуев. Белым — так тут надо другое: «Раньше были денежки, были и бумажки», «Погибла Расея», ну а потом «Яблочко» — его, конечно, на обе стороны петь можно, слова только переставлять надо.

Помолчали.

— А ты зачем сюда пришел?

— Крестная у меня тут, бабка Онуфриха. Я думал хоть с месяц отожраться. Куды там! Чтоб, говорит, тебя через неделю, через две здесь не было!

— А потом куда?

— Куда-нибудь. Где лучше.

— А где?

— Где? Кабы знать, тогда что! Найти надо.

— Приходи утром на речку, Жиган. Раков по норьям ловить будем!

— Не соврешь? Обязательно приду! — весьма довольный, ответил тот.

Перескочив плетень, Димка пробрался на темный двор и заметил сидевшую на крыльце мать. Он подошел к ней и, потянувши за платок, сказал серьезно:

— Ты, мам, не ругайся... Я нарочно долго не шел, потому Головень меня здорово избил.

— Мало тебе!—ответила она, оборачиваясь.—Не так бы надо...

Но Димка слышит в ее словах и обиду, и горечь, и сожаление, но только не гнев.

Пришел как-то на речку скучный-скучный Димка.

— Убежим, Жиган! — предложил он. — Закатимся куда-нибудь подальше отсюда, право!

— А тебя мать пустит?

— Ты дурак, Жиган! Когда убегают, то ни у кого не спрашивают. Головень злой, дерется. Из-за меня мамку и Топа гонит.

— Какого Топа?

— Братишку маленького. Топает он чудно, когда ходит, ну вот и прозвали. Да и так надоело все. Ну, что дома?

— Убежим! — оживленно заговорил Жиган. — Мне что не бежать? Я хоть сейчас. По эшелонам собирать будем.

— Как собирать?

— А так: спою я что-нибудь. А потом скажу: «Всем товарищам нижайшее почтенье, чтобы был вам не фронт, а одно развлеченье. Получать хлеба по два фунта, табаку по осьмушке, не попадаться на дороге ни пулемету, ни пушке». Тут, как начнут смеяться, снять шапку в сей же момент и сказать: «Граждане! Будьте добры, оплатите детский труд».

Димка подивился легкости и уверенности, с какой Жиган выбрасывал эти фразы, но такой способ существования ему не особенно понравился, и он сказал, что гораздо лучше бы вступить добровольцами в какой-нибудь отряд, организовать собственный или уйти в партизаны. Жиган не возражал, и даже наоборот, когда Димка благосклонно отозвался о красных, «потому что они за революцию», выяснилось, что Жиган служил уже у красных.

Димка посмотрел на него с удивлением и добавил, что ничего и у зеленых, «потому что гусей они едят много». Дополнительно тут же выяснилось, что Жиган бывал также у зеленых и регулярно получал свою порцию, по полгуся в день.

План побега разрабатывали долго и тщательно. Предложение Жигана бежать сейчас же, не заходя даже домой, было решительно отвергнуто.

— Перво-наперво хлеба надо хоть для начала захватить, — заявил Димка, — а то как из дома, так и по соседям. А потом спичек...

— Котелок бы хорошо. Картошки в поле нарыл — вот тебе и обед!

Димка вспомнил, что Головень принес с собой крепкий медный котелок. Бабка начистила его золой и, когда он заблестел, как праздничный самовар, спрятала в чулан.

— Заперто только, а ключ с собой носит.

— Ничего! — заявил Жиган. — Из-под всякого запора при случае можно, повадка только нужна.

Решили теперь же начать запасать провизию. Прятать Димка предложил в солому у сараев.

— Зачем у сараев? — возразил Жиган. — Можно еще куда-либо... А то рядом с мертвыми!

— А тебе что мертвые? — насмешливо спросил Димка.

В этот же день Димка притащил небольшой ломоть сала, а Жиган — тщательно завернутые в бумажку три спички.

— Нельзя помногу, — пояснил он. — У Онуфрихи всего две коробки, так надо, чтоб незаметно.

И с этой минуты побег был решен окончательно.

А везде беспокойно бурлила жизнь. Где-то недалеко проходил большой фронт. Еще ближе — несколько второстепенных, поменьше. А кругом красноармейцы гонялись за бандами, или банды за красноармейцами, или атаманы дрались меж собой. Крепок был атаман Козо-

луп. У него морщина поперек упрямого лба залегла изломом, а глаза из-под седоватых бровей посматривали тяжело. Угрюмый атаман! Хитер, как черт, атаман Левка. У него и конь смеется, оскаливая белые зубы, так же как и он сам. Но с тех пор, как отбился он из-под начала Козолупа, сначала глухая, а потом и открытая вражда пошла между ними.

Написал Козолуп приказ поселянам: «Не давать Левке ни сала для людей, ни сена для коней, ни хат для ночлега».

Засмеялся Левка, написал другой.

Прочитали красные оба приказа. Написали третий: «Объявить Левку и Козолупа вне закона» — и всё. А много им расписывать было некогда, потому что здорово гнулся у них главный фронт.

И пошло тут что-то такое, чего и не разберешь. Уж на что дед Захарий! На трех войнах был. А и то, когда садился на завалинке возле рыжей собачонки, которой пьяный петлюровец шашкой ухо отрубил, говорил:

— Ну и времечко!

Приехали сегодня зеленые, человек двадцать. Заходили двое к Головню. Гоготали и пили чашками мутный крепкий самогон.

Димка смотрел на них с любопытством.

Когда Головень ушел, Димка, давно хотевший узнать вкус самогонки, слил остатки из чашек в одну.

— Ди-мка, мне! — плаксиво захныкал Топ.

— Оставлю, оставлю!

Но едва он опрокинул чашку в рот, как, отчаянно отплевываясь, вылетел на двор.

Возле сараев он застал Жигана.

— А я, брат, штуку знаю.

— Какую?

— У нас за хатой зеленые яму через дорогу роют, а черт ее знает — зачем. Должно, чтоб никто не ездил.

— Как же можно не ездить? — с сомнением возразил Димка. — Тут не так что-то. Не иначе как что-нибудь затевается.

Пошли осматривать свои запасы. Их было еще немного: два куска сала, кусок вареного мяса и с десяток спичек.

В тот вечер солнце огромным красноватым кругом повисло над горизонтом у надеждинских полей и заходило понемногу, не торопясь, точно любуясь широким покоем отдыхающей земли.

Далеко, в Ольховке, приткнувшейся к опушке ни-

кольского леса, ударил несколько раз колокол. Но не тревожным набатом, а так просто, мягко-мягко. И когда густые дрожащие звуки мимо соломенных крыш дошли до ушей старого деда Захария, подивился он немного давно не слыханному спокойному звону и, перекрестившись неторопливо, крепко сел на свое место, возле покривившегося крылечка. А когда сел, то подумал: «Какой же это праздник завтра будет?» И так прикидывал и этак — ничего не выходит. Потому престольный в Ольховке уже прошел, а спасу еще рано. И спросил Захарий, постучавши палкой в окошко, у выглянувшей оттуда старухи:

— Горпина, а Горпина, или у нас завтра воскресенье будет?

— Что ты, старый! — недовольно ответила перепачканная в муке Горпина. — Разве же после среды воскресенье бывает?

— Ото ж и я так думаю...

И усомнился дед Захарий, не напрасно ли он крест на себя наложил и не худой ли какой это звон.

Набежал ветерок, чуть колыхнул седую бороду. И увидел дед Захарий, как высунулись любопытные бабы из окошек, выкатились ребятишки из-за ворот, а с поля донесся какой-то протяжный странный звук, как будто заревел бык либо корова в стаде, только еще резче и дольше: у-о-уу-ууу...

А потом вдруг как хрястнуло по воздуху, как забухали подле поскотины выстрелы... Захлопнулись разом окошки, исчезли с улиц ребятишки. И не мог только встать и сдвинуться напуганный старик, пока не закричала на него Горпина:

— Ты тюпайся швидче, старый дурак! Или ты не видишь, что такое начинается?

А в это время у Димки колотилось сердце такими же неровными, как выстрелы, ударами, и хотелось ему выбежать на улицу, узнать, что там такое... Было ему страшно, потому что побледнела мать и сказала не своим, тихим голосом:

— Ляг... ляг на пол, Димушка. Господи, только бы из орудиев не начали!

У Топа глаза сделались большие-большие, и он застыл на полу, приткнувши голову к ножке стола. Но лежать ему было неудобно, и он сказал плаксиво:

— Мам, я не хочу на полу, я на печку лучше...

— Лежи, лежи! Вот придет гайдамак... он тебе!

В эту минуту что-то особенно здорово грохнуло, так

что зазвенели стекла окошек, и показалось Димке, что дрогнула земля. «Бомбы бросают!» — подумал он и услышал, как мимо потемневших окон с топотом и криками пронеслось несколько человек.

Все стихло. Прошло еще с полчаса. Кто-то застучал в сенцах, изругался, наткнувшись на пустое ведро. Распахнулась дверь, и в хату вошел вооруженный Головень.

Он был чем-то сильно разозлен, потому что, выпивши залпом ковш воды, оттолкнул сердито винтовку в угол и сказал с нескрываемой досадой:

— Ах, чтоб ему!..

...Утром встретились ребята рано.

— Жиган, — спросил Димка, — ты не знаешь, отчего вчера... С кем это?

У Жигана юркие глаза блеснули самодовольно. И он ответил важно:

— О, брат! Было у нас вчера дело...

— Ты не ври только! Я ведь видел, как ты сразу тоже за огороды припустился.

— А почем ты знаешь? Может, я кругом! — обиделся Жиган.

Димка сильно усомнился в этом, но перебивать не стал.

— Машина вчера езжала, а ей в Ольховке починка была. Она только оттуда, а Гаврила-дьякон в колокол: бум!.. — сигнал, значит.

— Ну?

— Ну, вот и ну... Подъехала к деревне, а по ней из ружей. Она было назад, глядь — ограда уже заперта.

— И поймали кого?

— Нет... Оттуда такую стрельбу подняли, что и не подступиться. А потом видят — дело плохо, и врассыпную... Тут их и постреляли. А один убег. Бомбу бросил ря-адышком, у Онуфрихиной хаты все стекла полопались. По нем из ружей кроют, за ним гонятся, а он через плетень, через огороды да и утек.

— А машина?

— Машина и сейчас тут... только негодная, потому что, как убегать, один гранатой запустил. Всю искорежил... Я уж бегал... Федька Марьин допрежь меня еще поспел. Гудок стащил. Нажмешь резину, а он как завоет!

Весь день только и было разговоров, что о вчерашнем происшествии. Зеленые ускакали еще ночью. И осталась снова без власти маленькая деревушка.

Между тем приготовления к побегу подходили к концу.

Оставалось теперь стащить котелок, что и решено было сделать завтра вечером при помощи длинной палки с насаженным гвоздем через маленькое окошко, выходящее в огород.

Жиган пошел обедать.

Димке не сиделось, и он отправился ожидать его к сараям.

Завалился было сразу на солому и начал баловаться, защищаясь от яростно атакующего его Шмеля, но вскоре привстал, немного встревоженный. Ему показалось, что снопы разбросаны как-то не так, не по-обыкновенному. «Неужели из ребят кто-нибудь лазил? Вот черти!» И он подошел, чтобы проверить, не открыл ли кто место, где спрятана провизия. Пошарил рукой — нет, тут! Вытащил сало, спички, хлеб. Полез за мясом — нет!

— Ах черти! — выругался он. — Это не иначе как Жиган сожрал. Если бы кто из ребят, так тот уж все сразу бы.

Вскоре показался и Жиган. Он только что пообедал, а потому был в самом хорошем настроении и подходил, беспечно насвистывая.

— Ты мясо ел? — спросил Димка, уставившись на него сердито.

— Ел! — ответил тот. — Вку-усно...

— Вкусно! — напустился на него разозленный Димка. — А тебе кто позволил? А где такой уговор был? А на дорогу что?.. Вот я тебя тресну по башке, тогда будет вкусно!..

Жиган опешил.

— Так это же я дома за обедом. Онуфриха раздобрилась, кусок из щей вынула, здоро-овый!

— А отсюда кто взял?

— И не знаю вовсе.

— Побожись.

— Ей-богу! Вот чтоб мне провалиться сей же секунд, ежели брал.

Но потому ли, что Жиган не провалился «сей же секунд», или потому, что отрицал обвинение с необыкновенной горячностью, только Димка решил, что в виде исключения на этот раз Жиган не врет.

И, глазами скользнув по соломе, Димка позвал Шмеля, протягивая руку к хворостине:

— Шмель, а ну, поди сюда!

Но Шмель не любил, когда с ним так разговаривали. И, бросив теребить жгут, опустив хвост, он сразу же направился в сторону.

— Он сожрал, — с негодованием подтвердил Жиган. — И кусок-то какой жи-ирный!

Перепрятали все повыше, заложили доской и привалили кирпич.

Потом лежали долго, рисуя заманчивые картины будущей жизни.

— В лесу ночевать возле костра... хорошо!

— Темно ночью только,—с сожалением заметил Жиган.

— А что темно? У нас ружья будут, мы и сами...

— Вот если поубивают... — начал опять Жиган и добавил серьезно: — Я, брат, не люблю, чтоб меня убивали.

— Я тоже, — сознался Димка. — А то что, в яме-то... вон как эти. — И он кивнул головой туда, где покривившийся крест чуть-чуть вырисовывался из-за густых сумерек.

При этом напоминании Жиган съежился и почувствовал, что в вечернем воздухе стало как бы прохладнее.

Но, желая показаться молодцом, он ответил равнодушно:

— Да, брат... А у нас была один раз штука...

И оборвался, потому что Шмель, улегшийся под боком Димки, поднял голову, насторожил уши и заворчал предостерегающе и сердито.

— Ты что? Что ты, Шмелик? — с тревогой спросил его Димка и погладил по голове.

Шмель замолчал и снова положил голову между лап.

— Крысу чует, — шепотом проговорил Жиган и, притворно зевнув, добавил: — Домой надо идти, Димка.

— Сейчас. А какая у вас была штука?

Но Жигану стало уже не до штуки, и, кроме того, то, что он собирался соврать, вылетело у него из головы.

— Пойдем, — согласился Димка, обрадовавшись, что Жиган не вздумал продолжать рассказ.

Встали.

Шмель поднялся тоже, но не пошел сразу, а остановился возле соломы и заворчал тревожно снова, как будто дразнил его кто из темноты.

— Крыс чует! — повторил теперь Димка.

— Крыс? — упавшим голосом ответил Жиган. — А

только почему же это он раньше их не чуял? И добавил негромко: — Холодно что-то. Давай побежим, Димка!.. А большевик тот, что убег, где-либо подле деревни недалеко.

— Откуда ты знаешь?

— Так, думаю! Посылала меня сейчас Онуфриха к Горпине, чтобы взять взаймы полчашки соли. А у нее в тот день рубаха с плетня пропала. Я пришел, слышу из сенец, ругается кто-то. «И бросил, — говорит, — какой-то рубаху под жерди. Мы ж с Егорихой смотрим: она порвана, и кабы немного, а то вся как есть». А дед Захарий слушал-слушал, да и говорит: «О, Горпина...»

Тут Жиган многозначительно остановился, посматривая на Димку, и, только когда тот нетерпеливо занукал, начал снова:

— А дед Захарий и говорит: «О, Горпина, ты спрячь лучше язык подальше». Тут я вошел в хату. Гляжу, а на лавке рубашка лежит, порванная и вся в крови. И как увидала меня, села на нее Горпина сей же секунд и велит: «Подай ему, старый, с полчашки», а сама не поднимается. А мне что, я и так видел. Так вот, думаю, это большевика пулей подшибло.

Помолчали, обдумывая неожиданно подслушанную новость.

У одного глаза прищурились, уставившись неподвижно и серьезно. У другого забегали и заблестели.

И сказал Димка:

— Вот что, Жиган, молчи лучше и ты. Много и так поубивали красных у нас возле деревни, и все поодиночке.

Назавтра утром был назначен побег. Весь день Димка был сам не свой. Разбил нечаянно чашку, наступил на хвост Шмелю и чуть не вышиб кринку кислого молока из рук входившей бабки, за что и получил здоровую оплеуху от Головня.

А время шло. Час за часом прошел полдень, обед, наступил вечер.

Спрятались в огороде, за бузиной, у плетня, и стали выжидать.

Засели они рановато, и долго еще через двор проходили люди. Наконец пришел Головень, позвала Топа мать. И прокричала с крыльца:

— Димка! Диму-ушка! Где ты делся?

«Ужинать!» — решил он, но откликнуться, конечно, и не подумал. Мать постояла-постояла и ушла.

Подождали. Крадучись вышли. Возле стенки чулана

остановились. Окошко было высоко. Димка согнулся, упершись руками в колени. Жиган забрался к нему на спину и осторожно просунулся в окошко.

— Скорей, ты! У меня спина не каменная.

— Темно очень, — шепотом ответил Жиган. С трудом зацепив котелок, он потащил его к себе и спрыгнул. — Есть!

— Жиган, — спросил Димка, — а колбасу где ты взял?

— Там висела ря-адышком. Бежим скорей!

Проворно юркнули в сторону, но за плетнем вспомнили, что забыли палку с крюком у стенки. Димка — назад. Схватил и вдруг увидел, что в дыру плетня просунул голову и любопытно смотрит на него Топ.

Димка, с палкой и с колбасой, так растерялся, что опомнился только тогда, когда Топ спросил его:

— Ты зачем койбасу стащил?

— Это не стащил, Топ. Это надо, — поспешно ответил Димка. — Воробушков кормить. Ты любишь, Топ, воробушков? Чирик-чирик!.. Чирик-чирик!.. Ты не говори только. Не скажешь? Я тебе гвоздь завтра дам хо-роший!

— Воробушков? — серьезно спросил Топ.

— Да-да! Вот ей-богу!.. У них нет... Бе-едные!

— И гвоздь дашь?

— И гвоздь дам... Ты не скажешь, Топ? А то не дам гвоздя и с Шмелькой играть не дам.

И, получив обещание молчать (но про себя усомнившись в этом сильно), Димка помчался к нетерпеливо ожидавшему Жигану.

Сумерки наступали торопливо, и, когда ребята добежали до сараев, чтобы спрятать котелок и злополучную колбасу, было уже темно.

— Прячь скорей!

— Давай! — И Жиган полез в щель, под крышу. — Димка, тут темно, — тревожно ответил он. — Я не найду ничего...

— А, дурной, врешь ты, что не найдешь! Испугался уж!

Полез сам. В потемках нащупал руку Жигана и почувствовал, что она дрожит.

— Ты чего? — спросил он, ощущая, что страх начинает передаваться и ему.

— Там... — И Жиган крепче ухватился за Димку.

И Димка ясно услыхал доносившийся из темной глубины сарая тяжелый сдавленный стон.

В следующую же секунду, с криком скатившись вниз, не различая ни дороги, ни ям, ни тропинок, оба в ужасе неслись прочь.

III

В эту ночь долго не мог заснуть Димка. Понемногу в голове у него начали складываться кое-какие предположения: «Крысы... Кто съел мясо?.. Рубашка... стон... А что, если?..»

Он долго ворочался и никак не мог отделаться от одной навязчиво повторявшейся мысли.

Утром он был уже у сараев. Отвалил солому и забрался в дыру. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь многочисленные щели, прорезали полутьму пустого сарая. Передние подпорки там, где должны были быть ворота, обвалились, и крыша осела, наглухо завалив вход. «Где-то тут», — подумал Димка и пополз. Завернул за груду рассыпавшихся необожженных кирпичей и остановился, испугавшись. В углу, на соломе, вниз лицом лежал человек. Заслышав шорох, он чуть поднял голову и протянул руку к валявшемуся нагану. Но потому ли, что изменили ему силы, или еще почему-либо, только, всмотревшись воспаленными, мутными глазами, разжал он пальцы, опустил револьвер и, приподнявшись, проговорил хрипло, с трудом ворочая языком:

— Пить!

Димка сделал шаг вперед. Блеснула звездочка с белым венком, и Димка едва не крикнул от удивления, узнав в раненом незнакомца, когда-то вырвавшего его из рук Головня.

Пропали все страхи, все сомнения, осталось только чувство жалости к человеку, так горячо заступившемуся за него.

Схватив котелок, Димка помчался за водой на речку. Возвращаясь бегом, он едва не столкнулся с Марьиным Федькой, помогавшим матери тащить мокрое белье. Димка поспешно шмыгнул в кусты и видел оттуда, как Федька замедлил шаг, с любопытством поворачивая голову в его сторону. И если бы мать, заметившая, как сразу потяжелела корзина, не крикнула сердито: «Да неси ж, дьяволенок, чего ты завихлялся!», то Федька, конечно, не утерпел бы проверить, кто это спрятался столь поспешно в кустах.

Вернувшись, Димка увидел, что незнакомец лежит закрыв глаза и шевелит слегка губами, точно разговаривая с кем-то во сне. Димка тронул его за плечо, и, ко-

гда тот, открыв глаза, увидел перед собой мальчугана, что-то вроде слабой улыбки обозначилось на его пересохших губах. Напившись, уже ясней и внятней незнакомец спросил:

— Красные далеко?

— Далеко. И не слыхать вовсе.

— А в городе?

— Петлюровцы, кажись...

Поник головой раненый и спросил у Димки:

— Мальчик, ты никому не скажешь?

И было в этой фразе столько тревоги, что вспыхнул Димка и принялся уверять, что не скажет.

— Жигану разве!

— Это с которым вы бежать собирались?

— Да, — смутившись, ответил Димка. — Вот и он, кажется.

Засвистел соловей раскатистыми трелями. Это Жиган разыскивал и дивился, куда это пропал его товарищ.

Высунувшись из дыры, но не желая кричать, Димка запустил в него легонько камешком.

— Ты чего? — спросил Жиган.

— Тише! Лезь сюда... Надо.

— Так ты позвал бы, а то на-ко... Камнем! Ты б еще кирпичом запустил.

Спустились оба в дыру. Увидев перед собой незнакомца и темный револьвер на соломе, Жиган остановился, оробев.

Незнакомец открыл глаза и спросил просто:

— Ну что, мальчуганы?

— Это вот Жиган! — И Димка тихонько подтолкнул его вперед.

Незнакомец ничего не ответил и только чуть наклонил голову.

Из своих запасов Димка притащил ломоть хлеба и вчерашнюю колбасу.

Раненый был голоден, но сначала ел мало, больше тянул воду.

Жиган и Димка сидели почти все время молча.

Пуля зеленых ранила человека в ногу; кроме того, три дня у него не было ни глотка воды во рту, и измучился он сильно.

Закусив, он почувствовал себя лучше, глаза его заблестели.

— Мальчуганы! — сказал он уже совсем ясно. И по голосу только теперь Димка еще раз узнал в нем незна-

комца, крикнувшего Головню: «Не сметь!» — Вы славные ребятишки... Я часто слушал, как вы разговаривали... Но если вы проболтаетесь, то меня убьют...

— Не должны бы! — неуверенно вставил Жиган.

— Как не должны бы? — разозлился Димка. — Ты говори: нет, да и все... Да вы его не слушайте, — чуть ли не со слезами обратился он к незнакомцу. — Ей-богу, не скажем! Вот провалиться мне, все обещаю... Вздую...

Но Жиган сообразил и сам, что сболтнул он что-то несуразное, и ответил извиняющимся тоном:

— Да я, Дим, и сам... что не должны, значит, ни в коем случае.

И Димка увидел, как незнакомец улыбнулся еще раз.

...За обедом Топ сидел-сидел да и выпалил:

— Давай, Димка, гвоздь, а то я мамке скажу, что ты койбасу воробушкам таскал.

Димка едва не подавился куском картошки и громко зашумел табуреткой. К счастью, Головня не было, мать доставала похлебку из печки, а бабка была туговата на ухо.

И Димка проговорил шепотом, подталкивая Топа ногой:

— Дай пообедаю, у меня уже припасен.

«Чтоб тебе неладно было! — думал он, вставая из-за стола. — Потянуло же за язык».

После некоторых поисков выдернул он в сарае из стены здоровенный железный гвоздь и отнес Топу.

— Большой больно, Димка! — ответил Топ, удивленно поглядывая на толстый и неуклюжий гвоздь.

— Что большой? Вот оно и хорошо, Топ. А чего маленький: заколотишь сразу — и всё. А тут долго сидеть можно: тук, тук!.. Хороший гвоздь!

Вечером Жиган нашел у Онуфрихи кусок чистого холста для повязки. А Димка, захватив из своих запасов кусок сала побольше, решился раздобыть йоду.

Отец Перламутрий, в одном подряснике и без сапог, лежал на кушетке и с огорчением думал о пришедших в упадок делах из-за церкви, сгоревшей от снаряда еще в прошлом году. Но, полежав немного, он вспомнил о скором приближении храмового праздника и неотделимых от него благодаяниях. И образы поросятины, кружков масла и стройных сметанных кринок дали, по-видимому, другое направление его мыслям, потому что отец

Перламутрий откашлялся солидно и подумал о чем-то, улыбаясь.

Вошел Димка и, спрятав кусок сала за спину, проговорил негромко:

— Здравствуйте, батюшка.

Отец Перламутрий вздохнул, перевел взгляд на Димку и спросил, не поднимаясь:

— Ты что, чадо, ко мне или к попадье?

— К ней, батюшка.

— Гм... А поелику она в отлучке, я пока за нее.

— Мамка прислала. Повредилась немного, так поди, говорит, не даст ли попадья малость йоду. И пузырек вот прислала махонький.

— Пузырек... Гм... — с сомнением кашлянул отец Перламутрий. — Пузырек что!.. А что ты, хлопец, руки назади держишь?

— Сала тут кусок. Говорила мать, если нальет, отдай в благодарность...

— Если нальет?

— Ей-богу, так и сказала.

— О-хо-хо, — проговорил отец Перламутрий, поднимаясь. — Нет, чтобы просто прислать, а вот: «если нальет...» — И он покачал головой. — Ну, давай, что ли, сало... Старое!

— Так нового еще ж не кололи, батюшка.

— Знаю и сам, да можно бы пожирнее, хоть и старое. Пузырек где? Что это мать тебе целую четверть не дала? Разве ж возможно полный?

— Да в нем, батюшка, два наперстка всего. Куда же меньше?

Батюшка постоял немного, раздумывая.

— Ты скажи-ка, пусть лучше мать сама придет. Я прямо сам ей и смажу. А наливать... к чему же?

Но Димка отчаянно замотал головой.

— Гм... Что ты головой мотаешь?

— Да вы, батюшка, наливайте, — поспешно заговорил Димка, — а то мамка наказывала: «Как если не будут давать, бери, Димка, сало и тащи назад».

— А ты скажи ей: «Дарствующий да не печется о даре своем, ибо будет пред лицом всевышнего дар сей всуе». Запомнишь?

— Запомню!.. А вы все-таки наливайте, батюшка.

Отец Перламутрий надел на босу ногу туфли — причем Димка подивился их необычайным размерам — и, прихватив сало, ушел с пузырьком в другую комнату.

— На вот, — проговорил он, выходя. — Только от доброты своей... — И спросил, подумав: — А у вас куры несутся, хлопец?

— От доброты! — разозлился Димка. — Меньше половины... — И на повторный вопрос, выходя из двери, ответил серьезно: — У нас, батюшка, кур нету, одни петухи только.

Между тем о красных не было слуху, и мальчуганам приходилось быть начеку.

И все же часто они пробирались к сараям и подолгу проводили время возле незнакомца.

Он охотно болтал с ними, рассказывал и шутил даже. Только иногда, особенно когда заходила речь о фронтах, глубокая складка залегала возле бровей, он замолкал и долго думал о чем-то.

— Ну что, мальчуганы, не слыхать, как там?

«Там» — это на фронте. Но слухи в деревне ходили смутные, разноречивые.

И хмурился и нервничал тогда незнакомец. И видно было, что больше, чем ежеминутная опасность, больше, чем страх за свою участь, тяготили его незнание, бездействие и неопределенность.

Привязались к нему оба мальчугана. Особенно Димка. Как-то раз, оставив дома плачущую мать, пришел он к сараям печальный, мрачный.

— Головень бьет... — пояснил он. — Из-за меня мамку гонит, Топа тоже... Уехать бы к батьке в Питер... Но никак.

— Почему никак?

— Не проедешь: пропуски разные. Да билеты, где их выхлопочешь? А без них нельзя.

Подумал незнакомец и сказал:

— Если бы были красные, я бы тебе достал пропуск, Димка.

— Ты?! — удивился тот. И после некоторого колебания спросил то, что давно его занимало: — А ты кто? Я знаю: ты пулеметный начальник, потому тот раз возле тебя солдат был с «льюисом».

Засмеялся незнакомец и кивнул головой так, что можно было понять — и да и нет.

И с тех пор Димка еще больше захотел, чтобы скорее пришли красные.

А неприятностей у него набиралось все больше и больше. Безжалостный Топ уже пятый раз требовал по

гвоздю и, несмотря на то что получал их, все-таки проболтался матери. Затем в кармане штанов мать разыскала остатки махорки, которую Димка таскал для раненого. Но самое худшее надвинулось только сегодня. По случаю праздника за доброхотными даяниями завернул в хату отец Перламутрий. Между разговорами он вставил, обращаясь к матери:

— А сало все-таки старое, так ты бы с десяточек яиц за лекарство дополнительно...

— За какое еще лекарство?

Димка заерзал беспокойно на стуле и съежился под устремленными на него взглядами.

— Я, мама... собачке, Шмелику...— неуверенно ответил он.— У него ссадина была здоровая...

Все замолчали, потому что Головень, двинувшись на скамейке, сказал:

— Сегодня я твоего пса пристрелю.— И потом добавил, поглядывая как-то странно: — А к тому же ты врешь, кажется.— И не сказал больше ничего, не избил даже.

— Возможно ли! Для всякой твари сей драгоценный медикамент?— с негодованием вставил отец Перламутрий.— А поелику солгал, повинен дважды: на земли и на небеси.— При этом он поднял многозначительно большой палец, перевел взгляд с земляного пола на потолок и, убедившись в том, что слова его произвели должное впечатление, добавил, обращаясь к матери: — Так я, значит, на десяточек располагаю.

Вечером, выходя из дома, Димка обернулся и заметил, что у плетня стоит Головень и провожает его внимательным взглядом.

Он нарочно свернул к речке.

— Димка, а говорят про нашего-то на деревне,— огорошил его при встрече Жиган.— Тут, мол, он, недалеко где-либо. Потому рубашка... а к тому же Семка старостин возле Горпининого забора книжку нашел, тоже кровяная. Я сам один листочек видел. Белый, а в углу буквы «Р. В. С.», и дальше палочки, вроде как на часах.

Димке даже в голову шибануло.

— Жиган,— шепотом сказал он, хотя кругом никого не было,— надо, тово... ты не ходи туда прямо... лучше вокруг бегай. Как бы не заметили.

Предупредили незнакомца.

— Что же,— сказал он,— будьте только осторожней, ребята. А если не поможет, ничего тогда не поделаешь... Не хотелось бы, правда, так нелепо пропадать...

— А если лепо?

— Нет такого слова, Димка. А если не задаром, тогда можно.

— И песня такая есть,— вставил Жиган.— Кабы не теперь, я спел бы,— хорошая песня. Повели коммуниста, а он им объясняет у стенки... Мы знаем, говорит, по какой причине боремся, знаем, за что и умираем... Только ежели словами рассказывать, не выходит. А вот когда солдаты на фронт уезжали, ну и пели... Уж на что железнодорожные, и те рты раскрыли, так тебя и забирает.

Домой возвращались поодиночке. Димка ушел раньше; он добросовестно направился к реке, а оттуда домой.

Между тем Жиган со свойственной ему беспечностью захватил у незнакомца флягу, чтобы набрать воды, забыл об уговорах и пошел ближайшим путем — через огороды. Замечтавшись, он засвистел и оборвал сразу, когда услышал, как что-то хрустнуло возле кустов.

— Стой, дьявол! — крикнул кто-то.— Стой, собака!

Он испуганно шарахнулся, бросился в сторону, взметнулся на какой-то плетень и почувствовал, как кто-то крепко ухватил его за штанину. С отчаянным усилием он лягнул ногой, по-видимому попав кому-то в лицо. И, перевалившись через плетень на грядки с капустой, выпустив флягу из рук, он кинулся в темноту...

...Димка вернулся, ничего не подозревая, и сразу же завалился спать. Не прошло и двадцати минут, как в хату с ругательствами ввалился Головень и сразу же закричал на мать:

— Пусть лучше твой дьяволенок и не ворочается вовсе... Ногой меня по лицу съездил... Убью...

— Когда съездил? — со страхом спросила мать.

— Когда? Сейчас только.

— Да он спит давно.

— А, черт! Прибег, значит, только что. Каблуком по лицу стукнул, а она — спит! — И он распахнул дверь, направляясь к Димке.

— Что ты! Что ты! — испуганно заговорила мать.— Каким каблуком? Да у него с весны и обувки нет никакой. Он же босый! Кто ему покупал?.. Ты спятил, что ли?

Но, по-видимому, Головень тоже сообразил, что нету у Димки ботинок. Он остановился, выругался и вошел в избу.

— Гм...— промычал он, усаживаясь на лавку и бросая на стол флягу.— Ошибка вышла... Но кто же и где

его скрывает? И рубашка, и листки, и фляга...— Потом помолчал и добавил: — А собаку-то вашу я убил все-таки.

— Как убил? — переспросила мать.

— Так. Бабахнул в башку, да и все тут.

Димка, уткнувшись лицом в полушубок, зарывшись глубоко в поддевку, дергался всем телом и плакал беззвучно, но горько-горько. Когда утихло все, ушел на сеновал Головень, подошла к Димке мать и, заметив, что он всхлипывает, сказала, успокаивая:

— Ну будет, Димушка! Стоит об собаке...

Но при этом напоминании перед глазами Димки еще яснее и ярче встал образ ласкового, помахивающего хвостом Шмеля, и еще с большей силой он затрясся и еще крепче втиснул голову в намокшую от слез овчину...

— Эх, ты! — проговорил Димка и не сказал больше ничего.

Но почувствовал Жиган в словах его такую горечь, такую обиду, что смутился окончательно.

— Разве ж я знал, Димка?

— «Знал»! А что я говорил?.. Долго ли было кругом обежать? А теперь что? Вот Головень седло налаживает, ехать куда-то хочет. А куда? Не иначе как к Левке или еще к кому — даешь, мол, обыск!

Незнакомец тоже посмотрел на Жигана. Был в его взгляде только легкий укор, и сказал он мягко:

— Хорошие вы, ребята...— И даже не рассердился, как будто не о нем и речь шла.

Жиган стоял молча, глаза его не бегали, как всегда, по сторонам, ему не в чем было оправдываться да и не хотелось. И он ответил хмуро и не на вопрос:

— А красные в городе. Нищий Авдей пришел. Много, говорит, и все больше на конях.— Потом он поднял глаза и сказал все тем же виноватым и негромким голосом: — Я попробовал бы... Может, проберусь как-нибудь... успею еще.

Удивился Димка. Удивился незнакомец, заметив серьезно остановившиеся на нем большие темные глаза мальчугана. И больше всего удивился откуда-то внезапно набравшейся решимости сам Жиган.

Так и решили. Торопливо вырвал незнакомец листок из книжки. И пока он писал, увидел Димка в левом углу те же три загадочные буквы «Р. В. С.» и потом палочки, как на часах.

— Вот,— проговорил тот, подавая,— возьми, Жиган... ставлю аллюр два креста. С этим значком каждый солдат — хоть ночью, хоть когда — сразу же отдаст начальнику. Да не попадись смотри.

— Ты не подкачай,— добавил Димка.— А то не берись вовсе... Дай, я.

Но у Жигана снова заблестели глаза, и он ответил с ноткой вернувшегося бахвальства:

— Знаю сам... Что мне, впервой, что ли?

И, выскочив из щели, он огляделся по сторонам и, не заметив ничего подозрительного, пустился краем наперерез дороге.

Солнце стояло еще высоко над никольским лесом, когда выбежал на дорогу Жиган и когда мимо Жигана по той же дороге рысью промчался куда-то Головень.

Недалеко от опушки Жиган догнал подводы, нагруженные мукою и салом. На телегах сидело пять человек с винтовками. Подводы двигались потихоньку, а Жигану надо было торопиться, поэтому он свернул в кусты и пошел дальше не по дороге, а краем леса.

Попадались полянки, заросшие высокими желтыми цветами. В тени начинала жужжать мошкара. Проглядывали ягоды дикой малины. На ходу он оборвал одну, другую, но не остановился ни на минуту.

«Верст пять отмахал! — подумал он.— Хорошо бы дальше также без задержки».

Замедляли ходьбу сучья, и он вышел на дорогу.

Завернул за поворот и зажмурился. Прямо навстречу брызгали густые красноватые лучи заходящего солнца. С верхушки высокого клена по-вечернему звонко пересвистнула какая-то пташка, и что-то затрепыхалось в листве кустов.

— Эй! — услышал он негромкий окрик.

Обернулся и не увидел никого.

— Эй, хлопец, поди сюда!

И он разглядел за небольшим стогом сена у края дороги двух человек с винтовками, кого-то поджидавших. В стороне у деревьев стояли их кони.

Подошел.

— Откуда ты идешь?.. Куда?

— Оттуда...— И он, махнув рукой, запнулся, придумывая дальше.— С хутора я. Корова убегла... Может, повстречали где? Рыжая, и рог у ей один спилен. Ей-богу, как провалилась, а без ее — хоть не ворочайся.

— Не видели... Телка тут бродила какая-то, так ту наши еще в утро сожрали... А тебе не попались подводы какие?

— Едут какие-то... должно, рядом уже.

Последнее сообщение крайне заинтересовало спрашивающих, потому что они поспешно направились к коням.

— Забирайся! — крикнул один, подводя лошадей.— Сядешь ко мне за спину.

— Мне домой надо, у меня корова...— жалобно завопил Жиган.— Куда я поеду?..

— Забирайся, куда говорят. Тут недалеко отпустим. А то ты еще сболтнешь подводчикам.

Тщетно уверял Жиган, что у него корова, что ему домой и что он ни слова не скажет подводчикам,— ничто не помогало. И совершенно неожиданно для себя он очутился за спиной у одного из зеленых. Поехали рысью. В другое время это доставило бы ему очень большое удовольствие, но сейчас совсем нет, особенно когда он понял из нескольких брошенных слов, что едут они к отряду Левки, дожидающемуся чего-то в лесу. «А ну как Головень там,— мелькнула вдруг мысь,— да узнает сейчас, что тогда?» И, почти не раздумывая, под впечатлением обуявшего его ужаса, он слетел кубарем с лошади и бросился с дороги.

— Куда, дьяволенок? — круто остановил лошадь и вскинул винтовку один.

Может быть, и не успел бы добежать до деревьев Жиган, если бы другой не схватил за руку товарища и не крикнул сердито:

— Стой!.. Не стреляй: все дело испортишь.

Не вбежал, а врезался в гущу леса Жиган. Напролом через чащу, через кусты, глубже и глубже. И только когда очутился посреди сплошной заросли осинника, сообразил, что никак не смогут проникнуть сюда конные, остановился перевести дух.

«Левка! — подумал он.— Не иначе как к нему Головень.— И сразу же сжалось сердце.— Хоть бы не поспели до темноты: ночью все равно не найдут, а утром, может, красные...»

На дороге грохнул выстрел, другой... и пошло.

«С обозниками,— догадался он.— Скорей надо, а тут на-ка: без пути».

Но лес поредел вскоре, и под ногами у него снова очутилась дорога. Жиган вздохнул и бегом пустился дальше. Не прошло и двадцати минут, как рысью прямо навстречу ему вылетел торопившийся куда-то отряд. Не

успел он опомниться, как оказался окруженным всадниками. Повел испуганными глазами. И чуть не упал со страху, увидав среди них Головня. Но то ли потому, что тот всего раз или два встречал Жигана, потому ли, что не ожидал наткнуться здесь на мальчугана, или, наконец, может быть потому, что принялся подтягивать подпругу у плохонького, наспех наложенного седла, только Головень не обратил на него никакого внимания.

— Хлопец,— спросил его один, грузный и с большими седоватыми усами,— тебя куда дьявол несет?

— С хутора...— начал Жиган.— Корова у меня... черная, и пятна на ней...

— Врешь! Тут и хутора никакого нет.

Испугался Жиган еще больше и ответил запинаясь:

— Да не тут... А как стрелять начали, испугался я и убежал...

— Слышали? — перебил первый.— Я ж говорил, что где-то стреляют.

— Ей-богу, стреляли,— заговорил быстро, начиная о чем-то догадываться, Жиган,— на Никольской дороге. Там Козолупу мужики продукт везли. А Левкины ребята на них напали.

— Как напали?! — гневно заорал тот.— Как они смели!

— Ей-богу, напали... Сам слышал: чтоб, говорят, сдохнуть Козолупу... Жирно с него... и так обжирается, старый черт...

— Слышали?! — заревел зеленый.— Это я обжираюсь?

— Обжирается,— подтвердил Жиган, у которого язык заработал, как мельница.— Если, говорят, сунется он, мы напомним ему... Мне что? Это все ихние разговоры.

Жиган готов был выпалить еще не один десяток обидных для достоинства Козолупа слов, но тот и так был взбешен до крайности и потому рявкнул грозно:

— По коням!

— А с ним что? — спросил кто-то, указывая на Жигана.

— А всыпь ему раз плетью, чтобы не мог впредь такие слова слушать.

Ускакал отряд в одну сторону, а Жиган, получив ни за что ни про что по спине, помчался в другую, радуясь, что еще так легко отделался.

«Сейчас схватятся,— подумал он на бегу.— А пока разберутся, глядишь — и ночь уже».

Миновали сумерки. Высыпали звезды, спустилась ночь. А Жиган то бежал, то шел, тяжело дыша, то изредка останавливался — перевести дух. Один раз, заслышав мерное булькание, отыскал в темноте ручей и хлебнул, разгоряченный, несколько глотков холодной воды. Один раз шарахнулся испуганно, наткнувшись на сиротливо покрившийся придорожный крест. И понемногу отчаяние начало овладевать им. Бежишь, бежишь, и все конца нету. Может, и сбился давно. Хоть бы спросить у кого.

Но не у кого было спрашивать. Не попадались на пути ни крестьяне на ленивых волах, ни косари, приютившиеся возле костра, ни ребята с конями, ни запоздалые прохожие из города. Пуста и молчалива была темная дорога. И только соловей вовсю насвистывал, только он один не боялся и смеялся звонко над ночными страхами притихшей земли.

И вот в то время, когда Жиган потерял всякую надежду выйти хоть куда-либо, дорога разошлась на две. «Еще новое! Теперь-то по какой?» И он остановился. «Го-го...» — донеслось до его слуха негромкое гоготанье. «Гуси!» — чуть не вскрикнул он. И только сейчас разглядел почти что перед собой, за кустами, небольшой хутор.

Завыла отчаянно собака, точно к дому подходил не мальчуган, а медведь. Захрюкали потревоженные свиньи, и Жиган застучал в дверь:

— Эй! Эй! Отворите!

Сначала молчанье. Потом в хате послышался кашель, возня, и бабий голос проговорил негромко:

— Господи, кого ж еще-то несет?

— Отворите! — повторял Жиган.

Но не такое было время, чтобы в полночь отворять всякому. И чей-то хриплый бас вопросил спросонок:

— Кто там?

— Откройте! Это я, Жиган.

— Какой еще, к черту, жиган? Вот я тебе из берданки пальну через дверь!

Жиган откатился сразу в сторону и, сообразив свою оплошность, завопил:

— Не жиган! Не жиган... Это прозвище такое. Васькой зовут... Я ж еще малый... А мне дорогу б спросить, какая в город.

— Что с краю, та в город, а другая в Поддубовку.

— Так они ж обе с краю!.. Разве через дверь поймешь!

Очевидно раздумывая, помолчали немного за дверью.

— Так иди к окошку, оттуда покажу. А пустить... не-ет! Мало что маленький. Может, за тобою здоровый битюг сидит.

Окошко открылось, и дорогу Жигану показали.

— Тут недалече, с версту всего... Сразу за опушкой.

— Только-то! — И, окрыленный надеждой, Жиган снова пустился бегом.

...На кривых уличках его сразу же остановил патруль и показал штаб. Сонный красноармеец ответил нехотя:

— Какую еще записку! Приходи утром.— Но, заметив крестики спешного аллюра, бумажку взял и позвал: — Эй, там!.. Где дежурный?

Дежурный посмотрел на Жигана, развернул записку и, заметив в левом углу все те же три загадочные буквы «Р. В. С.», сразу же подвинул огонь. И только прочитал — к телефону: «Командира!.. Комиссара!», а сам торопливо заходил по комнате.

Вошли двое.

— Не может быть! — удивленно крикнул один.

— Он!.. Конечно, он! — радостно перебил другой.— Его подпись, его бланк. Кто привез?

И только сейчас взоры всех обратились на притихшего в углу Жигана.

— Какой он?

— Черный... в сапогах... и звезда у его прилеплена, а из нее красный флажок.

— Ну да, да, орден!

— Только скорей бы,— добавил Жиган,— светать скоро будет... А тогда бандиты... убьют, коли найдут.

И что тут поднялось только! Забегали все, зазвонили телефоны, затопали кони. И среди всей этой суматохи разобрал утомленный Жиган несколько раз повторявшиеся слова: «Конечно, армия!.. Он!.. Реввоенсовет!»

Затрубила быстро-быстро труба, и от лошадиного топота задрожали стекла.

— Где? — Порывисто распахнув дверь, вошел вооруженный маузером и шашкой командир.— Это ты, мальчуган?.. Васильченко, с собой его, на коня...

Не успел Жиган опомниться, как кто-то сильными руками поднял его с земли и усадил на лошадь. И снова заиграла труба.

— Скорей! — повелительно крикнул кто-то с крыльца.— Вы должны успеть!

— Даешь! — ответили эхом десятки голосов.

Потом:

— А-аррш!

И, сразу сорвавшись с места, врезался в темноту конный отряд.

А незнакомец и Димка с тревогой ожидали и чутко прислушивались к тому, что делается вокруг.

— Уходи лучше домой,— несколько раз предлагал незнакомец Димке.

Но на того словно упрямство какое нашло.

— Нет,— мотал он головой,— не пойду.

Выбрался из щели, разворошил солому, забросал ею входное отверстие и протискался обратно.

Сидели молча, было не до разговоров. Один раз только проговорил Димка, и то нерешительно:

— Я мамке сказал: может, говорю, к батьке скоро поедем; так она чуть не поперхнулась, а потом давай ругать: «Что ты языком только напрасно треплешь!»

— Поедешь, поедешь, Димка. Только бы...

Но Димка сам чувствует, какое большое и странное это «только бы», и потому он притих у соломы, о чем-то раздумывая.

Наступал вечер. В сарае резче проглядывала темная пустота осевших углов. И расплывались в ней незаметно остатки пробирающегося сквозь щели света.

— Слушай!

Димка задрожал даже:

— Слышу!

И незнакомец крепко сжал его плечо:

— Но кто это?

За деревней, в поле, захлопали выстрелы, частые, беспорядочные. И ветер донес их сюда беззвучными хлопками игрушечных пушек.

— Может, красные?

— Нет, нет, Димка! Красным рано еще.

Все смолкло. Прошел еще час. И топот и крики, наполнившие деревеньку, донесли до сараев тревожную весть о том, что кто-то уже здесь, рядом.

Голоса то приближались, то удалялись, но вот послышались близко-близко.

— И по погребам? И по клуням? — спросил чей-то резкий голос.

— Везде,— ответил другой.— Только сдается мне, что скорей здесь где-нибудь.

«Головень!» — узнал Димка, а незнакомец протянул

руку, и чуть заблестел в темноте холодновато-спокойный наган.

— Темно, пес их возьми! Проканителились из-за Левки сколько!

— Темно! — повторил кто-то. — Тут и шею себе сломишь. Я полез было в один сарай, а на меня доски сверху... чуть не в башку.

— А место такое подходящее. Не оставить ли вокруг с пяток ребят до рассвета?

— Оставить.

Чуть-чуть отлегло. Пробудилась надежда. Сквозь одну из щелей видно было, как вспыхнул недалеко костер. Почти что к самой заваленной двери подошла лошадь и нехотя пожевала клок соломы.

Рассвет не приходил долго... Задрожала наконец зарница, помутнели звезды.

Скоро и обыск. Не успел или не пробрался вовсе Жиган.

— Димка,— шепотом проговорил незнакомец,— скоро будут искать. В той стороне, где обвалились ворота, есть небольшое отверстие возле земли. Ты маленький и пролезешь... Ползи туда.

— А ты?

— А я тут... Под кирпичами, ты знаешь где, я спрятал сумку, печать и записку про тебя. Отдай красным, когда бы ни пришли. Ну, уползай скорей! — И незнакомец крепко, как большому, пожал ему руку и оттолкнул тихонько от себя.

А у Димки слезы подступили к горлу. И было ему страшно, и было ему жалко оставлять одного незнакомца. И, закусив губу, глотая слезы, он пополз, спотыкаясь о разбросанные остатки кирпичей.

— Тара-та-тах! — прорезало вдруг воздух.— Тара-та-тах! Ба-бах!.. Тиу-у, тиу-у...— взвизгнуло над сараями.

И крики, и топот, и зазвеневшее эхо от разряженных обойм «льюисов» — все это так внезапно врезалось, разбило предрассветную тишину и вместе с ней и долгое ожидание, что не запомнил и сам Димка, как очутился он опять возле незнакомца. И, не будучи более в силах сдерживаться, заплакал громко-громко.

— Чего ты, глупый? — радостно спросил тот.

— Да ведь это же они...— отвечал Димка, улыбаясь, но не переставая плакать.

И еще не смолкли выстрелы за деревней, еще кричали где-то, когда затопали лошади около сараев. И знакомый задорный голос завопил:

— Сюда! Зде-есь!

Отлетели снопы в стороны. Ворвался свет в щель. И кто-то спросил тревожно и торопливо:

— Вы здесь, товарищ Сергеев?

И народу кругом сколько появилось откуда-то — и командир, и комиссар, и красноармейцы, и фельдшер с сумкой! И все гоготали и кричали что-то совсем несуразное.

— Димка,— захлебываясь от гордости, торопился рассказать Жиган,— я успел... назад на коне летел... И сейчас с зелеными тоже схватился... в самую гущу... Как рубанул одного по башке, так тот и свалился!..

— Ты врешь, Жиган... Обязательно врешь... У тебя и сабли-то нету,— ответил Димка и засмеялся сквозь не высохшие еще слезы.

Весь день было весело. Димка вертелся повсюду. И все ребятишки дивились на него и целыми ватагами ходили смотреть, где прятался беглец, так что к вечеру, как после стада коров, намята и утоптана была солома возле логова.

Должно быть, большим начальником был недавний пленник, потому что слушались его и красноармейцы и командиры.

Написал он Димке всякие бумаги и на каждую бумагу печать поставил, чтобы не было никакой задержки ни ему, ни матери, ни Топу до самого города Петрограда.

А Жиган среди бойцов чертом ходил и песни такие заворачивал, что только ну! И хохотали над ним красноармейцы, и тоже дивились его глотке.

— Жиган! А ты теперь куда?

Остановился на минуту Жиган, как будто легкая тень пробежала по его маленькому лицу, потом головой тряхнул отчаянно:

— Я, брат, фьи-ить! Даешь по станциям, по эшелонам. Я сейчас новую песню у них перенял:

Ночь прошла в полевом лазарети,
День весенний и яркий настал.
И при солнечном, теплом рассве-ти
Маладой командир умирал...

Хоро-ошая песня! Я спел — гляжу: у старой Горпины слезы катятся. «Чего ты,— говорю,— бабка?» — «Та умирал же!» — «Э, бабка, дак ведь это в песне».— «А ког-

да б только в песне,— говорит,— а сколько ж и взаправду». Вот в эшелонах только,— добавил он, запнувшись немного,— некоторые из товарищей не доверяют. «Катись,— говорят,— колбасой. Может, ты шантрапа или шарлыган. Украдешь чего-либо». Вот кабы и мне бумагу!

— А давайте напишем ему, в самом деле,— предложил кто-то.

— Напишем, напишем!

И написали ему, что *«есть он, Жиган, не шантрапа и не шарлыган, а элемент, на факте доказавший свою революционность»,* а потому *«оказывать ему, Жигану, содействие в пении советских песен по всем станциям, поездам и эшелонам».*

И много ребят подписалось под той бумагой — целые поллиста да еще на оборотной. Даже рябой Пантюшкин, тот, который еще только на прошлой неделе писать научился, вычертил всю фамилию до буквы.

А потом понесли к комиссару, чтобы дал печать. Прочитал комиссар.

— Нельзя,— говорит,— на такую бумагу полковую печать.

— Как же нельзя? Что, от ней убудет, что ли? Приложите, пожалуйста. Что же, даром, что ли, старался малый?

Улыбнулся комиссар:

— Этот самый с Сергеевым?

— Он, язви его шельма.

— Ну уж в виде исключения... — И тиснул по бумаге.

Сразу же на ней РСФСР, серп и молот — документ.

И такой это вечер был, что давно не запомнили поселяне. Уж чего там говорить, что звезды, как начищенные кирпичом, блестели! Или как ветер густым настоем отцветающей гречихи пропитал все. А на улицах что делалось! Высыпали как есть все за ворота. Смеялись красноармейцы задорно, визжали девчата звонко. А лекпом Придорожный, усевшись на митинговых бревнах перед обступившей его кучкой молодежи, наигрывал на двухрядке.

Ночь спускалась тихо-тихо; зажглись огоньки в разбросанных домиках. Ушли старики, ребятишки. Но долго еще по залитым лунным светом уличкам смеялась молодежь. И долго еще наигрывала искусно лекпомова гармоника, и спорили с ней переливчатыми посвистами соловьи из соседней прохладной рощи.

А на другой день уезжал незнакомец. Жиган и Димка провожали его до поскотины. Возле покосившейся загородки он остановился. Остановился за ним и весь отряд.

И перед всем отрядом незнакомец крепко пожал руки ребятишкам.

— Может быть, когда-нибудь я тебя увижу в Петрограде,— проговорил он, обращаясь к Димке.— А тебя...— И он запнулся немного.

— Может, где-нибудь,— неуверенно ответил Жиган. Ветер чуть-чуть шевелил волосы на его лохматой головенке. Худенькие руки крепко держались за перекладины, а большие, глубокие глаза уставились вдаль, перед собой...

На дороге чуть заметной точкой виднелся еще отряд. Вот он взметнулся на последнюю горку возле никольского оврага... скрылся. Улеглось облачко пыли, поднятое копытами над гребнем холма. Проглянуло сквозь него поле под гречихой, и на нем — больше никого.

1926

АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО

ЩОРС

Киноповесть

Тысяча девятьсот восемнадцатого года, июня двадцать девятого дня, в три часа пополудни, на Украине, в селе Воробьевке, новгород-северский плотник Северин Черняк рубанул немецкого оккупанта саблей по шее. Немец упал. Черняк рубанул другого.

И началось...

Смешались люди и кони. Сто тридцать орлов налетело на немецко-гайдамацкий отряд. Врезались в самый лагерь на сельской площади, кололи, стреляли в упор, сбивали с коней, резали.

Враги метались в панике среди подсолнечников в огородах, в пшенице, кричали, выли, проклинали и умирали от рук восставшей бедноты.

— Петро, Петро! Бомбу! Бомбой!.. Так!..— закричал Черняк и заулыбался, видя, как Петро Нещадименко продырявил гранатой немецкую гущу.— Другую, Петро!

Горела хата, подорванная гранатой. У хаты, как птица в дыму, порывалась в огонь чья-то старая мать и плакала горькими слезами.

А в огонь уже бросили немецкого оккупанта и двух гайдамаков.

Дымились вишни у горящей стрехи.

В дыму промелькнул гайдамацкий офицер на горячем немецком жеребце. Так и убежал бы он мстить народу, если бы не узнал в нем Черняк своего пана.

— Хлопцы, пан тикае!..— закричал он и стрелой ринулся за паном.

— Не тикай, пане, не втечешь! Не втечешь — судьба догоняе! Стой, не мучь коня! Коня не мучь!..

Заверещал панок. Горячее дыхание партизанского коня уже обжигало ему спину.

— Рубаю! — крикнул партизан, и покатился пан в пшеницу.

Выскочил его взмыленный конь на широкий шлях и

заржал. Выскочил и Нещадименко на высокую могилу, осадил своего коня и, привстав на стременах, замер, вглядываясь в даль.

Грозная картина представилась его очам. Топтали украинский хлеб длинные немецкие цепи. А немецкие снаряды уже ложились на площадь, на огороды, в бедняцкие дворы. Ударил набат.

— Ге-гей, хлопцы! Немцы в поле! По коням! — крикнул с бугра Нещадименко и оглянулся на немецкие цепи.

Понеслись всадники через село. Слышался тревожный топот и плач расставаний.

— Прощайте, мамо, прощайте. Едем до Щорса.

— Прощайте, тату,— сказали четыре брата, вбегая в хату.— Есть в России Радянська власть... В Россию едем, до Ленина.

— Тикайте, чертовы сыны,— сказал старый ткач Опанас Чиж.— Скажите ж Ленину, чтоб не забывал нашу бидну Украину. Чуете? А я уж буду тут приймати ворога без вас...

— Не забудем, тату. Будет жить Радянська власть, пока свет стоит, а гетману все одно смерть!

— Идут! Немцы идут! — крикнул подросток в окно и скрылся.

Промчалась бедняцкая кавалерия через село, выскочила за околицу в степь и понеслась, понеслась вперед; только пухлогубые юноши оборачивались в седлах, прощаясь с родным селом.

Немцы вкатывались в село громадными цепями через огороды, улицы, сады. Люди бежали из села в поле, женщины падали на дорогу, оглядываясь в смятении на гром и пожары.

Пылало село. Пласты горящих соломенных крыш, разорванных снарядами, уносились червонными птицами в дымные небеса.

Тысяча серых гречкосеев, отцов и матерей будущих Кошевых, Степаненков, Гнатенков и Ангелин, стояли перед гетманско-немецкими пулеметами.

— На колени, мужва! — скомандовал начальник гетманского карательного отряда полковник Борковский.— В трехдневный срок внести в конторы графини три миллиона за разграбленное имущество!

— Так где же их взять? Не брали мы. Только землю пахали. Дайте срок...

— Прострочить? Можно!

— Помилуйте, пане! Что вы делаете?!

— Огонь! — скомандовал Борковский.

Застрочили пулеметы в народ.

— Где сыны? — спросил Борковский, войдя во двор к небогатому крестьянину Чижу.

Два дюжих синежупанника держали Чижа за ворот.

— Отвечай!

— Поехали до Щорса,— сказал Чиж с улыбкой.

— Зачем?

— А в гости, мабуть,— ответил Чиж.— Привет вам передавали. Обещали скоро вернуться.

— Ты что, смеешься?!

— А, ей-богу, смеюсь. Чтоб вы тут с немцами Украиной владели? Да ни за что на свете!

— Замолчи, бандитский батько!

— Брешете, орлы мои сыны. Орлы!

— Ложись!

— Лягты можно,— сказал с презрением старый Опанас и медленно лег на землю ничком.

— Запороть нагаями!

Два гайдамака стали крошить старика нагайками.

— Брешете... брешете... брешете... орлы сыны мои, орлы! — грозно стонал старый Чиж.

Долго и страшно били Чижа.

Баварские кулаки растирали в шершавых ладонях окровавленную украинскую землю, нюхали, пробовали на язык и оглядывались с удивлением на бесконечные дали и друг на друга — вот она, лучшая из лучших! И играли на отвратительных визгливых губных гармониках.

Потом стало тихо. Но вот раздался выстрел. Стемнело. Чиж плюнул кровью и, придерживая рукой простреленную грудь, поплелся в хату умирать.

Ночь. На синее небо вышли зори. И нигде не пели — ни в городе, ни на селе.

Немцы обожрались яблоками, грушами, сливами, арбузами, дынями, медом, молоком, яйцами, жареными курами, утками, индюками и спали на девичьих перинах, тяжело стонали во сне.

А блідий місяць на ту пору
З-за хмари де-де виглядав,
Неначе човен в синім морі...

Бесконечными поездами увозились на запад руда, чугун, уголь. Увозились миллионы пудов грабленого сахара, пшеницы, ячменя, ржи, гречихи. Увозились содранные кожи, вырванная шерсть и вытопленный жир, спирт, табак, мясо... Опустошались военные заводы и пакгаузы. Увозились оружие, снаряды, динамит, пироксилин и гре-

мучая ртуть. Уезжали в бешеную Европу, в Германию, украинские свиньи, кони и быки, оглашая ночные степи зловещим мычанием, ржанием и ревом, когда поезда проходили мимо горящих сел и деревень.

Увозились на шахты в Рур и Силезию сильно побитые «чоловики», и вереницы осенних журавлей курлыкали в ночи, и высоко полыхали в заревах пожаров, как уносимые незримой рукой или ветром, красные знамена.

В Нежинском богоугодном заведении унтера кайзера Гогенцоллерна с гайдамаками Скоропадского выстроили под стеной вдоль канавы полторы тысячи крестьян и расстреляли их. Когда вся беднота пала трупами в братскую канаву, одного пулеметчика долго еще продолжало трясти страшной пулеметной тряской.

А по киевским улицам бесконечно двигались с запада немецкие подбитые железом сапоги. Мутными потоками вступали они на площади, разливались по окраинам и ползли на Черниговщину, Полтавщину, Донбасс.

Пятьсот тысяч немецко-австрийских солдат и две дивизии сине- и серожупанников, сколоченных кайзером Вильгельмом II из украинских военнопленных унтеров царской армии, завалили Украину, как обвалом.

В одну из таких украинских ночей на севере Черниговщины, под Унечей, можно было прочитать на столбе надпись на немецком языке: «Українська держава». У столба в блиндаже вонял плохой сигарой немецкий часовой. А подальше, километрах в трех, у затуманенных серых кустов, стоял в пикете красноармеец Богунского полка Петро Нещадименко.

— Стой! Гей, хто там?

— Партизаны! З Украины! Где тут Щорс?

— Выходи! — приказал Петро.

Вышедшие из кустов, мокрые, с воспаленными от бессонницы глазами, босые, плохо одетые парни предстали перед часовыми. Казалось, смерть еще кружилась над их головами. Радость достигнутой цели еще не засветилась ни на одном лице. Только один из них, самый молодой, оглянулся в сторону Украины с удивлением и тем особым чувством отрешенности, которую переживают раз в жизни простые юноши, озаренные высокой идеей освобождения. Украина была во мгле.

— Документы!

— Документы у нас, товарищ, разные,— сказал партизан, человек лет сорока, и, по-видимому, старший.— Есть гетманские, петлюровские, немецкие. У меня немецкий.

— Показывай!

Партизан отодрал от спины мокрую сорочку и повернулся спиной к часовому. Вся спина была исполосована шомполами.

— Читай!

— Проходи... Стой! — кричал Нещадименко в темноту.

— Хто йде? — кричал часовой на другом посту.

Далеко-далеко частил пулемет.

— До Щорса на вечерю! Полтавские!

— Проходите, галушники!

— А ты який?

— Уманский!

— Уманский дурень... Галушки нимець доедает. Здравствуйте.

— Здоров.

Над «пограничной» рекой Гордеевкой — вербы, лозы, туман и пулеметный рокот.

Партизанская конница выплывала на берег.

Уносило за водой убитого. Конница уходила в кусты.

Рассвело. Группа партизан стояла перед небольшим домиком на станции Унеча.

— Смирно! Командир Богунского полка товарищ Щорс!

Партизаны затихли. Многие по старой военной привычке поправили свои убогие костюмы.

— Здорово, товарищи!

— Здоров, товарищ! Доброго здоровья!

— Каким ветром принесло? Откуда?

— Витром з Украины... витром да дымом.

— Битые?

— Битые и смаженные. Ось подывысь.

— Красота!

Щорс стоял у деревянного крыльца и улыбался, что привело в немалое изумление партизан. В темные ночи, туманными болотами и ярами пробирались они к Щорсу из разных задымленных сел, преследуемые гайдамаками и немцами. Не один из них покидал на трудном пути убитых и тяжко раненных товарищей и братьев, унося свою страсть и гнев. Куда? К Щорсу. Ему, командиру большевиков, показать свои шрамы, перечислить все

бедствия народа, рассказать о переполненных тюрьмах, расстрелах, грабежах, о выжженных панами селах, о растленных сестрах и замученных братьях. Рассказать всю правду о подавляемых восстаниях лучших сынов Украины, да так рассказать, чтобы кровь застучала у него в висках, чтоб глаза заметали искры, чтоб пронзил он шпорами своего горячего коня и, потрясая саблей, закричал на весь мир!

Среднего роста, сухой, но крепкий двадцатитрехлетний юноша с русой аккуратной бородкой, которая на первый взгляд его немного старила, Щорс стоял перед партизанами без коня и меча, с одним лишь маленьким браунингом у пояса, в кожаной тужурке и улыбался. Большие серые глаза его искрились не гневом и яростью, а легкой иронией, а в тихом голосе звучала явная насмешка:

— Да. Так, говорите, здорово намяли вам немцы и гайдамаки потылыци?

— Да, здорово, что говорить...

— Бежали небось так, что небу жарко стало!

— А вы не смейтесь!

— А вы не плачьте.

— Не плакать? — партизан сорвал сорочку и показал Щорсу исполосованную шомполами спину.

— Вижу. Спрячь. Тут все такие. Тут нет простых людей. Тут все знаменитые. У каждого расписана спина, следы петли на шее, повешенный батько, убитый брат или спаленная хата.

Щорс говорил об этих вещах тихо и совершенно спокойно и вдруг в одно мгновение совершенно преобразился:

— На белый террор ответим красным террором! — Голос Щорса зазвенел как металл, глаза сверкнули гневом. Бойцы узнали командира.

— Так когда же?

— Скоро.

— Ведите нас завтра, сегодня!

— Сегодня вы отдыхайте,— улыбнулся снова Щорс,— а завтра пойдете маршировать по всем правилам военной дисциплины.

Щорс собрался было уходить, но в это время к нему быстро подошел здоровый молодой партизан, представитель другой новоприбывшей группы.

— По приказу повстанкома прибыл в ваше распоряжение из Черниговщины с партизанским отрядом в сто семьдесят семь человек. Насилу пролез.

— Ой хорошо! Ой хорошо! Да это же целый полк. И народ хороший? — просиял Щорс.

— Ничего. Так, человек пять разве...

— Покажите.

— Партизаны, смирно!

Сопровождаемый двумя командирами, Щорс подошел к новому партизанскому отряду.

— Здоро́во, товарищи! Я Щорс — командир полка.

— Здоро́во! Здравия желаем! Доброго здоровья! — загудели партизаны.

Щорс на мгновение замер, всматриваясь в лица. Огромный старик — партизан Прокопенко — вдруг сделал такое, что и описать неудобно. Стоял он смирно, как старый гвардеец, подчеркнуто вытянувшись, пожалуй, лучше всех, но годы и забывчивость взяли свое. Одним словом, Прокопенко начал вдруг кивать Щорсу пальцем, явно подзывая его к себе. Щорс подошел:

— Что скажете?

— Ты смотри мне, командуй!

— Ладно, постараюсь,— ответил Щорс.

— Чтоб порядок был, слышишь? Чуть кто не так — под ноготь.

— Обязательно,— засмеялся Щорс и весело пошел вдоль шеренги.

— Режима захотел, старый черт,— не удержался рябой, с недобрым ртом парень.

— Без режима не проживешь! — сердито заворчал Прокопенко.

— Чудный дед,— сказал Щорс, оглядываясь издали на старика.

— Сына и невестку повесили,— пояснил Тищенко.

— Да... горит Украина, горит,— сказал Щорс, останавливаясь, и еще раз грустно посмотрел на старика.— Сыновья повешены. В чем же дело? А в том, что мелкими партизанскими отрядами врага не уничтожить. Не выходит, товарищи.

— Что-то надо делать! — громко вздохнул Прокопенко, почувствовав в словах Щорса человеческое сочувствие своему горю.

— Армию! Красную Армию надо! — сказал Щорс.— Был я в Сибири на Чехословацком фронте. Там тоже партизанили. Плохо. А потом объединились в армию да рабочие из центра России подошли — совсем другие дела. Теперь беляки попрыгают! Вот такую армию мы вместе с вами и будем строить. Те, кто поступают в полк, должны научиться хорошо владеть оружием и понимать

политику Коммунистической партии. Только при этих условиях мы будем страшны для врагов. Товарищ Ленин говорит: «Человечество вступило в эру великих гражданских боев...» Теперь, кто женат, забудь про жену и детей, кто не женат, оставь отца и мать и забудь все на свете... Нужно победить, товарищи, нужно победить! Выгоним врага из нашей земли и построим себе такую прекрасную жизнь, такую яркую и радостную, как мечта... Подумайте и ответьте мне завтра... Разместить людей! — приказал Щорс адъютанту и быстро ушел.

В темном переулке стояла группа партизан.

— Я вас спрашиваю, революция была или не была? Была. А что получается? Маршировка, кандёр,— быстро шептал вертлявый парень Рогов.

— А почему?

— Спроси социалистов-революционеров, узнаешь почему. Старый режим заводят. Кто такой Щорс? Царский полковник!

Рогову явно сочувствовали.

— И сам на царя похож, гад. Бородку завел, точь-в-точь Николай.

— Да. Сегодня прихожу в околоток к сестре,— продолжал Рогов,— а он тут. Сразу мне градусник и давай меня симулировать. У тебя, говорит, кровь нормальная пульсирует. Слышали? Что кровь, говорю? Кровь, говорю, здоровая, а болен я животом да дыханьем. Выгнал, братцы!.. Я к нашему командиру Недоливку, так и так, говорю, а он мне, братцы, тише, говорит, Рогов, радио извещает, что вчерась в Петрограде рабочие большевиков свергли.

— Врешь!

— Вот те Христос! Паек, жалованье прибавляют и выборное начало. А кто его выбирал? Вчера в трибунале Ивашка расстреляли. За что? За какой-нибудь золотой портсигар!

— Это который у артиста забрали?

— Да.

— Портсигара ему жалко для революции!

— Говорят, немцы за его голову сто тысяч дают...— послышался шепот.

— Тише!..

Щорс вошел в штаб в необычайном волнении. Человек пятнадцать командиров поднялись навстречу.

— Ну, товарищи, держись! — сказал он, потрясая телеграммой.

— Что такое? — спросил комбат Кащеев.

— Угадайте.

— Гетмана убили!

— Бери выше.

— Петлюру!

— Выше! — улыбается Щорс.

— Убили Колчака!

— Выше!.. Почему обязательно убили?.. Ну?

— Обмундирование прислали!

— Нет!

— Сапоги!

— Нет!

— Ну, что же еще могут прислать? — задумался вслух один из командиров.

— Никто?.. Эх вы — революция в Германии!

Командиры молчали. Это сообщение, казалось, не доходило сразу до их сознания.

— Повторяю,— сиял Щорс,— в Германии революция! Теперь мы с немцами заговорим по-другому. Вот, читайте: кайзер Вильгельм низвергнут с престола!..

Все офицеры жмеринского германского гарнизона замерли, когда в приемную вошел главнокомандующий германо-австрийскими силами на Украине генерал Гофман.

— Офицеры,— сказал главнокомандующий, и холодная дрожь пробежала по офицерским спинам, так неузнаваемы были голос генерала и вся его тучная осевшая фигура.— Офицеры, императора нет. Наша империя пала под напором революционных сил. Вот пока все... Катастрофу надо скрыть от низших чинов... Помните, никогда судьба нашего отечества не зависела так от Украины, как сейчас. Отечество должно кушать, господа офицеры. Поэтому Украину надо удержать любой ценой.

Вдруг затрещала дверь, и в кабинет буквально вломились три солдата:

— Эксцеленц! Мы делегаты...

Генерал прервал солдатскую речь коротким повелительным движением руки:

— С момента появления на этом пороге вы — арестанты, которым надлежит быть расстрелянными через пять минут!

Офицеры окружили солдат.

— Говорите перед смертью, что вы имели сказать.

— Мы...

— Кто мы?

— ...вверенные вам войска Германии, узнали...

— От кого?

— ...от украинских большевиков о революции в Германии. Извольте, эксцеленц, немедленно отправить армию на родину.

— Это что, бунт? — обратился Гофман к офицерам.

— Это не бунт! — кричат делегаты.— На чем здесь держался гетман? На штыках кайзера. Вспомните, эксцеленц, мы погибнем здесь все!..

— Это не ваше дело.

— Нет, это наше дело! — сказали солдаты в один голос.

— Довольно, мерзавцы! Вы изменили самому высокому, что только есть на свете,— алтарю отечества.

— Алтаря отечества у нас нет. Алтарь отечества завален нашими трупами, залит нашей кровью!..

— Замолчать!.. Взять их!

Офицеры начали оттеснять солдат в угол. Но один из солдат вдруг вскочил на окно, разбил его кулаком и крикнул:

— Огонь!

В одно мгновение все окна разлетелись от пулеметного огня. Офицеры были перебиты, а генерал Гофман поднят на штыки своими солдатами.

Щорс закончил напутственную речь небольшой группе делегатов, посылаемых во главе с Михайлюком для переговоров с немцами. Распоряжения командирам частей также даны и усвоены. Щорс взволнован и весь искрится радостью.

— Советская Украина подымет знамя освободительной отечественной войны. Так, Михайлюк, и передай немцам. Передай еще, что Россия и Ленин с нами и что гетману все равно смерть.

— Есть смерть!

— Значит, наступаем. Да, Михайлюк, помни, когда будешь договариваться с немцами, обходи офицеров. Прорывайся, где только можешь, к солдатским массам и крой до бога. Только, пожалуйста, поменьше крепких слов. Помни, что ты дипломат.

— Командир Богунского полка товарищ Щорс? — раздался вдруг неприветливый голос с порога.

Вошедший не был похож на командиров и политработников полка. В самом появлении и во властной настойчивости вопроса чувствовался приезжий издалека, незнакомый и немного отчужденный.

— Пожалуйста,— ответил Щорс и протянул вошедшему руку.

— Инспектор штаба армии Вурм.

— Как?

— Вурм. Бертольд Вурм.

— Так,— согласился Щорс.— Чаю хотите? Только без сахара. Вот мои командиры.

Вошедший чаю не пожелал и сразу перешел к делу:

— На каком основании вы не выполнили приказа наркомвоена? Я вас отдам под суд!

— Никакого приказа наркомвоена я не получал.

— Как не получали? Приказ был послан украинскому правительству, и вы должны были его получить неделю тому назад.

— Приказ наркомвоена от украинского правительства я не получал,— удивился Щорс, и нельзя было понять, прикидывается ли он или действительно приказ пропал.

— Ах вот как! Понимаю. Впрочем, в штабе это предвидели. Вот копия приказа.

Щорс разорвал конверт:

— Разрешите огласить?

— Прошу.

Щорс быстро прочел пункты приказа, не относящиеся непосредственно к его полку, и после краткой паузы произнес громко:

— «...командиру Богунского полка немедленно погрузиться и направиться на Колчаковский фронт. Пункт назначения — город Самара».

Щорс сложил бумажку, передал ее начальнику штаба и начал быстро ходить по комнате.

— Интересно. Очень интересно,— повторял он тихо, всматриваясь в Вурма.— Я должен подумать!

— Пожалуйста,— недовольно ответил Вурм.— У вас на Украине очень много думают.

— Да, да, это очень важно,— сказал Щорс и снова зашагал по штабу.

Командиры стояли молча в ожидании развязки. Некоторые тихо перешептывались, враждебно поглядывая на Вурма. Вурм это чувствовал, и ему стало не по себе.

— А скажите, товарищ, как же будет с Украиной? Пускай горит? — обратился к нему комбат Кащеев.

— Что значит горит? — спросил Вурм.

— Вы не знаете, что делаете! Народ восстает против гетмана и Петлюры. Немцы грабят. Неужели дадим и дальше грабить страну?! — взволновались командиры.

— На Колчака? Да вы знаете, что до Самары половина полка разбежится? Ведь люди пришли за помощью. Украину освобождать надо!

— Почему Украину? А Сибирь — это что? — горячился Вурм.

— Знаем, знаем... Почему? — рассердился молодой политком Тышлер.— Потому что для революции Украина важнее!

— Это не ваше дело.

— Нет, это наше дело!

— Неверно,— сказал Щорс и подошел к Тышлеру. Командиры умолкли.— Сибирь так же важна для революции, как и Украина. «Для революции Украина важнее...» Ох и балда ты, а еще политком! — Он подошел к Вурму.— А наступать все-таки будем на Украину.

— Почему?

— Потому что верим в народ и победу. А впрочем, сегодня спрошу об этом Ленина.

Вурм побледнел:

— Ах так!

— Да.

— Запомните,— сказал Вурм и унесся из штаба.

Щорс посмотрел в сторону двери и вдруг, широко взмахнув руками, весь просиял:

— Кого я вижу! Батько, партизанский Илья Муромец! Хлопцы, батько Боженко, командир Таращанского полка. Кто не знаком, знакомьтесь.— На пороге стоял Боженко.

Василия Назаровича Боженко любили все, кто не дорожил собственной жизнью для революции. Но вместе с любовью к нему относились с тем чувством незлобивой снисходительности и даже легкой иронии, с которым грубоватая молодежь относилась к старым заслуженным командирам, не умеющим или не желающим скрывать свои человеческие слабости. В пятьдесят четыре года начинать с мальчишками революцию да еще командовать полком, не зная карты,— это не шутка. Лета, лета, каких только заплат не накладываете вы на человеческую свитку!.. Одним словом, батько Боженко любил почет и горилку, а иногда мог и нагайкой погладить. За что? За трусость, за нерадивость в революционном боевом деле. Батько был силен, горласт и безгранично храбр. Таращанцы его обожали.

— А ну, выйдите с хаты! — ответил он на приветствия молодых командиров. Командиры заулыбались.— Выйдите с хаты, кажу вам! Что за народ, ей-богу. Куды ни повернись, роями летають.

Командиры ушли. Убедившись, что, кроме Щорса, в штабе никого не осталось, Боженко уселся с Щорсом на диван. Посмотрев на Щорса хитрым, испытующим взглядом и помолчав немного, он спросил тихо, стараясь придать голосу самые нежные интонации:

— Микола, ты ничего не слыхал?

Щорс. Ни. А что?

Боженко. Так-таки ничего?

Щорс. Нет.

Боженко. Э, мальчишки, и больше ничего. В солдатики играете. Революция в Германии! Чув?

Щорс. Не может быть!

Боженко. Чего ж не може? Рабочих сколько погубили, да не може. Тоже командир!..

Щорс не выдержал игры и начал смеяться.

Боженко *(засмеявшись)*. Да ты все знаешь, падлюка! Чего ж ты меня морочишь?

Щорс. Одним словом, батько, чарочку придется забыть.

Боженко *(рассердившись)*. Чарочку? При чем тут чарочка? Я тебя про германську революцию спрашую.

Щорс. Вот я про это и говорю. Конечно, ни капли! Понял?

Боженко *(ужаснувшись)*. Коля, что ты? Боже сохрани!

Щорс. Верю, верю. Сейчас же поезжай в Погар и жди приказа правительства в полной боевой готовности. Пойдешь наступать на Киев, через Бахмач — Нежин.

Боженко. Давно готовы. И так уж сдержать невозможно... Ну, бувай... *(Остановившись у порога, Боженко оглянулся и с умилением покивал головой.)* Ох и разумный же ты хлопец, Микола! То есть не то что рюмочки, капельки никто не побачит. Шкуры здиратыму! Бувай!.. *(Хлопнула дверь. Голос из сеней.)* Що за народ, ей-богу! Куды ни повернись, тиснота!

Боженко ушел. Щорс сел за стол и стал работать. Стемнело. Вдруг за окном началась беспорядочная стрельба. Щорс вынул наган и положил на стол. Вдруг открывается дверь и в комнату врываются четыре вооруженных партизана с Роговым во главе.

— Товарищ командир, ваши документы!

— Как вы здесь очутились? Ведь я же вас недав-

но арестовал,— спокойно сказал Щорс, не поднимая головы.

— Нас выпустили, господин полковник. Вы арестованы,— очень деликатно сказал один из молодцов, тут же цапнув со стола наган.

— Уйдите сейчас же и сядьте в тюрьму. Слышите?

Стрельба на улице не прекращалась. Кто-то постучал прикладом в закрытую ставню.

— Ну-ну-ну! Вы окружены!

— Ладно,— сказал Щорс, поднимаясь из-за стола,— вот документы.

Подойдя к шкафу, Щорс открыл его и, мгновенно схватив бомбу, повернулся к храброй четверке:

— Вон!

Молодчики шарахнулись в дверь.

— Это все пулеметная рота,— говорил на другой день Щорс командирам Зубову, Жихареву и Гавриченко.

— Там у них умники собрались,— подтвердил Гавриченко.

— Да. Вот их гетманские шпионы и обработали. Это вам наука. Я предупреждал. Кстати, Рогова поймали?

— Удрал, гад,— ответил Зубов.

— Жаль,— сказал Щорс и вдруг рассмеялся.— Ох и пугнул же я их! «Вон!» — говорю, а бомба без капсюля.

— Прости, Николай. Уже почистили. Тридцать человек выгнали из полка и десять отправили в трибунал,— сказал Тышлер.

— Да, но это не всё. Нужно избавить наших бойцов от неустойчивых, трусов, слюнтяев. Поймите, на днях выступаем на великое дело. Вот написал для всех присягу-клятву на верность. Почитайте и обдумайте. Соберите весь полк до одного человека. Предупредите бойцов, что присяга будет не обрядом, а человеческой, гражданской клятвой бойца революции.

Весь Богунский полк стоял на путях перед скромным вокзалом Унечи. Командиры выстроились впереди.

Щорс вынул лист бумаги и его расправил. Бойцы застыли.

— Я, сын трудового народа, добровольно вступаю в ряды Первого Украинского повстанческого имени казака Богуна полка! — раздался громкий торжественный голос Щорса.— Не щадя своей жизни, я обязуюсь бороться против гетмана!..

— Против гетмана! — повторил полк.
— Петлюры!..
— Петлюры!..
— ...немецких оккупантов!
— ...оккупантов!
— ...за освобождение Украины!
— ...Украины!
— ...от гнета капитализма!
— ...капитализма!
— Клянусь своей честью! — звенел голос Щорса в высоком незабываемом волнении.
И полк поклялся честью.
— ...жизнью!
И бойцы поклялись жизнью.
— ...оберегать достоинство Богунского полка!
— Богунского полка! — прогремели бойцы.
— Если я на своем боевом посту обижу бедного, украду, ограблю, убью...
— ...убью...
— Если я не буду выполнять распоряжений моего начальства и окажусь трусом, пьяницей и дезертиром...
— ...пьяницей и дезертиром...
— ...я подлежу расстрелу, как изменник!
— ...изменник...
— ...предатель.
— ...предатель.
— ...и враг!
— ...враг!
— Поберегитесь! — раздались крики с немецкой стороны. Бойцы оглянулись.
К станции подходил паровоз. На тендере возвращался Михайлюк с делегацией.
— Поберегитесь! Международный экспресс!
Щорс подошел к паровозу:
— Здоро́во, дипломаты! Здорово, наркоминдел! Как поживает революционное немецкое офицерство?
Михайлюк. Гады!..
Брилов. Забаррикадировались сукины сыны меньшевистским совдепом, и никаких.
Щорс. Как солдаты?
Брилов. Говорить можно, но трудно добраться до солдатской массы.
Михайлюк. Только штыком.
Щорс. Ну и дурак! Ты очень мало видел, потому так решителен.

Михайлюк. Да я пробовал брататься, понимаешь? Не дают.

Щорс. Ладно, я с ними сам побратаюсь. Гавриченко!

Гавриченко. Есть!

Щорс. На село Лышичи. Приготовить население к выступлению нашего полка и братанию с немецкими солдатами. Нещадименко!

Нещадименко. Есть!

Щорс. Двинуть Богунский полк в Лышичи и вместе с населением двинуться дальше, на немецкие окопы. Ни единого выстрела. Плакаты, лозунги, музыка!

Село Лышичи. Из села выходит Богунский полк. Вслед за ним выходит народ — мужчины, женщины, дети.

Над народом красные знамена. Впереди полка командиры и гармонисты.

Необычайное шествие приблизилось к густым проволочным заграждениям немецких оккупантов. Забегали у рогаток караулы. Побежали к пулеметным гнездам пулеметчики. Заволновались офицеры. Послышались свистки команды.

А народ уже у рогатки. Народ уже качает немецких часовых.

— Да здравствует революция! Да здравствует революция!— кричит часовой, взлетая над народной массой.

Народ прорвал рогатки и идет между окопами и густыми рядами проволоки. И уже не один, а несколько немецких часовых взлетают над могучими руками трудящихся. Закричали «ура» немецкие пулеметчики.

Но вот между народом и оккупантами стал немецкий полковник.

— Кто вы такие? И что вам здесь нужно? С какой просьбой вы сюда пришли?

— Кто мы такие, вы знаете, — громко ответил Щорс и вплотную подошел к полковнику. — А пришли мы поздравить ваших солдат с революцией в Германии, о чем вы знаете и боитесь сказать солдатам.

Полковник побледнел:

— Приказа о революции в Германии я не получал. Я вам запрещаю так говорить со мной.

— Мне с вами говорить не о чем. Кто вас просил сюда? Какие прохвосты вас сюда привели? Прочь с до-

роги! Товарищи солдаты немецкой армии... — крикнул Щорс, обращаясь к солдатам по-немецки.

Загремело «ура» и «хох».

Щорс уже на трибуне. На трибуне под красным знаменем Данилюк, Осипов, Черняк, Гавриченко. Вокруг трибуны масса детворы, одетой как попало. Наиболее смелые из мальцов забрались даже на трибуну и расположились у ног командира.

— Товарищи богунцы, — начал Щорс, — поздравляю со вступлением на родную украинскую землю!

Богунцы крикнули «ура».

— Поздравляю с началом побед! — продолжал Щорс. — Немцы уходят в Германию без оружия. Оружия не дадим!

— Не давайте, дядьку, не давайте! — кричали мальцы.

— Тише, ребята... Дадим им, товарищи, сала на дорогу!

— Не давайте! Нема сала! — кричали дети.

Щорс взволнован необычайно. Богунцы слушают его с восторгом и гордостью. Казалось, он не говорит, а горит и слова разлетаются от него, как искры, и где бы уже впоследствии ни бились богунцы, в каких бы госпиталях ни залечивали свои раны, как бы ни умирали и какие бы высокие и невысокие посты ни занимали после гражданских битв, никому уже и никогда не забыть, каким был в этот миг Николай Щорс.

— Мы здесь, хлопцы! Мы на родине! Есть ли на свете сила, могущая остановить нашу силу?! Нет!

— Нет! — прокатилось могучее эхо.

— Пусть же не думают наши враги, что мы одни. Мы только передовой отряд великого большевистского наступления. Да здравствует гражданская война! Да здравствует народный гнев, бесстрашие и победа! Да здравствует Ленин!

— Церемониальным маршем!.. — раздалась команда.

Стройными рядами двинулись богунцы мимо любимого командира. За богунцами прошел немецкий полк с красными знаменами, лозунгами, оркестром и барабанами. Солдаты плакали и кричали «хох».

— Поздравляю товарищей немцев с революцией!

— Ага, перепугались?! Боитесь! — кричали дети и колотили проходящих немцев по стальным каскам.

— Уходите на родину! Бейте свою буржуазию и меньшевиков-предателей! Да здравствует мировая революция!

— Ура! Хох! Хох!— кричали немцы.

За немцами проходили крестьяне, и Щорс поздравлял их с освобождением Украины от ненавистного немецкого ярма.

Однако, подстрекаемые гетманским командованием и клинцовскими фабрикантами, немцы все же выступили против Щорса, и тогда ночью богунцы опрокинули под откос четыре немецких эшелона, и даже дед Прокопенко понял, что история возвела его в высокий сан гневного судьи. Всю ночь честно, по мере сил своих, выполнял он с молодежью свои приговоры, разбивая немецкие каски прикладом своей трехлинейной винтовки тульско-оружейного завода.

Когда наступил синий рассвет, богунцев уже не было. Они ушли дальше, оставив опрокинутые немецкие эшелоны и присыпанные первым предрассветным снежком трупы...

Снежные черниговские равнины были особенно нарядны в прекрасное морозное утро, когда богунский полк мчался по ним прямо к самому Чернигову, старейшему городу Украины.

Кружились села справа и слева. Покрытые инеем сельские сады и рощи искрились на солнце, как в цвету.

Иней выровнял масть богунских коней. Они мчались бодрой рысью, все чалые, и только клубы белого пара над ними говорили о долгом пути.

Обоз был большой. Его хвост уходил далеко в снежную даль, а впереди мчались всадники.

И еще две большие группы всадников мчались на параллельных курсах. Конная разведка летела крупным галопом. На снежных буграх стояли темными статуями конные связисты.

А где-то совсем впереди уходили чужие всадники, припадая к седлам.

Щорс любил верховую езду и хороших коней. Его радовало морозное утро и какой-то особый радостный ритм, ощущавшийся в каждом скрипе седла и в каждом дыхании товарищей.

— Предупреждаю еще раз, — весело говорил Щорс командирам,— в Чернигове у врага силы громадные.

— Ерунда! — кричал комбат Кащеев.

— Погоди, погоди, будет тебе ерунда. Перед нами цвет гетманской армии, корпус генерала Терешкевича. Будьте уверены, встретят с музыкой.

— Да разве богунцы спрашивали, сколько врага? Спрашивали, где враг? — крикнул Черняк.

— Вот это разговор! — сказал Щорс. — Чернигов надо взять быстро и весело. Кащеев!

— Есть!

— В обход правым флангом! Занять с первым и третьим батальонами позицию у моста. Чтоб ни одна живая собака не выскочила на Киев!

— Есть!.. Первый батальон!.. — кричал Кащеев, отваливаясь на лету вправо.

— Антонюк!

— Есть!

— Левая сторона в обход. Подтянуть батальон! Рысью!

— Нещадименко! Пойдешь в лоб. Второй батальон!

— Арш! — кричал Кащеев, уводя обоз вправо.

— Третий батальон!

Щорс стоял у дороги, и мимо него проносились вперед, вправо и влево богунцы.

— Поздравляю с Черниговом! Бойцы, героической смерти не бойтесь! Не бойтесь героической смерти, хлопцы!

— Ура! — кричали богунцы, проносясь мимо командира. У коней дымились горячие ноздри. И хлопцы тоже дымились, казалось, не от мороза, а от сильного внутреннего накала. Блистали сабли.

Зазвонили сто пятьдесят черниговских колоколов. Гетманцы засыпали город пулеметным дождем с крыш и звонниц.

Стаи перепуганных ворон кружились над золотыми крестами, а по главной улице шла синежупанская дивизия, огромная и уверенная. Играл оркестр.

Пятнадцать всадников летели навстречу дивизии. И, остановившись неожиданно, буквально скатившись с лошадей, ударили по дивизии из пятнадцати ручных пулеметов, расстроив все ее нервы в одно мгновение.

— Пане атамане, дивизия в мешке! Дозвольте кинуть резервный полк! — кричал растерянный полковник генералу Терешкевичу.

— Дозволяю! — заревел Терешкевич. — Полковник Кучеренко! Кинуть бронемашины в огонь!

Но было уже не до машин. На улицу ворвалась богунская кавалерия и врезалась прямо в ряды синежупанников.

— Ложись, ложись! — кричал Щорс группе богунцев, выскочивших на пустую улицу. Пулеметчики упали.

— Пожарники, поливай! — крикнул Щорс, и все десять «льюисов» шарахнули по гетманцам, напиравшим

густой волной из-за угла. Гетманцы попадали. Упал даже перебегавший дорогу гетманский оркестр. Дрожали серебряные трубы.

— Оркестр, встать! — крикнул Гавриченко оркестру. Оркестр поднялся. — Кругом!

Оркестр повернулся.

— «Интернационал», сукины сыны! Вперед!

Оркестр грянул «Интернационал».

Город взят. Щорс уже на том самом мосту, через который бежали гетманские недобитки на Киев.

— Слушайте! Гей вы, панове гетманцы! — кричал Щорс кучке гетманских парламентеров. — Довольно бегать! Нам осточертело за вами гоняться. Давайте уж биться или расходитесь по домам, к чертям!

— Да сколько же вас там есть, злодияки? — кричали гетманцы.

— Сейчас покажу! — И Щорс махнул рукой.

Шестьсот богунцев бросились к Десне и быстро побежали по льду. Гетманские пулеметы, расположенные на высоком берегу за буграми, не могли обстреливать наступающих.

Двадцать километров гнались богунцы за бегущими гетманцами. Артиллерия обогнала пехоту и первой ворвалась в село.

На полном карьере вылетела богунская батарея на сельскую площадь и, быстро установив орудие, открыла огонь.

Пехотные цепи заняли дворы. Конная разведка неслась вдоль улицы и топтала врагов, увязавших под плетнями в снежных сугробах.

Некоторым удалось перелезть в огороды, и они бежали из села вдогонку отступающим главным своим силам. Другие прятались в чужие сени и хаты. Но и там их настигала животворящая гражданская война. Рубились в сенях и хатах. Жизнь обнималась со смертью в этот чудный день. Все воевало, даже свадьба включилась в войну.

Четыре пароконки с колокольчиками на дугах, с рушниками, привязанными к оглоблям саней, четверо саней, переполненных пирующим народом, искали выхода, летя прямо мимо пулемета на площадь.

Пели бабы:

Ой коні, коні-ведмеді,
Чи надіятесь на силу,
Чи довезете дружину.
Наша дружина неважка —

Восьмеро коней ледве йдуть,
Калинові мосточки в землю гнуть.

— Годи вам воевать! — кричала веселая молодица.— Повбиваетесь, дивчата зачахнуть!

— Не вычахнуть. Готуйте подушки! — кричали богунцы.

— Трубка ноль семь! — приказал командир батареи Чиж.

Обоз остановился.

— Стой, не стреляй! Дай проихать от до тией хаты! — кричал дружка.

Невеста сошла с саней.

— Просили батько и маты, и я прошу, и увесь рид наш просыть, не цурайтеся одвидаты наше весилля, — сказала невеста в радостном волнении и трижды поклонилась командиру батареи.

— Приедем обязательно!.. Огонь! — весело закричал Петро.

...Грянула батарея. Свадьба рванулась и помчалась черт знает куда.

Кучерявий возниче,
Кучерявий возниче,
Поганяй коні швидше,
Не дивись, що я плачу,
Бо я батьків двір бачу.
Як свекрів побачу,
Ще й гірше заплачу.

— Ура-а! — кричали всадники справа и слева.

Жених и невеста, и дружки, и почтенные соседи сидели за столом. А кому не хватало места за столом, те сидели на лавках, на скрыне, на полу и даже на запечке. А дети сидели на печке и смотрели оттуда на пир. Словом, народу было много. Мать подносила гостям горилку. По доброму украинскому обычаю гости отказывались, а мать ласково упрашивала.

Вдруг в хату влетел вихрь — втанцевали прямо с улицы богунцы, человек двенадцать.

И вот тут, когда стукнули гопака прямо с боя, да когда начали откалывать самые невиданные коленца, да бренчать шпорами так, что на столах горилка захлюпала, да когда с гиком и саблей один налетел на семерых, отбивая все семь сабель, и когда даже девчата этого не выдержали, — тогда Павло Ткач, первый скептик на селе, сказал своей жене:

— От теперь я бачу, що Петлюре конец.

— Поздравляем молодых и весь честный народ! Однако позвольте спросить, за какую власть вы пьете на

этой свадьбе? Отвечай, молодый! — обратился после танца к жениху командир батареи богунец Петро Чиж.

— Мы люди нейтральные,— ответил за жениха дружка Ткач. — Нас, так сказать, кто завоюе, того й будемо.

— Так, — ответил богунец, — понимаю. А может быть, вы лжете перед лицом революции? Может быть, вы кулаки?

— Ни! — закричало весилля. — Какие мы кулаки, когда у нас немцы да гайдамаки полсела спалили!

— Так, — не унимался Чиж. — А не есть ли это какая-нибудь нахальная свадьба? Может быть, ты силой взял бедную красивую дивчину? — рассердился Чиж, глядя на жениха. — Может, ты ее и не любишь совсем? Га? За что воюем, я тебя спрашиваю? За что кровь проливаем? За любовь! За уважение! Товарищи, жениться нужно по любви, а не крутить дивчат попом да приданым!.. Товарищи, поверьте мне, и тогда жизнь будет прекрасна, от, ей же богу, правда! — И богунец ударил себя в грудь.

— Ой, правда, сынок! — заголосила вдруг подвыпившая Ткачиха. — Вышла я замуж за своего сукиного сына, — баба ударила в плечо Ткача, — погубила свою жизнь, высохла вся, и мозг мой высох в работе, в побоях, в недобрых словах, в темноте. И все думала, как же краше на свете жить?.. Вот так, как он говорит. А, проклятый!..

Ткачиха еще раз толкнула своего повелителя:

— Хлопцы, расстреляйте его!

— Поздно! — засмеялись богунцы.

— Так, может, побили б?! Хоть один раз! Голубчики мои! И чтоб я видела. Или на вийну взяли.

Вот какие высокие разговоры пришлось услышать невесте, прекрасной дивчине Насте, уже повенчанной и перевезенной к своему повелителю вместе со скрыней, наполненной вышитыми рушниками, полотном и прочей мелочью.

— Вот она, наша правда,— сказал Щорс, войдя в хату с тремя командирами. — Вышли в поход, сколько нас было? Сколько боев выдержали? А смотрите, сколько сейчас! В десять раз больше. А сколько еще будет друзей впереди!.. Доброго здоровья!

— Здравствуйте, — ответили гости.

— Пусти! — сказала вдруг Настя своему жениху и встала из-за стола.

Бросились к ней мать и подружки:

— Настя, Настя, что с тобой?

— Пустите, маты! — крикнула Настя уже другим голосом и подошла к командиру батареи Чижу. Гордая и откровенная, словно пробудившаяся от долгого сна заколдованная царевна, стала она перед героем.

— Возьми меня с собой и будь моим мужем. Я полюбила тебя сразу, как только увидела у орудия. Я буду биться рядом с тобой до смерти, — сказала она, глядя ему в глаза, и вдруг поцеловала. — Как тебя зовут?

— Петро, — тихо ответил Чиж.

В хате настала тишина.

— Это нахальство! — закричал жених, готовый заплакать.

— Геть, нейтральный, не жинка я тебе! Ты никакой, не холодный и не горячий. Шел бы хоть к гетману, ничтожный человек!

Чиж посмотрел на Щорса в смятении.

— Бери, хлопче. Добра дивчина. Узнаю кровь!

— Берите и нас! — закричал красивый молодой парубок с большим красивым чубом и с цветами в петлице.

— А вы кто? — спросил Щорс.

— Бояре, — вежливо ответил парень, показывая на пятерку таких же учтивых и приятных парней.

— Хорошо, — согласился Щорс. — Но помните: биться, так биться до победы. Жалованья не платим, мяса нет, хлеба по полфунта. А за грабеж и водку — расстрел.

— Согласны, — скромно сказали парни. — Вы только скажите нам, батько Щорс...

— Какой я тебе батько? Что за батько? Командир Богунского полка товарищ Щорс!

Парни слегка смутились и не знали, что отвечать.

— Вот это мой крутолобый змей стоит, — обратилась к Щорсу старая Ткачиха, указывая на одного из парней. — Так ты его бей прямо моей рукой!

Щорс улыбнулся.

— Вы, товарищ командир, расскажите нам ясно, что надо, и тогда мы для вас сделаем всё. Только матери не слушайте, — сказал молодой «змей» Ткач.

— Не для меня, а для революции, — сказал Щорс и сел у печки. — Помните, ребята, фронт большой, и каждый день неожиданности. Каждый городишко, что мы будем брать, готов превратиться в осажденную крепость, каждый дом — в засаду, каждый чердак — в пулеметное гнездо. Это и есть лицо гражданской войны. Поняли?

— Поняли.

— Но все равно мы Петлюру и панов уничтожим. Мы этого хотим. Понятно?

— Понятно.

— И мы это сделаем. Понятно?

— Понятно.

— Это я вам говорю. А мне сказал Ленин, великий наш учитель. Понятно?

— Понятно.

— Поэтому не бойтесь смерти. Ваши героические имена никогда не забудутся человечеством. Понятно?

— Да.

— Но если вы когда-нибудь обидите бедного, украдете, ограбите, если вы будете пьяницами, трусами или дезертирами, — я уничтожу вас, как предателей. Понятно?

— Понятно.

— Как изменников и негодяев. Понятно?

— Понятно.

— Всё. Проститесь хорошо с родными. Выступаем через час.

Матери! Щорс стоит на площади! Уже спешат к нему ваши ненаглядные дети. И никому уже и ничему не остановить их. Не удержат уже их ни слезы ваши, ни девичья нежность сестер, ни грозные взгляды отцов. Оторвутся они от вас внезапно, скроются в снежной метели и понесут знамя истории по всему свету. И кто падет, когда, под каким городом, кто будет прославлен, чье имя прогремит в веках, не скоро услышите драгоценные вести. И не одной из вас суждено, надо думать, стоять у ворот в осенние, летние, зимние ночи и, вглядываясь в темноту и слыша голоса, долгие годы спрашивать идущих вперед: «А чи не бачилы, а чи не чулы?..»

— Батько Боженко гонит Петлюру из Бахмача на Киев! Мы из Чернигова! Нельзя допустить, чтобы петлюровцы и гетманцы сбились в Киеве в один кулак. Поэтому нам нужно их немедленно догнать, обойти и разгромить по частям. Чуете? — говорил Щорс, стоя на сельской площади перед огромной массой вооруженного народа.

— Чуем! — загремело кругом.

— По коням и на Семиполки! Свадебных рушников не снимать. Невеста едет с нами, значит, будем петь. Пусть же старики везут снаряды, а девчата бойцов. Рушай!

Засвистали козаченьки
В похід з полуночі;

Заплакала Марусина
Свої ясні очі.
Не плач, не плач, Марусина,
Не плач, не журися,
Та за свого миленького
Богу помолися.

Сорок километров мчался по снежным равнинам этот невиданный обоз и к ночи с боем прибыл в село Семиполки, где и сейчас еще живет в колхозе много хороших богунцев. А братскую могилу дети убирают цветами каждую весну и слушают сказания про славных товарищей, которые с боями шли когда-то на Киев, но не все дошли. Убили их трусливые петлюровцы и сами бежали или тут же сдались в плен. С тех пор и слово «петлюровец» стало ругательным.

В последний раз заседал Петлюра со своей директорией в киевском гетманском особняке. Вести, одна тревожнее другой, доносились ему отовсюду.

Уже где-то на горизонте слышались отдаленные громы орудий.

— Где же радость?! — патетически вскрикивал Петлюра, ерзая в отчаянии на председательском кресле. — Где радость победы, я вас спрашиваю? Я! Головной атаман! Я! Я!.. Панове директория, надо что-то делать! Вы посмотрите вокруг!

Петлюра вскочил и застучал кулачками по столу:

— Рабочие глядят волками! В казармах день и ночь снуют большевики! Надо же что-то делать конкретно! Конкретно!

— Я предлагаю конкретно, — сказал густым басом один из старших членов директории. — Да... То есть абсолютно конкретно отслужить молебны во всех киевских церквах. И чтоб три дня звонили во все колокола по случаю рождения нашей государственности. И чтоб весь народ три дня ходил без шапок и радовался, радовался, радовался, а кругом — бов, бов, бов!..

— Чепуху вы говорите, господин профессор. Чепуху! — горячо возразил другой член директории и тут же начал громко и страстно обосновывать противоположное мнение по текущему вопросу исключительной государственной важности. — Нам нужно...

— Конкретнее, конкретнее! — вмешался Петлюра.

— Вот-вот-вот! — перебил Петлюру говоривший. — Нужно, чтобы нас признала Америка. Понимаете? Тут к нам приехали откуда-то два американских офицера. Так вот нужно как можно скорее выдать им из сейфа двад-

цать миллионов долларов. Понимаете? Тогда они признают нас! — грозно взмахнул пальцем государственный муж. — Не подмажешь — не поедешь, как говорят у нас в кооперации.

— А может, они жулики? — сказал третий член директории грустным, разочарованным голосом.

— Кто жулики?! — вспыхнул кооператор. — Как вы смеете оскорблять американскую нацию!

Петлюра бросился тушить оппозицию:

— Довольно! Здесь не кооперация. Здесь директория, правительство Украины!

— Да, но вы понимаете...

— Довольно! Я говорю, я! Нужно собрать учредительное собрание, нужно декларировать нашу программу. Довольно путаницы! Нужно, чтобы фабрикант знал наконец, что фабрика остается ему, помещик — тоже, зажиточный крестьянин — тоже!

— Ну и пропадем, — сказал «разочарованный». — Держаться мы можем только на армии, а не на фабрикантах. Услышав такую декларацию, армия уйдет к большевикам.

— Так что же вы хотите? — воскликнул Петлюра и, трагически сложив губы ижицей, застыл с высоко поднятыми бровями.

— Я хочу того же, что и вы, пан Петлюра, — ответил говоривший и, спокойно сложив книжечку, которую он все время читал, погладил бородку; он даже немного отвернулся и стал говорить через плечо. — Того же, что и вы, только все это нужно делать постепенно. И потом, не нужно употреблять слова «учредительное собрание». Лучше «трудовой конгресс». Трудовой, труд, труд... Понимаете? Чтобы уже в самом слове было что-то трудовое. Поймите, под Киевом большевики, Щорс!

— Не пугайте меня Щорсом! — воскликнул Петлюра. — Завтра в Семиполках от него мокрого места не останется!

Неизвестно, что сказал бы еще головной атаман, не появись в дверях картинно одетый полковник и не крикни он в отчаянии на всю директорию:

— Пане атамане, Щорс в Семиполках!

Воцарилась мертвая тишина.

Тишина стояла в Семиполках.

— Военнопленные, смирно! Командир Богунского полка товарищ Щорс! — скомандовал Кащеев.

— Смирно! Командир Богунского полка товарищ Щорс! — понеслось по рядам петлюровцев, стоявших длинными рядами перед пулеметами.

— Щорс! Щорс! Щорс!

Приближалась судьба. Смерть или жизнь?

Николай Александрович Щорс приближался быстро. Петлюровцы замерли. Вот он, страшный человек, якобы сжигающий на своем пути все живое, беспощадный старорежимец, командир китайцев, латышей, каторжников, убийц, именуемых Богунским полком, при одном имени которого кровь застывала в петлюровских жилах и гаснул рассудок...

— Здорово, казаки! — сказал Щорс, остановившись у пулемета. — Много...

— Три тысячи двести пятьдесят рядовых и двести офицеров! — доложил Данилюк.

— Так, — ответил Щорс. — Откуда? Кто такие будете?.. Кто вы, я вас спрашиваю?

Пленные молчали.

— Поди-ка сюда! — Щорс поманил пальцем одного военнопленного.

Бледный петлюровец вышел из рядов и остановился перед Щорсом.

— Ты кто такой?

Петлюровец повесил голову.

— Ты кто такой? Князь? Граф? Дворянин? Помещик? Купец?

— Я... мужик, селянин,— еле слышно пробормотал пленный, бледнея и немея.

— Так. А я рабочий,— сказал Щорс,— а не царский генерал, как говорит ваш барбос Петлюра. И бойцы мои тоже вот рабочие и селяне. И командиры. А кто твой командир?

— Да вин з панив.

— Так. Значит, панам-атаманам самостийну Украину добываешь? А батько твой немцам и Петлюре последнюю сорочку отдает!

Пленный упал и зарыдал.

— Казаки! — обратился Щорс к массе военнопленных. — Какое прекрасное слово — ка-за-ки! Украинские казаки, что веками боролись за свободу украинского обездоленного народа, что пролили моря крови в борьбе с предателями и польскими панами! Казаки!.. Вот казаки! — Щорс показал на богунцев. — Вот верные сыны народа, революционеры, большевики. А вы, как сказал когда-то наш великий поэт Шевченко, «славных пра-

дедов великих правнуки поганые». Против кого бьетесь? Против своих братьев. За кого бьетесь?! За панов, за атаманов — вот они! — Щорс кивнул в сторону офицеров. — За помещиков, за рабство. За польско-немецкое рабство — вот за что вы бьетесь. Только мы, богунцы, — большевики, сыны украинского народа, Украины, до польско-немецкого ярма не допустим. Мы уничтожим панство, как уничтожал его славный казак Богун, на то и зовемся богунцами. А вас... Что вы думаете? Расстреляем? Нет. Мы вас прощаем. Идите себе!

— А куда идти? — раздался первый несмелый голос из толпы пленных.

— А куда хотите. Идите к немцам, к полякам, к Петлюре, домой.

— Дозвольте остаться у вас, — раздались голоса.

— Не надо. Идите себе. Возвращайтесь, кто хочет, к Петлюре и, если есть у вас хоть капля совести перед Украиной, расскажите там всю правду, кто мы и за что бьемся. Идите! — сказал Щорс, уходя в сторону пленных офицеров.

— Господа полковники, вперед!

Восемь полковников вышли из офицерской толпы и остановились перед Щорсом. Щорс оглянул их с некоторым удивлением.

— Восемь полковников! Хлопцы! — обратился он к своим командирам. — Да это же можно мир покорить!

— Пожалуйста...— предложил один из полковников. Луч надежды вдруг зажегся в полковничьих глазах, но тут же погас.

— Мерси, — ответил Щорс, всматриваясь в их лица.

Полковники были серые. Они потеряли оружие и закон и стали никакими. Даже гордость, злоба и жестокость как бы исчезли в них в эту минуту. Если бы им скомандовали «шагом марш», они бы стали спотыкаться.

— Плохо воевали, очень плохо. Никуда не годится, — сказал Щорс. — А почему? Кто скажет? Почему полк рабочих и крестьян, руководимый прапорщиком, разбил некую крупную военную единицу, возглавляемую сотнями офицеров и десятками полковников и генералов с высшим военным образованием?

— Ваш удар был слишком неожиданным.

— Нет. Не потому. Не обманывайте.

— Совершенно верно, — сказал пленный полковник Федоров. — Армия никуда не годится.

— А почему?.. Дайте рядового.

Привели рядового, средних лет крестьянина.

— Здравствуйте, — обратился пленник к Щорсу таким непередаваемо домашним тоном, каким говорят обычно с соседом или с добрым уважаемым знакомым.

— Здоров! — ответил Щорс. — Скажи им, почему ты против нас плохо воевал.

— Да, видите ли, кажут, что большевики землю будут давать. А Петлюра, черт его знает, то ли будет давать, то ли нет. Скорее, что не будет. Обманывает, сучий сын!

— Да, — сказал Щорс и посмотрел на пленных офицеров. — Смерти боитесь, господа, вот почему. А боитесь смерти потому, что не за что умирать. То, за что вы могли умирать, умерло. А если умирать не за что, какой же смысл жизни?

Офицеры молчали.

— Совершенно верно, — тихо промолвил полковник Федоров и сдержанно вздохнул.

— Итак, все же, почему вы воевали против нас?

— Разрешите доложить... — Один из офицеров выступил вперед. — Разрешите доложить, товарищ командир...

— Гражданин командир! — строго поправил Щорс.

— Слушаю. Разрешите доложить, гражданин командир, что мы, как вы справедливо заметили, люди военные.

— Вижу.

— Я хочу сказать, что мы военные в профессиональном, так сказать, смысле этого слова.

— Ну?

— Мы, офицеры, так сказать, профессионалы войны. Мы служили царю. Нас нанял гетман, служили честно гетману.

— Оно и видно.

— После гетмана нас пригласил Петлюра — служили Петлюре. Позвольте же мне честно от имени всех попросить вас послужить у вас, на пользу, так сказать, Красной Армии.

— Хорошо, — ответил Щорс. — Представьте себе, господа, не больше, впрочем, как на одну минуту, что от радости победы я теряю, так сказать, равновесие, прощаю вас и беру к себе в армию. Вы меня продаете... Ладно. Я не беру вас в армию. Я отправляю вас в тыл. Вы бежите к Краснову, к Колчаку, служите ему, как вы изволили заявить, честно и продолжаете уничтожать

народ. Спрашивается, что вы будете думать обо мне — большевике, командире, борце?

— Совершенно верно, — повторил полковник Федоров, поняв всю ничтожность своих надежд и предположений.

— Поэтому, извините, что простительно некоторым вашим казакам, то непростительно вам. Больше вам не доведется служить никому... В трибунал! — приказал Щорс, обращаясь к группе своих командиров. Потом неожиданно спросил полковника Федорова: — Ваша фамилия?

— Федоров.

— Чин?

— Бывший полковник.

— Окончили?

— Академию генерального штаба.

— Будете учить молодежь военному делу.

— Слушаю.

После Семиполок Щорс разбил Петлюру в Дымерке и Броварах. Петлюровское правительство бежало в Винницу. За ним спешно потянулись потрепанные войска. В Киеве остались провокаторы, шпионы и специальные части, занимавшиеся вывозом из Киева народного имущества.

Подпольный большевистский комитет спешно отправился в Бровары, и Щорс, несмотря на усталость дивизии, сразу же двинулся на Киев, чтобы не дать грабителям довершить свое гнусное дело.

На Цепном мосту богунцев встретили киевские рабочие. Дивизия входила в столицу, сопровождаемая народом. Многие матери давали богунцам своих детей, и они несли их на руках, как цветы. Все, что было честного в городе, пятого февраля тысяча девятьсот девятнадцатого года вышло навстречу богунцам. Остальное спряталось в домах. Что творилось в богатых квартирах, никому не известно. Шторы были закрыты, и перепуганная ненависть глядела на ликующие улицы только через узенькие, еле заметные щелки.

Дивизия двинулась с пением по Александровской улице. Щорс и Боженко ехали рядом на добрых конях и посматривали с любопытством на окна. Боженко добродушно улыбался.

— Что-то мы, батько, давно не платили жалованья нашим бойцам, — сказал Щорс и посмотрел на Божен-

ко. — Собери-ка буржуазию да поговори с ней насчет обмундирования, жалованья бойцам, фуража. Только, боже сохрани...

— Ну что ты, Микола, боже борони! Нежно и обходительно, бо тут же буржуазия, як червы, со всей Украины...Но, сатана! — вдруг рассердился Боженко и, огрев жеребца нагайкой, помчался по Левашовской улице.

Часть всадников отделилась от бригады и галопом устремилась за ним.

— Последи за батьком, — обратился Щорс к политкому Тышлеру. — Боюсь, как бы не разнежился. Давай, Данилюк, «Розпрягайте, хлопці, коні».

Долго гремели народные песни на прекрасных улицах украинской столицы. Вот они гремят на Владимирской улице, и отдельные звуки их доносятся до партера оперного театра, переполненного буржуазией разных мастей.

Поднимается пышный занавес, и видит буржуазия на сцене за маленьким столиком политкома Тышлера и двух рабочих Киевского арсенала.

— Граждане! — сказал Тышлер звонким, веселым, немного мальчишеским голосом.—Сего числа наши красные войска освободили столицу Украины — Киев от предателей народа, петлюровских белобандитов. Мы собрали вас, представителей имущих классов, для обсуждения некоторых текущих моментов, так сказать, к вопросу. Слово для предложения имеет командир Таращанского полка товарищ Боженко. Прошу.

Никто не аплодировал. У всех словно отнялись руки. Какой-то холод прошел по партеру, когда в ответ на слова Тышлера на сцену вышел Боженко, в шубе, шапке и с пулеметом «максим», который тихо катился за ним, словно детская колясочка. Остановившись там, где обычно полагается останавливаться оперным певцам, Боженко откашлялся и, придав лицу и голосу предельно нежное выражение, начал свой разговор:

— Граждане буржуазия, субъекты! Извините великодушно, что вынуждены были дать бой под городом. Иначе чем же вас, подлецов, проймешь! *(Просьба к товарищу артисту обязательно сохранить в голосе деликатность и благодушие.)* Коля Щорс, наш дорогой командир, велел мне спросить вас, — тут голос Боженко приблизился к предельной мягкости, — не знаете ли вы, что это такое? — И Боженко нежно указал на колясочку, как бы желая спросить, чей это ребенок.

Ни одна буржуазная душа не могла ответить на этот

вопрос. Воцарилась такая тишина, какой не создавал ни один артист от самого основания театра. Все собравшиеся буквально перестали дышать. Кто имел бронхит или астму, даже те решили погибнуть, не подавая ни кашля, ни чиха.

— Не знаете, — огорчился Боженко. — Ай-яй-яй!.. Это, граждане, пулемет. А кто его выдумал? Вы! А кто этим пулеметом уничтожил десять миллионов трудящихся в братоубийственной войне? Кто, я вас спрашиваю?

Тут Боженко нечаянно загнул такое крепкое ругательство, какое не мог бы смягчить ни оперный оркестр, ни даже великий писатель, попробуй он изложить его в письменном виде.

— Нежней, нежней, — прошептал политком Тышлер.

Услышав шепот, Боженко смягчился:

— Так вот, в рассуждении этого пулемета я и говорю, нельзя ли одолжить у вас миллионов пятьдесят-шестьдесят деньгами, продуктами, фуражом. Не жалейте, граждане буржуазия, все равно вам конец.

— Василь Назарыч, нежнее! — яростно прошипел Тышлер.

— Да иди ты к чертовой матери! — не выдержал наконец Боженко. — Что я тебе — артист? Деньги! Белую армию небось содержали! — закричал он в партер. — Остальное вам скажет мой политический комиссар.

Раздался дружный смех. Смеялись за большим, хорошо сервированным столом в столовой гетманского дворца Щорс, Иванов, Данилюк, Кащеев, Гавриченко, Тышлер — словом, весь цвет дивизии.

— Я ему шепчу, Василь Назарыч, нежней, нежней! А батько: «Не жалейте, граждане капиталисты, все равно вам помирать...»

Все засмеялись. У Щорса от смеха выступили слезы на глазах.

— Чего заржали, мальчишки? — обиделся Боженко и отвернулся.

Вдруг раздался сильный грохот.

Промчавшись галопом по мраморной лестнице на второй этаж, в столовую вскочил на прекрасном жеребце таращанец Савка Троян.

— Батько! — сказал он сиплым голосом, осадив жеребца. — Що робить з буржуазией в театри? Гроши вже собрали. Зараз буржуазия воды хочет.

Все покатились со смеху. Боженко потемнел от обиды.

— Так що ж робить, батько? — торопился Савка.

— Пустить, — приказал Боженко.

— Слухаю. — Таращанец собрался улетать с приказом.

— Стой! Куда пустить? — спросил Щорс, вытирая слезы.

— В расход, товарищ начдив, — козырнул Савка и засмеялся непередаваемо тонким и нежным от простуды смехом.

— Не имеете права, — сказал Щорс. — Выпустить, выяснив, допросив каждую личность индивидуально.

— Микола, а может, их господь на том свете индивидуально допрашивает, — посоветовал Боженко.

— Нет, батько, — ответил Щорс, — бог богом, а анархии на советской земле, где мы хозяева, допускать нельзя.

— Анархии? — нахмурился Боженко. — Какой анархии? А кто на митингах говорил: товарищи, уничтожим буржуазию и офицеров-предателей? Ты! А теперь вот как! Куды ж это я попал?

— Попал ты, батько, в добрую компанию, — сказал Черняк, — только думать надо.

— Надо думать, надо и слушать, что хлопцы говорят, — не унимался Боженко. — Буржуа не тронь, офицера — не смей, словно они ангелы или дети. Ни бомбою тебе, ничем. Полковников в штабы принимают. Пропал рабочий класс — вот что говорят!

— Не все же офицеры предатели, — сказал Щорс. — Другое дело, нельзя им отдать командование, но нельзя же доходить до абсурда. Учиться, батько, у них надо, учиться побеждать!

— Да как же я буду у них учиться побеждать, когда я их сам побеждаю? — почти заплакал от возмущения Боженко.

— Карту! — приказал Щорс. Подали развернутую карту. — Ну, батько, об этом в другой раз. А сейчас отправляйся с бригадой на Винницу побеждать Петлюру. Кстати, покажи, где Винница?

Боженко сокрушенно посмотрел на карту и отвернулся, чувствуя, что все любопытные взоры обращены на него. Обидно стало старику: засмеют мальчишки.

— Я в Виннице и без карты был десятки раз. А по карте пускай тебе офицеры показуют.

— Тарас Бульба! — иронически сказал помначштаба, бывший офицер.

— Помолчи ты, гусак недорезанный! — грозно заворчал Боженко.

— Да, да. Тебе бы не бригадой командовать, а банно-прачечным отрядом,— не унимался помначштаба.— «Долой офицеров», а сам даже Винницу на карте не найдешь.

— Найду!

— Найди.

— Найду, если захочу. Савочка, покажи ему Винницу, хай не чепляется,— обратился Боженко к таращанцу.

— Буду я себе очи портить, — ответил Савка, нагнувшись с седла. — Бердичев заберем, а там раз-два стукнуть — и Винница!

— Ну вот, ну вот, — волновался помначштаба среди общего смеха. — Нет, Николай Александрович, пусть сам покажет Винницу.

— Великолепно покажет, — сказал Щорс, тактично беря под защиту Боженко. — Великолепно покажет все, что угодно. Знает он карту не хуже вас, если не лучше. И у каждого своя манера карту читать. У батька своя. Ему мало знания карты. Он всегда проверяет, насколько его командиры знают ее и чувствуют. Так-то, батько, правильно! Вот погоним Петлюру за Бердичев и завернем для хлопцев свою школу — красных командиров. А пока пользуй офицеров.

Боженко был покорен. Он смотрел на Щорса с нежностью, как на дорогого своего умного сына. Он любовался им.

— Ну, будь они неладны, Микола. Давай уж и мне офицерика, только не больше одного.

— Так что же мне с буржуазией робить, батько? — послышался голос с коня.

Боженко оглянулся и, словно впервые увидев Савку в седле, молча встал, надел шапку, взял коня под уздцы и повел. Савка оглядывался в недоумении, чувствуя недоброе. Вскоре они остановились в другой, не менее пышной комнате, с прекрасными картинами на стенах. Убедившись, что в комнате никого нет, Боженко посмотрел вверх на Савку:

— Ты чего, сукин сын, срамишь меня перед рабочим классом? Кто тебя учил по гетманским покоям разъезжать верхом? Слезай!

— Батько, может, дома побили б, — тихо и застенчиво посоветовал Савка.

— Слезай, кажу тебе, селюк!

Савка соскочил с коня и, подставив Боженко широчайшую спину, начал вроде как бы чистить ногу коня рукавом доброго дубленого тулупа. Ему хотелось скрыть экзекуцию даже перед конем, и поэтому после того, как Боженко три раза огрел его нагайкой по спине, он наполовину притворился, что не замечает этого обстоятельства.

Тем не менее, когда Боженко перестал его потчевать, он деликатно спросил, не переставая гладить коня:

— Уже?

— Уже, — ответил Боженко с некоторой заботой в голосе и, вынув из кармана пальто бутылку коньяку, налил рюмку. — На, запей, мурляка.

Савка мигом запил и тут же, по случаю взятия разных городов, пустился в приятные воспоминания:

— А помните, батько, как я в Нежине с этого вот коника двенадцать петлюровцев шарахнул! — И Савка засмеялся с таким тончайшим хрипом, с такими петушками и нежнейшими дудочками в простуженной глотке, так ему было весело и приятно стоять в компании с батьком и коником в тепле, с рюмочкой, что он готов был за одну такую минуту броситься не то что в любой огонь — самому черту на рога.

— Как же, помню, — сказал Боженко и налил Савке вторую рюмку.

— А в Городне, помните? Тех офицериков... Ох и шарахнулы ж!..

— Помню и Городню, — вздохнул Боженко, наливая третью рюмку.

— А в Броварах, помните? Ххх-х-х-х! — Дудочки заиграли в Савкиной груди на высшем пределе.

— Ну будет, будет, — нахмурился Боженко. — Всех вспоминать — коньяку не хватит.

Савка мигом вскочил на коня, а Боженко тем временем сам опрокинул рюмку коньяку и, как на грех, неудачно.

— Василь Назарович! — засмеялись в дверях командиры.

— Расстреляю!!! — крикнул Боженко на Савку и топнул ногой с чудовищным притворством.

Савка вылетел из зала, как змей.

Приемная коменданта города была переполнена. Толпились кучки офицеров разных белых армий.

У офицеров были тусклые глаза и неуверенные движения. Они словно потеряли позу и характер. Они молчали, пряча страх и тоску. Старые генералы смотрели из углов удивленно в никуда, как в паноптикуме. Многие были очень неумело переодеты и выдавали себя ужасающей неправдоподобностью.

У двери кабинета Щорса стоял часовой. Было тихо.

— Вы бы, граждане, лучше разговаривали. А то молчите и думаете, как бы обмануть Щорса. Боже вас сохрани! — назидательно говорит богунец. — Он всякую личность насквозь видит.

— Полковник Богданкевич! — раздался голос из двери кабинета.

Грузный полковник вскочил и незаметно перекрестился крошечным быстрым крестиком.

Щорс гневный ходил по кабинету.

Богданкевич вошел и остановился у двери весь белый.

— Я вас вызывал четыре раза. Вы почему не являлись?

— Я был болен.

— Чем?

— Сердечным припадком.

— Раздевайтесь.

— Разрешите принять смерть в одетом виде.

— Раздевайтесь!

Полковник молниеносно снял бекешу, френч и рубашку.

— Три шага вперед!

Полковник подошел к Щорсу и застыл.

— Кругом!

Полковник повернулся.

— Дышите,— сказал Щорс, приставив докторскую трубку к полковничьей спине.

— Еще, еще. Так. Дышите глубже. Кругом. Не дышите. Так. Дышите. Довольно. Благодарю вас. Вы врете, негодяй. Припадка у вас не было. Вы здоровы, как бык. Кем вы были у гетмана?

— Корпусным интендантом.

— Подлец!

— Извините, я интеллигентный человек и прошу...

— Я тоже интеллигент! — еле сдерживая ярость, раздельно и тихо отчеканил Щорс.— Мы оба учились на народные деньги, скотина. Я не расстреливаю вас только

потому, что мне нужен интендант. Я назначаю вас помощником начальника снабжения бригады. Слышите? Марш!

Богданкевич схватил френч и рубашку и поспешно бросился из кабинета.

У двери на диване сидели Боженко с Савкой.

— Эй! — сказал Боженко и поманил пальцем Богданкевича.

— Ты знаешь, кто с тобой говорил? — сказал он Богданкевичу, когда тот торопливо подошел поближе.— Сам Щорс! Фельдшер медицины. Понимать надо! Ну, иди себе, дурачок.

Полковник Богданкевич исчез. Боженко встал и подошел к Щорсу:

— Ну, Микола, благослови на Винницу!

Пришла весна тысяча девятьсот девятнадцатого года. Прилетела, как счастливая доля, приплыла веселыми, бурными потоками и разлилась по всей Украине.

Разбило лед в реках, и он уплывал в море, а по берегам речек нежные вербы и лозы над водой и в воде радовали человеческую душу. Казалось, всё, куда глаз глянет, двигалось, плыло, уносилось. Двигалась и волновалась вся природа.

В весенних омутах крутилась рыба, и заводи стали мутными от бесчисленной икры. А в небесах летели гуси из далекого края, а еще выше длинными цепями плыли журавли с журавлицами, а пониже летели и кружились аисты, и цапли, и утки, и множество прочей мелкой птицы без конца и края.

Обстрелянная земля была влажной и пахла перегноем. На солнце грелись золотые коровы, а жеребята у кобыл были еще мокрые, с кучерявыми хвостиками, они еще шатались вокруг матерей на растопыренных неверных ножках, а на воротах и плетнях сидело детей видимо-невидимо, и никому в голову не могло бы прийти зимой, что их такая сила. Детвора была плохо одета — в дедовские тяжелые шапки и мокрые валенки, но радовалась весне и теплу и освобождению из хатного заключения и кричала и бегала босая по недотаявшему снегу, не слушая привычных материнских угроз и проклятий.

— Удивительная вещь, дядьку,— сказал молодой богунец Илья Зборовский, обращаясь к старому Прокопенку.— Где я только не бывал, но такой гарной весны, как у нашем селе, нигде не видел.

— Весняна краса, вона, мабуть, от дытынства — ска-

зал Прокопенко.— Отам з нашей гори як подывышся на свит, так, здаеться, дывывся б сто лит и очей бы не зводыв. Недаром стари люды, та не тилькы люды, а й собакы, навить, годынами там сыдять и все дывляться, дытынство згадують, молоди лита.

Старый Прокопенко и четыре молодых бойца стали подниматься на горку. Еще немного, и они будут в родном селе. Вспомнили Щорса и благодарили — отпустил-таки на побывку. Хлопцы волновались и радовались. Усталость от долгого пути прошла, и они поднимались по знакомой тропинке весело и бодро. Вот еще несколько шагов, горка пройдена, и бойцы остановились как вкопанные.

От самого спуска и до церкви — трети села как не бывало. Выгорело дотла. Только обмытые непогодой полуразрушенные печальные трубы стояли, как немые свидетели несчастья, а между трубами ходила одинокая старушка, и совсем вблизи перед бойцами, на бугре возле бывшей хаты Зборовского, виднелись могилы.

Бойцы не двигались. Замерли. Тихо было на земле, и только высоко в небе звенело птичьим звоном и далеким тревожным клекотом, точно перелетные птицы не видели себе пристанища внизу.

Сорок две могилы насчитал Прокопенко, сорок две...

— Вот так, царство небесное, как стояли рядочком, так их немцы с гайдамаками и расстреляли,— сказала подошедшая Прокопенчиха.

— Большевицкое, мол, гнездо... Ну а детки по миру расползлись, и не собрать теперь.

Старая Прокопенчиха вздохнула и посмотрела на мужа:

— Днем страшно, а в ночи смутно. Выйдешь во двор — нигде тебе ни песни, ни звука, только собаки воють.

— Ну, а хто ж выказав? — глухо спросил Прокопенко.

— Хто выказав? Батюшка выказав, список подал. Рассердился на Опанаса, будто бы Опанас нагайкой ударил при отступлении. Дорогу переходил батюшка, так Опанас, кажуть, нагайкой. Может, и правда, не знаю.

— Так... Ну, пойдем к батюшке,— вздохнул Прокопенко, обращаясь к бойцам.

— В церкви службу кончает,— сказала Прокопенчиха.

— Так...

Первым священнослужителем, заметившим необычайное движение в церкви, был дьяк Кирилло Якимович, известный на всю епархию своей необычайной скупостью и плодовитостью. Его четырнадцать сыновей и не менее пятидесяти внуков тоже были дьяками. Дьяками были его отец, Якимович Иван, и дед Иван Якимович, и прадед, и прапрадед. Если верить, то и прадед прапрадеда, первый из династии Якимовичей, был тоже дьяком, возведенным в этот священнослужительский чин еще в шестнадцатом веке.

Пропев на клиросе почти все, что ему полагалось под конец службы, Кирилло обратил внимание на какое-то странное переглядывание паствы. Что-то случилось. Что же это могло быть? Кирилло посмотрел в сторону двери и не допел. У него вдруг пересохло в горле, и даже очки сразу покрылись испариной.

В полном боевом облачении, с винтовкой на ремне, на том же месте, где обычно молился в течение полустолетия в храме, стоял Прокопенко.

За ним стояли еще четверо. И было в этом что-то такое, что лучше не думать.

Никто, ни одна душа не бросилась навстречу героям, ни на одном лице удивление не сменилось естественной и уместной радостью. Люди даже не перешептывались. Все смотрели на царские врата и ждали появления в них батюшки, отца Сидора. Но отец Сидор не появлялся. Подождали еще. Сидор не появлялся. Еще подождали, нет отца Сидора. И тогда все поверили и поняли, что служба кончена и ждать нечего, и что, может быть, действительно лучше уйти, чем стоять и думать, почему же не появляется батюшка в парчовой ризе с цветами.

Сидор понял все. Он стоял, прижавшись к тыльной части алтаря, и трепетал. Улететь бы, выпорхнуть в окно воробушком или духом святым в виде голубя. Убежать, уползти бы в щелочку мышкой, тараканом. Взять чашу в руки? Нет. Прикрыться плащаницей? Нет. Выйти, отказаться прилюдно от веры и тем снискать признание нового мира? Нет. Да и народ уже ушел. Что ж еще? Что ж еще?..

Церковь была пуста. Прокопенко кашлянул и направился к алтарю.

Подойдя к резным царским вратам, Прокопенко перекрестился, постучал согнутым пальцем в кругленькое благовещение и прислушался.

— Батюшка!

Глухой звук пророкотал по пустой церкви и замер.

— Батюшка... Чтоб не гневать бога и людей не смущать, снимайте духовное одеяние и выходите на цвынтар.

Прокопенко вышел с хлопцами и стал за церковной оградой. Вскоре вышел и батюшка и стал молча перед Прокопенко в светском облачении, проще говоря, в сапогах с рыжеватыми голенищами и в теплом жилете. Рубашка у него была не совсем чистая и штаны застегнуты неаккуратно.

— Так от что,— сказал Прокопенко.— Як предали вы на лютую смерть бедных христиан врагам революции, лишаем вас сана и жизни, як Иуду Скариота. Отвернитесь.

Ровно через неделю конный отряд Гавриченко влетел в Винницу. Прокопенко и Зборовский первые ворвались на вокзал, где петлюровцы учинили невероятную панику.

— Сдавайтесь, враги! Стой!

Всадники мчались рядом с паровозом огромного эшелона, уходящего в направлении Жмеринки. Они стреляли в машиниста на скаку и, пока не стал поезд, грозно кричали с распластанных своих коней:

— Останови поезд!

Двенадцать дрезин, переполненных бойцами, подходили к Виннице с Казатинского направления.

— Товарищ командир, из Казатина наступают неизвестные дрезины! Прикажите...

Гавриченко посмотрел в бинокль. Дрезины остановились. Бойцы быстро рассыпались в цепь и начали наступление бегом.

— Щорс! — сказал Гавриченко Данилюку.

— Открывай тюрьму! — закричали всадники, осаживая горячих коней у тюремных ворот.

Тюрьма содрогнулась от радостного крика. Раскрылись ворота.

Сотни арестованных ремесленников и крестьян ринулись на улицы. Некоторых несли.

Щорс подходил к Гавриченко.

— Вам кто разрешил брать Винницу?

— Вы, товарищ начдив,— ответил Гавриченко.

— И тебе не стыдно? Обскакал начдива.

— Ну что делать? — оправдывался Гавриченко.— Занял Корделевку, как ты приказывал. Чуть расположи-

лись на ночевку, бегут из Калиновки... «Спасите, Петлюра режет евреев!» Я туда... Трупы, пух... Кошмар! Ну, прикончил банду и пошел.

— Но как ты успел?

— А кавалерией.

— Какой?

— А из конных разведчиков двести сабель сколотил.

— Ох и змей же ты, Гавриченко!

— Товарищ командир, кавалерия наступает! — доложил подскакавший конный разведчик.

— Не может быть! Откуда?— спросил Гавриченко.

— С восточной стороны.

— Стой! Может быть...— сказал Щорс.— Клянусь богом, это Боженко.

Боженко с таращанцами несся на вокзал галопом.

Гавриченко и Данилюк стояли возле Щорса и, размахивая белым флагом, кричали:

— Сдаемся, сдаемся!

Щорс засмеялся и тоже начал кричать:

— Помилуйте, батько атаман, сдаемся!

— Хлопцы, да это ж богунцы! Тьфу! — огорчился Боженко, увидев своих, и слез с коня.

— А чтоб вашого батька черт взяв, мальчишки! За вами скоро никуда не успеешь. Ну что за напасть! Миколай, дай мне хоть Жмеринку взять. Хлопцы обижаются.

Этот разговор происходил уже в штабе, в помещении винницкой гостиницы «Савой», где разрабатывался план дальнейшего наступления.

— Бери,— ответил Щорс и склонился над картой.— Смотри, вот Жмеринка, Литин. Так ты...

— Да что ты мне карту тычешь! Ты мне задание давай, а не карту! — рассердился Боженко.

— Ну вот, я и даю,— сказал Щорс.

— Николай! — обратился к Щорсу Гавриченко.— Жмеринку взять не так просто. Разреши мне одновременно с батьком наступать с кавалерией через Литин.

— Да не трэба... Микола, скажи этому молокососу, чтоб не приставал ко мне.

— Ну ладно,— сказал Щорс,— бери сам, только помни мое требование. Поменьше теряй людей. Слышишь?

— Ну что ты?

— Осторожно вступай в бой. Но уж если вступил, веди себя так, чтоб врагу было страшно.

— Слухай, кому ты говоришь?

— Не зарывайся. А когда возьмешь, поменьше пускай в расход. Это не всегда достигает цели.

— Да добре, добре,— отмахивался старик от надоедливых разговоров.

Батько встал. Встали все.

Щорс подошел к Боженко:

— Ну, батько, двигай, если уж сам захотел. Желаю счастья. А если погибнешь, не обижайся. Останется слава на весь мир.

— Да ладно. Там уже побачим, що останется... Гайда!

И Боженко вышел. За ним ушло четверо его командиров.

Через несколько дней, богатых сложнейшими событиями, Боженко вдруг снова явился к Щорсу в вагон:

— Забрав!

— Что? — спросил Щорс.

— Забрав, кажу, Жмеринку! Бар забрав! Забрав Комаровцы!

— Хлопцы, что делается! — улыбался Щорс.— Василь Назарович, да ты не батько, а настоящий красный генерал.

Боженко не любил этого немодного в то время слова.

— Я знаю, ты пошутил, Микола. Но уж коли так, зови мене уж лучше бригадиром.

— Хорошо. Так вот, товарищ бригадир,— сказал Щорс и подошел к Боженко.— Отдай назад.

— Що?

— Отдай Комаровцы и Бар.

— Отступать? Ты що, сдурел? Перед кем отступать? Большевики не отступают!

— Почему? Кто сказал? Иногда можно и отступать, если нужно.

— Так кому ж это нужно, дозвольте вас спытать?

— Нам нужно. Революции нужно! — сказал Щорс.

— Тьфу! — плюнул Боженко.— Пропала работа!

Все засмеялись. Боженко отвернулся и сокрушенно кивал головой:

— Так... как же быть?

— Будь большевиком! — сказал Щорс и отошел к штабному аппарату.

Боженко с укоризной посмотрел ему вслед.

— Но каким же образом вы взяли Бар и Комаровцы? — тихо спросил Боженко один из штабных работников.

— А там Кравчук, спасибо, нажал от Котовского. Да жмеринские железнодорожники. Потом мой помощник Калинин Сашко... даром що офицер... Слухай, Микола,— обратился Боженко к Щорсу,— колы меня где-то уж да убьють, назначь бригадиром Калинина Сашка. Золота людына!

Начал работать телеграф.

— Жмеринка. У аппарата Калинин.

— Винница. У аппарата Щорс. Атаманы Коновалец и Оскилко наступают через Коростень на Бородянку. Киев под угрозой. Посылаю туда Гавриченко с богунцами и нежинцами. Черняк с новгород-северцами подступил к Житомиру в районе Буда-Дубковецкая. Десятый полк не выдержал натиска Петлюры и отходит на Бердичев. По-видимому, ему Бердичева не удержать. В случае захвата города Петлюра пойдет через Казатин на Житомир, в тыл нежинцам, богунцам и новгород-северцам. Срочно грузи полк в эшелоны и двигайся по маршруту Жмеринка — Винница — Бердичев. Задача — удержать бердичевский узел... Вот тебе и Бар!..— сказал Щорс, обращаясь к Боженко, и зашагал по вагону, диктуя телеграфисту приказ.

Боженко плюнул. Командиры не сводили глаз с начдива.

— Я с двумя бронепоездами и бердичевскими коммунарами буду удерживать станцию. Батько Боженко... Слушай, бригадир, это для тебя,— сказал Щорс и нагнулся над картой.— С пятым и шестым полками форсированным маршем двинуться.

— На Венгрию! — вдруг неожиданно громко и решительно подсказал Боженко.

— На Шепетовку! — сказал Щорс, когда стих всеобщий смех.— Всё! Выезжаем. Так-то, товарищ комбриг! — Щорс любовно погладил Боженко по плечу и оглянулся. Все ушли.— Сегодня утром раскрыл свой чемоданчик... Костюм белый, летний... Смешно! И зачем я его вожу? Когда же мы его наденем, батько? Где-нибудь в Крыму. Небо голубое. Море голубое...

— В Крыму Деникин греется.

— Ничего. Когда-нибудь доберемся.

— Ты що? Жары захотел? Ось будет тебе жара в Бердичеве.

— Ой будет, батько,— засмеялся Щорс.— Войдите!

Вошел начальник штаба:

— Поезд отходит.

— Хорошо.— Щорс движением руки приказал начальнику штаба удалиться.— Прощай, батько.

— Прощай.

Они обнялись.

Поезд Щорса мчался на всех парах к Бердичеву, где уже несколько суток огнем и кровью решалась судьба Киева. Петлюра собрал лучшие свои силы в один кулак и сам повел их на Бердичев.

Атамановы курени сражались как никогда. Пять броневиков и тридцать два тяжелых и легких орудия потрясали город жесточайшим огнем и ревом.

Атаман знал, где нужно было дать генеральный бой Щорсу. Именно здесь, под Бердичевом, ибо ни один город не способен был вдохновить курени и разжечь страсть к победе до такого градуса, что даже застарелый страх перед именем Щорса не действовал уже на наступающих.

За штыками богунцев, киевлян и таращанцев каждый «лыцарь» видел Бердичев. Жажда победы множилась на жажду грабежа еврейских ремесленников, ярость огня — на страсть насилия над красивыми еврейскими девушками. Блеск медных подсвечников и серебряных ложек, золотых колец, браслетов и денег, которые можно будет выколупывать штыком из сундуков, печек, подушек, безнаказанная темная расправа и смутное сознание безнадежности своего дела, и снова и снова подсвечники и ложки — все это носилось горячим маревом перед глазами яростных куреней.

Дрогнул Киевский полк. Не выдержали молодые, неопытные в боях юноши, погнули левый фланг, сломали, начали отступать, и некому уже было остановить, некому было поддержать упавший их дух.

Лучшие бойцы расстреляли уже все положенные им в жизни патроны.

Яков Загуменный — комвзвода из Веркиевки, Нежинского уезда, лежал убитый в сердце. Командира Бескоровайного, киевского коваля, и его товарища коваля Покиньбороды, синявского пастуха Пархома Лободы, Игната Муромца, Кривоносенок, Григория, Савки, Федора, Кузьмы и многих других киевских, городнянских, нежинских, борзенских и иных — старых боями и молодых веком — бойцов уже не было в живых. Многие были разорваны на куски снарядами, многие лежали, как во сне, а у командира четвертой роты Романа Даниленка даже

глаза были открыты, словно Роман удивлялся отступлению товарищей и своей ранней смерти.

Левофланговые роты обратились в бегство. Гайдамаки ворвались в город.

Бойцы бросились на вокзал, ища спасения в эшелонах. Сотни снарядов пролетели над головами куда-то вдаль, за бедняцкими душами.

Тяжелые бризантные взрывы поднимали гейзеры земли, дымили разбитые склады, а еще выше, в бурых просветах, ветер гнал чудовищную конницу облаков, освещенных багровым светом заходящего солнца.

Громыхали броневики.

К вокзалу подъехал поезд Щорса.

— Стой! Куда? От кого тикаете? От Петлюры?

Щорс бросился с тендера в толпу:

— Подать командира!

Командир полка стал перед Щорсом:

— Товарищ начдив, громадные потери!..

— А ты почему живой, сукин сын? Людей пугать! — И Щорс ударил комполка нагайкой.— Товарищи, вперед! За мной, вперед!

— Ура! Ура! Да здравствует Щорс! Даешь Петлюру!

И полк бросился в контрнаступление. Бились до ночи.

Ночью к станции подошел эшелон новгород-северцев. К эшелону подбежал Щорс с «льюисом» на плече. Навстречу ему Черняк и Слинько, командиры новгород-северцев.

— Спасибо, Черняк! Спасибо, Слинько!.. Товарищи новгород-северцы, объявляю митинг открытым. Товарищи новгород-северцы, понятно, за что боремся?

— Понятно! — загремели новгород-северцы из вагонов.

— Объявляю митинг законченным. За мной!

На правом фланге громадные цепи петлюровцев шли в открытую. Горсточка бойцов, мокрых от трудов и страсти, черных от грязи и частых перебежек, упала в старую канаву — нет сил.

— Кончено...

— Щорс... Хлопцы, Щорс! Товарищ начдив!..

— Тихо! Смотреть на меня...

Щорс появился внезапно с группой пулеметчиков и упал рядом.

Показались первые цепи петлюровцев. Они скатыва-

лись в ложбину с ружьями наперевес, все ближе и ближе.

— Товарищ начдив, огонь...— прошептал пулеметчик Павло Радецкий, красивый мальчик шестнадцати лет.

Щорс погрозил ему пальцем:

— Смотреть на меня! Тихо... Тихо... Замрите...

— Ну, товарищ начдив, огонь... Вот ей-богу,— не терпелось Павлу: страшно близко были вражеские цепи.— Ну, огонь же, товарищ начдив, что вы делаете?

— Огонь! — приказал Щорс.

Пулеметы ударили по петлюровцам с сорокаметровой дистанции...

— Комдив! Щорс! Товарищ Щорс!

— Да, да, ребята... Здесь,— заулыбался Щорс, появившись в новой группе бойцов.— Что, жарко?

— Товарищ начдив, скажите, победим или нет? — спросил боец Лобода и упал мертвый.

— Да, да, да, да! Вперед! За мной, вперед!

Улицы Бердичева. Все сотрясалось от грохота, огня, топота копыт и людского крика. Бились в переулках врукопашную.

— Ура! Даешь Петлюру! — гремел Второй богунский батальон, увлекаемый Щорсом в тыл врага.

— Товарищ начдив!.. Спасите...— простонал раненый Павлик Радецкий и упал без сознания в объятия Щорса.

— Передай Калинину: занять Лысую гору во что бы то ни стало... Передай Черняку: отбить вокзал.

Вокзал был завален трупами. Броневик потрясал орудийным ревом, двигаясь прямо.

— Куда! Куда? — закричал Щорс и под самым носом у броневика перевел стрелку.

— Товарищ командир, людей нет. Задавила артиллерия.

— Раненые есть? Ставь раненых!

Шел, вооруженный ручным пулеметом, вдоль рядов, перед цепью. Цепь прижалась к земле. Боец схватил за ногу. Щорс упал.

— Вы чего здесь ходите?

— А что?

— А то, что убьют, тогда что мы будем делать?

— Прости, не буду.

Штаб. Входит Щорс, черный, как земля, мокрый. Входит, шатаясь, в крошечную комнатку, оглядывается в недоумении, словно не узнавая ничего вокруг.

Выпал из рук пулемет.

Не слышал стука, снимает кожаную тужурку. Снял. Открыл кран и со стоном подставил голову под холодную струю. Вспомнил наконец: «Да-да, что же мне надо было?..»

Вспомнил:

— Данилюк!

— Что? — раздался голос из другой комнаты.

— Пиши!

— Есть!

— «Дорогая жена. Пишу тебе из Бердичева. Я сильно тоскую по тебе. И вот я нашел случай тебе написать. Тут произошла заминка... Словом, для спасения Киева все взоры были обращены на нас. Я взялся за дело. Петлюра...» Написал «Петлюра»?..

Конец письма он диктовал, сидя на узенькой походной койке, прислонившись к стене и широко раскрыв глаза, словно всматриваясь в только что отшумевшую грозную картину.

— Да... «Петлюра на броневиках подвез превосходящие во много раз силы и согнул наше левое крыло. Наши полки дрогнули и обратились в бегство. Приехав, я сразу понял, чем это может кончиться, и с великим трудом останавливаю бегущих, веду цепи в наступление, выбиваю его и очень тоскую по тебе. У него было пять броневиков и тридцать два орудия разного калибра. Город переходил из рук в руки несколько раз. Есть убитые и раненые.

Я, дорогая, не люблю писать. Но если я уже пишу тебе, то... вообрази, что здесь было. Точка. Я назвал это «бердичевским кошмаром». Здесь смешалось в кучу всё — и наши, и враги. Петлюра бросил на меня всё. Бой продолжался девять дней. К концу боя у меня осталось в живых сто семьдесят пять человек и три орудия. Но я был глубоко уверен в победе и победил его...»

Щорс уснул.

Утихла пишущая машинка, и Данилюк долго смотрел на своего командира.

Сейчас начинается сцена, описанию которой хочется предпослать обращение к художникам, операторам, ас-

систентам, осветителям — ко всем, кто должен разделить со мной сложный труд создания картины.

Приготовьте самые чистые краски, художники. Мы будем писать отшумевшую юность свою.

Пересмотрите всех артистов и приведите ко мне артистов красивых и серьезных. Я хочу ощутить в их глазах благородный ум и высокие чувства.

Декораторы, расположите их в народной школе на полу, на скамьях, на столах на фоне земных полушарий. Раненых перевяжите свежими бинтами, положите их в ряд и сабли положите рядом. Пусть отдохнут они после долгих кровавых трудов.

Оденьте их сообразно дорогим воспоминаниям о начале нашей эпохи.

Осветите их, операторы, чистым светом, чтобы все прекрасное, что пронесли они по полям Украины, отразилось на их лицах полностью и передалось зрителям и волновало сердца потомков высоким волнением.

Пусть это будет свет вечерний, тихий, как перед праздником после долгих трудов.

Пусть они мечтают. Не надо им ни есть в это время, ни пить, ни курить, ни зашивать поношенные одежды свои. Не надо обыденных слов, бытовых телодвижений, правдоподобных подробностей. Уберите все пятаки медных правд. Оставьте только чистое золото правды. Не отпускайте их в быт. Нет быта! Есть гражданская война. Есть победа. И отдых между битвами. Товарищи артисты, есть победа, и вы ее героические выполнители. Я горжусь и восхищаюсь вами.

Всмотритесь в себя,— как неузнаваемо вы изменились. Так недавно оторвала вас судьба от свадеб, вечеринок и мирного труда, и так много поведала она вам на исторических путях Украины. Как поднялись ваши намерения над бытовыми заплатами, едой и прочим обыгрыванием предметов. Как выразительны вы сами по себе. Вы цвет народа, его благородная юность на горном привале. Тише! Пусть ничто никого не отвлекает. Сейчас мы будем вкладывать в уста артистов мысли, которые даже не приснились бы на черниговских равнинах ни героям, ни их потомкам целые, быть может, столетия, не призови их к подвигу гром пролетарской революции.

— Ну, хорошо,— тихо начал немолодой уже пулеметчик Василь Татаренко и посмотрел на товарищей.— Го-

ворят, примерно, бога нема... природа. Ну а природу, ее же кто-то да сотворил. Значит, что-то, очевидно, да есть.

— Возможно,— заметил Радецкий, расположившийся у стены на фоне восточного полушария.— Смотрите, товарищ начдив!

Щорс вошел вместе с Петром Чижом. На нем была чистая белая сорочка и шинель внакидку.

Присев на школьной скамье, он сразу же очутился в центре родного круга. Все, кроме раненых, привстали и придвинулись к нему.

— Вот объясните мне, товарищи,— сказал один из командиров.— Иду, примерно, в бой. На двести шагов бью петлюровцев из нагана. Пожелаю: падай, падай, падай! Падает. Всегда. Почти не целюсь.

— Глазомер правильный.

— Нет, не то,— сказал Черняк и придвинул свой табурет к Щорсу.—Вот у меня, Николай, тоже. Расстреливаю пулеметную ленту, последнюю. Кругом пекло, в висках стучит. А тут уже надо бомбу, да скорее. Одну, другую, третью. Ух!.. И вдруг пожелаю: журавли, пролетайте в небесах! Смотрю вверх...

— Летят! — подхватили богунцы и даже подняли головы.

— Летят! Вот ей же богу, над самым боем! — Черняк раскрыл руки и запрокинул голову вверх, словно видя перед собой в вышине журавлиный ключ.

— И у меня тоже, товарищ начдив,— сказал Петро Чиж каким-то удивленным, хриплым полушепотом, словно боясь нарушить своим голосом чарующее мгновение.— Иду в разведку, да. Река. Луг. Туман. Тихо... Пожелаю: прокричи, деркач! Кричит — дер-дер, дер-дер... Я на небо: заря, падай!

— Падает? — восторженно прошептал Павло Радецкий.

— Падает! Вспоминаю Настю: Настя, приснись! Снится:

— А мне снится, что я летаю,— сказал Павло.

— Ну! Летчик обозвался...

— А раз приснилось,— признался дальше Павло, широко раскрыв удивленные детские глаза,— как будто бы я лично освободил весь мир от ярма капитализма.

Никто не улыбнулся, услышав сон Павла. Наоборот.

— И мне, и мне, и мне,— тихо удивлялись бойцы, глядя друг на друга.

— А меня, товарищ начдив, пуля не берет.— Молодой черниговский «змей» Ткаченко сидел на полу пе-

ред Щорсом и вопрошающим взглядом смотрел на своего начдива. На нем белая сорочка, волосы чистые, блестящие, чистое лицо и гордый, взволнованный взгляд. И руки у него здоровые, и великолепные свободные жесты.— Наступаем на окопы. Иду. Пули свистят, свистят, аж щекочут! А я, товарищ начдив, так хочу победить, так хочу, так хочу! — Голос Ткаченко задрожал от грозных желаний, и сам он весь вздрогнул и выпрямился.— Говорю: пуля, не тронь, не тронь, не тро-онь!.. Не трогает. Щекочет, а не трогает. Скажите мне, вот это есть? Что это? Правда?

— Правда,— сказал Щорс и медленно обвел глазами всех бойцов.— Раз в тысячу лет пуля не должна брать человека. Это бессмертие.

Все затаили дыхание и не спускали глаз с командира. Все были объяты одним чувством.

— История заворожила нас, хлопцы,— продолжал Щорс, глядя куда-то вдаль, в будущее.— Вот я тоже часто думаю — пройдут года, завершится революция, и заживут люди-братья на земле. Сколько же сказок о нас перескажут, сколько песен о нас пропоют! Тихими вечерами да зоряными ночами где-нибудь под Черниговом над прекрасной нашей Десной будут петь интернациональные хлопцы с дивчатами. Пропоют и умолкнут. Пролетят журавли из теплого края...

— Тогда все края будут теплые.

— Будут. Нежно обнимет тогда какая-нибудь кареокая дивчиночка своего чубатого гения и скажет: «А теперь заспиваем старинных народных песен про великую революцию». И начнут они, хлопцы, петь про нас.

— Что ж именно? — прошептали богунцы.

— И воскреснем мы,— сказал Щорс, уносясь мыслью в далекие грядущие века.— И возникнем из седины веков и пройдем перед ними могучим строем, полным торжественного ритма и красоты, трезвые, храбрые, без брани, без подхалимства и предательства. Пройдем за Лениным такими достойными, простыми товарищами, что если бы можно было все это представить себе совсем-совсем ясно, ох, многие бы заплакали ныне в тоске, что не так через жизнь пронесли свои раны и головы свои несли не совсем так! Да... То будут народные песни.

Раненые лежали с забинтованными руками на груди и, широко раскрыв глаза, думали свои сокровенные думы.

— Как же нужно дорожить жизнью, хлопцы! — вздохнул Щорс и, улыбнувшись, посмотрел на впереди

сидящих.— «О мой дорогой, какая великая была эпоха и какие сказочные люди»,— вздохнет дивчиночка и, мечтательно глядя вперед, увидит кого-то, скажем, вроде...

— Чижа,— подсказал Радецкий.

Все улыбнулись.

— Да. «Скажи мне, сероглазый, какие вы были?» — как будто бы спросит тихонько она,— сказал Щорс и повернулся к Чижу.— Что ты ей скажешь?

— Да что ж говорить...— смутился Чиж, сидевший рядом на школьной скамье. Раненая рука его была повита громадным бинтом, и он держал ее, как спящего младенца, на груди. И лоб был также забинтован.— Не знаю, что мне говорить.

— А ты скажи, не выкручивайся,— настаивал Черняк.

— Ну, скажу что-нибудь. Скажу, были всякие,— подумав немного, ответил Чиж.— Были пьянычки и эти... лодыри и разный недисциплинированный элемент. Были и прочие сукины сыны, скажу. Но большинство, скажу, было хорошее.— Движением плеча Чиж поправил саблю и тоже посмотрел вдаль, устремляясь духовным взором в века, к нежной красавице своей.— Большинство, скажу, было такое, что не только в газетах вычитывало, кто оно сегодня и куда пойдет завтра, а в потухающих зрачках противника, да в пулеметных строчках, да на лезвиях сабель читало ленинскую программу жизни и смерти в каждом городе и в каждом селе! — Чиж сверкнул глазами и грозно поправил саблю здоровой рукой.

— Ух ты! — удивился Черняк, не узнавая Чижа.

— Да-да, скажу. И все, скажу, во имя вас. И нередко, скажу, сыновья получали отцовскую пулю в морду и сами стреляли в отцов из парабеллумов и наганов, и не считалось это, скажу, ни сыноубийством, извините за грубое выражение, ни, как бы сказать по-нашему, по-тогдашнему, отцеубийством, а называлось просто: сын против батька, батько против сына. Надо — так надо, время такое. Такое, скажу, было время, что революция вырвалась из народных грудей, как кашель, або огонь из огнедышащих гор! Так что спивайте, скажу, про нас на здоровье и извините, что были не дуже красивые.— Прекрасен был Чиж в эту минуту, прекрасна была каждая его черта и каждое движение.— Бедные были и дуже сердитые, бо зла накопилось на нашу голову множество за сотни лет... Один Петлюра-гад чего стоит! А тут еще разные эти немцы, гетман и разные мелкие банды... Ух гады! Товарищ начдив, ну что я им, ей-богу, скажу? —

пришел вдруг в себя Петро Чиж в совершенном смущении.— Я не оратор на эти разговоры.

— Товарищ начдив,— послышался голос Титаренко,— а правда ли, что после войны вы хотите всю землю засадить садами?

— Правда,— сказал Щорс и задумался. Воцарилась тишина.— Вообще, я думаю, будет совершенно другая жизнь, совершенно другая. А почему весь земной шар действительно не превратить в сад? Это так просто...

Бойцы сидели как зачарованные, и вся земля перед ними зацвела яблоневым цветом. Тогда Титаренко запел чистым, поразительно прозрачным голосом:

Світи, світи, місяцю, гей, гей!
Ще й ясна зоря, та гей, гей, гей!

Хор бойцов подхватил песню, и показалось вдруг всем, что раздвинулись школьные стены, и они въезжают из широких просторов в родные села свои, и люди радуются им под родными небесами.

Просвіщай доріженьку,
Аж на край села...

Вдруг раскрылась дверь. На пороге появился политком:

— Депеша! Под Царицыном наши бьют белых...

Среди полей село. Высоко над водой. Утонуло в зеленых садах и тихих гаях. Справа молочная ярина с пасеками, слева золотые хлеба. А над селом гремит песня: богунцы вступают.

Аж до того дворика,
Де живе вдова...

Загорелые молодые лица густо припудрены золотой пылью трудовых дорог. У хлопцев белеют зубы и марлевые свежие бинты на головах и руках. Некоторые здорово хромают, опираясь на товарищей. А кто был ранен потруднее, те едут на груженных снопами и сеном телегах.

Вокруг богунцев роями носится детвора. Весь народ вышел встречать их.

Жинки расставляют на площади столы с белыми мережеными скатертями, ставят борщи, и хлеба, и картошку, и молоко — кислое и сладкое. Ставят сметану, сыр, вареники, и товченники, и мед, прямо мисками — греча-

ный, темный в сотах, и просто мед, и яблоки, и сливы. А одна бабуся поставила мисочку вареной нечищеной картошки, и никто потом в селе не упрекнул ее и не посмеялся над ней. Не была она ни скупой, ни ехидной, а была доброй и отзывчивой, но великая бедность как упала на нее сто лет тому назад, так и продержала до прихода богунцев.

Любопытные девчата выбегали из подворий в праздничных спидницах и намысте, старые деды, и бабы, и чоловики — все спешили навстречу богунцам.

А по селу разливались песни, и бойцы с народом садились за столы.

— Спасибо вам, товарищ командующий, и всему червонному войску,— сказал старый Трохим Лобода, подойдя к столу, у которого остановился Щорс.— Чтоб же жила она, наша Радянська Украина, пока и свет стоит. А вам, сынок, нехай господь щастыть.

У Лободы дрожал голос и на глазах были слезы.

Дрожащей рукой он налил рюмку водки и протянул ее Щорсу.

— Спасибо, батько, за ласку. Горилки не пью и бойцам не дозволяю.

— Не пьете? А як же воевать без горилки? — удивился жилистый, веселый, с необыкновенно озорными глазами дедок по фамилии Вернигора, известный на всю округу разными шутками. Ничего особенного в нем как будто бы и не было, но почему-то без смеха никто на него не мог смотреть.

— Извините,— сказал Лобода, передавая Вернигоре бутылку.— И добре робыте. А что уж петлюровцы тут ее выпили! Прямо как гуси воду. Кажуть, без горилки воевать страшно.

— Ничего,— улыбнулся Щорс,— мы их и без горилки раздолбаем.

— Спасите! Спасите! — раздался вдруг издали женский крик.

— В чем дело?

— Ой, боже мой, грабят! — кричала старая Олена, пробираясь через толпу к Щорсу.

— Кто?

— Ваши... Рушника и черевики потяг, чтоб ему добра не было...

А за старухой уже четыре красноармейца вели пойманного вора.

— Узнаете? — спросил Щорс, показывая на пойманного.

Олена оглянулась.

— Он! Ах ты злодюга! — бросилась старуха к вору.— А я ему, злодию, еще молока дала. Ось и рушник.

— Расстрелять! — гневно приказал Щорс.

Толпа баб, девчат и детей шарахнулась в сторону.

— Расстрелять? — растерялась Олена.— Кого?

— Подлеца и негодяя, позорящего ряды Красной Армии.

— За что? За рушник? — перепугалась Олена.— Да что вы, сдурели, господи прости! Да я ему еще два таких дам, пусть вытирается на здоровье!

— По изменнику и грабителю! — раздалась команда.

— Ой, спасите! — закричала баба Олена, бросившись к вору и закрывая его.— Ратуйте, люди добрые! Убивают! Убивают! Ой, не стреляйте, разбойники! Ой, щоб же мне, окаянной, да язык отсох! О-ой!

— Отставить!

Щорс стоял у стола.

Гнев уже сошел с его лица, уступая место жалости и симпатии к старой Олене.

Когда грозные судьи опустили ружья, Олена радостно заплакала и, схватив своей слабой рукой вора за чуб, начала бить его, как провинившегося неразумного внука. Тут уже все засмеялись, даже наказанный.

— А мы к вам, товарищ Щорс, с делегацией,— промолвил Лобода.

Группа селян стояла перед Щорсом. Это были крупные сероглазые старики. Много страшного и уже забытого могли бы рассказать они про свою молодость, развеянную по петербургским казармам, по Сибири, по сопкам Маньчжурии, по океанам. Да и не только про молодость. Про бедность и нужду, про пана и жандарма, и про карпатские могилы сыновей, и про могилы сыновей, закопанных немцами и гайдамаками в землю живыми тут же, в родном селе. Темной ночью припадали они к сыновним могилам, и ни одна слеза не была пролита в эту ночь. Только кровь закипала в благородных бедняцких жилах, кровь прадедов, кипевшая в старину на зловещих майданах Варшавы, Кракова, Дубно.

— Примите разом с хлопцами в дивизию и нас,— сказал Лобода, представляя Щорсу своих товарищей.— Вот Максим Сирко, вахмистр лейб-гусарского ея императорского величества полка. Старший унтер-офицер конногвардейского его императорского высочества светлейшего князя Михаила Александровича полка Платон Шерстюк. Шерстюк Микита — унтер-офицер уланского

ея императорского величества государыни императрицы Марии Федоровны полка. Терешко Шерстюк — вахмистр кирасирского конногвардейского полка. Петро Шраменко, Гордий Горлица — кирасиры его...

— Кавалерия. Добре! — улыбнулся Щорс.— Ну а где ж ваши кони?

— Коней нема. Извините, безлошадные мы, так сказать, бедноватые люди. Так, есть конячки, а настоящих лошадей...

— Дисциплинарного батальона его величества младший каторжник Омельян Вернигора! Желаю биться с Петлюрой! — Вернигора вытянулся во фронт перед Щорсом и произнес еще пару слов, не совсем годных к написанию. Все засмеялись.

— Куды ты, стара собака? — вдруг закричала Олена и снова бросилась к Щорсу.— Сыночку мой, не бери его. Он же у меня такой пьяничка. Все войско тебе перепортит. А брехун!..

— Геть, доносчица! — закричал Вернигора.— Донесла на солдата, теперь хочешь меня опозорить! Товарищ командующий, это моя женщина, прошу ее не слушать.

— Пасека пропадет...— умоляла Олена Щорса.

— Дядьку, возьмите и нас на войну,— обратились к Щорсу мальчики.

Нравились Щорсу эти быстрые мальчики. Казалось, это было так недавно...

— А что, будете Петлюру бить?

— Будем, дядьку, будем! — закричали мальчики хором.

Щорс посадил себе на колени самого меньшего, голубоглазого мальчугана в немецкой офицерской каске.

— А где ты такую добрую каску достал?

— Це нимець зимою батька вбыв, а дид разсердывся да вбыв нимця, а каску мени подарував.

В это время подошел один из командиров и что-то сообщил Щорсу на ухо.

Щорс поднялся и быстро ушел, так и не прикоснувшись к еде.

— Что такое? — спросил он в тревоге, войдя в штабную хату.

— С Боженком несчастье,— сообщил начальник штаба.

— Убит?

— Нет. Жену убили провокаторы под Киевом.

— Ай-ай-ай! — заволновался Щорс и забегал по хате.— Приготовиться к отъезду, живо.

Адъютант выбежал выполнять приказание.

— Ах ты бедняга. Воображаю, что там делается. Старик плачет, бригада митингует. Подозрительные агитаторы... да не кури ты, пожалуйста!

— Да я не курю,— растерялся Тышлер,— ну что ты, ей-богу!

— Да как же не куришь, когда куришь! — Щорс быстро поднял брошенную папироску.— Это что?

— Бедный Боженко... Бедный Боженко...— растерялся Тышлер и бросился тушить папироску.

— Да ну, хватит уж, достаточно... Ой, не дай бог! — Щорс выбежал в сени.

В сенях столкнулся с Черняком.

— Скорее, скорее, Черняк. Погибнет бригада — спешим.

Грозно волновалась Таращанская бригада. Местечковая площадь шумела, как морской прибой.

— Хлопцы, матку вбылы! У Киеви матку расстреляли, браты! — гукали таращанцы, потрясая оружием.

— Ой, матко, матко!— рыдал Боженко, раздирая на себе сорочку и бросаясь в тоске на голые стены классной комнаты. Никто не отваживался войти к Боженко.— Геть з хаты! Геть! — заревел он на Савку Трояна, который робко попробовал было утешить плачущего своего командира.

— На Киев, хлопцы, на Киев! — доносился с улицы гневный клич разбушевавшихся ораторов.— Кровавая ричка потече з Киева!

Покрытый пылью и словно высохший от долгого пути, Щорс промчался через толпу на взмыленном коне. За ним следовали Черняк и небольшая группа командиров. Понеслись крики вслед, тревожные, недобрые. Ринулась босая, небритая Сич к дому Боженко.

— Батько! Батько! — Щорс вбежал в комнату и бросился к рыдающему Боженко.— Ну, заспокойся, батько, ну, не надо. Ну, батько, батько!..

— Василь Назарович, не плачьте. Не надо плакать,— обнимал старика Черняк.

— На, выпей воды.

Боженко оттолкнул чашку с водой и, закрыв голову черной буркой, бросился на убогую клеенчатую кушетку. Страшный нечеловеческий плач потряс комнату. В этом отчаянном плаче утонули и голоса Щорса и Черняка, и их шаги, и стук оружия, и грозный шум за окном.

Щорс и Черняк, эти мужественные бородатые юноши, утешали Боженко, как дети, гладили по плечам и по голове, дарили ему бинокль, поправляли складки на бурке.

— Микола,— простонал Боженко,— матку убылы. Чуешь, Микола, и ты, Черняк, чуете? Поила таращанцев чаем, ходила за поранеными, стирала бойцам сорочки... Хто мою матку убил? — закричал вдруг старый Боженко и яростным ударом нагайки разбил глобус, как мыльный пузырь.

Потом он упал на кушетку, закрылся буркой и зарычал, словно раненый лев. Потом выглянул из-под бурки одним свирепым глазом, приняв, по-видимому, какое-то решение.

— Як ты думаешь, Микола, если я сниму с позиции таращанцев и пойду почищу Киев, твои богунцы не помешають?

Это было то, чего так опасался Щорс, что заставило его бросить дивизию и мчаться к Боженко, не теряя ни минуты.

— Я люблю тебя, батько,— ответил Щорс, подойдя к старику и выдерживая его взгляд, полный отчаяния и гнева.— Но если уж так, мои богунцы уничтожат твою бригаду, а я убью тебя тут же на месте. И сам погибну, и пусть тогда гибнет, к чертовой матери, все и проваливается весь мир! Ты меня знаешь, батько.

Боженко снова закрылся буркой и, отвернувшись к стене, тяжело застонал. Горестные мысли томили душу старика: «Микола, Микола!.. И где у него спрятана сила невероятной этой отдачи? Худой, больной, бессонный и бесстрашный, без минуты покоя, без жены, непьющий, мальчик с бородой для широких буйных масс. Убьет, конечно, убьет и бригаду уничтожит, а себя уничтожит бомбой. Будь они прокляты, эти провокаторы... Ах, не выйдет с Киевом, пропала матка ни за что...»

Но вот открылась дверь и в комнату тихо вошел Нещадименко. Сообщив что-то шепотом, он передал Щорсу старинную саблю в богатой золотой оправе.

Взяв саблю в обе руки, как берут в торжественных случаях хлеб-соль на блюде, Щорс подошел к Боженко и вытянулся.

— Славный боец революции, командир знаменитой Таращанской бригады, батько Боженко! — сказал он громко и торжественно.— Рабочий класс Украины и России вместе с правительством и партией выражает тебе глубокое сочувствие в твоем личном горе. Рабочий класс

верит, что революционные цели у тебя всегда будут торжествовать над личными, и гордится тобой.

Боженко выглянул из-под бурки и, пораженный неожиданностью, быстро сел. Широко раскрытыми, заплаканными глазами смотрел он на Щорса. Словно животворящий дождь на высохшее поле, лились на него гордые слова молодого друга:

— Трудящиеся бедные крестьяне и рабочие ждут от тебя побед и только побед. Помни, батько, что наши имена уже вписаны в историю человечества золотыми буквами. Прими же от рабочих всего мира в подарок на память вот этот золотой меч с надписью.

— Ох и сукин же ты сын, Микола,— всхлипнул Боженко, взявши меч с какой-то детской радостью.— И за что я тебя так люблю, я и сам не знаю.

Все заулыбались, и стало всем легко. Щорс и Черняк обняли старика и вышли на балкон.

Таращанцы стояли на площади молча. Никто не крикнул обычного «ура», и ни одна удалая шапка не полетела вверх, как всегда.

Боженко начал свою речь невероятно громко. Но тем не менее даже в этом трубном голосе звучали нотки нежности, жалости и тепла:

— Сыночки! Матку убылы. Некому уже вас ни чаем угощать, ни вареньем баловать, ни сорочки прать, ни дырки латать! Що ж будем робыты, хлопцы, сироты вы мои, сиромахи? Петлюру добивать, ось що! — гукнул вдруг батько так, что площадь задрожала от этого гука. Потом, рассердившись, ударил саблей по балкону: — Командиры, ко мне!

Подлетели к балкону двенадцать конных командиров.

— Лександер, сколько километров до Здолбунова? Семьдесят пять? Чтоб завтра с артиллерией был там!

— Есть!

Загарцевали перед балконом кони. Завертелись на все лады. Засверкали искры под копытами.

И когда были даны последние распоряжения, Боженко, как и всегда, закончил свою речь напутствием:

— Колы возьмете Здолбуново, братцы, и уничтожите Петлюру, не забудьте сказать жителям: граждане, великодушно извините, что вынуждены были дать бой. Чуете?

— Чуем, батько, чуем!

— А колы Петлюра втече в Польшу, так вы не стесняйтесь и прямо...

Боженко замахнулся саблей, но, почувствовав легкое

прикосновение Щорса к локтю, закончил свою речь более дипломатично:

— ...Прямо на кордоне станьте, и чтоб птица не пролетела. Чуете?

— Чуем!

— А колы пролетать будет птица, так бейте и птицу! Марш!

Словно подхваченные горячей бурей, взвились на дыбы командирские кони, винтами повернулись в воздухе и ринулись вдаль. Промчались безусые губатые ординарцы. Зазвенело оружие. Пыль пошла облаками. Таращанцы двинулись в поход.

> Ой, на горі та женці жнуть,
> Ой, на горі та женці жнуть,
> А по-під горою, яром-долиною
> Козаки йдуть.
> Гей, долиною, гей, широкою
> Козаки йдуть...

Скоро пыль дошла до неба, и все скрылось. Только отдельные всадники неслись в ней дивными силуэтами вдогонку бригаде.

Погуляем теперь в просторах своего сердца и, минуя многие города и села и старые многосотлетние курганы, перенесемся в Дубно на Волыни. Трудные дела судились этому городу.

На вокзале, в километре от старинного боевища, откуда грандиозная душа Гоголя вознесла когда-то окровавленную душу запорожца Кукубенка к самому божьему престолу, на Дубненском полуразрушенном вокзале, в салон-вагоне у окна сидел Боженко.

В вагон не пускали каких-то людей. Кто-то спешил. Чей-то крик доносился, и лязг буферов, и беспокойный гул толпы. Смутно было на душе у Боженко.

— Получил депешу из Житомира от Щорса. Плохи дела.— Боженко посмотрел на Савку, потом в окно и сокрушенно покачал головой.— Людей мало. Выбиты люди. Пополнений нема. Босы... Ах, говорил я ему, давай бить одним кулаком прямо на Венгрию! Нет!.. Вот теперь докрутились.

Савка Троян слушал батька, почтительно соглашаясь,— конечно, хотя до Венгрии, по-видимому, и далековато, но почему бы, действительно, и не ударить, раз уж такая масса народу погибла, и войне конца не видать.

— На Киев Деникин сунэ,— Боженко глянул на карту,— там где-то з Бахмача. А тут Петлюра. Стянул всю шатию и лизэ рядом з польскими панами, графами, кня-

зями. Чи ты бачив таке? Покажи мне, Савка, дэ мы? — вздохнул Боженко и снова перевел глаза на карту.

Савка мгновенно показал, но, показывая, сделал над картой такой выкрутас пальцами, что можно было и не примысливать Дубно к какому-нибудь одному кружочку, можно было, так сказать, свободнее ощущать себя на карте под широкой Савкиной ладонью.

— Так,— сказал Боженко.— А паны дэ?

Савка показал и панов, сделав при этом над картой сложный вираж пальцами и даже ударив щелчком по воображаемому панскому месту.

— Так. Ну, а як бы ты наступал на панов на случай, если б я тебя послал? — спросил Боженко и хитро прижмурился.

Савка сделал средним пальцем растопыренной руки что-то вроде восьмерки или большого скрипичного ключа и, быстро пронизав начертанную фигуру прямой линией, обрушился на карту кулаком, который он успел собрать в воздухе.

— Так,— сказал Боженко.— А ще як?

Савка показал еще более хитрый маневр. Черкнув тем же средним пальцем размашистую дугу в обход противника, он вдруг опустился молнией вниз и, сделав пятерней хватательное движение, примял изрядно карту в районе расположения противника.

— Ще як? — нахмурился вдруг Боженко, не спуская с Савки глаз.

Савка начал выполнять новое боевое задание в том же стиле и неуверенно посмотрел на батька.

— Подай нагайку.

— Батько, ну для чего вам эта нагайка?

— А для того, сукин ты сын, чтоб не показывал трех дорог, а одну, да самую лучшую. Пуговицу застегни, невиглас!

Боженко бросил нагайку и, не особенно всматриваясь в детали, провел по карте всей ладонью.— Вот так будешь наступать. Понял?

— Так точно, понял,— ответил Троян.

— А на пополнение, Савочка, не надейся,— смягчился Боженко, перейдя вдруг на ласковый отеческий тон.— Так что прояви там побольше храбрости, классовой ненависти, чув? Ну вот... Нема людей,— вздохнул Боженко,— а люди ж были! Як орлы! Таращанцы! Протарахтели по всей Украине... Тебе чего?

— Инспекция из штаба армии! — доложил вестовой, появившись в салоне.

— Гони ее к чертовой матери! — рассердился Боженко.— Мне не инспекция нужна, а люди!

Но инспекция была уже в вагоне. Боженко заметил ее краем глаза и отвернулся.

Восемь человек явно офицерского вида во главе с каким-то, по-видимому, бывшим полковником или генералом стояли в дверях и в проходе.

— Мандат? — сказал Боженко и, получив от одного из них мандат, не глядя, передал его адъютанту.

— Даю вам десять минут.

— Слушаю,— ответил инспектор Борковский.

— Что вам нужно?

— Нам нужно устроить смотр вашей Таращанской бригады. И, кроме того, выяснить количество трофеев, которые вы...

— Ага, трофеев захотелось...

— Но предварительно разрешите несколько вопросов,— сказал один инспектор, поразительно неподходящий для данной обстановки.

— Пытайте.

— Год рождения?

— Забыл.

— Ваше образование?

— У дьяка в университете.

— Нет, вы скажите.

— Я ж вам сказал — у дьяка.

— Ваше военное образование?

— Необразованный,— сказал Боженко таким глухим голосом, что Савка тут же отошел от батька на четыре шага.

— Простите,— сказал Борковский,— но как же вы при отсутствии образования и военной подготовки можете работать в чине командира бригады?

— Служу для революции, а не для чина. Скажите мне,— Боженко вдруг повернулся к Борковскому,— среди вас коммунисты есть?

— К сожалению, сейчас нет,— ответил Борковский, слегка смутившись.— Один коммунист при нас состоял, но я его послал к Щорсу.

— Так, состояв, кажете? И зараз нема? Ну, тоди сидайте,— Боженко улыбнулся и сразу оживился,— сидайте, прошу вам, сидайте.— Боженко любезно подал инспектору стул и, когда тот уселся, придвинулся к нему и похлопал его по плечу.— Сукин ты сын, стерво! Мало я вас расстреливал, когда вы были у гетьмана? Що ты думаешь, я тебя не помню? Помню.— Боженко взял со

стола большую лупу и, прижмурив один глаз, начал внимательно рассматривать Борковского, словно маленькое пятнышко на военной карте.— Помню, как же. В Нежине... Забыл? Когда ж ты успел инспектором заделаться? Или это не ты?

— Позвольте! — вскочил Борковский.

— Не позволю! — рассердился Боженко и, стукнув кулаком по столу, тоже встал.— Сейчас иду в бой. А вас забираю с собой рядовыми на две недели. Там вы побачите мое образование, общее и военное. Останетесь живыми — поговорим. Не останетесь — рапорт напишу в штаб армии...

— Не имеете права! —закричал Борковский.

— ...погибли геройскою смертью за революцию! — Боженко поднял рюмку коньяку и хотел было уже отправить ее в рот за поминовение убиенных, но тут вдруг распахнулась дверь и в вагон вошел Щорс, а за ним Вурм.

Рюмка Боженко полетела мимо рта в раскрытое окно вагона.

Щорс был взволнован чрезвычайно и, видимо, очень спешил.

— Здорово, комбриг. Как дела? Все в порядке?

— Спасибо. Поправляются. Прибыла помочь.— И Боженко показал на инспектуру.— Марш за оружием!

— Это издевательство! — возмутился Борковский, обращаясь к Вурму.

— Оставь эти глупости,— сказал Щорс Боженко.

— Не оставлю!

— Комбриг Боженко, я вам приказываю! — загремел Щорс, придя мгновенно в неописуемую ярость.

— Слухаю, слухаю, Коля. Я сейчас же все що хочешь.... слухаю,— ответил тишайшим голосом Боженко и спешно вышел из вагона.

На перроне к Боженко подлетел на взмыленном коне Лобода:

— Василь Назарович! В Хомутовцах уланский полк белополяков. Что делать?

— Вырезать! — закричал Боженко.

— Это гнусная партизанщина, и вы за это ответите! — горячился Борковский.

Щорс смотрел мимо Борковского на Вурма. Вурм понял взгляд и попросил инспекцию оставить его наедине со Щорсом для партийного разговора. Щорс и Вурм остались в вагоне одни.

— Ну что? Прав я был, когда бросил свой штаб и примчался сюда? А у меня там тоже дела.

— Да. Так вам и надо,— ответил Вурм.— Не хотите брать культурных командиров, хотя бы того же Борковского, в начальники штаба к Боженко...

— Вы снова...

— Да. И не только я. В штабе и в Реввоенсовете многие думают, что вся ваша дивизия пропитана партизанским духом.

— Так,— сказал Щорс, подойдя к Вурму.— Значит, дивизия в сорок тысяч бойцов, прошедшая с боями через всю Украину, от Унечи до австрийской границы, побившая немцев, гетмана, Петлюру, дивизия, которая на пути следования создала органы Советской власти,— это партизанщина? Ладно. Я напишу об этом Ленину.

— Простите, но вы подчиняетесь Троцкому, а не Ленину.

— Да, но кроме начдива я еще член партии.

Вдруг на перроне начался шум. Щорс и Вурм бросились к окну.

У соседнего эшелона большая толпа красноармейцев окружила инспекторов.

Пожилой красноармеец Шерстюк держал за грудь Борковского и громко кричал:

— Стой, стой! Не уйдешь, гад! Ага, вот он!

Щорс бросился из вагона прямо в толпу.

— Товарищ начдив! Товарищ начдив! — раздались крики красноармейцев.

— Пусти! — приказал Щорс.

— Товарищ начдив, гидру поймал! — Шерстюк был бледен и взволнован чрезвычайно.

— Что? Какую?

— Помещик наш! Гетманский каратель!

— Может, ты ошибся. Пусти!

— Не пущу! Я его вот таким еще знаю! — не унимался Шерстюк, показывая рукой на метр от земли.

— Товарищи, нас продают! — раздались крики из теплушек.

— Нас продают!

— Товарищи, нас продают!

— Да не продадут, целы будете. Хто вас купыть, таких голодранцев? Сидай по вагонам, отправляемся на хронт! — весело приказал Боженко, наблюдавший эту сцену.

— По вагонам! — понеслась вдоль эшелона команда.

Раздался гудок паровоза. Таращанцы посыпали в теплушки, и эшелон двинулся вперед.

— Бувай здоров, Микола! — кричал Боженко из вагона.

— Будь здоров, старина! Береги хлопцев! — крикнул Щорс.

— Слухаю!

Долго смотрел Щорс вслед уходящему поезду, словно предчувствуя, что не видаться уже ему с Боженко никогда. Потом подошел к инспекторам:

— Прошу, товарищ Вурм, пане Борковский, прошу вас.

Через несколько часов поезд Щорса остановился на станции Житомир.

— Чтоб я не видел вас больше в расположении моей дивизии, слышите?

С этими словами Щорс оставил инспекцию и вышел из вагона.

На перроне его встретил начальник штаба.

— Как дела?

— Плохо,— сказал Теплицкий и вручил Щорсу большую депешу.

Щорс быстро пробежал телеграмму.

— Негодяи! Ах негодяи! Говорил я — поменьше набирайте в полки военнопленных. Гоните в тыл. Вот и доигрались. Позвать сюда Вурма! Возвратите его ко мне.

— Вот,— сказал Щорс, показывая депешу.— Первый случай восстания полка. Нежинский. Тот самый, куда вы все-таки всунули десяток этих борковских.

— Не может быть...— побледнел Вурм.

— Полк сорвался с позиции и прет на Житомир. Разложился в дым. Вы себе представляете, что здесь будет через час?

Бросив Вурма, Щорс обратился к Теплицкому:

— Погрузите на платформу тридцать пулеметчиков из школы командиров.

— Есть!

— Дайте машину.

— Есть машина.

Паровоз с двумя платформами уносился навстречу восставшим. На одной платформе стояло орудие. На другой — тридцать замаскированных курсантов-пулеметчиков.

Восставшие показались через полчаса. Паровоз загудел угрожающе, тревожно и долго. Навстречу ползла

длинная гусеница, медленно пыхтя и скрипя. По бокам гусеницы двигались цепи нежинцев. Тревога нарастала. Все ближе и ближе цепи. Остановились. Заревели и вдруг утихли гудки.

Щорс соскочил с паровоза и быстро пошел навстречу гусенице. За ним два курсанта — Карпович и Ковалюк. Подойдя к цепи, Щорс поднял руку, повелевая остановиться. Из теплушек посыпались нежинцы.

Окружают. Окружили. Пулеметчик Павел Здота даже ручной пулемет наставил в грудь.

— Что, Павло, убивать собираешься? Погоди, успеешь,— сказал Щорс и вдруг перекрыл галдеж громким: — Замолчать!!!

Толпа притихла. Тишина была неожиданной, короткой и страшной. В тишине щелкали затворы. Казалось, мгновение — и позор предательства и гнусности совершится, чтобы жить вечно и не смыться уже ничем. Но это мгновение не наступило. Щорс начал говорить. Негромко. Но в каждом его слове было столько силы, ясности и сдержанного гнева, столько гордости и глубокой любви к великому историческому делу, что толпа, пораженная в истерзанное смутой сердце, застыла: командир спас полк.

— Изменники революции, предатели и трусы! Притихли? Вы думаете, я с вами буду разговаривать и что-то объяснять? Нет. Говорить с дезертирами, трусами и изменниками я не желаю. Я буду говорить только с некоторыми из вас. Я поговорю перед смертью с теми, кто помнит славные бои Клинцов, Городни, Седнева, Козельца, Чернигова, Семиполок, перед кем трепетали враги трудящихся в исторических наших боях под Броварами, в Виннице...

— В Жмеринке! — крикнул боец из толпы.

— Под Бердичевом!

— Под Казатином! — подхватили голоса.

— Кто проливал свою кровь,— продолжал Щорс,— под Новоград-Волынском...

— Под Житомиром! На Ирпене! На Тетереве! Под Фастовом!

Крик нарастал. Крик просветления, гордости и надежды. Гнусная толпа умирала на глазах, оживал революционный полк. Сейчас бурная ненависть к зачинщикам позора разнесет мерзкие остатки толпы, взорвет ее, как бомбу. Сейчас солдаты революции начнут мстить за поруганную честь тут же, видя друг в друге зачин-

щика измены. Уже совсем по-другому залязгало оружие. Щорс еще раз спас полк.

— Смирно!

Стало тихо.

— Равняйсь!

Выровнялись.

— Смирно!

А курсанты с пулеметами уже окружали нежинцев.

— От имени Реввоенсовета Республики приказываю сдать оружие. Положите на землю!

Кто-то из второй шеренги попробовал было возразить.

— Считаю до трех. Раз... два...

Посыпалось оружие.

— Кругом! Три шага вперед! — Щорс подходит сзади к бойцу и вытаскивает у него из мешка ридикюль.— Вот... У кого еще есть?

Бойцы сами вытолкнули из рядов нескольких мародеров.

— Ну что, нежинцы? Понятно, откуда ветер дует? Что же нам делать с этими примазавшимися петлюровскими волками, мародерами, болтунами-ораторами?

Загремел народный гром:

— Расстрелять!

— Что, Николай, трудно было? — спросил политком, когда Щорс возвратился в штаб.

— Да. Самая трудная власть — власть над собой. Мне сегодня, кажется, исполнилось двадцать четыре года... Трудно ли было? Нет, не трудно.

Дивизия переживала тяжелые дни. Петлюра собрал все, что у него было. Все гайдамацкие недобитки, огромную дивизию, прибывшую из Румынии, куда она была выброшена рабочими и крестьянами из украинского юга, два корпуса сечевых стрельцов, темных галицийских крестьян, руководимых кучкой австро-венгерских политиканов, галицийских офицеров, боровшихся еще вчера со своими вековечными врагами — польскими панами. Во имя уничтожения Советской Украины были забыты вековые раздоры. Вся надднепровская и надднестровская контрреволюция наступала на Щорса рука об руку с белопольскими панами. Щорс отступал. Двигались эшелоны, бронепоезда. Изможденные беспрерывными походами, дни и ночи двигались истерзанные бойцы.

— Житомир... Житомир... Говорит штаб Щорса... Житомир... Житомир...

Телеграфист с начальником штаба выбежали из вагона.

— Николай Александрович, линия Новоград-Волынск — Житомир прервана. Мы окружены!

— Спокойствие,— ответил Щорс, поддерживая раненого командира.— Сколько раз говорил — не теряйте власти над собой.

— Но люди...

— Ничего. Самое главное — не теряйте лица перед бойцами.

Вдруг послышалось отдаленное «ура».

— Таращанцы! Таращанцы прорвались! — закричал Щорс.

Громкое «ура» перекрыло пулеметную дробь и орудийный гул. Петлюровцы и белополяки в панике очистили путь. Из темноты показались таращанские эшелоны и цепи.

Богунцы обнимались с таращанцами.

Щорс обнимался с Калининым — командиром таращанцев. Батько Боженко не было.

— Ну, Калинин,— сказал Щорс,— как говорится, не было б счастья, несчастье помогло. Пробиваемся на Житомир, Коростень.

— Слушаю. Только что же тут хорошего?

— А то, что силы будут вместе. Игра расстроилась, понимаешь? Невыгодно мне держать на одном огне десять сковородок. А теперь мы им покажем.

Щорс говорил весело и громко, учитывая значение каждого слова для бойцов, окруживших плотным кольцом своих командиров.

— Бойцы! — обратился Щорс к хлопцам.— Не пробиться, видно, нам к Житомиру. Устали мы, а враг силен. На каждого из нас приходится, откровенно говоря, врагов полтораста. Что делать? Умирать под Новоград-Волынском? Не хочется, черт побери! Сколько мы здесь их изрубили, сукиных сынов.

— Прорвемся! — закричали бойцы.

— Ведите нас в огонь! Вперед!

— Товарищ командир! — подбежал к Щорсу боец с перевязанной головой.— Не смотрите, что нас мало. Клянемся вам пробиться, куда вы только захотите. Пусть их будет тысяча на одного! Клянемся перед знаменем: «Бьемо!» Товарищи, перевязывай раны.

Ничего другого не ожидал Щорс услышать от своих

замечательных хлопцев. В них всегда он черпал свою силу и веру в победу. Сколько трудов было потрачено на воспитание этих огненных юношей, сколько пролито крови, сколько лучших из лучших черниговцев, киевлян, полтавцев похоронено с песнями, а то и просто брошено мертвыми на полях этой трагической Волыни! Уже погиб в Ровно бесстрашный Черняк, большевик и комбриг новгород-северский. Под Шепетовкой пал навеки комполка-шесть Передерий. Комбат Петров, донской казак и весельчак, и его комиссар — шестнадцатилетняя умница Маруся Базарова — погибли в самой гуще боя, так и не докричав своего богунского «ура». И завороженный от смерти Кащеев, старый друг Щорса еще с Унечи и товарищ по всем решительным боям, плевался кровью с пулей под сердцем.

— Пробиваемся,— сказал Щорс взволнованно.— Пойдем, хлопцы, так, чтобы врагу было страшно. А добьем его под Коростенем. Помните — ставка на победу! Командиры, по местам!

Близилось к концу незабываемое лето тысяча девятьсот девятнадцатого года. Весь украинский юго-запад белел быстро, как от проказы. Уже были заняты Винница, Бердичев, Рудня. А с севера, с Бахмача, на Киев наваливался генерал Драгомиров с офицерскими полками. Щорс метался в этом зловещем кругу как тигр.

По широким волынским полям таращанцы несут на носилках умирающего батька Боженко. За носилками ведут черного коня, накрытого черной буркой. Справа и слева ложатся снаряды в пшеницу.

Осаживают взмыленных коней всадники, оглядываясь, и снова вперед.

Кругом хлеба́, просторы, а на горизонте горит село. Громыхают орудия.

Приподнялся на носилках Боженко, посмотрел вокруг:

— Прощай, Россия и Украина... Прощевайте... Великодушно извините, що помираю не на поле брани, а на плечах у хлопцев. Миколай! Миколай! — заметался старый батько в предсмертной тревоге.

Громыхали орудия. Горел хутор. В пустое небо взвился дым и прах пожара. Шарахнулись кони от взрывов и разлетелись по полю, как вещие птицы. Оглядывались всадники в тревоге и скорби. Все выросло до подлинных, исполинских размеров своих.

В безбрежном просторе полей, в огне и громе, в драматическом этом откате огромной человеческой волны народная эпопея предстала перед глазами ее творцов и исполнителей в незабываемом своем величии и силе.

Боженко умирал.

Хлопцы несли его осторожно, как драгоценный сосуд, боясь пролить хоть одну каплю отцовской жизни. Рука Боженко покоилась на голове ближайшего бойца.

— Як умру, то поховайте мене коло Пушкина... Кажуть, великий поэт был... Коло его памятника в Житомире на бульвари. Чуете?

— Чуем, — отозвались хлопцы.

— Заспивайте над могилою «Заповит» Шевченка. Тоже великий поэт был. А бригадою нехай командуе Сашко. Слухайте Миколу Щорса. Вин згуртуе вас, и тоди вы ударите по ворогу страшным ударом на всю Европу. А мэнэ билые выроють з могилы и кинуть мое тело собакам. А народ все будет видеть и еще дужче их ненавидеть. Я им буду мстить з-за гроба, хлопцы! — крикнул Боженко во весь голос, вдруг приподнявшись, и, оглянув в последний раз просторы своей Украины, упал и умер.

В этом последнем крике сказалась вся натура старика, благородного и неистощимого в своей любви и ненависти.

Крик прозвучал как крик к победе.

И когда Боженко бездыханным упал на носилки, и взрывы снарядов еще раз разогнали лошадей вокруг, и дым горящих хуторов поднялся, казалось, до самого неба, таращанцы запели «Заповит»:

> Як умру, то поховайте
> Мэнэ на могилі,
> Серед степу широкого,
> На Вкраїні милій,
> Щоб лани широкополі,
> І Дніпро, і кручі
> Було видно, було чути,
> Як реве ревучий.

Было ли оно так? Пылали ль хутора? Таковы ли были носилки, такая ли бурка на черном коне? И золотая сабля у опустевшего седла? Так ли низко были опущены головы несущих? Или же умер киевский столяр Боженко где-нибудь в захолустном волынском госпитале, под ножом бессильного хирурга? Ушел из жизни, не приходя в сознание и не проронив, следовательно, ни одного высокого слова и даже не подумав ничего осо-

бенного перед кончиной своей необычайной жизни? Да будет так, как написано!

Вот они несут старого своего командира «серед степу широкого на Вкраїні милій», вот «Дніпро і кручі», и памятник Пушкину в Житомире на бульваре, и кони, и музыка, и дыхание жизни и смерти и бессмертия. Вот его могила.

> Поховайте та вставайте,
> Кайдани порвіте
> І вражою злою кров'ю
> Волю окропіте.

Когда кончили петь и музыка утихла, была уже ночь. Промчался Щорс с группой командиров. Быстро соскочил он с коня и, сняв шапку, подошел к гробу Боженко.

— Прощай, комбриг. Прощай, батько! Прими нашу любовь и дружбу на вечные времена. Прощаем и мы тебе нагайку-дротянку и крепкое слово. Плохо ты читал карту, но чуял и бил врага революции, как надо. Прощай, товарищ, мы спешим. Вспомним о тебе через двадцать лет. Извини великодушно, что отменяю салют. Мы его пустим в голову Петлюре... По коням сида-ай!

Рысью уходили бойцы вдоль городских улиц и, оборачиваясь в седлах, посылали последний привет старому командиру.

На следующий день к Щорсу прибыла инспекция из штаба армии.

— Вы почему отступаете на Коростень? — сразу же спросил Щорса представитель штаба Вурм.

— Почему отступаю? Почему отступаю? Ах, отступаю почему, вы спрашиваете? — Щорс ходил по штабу, весь еще во власти печали. Он не спал всю ночь и даже не садился. — Почему отступаю?

— Да.

— Я уже по прямому проводу ответил командующему.

— Позвольте, вот приказ командования отступать на Киев через Коростышев по шоссе.

— Приказ не догма. Обстоятельства меняются, меняются решения, — ответил Щорс.

— Я не понимаю этих решений, — сказал инспектор.

— Не понимаете, так молчите, — вмешался Тышлер. — Отступать на Киев? Вы хотите, чтоб Деникин с Бахмача, а Петлюра с Коростеня зажали нашу армию и раздавили?..

— Это еще не доказано.

— Вот мы и не хотим, чтоб это было доказано! Мы отступаем на Коростень и давим Петлюру, — ответил Тышлер...

— А если не удастся, — вмешался Щорс, — что тоже возможно... на войне все возможно! Особенно при усталости бойцов и нежелании Троцкого считаться с международной важностью нашего фронта. Подкреплений ведь не прислано. Тогда у нас есть единственный путь временного отступления в Россию через Мозырь для получения помощи из России.

— Но это прямое неподчинение распоряжениям правительства и партии! — Инспекторы смотрели на Щорса уже с неприкрытой ненавистью.

— Не вам мне об этом говорить. Правительству и партии я подчиняюсь. Но я не желаю подчиняться генералам, которые успели уже по чьему-то приказу облепить штаб армии. Черт возьми!.. Телеграфирую, — обратился Щорс к своим командирам, — войска босы, истощены. Только свежие силы могут спасти положение... Отвечают: «У вас есть резервы. Пошлите в бой школу красных командиров». Вы понимаете?

— А почему не послать?

— Замолчите вы... военнослужащий! Школы красных командиров я в бой не пущу. Я потеряю дивизию, но сохраню командиров, и у меня будет дивизия! Корпус! Армия!

В это время школа красных командиров проходила мимо штаба с песнями, в полном походном порядке. Щорс подошел к окну и, резко повернувшись к представителям инспекции, гордо выпрямился:

— Вот они, лучшие из лучших! Рабоче-крестьянские командиры! Красота!

Школа увидела Щорса в окне и послала ему громовое «ура».

— Передайте спецам и Троцкому, что вы видели моих командиров, — сказал Щорс. Глаза его сверкали, и голос был звонок и чист. — Вот они идут вам на смену! Вы хотите их угробить, я понимаю. Вы хотите, чтобы они завтра пали прекрасной смертью храбрых. Это вам не удастся! Это — мое! — Щорс положил руку на сердце.— Этого у меня никто не отнимет. Всё!

Он повернулся к окну, и все лучшие богунцы в последний раз услышали своего начдива:

— Товарищи командиры Рабоче-Крестьянской Красной Армии! Презирайте рабство, как смерть, любите ре-

волюцию, как жизнь! Это я вам говорю. А мне сказал Ленин!..

С громовым «ура» проходили перед Щорсом молодые его командиры двадцать восьмого августа тысяча девятьсот девятнадцатого года. Грозная музыка звала к победе, и стройный ритм шагов, и долго не смолкавшая песня.

— Звідки ж ви, хлопці, зброя в вас ясна,
В лузі гудуть батареї?..
— З Києва, з Ніжина, з краю-розмаю,
Ще й з України всієї!

— Скільки ж вас, хлопці, славні богунці,
Вийшло од рідної хати?
— Нас не богато, нас і не мало —
Вистачить пана рубати!

— Звідки ж ви, хлопці, зброя в вас ясна,
Громом гудуть батареї?..
— З Києва, з Ніжина, з краю-розмаю,
Ще й з України всієї!

Щорс стоял у окна. Он был прекрасен...
Больше мы его не видели.

1939

«ДОРОГИЕ ВОСПОМИНАНИЯ О НАЧАЛЕ НАШЕЙ ЭПОХИ»

Книга, которую вы только что прочитали, написана теми писателями, кто с оружием в руках защищал молодую Советскую республику, кто был страстным и в то же время объективным летописцем незабываемого периода нашей советской истории, о котором очень емко и образно сказал А. Довженко — *«начало нашей эпохи»*. Все те произведения, которые вобрал в себя сборник «Октябрьские зори», и составляют хотя не большую, но весьма весомую часть дорогих, драгоценных воспоминаний о славной революционной поре.

В комментариях, следующих за этим послесловием, сравнительно подробно сказано об авторах сборника, прослежен их боевой путь. Поэтому повторять его нет необходимости. Однако следует со всей основательностью подчеркнуть, что многие произведения так никогда и не были бы написаны, если бы их авторы в годы гражданской войны не прошли бы дорогами своих будущих героев.

Художественные произведения этих прозаиков об Октябрьской революции потому и имеют особую ценность, что они непременно хранят живые, непосредственные впечатления о той легендарной эпохе.

Революция, увиденная своими глазами, — эта черта писательского восприятия событий придает произведениям сборника не только особую достоверность, но и создает неповторимый сплав художественности: сочетание проникновенной лиричности, романтической приподнятости стиля с суровым реализмом, бросающим вызов какой бы то ни было легкой упрощенности, приглаженности в трактовке тех сложных исторических событий, в понимании психологических переживаний человека революции. Потому-то хотя публикуемые в этом сборнике произведения и написаны в разные годы (порой их разделяют одно-два десятилетия), они тем не менее ярко обнаруживают художественное родство между собой.

Поэтическая сила советского искусства уже на самых первых его шагах была столь велика, что многие произведения той поры сразу встали вровень с лучшими достижениями литературы всех времен.

Об этом говорят «Двенадцать» А. Блока, «Анна Снегина» С. Есенина, «Города и годы» К. Федина, «Барсуки» Л. Леонова, «Чапаев» Д. Фурманова, «Владимир Ильич Ленин» В. Маяковского, «Железный поток» А. Серафимовича и многие другие.

Надо помнить, что именно в первое десятилетие революции создавались и такие вершины социалистического реализма, как

«Тихий Дон» М. Шолохова, «Хождение по мукам» А. Толстого, «Жизнь Клима Самгина» М. Горького.

Русская литература революционного времени смело приняла эстафету от литературы классической. Не было поры сколько-нибудь робкого ученичества. Искусство революции мужественно вторглось в область самых сложных духовных исканий, оно стало искать ответы на самые трудные, вечные вопросы человеческого бытия.

С несколькими из таких замечательных произведений, которые как раз стоят рядом с «Тихим Доном» и «Хождением по мукам», знакомит эта книга. В ней нашла отражение, конечно, лишь малая доля того огромного художественного наследия, которое составляют поэтические и прозаические произведения многонациональной советской литературы, посвященные теме Октября. Чтобы представить размеры этого наследия, достаточно напомнить, что когда к 50-летию Советской власти Государственной библиотекой СССР им. В. И. Ленина готовился библиографический указатель произведений о революции, опубликованных на русском языке, то число таких изданий достигало тогда более трех с половиной тысяч. (См.: Великая Октябрьская социалистическая революция в произведениях советских писателей. К истории советской литературы. Библиографический указатель. М.: Книга, 1967).

Традиция создавать тематические сборники из произведений, посвященных революции, начала складываться буквально в первые же годы Советской власти.

Уже в 1917 году был издан альманах «Революция в Петрограде. Впечатления. Рассказы. Очерки» — о событиях, непосредственно предшествовавших Октябрю. Затем появилась первая подборка в журнале «Вестник жизни» (1918, № 2) — «Отражения революции 1917 года в русской литературе». В 1920 году в Благовещенске вышло в свет издание «Красная Голгофа. Сборник, посвященный памяти товарищей, погибших за рабочее дело» — о борьбе за Советскую власть на Дальнем Востоке в 1919—1920 годах. Появлялись подобные книги в Саратове — «Октябрь. 1917—1921» (1921), в Москве — «Вехи Октября» (1923), в Одессе — «Потоки Октября» (1924).

Особенно широкая работа по подготовке таких изданий развернулась в связи с первым десятилетним юбилеем Советского государства. В это время к читателю пришли сборники: «Революционная Россия. Образы революционеров в русской художественной литературе» (1926); «За власть Советов» (1925); «В боях за Октябрь» (1927); «Великая борьба. Октябрь в художественной литературе» (1927); «Гражданская война в художественной литературе» (1929) и др.

Такие книги появлялись и дальше, на каждом новом этапе советского общества, на каждом новом подъеме нашей литературы. И всякий раз такие издания предстают не только как вновь подарок Октябрю, который несет все более глубокие признания завоеваниям пролетарской революции. Эти книги являются неповторимыми фактами самопознания, самосознания социалистического общества, помогают осмыслить на каждом новом историческом этапе социально-нравственные достижения Октябрьской революции, ее достижения в области художественного мышления.

В 30-х годах такими книгами были, например, — «Писатели Великому Октябрю» (1932), «Гражданская война» (1932), «В боях за Октябрь» (1935). Именно в этот период, когда советское общество впервые осознало себя как неколебимое содружество

многих народов и национальностей, было подготовлено и такое уникальное издание, как «Писатели СССР — Великому Октябрю» (1932). Здесь собраны произведения более 60 писателей союзных и автономных республик, посвященные социалистической революции.

Из изданий послевоенных лет выделяется обширный сборник «Октябрь в России» (1963), в котором представлены наиболее значительные достижения советской литературы в осмыслении революционных событий 1917 года.

Сборник «Октябрьские зори» продолжает эту традицию в истории советской культуры. Его своеобразие состоит в том, что здесь представлена проза малых жанров — рассказы, повести, отчасти очерки.

И хотя в силу своих жанровых особенностей публикуемые произведения повествуют лишь об отдельных событиях из времен Великого Октября и гражданской войны, в целом они безусловно воссоздают и облик эпохи, и образ нового человека-революционера, и своего рода летопись революционных сражений — начиная с описания легендарного выстрела «Авроры» и кончая событиями на Дальнем Востоке, в Средней Азии.

Самостоятельность художественной мысли писателей эпохи революции выражалась прежде всего в их стремлении принять из рук Л. Толстого и Ф. Достоевского как первейшую творческую заповедь — познать и воссоздать правду жизни, беспощадную реальность окружающего мира. Не во всех случаях, конечно, эти юноши в красноармейских шинелях осознавали свою творческую работу как завет, идущий от высокой классики. Но объективно здесь осуществлялась именно эта преемственная связь развития национальных традиций в литературе. И хотя в эти годы суетливо, безудержно создавались разного рода литературные группировки, литературные манифесты (в сборнике «Литературные манифесты (От символизма к Октябрю)», изданном в 1929 году, помещено около 30 программных деклараций литературных групп 20-х годов), которые в подавляющем своем большинстве призывали к разрыву с классическим искусством, советская литература решительно не пошла по этому пути.

Сегодня с особой очевидностью открывается зоркость социального мышления, то бесстрашие реализма, с каким писатели подходили к исследованию революционной действительности. Отсюда так силен накал драматизма в каждом повествовании. Не скрыты ни размеры сражений, ни высокая цена человеческих жертв, отданных в борьбе с непримиримым классовым врагом за победу революции.

В повести Д. Фурманова «Красный десант», написанной в ноябре 1921 года, когда еще не стих накал гражданской войны, с очерковой обстоятельностью воссоздаются сражения Красной Армии за кубанское казачество. Но ликование чувства победы, одержанной над белогвардейщиной, не заслоняет у художника мысли о тяжести и жестокости боев за эту победу: *«Сколько побито здесь было народу, сколько сгибло его на дне Протоки — останется навсегда неизвестным».* Именно поэтому как мужественный реалист писатель даже в победном кличе атаки не побоялся услышать тревожную поступь классовой схватки: *«Какое-то ледяное безумное „ура“ вонзилось в черную ночь и сверлило ее безжалостно».*

Неотвратимость потерь, без которых не мог обойтись этот героический поединок народных сил с угнетателями (на него

впервые решилась мировая история), — эта мысль пронизывает различные сюжетные мотивы почти во всех произведениях сборника «Октябрьские зори». Такова была историческая действительность, таким представало и реалистическое мышление первого поколения советских писателей. Не та пресловутая «поэтика жестокостей», которая культивируется в модернистском искусстве на протяжении всего XX века с той целью, чтобы разрушить гуманные начала в поведении личности, разрушить любые благородные человеческие побуждения, но мужество реализма, несущего правду о мире, возвышающего ценность человеческой жизни. А. Довженко назовет это *«животворящей гражданской войной... Жизнь обнималась со смертью в этот чудный день. Все воевало»*.

В рассказе Вс. Вишневского «Бронепоезд „Спартак"» четкими романтическими мазками рисуется тот же, что и в «Красном десанте» Д. Фурманова, трудный марш победы бойцов Украины, поднявшихся против белогвардейских армий, против интервентов: *«По степи Таврической — тяжелая поступь бойцов. Нет еще встречных пуль, но сердце бьется неровно. Что будет сегодня, что будет сегодня? Город молчит... Море молчит... Небо молчит... Только степь гудит... Наши глотки гудят... В твою славу, за твою жизнь, Украина, — и пусть! — гудят перед нашей смертью!.. Опалены вражьими выстрелами брови и ресницы, и опять падают повстанцы. Умирающие дышат кислым запахом бездымленого пороха. Залегли все. Сливают кровь раненые, и идет от нее пар. Примолк город. Белые держатся»*.

Описывая революционные действия Волжской флотилии в очерке «Маркин», Лариса Рейснер также скажет свое слово о дорогой цене сражений, но тональность ее повествования будет пронизана тонкой взволнованной лиричностью: *«И только теперь, когда близок час невольного отступления, все вдруг начинают чувствовать, как дóроги и незабываемы стали эти берега, отбитые у неприятеля, каждый поворот реки, каждая мохнатая ель над крутыми обрывами. Сколько трудных часов ожидания, сколько надежд и страхов — не за себя, конечно, но за великий восемнадцатый год, судьбы которого иногда зависели от меткости выстрела, от мужества разведчика! Сколько радостных часов победы останется здесь, на Каме! Лед затянет суровые воды, избитые снарядами, исчерпанные высокими бортами, лед навсегда скроет от нас омуты, ставшие могилами наших лучших товарищей и ожесточеннейших врагов»*.

Эти строки созданы по горячим следам гражданской войны. И каким же богатством чувств, какой удивительной способностью к трепетному волнению были наделены люди революции, художники революции, если в пору грозных боев такими щедрыми на сердечное волнение были их душевные переживания!

В прозе Л. Рейснер даже облик, судьбы военных кораблей, сражавшихся на стороне большевиков, становятся художественными образами большой одухотворенной силы. Таким предстает боевое судно «Ваня-Коммунист» в момент его трагической гибели, нагрянувшей в бою: рев сирены — это *«прощальный привет моряков»*. *«К нему прибегают суда, находящиеся в крайней опасности. Так звал к себе на помощь несчастный «Ваня-Коммунист», зажженный неприятельским снарядом, пылающий среди ледяных вод реки... Как долго, как непрерывно кричала его сирена... Окутанная паром, опаленная огнем, обезумевшая, страшная сирена смерти. Странно и неожиданно подошло это несчастье»*.

Само ласковое имя, которым нарекли судно, и его беззаветное

геройство, щемящая беззащитность перед нагрянувшей бедой, его прощальный стон о помощи — все это говорит о вдохновенной и грозной, беспощадной судьбе, которая выпала на долю юности революции.

Проза сборника дает возможность достаточно широко, с документальной достоверностью представить и географическую, и, так сказать, стратегическую карту военных действий революции. Здесь воссоздается ход революционных событий в Петрограде — у Зимнего дворца, в Смольном, у Пулковской обсерватории, в Кронштадте; в Москве — на Красной площади, в Замоскворечье, в Лефортове на Яузе. Затем маршруты ведут к победным сражениям Красной Армии в центральных промышленных районах России, в Кубанских степях, в Поволжье, на Украине, на Дону, в песчаных пустынях Зауралья, в Сибири, на Дальнем Востоке, в Туркменистане.

Повествование чаще всего ведется с точным указанием дат и даже времени суток, когда разворачивались те или иные сражения за революцию. А. Довженко, например, открывает повесть «Щорс» заставкой явно летописного характера: *«Тысяча девятьсот восемнадцатого года, июня двадцать девятого дня, в три часа пополудни, на Украине, в селе Воробьевке...»* Пристально вглядывались в то, как отсчитывалось тогда время истории, и Б. Лавренев *(«21 октября 1917 года шел мелкий дождь»)*, и Вс. Вишневский *(«17 декабря 1918 года... Полк стоит под селом Кузнецовским...»)*, и Р. Фраерман *(«Июль 1918 года был особенно жаркий»)*, и другие писатели.

Произведения этого сборника позволяют нам познакомиться со многими историческими реальностями той знаменательной эпохи. В неповторимой живой конкретности предстают, например, действия судового революционного комитета, который, взяв в свои руки управление кораблем, привел «Аврору» к ее легендарному выстрелу, возвестившему о свершившейся в России социалистической революции («Выстрел с Невы» Б. Лавренева). Существенные штрихи к истории взятия Зимнего дворца добавляют Ю. Инге в рассказе «День рождения» и А. Мусатов в рассказе «Катерина». С тщательностью вычертил маршруты уличных боев в Москве в цикле «Рассказы об Октябре» А. Яковлев.

Читатели сборника «Октябрьские зори» узнают о том, как в Мариуполе после победы Советов был предъявлен от имени Красной Армии ультиматум французской эскадре о прекращении отгрузки угля за границу, станут свидетелями похода матросских батальонов из Владивостока на Иман (за двенадцать суток было сделано почти пятьсот километров таежного пути!), смогут представить себе, как протекали Октябрьские дни в Иваново-Вознесенске, как сражался Кронштадтский полк на Урале, как *«пятьсот тысяч немецко-австрийских солдат и две дивизии сине- и серожупанников, сколоченных кайзером Вильгельмом II из украинских военнопленных унтеров царской армии»*, захватчиками вступили на украинскую землю: *«Бесконечными поездами увозились на запад руда, чугун, уголь. Увозились миллионы пудов грабленого сахара, пшеницы, ячменя, ржи, гречихи... Опустошались военные заводы и пакгаузы...»* Все эти и многие другие факты из истории Октябрьской революции находят живое, жизненно достоверное воплощение в прозе сборника.

Воплощенная в живых характерах, в зримых очертаниях быта, среды той поры, история оживает, становятся близкими радости и страдания тех, кто не щадя себя отстаивал завоевания

революции. Многогранным развертывается и сам художественный образ революции. Он предстает то в коллективном облике матросов Кронштадтского полка, которые, отправляясь на схватку с классовым врагом, *«великолепным шагом прошли... Якорную площадь Кронштадта»* («Гибель Кронштадтского полка» Вс. Вишневского); то в символическом образе легендарного морского командира Маркина *«с его огненным темпераментом, нервным, почти звериным угадыванием врага, с его жестокой волей и гордостью, синими глазами, крепкой руганью, добротой и героизмом»* («Маркин» Л. Рейснер). Чаще же всего символ революции связывается с мотивом стремительного движения, с поэзией наступления. Никогда раньше русская литература не знала, пожалуй, такого мощного напора ветра, ветра победы, гула неостановимого народного шествия.

В повести А. Малышкина «Падение Даира» стратегия движения передается как бы черненой чеканкой: *«Лампы, пылающие в полночь, безумеющая бессонница штабов, Республика, кричащая в аппараты, стотысячный топот в степи; это развернутый, но не обрушенный еще удар по скале, по последним армиям противника, сброшенного с материка на полуостров».*

Щедрая романтическая кисть А. Довженко рисовала движение революции в киноповести «Щорс» сверканием ярких красок, их неудержимым цветением: *«— Ура! — кричали богунцы, проносясь мимо командира. У коней дымились горячие ноздри. И хлопцы тоже дымились, казалось, не от мороза, а от сильного внутреннего накала. Блистали сабли...»*

Стихия народного движения выливалась в одних произведениях в картину всепроникающего водного потока. (*«И, как вода, текли в каждую щель, через дворы, через крыши, только бы туда, где сражаются. А на Страстную площадь подходили всё новые и новые отряды — солдаты, солдаты, солдаты, рабочие, рабочие,— тысячи шли в неудержимом, сокрушительном стремлении».* — «Рассказы об Октябре» А. Яковлева); в других — рисовалась как единство неколебимых рядов ратоборцев (*«Мы не только пели — мы видели перед собой наяву, как поднялись, идут, колышутся рабочие рати на этот смертный последний бой; нам уже слышны грозные воинственные клики, нам слышится суровая команда — чеканная, короткая, строгая, мы слышим, как, лязгая, звенит оружие... Да это поднялись рабочие рати».* — «Незабываемые дни» Д. Фурманова.).

У каждого писателя образ революции приобретает свою поэтическую вдохновенность. В повести «Р. В. С.» А. Гайдара он окутан теплой лиричностью и нотками озорства, идущими от детского, подросткового восприятия событий; в «Сорок первом» Б. Лавренева — буквально излучает трепетные движения ласкового человеческого сердца (в красноармейцах «говорила... бессознательная нежность, глубоко запрятанная под твердую яркоцветную скорлупу курток, тоска по покинутым дома жарким, уютным бабьим телам»). У А. Довженко, наоборот, лирика приобретает высокий патетический настрой: *«Матери! Щорс стоит на площади! Уже спешат к нему ваши ненаглядные дети. И никому уже и ничему не остановить их. Не удержат уже их ни слезы ваши, ни девичья нежность сестер, ни грозные взгляды отцов. Оторвутся они от вас внезапно, скроются в снежной метели и понесут знамя истории по всему свету. И кто падет, когда, под каким городом, кто будет прославлен, чье имя прогремит в веках, — не скоро услышите драгоценные вести».*

Реалистическое письмо художников — современников революции сумело запечатлеть действительность той поры в ракурсе самых разных проблем. Солдаты революции ведут трудные, но вдохновенные дискуссии о народных судьбах, о философских основах человеческого бытия.

В рассказе А. Толстого «Ночь между двумя боями» герои ведут дискуссии о «моральном обосновании» революции, о судьбах «гуманитарного мышления», об исторических корнях русской интеллигенции, о том, сумеют ли коммунисты стать хранителями «тысячелетней морали» или «вышвырнут за борт старые бочки с гуманизмом».

Не менее сложные общечеловеческие вопросы волнуют и персонажей рассказа М. Шагинян «Агитвагон». Это произведение выделяется нервным изяществом, если так можно сказать, коллизии, которая лежит в основе повествования у М. Шагинян.

Рассказ ведется как бы на гибком острие, на котором зыбко балансируют невидимым образом связанные между собой философские и конкретные социально-политические вопросы существования революции. Жестокая расправа контрреволюционных банд над агитаторами («Агитвагон») революции — случай распространенный для времен гражданской войны. Но М. Шагинян сумела эту ситуацию представить сквозь призму вечной проблемы: об истинах и тайнах во взаимоотношениях проповедника и его паствы, агитатора и массы. Герой этого рассказа, комиссар, погибает, он приносит себя в жертву заблудившемуся сознанию тех, кто не сумел найти путей в революцию.

Нечеловечески жестокая казнь над ним помогает заблудшим людям прийти в конце концов к идеалам нового мира. В рассказе поднят вопрос о цене такой жертвы, она названа одним из персонажей *«образцовой агитацией» («Живите тысячу лет и еще тысячу, а большего не придумаете. Сильнее, чем жертва, на земле ничего нет»).*

Проблемы выбора, долга, гуманности так или иначе поднимаются в каждом произведении. Особенно ярко они высвечиваются там, где возникают яркие образы комиссара, красного командира. С образами их связаны самые важные и самые сложные художественные искания в произведениях, составивших сборник «Октябрьские зори». Личности командира революционных сил посвящены рассказы А. Серафимовича «Politком», М. Шолохова «Продкомиссар», М. Шагинян «Агитвагон», А. Фадеева «Рождение Амгуньского полка», Ф. Панферова «Перед расстрелом»... Да, по сути дела, в сборнике «Октябрьские зори» нет ни одного произведения, в котором бы образы комиссара и командира не имели бы решающего значения. Конечно, в произведениях, включенных в сборник, этим образам принадлежит далеко не одинаковая роль в сюжете, в композиции. Далеко не каждый образ столь тщательно и глубоко прописан, как, скажем, образы Щорса у А. Довженко, Евсюкова в «Сорок первом» Б. Лавренева, командарма в «Падении Даира» А. Малышкина, командира в «Р. В. С.» Гайдара, но даже сравнительно эпизодическая роль командира особого отряда буденовцев Заварухина в повести Л. Пантелеева «Пакет» имеет принципиальное художественное значение. Важно подчеркнуть, что и Евсюков, и Заварухин не просто отдают важные и своевременные приказы (соответственно — Марютке и бойцу Трофимову) — они остаются для них при всех превратностях судьбы образцами служения революционному долгу, они словно не-

зримо присутствуют рядом с бойцами — главными героями произведений.

Первоначальное впечатление действительно может породить некий стереотип образов комиссара и командира в советской прозе 20-х—30-х годов: высеченные словно из камня, резкие, отличающиеся неподвижной монументальностью черты лица, непререкаемость тона, культ действия, а не размышления, пренебрежение своей жизнью и жизнью других.

Так, например, в «Рождении Амгуньского полка» у командира Селезнева *«были сильные челюсти, прямой и крепкий нос, темные, почти черные волосы на голове и такие же подстриженные по-английски усы. Одна из бровей поднялась чуть выше другой, и из-под обеих смотрели острые, проницательные глаза цвета полированной яшмы»*. Подобная стилистика особенно настойчиво подчеркивается в «Падении Даира» А. Малышкина. Мы здесь также встречаем нарочито жесткую монументальность в поведении командира: *«Минуту спустя прошел командарм: близоруко щурясь, выпрямленный, как скелет, стриженный ежиком, каменный, торжественный командарм, взявший на материке восемь танков и уничтоживший корпус противника...», «Каменная черта на лбу...», «Жесткая, ироническая улыбка», «Командарм улыбнулся каменной своей улыбкой»*.

В «Сорок первом» в известной мере Б. Лавренев тоже ориентирует повествование на судьбу «кожаных курток». Он и открывает повесть рассуждением по этому вопросу: *«...Время пришло грохотное, смутное, кожаное. Брошенному из милого уюта домовых стен в жар и ледынь, в дождь и ведро, в пронзительный пулевой свист человечьему телу нужна прочная покрышка. Оттого и пошли на человечестве кожаные куртки. Красились куртки повсюду в черный, отливающий сизью стали, суровый и твердый, как владельцы курток, цвет»*.

Правда, в «Сорок первом» нет ни резко очерченной монументальности в обрисовке характеров, ни мотива тяжелой непреклонности в поведении, в психологии героев. Наоборот, звонкая и одновременно хрупкая романтичность, веселая ирония, теплая лирическая интонация, кажется, уже сами по себе противостоят той манере живописания, которую можно наблюдать у А. Малышкина или А. Фадеева.

И тем не менее внешний рисунок поведения комиссара Евсюкова и красногвардейки Марютки (добиваясь во что бы то ни стало вступления в Красную Армию, она дала *«подписку об отказе от бабьего образа жизни и, между прочим, деторождения до окончательной победы над капиталом»*) говорит о том, что эти герои жили вроде бы по формуле «кожаных курток» и потому отдавали в жертву военным сражениям свои глубоко интимные переживания. Марютка сосредоточенно и стойко следовала требованиям, изложенным в своей подписке, а комиссар Евсюков нередко «исступленно» кричал на подчиненных: *«Без рассуждениев! Революционный долг знаешь? Молчок! Приказал — кончено! А то враз к стенке»*.

Но повесть «Сорок первый» наделена столь яркой поэтичностью, столь богатым социально-нравственным содержанием, что воссозданный в этом произведении художественный мир сверкает буквально безудержной игрой красок. Так может искриться только море в лучах солнца или природа в момент ее весеннего цветения. Недаром на страницах повести можно встретить пейзажные зарисовки большой художественной силы: *«Уже давно под*

ударами золотых копыт лопнула тонкая броня на острове. Стал он мягким, ярко-желтым, канареечным на темном стекле густой воды. Песок в полдень обжигал ладони, и больно было до него дотронуться. В грузной синеве золотым пылающим колесом ярилось промытое талыми ветрами солнце». В этом удивительном мире и внутренняя жизнь героев предстает наделенной поразительно щедрой душевностью.

Достаточно при этом обратить внимание на то, как много нюансов отметил писатель в поведении того же комиссара Евсюкова: *«...сжалось сердце у Евсюкова под малиновыми латами»; «смутно стало Евсюкову», «шатнулся вспуганной птицей комиссарский голос»;* он то морщился от жалости к безоружным пленным, то убегал от проявления жестокости по отношению к ним. А непреклонная в убеждениях на счет своей женской судьбы, лучший стрелок в отряде красногвардейка Марютка предстает вдруг *«тоненькой тростиночкой прибрежной»;* она умела смеяться *«виновато и нежно»;* умела прикоснуться к тайнам больших чувств и сама в себе таила такие тайны. Потому и сумела наперекор всем социальным перегородкам, которые отделяли ее от белогвардейского офицера, все же пережить прекрасное счастье любви, как сумела и встретиться с бездонным отчаянием, когда трагедия настигла ее счастье.

Подобная картина открывается и в повести «Падение Даира». Неколебимая, казалось, монументальность не раз, пусть на мгновение, но как бы спадает с облика командарма, оттого что она оказывается беспомощной перед сложностью тех исторических событий, в которых принимает участие командарм, и, более того, судьба этих событий (взятие Даира как оплота белогвардейской армии) была вверена ему. В эти мгновения — без каменной своей маски — командарм предстает перед читателем человеком, стремящимся постичь законы истории, думающим о движении жизни бесстрашно и глубоко: *«И командарм в далекой избе, на попоне, завернувшись с головой в шинель, спал не спал — видел зарева, висящие в безднах, и идущих из черных снов в века».* Такое происходило с героем накануне решительного штурма белогвардейской твердыни Заволжской армией. Только ему в «Падении Даира» доступно было в ранний степной рассвет представить *«за курганами невнятную, огромно восходящую зарю»* не иначе *«как гранью веков».* Да и завершается повесть символической сценой: во время торжествующего победного шествия революционной армии появляется профиль командарма, *«думающего о суровом»,* то есть думающего о трудных путях революции.

Но, к сожалению, многие из таких ключевых деталей остаются все еще не прочитанными нами в советской прозе 20—30-х годов.

У А. Довженко Щорс тоже появляется перед читателем в «кожаной куртке»: *«Щорс стоял перед партизанами без коня и меча, с одним лишь маленьким браунингом у пояса, в кожаной тужурке и улыбался».* Но и здесь опрокидывается сама возможность появления какого бы то ни было мотива, свидетельствующего об упрощенном восприятии личности командира. Щорс входит в мир революционных сражений как истинно прекрасный, красивый человек, сумевший вместить в своем сердце тревоги и радости родного народа. *«В темные ночи, туманными болотами и ярами пробирались»* партизаны *«к Щорсу из разных задымленных сел, преследуемые гайдамаками и немцами... Ему, командиру большевиков, показать свои шрамы, перечислить все бедствия на-*

рода, рассказать о переполненных тюрьмах, расстрелах, грабежах, о выжженных панами селах, о растленных сестрах и замученных братьях...»

Не менее сложное содержание заключено и в рассказе А. Серафимовича «Политком». Причем логика художественного образа развивается здесь приблизительно так же, как и в «Падении Даира» (вернее, в «Падении Даира» так же, как в «Политкоме», так как рассказ А. Серафимовича написан в 1918 году, повесть А. Малышкина — в 1923 году). На первый взгляд, перед нами герой-схема: лишив себя всех радостей жизни, загубив свою творческую работу как художник ради безупречного исполнения революционного долга («Все двадцать четыре часа» политком *«принадлежит не себе, а своей части»,* комиссар *«не знает необходимости отдыха, сна. Двадцать четыре часа на ногах, готовый каждую минуту отдать приказание, или впереди цепи идти в атаку...»),* он тем самым будто бы упростил свою личность до пресловутой «кожаной куртки». Но А. Серафимович ведет читателя к иному пониманию человеческих ценностей. Да, в разгар боев (рассказ написан в 1918 году!) была принесена в жертву возможность этого одаренного человека заниматься живописью. Но это жертва временная, жертва ради того, чтобы обрести навсегда это право на творчество не только для себя, но и для всех тех, кто идет за политкомом в атаку. Но даже и не эта, так сказать, общая постановка вопроса выигрывается главным образом в сюжете рассказа. Главный эмоциональный, поэтический итог состоит в том, что, не утаив ни одной из личных трудностей, ни одного из лишений, на которые пошел герой, приняв на себя обязанности политкома революционной армии *(«Все задавил в себе, все принес пролетариату...»),* А. Серафимович показал этого человека поистине счастливым и поистине прекрасным. Его красота была выражением красоты человеческого бытия, цветением человеческой природы: *«...открытое юное лицо... Чистый открытый лоб, волнистые светлые, назад, волосы, и молодость, смеющаяся, безудержная молодость брызжет из голубых радостных глаз... Как молодой конь, выпущенный в раннее утро во весь повод, несся он, и ветер резал его, и травы и цветы ложились под ним, и пена клочьями неслась назад, а ему все мало, он все наддает, все прибавляет, и нет конца бегу».* Красивое счастье жить дарило этому человеку обретенное им в совместной борьбе духовное, психологическое родство с солдатами революции. Они признавали его правоту как вожака, доверялись ему. И это создавало для героя высшее ощущение счастья.

В рассказах М. Шолохова «Родинка», «Продкомиссар», «Чужая кровь», «Жеребенок» юные комиссары революции вступают в еще более сложные и в большинстве своем также трагические взаимоотношения с окружающим миром. Почти все из них погибают в сражениях с врагом, но, погибая, также успевают в жесточайших обстоятельствах борьбы показать, что под их всё теми же «кожаными куртками» билось щедрое на человечность сердце.

В «Продкомиссаре», выполняя свой революционный долг, начальник продовольственной разверстки Бодягин казнит своего отца за неподчинение Советской власти (при этом «придушенно» произнося: *«Не серчай, батя...»).* Но этот же человек вслед за тем, пожертвовав своей жизнью, спасает замерзавшего в степи ребенка *(«Не брошу мальчонку, замерзнет!»).*

В рассказе «Жеребенок» красные казаки во главе с эскадронным командиром оберегают от смерти в кровопролитных атаках

прекрасное беззащитное дитя природы — жеребенка. В конце концов за это благородство сердца тоже приходится расплачиваться солдатской жизнью. Таковы безжалостные законы сражений.

Но в том и состоит неоценимое художественное, идеологическое завоевание литературы первых двух десятилетий Советской власти, что, не упрощая, не сглаживая жесточайших противоречий социальной действительности, она сумела раскрыть нравственное богатство людей революции. И в подавляющем большинстве произведений это не было ни декларацией, ни простенькой иллюстрацией к такой декларации. Шло трудное, по высшим законам реализма постижение самых глубоких тайн человеческой натуры. Потому и сегодня продолжают волновать, вызывают ощущение радости, как это происходит от каждой встречи с прекрасным, и повесть «Сорок первый» Б. Лавренева, буквально напоенная покоряющей красотой любовного чувства, и гайдаровская повесть «Р. В. С.», где неизбывная детская радость от встречи с окружающим миром выдерживает суровые испытания. Потому такой мягкой тональностью и завершается у А. Гайдара повествование: *«Ветер чуть-чуть шевелил волосы на его лохматой головенке. Худенькие руки крепко держались за перекладины, а большие голубые глаза уставились вдаль, перед собой... На дороге чуть заметной точкой виднелся еще отряд... Улеглось облачко пыли, поднятое копытами... Проглянуло сквозь него поле, под гречихой, и на нем — больше никого».*

Особая тема сборника «Октябрьские зори» — это тема пролетарской солидарности, тема интернационализма. Она возникает во многих произведениях и помогает прикоснуться к столь же волнующим глубинам человеческих взаимоотношений.

В «Щорсе» есть знаменательная сцена. В момент, когда иностранные интервенты, призванные контрреволюцией, вступили на украинскую землю (*«Топтали украинский хлеб длинные немецкие цепи. А немецкие снаряды уже ложились на площадь, на огороды, в бедняцкие дворы»*), народ искал защиты в солидарности с Россией: *«Слышался тревожный топот и плач расставаний. — Прощайте, мамо, прощайте. Едем до Щорса... Есть в России Радянська власть... В Россию едем, до Ленина. — Скажите ж Ленину, чтоб не забывал нашу бидну Украину».*

Это же чувство солидарности породило мужскую дружбу, пролетарское единение между кронштадтским матросом Арсением и военным моряком французской службы Шарлем Дюмоном, который перешел на сторону революции: *«Всюду их видели вместе — и на митингах, и на вечеринках, и в театре, и на лекциях, и на бурных заседаниях Кронштадтского Совета. Шарль рьяно изучал язык революционной страны... Вместе они участвовали в штурме Зимнего дворца, вместе в конце семнадцатого года с одним из первых красногвардейских отрядов отправились на фронт...»* Эта дружба, о которой поведал А. Веселый в рассказе «Побратимы», полна драматических событий, она спасла героям жизнь.

Тема интернационального единения ярко раскрывается и в рассказе «Море» А. Серафимовича. Он был написан в разгар революционных событий — в 1918 году, и уже тогда появились волнующие слова художника: *«Весь земной шар заселен братьями рабочими. Уже слышен набат. Уже колеблются стены тысячелетней стройки эксплуатирующих, и восходит из-за них заря нового человеческого строительства, заря социализма...»*

Р. Фраерман свой рассказ «Сквозь белый ветер» тоже посвятил теме интернациональной солидарности. Писатель воссоздал

судьбу японского солдата Симото, которого послали воевать с большевиками. Но тот сумел понять людей, которые выступили на борьбу за счастье рабочих. После тяжелых испытаний Симото в конце концов пришел к приамурским партизанам, к большевикам.

Панорама революционных событий, встающая со страниц сборника «Октябрьские зори», не может не волновать сегодня нас, ради которых и начинались те грандиозные сражения.

Один из самых ярких певцов революции А. Довженко написал в «Щорсе» слова, которые можно бы было поставить эпиграфом к сборнику «Октябрьские зори»: *«Приготовьте самые чистые краски, художники. Мы будем писать отшумевшую юность свою... Дорогие воспоминания о начале нашей эпохи... Уберите все пятаки медных правд... Есть гражданская война. Есть победа и отдых между битвами... Цвет народа, его благородная юность на горном привале».* Все, что произошло в эти годы, *«даже не приснилось бы на черниговских равнинах ни героям, ни их потомкам целые, быть может, столетия, не призови их к подвигу гром пролетарской революции».*

Наталия ГРОЗНОВА

КОММЕНТАРИИ

ЛАВРЕНЕВ Борис Андреевич
(1891—1959)

Прозаик, драматург, публицист. Лауреат Государственных премий. Участник гражданской войны. Командовал бронепоездом, участвовал в боях в Крыму, воевал с бандами на Украине, был ранен, после выздоровления направлен в Ташкент в распоряжение Политуправления Туркестанского фронта, был военным комендантом Ташкента, работал ответственным секретарем, а затем — заместителем редактора фронтовой газеты «Красная звезда».

Великий Октябрь и гражданская война — главная тема в творчестве писателя. Эти исторические события нашли свое отражение в лучших произведениях писателя — в пьесе «Разлом», повестях «Сорок первый», «Ветер», «Рассказ о простой вещи», в очерке «Выстрел с Невы», убедительно воссоздающем атмосферу подготовки к Великому Октябрю на борту легендарного крейсера «Аврора».

Очерк «Выстрел с Невы» печатается по тексту: *Лавренев Борис.* Собр. соч.: В 6-ти т. Т. 3. М.: Художественная литература, 1964.

Повесть «Сорок первый» впервые опубликована в 1924 году. Печатается по тексту: *Лавренев Борис.* Собр. соч.: В 6-ти т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1961.

Эта повесть была дважды экранизирована советскими кинематографистами: в 1927 году — режиссером Я. Протазановым и в 1957 году — Г. Чухраем.

ИНГЕ Юрий (Георгий) Алексеевич
(1905—1941)

Поэт и прозаик. Основное творческое пристрастие Ю. Инге — маринистика. Современный читатель знает его прежде всего как отважного воина-моряка, военного корреспондента, автора многих стихотворений о моряках-балтийцах. Однако Ю. Инге отдал дань и исторической, в частности историко-революционной теме. Ярким тому примером является его рассказ «День рождения», посвященный событиям Великого Октября.

Рассказ «День рождения» впервые был опубликован в журнале «Резец», 1938, № 5. Печатается по тексту журнальной публикации.

МУСАТОВ Алексей Иванович
(1911—1976)

Прозаик, детский писатель, драматург. Лауреат Государственной премии.

Рассказ «Катерина» печатается по тексту сборника «Октябрь. 1917». М.: Издательство художественной литературы, 1957.

Александр ЯКОВЛЕВ (ТРИФОНОВ-ЯКОВЛЕВ Александр Степанович) (1886—1953)

Прозаик, публицист. События Великого Октября и гражданской войны нашли свое отражение в повестях А. Яковлева «Октябрь», «Повольники» и ряде других произведений.

Рассказы об Октябре — «В Охотном ряду» и «Взятие градоначальства» — печатаются по тексту сборника «Октябрь. 1917». М.: Издательство художественной литературы, 1957.

ФУРМАНОВ Дмитрий Андреевич (1891—1926)

Прозаик, публицист. Один из основоположников русской советской литературы. Участник гражданской войны. Комиссар в прославленной 25-й, чапаевской, дивизии, начальник политуправления Туркестанского фронта, уполномоченный Реввоенсовета Туркестанского фронта по Семиречью, начальник политотдела 9-й Кубанской армии, начальник редиздата 11-й армии и редактор армейской газеты «Красный воин» (Тифлис), комиссар знаменитого красного десанта на Кубани. Занимал ряд других ответственных должностей в Красной Армии.

Теме гражданской войны и становления Советской власти посвящены все основные произведения Д. Фурманова — романы «Чапаев» и «Мятеж», повесть «Красный десант», многие рассказы и очерки.

Очерк «Незабываемые дни (Октябрьские дни в Иваново-Вознесенске)» впервые опубликован в историческом журнале «Пролетарская революция», 1922, № 10. Печатается по тексту: *Фурманов Дм.* Собр. соч.: В 4-х т. Т. 3. М.: ГИХЛ, 1961.

Повесть «Красный десант» впервые опубликована в журнале «Пролетарская революция», 1922, № 9. Отдельной книгой вышла в свет в 1923 году в издательстве «Красная новь». Печатается по тексту: *Фурманов Дм.* Собр. соч.: В 4-х т. Т. 3. М.: ГИХЛ, 1961.

Александр СЕРАФИМОВИЧ (ПОПОВ Александр Серафимович) (1863—1949)

Прозаик, публицист. Лауреат Государственной премии. Один из основоположников русской советской литературы.

Был военным корреспондентом «Правды», освещал события гражданской войны на Дону, Северном Кавказе и на Урале. Эта деятельность А. Серафимовича получила высокую оценку В. И. Ленина.

События гражданской войны нашли свое отражение в романе А. Серафимовича «Железный поток», а также в ряде рассказов и очерков.

Рассказ «Море», написанный в 1918 году, был подвергнут авторской правке в 1934 году, а рассказ «Политком», также

написанный в 1918 году, получил новую авторскую редакцию в 1936 году. Оба рассказа печатаются по тексту: *Серафимович А. С.* Собр. соч.: В 10-ти т. Т. VIII. М.: ГИХЛ, 1948.

ПАНФЕРОВ Федор Иванович (1896—1960)

Прозаик, драматург, публицист. Лауреат Государственных премий.

Рассказ «Перед расстрелом» является первым художественным произведением писателя. Впервые опубликован в журнале «Горнило» издательства Известий Саратовского совдепа, 1918, № 5—6. Печатается по тексту: *Панферов Федор.* Собр. соч.: В 6-ти т. Т. 6. М.: ГИХЛ, 1959.

КОЖЕВНИКОВ Вадим Михайлович (1909—1984)

Прозаик, драматург, публицист. Лауреат Государственной премии СССР. Герой Социалистического Труда.

Рассказ «Большое небо» печатается по тексту: *Кожевников Вадим.* Собр. соч.: В 6-ти т. Т. 4. М.: Художественная литература, 1970.

ТОЛСТОЙ Алексей Николаевич (1883—1945)

Прозаик, драматург, публицист, детский писатель. Лауреат Государственных премий. События гражданской войны нашли свое отражение в романах А. Толстого «Восемнадцатый год» и «Хмурое утро», в повести «Хлеб», рассказе «Гадюка», а также в других произведениях.

Рассказ «Ночь между двумя боями» представляет из себя один из вариантов фрагмента романа «Восемнадцатый год», однако имеет завершенность и воспринимается как самостоятельное художественное произведение. Печатается по тексту сборника «Октябрь. 1917». М.: Издательство художественной литературы, 1957.

ШОЛОХОВ Михаил Александрович (1905—1984)

Классик советской и мировой литературы. Прозаик, публицист. Лауреат Ленинской, Государственной и Нобелевской премий.

Участник гражданской войны на Дону. Был продработником, принимал участие в борьбе с белыми бандами. События гражданской войны нашли свое отражение в романе М. Шолохова «Тихий Дон» и в «Донских рассказах».

Рассказы «Родинка», «Продкомиссар», «Жеребенок» и «Чужая кровь» печатаются по тексту: *Шолохов Михаил.* Собр. соч.: В 8-ми т. Т. 1. М.: ГИХЛ, 1956.

ФАДЕЕВ Александр Александрович (1901—1956)

Прозаик, публицист. Лауреат Государственной премии. Участник гражданской войны. Воевал на Дальнем Востоке, прошел

путь от рядового бойца до комиссара бригады. В боях под Севастополем был ранен.

Событиям гражданской войны посвящены романы А. Фадеева «Разгром» и «Последний из Удэге», повести «Рождение Амгуньского полка» и «Разлив», а также ряд очерков.

Повесть «Рождение Амгуньского полка» (другие названия этого произведения — «Против течения» и «Амгуньский полк») печатается по тексту: *Фадеев А.* Собр. соч.: В 5-ти т. Т. 3. М.: Гослитиздат, 1960.

ВИШНЕВСКИЙ Всеволод Витальевич (1900—1951)

Драматург, сценарист, прозаик, публицист, военный историк. Лауреат Государственной премии.

Участник Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны. Вступил добровольцем в Первый матросский береговой отряд Балтфлота, был пулеметчиком на корабле «Ваня-Коммунист», входившем в состав Волжской военной флотилии, на Украинском фронте служил на бронепоезде матросом-пулеметчиком, затем — также пулеметчиком, на бронепоезде, приданном Первой Конной армии; после освобождения от белых Новороссийска получил направление на Черноморский флот в матросский дозорный отряд.

Тематика гражданской войны — одна из главных в творчестве Вс. Вишневского. События этих незабываемых лет нашли свое отражение в пьесах «Оптимистическая трагедия» и «Первая Конная», в сценарии «Мы из Кронштадта», а также в других произведениях различных жанров.

Рассказы «Гибель Кронштадтского полка» и «Бронепоезд „Спартак“» печатаются по тексту: *Вишневский Всеволод.* Собр. соч.: В 6-ти т. Т. 2. М.: ГИХЛ, 1954.

МАЛЫШКИН Александр Георгиевич (1892—1938)

Прозаик, критик, военный историк. Участник гражданской войны. Служил начальником информационно-исторического отделения оперативного управления штаба Шестой армии Южного фронта, штурмовавшей Перекоп. Написал военно-исторический очерк «Описание боевых действий 6-й армии по овладению Крымом». События гражданской войны нашли свое отражение в повести А. Малышкина «Падение Даира», а также в рассказах «Ночь под Кривым Рогом», «Случай с комиссаром» и в других произведениях.

Повесть «Падение Даира» печатается по тексту: *Малышкин А.* Собр. соч.: В 2-х т. Т. 1. М.: Правда, 1965. (Библиотека «Огонек»).

ИВАНОВ Всеволод Вячеславович (1895—1963)

Прозаик, драматург. Участник гражданской войны в Сибири, на Алтае и в Туркестане.

События гражданской войны нашли свое отражение в повести «Бронепоезд 14—69» и «Партизаны», в романе «Пархоменко» и ряде рассказов.

Рассказ «Литера „Т“» печатается по тексту: *Иванов Вс.* Собр. соч.: В 8-ми т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1974.

ШАГИНЯН Мариэтта Сергеевна
(1888—1982)

Прозаик, публицист, литературовед, поэт. Лауреат Ленинской и Государственной премий. Герой Социалистического Труда. Доктор филологических наук. Член-корреспондент АН Армянской ССР.

События гражданской войны нашли свое отражение в повести М. Шагинян «Перемена», представляющей из себя беллетризованную хронику событий гражданской войны на юге России, а также в рассказе «Агитвагон», впервые напечатанном в журнале «Красная нива», 1923, № 38.

Рассказ «Агитвагон» печатается по тексту: *Шагинян Мариэтта.* Собр. соч.: В 6-ти т. Т. 1. М.: ГИХЛ, 1956.

БАБЕЛЬ Исаак Эммануилович
(1894—1941)

Прозаик, драматург. Участник гражданской войны. Был рядовым бойцом в Северной армии, сражавшейся против Юденича, и в Первой Конной армии. Сотрудничал в газете «Красный кавалерист».

Рассказ «Измена» впервые опубликован в книге И. Бабеля «Конармия». М.—Л.: Госиздат, 1926.

Печатается по тексту: *Бабель И.* Избранное. Кемеровское книжное издательство, 1966.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
(КОЧКУРОВ Николай Иванович)
(1899—1939)

Прозаик, публицист, драматург. Участник гражданской войны в Поволжье и на Южном фронте, где сражался в качестве рядового бойца 1-го Московского полка особого назначения, служил также на Черноморском флоте.

События гражданской войны нашли свое отражение в незавершенном романе А. Веселого «Россия, кровью умытая», в повести «Реки огненные» и ряде рассказов.

Рассказ «Побратимы» печатается по тексту сборника «Октябрь. 1917». М.: Издательство художественной литературы, 1957.

РЕЙСНЕР Лариса Михайловна
(1895—1926)

Прозаик, публицист, критик. Пробовала свои силы также в драматургии и поэзии, но подлинное призвание обрела в публицистике. Автор очерковых книг «Афганистан», «Гамбург на баррикадах», «В стране Гинденбурга», «Уголь, железо и живые люди», очеркового цикла о декабристах, а также других публицистических произведений. Событиям гражданской войны посвящена пер-

вая очерковая книга Л. Рейснер «Фронт», вышедшая в свет в издательстве «Красная новь» в 1924 году.

Очерк «Маркин» вошел в состав книги «Фронт».

Печатается по тексту: *Рейснер Лариса.* Избранное. М.: Художественная литература, 1965.

Л. ПАНТЕЛЕЕВ (ПАНТЕЛЕЕВ-ЕРЕМЕЕВ Алексей Иванович) (род. в 1908 г.)

Прозаик, детский писатель, драматург, публицист. Один из основоположников русской советской детской литературы.

Повесть «Пакет» впервые была опубликована в 1931 году в альманахе «Костер». Отдельным изданием вышла в 1933 году в издательстве «Молодая гвардия». Повесть была инсценирована и долгие годы шла на сцене Московского ТЮЗа. В 1966 году на киностудии «Мосфильм» был поставлен телефильм «Пакет», в котором в главной роли красноармейца Петра Трофимова дебютировал ныне широко известный актер Валерий Золотухин.

Повесть «Пакет» печатается по тексту: *Пантелеев Л.* Собр. соч.: В 4-х т. Т. 3. Л.: Детская литература, 1972.

ФРАЕРМАН Рувим Исаевич (1891—1972)

Прозаик, детский писатель, очеркист, критик. Участник гражданской войны. В Николаевске-на-Амуре вступил в партизанский отряд, который вскоре соединился с частями Красной Армии. Редактировал партизанскую газету, в которой были опубликованы первые его произведения.

События гражданской войны нашли свое отражение в романе Р. Фраермана «Золотой василек», в повестях «Огневка» и «Буран», а также в других произведениях.

Рассказ «Сквозь белый ветер» печатается по тексту: *Фраерман Рувим.* Сквозь белый ветер. М.: Издательство ЦК МОПР СССР, 1931. (Библиотека «Копейка»).

Аркадий ГАЙДАР (ГОЛИКОВ Аркадий Петрович) (1904—1941)

Прозаик, детский писатель, сценарист, публицист. Один из основоположников русской советской детской литературы. Участник гражданской войны. В 1918 году добровольно вступил в ряды Красной Армии, закончил Киевские пехотные курсы, командовал ротой, полком, боевым районом, принимал участие в боевых действиях на разных фронтах гражданской войны.

Повесть «Р. В. С.» печатается по тексту: *Гайдар Аркадий.* Собр. соч.: В 4-х т. Т. 1. М.: Детгиз, 1959.

ДОВЖЕНКО Александр Петрович (1894—1956)

Классик советского и мирового кино. Кинорежиссер, сценарист, прозаик, драматург, критик, художественный педагог. Лауреат Ленинской и Государственных премий. Заслуженный деятель искусств УССР, народный артист РСФСР.

Выступая на собрании работников Киевской киностудии в феврале 1937 года и рассказывая о ходе работы над историко-революционным произведением о герое гражданской войны на Украине Николае Александровиче Щорсе (1895—1919), А. П. Довженко подчеркнул, что им написана повесть, которую он еще будет дописывать, а в фильм *«войдет все самое важное, все динамичное, все кинематографичное»*.

Первоначальный вариант киноповести был завершен автором к концу 1936 года. В течение года А. П. Довженко собирал материал к будущему произведению, встречался с бойцами и командирами легендарной щорсовской дивизии. В конце февраля 1937 года А. П. Довженко приступил к съемкам. Первый просмотр фильма «Щорс» состоялся в марте 1939 года. Одновременно автор продолжал работу над киноповестью, отрывки из которой печатались в ряде газет, в том числе в «Известиях», «Литературной газете», в газете «Кино». 1 мая 1939 года фильм «Щорс» вышел на всесоюзный экран и начал свое триумфальное шествие по странам и континентам.

Текст песен принадлежит А. Малышко.

Музыку к фильму написал композитор Д. Кабалевский.

В послевоенные годы, готовя текст киноповести «Щорс» для публикации в третьем томе «Избранных сценариев советского кино» (М.: Госкиноиздат, 1949), автор внес в произведение ряд коррективов.

Лично со Щорсом в годы гражданской войны А. П. Довженко знаком не был, однако с декабря 1919 года по апрель 1920 года работал преподавателем в школе при штабе 44-й, бывшей щорсовской, дивизии. В том же 1920 году А. П. Довженко работал в подполье на Житомирщине, был направлен в Киев для связи с подпольным партийным комитетом. Этот боевой и политический опыт, несомненно, помог ему при создании киноповести и фильма «Щорс».

Киноповесть «Щорс» печатается по тексту: *Довженко А.* Собр. соч.: В 4-х т. Т. 1. М.: Искусство, 1966.

СОДЕРЖАНИЕ

Октябрьские зори: Повести и рассказы/Составитель, автор послесловия и комментариев Н. А. Грознова. — Л.: Лениздат, 1987. — 511 с., ил.
О49

В сборник, посвященный 70-летию Великого Октября, вошли повести и рассказы классиков советской литературы А. Толстого, М. Шолохова, А. Серафимовича, Д. Фурманова, А. Фадеева, Вс. Вишневского, А. Довженко, Б. Лавренева, а также других писателей, отразивших в своих произведениях героические события Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны. Сборник завершается послесловием доктора филологических наук Н. А. Грозновой «Дорогие воспоминания о начале нашей эпохи».

О $\frac{4702010200-013}{М171(03)-87}$ 203—87 84.3(2)7

Составитель
Наталия Александровна Грознова

ОКТЯБРЬСКИЕ ЗОРИ

Повести и рассказы

Заведующий редакцией А. И. Белинский
Редактор Н. Н. Сотников
Оформление серии Б. Н. Осенчакова
Форзац художника В. И. Цикоты
Художественный редактор А. К. Тимошевский
Технический редактор Г. В. Преснова
Корректор Н. Б. Абалакова

ИБ № 4013

Сдано в набор 10.02.87. Подписано к печати 30.06.87. М-35706. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарн. литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 26,88. Усл. кр.-отт. 27,30. Уч.-изд. л. 29,36. Тираж 100 000 экз. Заказ № 60. Цена 2 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.


ПЕТРОГРАД НЕ ОТДАДИМ!
РАБОТНИК И



СОЛДАТ
ВСЯ ВЛАСТЬ
СОВѢТАМЪ
открывается

2 р. 50 к.


СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА
ОКТЯБРЬ-СКИЕ ЗОРИ